84(2=411.2)5
С16

СОЧИНЕНІЯ
САЛТЫКОВА.

10.

Библио... ...цих Телеграфа ст. Вологда гор.

V. Метод...

Повестку методического совещания не ... слу...
большим количеством вопросов. Наблюдались ...
повестке однодневного методического совещания ...
продолжительности занятий было 8 вопросов. Пр...
проработка вопросов неизбежно бывает по...
...рьезных результатов дать не может. При двухд...
необходимо брать для углубленной прора...
вопросов.

...работа методических совещаний должна стро...
...методах. Кроме докладов и лекций специал...
...вопросам повестки совещания необходимо ...
часть времени для активной работы ...
...нным материалом, например: составл...
...ственного плана работы библиотек, ко...
...деленных книг, обсуждение опыта ...
... или ряда библиотек, заслушива...
...ельных библиотек о выполнении ...
...дического совещаний и т. д.
...чиваясь проработкой вопросов ...
...одимо давать библиотекаря...
... проработки в пер...
...мости от...

БИБЛІОТЕКА — ужащихъ Телеграфа
№ 1157
ст. Вологда гор

IX

I-9

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА]

ТОМЪ ДЕСЯТЫЙ

ИЗДАНІЕ НАСЛѢДНИКОВЪ АВТОРА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1892

ОТ. В. - ПВ. С.16.
ИНВ. № 51.
С-16
Х т.
Дар
Библіотека ... ст. Вологда гор.
42
16066
Пр 51
7374-д-1
Вологод. жел. дор. Библиотека „КОР"
ц 6 р
МУК «ЦБС» г. Вологда
ПОГАШЕНО
99
Центр писателя В.И. Белова

М. Е. Салтыковъ

[Н. Щедринъ]

ВЪ СРЕДѢ УМѢРЕННОСТИ и АККУРАТНОСТИ

[1874—1877 гг.]

ПИСЬМА О ПРОВИНЦІИ

[1868—1870 гг.]

ИТОГИ

[1876 г.]

ИЗДАНІЕ НАСЛѢДНИКОВЪ АВТОРА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, В. О., 5 л, 28.

1892.

С-16

(2-411.2)5 Я44

С-16

1988

СОДЕРЖАНІЕ.

Въ средѣ умѣренности и акуратности.

стр.

I.—ГОСПОДА МОЛЧАЛИНЫ.

Глава I. 1
„ II. 24
„ III. 42
„ IV. 71
„ V. 112
„ VI. 144

II.—ОТГОЛОСКИ.

I.—День прошелъ—и слава Богу!. 148
II.—На досугѣ 173
III.—Тряпичкины-очевидцы. 235
IV.—Дворянскія мелодіи. 276
V.—Чужой толкъ 301

Письма о провинціи.

Письмо первое. 331
„ второе. 345
„ третье. 357
„ четвертое. 369
„ пятое 382
„ шестое. 395
„ седьмое 412
„ восьмое 425
„ девятое 446
„ десятое 467
„ одиннадцатое 476
„ двѣнадцатое 488

стр.

Итоги.

Глава I. 507
„ II. 520
„ III. 533
„ IV. . . . . 541—562

Библіотека служащихъ Телеграфа
№ 1437
ст. Вологда гор.

I.

ВЪ СРЕДѢ УМѢРЕННОСТИ И АККУРАТНОСТИ

[1874—1877 гг.]

I.—ГОСПОДА МОЛЧАЛИНЫ.

Глава I.

Бываютъ такія минуты затишья въ исторіи человѣческой общественности, когда человѣку ничего другого не остается желать, кромѣ тишины и безвѣстности. Это минуты, когда дѣятельная, здоровая жизнь словно засыпаетъ, а на ея мѣсто вступаетъ въ права жизнь призраковъ, миражей и трепетовъ; когда общество не только не заявляетъ ни о какихъ потребностяхъ или интересахъ, но даже, повидимому, утрачиваетъ самую способность чѣмъ-либо интересоваться и что-либо желать; когда всякій думаетъ только о себѣ, а въ сосѣдѣ своемъ видитъ ненавистника; когда подозрительность становится общимъ закономъ, управляющимъ человѣческими дѣйствіями; когда лучшіе умы обуреваются однимъ страстнымъ желаніемъ: бѣжать, скрыться, исчезнуть.

Въ такія минуты слишкомъ выдающаяся извѣстность можетъ очень серьезно компрометтировать. Однихъ — въ глазахъ современниковъ, другихъ — въ глазахъ потомства. Первое даетъ себя чувствовать непосредственно и отравляетъ жизнь неосторожно прославившагося человѣка въ настоящемъ; второе хотя и не сказывается осязательно въ настоящемъ, но нужно быть или совсѣмъ безумнымъ, или совсѣмъ безсовѣстнымъ, чтобъ не понимать, что попасть въ исторію съ нехорошимъ прозвищемъ — все-таки вещь далеко не лестная.

Примѣровъ громкой извѣстности первой категоріи я указывать не стану. Для насъ покамѣстъ это еще дѣло новое, хотя въ людяхъ,

которыхъ жизнь представляетъ сплошную борьбу съ квартальными надзирателями, и у насъ недостатка нѣтъ. Изъ репутацій второй категоріи укажу на извѣстнаго англійскаго судью Джеффриза, который былъ настолько безсовѣстенъ, что совсѣмъ позабылъ о существованіи исторіи и ея суда. Однако исторія вспомнила о немъ и заклеймила его имя неувядаемымъ позоромъ, въ томъ, конечно, разсчетѣ, что примѣръ этого чудовища послужитъ спасительнымъ предостереженіемъ для воспитанниковъ среднихъ учебныхъ заведеній. У насъ подобныхъ блестящихъ репутацій до сихъ поръ не было; тѣмъ не менѣе, фамилія тайнаго совѣтника Шешковскаго въ свое время пользовалась настолько громкою извѣстностью, что быть приглашеннымъ къ нему считалось честью не совсѣмъ безопасною. И что же! даже наша скромная исторія, олицетворяемая „Русскою Старипою“ и „Русскимъ Архивомъ“, уклоняется отъ выдачи похвальнаго аттестата его громкой дѣятельности!

Я увѣренъ, что если бы Шешковскій могъ провидѣть, что на страницахъ „Русской Старины“ будутъ отъ времени до времени появляться анекдоты объ его подвигахъ, то онъ отъ многаго воздержался бы. Съ этой точки зрѣнія воспитательное значеніе „Русской Старины“ не можетъ подлежать никакому сомнѣнію, и остается только сожалѣть, что дѣйствіе его возъимѣло начало такъ недавно. Имѣй Шешковскій хотя смутное представленіе о силѣ историческихъ обличеній, онъ сказалъ бы себѣ: „чортъ возьми! у меня есть сынъ (этотъ сынъ, дѣйствительно, существовалъ, но невдолгѣ безслѣдно исчезъ), у меня могутъ быть внуки и правнуки—каково имъ будетъ читать въ „Русской Старинѣ“ разсказы о „малороссійскомъ борщѣ“ (деликатная замѣна слова „розги“), или объ особой конструкціи креслѣ, въ которое я, для пользы службы (то-есть, для наказанія на тѣлѣ), имѣю обыкновеніе сажать своихъ паціентовъ! Вѣдь я думалъ, что все это останется шито и крыто, и вдругъ... Нѣтъ! лучше практику эту оставить!“ И мы ничего не знали бы ни о малороссійскомъ борщѣ, ни о креслѣ особаго устройства, ни даже о самомъ Шешковскомъ. Да, и о Шешковскомъ ничего не знали бы, ибо что такое Шешковскій, отрѣшенный отъ борща, кресла и другихъ аттрибутовъ его достославной спеціальности?—Это Ивановъ, Сидоровъ, Ѳедоровъ, Пафнутьевъ—словомъ, одна изъ тѣхъ личностей, которыхъ Грибоѣдовъ возвелъ въ перлъ созданія въ лицѣ Молчалина, и кото-

рыхъ и современники, и потомство разумѣютъ подъ темнымъ наименованіемъ: „и другіе“. Настигнуть этихъ „и другихъ“, обличить ихъ въ чемъ бы то ни было — ни „Русскій Архивъ“, ни „Русская Старина“ не въ состояніи. Это люди до того безанекдотные, что упоминаніе именъ ихъ произвело бы на читателя то же самое дѣйствіе, какъ, напримѣръ, перепечатка ревизскихъ сказокъ.

И Шешковскій поступилъ бы несомнѣнно благоразумно, если бы, не настаивая на томъ, чтобъ быть тѣмъ знаменитымъ Шешковскимъ, какимъ мы его знаемъ, прямо погрузился бы въ пучину „и другихъ“. Это было бы съ его стороны актомъ мудрой предусмотрительности, потому что, въ сущности, эти „и другіе“, эти Молчалины и суть „излюбленные люди“ тѣхъ историческихъ моментовъ, о которыхъ идетъ рѣчь. Они полнѣйшіе выразители современной имъ дѣйствительности; они дѣятельнѣйшіе, хотя, быть можетъ, и не вполнѣ сознательные созидатели тѣхъ сумерекъ, благодаря которымъ настоящій, заправскій человѣкъ не можетъ сдѣлать шага, чтобъ не раскроить себѣ лба. Они одни сохраняютъ среди этихъ сумерекъ остроту зрѣнія, одни видятъ и различаютъ. Что различаютъ?—различаютъ ту счастливую область умѣренности и аккуратности, подъ сѣнію которой зиждется человѣческое благополучіе, скромное, но прочное, не сопровождаемое трубными звуками, ни блескомъ апоѳеозъ, но взамѣнъ того вполнѣ удовлетворившееся и успокоившееся въ самомъ себѣ. И что всего важнѣе — благополучіе, до котораго нѣтъ дѣла ни современникамъ, ни исторіи.

О, счастливые, о, сто кратъ блаженные Молчалины! Они безшумно, не торопясь, переползаютъ изъ одного періода исторіи въ другой, никому не бросивши слова участія, но и никого не вздернувши на дыбу (то-есть, быть можетъ, кого-нибудь и вздернули, но, ей Богу, не сами собой)! Никто ими не интересуется, никто не хочетъ знать, дѣлаютъ ли они что-нибудь, или просто сидятъ и бьютъ въ баклуши, никто не трепещетъ и не благоговѣетъ передъ ними... какой прекрасный, блаженный удѣлъ! И за то они во вѣки вѣковъ не перестанутъ быть „и другими“; за то дѣтямъ ихъ нечего будетъ стыдиться, все равно какъ бы они родились безъ отцовъ; за то сами они имѣютъ право каждодневно засыпать съ сладкою увѣренностью, что ни полиція современности, ни полиція будущаго не предъявитъ къ нимъ ни малѣйшаго иска... И имъ никогда, никогда не будетъ надобности

обращаться къ помощи адвоката Легкомысленнаго, дабы исходатайствовать для себя у суда увеличивающихъ вину обстоятельствъ! Зачѣмъ? какой судъ въ цѣломъ мірѣ найдетъ хотя единую вину за человѣкомъ, которому имя „и другіе“?

Ужели это не блаженство?—спрашиваю я всѣхъ и каждаго, кто хоть мало-мальски ревнуетъ о цѣлости своей шкуры.

Я вовсе не намѣренъ характеризовать здѣсь признаки тѣхъ историческихъ моментовъ, въ продолженіе которыхъ умѣренность и аккуратность представляютъ счастливѣйшее условіе и надежнѣйшую ограду человѣческаго существованія. Подобнымъ моментамъ даютъ очень разнообразныя клички, которыя, однакожъ, все болѣе или менѣе группируются около одной, резюмирующейся въ выраженіи: „переходныя эпохи“. Но я съ своей стороны нахожу, что всѣ усилія оправдать жизненный сумбуръ какими-то таинственными переѣздами изъ одной исторической области (извѣстной) въ другую (неизвѣстную)—по малой мѣрѣ, безплодны. Такія оправданія могли бы быть допущены, если бы впереди предстояло непремѣнно нѣчто лучшее и болѣе утѣшительное; но куда же они годны, если мы вмѣсто лучшаго фаталистически осуждены встрѣчаться лицомъ къ лицу съ пословицей: „изъ куля въ рогожу“?

Поэтому я съ нѣкоторою подозрительностью отношусь къ подобнымъ объясненіямъ, и совершенно серьезно думаю, что они скрываютъ за собой великое множество ложныхъ надеждъ и самыхъ вредныхъ успокоеній. Человѣкъ любитъ успокаиваться въ ожиданіи будущихъ благъ, даже если бы послѣднія были и не совсѣмъ для него ясны. Онъ слишкомъ склоненъ утѣшать себя тѣмъ, что зло есть плодъ переходныхъ порядковъ, и что, вотъ погодите, не нынче, такъ завтра —все установится прочно на своихъ мѣстахъ, и тогда добродѣтель предстанетъ во всемъ сіяніи торжества. Но вотъ проходятъ годы, десятки лѣтъ, столѣтія; добродѣтель давно уже возсіяла, а толку все нѣтъ. Въ ушахъ все съ тою же назойливостью жужжитъ безконечная, за душу тянущая пѣсня: „вотъ погодите, не нынче, такъ завтра“... Гдѣ ручательство, что она не будетъ жужжать и впредь десятки и сотни лѣтъ? Нѣтъ, видно есть въ Божьемъ мірѣ уголки, гдѣ всѣ времена —переходныя, и гдѣ человѣкъ, одаренный практическимъ смысломъ и имѣющій попеченіе о своей шкурѣ, долженъ начать съ того, чтобъ, отказавшись отъ всякихъ запутанныхъ объясненій, прямо сказать

себѣ: „живемъ хорошо, ожидаемъ лучше“. И затѣмъ... успокоиться навсегда.

Вотъ въ этихъ-то мирныхъ уголкахъ, гдѣ идиллія счастливымъ образомъ совпадаетъ съ правилами устава о пресѣченіи и предупрежденіи проступковъ и преступленій, умѣренность и аккуратность представляютъ счастливѣйшій удѣлъ человѣческаго существованія. Быть Молчалинымъ, укрываться въ сѣрой массѣ „и другихъ“—это цѣлая эпопея блаженства! Тутъ все: и цертификатъ мѣстнаго квартала о благонадежности, и свобода отъ приговоровъ исторіи и потомства. Кварталъ, нимало не сумнясь, запишетъ въ своей исторіи живота: „*Молчалинъ* живетъ на Пескахъ (или въ Москвѣ, подъ Донскимъ) —*ни въ чемъ не замѣченъ*“. Исторія, въ лицѣ „Русской Старины“, отмѣтитъ: „*Молчалины*, многочисленное племя, разсѣянное по лицу вселенной,—*ни въ чемъ не замѣчены*“. Аттестація, конечно, стоющая немногимъ больше ломанаго гроша, но неужели она хуже слѣдующей: „*Живодеровъ* (имя рекъ)—заклеймилъ себя неувядаемымъ позоромъ во время“ и т. д.?

Не забывайте: исторія не терпитъ послабленій въ своихъ приговорахъ. Даже къ Сенекамъ и Галилеямъ относится она съ нѣкоторою придирчивостью, а сообразите-ка, много ли Галилеевъ найдется у насъ, напримѣръ, въ Колтовской?

Не надобно, однакожъ, думать, что Молчалины до такой степени погружены въ тину безвѣстности, что самое существованіе ихъ, вслѣдствіе того, дѣлается равносильнымъ небытію. Нѣтъ, они пользуются лишь условною безвѣстностью, которая отнюдь не мѣшаетъ имъ подчиняться обычнымъ законамъ, управляющимъ органическимъ міромъ вообще. И они ходятъ другъ къ другу въ гости, ссорятся, мирятся, сплетничаютъ, лгутъ, пустословятъ, женятся, рождаютъ дѣтей; и они имѣютъ свои удачи и невзгоды, и они около чего-то копошатся и что-то создаютъ. Мало того: нѣкоторые изъ нихъ, болѣе терпѣливые и настойчивые, даже достигаютъ своего рода извѣстности...

Повторяю: ихъ безвѣстность неполная и условная. Полною и безусловною неизвѣстностью пользуется только человѣкъ лебеды, и ужъ, конечно, едва-ли найдется субъектъ достаточно наивный, чтобъ назвать этотъ удѣлъ блаженнымъ. Молчалины очень хорошо понимаютъ, что бытіе лучше небытія, и потому равно сторонятся и отъ безусловной безвѣстности человѣка лебеды, и отъ громкой извѣстности какого-

нибудь Галилея, которая, на ихъ глаза, можетъ привести лишь къ непріятнымъ столкновеніямъ съ полиціей...

Начать съ того, что въ словахъ „ни въ чемъ не замѣченъ“ уже заключается цѣлая репутація, которая никакъ не позволитъ человѣку безслѣдно погрузиться въ пучину абсолютной безвѣстности. Ни въ чемъ не замѣченъ—это значитъ: послушливъ, благонадеженъ, исполнителенъ и, стало быть, можетъ быть пристроенъ къ какому угодно дѣлу. А коль скоро человѣкъ „пристроенъ къ дѣлу“, коль скоро онъ надѣлъ на себя вещественный знакъ этого пристройства (чиновничій вицъ-мундиръ или прикащичью чуйку — это все равно), такъ тотчасъ же онъ сдѣлался человѣкомъ „нужнымъ“, а слѣдовательно и извѣстнымъ. Но это именно та безобидная, тихая, почти безвѣстная извѣстность, которая никого не затрогиваетъ, никому не бьетъ въ глаза, не прибѣгаетъ къ „малороссійскому борщу“, но и не огорчаетъ начальства, утверждая, что земля вертится. Однимъ словомъ, извѣстность, которая освѣщаетъ и согрѣваетъ кроткимъ своимъ свѣтомъ только существованіе своего скромнаго обладателя, извѣстность, не переступающая предѣлы той устричной скалы, къ которой прикрѣплены раковины, скрывающія Молчалиныхъ... Я знаю, есть люди, изъ категоріи „безпокойныхъ“, которые, быть можетъ, сочли бы себя оскорбленными, если бы имъ предложили такого рода извѣстность; но думаю, что въ этомъ случаѣ прозорливость и благоразуміе не на ихъ сторонѣ, а на сторонѣ Молчалиныхъ. Только послѣдніе вполнѣ ясно понимаютъ, что вмѣстѣ съ безвѣстною извѣстностью открывается цѣлый міръ неблестящихъ, но прочныхъ благополучій, которыя въ глазахъ солиднаго человѣка гораздо цѣннѣе всякихъ апоѳеозъ. Тутъ все: и вѣрный кусокъ пирога, и благосклонная улыбка „нужнаго человѣка“, и спокойный послѣобѣденный сонъ, и чувство обезпеченности отъ риска сломать себѣ шею, провалиться сквозь землю или инымъ образомъ пропасть... Чего еще надобно!

Божій міръ кишитъ такими безвѣстными извѣстностями, но даже и это служитъ имъ на пользу. Благодаря тому, что ихъ много, на нихъ не обращаютъ должнаго вниманія. Думается, что все это образы безъ лицъ, тѣни, на которыхъ достаточно дунуть, чтобъ онѣ исчезли безъ слѣда. Однако въ этомъ взглядѣ на Молчалиныхъ кроется значительное недоразумѣніе. Вглядѣвшись пристальнѣе въ жизненный круговоротъ, мы безъ труда убѣдимся, что все въ этомъ круговоротѣ

создается руками именно тѣхъ „и другихъ“, отъ которыхъ мы такъ самонадѣянно отворачиваемся. Джеффризы потому бросаются въ глаза, что они какъ-то ужъ слишкомъ блестяще злы; Молчалины, напротивъ того, скромны и податливы, и вслѣдствіе того остаются незамѣченными. Но не забудемъ, что Джеффризы ничего не могли бы, если бы у нихъ подъ руками не существовало безчисленныхъ легіоновъ Молчалиныхъ. Одного этого соображенія, по мнѣнію моему, вполнѣ достаточно, чтобъ не проходить мимо послѣднихъ съ тѣмъ обиднымъ равнодушіемъ, которое для всѣхъ Молчалиныхъ отводитъ мѣсто гдѣ-то далеко, за предѣлами исторіи.

Для бо́льшей вразумительности приведу примѣръ. Позднимъ вечеромъ вы идете по улицѣ, и вдругъ натыкаетесь на зданіе, сплошь горящее огнями. Это зданіе — храмъ, въ которомъ отъ начала міра священнодѣйствуютъ „и другіе“. Они день и ночь изнемогаютъ здѣсь, копаясь въ нѣкоемъ мѣсивѣ, въ которомъ и сами ничего другого не разберутъ, кромѣ того, что тутъ когда-нибудь чортъ ногу сломитъ. Тѣмъ не менѣе, благодаря обыденности зрѣлища, мы такъ мало обращаемъ на него вниманія, что проходимъ мимо, не остановивъ на немъ даже мысли своей. И что-жъ! не успѣли вы сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ васъ настигаетъ стрѣла. Вы озираетесь, ищете... не трудитесь искать! Знайте впередъ, что стрѣла пущена вамъ въ догонку вѣрною и опытною рукой одного изъ „и другихъ“... Что́ нужды, что, пуская стрѣлу, онъ и самъ не сознавалъ неключимости своего дѣйствія — все-таки онъ пустилъ ее, и она настигла васъ!

Я видѣлъ однажды Молчалина, который, возвратившись домой съ обагренными безсознательнымъ преступленіемъ руками, преспокойно принялся этими самыми руками разрѣзывать пирогъ съ капустой.

— Алексѣй Степанычъ!—воскликнулъ я въ ужасѣ:—вспомните, вѣдь у васъ руки...

— Я вымылъ-съ, — отвѣтилъ онъ мнѣ совсѣмъ просто, доканчивая разрѣзывать пирогъ...

Вотъ каковы эти „и другіе“, эти чистые сердцемъ, эти довольствующіеся малымъ Молчалины, которыхъ игнорируетъ исторія, надъ благодушіемъ которыхъ умиляются современники, и которымъ кварталъ безпрепятственно выдаетъ аттестацію: *ни въ чемъ не замѣчены!*

Это „я вымылъ-съ“ — чѣмъ оно хуже знаменитаго: „qu'il mourût“?

Я вовсе не желаю, однакожъ, чтобъ читатель заключилъ изъ этого, что Молчалины люди отпѣтые и закоренѣлые: я хочу только сказать, что они совсѣмъ не тѣни, не призраки, а составныя и притомъ очень дѣятельныя части того громаднаго собирательнаго, которое, подъ разными формами и наименованіями, оказываетъ очень рѣшительное тяготѣніе надъ общимъ строемъ жизни.

Дѣло въ томъ, что Молчалины не иниціаторы, а только исполнители, не знающіе собственныхъ внушеній. Вотъ что̀ спасаетъ ихъ и отъ завистливыхъ подыскиваній современниковъ, и отъ строгостей исторіи. И потому ихъ обезпеченность, солидность и умѣстность ростутъ по мѣрѣ того, какъ умаляется, такъ сказать, истаеваетъ въ нихъ сознательность.

„Изба моя съ краю, ничего не знаю“ — вотъ девизъ каждаго Молчалина. И чѣмъ ярче горитъ этотъ девизъ на лбу его, тѣмъ прочнѣе и защищеннѣе дѣлается его существованіе. Съ этимъ девизомъ онъ благополучно проползаетъ между всевозможными Сциллами и Харибдами, и въ урочный часъ, не раньше и не позже, придетъ къ вожделѣнной пристани. — Кто идетъ? кликнетъ его у пристани дозорщикъ. — „Я, Молчалинъ!“ будетъ отвѣтъ.—Вали его въ общую яму!

И современемъ изъ Молчалина выйдетъ безподобное удобреніе, хотя исторія даже и этой заслуги за нимъ не признаетъ. Просто, говоритъ, пропадетъ, даже не произведя удобренія... о, сто кратъ счастливый Молчалинъ!

Какъ достигаетъ Молчалинъ своего благополучія? Достается ли оно ему задаромъ, какъ нѣчто врожденное, или же требуется извѣстная сумма усилій, чтобъ добраться до него, усилій, которыя и въ чашу блаженства примѣшиваютъ значительную дозу горечи?

Казалось бы, проще всего разрѣшить вопросъ въ первомъ смыслѣ, такъ какъ нѣтъ ничего законнѣе и естественнѣе, какъ совпаденіе ничтожества и безвѣстности. Все ратуетъ въ пользу такого совпаденія: и духовное безсиліе Молчалиныхъ, и отсутствіе иниціативы, и забитость, и убожество обстановки; все толкаетъ человѣка въ самую глубь сумерекъ. Для него не требуется ни усилій, ни рѣшимости потонуть: сама почва, на которой онъ стоитъ, одарена непреоборимо

втягивающими свойствами. Человѣкъ самъ собой неслышно погружается на дно, и тамъ надъ нимъ постепенно происходитъ процессъ увяданія, на которое онъ фаталистически осужденъ.

Тѣмъ не менѣе, такое разрѣшеніе было бы справедливо лишь въ томъ случаѣ, если бы рѣчь шла о той абсолютной безвѣстности, которою пользуется человѣкъ лебеды, и при которой, дѣйствительно, бытіе равняется небытію. Но Молчалинъ не хочетъ такой безвѣстности и не соглашается умереть. Его претензію составляетъ область умѣренности и аккуратности, которая не только не исключаетъ живучести, но даже дѣятельнымъ образомъ поддерживаетъ ее. Понятное дѣло, что существованіе подобной претензіи не можетъ обойтись безъ усилій и жертвъ, и что въ этомъ видѣ задача Молчалина уже принимаетъ размѣры сложнаго и вовсе не шуточнаго предпріятія.

Безсиліе, забитость, приниженность и робость — плохіе помощники въ дѣлѣ жизнестроительства, но они въ замѣчательной степени изощряютъ въ человѣкѣ одну способность: исключительно, почти болѣзненно сосредоточиваться на мелочахъ своего личнаго *я*. Это маленькое, вѣчно ноющее *я*, окрѣпнувшее въ суровой школѣ угнетенія, дѣлается для своего обладателя центромъ, къ которому пріурочивается жизнь цѣлой вселенной. Пускай кровь льется потоками, пусть человѣчество погрязаетъ въ пучинѣ духовной и нравственной нищеты —ни до чего нѣтъ дѣла этому *я*, до тѣхъ поръ, пока привычная обстановка остается неприкосновенною, пока не затронуты тѣ интересы, которыхъ совокупность составляетъ область умѣренности и аккуратности. Это интересы сѣренькіе, но необыкновенно цѣпкіе. Дешевизна или дороговизна квартиръ, съѣстныхъ припасовъ и другихъ незатѣйливыхъ жизненныхъ удобствъ, возможность или невозможность оставаться при однажды принятомъ образѣ жизни и привычкахъ— вотъ обыкновенная ихъ канва. Но въ нихъ заключено все внутреннее содержаніе забитаго человѣка, и потому въ его глазахъ они представляютъ единственное мѣрило для оцѣнки великихъ и малыхъ событій, совершающихся на всемірной аренѣ. Для защиты ихъ неприкосновенности считаются возможными и законными всѣ средства: униженіе, злоба, предательство, месть...

Вотъ этимъ-то ноющимъ *я* въ высшей степени обладаетъ Молчалинъ.

Я очень хорошо знаю, что подобное отношеніе къ жизни безправ-

ственно, и что, кромѣ того, оно очень вредно дѣйствуетъ на общій ходъ ея развитія, но въ данномъ случаѣ оно оказываетъ услугу очень существенную. Оно помогаетъ забитому человѣку сглаживать тѣ мелкія шероховатости, которыми усѣянъ его жизненный путь; оно сообщаетъ ему терпкость, почти жестокость, безъ которыхъ онъ былъ бы не въ силахъ ухитить и защитить свое гнѣздо.

Молчалинъ является на арену жизни безоружный, почти обнаженный. Во всемъ его организмѣ нѣтъ мѣста, котораго нельзя было бы уязвить. Онъ — заурядный человѣкъ толпы, одинъ изъ тѣхъ встрѣчныхъ-поперечныхъ, которые массами во всякое время снуютъ по улицамъ. Въ немъ нѣтъ ничего выдающагося, самоопредѣляющагося, что̀ давало бы ему право на мѣсто въ жизненномъ пирѣ, на что онъ могъ бы опереться какъ на исходный пунктъ для дальнѣйшаго странствованія. Понятно, что онъ долженъ искать этой недостающей опоры внѣ своего личнаго *я*.

И вотъ онъ начинаетъ искать. Но, какъ человѣкъ неразвитой, идущій на-угадъ, онъ, во-первыхъ, представляетъ себѣ искомую опору не иначе какъ въ формѣ „нужнаго человѣка“, а во-вторыхъ, онъ ищетъ ее гдѣ-то въ пространствѣ, среди такихъ же встрѣчныхъ и поперечныхъ, какъ и онъ самъ, но поставленныхъ въ болѣе счастливыя условія относительно карьеры. Вотъ тутъ-то именно и начинается страдальческая эпопея его похожденій.

Да, это цѣлая эпопея, и мы, которые видимъ Молчалина, уже устроившагося своимъ домкомъ на Пескахъ или въ Колтовской и рѣжущаго въ праздничный день обагренными преступленіемъ руками пирогъ съ капустою, мы, которые завидуемъ блаженному выраженію его лица и невозмутимости его обстановки,—мы не должны забывать, что этотъ человѣкъ имѣлъ свой мартирологъ, разоблаченіе котораго можетъ заставить вздрогнуть даже заправскаго героя.

И такъ, передъ нами Молчалинъ, безоружный, лишенный внутренней опоры, ищущій ея въ безграничномъ пространствѣ, на одномъ изъ пунктовъ котораго долженъ найтись „нужный субъектъ“. Этотъ субъектъ введетъ его въ область умѣренности и аккуратности; онъ освѣтитъ и согрѣетъ его скромное существованіе; онъ поможетъ ему не пропасть отъ холода и голода... только не пропасть!

Гдѣ жъ этотъ „субъектъ“, и что̀ надо совершить, чтобъ обрѣсти его?

Прежде всего, даже не приступивъ еще къ процессу исканія, Молчалинъ уже обязанъ поступиться нѣкоторыми признаками, составляющими принадлежность образа и подобія Божія. Онъ не знаетъ, въ чью пользу онъ приноситъ эту жертву; онъ знаетъ только, что встрѣчные и поперечные, сознающіе себя „нужными людьми“, на этотъ счетъ очень строги. Они понимаютъ, что въ образѣ и подобіи Божіемъ есть какой-то намекъ или укоръ, какая-то „критика“, и потому безусловно не допускаютъ его. Они подозрительно осматриваютъ Молчалина съ ногъ до головы, нѣтъ ли въ немъ чего, хоть искры какой-нибудь. Но Молчалинъ уже предвидѣлъ этотъ осмотръ, и успѣлъ, на-скоро, однимъ плевкомъ, потушить всю небольшую сумму искръ, которыми онъ обладалъ... Онъ въ порядкѣ...

Эту первую жертву Молчалинъ выноситъ, впрочемъ, довольно легко. Во-первыхъ, онъ самъ иногда не подозрѣваетъ, что носитъ на себѣ образъ и подобіе Божіе; во-вторыхъ, онъ смутно чувствуетъ, что впереди ему предстоитъ нѣчто такое, въ сравненіи съ чѣмъ пожертвованіе образомъ и подобіемъ Божіимъ составляетъ сущіе пустяки.

А именно, ему предстоитъ такая задача: среди цѣлой массы бродягъ и непомнящихъ родства людей намѣтить такого полезнаго и счастливаго бродягу, прикосновеніе къ которому оградило бы отъ хищническихъ вторженій въ ту тихую обстановку умѣренности и аккуратности, подъ сѣнію которой онъ мечтаетъ устроить гнѣздо свое.

Чтобъ достигнуть этого, требуется не только громадная смѣтка, громадный трудъ, но и громадная удача. Историческія эпохи, о которыхъ идетъ рѣчь, чреваты изумительными, почти необъяснимыми превращеніями. Съ необычною легкостью бродяги перескакиваютъ съ мѣста на мѣсто, со ступени на ступень, то возносясь на самую вершину лѣстницы, то низвергаясь стремглавъ къ ея подножію. Сколько ни вглядывайтесь въ процессъ этого перескакиванія, вы ни подъ какимъ видомъ не примѣнитесь къ нему, не угадаете ни побудительныхъ причинъ, ни руководящей мысли его. Передъ вашими глазами масса бродягъ, колеблемыхъ вѣтромъ случайности и удачи—и только. Никакой особой примѣты у этихъ бродягъ нѣтъ, ни малѣйшаго отличительнаго признака, ни даже „печати генія на челѣ“. Всѣ на одно лицо, у всѣхъ только одна общая отмѣтка: легки на ходу. Вопросъ ставится трудно и круто: угадай, которому изъ этихъ бродягъ удастся прежде другихъ добѣжать до столба, и отъ котораго слѣдуетъ тебѣ

ожидать покровительства и наибольшей суммы полезныхъ приспособленій?

Это самый опасный камень преткновенія, который встрѣчаютъ Молчалины на пути своихъ умѣренно-аккуратныхъ затѣй; до того опасный, что нерѣдко на немъ обрушивается главная масса этихъ затѣй, не успѣвъ ни расцвѣсть, ни развиться. Громадное большинство Молчалиныхъ погибаетъ тутъ навсегда, и вотъ, быть можетъ, почему чаще случается встрѣчать Молчалиныхъ, малодушно спившихся съ круга, небритыхъ, влачащихъ существованіе въ вонючихъ, обшарпанныхъ одеждахъ, нежели Молчалиныхъ солидныхъ, съ тщательно выбритыми, лоснящимися щеками и въ чистенькихъ вицъ-мундирахъ, пиджакахъ и поддевкахъ.

Я не знаю, насколько существенно можетъ помочь въ этомъ дѣлѣ смѣтка, но—поможетъ она или не поможетъ—Молчалинъ во всякомъ случаѣ долженъ пустить въ ходъ всю свою сообразительность, чтобъ не потратить времени по пустому и не напасть на такого „субъекта", который ничего ему не дастъ, кромѣ паскудства и надругательства. И вотъ, чтобъ хоть сколько-нибудь оріентироваться среди безконечнаго однообразія мелькающихъ передъ нимъ бродячихъ типовъ, онъ прежде всего приступаетъ къ разсортировкѣ ихъ на категоріи, въ надеждѣ, что этотъ трудъ окажетъ хоть ту пользу, что дастъ ему возможность сосредоточить вниманіе на меньшей массѣ предметовъ.

Трудъ утомительный, непосильный; трудъ, совершеніе котораго возможно именно только при настойчивости того вѣчно поющаго *я*, которымъ обладаетъ Молчалинъ, и которое дѣлаетъ его нечувствительнымъ къ оскорбленіямъ. Потребно тонкое зрѣніе, наблюдательный умъ, привычка къ микроскопическому изслѣдованію и очень большой запасъ небрезгливости. Долго, очень долго вглядывается и вдумывается Молчалинъ, пока, наконецъ, начинаетъ различать. Но какъ только онъ уже достигъ возможности различать, то ни Линней, ни Бюффонъ не превзойдутъ его въ этой работѣ. Сначала его умственному взору представляется масса бродягъ съ однимъ родовымъ признакомъ: отсутствіемъ содержанія; но мало-по-малу терпѣніе и усидчивость открываютъ въ этомъ общемъ родовомъ признакѣ цѣлый міръ второстепенныхъ признаковъ, хотя и не измѣняющихъ существа дѣла, но доказывающихъ, что во всякомъ случаѣ у каждаго бродяги имѣется свое личное, ему одному принадлежащее отношеніе къ собственной

безсодержательности. Такимъ образомъ, онъ различитъ легкомысленнаго бродягу отъ упорнаго, веселаго отъ угрюмаго, добродушнаго отъ злого, болтливаго отъ сосредоточеннаго и т. д. Но и этого недостаточно: въ каждой изъ найденныхъ категорій онъ прозритъ новые оттѣнки (иногда очень тонкіе), вслѣдствіе которыхъ у него образуются подкатегоріи бродягъ, семейства и, наконецъ, особи. Такъ напримѣръ, мало знать, что такой-то бродяга болтливъ; необходимо, кромѣ того, дознаться, общая ли это болтливость, или частная; ежели частная, то какой ея излюбленный предметъ; натыкается ли она, хотя временно, на знаки препинанія, или же она совсѣмъ безвыходная, отчаянная; конфузливая ли это болтливость, или наглая; изворотливая, или дурацкая. Все это очень важно и требуетъ замѣчательной остроты ума...

Покончивъ съ разсортировкою, Молчалинъ хотя и чувствуетъ себя значительно облегченнымъ, но очень хорошо понимаетъ, что до конца ему еще далеко. Теперь ему предстоитъ обозрѣть умственнымъ окомъ базаръ житейской суеты, прислушаться къ его говору и сообразить, на какой изъ видовъ бродяжнической безсодержательности существуетъ, въ данную минуту, наибольшій запросъ.

Тутъ главнѣйшая трудность заключается въ томъ, чтобъ не увлекаться тѣми базарными настроеніями, которыя иногда ставятъ запросъ на фальшивую почву. Таковы, напримѣръ, всѣ такъ-называемыя либеральныя настроенія, о которыхъ слѣдуетъ разъ навсегда сказать себѣ, что это настроенія скоропреходящія, нестоющія ломанаго гроша.

Должно, однакожъ, сознаться, что и въ этомъ случаѣ требуется очень большая опытность и стойкость. Иногда либеральныя настроенія проявляютъ себя съ такою живостью и яркостью, что не успѣетъ человѣкъ оглянуться, какъ уже по уши погрязъ въ самую глубь либеральнаго омута. А вслѣдъ за тѣмъ, не успѣлъ въ другой разъ оглянуться, какъ уже вытащенъ изъ омута и помѣщенъ гдѣ-то далеко, за предѣлами цивилизаціи. Истинный Молчалинъ обязывается провидѣть всѣ подобные перевороты. Онъ долженъ понимать, что увлеченія несвойственны солиднымъ людямъ, что дѣйствительную прочность въ сей юдоли плача имѣетъ только полная безсодержательность, и что, слѣдовательно, лишь между категоріями сей послѣдней долженъ колебаться его выборъ.

Но базарныя настроенія, даже относительно самыхъ несомнѣнныхъ категорій безсодержательности, до такой степени измѣнчивы, что требуется замѣчательное чутье, чтобъ угодить въ надлежащую точку. Сейчасъ самый бойкій запросъ направленъ на безсодержательность легкомысленную, забавную, а чрезъ минуту она уже летитъ вверхъ тормашками и уступаетъ мѣсто безсодержательности угрюмой и сосредоточенной. Какъ тутъ угадать? И дѣйствительно, въ точности угадываютъ лишь избранные; большинство же Молчалиныхъ ограничивается тѣмъ, что въ общихъ чертахъ опредѣляетъ для себя такъ-называемый средній базарный запросъ, то-есть старается, по возможности, уяснить, какой типъ бродяжничества имѣетъ шансы на успѣхъ въ продолженіе болѣе значительнаго періода времени, хотя бы и съ нѣкоторыми перерывами. Это — самый основательный образъ дѣйствій, и я съ своей стороны могу посовѣтовать еще одно: по возможности избѣгать типовъ легкомысленныхъ, болтливыхъ, веселыхъ и добродушныхъ, какъ наиболѣе подходящихъ къ либеральному (иногда они даже смѣшиваются съ послѣднимъ), и придерживаться типовъ сосредоточенныхъ, упорныхъ и угрюмыхъ, какъ самыхъ прочныхъ. А еще лучше: найти такой средній путь, который не препятствовалъ бы всѣхъ и каждаго „просить принять увѣреніе въ совершенномъ почтеніи и преданности“, и въ то же время представлялъ бы нѣкоторыя лазейки, въ которыя, при случаѣ, можно было бы юркнуть. И, наконецъ, еще того лучше: выбрать разомъ нѣсколько представителей базарныхъ запросовъ и всѣмъ имъ одинаково угодить.

Какъ видите, это уже не просто смѣтка, но пронырство, предательство, почти дипломатія.

И такъ, благодаря упорному труду и смѣткѣ Молчалина, мы имѣемъ: во-первыхъ, оконченную работу классификаціи типовъ бродячей безсодержательности и, во-вторыхъ, не менѣе важную работу классификаціи разнообразныхъ базарныхъ запросовъ на эти типы. Другой, менѣе устойчивый организмъ изнемогъ бы подъ тяжестью этой работы, но Молчалинъ знаетъ, что ему утомляться не разрѣшается, и потому нимало не медля идетъ далѣе.

Увы! онъ очень отчетливо понимаетъ, что путь его еще долго будетъ путемъ скорбей и тревогъ, что долго еще не придется ему успокоиться на лонѣ умѣренности и аккуратности... да и придется ли еще? Кто знаетъ, быть можетъ, въ самомъ апогеѣ его усилій, ка-

кая-нибудь шаловливая парка, курамъ на смѣхъ, возьметъ да и порветъ нитку, привязывающую его къ жизни! И разлетится прахомъ все его многодумное предпріятіе, и распадется гнѣздо его, и никто не внемлетъ жалобному воплю птенцовъ его!

Едва успѣлъ Молчалинъ, при помощи сейчасъ названныхъ классификацій (чаще же просто при помощи удачи), намѣтить себѣ полезнаго субъекта, какъ уже ему предстоитъ работа приручненія обрѣтеннаго субъекта.

Въ бо́льшей части случаевъ этотъ субъектъ выбирается изъ категоріи мрачныхъ (наиболѣе прочный типъ). Это человѣкъ норова и непредвидѣнныхъ движеній души. Кромѣ того, это человѣкъ надутый постигшимъ его счастіемъ и совершенно невѣжественный, что̀ лишаетъ его возможности разсчитать, какія послѣдствія можетъ имѣть то или другое человѣческое дѣйствіе. Даже Молчалинъ имѣетъ въ этомъ случаѣ превосходство надъ нимъ, потому что хотя онъ и не менѣе свободенъ отъ наукъ, но все-таки ощущалъ на себѣ извѣстные жизненные толчки, которые оставили въ немъ нѣкоторыя смутныя представленія о размѣрахъ и свойствахъ вещей. Онъ же, человѣкъ норова, ни размѣровъ, ни свойствъ не знаетъ, и знать не желаетъ.

Остановимся же на сейчасъ названныхъ свойствахъ субъекта и попробуемъ указать, что̀ требуется, чтобъ смягчить ихъ и придать имъ по возможности безопасный характеръ. Начнемъ съ непредвидѣнныхъ движеній души.

Человѣкъ, обуреваемый непредвидѣнными движеніями души, можетъ быть уподобленъ грозной и неприступной крѣпости, безъ надобности поставленной въ такой мѣстности, гдѣ царствуютъ полная тишина и безмятежное спокойствіе, гдѣ никто слыхомъ не слыхалъ ни о внѣшнихъ, ни о внутреннихъ врагахъ, и гдѣ, слѣдовательно, необходимости въ стрѣльбѣ не настоитъ. Но такъ какъ крѣпость выстроена и вооружена пушками, то весьма естественно, что она обязана выполнить свое назначеніе. И вотъ она стрѣльнетъ и опять замолчитъ, потомъ опять стрѣльнетъ, и опять замолчитъ, и опять, и опять. Безъ порядка, безъ системы, безъ руководящей мысли, потому что сама крѣпость непутёвая, построенная, такъ сказать, въ забвеніи чувствъ, какъ бы для того единственно, чтобъ напоминать міру, что человѣкъ смертенъ.

Понятно, что если подобныя сооруженія существуютъ во мно-

жествѣ, то совокупное ихъ дѣйствіе можетъ имѣть въ результатѣ народное бѣдствіе. Положимъ, что орудіе въ дѣйствительности никого не убиваетъ, но непрерывнымъ гуломъ своимъ оно все-таки производитъ извѣстное раздраженіе, которое тоже немало способствуетъ умаленію обывательскаго благополучія. Чтобъ освободиться отъ этого раздраженія, окрестнымъ обывателямъ ничего другого не остается, какъ выбрать изъ своей среды излюбленнаго ходока (рискуя даже быть обвиненными въ „скопѣ“ и „измѣнѣ“), которому поручить утруждать высшее начальство нижайшею просьбой: 1) дабы во множествѣ настроенныя въ благополучныхъ мѣстахъ крѣпости стрѣляли лишь холостыми зарядами, или же пускали свои снаряды въ твердь небесную, такъ какъ послѣдняя, отъ таковаго немилостиваго стрѣлянія, ни расколоться, ниже́ закоптѣть не можетъ; и 2) а такъ какъ сіе ихъ ходатайство, всеконечно, имѣетъ быть признано непомѣрнымъ и затѣйливымъ, то распорядиться, по крайней мѣрѣ, чтобъ стрѣльба съ упомянутыхъ выше крѣпостей производилась въ опредѣленные часы, въ продолженіе которыхъ вольно было бы обывателямъ избѣгать опасной ходьбы мимо крѣпостей и тѣмъ избавлять себя отъ безвиннаго и немилостиваго разстрѣлянія.

И такъ какъ начальство благодушно и просвѣщенно, то несомнѣнно, что оно благопріятнымъ окомъ взглянетъ на подобную просьбу, и даже не посадитъ излюбленнаго ходока въ острогъ. А послѣдствіемъ такого снисходительнаго мѣропріятія будетъ: а) что крѣпости останутся на своихъ мѣстахъ, по прежнему внушая страхъ, но уже никого не пугая; б) что въ опредѣленные часы небесная твердь будетъ неупустительно разстрѣливаема, но безъ малѣйшаго для нея вреда; и в) что обывательскіе животы будутъ навсегда обезпечены отъ напрасной смерти или внезапнаго членовредительства, при твердой, однакожъ, увѣренности, что таковая обезпеченность во всякое время можетъ быть обращена въ необезпеченность.

Вотъ эту-то самую роль, которую долженъ бы былъ играть воображаемый ходокъ относительно воображаемыхъ крѣпостей, — играетъ Молчалинъ относительно человѣка норова и непредвидѣнныхъ движеній души. А именно: онъ обязывается устроить такъ, чтобъ человѣкъ этотъ палилъ въ небо, а обывателямъ внушалъ лишь страхъ, но членовредительствъ не причинялъ.

Вопросъ: какъ достигнуть этого?

На дняхъ привелось мнѣ встрѣтиться на Невскомъ съ однимъ изъ Молчалиныхъ, о которомъ я зналъ, что онъ только-что намѣтилъ себѣ полезнаго субъекта и предпринялъ его приручненіе. Блѣдный и изнуренный, вслѣдствіе непомѣрныхъ утреннихъ трудовъ, брелъ онъ къ себѣ на Пески, полный сладкой надежды, что тамъ, въ своемъ гнѣздѣ, за тарелкой горячихъ щей и кускомъ пирога, онъ отдохнетъ, наконецъ, отъ треволненій затѣяннаго предпріятія.

— Ну что, какъ вашъ субъектъ?—остановилъ я его.

— Швыряется!

— Какъ такъ „швыряется“?

— Да такъ: схватитъ что подъ руку попадетъ—и швырнетъ.

— Послушайте!—да вѣдь этакъ онъ можетъ и убить кого-нибудь!

— До сихъ поръ Богъ миловалъ!

— Ну, а вы собственно какъ?

— Ничего... оглаживаемъ!

— То-есть, какъ же это... оглаживаете?

— Очень просто: онъ швыряется, а я стою сзади и оглаживаю его. „Тпру, милый, тпру!“ Оглаживаешь-оглаживаешь — ну, оно у него и отойдетъ маленько, — только вотъ руку продолжаетъ словно судорогой сводить. А иной разъ и оглаживаньемъ ничего не подѣлаешь — тогда ужъ смотри въ оба! какъ только онъ этотъ самый камень пуститъ, такъ ты на-лету его и хватай!

— И надѣетесь?

— Богъ милостивъ!

Онъ постоялъ нѣсколько минутъ, вздохнулъ (мнѣ показалось даже, что вздрогнулъ) и прибавилъ:

— Да, сударь, не легко на свѣтѣ прожить! за тарелку щей да за кусокъ пирога—вотъ и всѣ наши радости-то! — сколько однихъ надругательствъ примешь! Смотришь-это, смотришь иной разъ на него—совсѣмъ отчаянный! А ты все-таки стой и смотри, потому у тебя дѣти... гнѣздо-съ!.. Только на милость Божію и надѣемся!

Черезъ четверть часа, смотрю—другой Молчалинъ на встрѣчу. Этотъ бѣжитъ, ничего не видитъ передъ собою, весь запыхался.

— Какъ дѣла?—останавливаю я его.

Но онъ даже не отвѣтилъ, а какъ-то странно взглянулъ на меня, словно только сейчасъ опомнился. И вдругъ, черезъ мгновеніе, лицо его исказилось и начало подергиваться.

Вологод. обл. дор. Библиотека „КОР“
Центр писателя

— Дѣти!—вскричалъ онъ почти неестественнымъ голосомъ:— ахъ, если бы не дѣти!..

И, махнувъ рукой, стрѣлой побѣжалъ отъ меня прочь.

Думаю, этихъ двухъ примѣровъ вполнѣ достаточно, чтобъ получить приблизительное понятіе о непосильномъ подвигѣ, который Молчалинъ не убоялся взвалить на свои плечи. Тѣмъ не менѣе вы можете быть увѣрены, что онъ не только доведетъ этотъ подвигъ до конца, но даже, съ помощью сноровки и нѣкоторыхъ пріемовъ ловкости, сдѣлаетъ его ежели не пріятнымъ, то вполнѣ для себя безопаснымъ. А тамъ придетъ на помощь привычка — и дѣло пойдетъ какъ по маслу. Смотришь, черезъ недѣлю онъ жалуется меньше, черезъ двѣ—еще меньше, а черезъ мѣсяцъ—уже началъ похваливать. Это значитъ, что желанный моментъ наступилъ, тотъ моментъ, когда подвигъ приручения, слѣдуя естественному ходу развитія, превратился уже въ подвигъ осѣдланія...

Я сейчасъ упомянулъ вскользь о нѣкоторыхъ пріемахъ сноровки и ловкости, необходимыхъ въ видахъ успѣшнѣйшаго приручения; но предметъ этотъ настолько интересенъ, что нелишне будетъ остановиться на немъ нѣсколько долѣе.

Въ дѣлѣ непредвидѣнныхъ движеній души главная задача состоитъ совсѣмъ не въ томъ, чтобъ устранять или предугадывать (это, быть можетъ, придетъ современемъ, въ самомъ концѣ предпріятія), а въ томъ, чтобъ принять эти движенія открытою грудью, какъ нѣкогда грудью же принималъ Ранно падающія съ высоты чугунныя ядра. Молчалинъ обязывается устроить такъ, чтобъ всѣ кирпичи, швыряемые „субъектомъ", обрушивались лично на немъ, не задѣвая никого изъ прохожихъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ можетъ произойти смертоубійство, которое строго воспрещается закономъ. Малѣйшая въ этомъ случаѣ оплошность приводитъ къ уголовщинѣ, которая въ свою очередь влечетъ за собою не только гибель нужнаго Молчалину субъекта, но и гибель самого Молчалина, въ качествѣ придаточнаго къ нему лица. Понятное дѣло, что послѣдній долженъ всѣ способности своего ума направить къ тому, чтобъ изобрѣсти такую комбинацію, которая, съ одной стороны, обезпечивала бы свободу швырянія, а съ другой — не допустила бы ему, Молчалину, погибнуть напрасною смертью. И вотъ онъ думаетъ, соображаетъ и, наконецъ, додумывается. Вы видите въ нѣкоторомъ родѣ чудо: кир-

ничи сыплются на Молчалина градомъ, а онъ все-таки остается неуязвимъ. Какимъ образомъ онъ продѣлываетъ этотъ изумительный tour de force — это тайна между нимъ и небомъ; но позволяю себѣ догадываться, что дѣло не обходится здѣсь безъ нѣкоторой съ его стороны стратагемы.

Повидимому вся штука въ томъ, что камни и кирпичи, которыми „субъектъ имѣетъ обыкновеніе швыряться, приготовляются не другимъ кѣмъ-нибудь, а все тѣмъ же Молчалинымъ. Онъ долженъ не только принять ударъ, но и все приготовить, что̀ требуется для его выполненія.

— Я, братецъ, можетъ быть, искалѣчить тебя захочу, — говоритъ ему „субъектъ“:—такъ ты ужъ распорядись, приготовь!

Можно ли удивляться, что Молчалинъ воспользуется этимъ, чтобъ устроить для себя нѣкоторыя льготы и облегченія, что онъ, напримѣръ, сдѣлаетъ кирпичи по возможности легковѣсные, а относительно прочаго вооружится броней, извѣстной въ просторѣчіи подъ названіемъ: „брань на вороту не виснетъ“?

Я знаю, что строгіе моралисты скажутъ: стратагема Молчалина основана на подлогѣ, и потому не можетъ быть названа честною; но я еще лучше знаю, что желаніе не быть изувѣченнымъ до того законно, что самой двусмысленной стратагемѣ, придуманной съ этою цѣлью, должно быть предоставлено право на широкое снисхожденіе.

Какъ бы то ни было, но плоды этой стратагемы прежде всего и непосредственно отражаются на самомъ „субъектѣ“, который, благодаря ей, избавляется отъ уголовщины, а потомъ уже на Молчалинѣ. Но и тутъ послѣдній можетъ воспользоваться ими лишь съ помощью новой стратагемы, цѣль которой — устроить такъ, чтобъ субъектъ понялъ, наконецъ, всю трудность Молчалинскаго подвига, и пріучился цѣнить этотъ подвигъ. Въ этихъ видахъ пускаются въ ходъ страшные разсказы о другихъ „субъектахъ“, тоже страдающихъ непредвидѣнными движеніями души, но не имѣющихъ подъ руками самоотверженныхъ и ловкихъ Молчалиныхъ, и потому сплошь и рядомъ попадающихъ въ просакъ. Такой-то субъектъ раскроилъ черепъ, такой-то учинилъ членовредительство, такой-то наступилъ на законъ. Правда, до уголовщины дѣло покуда не дошло, но еще одинъ шагъ въ томъ же направленіи—и вдали ужъ виднѣется прокуроръ.

— А прокуроры нынѣ строгіе, — прибавляетъ Молчалинъ, для пущаго устрашенія.

„Субъектъ“ относится къ этимъ разсказамъ сначала съ нетерпѣніемъ, потомъ прислушивается къ нимъ однимъ ухомъ, потомъ двумя, а подъ конецъ въ немъ уже является желаніе провѣрить ихъ сторонними слухами. Послѣдніе, однакожъ, не только подтверждаютъ разсказы Молчалина, но еще прибавляютъ къ нимъ новыя подробности. Все было: и раскроеніе черепа, и членовредительство, и бунтъ противъ закона, и все это „со взломомъ“, и появленіе прокурора... И вотъ, въ душу „субъекта“ мало-по-малу закрадывается сомнѣніе, хотя онъ все-таки не можетъ понять: что же тутъ такого? Но являются люди доброжелательные, которые удостовѣряютъ, что опасность дѣйствительно есть.

— Берегитесь! — предостерегаютъ они: — не слѣдуйте по стопамъ такого-то и такого-то! Потому что неровенъ часъ...

— Не безпокойтесь! — отвѣчаетъ онъ: — я запасся на этотъ случай Молчалинымъ! Это такой Молчалинъ! такой Молчалинъ!

И съ этого момента онъ начинаетъ вглядываться въ своего Молчалина и цѣпить его. Въ одну изъ добрыхъ минутъ (въ массѣ душевныхъ непредвидѣнностей встрѣчаются и такія) онъ даже открывается ему.

— А вѣдь я тебя, Алексѣй Степанычъ, намедпись порядкомъ-таки огрѣлъ.

— И до сихъ поръ печенки болятъ!

— Какія печенки? гдѣ печенки?

— Вотъ здѣсь. Немножко пошибче бы потрафить — и духъ вонъ!

— Гм... А слыхалъ ты, что NN, такой же вотъ „субъектъ“, какъ и я... прохожаго на дняхъ разразилъ?

— Какъ не слыхать! Объ чемъ другомъ, а объ этихъ-то подвигахъ съ трубами повѣствуютъ! Да чего NN! Если бы въ ту пору я не подвернулся, да на себя бы не принялъ, такъ и у насъ бы хорошаго мало было!

— Благодарю!

— Потому что вѣдь тутъ большая тоже сноровка нужна. Немножко не въ то мѣсто попади кирпичъ—ну и капутъ!

— Довольно! Благодарю!

Библиотека служащих Телегр... ст. Вологда гор...

— Эти кирпичи-то надо умѣючи принимать!

— Молчать! Благодарю!

Молчалинъ стихаетъ, но онъ счастливъ, ибо его уже цѣнятъ. Въ немъ видятъ безотвѣтное существо, на которомъ можно вполнѣ безопасно срывать какую угодно дурость, и которому, ради этого, не грѣхъ простить нѣкоторыя грубо-откровенныя выходки. Мало-по-малу Молчалинъ становится въ ряды необходимой домашней челяди и дѣлается однимъ изъ самыхъ видныхъ членовъ ея. Передъ нимъ нѣтъ ничего завѣтнаго, постыднаго и скрытнаго; въ его глазахъ беззастѣнчиво разоблачаются всѣ ахиллесовы пяты, всѣ душевныя убожества. Сколько нужно имѣть геройства, чтобъ преодолѣть тошноты, возбуждаемыя видомъ обнаженнаго „субъекта“! Сколько самоотверженности — чтобъ быть постояннымъ слушателемъ его душевныхъ изліяній! Но Молчалинъ все преодолѣетъ, ибо его ни на минуту не покидаетъ идеалъ умѣренности и аккуратности, къ которому онъ изначала стремится. И не только преодолѣетъ, но постепенно сроднится съ своею ролью и будетъ смаковать ее, найдетъ въ ней новыя, непредвидѣнныя прежде приспособленія. Предаваясь процессу ежеминутнаго оглаживанія, онъ современемъ пащупаетъ въ оглаживаемомъ субъектѣ такую сѣдлистую впадину, на которую можно, съ Божіею помощью, очень ловко засѣсть. И вотъ онъ постепенно, день за днемъ, начинаетъ поднимать свою ногу, выше, выше...

Въ одно прекрасное утро онъ уже тамъ, онъ въ сѣдлѣ. Онъ до мозга костей изучилъ своего „субъекта“; онъ дошелъ, относительно его, до такого ясновидѣнія, что заранѣе угадываетъ всѣ его норовы, всѣ душевныя непредвидѣнности. Теперь онъ можетъ ѣздить на немъ сколько угодно и какъ угодно направлять его шпырянія. Но осторожно, Алексѣй Степанычъ! осторожно! Вы можете ѣздить и гарцовать, но такъ, чтобъ не только самъ „субъектъ“ этого не почувствовалъ, но чтобъ никто изъ цѣлой массы Молчалиныхъ, съ завистью слѣдящихъ за вашими успѣхами, не имѣлъ повода шепнуть осѣдланному: „а славно-таки Алексѣй Степанычъ васъ обучилъ подъ сѣдломъ-то ходить!“

И все это ради тарелки щей и куска пирога!

Второе свойство „субъекта“ — напыщенность собственнымъ величіемъ.

Если непредвидѣнность душевныхъ движеній угрожаетъ жизни

Молчалина, то напыщенность и чванство заживо подвергаютъ его нравственному разложенію. Отъ первой можно спастись съ помощью ловкости и стратагемъ; отъ второго — спасеніе немыслимо. Это до такой степени вѣрно, что самъ Молчалинъ заранѣе, какъ я уже имѣлъ случай замѣтить, поступается своимъ образомъ и подобіемъ Божіимъ. Онъ понимаетъ, что это развяжетъ ему руки и поможетъ бодрѣе пройти сквозь строй предстоящихъ униженій.

Напыщенность собственнымъ величіемъ вселяетъ идею о всемогуществѣ, вездѣсущіи и всезнаніи, но даже не въ сверхъестественномъ значеніи этихъ словъ, а въ какомъ-то наругательномъ, которому трудно подыскать сколько-нибудь подходящее толкованіе. Субъектъ, опьянѣвшій отъ постигшаго его счастія, говоритъ: „Я бродяга — и всемогущъ; я никуда не выхожу изъ своей норы — и вездѣсущъ; я ничего не знаю — и всевѣдущъ! И ты, и всѣ прочіе Молчалины можете думать обо мнѣ что угодно, но обязываетесь непрестанно взывать ко мнѣ: о, всемогущій! о вездѣсущій! о, всевѣдущій!“ Однимъ словомъ, это не дерзкое ликованіе сильнаго существа, которому дымъ собственной славы отуманилъ голову, а безстыдное наругательство захмелѣвшаго холопа.

Всякій „субъектъ“, прежде всего, выдѣляетъ себя изъ общей массы смертныхъ. У него кровь—алая, кость—бѣлая; онъ—солнце, освѣщающее и согрѣвающее своими лучами темную и холодную низменность, въ которой кишатъ Молчалины. И при этомъ умъ его такъ жалокъ, сердце такъ дрябло, что въ его отношеніи къ низменному міру не можетъ войти ничего, кромѣ презрѣнія и нетерпимости. Тупой и жестокій, онъ понимаетъ одно: что согрѣлъ и освѣтилъ Молчалину путь. И взамѣнъ того онъ требуетъ неперестающаго трепета и несмолкающаго славословія. Получивъ эту дань, онъ обливаетъ своего данника цѣлымъ ливнемъ милостиваго презрѣнія.

Чтобъ удержаться въ подобномъ положеніи, нужно окончательно засорить въ себѣ человѣческія чувства. Не слышать, не видѣть, не обонять, не осязать. А чтобъ вынести изъ сего полезный результатъ въ смыслѣ жизнестроительства, необходимо не только не представлять безумію субъекта какихъ-либо возраженій, но, напротивъ того, всячески поощрять и поддерживать это безуміе. Только тогда субъектъ дѣлается способнымъ смягчаться и понимать, что передъ нимъ стоитъ нѣкто, чающій подачки.

Процессъ этого рода оглаживанія — безконечно-длинный. Чѣмъ больше поражается обоняніе куревомъ оиміамовъ, тѣмъ оно больше ихъ требуетъ. Чѣмъ грубѣе сегодняшняя лесть, тѣмъ грубѣйшею должна быть лесть завтрашняя. Это бездонный сосудъ, который можетъ наполнить только такая неутомимо-преданная изобрѣтательность, какою обладаетъ Молчалинъ.

— Красавецъ! — восклицаетъ сегодня Молчалинъ въ благоговѣйномъ изступленіи.

— Будто?

— Полубогъ!

— Вотъ тебѣ двугривенный!

На завтра этотъ разговоръ уже видоизмѣняется.

— Полубогъ! — восклицаетъ Молчалинъ въ тонѣ изступленія благоговѣнія.

— Будто?

— Юпитеръ!

— Вотъ тебѣ четвертакъ!

Сколько нужно двугривенныхъ и четвертаковъ, чтобъ изъ нихъ составить обезпеченную тарелку щей и кусокъ пирога!

Третье качество субъекта: невѣжественность.

Это качество тѣмъ важно, что оно препятствуетъ своему обладателю соображать размѣры и послѣдствія того или другого дѣйствія.

Про одного путешественника повѣствуютъ, что онъ требовалъ, чтобъ его въ лѣтнее время везли зимнимъ прямикомъ; про другого— что онъ былъ внѣ себя отъ гнѣва, узнавъ, что гдѣ-то въ Царевококшайскѣ имѣется свой собственный меридіанъ, совсѣмъ другой, нежели въ Петербургѣ...

— Въ Царевококшайскѣ! — гремѣлъ онъ въ неизреченномъ изумленіи: — здѣсь, въ этой чувашской дырѣ... свой собственный меридіанъ! Не можетъ быть!

Вотъ обыкновенныя послѣдствія невѣжественности.

Молчалины обязываются выслушивать всѣ эти требованія и восклицанія, и даже не шелохнуться, не улыбнуться при этомъ. Этого мало: они должны устранять и предупреждать вредныя ихъ послѣдствія. Единственное средство спасенія въ этомъ случаѣ — обманъ. Повезти путешественника обыкновеннымъ трактомъ и увѣрить, что это-то и есть тотъ зимній прямикъ, по которому обыкновенные смертные ни

пройти, ни проѣхать не могутъ; увѣрить, что Царевококшайскъ въ дѣйствительности своего меридіана не имѣетъ, а существуетъ лишь прискорбное по сему предмету недоразумѣніе, допущенное, съ одобренія цензуры, въ географіи—вотъ задача, которая предстоитъ Молчалину. Сколько долженъ онъ претерпѣть страховъ, чтобъ кто-нибудь нечаянно не уличилъ его! сколько употребить изворотливости, чтобъ толковать о меридіанѣ, не имѣя никакого понятія о томъ, что̀ такое меридіанъ! Поймите: вѣдь онъ самъ только сейчасъ узналъ отъ другого такого же Молчалина, что существуютъ на свѣтѣ какіе-то меридіаны, а этотъ другой Молчалинъ слышалъ объ этомъ отъ третьяго Молчалина; третій же Молчалинъ слышалъ, какъ говорили на улицѣ...

И все это ради тарелки щей и куска пирога!

Но довольно. Я не стану разсматривать другихъ многочисленныхъ свойствъ, которыми можетъ обладать бродячій субъектъ, какъ напримѣръ: болтливостью, веселонравіемъ и проч. Мнѣ кажется, что и того, что̀ сказано выше, вполнѣ достаточно. Затѣмъ, перехожу къ вопросу: каковъ этотъ кусокъ пирога, ради котораго пускаются въ ходъ и обманъ, и изворотливость, и предательство, и даже готовность принять смертный бой...

Чтобъ разрѣшить этотъ вопросъ, необходимо взглянуть на Молчалина въ его домашнемъ быту.

Глава II.

И такъ, взгляпемъ на Молчалина счастливаго, на Молчалина, съ честью выдержавшаго свой длинный мартирологъ и съ помощью его завоевавшаго себѣ: въ настоящемъ — тепло и сытость, въ будущемъ —безотвѣтственность передъ судомъ исторіи. Познакомимся съ нимъ въ домашнемъ его быту, въ частной бесѣдѣ о предметахъ, доступныхъ его пониманію, въ той интимной обстановкѣ, въ которой затрогиваются не вицъ-мундирныя, а человѣческія струны сердца, гдѣ онъ является отцомъ семейства, мужемъ, преданнымъ другомъ, гостепріимнымъ и заботливымъ хозяиномъ и т. д.

Я давно знаю того Молчалина, съ которымъ намѣреваюсь познакомить читателя. Когда-то мы служили съ нимъ въ одной канцеляріи. Въ то время это былъ ужъ человѣкъ пожилой, хотя все еще запи-

мавшій незавидную должность помощника экзекутора. Сознаюсь въ своемъ неразуміи: какъ чиновникъ молодой и самонадѣянный, я смотрѣлъ тогда на Молчалина довольно свысока. Я не понималъ ни трагизма его положенія, ни той изумительной самоотверженности, съ которою онъ спасалъ насъ всѣхъ отъ начальственнаго натиска, первый подставляя свою грудь подъ удары. Молодой, обезпеченный и жестокій, я думалъ, что такова уже провиденціальная роль Молчалиныхъ, чтобъ за всѣхъ трепетать и за всѣхъ принимать удары. Смѣшно мнѣ было, весело.

Я помню, начальникъ у насъ въ то время былъ необыкновенно дѣятельный. Это былъ какой-то дервишъ въ вицъ-мундирѣ, который съ утра до ночи кружился и что-то выкрикивалъ. Всякая входящая бумага получала въ его глазахъ характеръ вопіющаго преступленія, которое надлежало преслѣдовать немедленно, по горячимъ слѣдамъ. Каждая была испещрена его надписями: „нужное“, „весьма нужное“, „самонужнѣйшее“, „завтра же“, „сегодня же“, „сейчасъ же“. На каждую онъ какъ бы ропталъ, что она попала къ нему въ руки сегодня, а не вчера, не мѣсяцъ, не годъ тому назадъ. Это было что-то ужасное. Въ урочный часъ начиналось судорожное слоняніе изъ угла въ уголъ, и горе, бывало, тому чиновнику, который попадался на этомъ скорбномъ пути. Мы, молодежь, знали это, и заранѣе забивались въ одну изъ боковыхъ комнатъ, и уже оттуда прислушивались къ стонамъ. Но Молчалину спрятаться было невозможно и некуда. Его должность именно въ томъ и состояла, чтобъ всегда находиться на самомъ скорбномъ пути и, такъ сказать, на-лету уловлять малѣйшую судорогу восторженнаго дервиша. Красный какъ ракъ, онъ мелькалъ въ пространствѣ, выполняя сыплющіяся дождемъ на его голову приказанія, перелетая изъ комнаты въ комнату, разсылая сторожей, курьеровъ, кого-то отыскивая, нюхая, роясь, взывая и т. д. А мы, молодежь, тупымъ окомъ взирали на эти мелканія и думали, что Молчалинъ даже не понимаетъ, что можетъ существовать иная жизнь, свободная отъ мелканій...

Потомъ обстоятельства такъ сложились, что я вынужденъ былъ нѣсколько лѣтъ прожить въ провинціи, гдѣ познакомился съ Сквозникомъ-Дмухановскимъ и Держимордою, Молчалина же совершенно утерялъ изъ вида. Когда я возвратился въ Петербургъ, Алексѣй Степанычъ служилъ уже въ другомъ вѣдомствѣ, и не по экзекуторской

части, а въ такъ-называемой дѣйствующей бюрократіи, которая уже признается способною писать отношенія, предписанія и даже соображенія. Очевидно, онъ свое выстрадалъ и съумѣлъ сдѣлаться настолько необходимымъ, что ему, преимущественно передъ другими, поручались щекотливыя дѣла о выѣденномъ яйцѣ. Онъ уже не мелькалъ, какъ прежде, а какъ-то неслышно и ловко устремлялся, скользя, на камергерскій манеръ, по паркету канцеляріи. Ему не кричали изъ-за тридевять земель: „Молчалинъ!“ но называли „Алексѣемъ Степанычемъ“. Въ самой внѣшности его произошла выгодная перемѣна: прежде онъ былъ поджаръ, сутуловатъ и глядѣлъ понурившись; теперь онъ нагулялъ себѣ изрядное брюшко и голову держалъ не только прямо, но почти наоборотъ. Даже въ присутствіи начальства онъ не сгибался въ три погибели, а только почтительно вытягивалъ шею, какъ бы прислушиваясь и не желая проронить. Прежде жестъ у него былъ безпокойный, угловатый, разорванный; теперь—это былъ жестъ спокойный, плавный, круглый. Прежде онъ читалъ только афиши, и то на тотъ лишь случай, что, можетъ быть, начальству угодно будетъ знать, что̀ дѣлается въ балетномъ мірѣ; теперь—онъ самъ сознавался, что отъ времени до времени почитываетъ „Сынъ Отечества“. „Да-съ, почитываемъ-таки!“—прямо говоритъ онъ.

Искушенный опытомъ, я, разумѣется, прежде всего поспѣшилъ возобновить прерванное знакомство, и былъ принятъ съ тѣмъ привѣтливымъ, почти сострадательнымъ благодушіемъ, которое характеризуетъ человѣка, выстрадавшаго свое право быть сытымъ, и котораго вы никогда не встрѣтите у ликующаго холопа, сознавшаго себя силою. Тогда какъ прежніе товарищи по школѣ и по службѣ, при встрѣчѣ со мной, дѣлали видъ какъ будто что-то припоминаютъ, Алексѣй Степанычъ сразу ободрилъ и, такъ сказать, обогрѣлъ меня своимъ привѣтомъ.

— Ну что̀, опять въ наши палестины входъ получилъ?—встрѣтилъ онъ меня, протянувъ обѣ руки.

— Опять, Алексѣй Степанычъ.

— То-то! Напроказничалъ въ ту пору... впередъ, чай, не будешь?

— Надо полагать, что не буду.

— Ну, да, потому власть... вѣдь она, голубчикъ, отъ Бога!

Это еще покойный Павелъ Аоанасьичъ *) внушалъ мнѣ... только смѣхъ съ нимъ, бывало! Начнетъ-это: „пѣсть власть“.... а дальше— „аще“ да „аще“... и не знаетъ!

— Ну, а все-таки, Алексѣй Степанычъ, хоть и надо полагать, что я *не буду*, а на всякій случай...

— Опять что-нибудь затѣваешь... проказу какую-нибудь? Видно хмель-то изъ тебя еще не вышибло! Ну, да ужъ Богъ съ тобой! приходи въ ту пору, какъ проштрафишься... только смотри, тихо чтобъ! Никому! ни гугу!

И дѣйствительно, не много прошло времени, какъ до меня долетѣли слухи, что я опять проштрафился. Мучимый вѣчно присущимъ мнѣ представленіемъ о Макарѣ и его телятахъ, я, разумѣется, сейчасъ же ударился къ Молчалину.

— Такъ и такъ, Алексѣй Степанычъ, правда ли?

Онъ съ минуту какъ бы припоминалъ.

— Да... такъ точно... есть что-то! Да мнѣ, признаться, невдомёкъ... Да! да! точно, есть... есть! И именно объ тебѣ. . да! Только я, представь себѣ, думалъ, что это просто такъ, пустяки... мѣропріятіе!

— Какое къ чорту мѣропріятіе! вѣдь ежели...

— Постой! постой! не въ томъ штука, а надо какъ-нибудь этому дѣлу помочь!.. Извини, братъ, не зналъ! Право, думалъ, что мѣропріятіе—и больше ничего! Ахти, бѣда какая!

— Помогите, пожалуйста!

— Не проси—самъ знаю! Самъ, батенька, дѣтей имѣю! Нынче съ дѣтьми-то тоже напасть... смотри въ оба!.. Да! да! есть что-то, есть объ тебѣ... Ну, да мы это дѣло какъ-нибудь повернемъ; а ежели повернуть будетъ нельзя, такъ обстановочку придумаемъ... Ничего! ступай съ Богомъ! Только помни: никому! ни гугу!

Мы разстались. Цѣлыхъ двѣ недѣли послѣ этого свиданія я стоялъ между страхомъ и надеждой, но Молчалинъ сдержалъ-таки свое слово. Онъ именно нашелъ „обстановочку“, которая съ виду даже не измѣняла въ сущности дѣла, но съ помощью которой весь ядъ, предназначавшійся для меня, вдругъ словно испарился. Онъ не сфальшивилъ, не учинилъ никакого подлога, а просто огладилъ и на-

*) Фамусовъ.

правилъ. И когда все это было выполнено, самъ зашелъ ко мнѣ сообщить о результатѣ.

— Хорошо, что вы вò-время надоумили? — сказалъ онъ мнѣ: —а то быть бы бычку на веревочкѣ. Вѣдь ужъ и исполненіе написано было!

— Какъ же вы сдѣлали, чтобъ остановить?

— Да такъ и сдѣлалъ: выбралъ часъ и доложилъ. Вѣдь съ нимъ говорить можно, съ Сахаромъ-то Медовичемъ нашимъ, только нужно часъ знать. Трудненько этотъ часъ подмѣтить, а все-таки, при вниманіи, достичь можно... Такъ вотъ и теперь было. Заслышалъ я это, что по кабинету ходитъ да романсъ насвистываетъ — ну, вошелъ и доложилъ: не много ли, молъ, будетъ? „А тебѣ, говоритъ, какая печаль!“ —А та, молъ, и печаль, что человѣкъ хорошій, знакомый! „Гм... стало быть, *самъ* къ тебѣ прибѣгалъ? струсилъ?“ — Какъ, молъ, не струсить! человѣкъ вѣдь... понимаетъ! „Ну, чортъ съ нимъ, устрой какую-нибудь обстановочку, но только предупреди его, что ежели въ другой разъ“... Впрочемъ это ужъ не суть важно... Главное, что *теперь-то* благополучно кончилось, а напредки — что̀ Богъ дастъ!

— Алексѣй Степанычъ! голубчикъ!

— Чего „голубчикъ“! не благодари! самъ знаю! у самого дѣти есть! Сынъ у меня старшій нынче осенью въ медицинскую академію на первый курсъ поступилъ, и представь себѣ, какъ онъ меня на дняхъ офранировалъ. Прибѣгаетъ-это весь взволнованный, и первымъ словомъ: „а вѣдь человѣкъ-то, папаша, отъ обезьяны происходитъ!“ Я просто руками всплеснулъ!—Во-первыхъ, говорю, ты врешь, что человѣкъ отъ обезьяны происходитъ, а во-вторыхъ, ну, ежели тебя, глупенькаго, кто-нибудь услышитъ!

— Что-жъ онъ?

— Да что̀, сударь! Храбрость въ нихъ какая-то нынче завелась! Въ наше время, бывало, все потихоньку да умненько, чтобъ не замѣтилъ никто, а нынче онъ знай себѣ твердитъ: „пострадать хочу!“

— Отчего же вы его по классической части не пустили? Тамъ бы ему и въ голову не пришло, что человѣкъ отъ обезьяны происходитъ!

— Знаю я и самъ, что по классической лучше: самъ, батюшка.

классикъ! Да вѣдь и то подумалъ: врачъ будетъ—хлѣба достанетъ! Не съ тобой первымъ объ этомъ дѣлѣ разговаривать приходится... съ самимъ Сахаромъ Медовичемъ бесѣду имѣлъ! И онъ, знаешь, какъ пронюхалъ, что я сына къ медицинѣ приспособить хочу: „что, говоритъ, вамъ вздумалось?“

— А то, говорю, и вздумалось, ваше превосходительство, что нашему брату не гранъ-пасьянсъ раскладывать, а хлѣбъ добывать нужно!

— Однако вы, Алексѣй Степанычъ, тово... откровенно-таки!

— Я, батенька, нынче напрямки! Потерпѣлъ-таки! покланялся! Будетъ. Разумѣется, часъ выбираешь — нельзя безъ того! И что-жъ бы вы думали? Выслушалъ онъ мой отвѣтъ — и вѣдь согласился-таки со мной! „Да, говоритъ, Алексѣй Степанычъ, это такъ! вы—правы! должно, говоритъ, сознаться, что классическое образованіе—оно для „насъ“ хорошо! А для „васъ“... медицина!“

— Помнится, у васъ и дочь, Алексѣй Степанычъ, есть?

— Какъ же! въ гимназіи, въ старшемъ классѣ учится... невѣста! Только тоже... Не говоритъ она этого прямо, а все, знаете, съ братомъ объ чемъ-то шушукается. Ходятъ-это вдвоемъ по залѣ и смѣются. Подойдешь къ нимъ: объ чемъ-молъ? „Нѣтъ, папаша, мы такъ! объ учителяхъ вспомнили!“ Боюсь я за нихъ! Боюсь! Особенно съ тѣхъ поръ, какъ господинъ Катковъ эту травлю поднялъ! Не люблю я, батенька, этого человѣка—грѣшенъ. Вотъ и благопамѣренный, а для родительскаго-то сердца каковъ!

Молчалинъ вздохнулъ и смолкъ. Съ минуту длилось между нами это неловкое молчаніе, такъ что онъ уже началъ выказывать намѣреніе уйти, хотя, по видимостямъ, спѣшить ему было некуда.

— Посидите, Алексѣй Степанычъ!—началъ я:—побесѣдуемъ! Вѣдь я вамъ такъ благодаренъ! такъ благодаренъ!

— Что за благодарность! А вотъ прикажите-ка чашку кофею подать—вотъ и благодарность! Я, признаться, въ это время (былъ второй часъ по полудни) имѣю привычку къ Вольфу заходить, кофейкомъ побаловаться, а нонче, вотъ, къ вамъ поспѣшилъ! думаю: надо ободрить человѣка!—ну, и не зашелъ къ Вольфу!

Подали кофей; мы разговорились опять.

— Скажите, пожалуйста, какъ вы къ Павлу Аѳанасьичу *) попали?—спросилъ я.

*) Фамусову.

— Очень просто: оба родомъ мы изъ Пронскова-города. Отецъ мой былъ мелкономѣстный — и по сейчасъ у меня тамъ съ сестрой имѣніе есть. Пять душъ временно-обязанныхъ да двадцать-пять десятинъ земли... за надѣломъ! Мнѣ тринадцать четырнадцатыхъ изъ этого имѣнія приходится, а сестрѣ-дѣвицѣ одна четырнадцатая часть —вотъ я и отписалъ ей: владѣй всѣмъ!

— Такъ вы, значитъ...

— Дворянинъ, сударь: какъ же! Только горевые мы, сударь, дворяне! Не знаю, какъ теперь, а въ старину пасъ „прончатами“ называли! Бывало, какъ время къ выборамъ близится, ну, тузы-то, которые въ предводители попасть норовятъ, и увиваются за „прончатами“. Соберутъ это „уполномоченныхъ“, разсадятъ ихъ на подводы, и — маршъ въ губернію. А тамъ ихъ по постоялымъ дворамъ разберутъ, да на свой счетъ и содержатъ: поятъ, кормятъ, по картузу купятъ, иному сюртукъ, другому полушубокъ соорудятъ. Все, значитъ, покуда баллотировки нѣтъ. А какъ кончится баллотировка да наклали ему шаровъ направо—онъ и милости свои сейчасъ прекратилъ. Папенька-то покойный сколько разъ, бывало, изъ Рязани въ Пронскъ пѣшкомъ прихаживалъ!

— Стало быть, Фамусовъ вашимъ сосѣдомъ былъ?

— Да, у него въ Пронскомъ пятьсотъ душъ было, да въ другихъ губерніяхъ вдвое, ежели не втрое. Ну, и взглянулъ онъ на наше убожество.

— Ну, а скажите-ка откровенно, хорошій онъ человѣкъ былъ?

— Павелъ-то Аѳанасьичъ! такой человѣкъ! такой человѣкъ! Мухи не обидѣлъ—вотъ что я вамъ скажу! Конечно, своего не упускалъ — ну, да вѣдь наше дѣло сторона! А ужъ какъ обходителенъ былъ! простъ! Чтобъ обругать это или оборвать — ни-ни! Чуточку бы „понятія“ ему прибавить—далеко бы онъ ушелъ!

— Гм... а не пристрастны ли вы, Алексѣй Степанычъ? Помнится, вѣдь вы съ Софьей-то Павловной...

— И ни-ни! Боже васъ сохрани! Софья Павловна, какъ была, такъ и осталась... во всѣхъ смыслахъ дѣвица! Разумѣется, я въ то время на флейтѣ игрывалъ — ну, Софья Павловна и приглашала меня собственно на предметъ акомпанимента... Однажды, точно-что, послѣ игры, ручку изволили дать мнѣ поцѣловать; однако я такъ благодаренъ на этотъ счетъ былъ, что тогда же имъ доложилъ, что

въ ихнемъ званіи и милости слѣдуетъ расточать съ разсужденіемъ... Нѣтъ, ужъ вы, сдѣлайте милость, и не думайте!

— А какъ же, однако, помните сцену послѣ бала?... когда она васъ еще съ Лизой застала?

— Тутъ, батюшка, я самъ кругомъ виноватъ былъ! Забылся-съ. Ну, слѣдъ ли мнѣ былъ—въ чьемъ домѣ! въ вельможномъ!—шашни заводить! Само собой, что Софьѣ-то Павловнѣ обидно показалось! Барышня, можно сказать, въ страхѣ Божіемъ воспитана была... завсегда у мадамъ Розье на глазахъ... и вдругъ съ ея фрейлиной и возлѣ самыхъ ея аппартаментовъ—такой пассажъ! тьфу!

— Скромничаете вы, Алексѣй Степанычъ!

— Чего скромничать! Самъ Александръ Андреевичъ *) впослѣдствіи сознался, что погорячился немного. Вѣдь онъ таки-женился на Софьѣ-то Павловнѣ, да и какъ еще доволенъ-то былъ! Даже и доднесь они мнѣ благодѣтельствуютъ, а Софья Павловна и дѣтей у меня всѣхъ до единаго отъ купели воспринимала. Какъ только женѣ родить срокъ приходитъ, такъ я сейчасъ и отписываю. И ни разу не случалось, чтобъ проманкировала. Пріѣдетъ, знаете, прифрантится, всѣхъ дѣтей (у меня вѣдь, кромѣ старшихъ, еще мелюзги пропасть!) перецѣлуетъ, скажетъ: „а помнишь, Алексѣй Степанычъ, какъ ты на флейтѣ игрывалъ? какой ты тогда чудакъ былъ!“ — и новорожденному крестнику непремѣнно двадцать-пять полуимперіаловъ на зубокъ подаритъ. А я, не будь простъ, сейчасъ къ Юнкеру да внутренняго займа съ выигрышами билетецъ-съ! Можетъ быть, когда-нибудь на наше счастіе тысчёнокъ двадцать-пять — о двухъ стахъ-то мы ужъ не думаемъ — и выпадетъ! Да, голубчикъ, развратили и меня съ этими внутренними выигрышами! Сидишь-сидишь, да и вздумаешь: а ну какъ... тьфу! прости, Господи!

— Какъ же это вы съ Павломъ Аѳанасьичемъ разстались?

— Да что! Какъ попали они въ ту пору подъ судъ...

— Такъ онъ подъ судомъ былъ?

— То-то, что былъ! Въ то время къ нему въ канцелярію Чичиковъ Павелъ Иванычъ поступилъ — такая ли продувная бестія! Первымъ дѣломъ, онъ Павла Аѳанасьича себѣ поработилъ; вторымъ дѣломъ, для Софьи Павловны изъ таможни какой-то огуречной воды для лица досталъ. Словомъ сказать, всѣхъ очаровалъ. Вотъ, однажды,

*) Чацкій.

и подсунулъ онъ Павлу Аѳанасьичу бумажку (я въ то время не могъ ужъ совѣтовать: въ загонѣ былъ), а тотъ и подмахнулъ. Смотримъ— анъ черезъ три мѣсяца къ намъ ревизія, а тамъ, немного погодя, и судъ...

— Огорчился, чай, Павелъ Аѳанасьичъ?

— Только двѣ недѣли и жилъ послѣ того. А умеръ-то какъ! именно только праведники такъ умирать могутъ! На послѣднихъ минутахъ даже даръ прозорливости получилъ: „увидишь, говоритъ, Алексѣй Степанычъ, что явится человѣкъ, который за меня, невинно пострадавшаго, злодѣю Чичикову отомститъ!“ И точно: слышимъ потомъ — Гоголь выискался! И какъ онъ его, шельму, расписалъ! Читали, чай?

— Читалъ-таки. Ну, а вы какъ послѣ смерти Павла Аѳанасьича?

— Съ мѣсяцъ послѣ того я безъ мѣста шатался, а затѣмъ Александръ Андреичъ въ Петербургъ меня перетащилъ. И вотъ тогда-то онъ и повинился передо мной. „Я, говоритъ, и нивѣсть что про тебя, Алексѣй Степанычъ, думалъ, даже цѣлую исторію изъ-за тебя тогда поднялъ, а вѣдь ты и въ самомъ дѣлѣ только на флейтѣ игралъ... чудакъ!“

— Что же вы у Чацкаго дѣлали?

— Въ то время департаментъ государственныхъ умопомраченій учрежденъ былъ, а Александръ Андреичъ туда директоромъ назначеніе получилъ. Ну, и меня за-одно помощникомъ экзекутора опредѣлилъ.

— Христосъ съ вами, Алексѣй Степанычъ! да развѣ существовалъ такой департаментъ?

— У насъ, сударь, и не такіе департаменты бывали! А этотъ департаментъ Александръ Андреичъ даже самъ для себя и проектировалъ. Вѣдь онъ—послѣ того, какъ изъ Москвы-то уѣхалъ — въ исторію попалъ, въ узахъ года съ полтора высидѣлъ; а какъ выпустили его потомъ на всѣ четыре стороны, онъ этотъ департаментъ и надумалъ. „У насъ, говоритъ, доселѣ по простотѣ просвѣщали: возьмутъ, заведутъ школу, дадутъ въ руки указку — и просвѣщаютъ. Толку-то и мало выходитъ. А я, говоритъ, такъ надумалъ: просвѣщать посредствомъ умопомраченій. Сперва помрачить, а потомъ просвѣтить“.

— И успѣшно у него это дѣло шло?

— Какъ сказать! настоящаго-то успѣху, пожалуй, что и не достигъ. Послѣдовательности въ немъ не было, строгости этой. То вдругъ велитъ науки прекратить, а молодыхъ людей исключительно съ одними сонниками знакомить; а потомъ, смотришь, сонники въ печку полетѣли, а науки опять въ чести сдѣлались. Все, знаете, старинное московское вольнодумство въ немъ отрыгалось. Ну, и вышло, что ни просвѣтилъ, ни помрачилъ!

— И долго у васъ эта канитель тянулась?

— Нѣтъ, не долго. Всего годковъ съ десять директоромъ посидѣлъ. А подъ конецъ даже опустился совсѣмъ. „Опротивѣло!“ говоритъ. Придешь-это, бывало, съ докладомъ, а онъ: „ахъ, говоритъ, какъ все мнѣ противно!“ Или вдругъ монологъ: „Уйду, говоритъ, искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ!“ И что-жъ бы вы думали! на одиннадцатомъ году подалъ-таки въ отставку!

— Живъ онъ еще?

— Въ имѣніи своемъ, въ веневскомъ, живетъ. И Софья Павловна съ нимъ. И посейчасъ какъ голубки живутъ. Жаль, дѣтей у нихъ нѣтъ — все имѣніе Антону Антонычу Загорѣцкому останется. Онъ Чацкому-то внучатнымъ братомъ приходится.

— Помилуйте! да вѣдь и Чацкому теперь, поди, за семьдесятъ — сколько же лѣтъ Антону Антонычу?

— Ему подъ девяносто, да онъ, сударь, и до ста шутя проживетъ. Вы его теперь и не узнаете: нисколько въ немъ прежняго вертопрашества не осталось, даже лгать пересталъ. Доносъ онъ въ ту пору неосновательный на Репетилова написалъ — ну, его и пре́зрили! Съ тѣхъ поръ остепенился, сталъ въ карты играть, обобралъ молодого Горича, да и началъ деньги въ проценты отдавать. Теперь деньжищъ у него — страсть сколько! Поселился въ старинномъ Горичевскомъ имѣніи, всю округу подъ свою державу привелъ! Однако, какъ бы вы думали! отъ доносовъ все-таки не отсталъ! Нѣтъ-нѣтъ, да и пуститъ! Даже на Александра Андреича сколько разъ доносилъ!

— Неужто-жъ Чацкій съ нимъ, послѣ этого, видится?

— Какъ не видѣться! Родня-съ. У Александра Андреича, съ тѣхъ поръ, какъ онъ въ узахъ-то высидѣлъ, и насчетъ родни всѣ понятія измѣнились. Прежде онъ и слышать не хотѣлъ объ Антонѣ Антонычѣ, а теперь — не знаетъ, гдѣ и усадить-то его!

— Ну-съ, а когда Александръ Андреичъ въ отставку вышелъ —послѣ какъ?

— А послѣ Александръ Андреичъ Репетилова на свое мѣсто рекомендовалъ. Тотъ тоже лѣтъ съ пятокъ повластвовалъ. Не притѣснялъ и этотъ—нечего сказать!

— Скажите, пожалуйста! И Репетиловъ начальникомъ былъ! Вѣдь это почти сказка изъ „Тысячи одной ночи“!

— Все было! да и чѣмъ Репетиловъ хуже другихъ! Еще лучше-съ. Послужите съ наше—будете и Репетиловыхъ цѣнить!

— Позвольте, однако! Я себѣ даже представить не могу... ну, что̀ могъ Репетиловъ въ департаментѣ дѣлать, хотя бы и по части умопомраченій?

— А что̀ ему дѣлать! Пришелъ—и съ перваго же абцуга сказалъ намъ рѣчь: „вы, говоритъ, меня не безпокойте, и я васъ безпокоить не стану!“

— Гм... а что вы думаете! вѣдь это не дурно!

— Прямо нужно сказать: хорошо! Потому, ежели никто никого не бѐзпокоитъ — значитъ, всякій при своемъ дѣлѣ находится; ни шуму, значитъ, ни гаму, ни свѣтопреставленія. Домашніе театры онъ у насъ въ департаментѣ устраивалъ, свои собственные водевили ставилъ. Бывало, къ нему начальникъ отдѣленія съ докладомъ придетъ, а онъ—въ самой серединѣ доклада—вдругъ куплетецъ!

— И прекрасно. Право, хорошо!

— Однако, годковъ черезъ пятокъ и онъ не выдержалъ. Не разъ онъ и прежде проговаривался: „Слушай, говоритъ, Алексѣй Степанычъ! самъ ты видишь, какой я человѣкъ! „Способностями Богъ меня не наградилъ“, однако, какъ раздумаюсь, что и я когда-то... что у меня Удушьевъ пріятелемъ былъ—ну, повѣришь-ли, такъ мнѣ сдѣлается противно... такъ противно! такъ противно!“

— Ему-то отчего-жъ?

— А Христосъ его знаетъ! Сказываютъ, что прежде-то онъ въ масонахъ былъ, а тутъ, какъ нарочно, строгій приказъ вышелъ, чтобъ тѣ, кто въ масонахъ былъ — напредь объ масонствѣ чтобъ ни гугу! Ну, онъ подписку-то далъ, да съ тѣхъ поръ и затосковалъ.

— Гм... стало быть, и въ немъ этотъ духъ-то былъ!

— Настоящаго духу не было, а душокъ — это точно! И представь себѣ, странность какая! Вѣдь я и до сихъ поръ не знаю, какъ

этого Репетилова по имени и по отчеству звать. Какъ прежде въ Москвѣ, бывало: Репетиловъ да Репетиловъ, такъ и послѣ... Даже въ формулярѣ значилось: Репетиловъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, а объ имени и отчествѣ—ни гугу!

Этимъ заканчивалась первая половина Молчалинской поэмы. Разсказывая объ ней, Алексѣй Степанычъ словно расцвѣталъ. Да и мнѣ, слушая его, иногда казалось: что-жъ! право, Молчалинское житье-бытье вовсе еще не такъ дурно, какъ я полагалъ! Вотъ хоть бы Алексѣй Степанычъ: онъ и на флейтѣ игралъ, и у Чацкихъ домашнимъ человѣкомъ былъ, и съ Репетиловымъ вмѣстѣ водевили ставилъ... отлично! Конечно, образъ и подобіе Божіи у него, говоря биржевымъ языкомъ, и до-днесь находятся *въ слабомъ настроеніи*, однако все лучше хоть и безъ образа и подобія Божія, да въ теплѣ сидѣть и на флейтѣ играть, нежели... Да-съ, лучше-съ! Покойнѣе-съ! Вонъ онъ, поди, тысячи двѣ рублей жалованья получаетъ, да домъ у него на Пескахъ свой, да у каждаго ребенка по билету внутренняго съ выигрышами займа... И вдругъ онъ двѣсти тысячъ выиграетъ? Уйдетъ онъ *оттуда*, или останется *тамъ*?

Покуда я все это раздумывалъ, Алексѣй Степанычъ пристально вглядывался въ меня и словно угадывалъ мои мысли.

— Ты объ моихъ выигрышныхъ билетахъ что-ли думаешь?—спросилъ онъ меня полушутя.

— Нѣтъ... съ какой же стати!

— Полно, братъ, не хитри! Чай, думаешь: вотъ, выиграетъ этотъ человѣкъ двѣсти тысячъ—что онъ съ ними дѣлать будетъ?

— А въ самомъ дѣлѣ, что бы вы сдѣлали?

— Откровенно тебѣ скажу: теперь хоть озолоти меня, я все тѣмъ же Молчалинымъ останусь, какимъ до сихъ поръ былъ. Потому что для меня всякая перемѣна—матъ! Я вотъ сорокъ почти лѣтъ на службѣ состою, а не помню дня, чтобъ когда-нибудь проманкировалъ. Ежели даже боленъ, и то хоть перемогусь, а все-таки иду, потому что знаю: не пересиль я себя — совсѣмъ слягу! Повѣришь ли: придетъ-это праздникъ, такъ день-то длинный-раздлинный кажется! И къ обѣднѣ сходишь, и спать ляжешь, и у окошка сядешь, и самоваръ раза три поставить велишь — и все никакъ его доканать не можешь!

— Да, привычка—большое дѣло. А впрочемъ, изъ того, что я

до сихъ поръ отъ васъ слышалъ, право, еще нельзя заключить, чтобъ вамъ худо жилось!

— Ну, со всячинкой тоже, а временами такъ и очень со всячинкой. Тѣ времена, объ которыхъ я до сихъ поръ разсказывалъ, были простыя: и съ насъ меньше требовали, да и сами мы носовъ не задирали. Тогда, дѣйствительно, жить было можно. Одно только неудобство было—это въ стоячку жизнь проводить!

— Какъ такъ „въ стоячку“?

— А такъ, просто на своихъ на ногахъ. Я вѣдь не по письменной, а по экзекуторской части больше служилъ — значитъ, все у начальства въ глазахъ. Ну, а какъ ты, позволь тебя спросить, въ виду начальника сядешь?

— Стало быть, и передъ Репетиловымъ стояли?

— Да, и передъ Репетиловымъ. Впрочемъ, въ то время, батенька, это не то чтобъ жестокость была, а такъ въ голову начальству не приходило, чтобъ предложить подчиненному сѣсть. Эти „милости просимъ“ да „садитесь, пожалуйста“ — ужъ гораздо позднѣе въ обыкновеніе вошли.

— И то слава Богу. Лучше поздно, чѣмъ никогда.

— Богъ знаетъ, лучше ли. На словахъ-то онъ „садитесь, пожалуйста“, а на дѣлѣ такими иголками тебѣ сидѣніе-то нашпигуетъ, что лучше бы напрямки, безъ вывертовъ, крикнулъ: руки по швамъ!

— Ну-те, разсказывайте, Алексѣй Степанычъ, что же съ вами дальше было?

— А дальше — хуже. Какъ вышелъ-это Репетиловъ, остался я совсѣмъ безъ благодѣтелей. До тѣхъ поръ, хоть и не больно красно жилось, а все будто въ своей семьѣ былъ. А тутъ стали поговаривать, что и департаментъ-то нашъ, за вольный духъ, совсѣмъ закрыть слѣдуетъ. И точно, цѣлыхъ три мѣсяца къ намъ даже и директора не назначали; съ часу на часъ мы ждали: вотъ-вотъ распустятъ—какъ вдругъ приказъ: назначается къ намъ директоромъ генералъ-маіоръ Отчаянный.

— Это тотъ самый Отчаянный, который впослѣдствіи департаментомъ побѣдъ и одолѣній управлялъ?

— Тотъ самый... небось помнишь, какъ вмѣстѣ горе тяпали! Ну, да въ то время, какъ ты-то его узналъ—это что! агнецъ Божій, въ сравненіи, былъ! Вотъ ты бы тогда съ нимъ поговорилъ, какъ онъ

съ воли, прямо изъ полка прибѣжалъ. Страсть! того гляди, взглядомъ убьетъ! Влетѣлъ онъ къ намъ, словно озаренный; чиновникъ одинъ на дорогѣ попался — такъ и скосилъ! Собралъ насъ, и говоритъ: „Вы, говоритъ, можетъ быть, думаете, что я въ масонахъ служилъ?—нѣтъ, говоритъ, я служилъ не въ масонахъ, а въ апшеронскомъ полку! Или, говоритъ, мечтаете, что я пришелъ вашимъ развратнымъ гнѣздомъ управлять!—нѣтъ, я развратное ваше гнѣздо разорить пришелъ! Вонъ—всѣ!“ Какъ сказалъ онъ это — у всѣхъ такъ и захолонуло! Не знаемъ, какъ это слово „вонъ!“ понять: изъ департамента ли совсѣмъ вонъ бѣжать, или только по своимъ мѣстамъ разойтись? Рѣшили, однако: разойтись по своимъ мѣстамъ. И пошелъ онъ нами вертѣть. Сидитъ у себя въ кабинетѣ, и все во звонокъ звонитъ. То-есть, была ли минута одна, чтобъ онъ не звонилъ! То того подай, то другого! то жарко, то холодно! Звонъ да гамъ! Гамъ да звонъ! Вѣришь ли, домой, бывало, послѣ присутствія прибѣжишь —все этотъ звонъ слышишь! Бросишься-это передъ иконой Богоматери: Заступница!..

Молчалинъ остановился, словно бы поперхнулся. Мнѣ и самому совѣстно было, что я вызвалъ его на эти изумительныя воспоминанія. Однако, черезъ минуту, онъ отдышался и продолжалъ:

— И представь себѣ, не успѣешь дома ложку щей проглотить —смотришь: курьеръ! требуютъ! Прискачешь-это къ нему, а онъ: „нѣтъ, теперь не надобно!“ А черезъ четверть часа и опять! и опять! Такъ, покуда эта раскассировка шла, я никуда, кромѣ департамента, и со двора не ходилъ; даже спать не раздѣвавшись ложился!

— И долго это тянулось?

— Да годъ съ лишнимъ. Наконецъ, резолюція вышла: четверть департамента подъ судъ отдать, половину по дальнимъ городамъ разослать—сочти, много ли уцѣлѣло?

— Вы-то, однако, уцѣлѣли?

— Что я! Я въ ихнихъ вольномысліяхъ участія не принималъ! Я по экзекуторской части былъ! Ко мнѣ, сударь, онъ даже привыкъ. Когда его въ департаментъ побѣдъ и одолѣній перевели, онъ и меня съ собою взялъ... Тамъ-то мы съ вами и познакомились, батенька!

Сказавъ это, Алексѣй Степанычъ протянулъ мнѣ руку, какъ бы давая этимъ понять, что знакомство со мною для него было не непріятно.

— А знаешь ли,—продолжалъ онъ:—вѣдь чиновники-то наши потомъ его усмирили!

— Какъ такъ?

— Да самымъ простымъ способомъ. Сказываться не стали. Пришелъ онъ однажды въ департаментъ и началъ звонить. Ну, покуда побѣжали, покуда что—онъ не утерпѣлъ, самъ на розыски побѣжалъ. Приходитъ въ одно отдѣленіе — и вдругъ всѣ чиновники въ разсыпную; приходитъ въ другое — и тутъ всѣ вонъ; въ третье — та же исторія. Только я одинъ, бѣдный Макаръ, и остался. Остановился онъ тутъ противъ меня, глаза большіе, духъ занимается, не можетъ слова вымолвить, только ротъ разѣваетъ... И все нутро у него даже гудитъ... у-у, а-а-а...

— Что-жъ, и подѣйствовало?

— Сталъ потише. По отдѣленіямъ бродить пересталъ, только звонить еще больше началъ!

— А страшно, я думаю, было, какъ онъ съ вами въ то время лицомъ къ лицу сталъ, когда чиновники-то съ нимъ эту штуку сыграли!

— Ужъ чего еще! Однако, я тебѣ скажу, и во мнѣ одинъ разъ это мужество проявилось! Говоритъ онъ мнѣ однажды: „Позвать!“ говоритъ. — Кого, говорю, позвать прикажете. — „Позвать!“ говоритъ.—Кого же, ваше превосходительство, позвать прикажете?—Онъ въ третій разъ: „Позвать!“ говоритъ. Ну, тутъ я, признаться, не выдержалъ, возвысилъ-это голосъ, да какъ ляпну: — Да кого же, ваше превосходительство, позвать изволите приказать?—Да, было-таки и у меня! былъ и со мной такой случай!

— Ну, а онъ что?

— Да! почесалъ-таки переносицу! понялъ!

— Повысилъ ли онъ васъ, по крайней мѣрѣ, за вашу службу? наградилъ ли?

— Представь себѣ, какой Иродъ! Десять лѣтъ я при немъ состоялъ, и всѣ десять лѣтъ у насъ экзекутора вакансія была — ну, что бы, кажется, стоило! И какъ бы ты думалъ?—вѣдь такъ и не сдѣлалъ меня экзекуторомъ! Въ помощникахъ всѣ десять лѣтъ такъ-таки и выдержалъ!

— Какъ же вы оттуда выбрались?

— Видишь ли: въ пятидесятыхъ годахъ, въ половинѣ, сдѣла-

лось вездѣ, въ прочихъ мѣстахъ, куда противъ прежняго легче. Ну, и сталъ я подумывать, какъ бы въ другое мѣсто улизнуть. А тутъ кстати департаментъ распредѣленія богатствъ открылся, и назначили туда командиромъ Рудина...

— Какъ, Рудина? Того, который въ Дрезденѣ...

— Того самаго. Да неужто не помнишь? Какъ департаментъ-то его открыли, помѣщики въ то время такъ перетрусились, что многіе даже имѣнія бросились продавать: Пугачевъ, говорятъ, воскресъ. Ну, да вѣдь оно и точно... было тутъ намѣреньице... Коли по правдѣ-то говорить, такъ вѣдь Рудина-то именно для того и выписали изъ Дрездена, чтобъ онъ, значитъ, эти идеи примѣнилъ. Вотъ онъ и переманилъ меня къ себѣ: онъ вѣдь Репетилову-то роднымъ племянникомъ приходится.

— Вотъ вы у него бы и спросили, какъ Репетилова-то зовутъ?

— Представь себѣ: спрашивалъ—не знаетъ! Самъ даже сконфузился. Припоминалъ-припоминалъ: „фу! говоритъ, да просто зовутъ Репетиловымъ!“

— Хорошо вамъ при Рудинѣ было?

— При немъ—очень хорошо. Даже дѣла совсѣмъ никакого не было. Придетъ, бывало, въ департаментъ, спроситъ: „когда же мы, господа, богатства распредѣлять начнемъ?“ посмѣется, между прочимъ, двугривенничекъ у кого-нибудь займетъ — и слѣдъ простылъ!

— Кстати: что это у него за страсть была у всѣхъ двугривенные занимать?

— Такъ это, по разсѣянности дѣлалось, а можетъ быть и просто по непонятію. Онъ на деньги какъ-то особенно глядѣлъ. Все равно какъ ихъ нѣтъ. Сейчасъ это возьметъ у тебя, и тутъ же, при тебѣ, другому, кто у него попроситъ, отдастъ. Въ этомъ отношеніи онъ почти что Божій человѣкъ былъ.

— И долго онъ служилъ?

— Нѣтъ, скучно стало. Годика три промаячилъ, а потомъ и затосковалъ. „Противно“, говоритъ. Взялъ да въ Дрезденъ опять ушелъ. А тутъ, кстати, и нашъ департаментъ переформировали: изъ департамента распредѣленія богатствъ — департаментъ предотвращеній и пресѣченій сдѣлали. Спокойнѣе-молъ.

— Ну, тутъ какъ?

— По началу—ничего было. Старичка посадили—тоже Мол-

чалинымъ по фамиліи прозывался — хорошо обходился! А тутъ въ скоромъ времени на стариковъ-то мода проходить стала — его и смѣнили. А ужъ послѣ него... вотъ тутъ-то я самую му́ку и принялъ!

— Это при нынѣшнемъ-то? неужто хуже, чѣмъ при Отчаянномъ?

— Хуже. Потому Отчаянный только звонками донималъ, а этотъ прямо по карману бьетъ, кусокъ у тебя отнимаетъ. Только и словъ у него: „въ отставку извольте подавать!“ Ни резоновъ, ни разговоровъ... Ну, самъ ты посуди! подай я теперь въ отставку — что-жъ я завтра ѣсть-то буду? Вотъ этого-то онъ и не понимаетъ! Даже прямо нужно сказать: ни капли ума у него на этотъ счетъ нѣтъ!

— Ахъ, Алексѣй Степанычъ, Алексѣй Степанычъ! хорошій вы человѣкъ!

— Страстотерпецъ я — вотъ что! Вѣдь ты знаешь, нынче у насъ кто начальникомъ-то? — Князь Тугоуховскій... ну, сынъ того князя Тугоуховскаго, который еще къ покойнику Павлу Аѳанасьичу на балы ѣзжалъ.

— А! да! помню! помню!

— Вотъ, какъ назначили его, я, признаться, даже обрадовался. Все, думаю, свой человѣкъ — вспомнитъ! И что-жъ, сударь! пріѣхалъ онъ къ намъ въ департаментъ, а я съ дураковъ-то и ляпни: —я, говорю, ваше сіятельство, отъ вашего родителя обласканъ былъ, а ваше, молъ, сіятельство даже на рукахъ маленькимъ нашивалъ!— Сказалъ это, да и самъ не радъ. Вижу, что у него даже лицо перекосило: то въ меня глаза уставитъ, то по сторонамъ озирается, словно спрашиваетъ: куда-молъ это я попалъ? „Ну-съ?“ говоритъ.—Извините, говорю, ежели я ваше сіятельство обидѣлъ!—„Обидѣть, говоритъ, вы меня никоимъ образомъ не можете, а на будущее время прошу васъ держаться слѣдующаго правила: отвѣчать только на вопросы, а о постороннихъ вещахъ со мною не разговаривать!“ Это на общемъ пріемѣ-то такъ обжегъ! При всѣхъ!

— Фуй!

— Да, такъ-таки съ перваго раза съ грязью меня и смѣшалъ! И долго послѣ того у насъ такимъ манеромъ шло: онъ слово — и я слово, онъ два — и я два. Придешь къ нему, по приглашенію, въ кабинетъ, а онъ тамъ взадъ и впередъ словно на выводкѣ ходитъ. Слова порядкомъ не вымолвитъ — все сквозь зубы... изволь понимать! Стоишь-это, да только одно въ мысляхъ и держишь: а ну, какъ

онъ въ отставку подать велитъ! У меня же въ это время дѣтки подростать стали—самъ посуди, каково родительскому-то сердцу такую тревогу ежечасно испытывать!

— Пронесло, однакожъ?

— Пронесло... разумѣется! Сталъ я по времени за нимъ примѣчать... Придетъ; вижу, что фыркаетъ — я и къ сторонкѣ! Или внезапность какую-нибудь придумаю: бумажку пріятную приберегу, да тутъ ее и подамъ. Смотришь, анъ направленіе-то у него и перемѣнилось! А иногда и самъ отъ себя веселый придетъ... и это бываетъ! Бываетъ съ ними... все съ ними, голубчикъ, бываетъ!

— И вы пользуетесь этимъ, чтобъ... — прервалъ я, желая при этомъ случаѣ благодарно напомнить объ услугѣ, которую я только-что испыталъ на себѣ.

— Ну-ну, что̀ тутъ! — скромно прервалъ онъ.—Конечно, добрымъ людямъ услугу не грѣхъ оказать... не великъ еще подвигъ! А впрочемъ, счастіе наше, мой другъ, что они дѣла не знаютъ, молодые-то! А кабы знали — только бы и видѣла матушка Русь православная! Да вѣдь и впрямь: до дѣла ли ему? ему, молодому, съ дѣвушками поиграть хочется, а его начальство за дѣло усаживаетъ! Вотъ онъ и ходитъ самъ не свой. Метресса ему тамъ измѣнила — а онъ эту измѣну на департаментѣ вымещаетъ. И рветъ, и мечетъ. „Въ отставку!“ „Подъ судъ!“ „Куда Макаръ телятъ не гонялъ!“ —такъ и сыплетъ! Ахъ! тоже вѣдь и съ ними... и ихъ пожалѣть надо, мой другъ!

— Помилуйте, Алексѣй Степанычъ! Ему метресса измѣнила, а я изъ-за этого долженъ съ Макаровыми телятами знакомство сводить! На что похоже!

— А какъ бы ты думалъ! въ свѣтѣ-то вѣдь и все такъ. Иной разъ слышишь: шумъ, гамъ, свѣтопреставленіе... думаешь, что̀ случилось? — анъ просто: онъ не той ногой съ постели всталъ! Вотъ, стало быть, и нужно за нимъ примѣчать. Коли онъ въ духѣ — значитъ, докладывай; коли не въ духѣ — побережись! Тогда и будетъ все ладно!

— Однакожъ, какой громадный это трудъ!

— Безъ труда, мой другъ, нашему брату шагу нельзя сдѣлать. Опять-таки говорю: наше счастіе, что они, молодые-то люди, дѣла не знаютъ. Ежели бы не это—намъ бы совсѣмъ отъ нихъ матъ при-

шелъ. Давно бы они насъ расточили. Реформы у нихъ однѣ въ головѣ, а дѣла—и званія нѣтъ. Ни разсказать, ни съютить, ни изложить... Ну, вотъ, онъ попрыгаетъ-попрыгаетъ, да къ тебѣ же и придетъ съ повинной. Такъ-то.

— Стало быть, вамъ онъ и въ отставку ни разу подавать не предлагалъ?

— Нѣтъ, Богъ миловалъ. Однажды, по началу, заикнулся-было: „лучше бы, говоритъ, вамъ“... да тутъ сторожъ записку ему отъ метрессы подалъ — онъ и позабылъ. А недавно такъ даже самъ со мной разговоръ началъ: „дѣйствительно, говоритъ, я теперь припоминаю: Москва... господинъ Фамусовъ... домъ на Собачьей площадкѣ... только васъ вотъ... ну, хоть убейте, не помню!“ Гдѣ, чай, припомнить!

Сказавши это, Алексѣй Степанычъ взглянулъ на часы и всполошился.

— Господи! никакъ я у тебя засидѣлся! Смотри-ка, три часа! Чай, и Сахаръ Медовичъ ужъ въ департаментѣ!

— Да посидите, Алексѣй Степанычъ! Я съ вами о внутренней политикѣ поговорить хотѣлъ. Все лучше, какъ знаешь, чего держаться. А не знавши-то, чего добраго, и опять въ просакъ попадешь!

— А ты не попадайся! Своимъ умомъ доходи! Впрочемъ я, пожалуй, не прочь добрый совѣтъ дать. Только не нынче, а въ другой разъ.

Глава III.

Прошелъ мѣсяцъ, въ продолженіе котораго я не видалъ Молчалина. Въ началѣ сентября, идя по Невскому, я почувствовалъ, что кто-то сзади прикоснулся къ моему плечу. Оглядываюсь — Алексѣй Степанычъ.

— Забыли? грѣшно, сударь!—молвилъ онъ:—а не худо бы провѣдать стараго сослуживца!

— И то сколько разъ собирался къ вамъ въ департаментъ зайти, да совѣстно: все думается, какъ бы васъ отъ занятій не оторвать!— оправдывался я.

— Какъ будто только и свѣта въ окнѣ, что департаментъ! чай, и квартира у насъ есть. Свой домъ, батюшка! На Пескахъ, въ 4-й

улицѣ! Хорошо у насъ тамъ—тихо. И въ Коломнѣ тихо живутъ, да та бѣда—мѣсто низкое; того гляди, наводненіе въ гости пожалуетъ. Пятнадцатый годъ домовладѣльцемъ и прихожаниномъ въ своемъ мѣстѣ состою... ничего! ни въ чемъ не замѣченъ!

— Непремѣнно! непремѣнно! какъ-нибудь утромъ въ праздникъ...

— Зачѣмъ утромъ! прямо къ обѣду въ будущее воскресенье милости прошу! По воскресеньямъ мы въ три часа обѣдаемъ. Въ прочіе дни къ седьмому часу врядъ по службѣ исправиться, а въ воскресенье —мой день!

— Неужели вы каждый день въ департаментѣ до седьмого часа сидите?

— А то какъ же! Вотъ теперь половина двѣнадцатаго, а я только еще на службу ползу, да и тутъ, пожалуй, развѣ писарька какого-нибудь заблудящаго на мѣстѣ застану. Это вѣдь прежде водилось, что чиновники въ департаментъ съ девяти часовъ забирались и всѣмъ, бывало, дѣло найдется. А ноньче, велика ли птица столоначальникъ, а и того раньше половины перваго не жди, а не то такъ и ровно въ часъ. Идетъ-это каблучками стучитъ, портфель подъ мышкой несетъ, всѣмъ корпусомъ впередъ подался... Ну, ни дать, ни взять, либо самъ директоръ, либо его курьеръ!

— Удивительно, какъ они дѣло дѣлать успѣваютъ!

— Чего „удивительно“! Коли по совѣсти-то говорить, такъ ежели бы онъ и въ три часа пожаловалъ, хуже бы не было!

— Что такъ?

— Да такъ. Дѣлъ совсѣмъ нѣтъ. Обѣгать насъ какъ-то стали. Кажется, кабы сами мы дѣлъ не придумывали, а жили бы себѣ полегоньку, такъ и въ департаментъ совсѣмъ бы ходить незачѣмъ!

— А что вы думаете! вѣдь не худо бы это было!

— Чего лучше!.. небось ты первый обрадовался бы! А знаешь пословицу: бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ? Нельзя, сударь, этого! потому чиновнику тоже пить-ѣсть надо! Ты сообрази, сколько въ Петербургѣ чиновниковъ-то — и вдругъ всю эту араву, за неимѣніемъ дѣлъ, упразднить! нѣтъ, пусть лучше, хоть и безъ дѣла, а въ департаментъ похаживаютъ!

— Да для чего же?

— Бога пусть помнятъ, отъ страха не отвыкаютъ!

— Чѣмъ же вы занимаетесь, ежели дѣла такъ мало?

— Я-то найду чѣмъ заняться. Нѣтъ дѣла — газету почитаю, перья починю, все какъ слѣдуетъ приготовлю... А тамъ смотришь, бумажонка какая ни на есть наклевалась. Покуда ее сообразишь, да помѣтишь, да къ исполненію передашь — анъ черезъ полчаса она и опять къ тебѣ съ исполненіемъ воротится! Ну, и опять сообразишь, поправишь, передѣлать отдашь — смотришь, и къ Вольфу пора кофей пить. Да я всегда дѣло найду, а вотъ молодежь, хоть бы господа столоначальники — тѣ совсѣмъ заниматься перестали!

— Что жъ они дѣлаютъ?

— Что̀ ему дѣлать! Придетъ въ первомъ часу — съ полчаса очнуться не можетъ: потягивается да позѣвываетъ, потомъ папироску закуриваетъ, спичками чиркаетъ; потомъ на столъ сядетъ, ногами болтаетъ; потомъ свистать начнетъ... Прежде, бывало, изъ „Елены Прекрасной“, а ноньче „мадамъ Анго“ откуда-то проявилась. Покуда онъ все это продѣлаетъ, глядишь — ужъ четвертый часъ: скоро и „чà̀душкѣ“ время придти. Ну, тутъ онъ дѣйствительно на часокъ присядетъ да что-нибудь и поскребетъ перомъ.

— А „чà̀душко“ рано ли приходитъ?

— Не равнò. Иногда въ пятомъ въ исходѣ, а иногда и въ шестомъ въ половинѣ. Ну, и пойдетъ тутъ у насъ бѣготня. Сильно онъ насъ, стариковъ, этимъ подъѣдаетъ. Вѣришь ли, хоть и дѣла нѣтъ, а домой придешь весь словно изломанный! — Такъ какъ же? до воскресенія что-ли?

Я далъ слово, и мы разстались.

Въ слѣдующее воскресенье, ровно въ три часа, я уже былъ у Молчалина. Деревянный, одноэтажный домикъ Алексѣя Степаныча снаружи казался очень приличнымъ и помѣстительнымъ. Привѣтливо глядѣлъ онъ своими свѣтлыми семью окнами и трехъ-оконнымъ мезониномъ на улицу, словно приглашая взойти на чисто выметенное крыльцо и дернуть за ручку звонка. Сбоку, у крыльца, находились запертыя ворота съ неизбѣжною калиткой; поверхъ воротъ виднѣлось пять-шесть деревъ, свидѣтельствовавшихъ, что въ глубинѣ двора существуетъ какая-то садовая затѣя.

Изъ передней я вошелъ прямо въ залъ, гдѣ ужъ былъ накрытъ большой столъ человѣкъ на двѣнадцать. Тутъ же находился и Алексѣй Степанычъ, хлопотавшій около стола съ закуской.

— Вотъ и отлично!—встрѣтилъ онъ меня, подавая обѣ руки: —три часа ровнёхонько. Аккуратность — вѣжливость царей, какъ говаривалъ покойный Александръ Андреичъ *); ну, а мы хоть съ коронованными особами знакомства не водимъ, но и между своими, простыми знакомыми аккуратность за лишнее не почитаемъ!

— Позвольте васъ перебить, Алексѣй Степанычъ. Вы сказали: „покойный Александръ Андреичъ“ —развѣ онъ скончался?

— Скончался, мой другъ! Пять дней тому назадъ отъ Софьи Павловны телеграмму получилъ: „отлетѣлъ нашъ ангелъ!“ А сегодня по ранней машинѣ и нарочный отъ нея съ письмомъ пріѣхалъ. Представь себѣ! и недѣли не прошло, а ужъ Загорѣцкій процессъ противъ нея затѣваетъ!

— По какому случаю?

— Да просто по тому случаю, что подлецъ. Это настоящая причина, а обстановку онъ, конечно, другую отыскалъ. Вотъ видишь ли, Александръ-то Андреичъ хоть и умный былъ, а тоже простыня-человѣкъ. Всю жизнь онъ мучился, какъ бы Софья Павловна, по смерти его, на бобахъ не осталась — ну, и распорядился такъ: все имѣніе ей въ пожизненное владѣніе отдалъ, а ужъ по ея смерти оно должно въ его родъ поступить, то-есть къ Антону Антонычу. Только вотъ въ чемъ бѣда: самъ-то онъ законовъ не зналъ, да и съ адвокатами не посовѣтовался. Ну, и написалъ онъ въ завѣщаніи-то: „а имѣніе мое родовое предоставляю другу моему Сонечкѣ по смерть ея“... Теперь Загорѣцкій-то и спрашиваетъ: какой такой „мой другъ Соничка“?

— Гм... а вѣдь дѣло-то ея, пожалуй, плохо!

— То-то, что некрасиво. И вѣдь какіе чудные эти господа филантропы! Вотъ хоть бы Александръ Андреичъ,—это Софья Павловна мнѣ пишетъ,—и умирая, все твердилъ:

Будь, человѣкъ, благороденъ!
Будь сострадателенъ, добръ!

да и ей, женѣ-то, не переставаючи говорилъ: „вѣрь людямъ, другъ мой Сонечка! Человѣкъ — вѣнецъ созданій Божіихъ!“ Съ тѣмъ и умеръ. А самаго простого дѣла сдѣлать не съумѣлъ! „Другу моему Сонечкѣ“ — на что похоже? Теперь надъ ней самый ледащій адво-

*) Чацкій.

катишко—и тотъ измываться будетъ. „Такъ это вы, скажетъ, другъ мой Сонечка!“... „Очень пріятно съ вами познакомиться, другъ мой Сонечка!“ Каково ей будетъ при всей публикѣ эти издѣвки-то слушать? А вѣдь они, адвокаты-то, нынче за деньги какія хочешь представленія даютъ. Читалъ, чай, процессъ игуменьи Митрофаніи?

— Читалъ-таки.

— Да, удивительное это дѣло, мой другъ. Вотъ насъ, чиновниковъ, упрекаютъ, что мы, по приказанію начальства, можемъ въ изступленіе приходить... Нѣтъ, вотъ ты тутъ подивись! Чиновнику-то начальство приказываетъ—такъ вѣдь оно, мой другъ, и ушибить можетъ, коли приказанія его не исполнишь! А тутъ баба приказываетъ! баба! А какъ онъ вцѣпился изъ-за нея—кажется, желѣзомъ зубовъ-то ему не разжать. На Синай всходилъ! какихъ-то „разбитыхъ людей вопль“ поминалъ! Скажи ты мнѣ на милость, какъ это въ нихъ дѣлается, что онъ вдругъ весь, за чужой счетъ, словно порохъ вспыхнетъ?

— Не знаю, право; одни говорятъ, что тутъ происходитъ психологическій процессъ; другіе—что процессъ физіологическій.

— А я такъ, признаться, думаю, что они себя дома исподволь къ этому подготовляютъ. Изнурительное что-нибудь дѣлаютъ. Вотъ я намеднись въ театрѣ господина Хлестакова видѣлъ, такъ онъ тоже разжигался: то будто онъ директоръ, то будто министръ! И вѣдь въ такомъ азартѣ по сценѣ ходитъ, что никакъ ты не разберешь: понимаетъ ли онъ, что лжетъ, или взаправду чортики у него въ глазахъ ходятъ! Должно быть, и тутъ такъ, въ адвокатскомъ этомъ ремеслѣ!

— Да; какая-нибудь тайна тутъ есть...

— Знаешь ли что! я бы такую штуку сдѣлалъ: я бы присяжнымъ засѣдателямъ предоставилъ: о подсудимомъ — само собой, а объ обвинителяхъ — само собой мнѣніе высказывать. Подсудимый-молъ виновенъ, а обвинителя, за публичное оскорбленіе подсудимаго, сослать въ мѣста не столь отдаленныя!

— Да, это поостепенило бы!

— Еще какъ бы остепенило-то! А то вотъ мы часто присяжныхъ засѣдателей обвиняемъ, что они явныхъ преступниковъ оправдываютъ! А какъ ты его обвинишь? Иной присяжный и понимаетъ, что подсудимый кругомъ виноватъ, да какъ вспомнитъ, какъ его на су-

договорени-то кастили—ну, и скажетъ себѣ: будетъ съ него! невиновенъ. Какъ ты полагаешь?

— Да, не дурно бы подсудимому эту льготу предоставить!

— А покуда этого нѣтъ, я за Софью-то Павловну и опасаюсь. Думаю: выпуститъ плутъ Загорѣцкій на нее цѣлую ораву оскорбителей, а они и начнутъ на ея счетъ почтеннѣйшую публику утѣшать.

— Что же вы предполагаете дѣлать?

— Клинъ клиномъ выбивать надо—адвоката ищу. Пишетъ ко мнѣ Софья-то Павловна, со слезами проситъ: ради Христа, адвоката! Не знаете ли кого?

— Есть-то есть одинъ, да чудакъ онъ...

— А какъ, напримѣръ?

— Да такъ вотъ: придетъ къ нему кліентъ — онъ его выслушать-выслушаетъ, а потомъ сейчасъ за звонокъ: „гони его въ шею!“

— Ну, нѣтъ, намъ такихъ не надо! Намъ дошлаго нужно! Дошлыхъ у тебя нѣтъ?

— Нѣтъ; я вѣдь, Алексѣй Степанычъ, боюсь!

— Денегъ, вѣрно, накопилъ; боишься, чтобъ не отняли?

— Нѣтъ, не то, а вообще къ гражданскому судопроизводству вкуса не имѣю. А вѣдь и я съ молоду баловался, даже диссертацію написалъ: „О правахъ седьмой воды на кисёлѣ въ порядкѣ наслѣдованія по закону“. Да забраковали—съ тѣхъ поръ я и баста. Да у васъ у самихъ-то неужто нѣтъ знакомаго изъ адвокатовъ?

— Какъ не быть — цѣлыхъ двое. Только люди-то... У одного я даже сегодня былъ: въ десять часовъ утра къ нему забрался, а его ужъ и слѣдъ простылъ! Ну, оставилъ записку, просилъ откушать пріѣхать, жду вотъ... Да нѣтъ, не надѣюсь я на него!

— Кто онъ таковъ?

— Балалайкинъ, а по имени и по отчеству какъ звать — не умѣю сказать. И на дверяхъ у него просто написано: „Балалайкинъ, адвокатъ“. Вѣдь онъ Репетилова сынъ побочный; помнишь, Стешка цыганка была — такъ отъ нея... Да не пойму я его: ни-то онъ выжига, ни-то пустословъ!

— А можетъ быть и то и другое вмѣстѣ?

— Нѣтъ, скорѣе думаю — пустословъ, потому отецъ его все на водевильныхъ куплетахъ воспитывалъ. Ну и цыганская кровь эта...

хвастуны вѣдь они, цыгане эти! А другой адвокатъ — Подковырникъ-Клещъ, Иванъ Павлычъ, Павла Иваныча Чичикова сынъ.

— Побочный тоже?

— Да. Помнишь, Чичиковъ у Коробочки-то ночевалъ? Ну, вотъ, послѣ того она и поприпухла... А впрочемъ я этого Клеща и самъ боюсь. Отецъ — пройдоха, мать — дотóчница; какому ужъ тутъ плоду быть!

— Да; и по моему мнѣнію, лучше ужъ Балалайкина попробовать!

— Я такъ и рѣшилъ. А если ужъ на этомъ основаться нельзя, пойду по Надеждинской, либо по переулкамъ, стану на окна поглядывать, не заманиваетъ ли кто. Однако, четвертаго половина, а Балалайкина нѣтъ какъ нѣтъ. Чуяло мое сердце, что заставитъ онъ меня лишній часъ прождать! Что дѣлать — надо для Софьи Павловны потерпѣть! Сегодня и обѣдъ, ради него, особенный приготовилъ, и за виномъ самъ къ Елисееву ходилъ, клубничный пирогъ у Лабутина купилъ... Вѣдь онъ, пожалуй, простыхъ кушаньевъ-то ѣсть не станетъ!

— Развѣ онъ у васъ прежде не бывалъ?

— Нѣтъ, бывалъ, да все по большимъ праздникамъ. Забѣжитъ, поцѣлуетъ у Анфисы Ивановны руку — и былъ таковъ. А однажды, сударь, онъ меня на обѣдъ къ себѣ зазвалъ, такъ вотъ, доложу вамъ, чудесъ-то я насмотрѣлся! Въ мартѣ мѣсяцѣ — клянусь честью! — земляники фунтовъ пять скормилъ! Груши — по кулаку! спаржа — наипристойнѣйшая! Вина! сигары! ликеры!

— Вѣрно, большое общество было?

— Нѣтъ; я да еще двое шематоновъ какихъ-то. Наѣлся я, мой другъ, да и наслушался же! Такіе разговоры тутъ происходили, что, кажется, лучше бы я въ сортирѣ все время просидѣлъ! Все про конкурсы, да про дутые векселя, да про дисконты... А потомъ пошли про камелій... Одинъ говоритъ: „я двадцать-пять тысячъ на нее просадилъ, за то знаю, что она мнѣ вѣрна!“ А другой говоритъ: „а хочешь, говоритъ, я себѣ скажу, гдѣ у нея родимое пятнышко есть?“ Чувствую я, знаешь, что они врутъ, а остановить или уличить не могу — потому не знаю. Шестьдесятъ-пять лѣтъ мнѣ стукнуло, а я между ними, молокососами, ровно младенецъ сижу! Однако я легонькотаки пригрозилъ имъ тутъ: быть, говорю, вамъ, господа, въ мѣстахъ не столь отдаленныхъ!

— А они что?

— Смѣются. Да скажи ты мнѣ, пожалуйста, неужто и взаправду такія дѣвушки есть, на которыхъ въ одинъ мѣсяцъ двадцать-пять тысячъ ухлопать можно?

— Говорятъ, будто есть. Въ театрѣ однажды даже показывали мнѣ.

— Я и у сына, у Павлика моего, тоже спрашивалъ, — только онъ, вмѣсто отвѣта: „охота, говоритъ, вамъ, папенька, къ шалопаямъ на обѣды ѣздить!“

Алексѣй Степанычъ взглянулъ на часы: сорокъ минутъ четвертаго.

— Навѣрное еще съ полчаса проморитъ! — пробрюзжалъ онъ. — Да и мои куда-то запропастились: вѣрно въ саду аппетитъ нагуливаютъ передъ хорошимъ обѣдомъ. Да, мой другъ! не роскошно я устроился, а ничего — жить можно. А главное, садикъ есть... Не мудрящій, а для дѣтей — полезная штука. Лѣтомъ у насъ здѣсь смѣхи да крики — сосѣдямъ, можетъ быть, и скучно покажется, а родительскому-то сердцу какъ вѣдь пріятно! Своихъ у меня шестеро, да товарищей приведутъ — и пустятся взапуски! Сидишь-это въ сторонкѣ, чтобъ имъ не помѣшать, и думаешь: и съ чего только господинъ Катковъ тревогу поднялъ? Молодежь какъ молодежь! Ну, точно, есть въ нихъ... есть этотъ душокъ... вотъ хоть бы насчетъ прародителей-то нашихъ... Такъ вѣдь не всяко же лыко въ строку.

— Ну, Богъ милостивъ!

— Знаю, что велика Божья милость, а все-таки не разъ и не два подумаешь! Ну, какъ онъ, Павелъ-то Алексѣичъ мой, что ни на есть сболтнетъ! Ну, какъ да у меня его за это отнимутъ? Неужто-жъ и плакать-то мнѣ объ немъ нельзя?

Алексѣй Степанычъ вдругъ какъ-то съёжился и отвернулся къ окну. Черезъ минуту онъ, однакожъ, вновь овладѣлъ собой.

— Впрочемъ утро вечера мудренѣе, — сказалъ онъ голосомъ, еще не утихшимъ отъ волненія: — еще накличешь, пожалуй! Лучше пойдемъ-ка, я тебѣ, въ ожиданіи Балалайкина, логово свое покажу, а потомъ и въ садъ зайдемъ, женѣ представлю. Только ты смотри: насчетъ Фамусовыхъ будь остороженъ. Жена-то у меня Анфисы Ниловны Хлестовой воспитанница была — въ честь ея и Анфисочкой названа — такъ и до сихъ поръ за Фамусовыхъ горой стоитъ. Оби-

дѣла ее старуха Хлестова: обѣщала пять тысячъ на приданое, а отъѣхала на двухъ. Однако жена зла на ней не помнитъ!

Мы прошлись по всѣмъ комнатамъ; вездѣ было опрятно, свѣтло, хотя нѣсколько голо. Старинная, прочная, но не совсѣмъ удобная мебель разставлена была въ симметрическомъ порядкѣ и ровно въ такомъ количествѣ, чтобъ комнаты не казались пустыми. Полы — крашеные, съ узенькою полоской дешевенькаго ковра вдоль всѣхъ комнатъ; на окнахъ — простыя бѣлыя сторы и никакого признака драпри или портьеръ. Изъ всей анфилады такъ-называемыхъ парадныхъ комнатъ только въ кабинетѣ Алексѣя Степаныча замѣчалось нѣкоторое поползновеніе къ баловству, выразившееся въ видѣ мягкаго дивана и двухъ такихъ же креселъ. Главное удобство квартиры заключалось, повидимому, въ томъ, что у каждаго члена семьи былъ свой уголъ, чему много способствовалъ мезонинъ, въ которомъ было три комнаты. Наконецъ, мы вошли въ узенькую компату, изъ которой створчатая стеклянная дверь вела въ садикъ.

— А вотъ и наши!—сказалъ Алексѣй Степанычъ, указывая на отворенную дверь:—въ этой комнатѣ мы обѣдаемъ за-просто, а лѣтомъ, въ хорошую погоду, и въ садикъ трапезовать переходимъ. Да милости просимъ! не хотите ли на мою молодежь взглянуть?

Мы сошли нѣсколько ступенекъ и очутились въ крошечномъ огороженномъ пространствѣ, не больше 25 — 30 квадратныхъ саженъ. Двѣ клумбы, засаженныя георгинами, резедой и душистымъ горошкомъ, большой кустъ сирени и пять-шесть тополей, ютившихся около забора — вотъ все, что давало этому пространству право на наименованіе сада. Сентябрская свѣжесть воздуха давала себя чувствовать здѣсь довольно сильно, потому что садикъ былъ совершенно затѣненъ домомъ, а лучи солнца, казалось, никогда сюда не проникали. Но Молчалинская молодежь, повидимому, была совершенно довольна, сознавая себя на вольномъ воздухѣ, среди живой, хотя и тощей растительности. Кромѣ дѣтей Алексѣя Степаныча, тутъ было еще двое товарищей ихъ: одинъ студентъ-медикъ, другой — гимназистъ. Лица молодежи не отличались ни красивостью, ни здоровьемъ, но не были лишены той симпатичности, которую придаетъ лицу присутствіе мысли. На противоположной сторонѣ садика, тамъ, гдѣ кончалась тѣнь, бросаемая домомъ, и гдѣ тамъ и сямъ по деревянному забору прорывались полосами робкіе, словно колеблющіеся лучи солнца, си-

дѣла на зеленой скамейкѣ Анфиса Ивановна, закутанная въ старинную приданную шаль.

Послѣдовало обычное представленіе.

Насколько Алексѣй Степанычъ былъ сановитъ и внушителенъ, настолько же скромно и просто выглядѣла Анфиса Ивановна. Это была коротенькая, чистенькая пятидесятилѣтняя женщина съ кротко-свѣтящимися голубыми глазками, съ румяными щеками и съ безконечно-добродушнымъ выраженіемъ въ лицѣ. Изъ-подъ приданной шали виднѣлась свѣтло-лиловая тафтяная блуза съ полосками, вѣроятно подарокъ Алексѣя Степаныча въ моментъ рожденія его первенца; на головѣ былъ старинный чепецъ, изъ-подъ котораго выбивались на лобъ двѣ серебряныя букольки. Она смотрѣла мягко и душевно, говорила тихо, почти неохотно. Казалось, она совсѣмъ прижилась къ этому мѣсту и вполнѣ удовлетворилась тѣми радостями, которыя обрѣла тутъ. Иногда мнѣ чудилось, какъ будто на лицѣ ея нѣтъ-нѣтъ да и промелькнетъ: „вотъ у Хлестовой въ пронскомъ имѣніи... ахъ, какой былъ паркъ!“ —но ежели эта мысль и появлялась, то она мгновенно исчезала, чтобъ вновь сосредоточиться на скромной дѣйствительности, которая всецѣло поглощала ея сердце. Она смотрѣла на дѣтей, но не вмѣшивалась ни въ разговоры, ни въ игры ихъ, а только наслаждалась ими. Такого рода женщины неохотно видятъ появленіе постороннихъ лицъ въ ихъ семьѣ, но они понимаютъ, что ни любимый мужъ, ни любимыя дѣти не могутъ довольствоваться замкнутою жизнью, что для нихъ необходимы связи съ внѣшнимъ міромъ, въ видѣ друзей, нужныхъ людей и даже постороннихъ посѣтителей. Анфиса Ивановна никого не любила, кромѣ семьи, но понимала, что на ней лежала обязанность не затруднять, а сглаживать существованіе любимыхъ людей, и потому всегда и со всѣми была привѣтлива. Всѣмъ одинаково она, по старинной московской привычкѣ, подавала руку горбикомъ, какъ для поцѣлуя. Разумѣется, я съ удовольствіемъ поспѣшилъ исполнить этотъ невинный обрядъ.

Старшій сынъ Молчалиныхъ, Павелъ (въ честь Павла Аѳанасьевича Фамусова), былъ нѣсколько блѣдноватъ и худощавъ. Мнѣ показалось, что онъ какъ-то неохотно подошелъ къ намъ на голосъ отца, посмотрѣлъ на меня исподлобья, небрежно взялъ мою протянутую руку и, почти не пожавъ ея, сейчасъ же воротился къ своему товарищу-студенту. Еще меньше привѣтливости выказала Соня (въ

честь Софьи Павловны Чацкой): она подбѣжала, сдѣлала издали книксенъ и мгновенно исчезла въ глубь садика, гдѣ расхаживали молодые гости ея брата.

— Непривѣтливы они у меня,—выразился Алексѣй Степанычъ по поводу этого представленія:—бирючками смотрятъ. Не то что въ хорошихъ домахъ: придутъ дѣти, ножкой шаркнутъ и смотрятъ въ глаза; не угодно ли, молъ, приказать, я сейчасъ „Попрыгунью Стрекозу“ прочту. А впрочемъ и у меня ребята добрые, только молоды очень. А въ молодости, знаете, это бываетъ. Ни до кого человѣку дѣла нѣтъ; самого себя ему довольно, да вотъ еще съ товарищемъ онъ радуется, съ которымъ у него сердце одно!

— Со всякимъ это, мой другъ, было!—вздохнула Анфиса Ивановна, не отрывая глазъ отъ дѣтей.

— Знаю, что было, и не въ укоръ это говорю. Я просто говорю: бываетъ это. Бываетъ, что молодому ни до кого и ни до чего, кромѣ себя и присныхъ по духу, дѣла нѣтъ! Знаю тоже, что многимъ изъ стариковъ обидно это кажется, и за грубость почитаютъ, что молодые люди не ищутъ ихъ общества, а я говорю: никакой грубости тутъ нѣтъ, а просто молодое сердце играетъ! Не такъ ли, сударь?

— Конечно, такъ. И, по моему мнѣнію, роль стариковъ, въ особенности же близкихъ, именно въ томъ и состоитъ, чтобъ какъ можно осторожнѣе относиться къ этому молодому эгоизму и не раздражать его.

— Вотъ это такъ! вотъ съ этимъ я согласна!—живо отозвалась Анфиса Ивановна, и такъ хорошо взглянула при этомъ на меня, что я сразу почувствовалъ себя въ числѣ ея друзей.

Сильный звонокъ, раздавшійся въ эту минуту, прервалъ нашъ разговоръ.

— А вотъ и балалайка явилась! — воскликнулъ Алексѣй Степанычъ: — ишь вѣдь, какъ нагло звонитъ! Ну-съ, идемте обѣдать! Господа молодежь! обѣдать милости просимъ! — хлопнулъ онъ въ ладоши.

Дѣйствительно, Балалайкинъ уже расхаживалъ по столовой, въ ожиданіи насъ. Это былъ молодой человѣкъ, средняго роста, но уже нѣсколько тучный, съ наружностью, которая могла бы быть названа пріятною, если бы ея не портили томно-самодовольное выраженіе лица и какая-то миндирующая женственность во всѣхъ движеніяхъ. Одѣтъ онъ былъ въ легкую коричневую жакетку и въ свѣтлыя пан-

талоны; подбородокъ былъ тщательно выбритъ, волосы на головѣ расчесаны удивительно; въ одномъ глазу былъ вставленъ монокль, другой — прищуривался съ легкимъ оттѣнкомъ презрѣнія; ходилъ онъ съ развалкою, напѣвая себѣ подъ носъ французскій куплетъ и поматывая головой изъ стороны въ сторону, какъ будто чего-то ища.

— А я къ вамъ на минутку, многоуважаемый!—привѣтствовалъ онъ Алексѣя Степаныча.

— Какъ такъ! а обѣдать?

— Не могу, милѣйшій! дѣло есть!

— Да вѣдь и у меня есть дѣло! Я собственно за этимъ и приглашалъ! Знаю, что вамъ, молодымъ, не интересно со стариками.

— Не могу, мой ангелъ! Впрочемъ, если у васъ есть до меня дѣло, то я имѣю передъ собой...

Онъ вынулъ изъ кармана великолѣпный хронометръ, неизвѣстно для чего заставилъ его прозвонить, затѣмъ открылъ крышку, взглянулъ на циферблатъ и сказалъ:

— Да, именно; я имѣю передъ собой четверть часа... да, такъ! четверть часа! На эти четверть часа я къ вашимъ услугамъ!

— Ну, Христосъ съ тобой! Коли у тебя больше четверти часа нѣтъ свободнаго времени, такъ идемъ въ кабинетъ... Эй! кто тамъ! скажите, чтобъ погодили подавать на столъ! — крикнулъ онъ въ переднюю.

— Но я васъ не стѣсняю! Пожалуста, безъ церемоній; мы и во время обѣда переговорить можемъ!

— Нѣтъ, сударь. Не люблю я при праздныхъ свидѣтеляхъ ѣсть. Все кажется, что ты на юру сидишь, и что въ ротъ тебѣ смотрятъ.

Мы перешли въ кабинетъ.

— Вотъ видишь ли, господинъ Балалайкинъ, зачѣмъ я къ тебѣ пріѣзжалъ,—началъ Алексѣй Степанычъ.—Софью Павловну Чацкую помнишь?

— Да, помню.

— Такъ вотъ съ ней случился пассажъ...

Молчалинъ въ краткихъ словахъ разсказалъ сущность дѣла и вопросительно взглянулъ на Балалайкина. Послѣдній нѣкоторое время молчалъ и напѣвалъ себѣ подъ носъ.

— Вы, конечно, желаете, милѣйшій, чтобъ я этимъ дѣломъ занялся?—наконецъ произнесъ онъ

— Ну, да, самъ займись или на кого-нибудь укажи!

— И вы намѣрены употребить на это дѣло...

Балалайкинъ остановился и томно посмотрѣлъ въ глаза Молчалину. Но тотъ не понималъ и таращилъ глаза.

— Я говорю о суммѣ вознагражденія за трудъ по веденію дѣла, — объяснилъ Балалайкинъ. — Извините, голубчикъ, что я такъ прямо... Time is money, говоритъ хорошая пословица, а для адвоката—въ особенности. Я ужъ сказалъ вамъ, что имѣю передъ собой только четверть часа; слѣдовательно...

Онъ снова вынулъ изъ кармана хронометръ, опять позвонилъ и положилъ на ладони передъ собой, очевидно намѣреваясь слѣдить за ходомъ минутной стрѣлки.

— Да ты прежде обдумалъ бы, возможное ли это дѣло или невозможное?

— На этотъ счетъ я долженъ сказать вамъ слѣдующее: въ современной адвокатской практикѣ выработалось такое убѣжденіе, что невозможныхъ дѣлъ не существуетъ. Вотъ почему адвокаты рѣдко останавливаются на соображеніяхъ этого рода, но прямо приступаютъ къ вопросу о вознагражденіи.

— Ну, насчетъ вознагражденія она ничего не пишетъ... Полагаю, что не оставитъ... Поймете, чай, что съ твоей стороны безпокойство было...

— Гм... да... „не оставитъ“! А знаете ли, мой милѣйшій, что выраженія въ родѣ „не оставитъ“ и т. д. нѣсколько запоздали для нашего просвѣщеннаго времени? Во времена крѣпостного права, дѣйствительно, бывали ходатаи, которые „безпокоились“, и относительно которыхъ можно было безъ риска употребить выраженіе: „ты ужъ побезпокойся, мой другъ, а я тебя не оставлю“. Но мы — совсѣмъ другое дѣло. Мы не „безпокоимся“, а ведемъ дѣло въ предѣлахъ законности; насъ нельзя ни „оставить“, ни „не оставить“, потому что законъ даетъ намъ право на вознагражденіе...

— Ну, извини, мой другъ! я не хотѣлъ тебя обидѣть! я вѣдь новыхъ вашихъ порядковъ не знаю... Такъ какъ же бы ты думалъ насчетъ вознагражденія-то?

— А какъ велика цѣнность имѣнія?

— Да тысячъ на полтораста, на двѣсти будетъ!

— Положимъ, полтораста. Въ современной адвокатской прак-

тикѣ выработалось убѣжденіе, что норма вознагражденія за веденіе дѣла, безъ обремененія для кліента, можетъ быть опредѣлена въ размѣрѣ 10% съ цѣны иска. Слѣдовательно въ настоящемъ случаѣ надлежало бы принять цифру въ пятнадцать тысячъ рублей, какъ вполнѣ обезпечивающую интересы обѣихъ сторонъ: и довѣрителя, и довѣреннаго. Но, принимая во вниманіе, что имѣніе отыскивается г-жею Чацкою не въ собственность, но лишь въ пожизненное владѣніе, я нахожу справедливымъ и возможнымъ остановиться на слѣдующихъ цифрахъ: въ случаѣ выигрыша — восемь тысячъ, въ случаѣ проигрыша — двѣ тысячи.

— Да ты выспался ли?

— Я не только выспался, почтеннѣйшій Алексѣй Степанычъ, но уже въ десяти мѣстахъ успѣлъ быть сегодня утромъ. Да-съ, дѣло адвоката — дѣло не легкое-съ. Надобно походить около тѣхъ двадцати-пяти, тридцати тысячъ, которыя составляютъ мой годовой бюджетъ! Ихъ надо достать-съ.

Балалайкинъ произнесъ эти слова такъ убѣдительно и глаза его блестѣли при этомъ такимъ холоднымъ блескомъ, что я какъ-то инстинктивно приложилъ руку къ лѣвой сторонѣ сюртука, какъ бы ощупывая, тутъ ли мой бумажникъ. Повидимому, подобное же чувство испытывалъ и Алексѣй Степанычъ, потому что онъ вдругъ забѣгалъ глазами по комнатѣ, очевидно высматривая, не лежитъ ли что-нибудь плохо.

— Ну, да Христосъ съ тобой, доставай, похаживай! никто тебѣ не препятствуетъ! — сказалъ онъ голосомъ, въ которомъ еще слышались изумленіе и испугъ: — а все таки не мѣшало бы и о томъ подумать, что Софья-то Павловна вѣдь не чужая тебѣ! хоть съ лѣвой стороны...

— Эти лѣвыя и правыя стороны умѣстны въ банкѣ и въ ландскнехтѣ, а въ гражданскихъ дѣлахъ онѣ только запутываютъ... Однако, позвольте! четверть часа, которую я имѣлъ къ вашимъ услугамъ, уже истекла... Извините, милѣйшій! ей Богу, ни одной минуты дольше оставаться не могу.

— Да Богъ съ тобой! уходи, сдѣлай милость, если такъ ужъ тебѣ приспичило!

— Прекрасно-съ. Но въ заключеніе я хочу сказать еще одно слово. Шесть тысячъ — въ случаѣ выигрыша, полторы — въ случаѣ проигрыша. C'est à prendre, ou à laisser.

— За что жъ въ случаѣ проигрыша-то?

— За трудъ-съ, почтеннѣйшій Алексѣй Степанычъ! за трудъ-съ.

— Какой тутъ трудъ, сдѣлай милость! Ты съ утра до вечера рыскаешь да языкомъ отбиваешь, такъ для тебя даже лучше, если за дѣло малость присядешь! Можетъ, языкъ-то у тебя и поостепенится маленько!

— Это ужъ мое дѣло. Штука не въ томъ, великъ или малъ мой трудъ, а въ томъ, что на него существуетъ требованіе. Я вчера два дѣла взялъ, сегодня утромъ одно наклюнулось; кромѣ того, у меня на рукахъ два конкурса, да въ десяти коммерческихъ домахъ я юрисконсультантомъ состою... стало быть, мой трудъ цѣнится-съ! Однако, pardon, я заболтался. До обѣда мнѣ еще въ пяти мѣстахъ побывать нужно. Ежели надумаете—пожалуйте. Каждый день утромъ, кромѣ праздниковъ, у меня отъ десяти до двѣнадцати пріемъ. Au revoir.

Онъ подалъ Молчалину руку ладонью вверхъ, почти непримѣтно кивнулъ мнѣ головой и поплелся развальцемъ въ переднюю. Алексѣй Степанычъ послѣдовалъ за нимъ, и я слышалъ, какъ на прощаніе онъ сказалъ ему:

— Говорилъ я тебѣ, Балалай Балалаезичъ, что быть тебѣ въ мѣстахъ не столь отдаленныхъ... и будешь!

Я взглянулъ въ окно: у подъѣзда стояла великолѣпная пара сѣрыхъ, запряженная въ коляску. Балалайкинъ вскочилъ въ экипажъ, разлегся на подушкахъ и помчался.

— Каковъ?—обратился ко мнѣ Алексѣй Степанычъ.

— Не дуренъ. Но воля ваша, онъ на Репетилова не похожъ!

— А кто ихъ знаетъ, мой другъ. Говорили, будто тутъ и Удушьевъ вкладчикомъ былъ... Вѣдь и въ наше время бабочки-то слабеньки бывали! Да это еще что! Это больше по части легкомыслія! А вотъ ты бы на Клеща взглянулъ! Того я—боюсь!

— А что?

— Да то, что вотъ хоть бы въ настоящемъ случаѣ: ужъ онъ бы не уѣхалъ, какъ Балалайка! Онъ бы *заставилъ* съ собой покончить!

— Какъ такъ „заставилъ“ бы?

— Да такъ вотъ: глаза бы отвелъ. Тотъ и обѣдать остался бы, и у Анфисы Ивановны руку поцѣловалъ бы, и съ Павлинькой на-

счетъ „родовъ и видовъ“ поговорилъ бы, и Леночкѣ табакерку съ музыкой подарилъ бы, да и насчетъ вознагражденія не сталъ бы спорить...

— Такъ что же вы! обратитесь къ нему!

— То-то и есть, что онъ взять-то дѣло возьметъ, да сейчасъ-же съ нимъ — къ Загорѣцкому! Тотъ у него Софью-то Павловну и купитъ!

— Ахъ, Боже мой!

— Да, мой другъ, въ распутное времечко пришлось намъ вѣкъ доживать. Ходишь-это по бѣлу свѣту ровно оплеванный. По улицѣ идешь — къ сторонкѣ жмешься, въ общество попадешь — въ уголку на стулцѣ сядешь. И смотрятъ на тебя всѣ какъ-то дико, словно совсѣмъ ты не туда попалъ, гдѣ тебѣ быть надлежитъ. А впрочемъ, вѣдь намъ съ тобой людей не исправить, а жаркое, пожалуй, и подгоритъ, коли дольше болтать будемъ. Обѣдать! — крикнулъ онъ въ дверь.

Черезъ пять минутъ мы уже сидѣли за обѣдомъ. За ѣдой дурное впечатлѣніе, произведенное Балалайкинымъ, изгладилось совершенно. За столомъ было шумно, свободно и весело. Алексѣй Степанычъ ѣлъ очень исправно, что не мѣшало ему, однако, и бесѣду вести; дѣти тоже кушали съ большимъ аппетитомъ, но при этомъ ни одной минуты не сидѣли смирно: шептались другъ съ другомъ, дѣлали другъ другу таинственные знаки и громко-громко смѣялись. Разговоръ сначала вертѣлся около хозяйственныхъ вопросовъ, а потомъ мало-по-малу перешелъ и на почву современности.

— А помните, Алексѣй Степанычъ, вы обѣщались вразумить меня насчетъ современнаго направленія? — напомнилъ я.

— Вразумить — отчего не вразумить! Только я, признаться, и самъ въ нынѣшнихъ дѣлахъ мало понимаю!

— Что жъ такъ?

— Да такъ ужъ... Вѣдь ты писатель?

— Гм... что это вамъ вздумалось напомнить?

— А отчего бы и не напомнить! Стыда тутъ нѣтъ. Въ наше время въ писателяхъ-то даже славу отечества видѣли... Помнишь Грибоѣдова, Александра Сергѣича — вѣдь тоже писатель былъ! Конечно, не всякому Грибоѣдовымъ быть, а все таки... Впрочемъ, я не къ тому веду рѣчь, чтобъ тебѣ о твоемъ писательствѣ напомнить, а вотъ къ чему: знаешь ты, что такое „періодъ“?

— Конечно, знаю.

— Ну, такъ вотъ я тебѣ что̀ скажу. Коли затѣялъ ты періодъ написать, то, конечно, такъ ужъ и пригоняешь, чтобъ его какъ слѣдуетъ въ концѣ закруглить. Начнешь, напримѣръ, съ „такъ какъ“ — дальше у тебя непремѣнно будетъ „то“; начнешь съ „хотя“ — дальше будетъ „но“. Такъ ли, сударь?

— Кажется, что такъ...

— Ну, вотъ видишь ли! А въ современномъ-то нынѣшнемъ направленіи вотъ этого именно и нѣтъ. „Такъ какъ“ и „хотя“ — въ полной силѣ состоятъ, а „то“ и „но“ — въ умаленіи, а не то такъ и совсѣмъ въ отсутствіи!

Опредѣленіе это, на первый взглядъ, показалось мнѣ настолько остроумнымъ, что я и самъ поддался ему. А вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, и „то“, и „но“ въ умаленіи! невольно подумалось мнѣ. Однако, вникнувъ въ дѣло ближе, я нашелъ, что въ мнѣніи Алексѣя Степаныча кроется извѣстная доля односторонности, которую я и рѣшился исправить.

— Ваше замѣчаніе очень мѣтко,—сказалъ я:—но едва-ли оно исчерпываетъ предметъ вполнѣ. Я, по крайней мѣрѣ, имѣю основаніе полагать, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже лучше, ежели періоды не имѣютъ полной синтаксической округленности.

— Ну, ужъ это странный вкусъ у васъ, сударь!

— Нѣтъ, это не личный мой вкусъ къ синтаксической безурядицѣ, а просто инстинктъ самосохраненія.

— Самосохраненіе-то какъ же тутъ попало?

— Очень просто. Помните, въ тотъ разъ, какъ мнѣ приходилось туго и вы пришли мнѣ на помощь — чѣмъ вы меня изъ бѣды вызволили?

— Чѣмъ, напримѣръ?

— А тѣмъ именно и вызволили, что начатой періодъ безъ округленія оставили. Согласитесь, что если бы въ ту пору Сахаръ Медовичъ періодъ-то свой округлилъ — врядъ-ли бы мнѣ сегодня у васъ обѣдать!

— Да! такъ ты вотъ объ чемъ? случай-то этотъ вспомнилъ?

— Нѣтъ, я не объ одномъ этомъ случаѣ говорю, а вообще... Вспомните-ка, Алексѣй Степанычъ, одинъ ли такой казусъ съ вами былъ, гдѣ вы, вмѣсто округленій, „обстановочки“ разныя придумывали?

— Мало ли со мной случаевъ было—и не перечтешь! Вотъ даже намеднись—призываетъ онъ меня къ себѣ и говоритъ: „такъ какъ, говоритъ, наблюденія за современнымъ настроеніемъ умовъ обнаруживаютъ, что превратныя толкованія“... Да, къ счастію, на самомъ этомъ мѣстѣ курьеръ съ письмомъ отъ метрески подоспѣлъ... ну, онъ и бросилъ періодъ безъ округленія!

— А какъ вы думаете, если бы не случилось этого письма, въ какомъ бы смыслѣ вашъ Сахаръ Медовичъ свой періодъ округлилъ?

— Походъ бы, вѣроятно, противъ обывателей объявилъ. Да, мой другъ, есть въ твоихъ словахъ правда! есть! Оно, конечно, странно начала безъ концовъ слушать, а какъ подумаешь...

— Не наоборотъ ли, Алексѣй Степанычъ? не правильнѣе ли будетъ сказать, что намъ чаще концы безъ началъ выслушивать приходится? По крайней мѣрѣ, что до меня, то мнѣ именно сдается, что въ тѣхъ „періодахъ“, о которыхъ мы съ вами повели рѣчь, совсѣмъ не „то“ и „но“ въ отсутствіи, а именно „такъ какъ“ и „хотя“.

Вмѣсто отвѣта, Алексѣй Степанычъ взялъ меня за локоть и крѣпко пожалъ его, какъ бы заявляя о своемъ сочувствіи.

— Знаете ли что! — продолжалъ я, поощренный этимъ вниманіемъ: — вотъ вы прошлый разъ, встрѣтясь со мной, на молодыхъ чиновниковъ жаловались, что они къ „дѣлу“ неприлежны, больше тѣмъ занимаются, что папиросы курятъ да изъ „мадамъ Анго“ мотивы насвистываютъ. Конечно, съ точки зрѣнія производительности труда, они поступаютъ неправильно. Но вѣдь, съ другой стороны, представьте себѣ, что вдругъ, по мановенію волшебнаго жезла, эти люди перестаютъ курить и свистать, и всѣ разомъ присаживаются вплотную за дѣло... вѣдь это что жъ такое будетъ!

— Да, да, да! Вотъ и сами они то же говорятъ! Подойдешь-это къ нимъ иногда: шалберничаете-молъ вы, господа молодежь! А они: „да развѣ лучше будетъ, коли мы вписываться-то начнемъ?“

— Вотъ видите ли! Положимъ, что они не серьезно это говорятъ, а больше лѣнь свою оправдываютъ, однако и въ этой лѣни есть что-то такое... провиденціальное!.. Сообразите же теперь: въ одномъ мѣстѣ лѣнь, въ другомъ—метресска, въ третьемъ—еще случайность какая-нибудь—смотришь, анъ „періоды“-то и остаются безъ округленія!

— Однако не любишь ты этихъ „періодовъ“! Ну, а вы, моло-

дые люди, какого на этотъ счетъ мнѣнія? Ты, Павелъ Алексѣичъ! какъ ты объ этихъ періодахъ полагаешь?

Я замѣтилъ, что покуда мы вели эту бесѣду, Молчалинская молодежь не обращала на насъ никакого вниманія. Даже взрослые молодые люди, какъ Павелъ и Соня—и тѣ держали себя особнячкомъ, не только не вмѣшиваясь въ разговоры старшихъ, но даже и не прислушиваясь къ нимъ.

— Что такое? Объ чемъ вы, папенька, спрашиваете?—отозвался Павелъ Алексѣичъ, застигнутый врасплохъ.

— А ты бы, мой другъ, и прислушался иногда! Вѣдь старшіе-то не все одни пустяки говорятъ!

— Ахъ, папенька! вы вѣдь знаете, что я не интересуюсь этимъ!

— Чѣмъ „этимъ"-то?

— Да вотъ... внутреннею политикой этой... мѣропріятіями...

Павелъ Алексѣичъ какъ-то загадочно улыбнулся и, обратясь къ сестрѣ, началъ шептаться съ нею, какъ бы возвращаясь къ прерванному разговору. Алексѣй Степанычъ укоризненно покачалъ на него головой.

— Вотъ они, молодые-то люди наши! — сказалъ онъ:—никакого въ нихъ къ жизни вниманія нѣтъ! все гдѣ-то витаютъ, въ эмпиреяхъ какихъ-то!

— Вотъ ужъ извините!—обидѣлась Софья Алексѣевна: — это вы въ эмпиреяхъ живете, а мы признаемъ только дѣйствительность, или, лучше сказать...

— Знаю я, сударыня, про какую ты дѣйствительность говоришь! А ты бы лучше сказала, какъ ты на нашу-то, на настоящую-то дѣйствительность смотришь? Такъ-молъ, мистерія какая-то... представленіе балетное!.. Повѣрите ли, сударь,—обратился онъ ко мнѣ: —даже объ исторіи говорятъ, что совсѣмъ-молъ это не исторія, а затмѣніе! Мимо идоша и се не бѣ! А вотъ оно когда-нибудь укуситъ тебя, „затмѣніе"-то, такъ ты не то, стрекоза, заговоришь!

— Ужъ оставилъ бы ты ихъ, Алексѣй Степанычъ! не трогаютъ они тебя!—вступилась Анфиса Ивановна.

— Вѣдь и я не въ укоръ, сударыня, а для ихъ же пользы говорю. Вѣдь имъ жить посреди этой мистеріи-то придется!

— Проживемъ какъ-нибудь! — отозвался Павелъ Алексѣичъ.

— Нѣтъ, не проживешь, мой другъ. Потому, хоть оно и че-

резъ пень-колоду на свѣтѣ идетъ, а все же не затмѣніе происходитъ. Вонъ онъ, городовой-то, на углу стоитъ! Городовой, сударь, а не мистерія!

— Я очень хорошо это понимаю.

— А понимаешь ли ты, въ чемъ состоятъ его права и обязанности, вотъ этого самаго городового?

— Права его состоятъ въ томъ, что онъ можетъ остановить и отправить въ участокъ всякаго, кто ему подъ силу; обязанности— въ томъ, чтобъ дѣлать кому слѣдуетъ подъ козырекъ.

— Анъ вотъ и совралъ. Такихъ правъ у него нѣтъ, чтобъ всякаго хватать. А ежели онъ это сдѣлалъ, такъ у него начальство есть, которому жалобу на него принести можно. Начальство, сударь!

— Нѣтъ, ужъ я лучше предпочитаю не ходить по той улицѣ, гдѣ завижу городового. Покойнѣе.

— Да вѣдь такимъ образомъ тебѣ на тотъ свѣтъ уйти придется, потому что на этомъ-то свѣтѣ нѣтъ вершка земли, на которомъ бы ты съ городовымъ не встрѣтился!

Павелъ Алексѣичъ даже не возразилъ на это. Для меня очевидно было, что разговоръ этотъ начался не сегодня, и ведется безъ всякаго результата для обѣихъ сторонъ.

— Недоумѣніе нынѣче какое-то, — продолжалъ Алексѣй Степанычъ: — никакого общаго разговора въ семействѣ нѣтъ. Сидимъ мы, бывало, при покойномъ батюшкѣ за столомъ—и все у насъ разговоры простые, для всѣхъ понятные: и для родителей, и для дѣтей. Ну, и съ Павломъ Аѳанасьичемъ тоже: онъ, бывало, говоритъ —я понимаю, я говорю — онъ понимаетъ. Ужъ на что Александръ Андреичъ мудренъ былъ—и того, бывало, понимаешь. Потому, хоть слова и разныя, да сюжетъ-то одинъ. А нынѣче словно на двѣ половины раскололося: одни—свое, другіе—тоже свое.

— Мы, папенька, васъ любимъ... и мы вамъ очень благодарны... неужто вы сомнѣваетесь?—отозвался Павелъ Алексѣичъ.

— Знаю, мой другъ, и не сомнѣваюсь! Вотъ только въ мысляхъ у насъ согласія нѣтъ!

— Да что же будетъ проку, ежели я, по наружности, буду соглашаться съ вами, а внутренно нѣтъ?

— А ты сначала наружно согласись, а тамъ, можетъ быть, и внутреннее согласіе придетъ. А то вонъ хоть бы намедни: получилъ

я отъ Софьи Павловны письмо, да и угоразди меня ее благодѣтельницей назвать—такъ какой они содомъ изъ-за этого подняли!

— Какая же она благодѣтельница ваша? Вы въ Чацкихъ нуждались, Чацкіе—въ васъ. Это взаимный обмѣнъ услугъ. И ужъ, конечно, вы больше одолженій имъ сдѣлали, нежели они вамъ!

— Молодъ ты! Вотъ что, мой другъ! Взаимный обмѣнъ услугъ! А знаешь ли ты, что мои-то услуги на рынкѣ грошъ стоютъ, а ихнія услуги—милостями называются! Вы какъ объ этомъ думаете? —обратился Алексѣй Степанычъ ко мнѣ.

— Я думаю, что въ ваши отношенія къ Чацкимъ замѣшалось совершенно особенное чувство, о которомъ люди современнаго молодого поколѣнія не имѣютъ да и не могутъ имѣть яснаго представленія. Въ старину жизнь сопровождалась извѣстными осложненіями, которыя въ настоящее время могутъ имѣть мѣсто только въ исключительныхъ случаяхъ. Вспомните о крѣпостномъ правѣ, около котораго вертѣлись всѣ прочія жизненныя явленія. Кто изъ нашихъ дѣтей повѣритъ, что когда-то существовалъ такой жизненный строй, въ которомъ всѣ человѣческія чувства являлись до такой степени спутанными, что нельзя было даже приблизительно сказать, гдѣ кончалась преданность и гдѣ начиналась ненависть. То же должно сказать и о другомъ явленіи того же порядка: о покровителяхъ и благодѣтеляхъ. Какъ бы ни почтенно было благодѣяніе само по себѣ, но оно непремѣнно порождаетъ въ благодѣтельствуемыхъ извѣстное нравственное раздвоеніе, съ которымъ можетъ примирить человѣка лишь очень продолжительная привычка. Поэтому весьма естественно, что когда руководящимъ началомъ человѣческихъ дѣйствій выступаетъ чувство личной отвѣтственности, то представленіе о „благодѣяніяхъ“ какъ-то невольно отступаетъ на задній планъ.

Каюсь: произнося эту рацею, я преимущественно имѣлъ въ виду поразить молодого Молчалина либерализмомъ моихъ взглядовъ. Но я горько ошибся. Молодой человѣкъ воспользовался моимъ вмѣшательствомъ единственно для того, чтобъ отдѣлаться отъ вопросовъ отца и безпрепятственно возобновить разговоръ съ сосѣдями.

— Можетъ быть! можетъ быть!—отвѣчалъ Алексѣй Степанычъ въ раздумьи: — точно, что прежде случалось что-то похожее. Вотъ хоть бы эта самая Лиза—помните, что у Софьи Павловны во фрейлинахъ была?—сколько разъ она мнѣ говаривала: „ужъ такъ мнѣ

эта барышня ненавистна! кажется, въ цѣломъ свѣтѣ постылѣе ея человѣка нѣтъ!“ — Что ты, глупенькая! начнешь ее, бывало, урезонивать: — какой еще тебѣ барышни лучше! Два-три раза платье надѣнетъ — и тебѣ отдаетъ! — „Нѣтъ, говоритъ, Алексѣй Степанычъ! Вѣрите ли, говоритъ, какъ начну я ее утромъ обувать — она въ постели лежитъ, а мнѣ ножку протянетъ — ну, такъ она мнѣ ненавистна! такъ ненавистна!..“ И что жъ бы вы, сударь, думали! Какъ объявили этта волю — ни она, ни Петръ-буфетчикъ такъ-таки ни минуты у Чацкихъ и не остались! И не забудьте, ему подъ шестьдесятъ, да и ей тоже подъ эту цифру въ это время было!

— Можетъ быть, капиталецъ скопили?

— Какъ не скопить — былъ капиталецъ! Да чего! Изъ Веневато явились сюда, молочную лавочку здѣсь сняли, а черезъ годъ и въ трубу вылетѣли! Послѣ ужъ къ намъ наниматься приходила, да я, признаться, побоялся нанять, а къ Софьѣ Павловнѣ отписалъ: такъ-молъ и такъ, не пожелаете ли обратно заблудшую овцу взять?

— Что жъ Софья Павловна?

— Ничего. „Зла, говоритъ, я не помню, а прощать только Богъ можетъ, и я каждый день и на утренней, и на вечерней молитвѣ Его о томъ прошу, чтобъ Онъ сей ужасный ея грѣхъ простилъ“.

— Однако! строгонька-таки Софья Павловна!

— Человѣкъ, сударь, — слабости свои имѣетъ. Да вѣдь и обработала же ихъ меньшая братія-то! Александръ-то Андреичъ, чай сами знаете, всегда либераломъ былъ, а тутъ, какъ комитеты-то эти въ 58-мъ году открыли — онъ и еще припустилъ. Тогда, впрочемъ, вездѣ эти либеральныя лавочки завелись. И что жъ бы вы думали! — какъ только рескриптъ пришелъ, на другой же день у Александра Андреича ни одной души изъ дворни не осталось! Ну, вотъ, онъ и нашелся въ фальшивомъ положеніи: съ одной стороны, по закону, два года имѣетъ право безмездно услугой пользоваться, а съ другой стороны — либерализмъ примѣшался...

— Какъ же онъ выпутался?

— Побѣдствовалъ-таки, а послѣ того, однакожъ, задумываться сталъ: „хороша, говоритъ, свобода, но во благовременіи“.

Въ эту минуту въ средѣ молодыхъ людей раздался взрывъ сдержаннаго смѣха.

— Вы чему, господа, смѣетесь? — полюбопытствовалъ Алексѣй Степанычъ.

— Ахъ, папенька, неужто-жъ намъ посмѣяться между собой нельзя! — воскликнула Соня.

— Отчего не посмѣяться! да отцу-то отчего не открыть?

— Развѣ вамъ интересно? Ну, мы объ учителяхъ вспомнили!

— Вотъ она такъ всегда мнѣ отвѣчаетъ. Съ Павломъ Алексѣичемъ хоть цѣлый день шушукаться готова, а передъ отцомъ — молчокъ! И объ чемъ только вы шушукаетесь? Вѣрно онъ и тебя напичкалъ, что человѣкъ отъ обезьяны происходитъ?

— Вы, папенька, въ такомъ странномъ видѣ это представляете, какъ будто я говорю, что это вчера или третьяго-дня произошло, — вступился Павелъ Алексѣичъ.

— Что вчера, что за шесть тысячъ лѣтъ — это все равно, мой другъ! Все-таки оно неправильно. Потому, сказано: Адамъ, Ева... и притомъ въ шестый день... Какъ же ты послѣ этого объ Адамѣ и Евѣ полагаешь?

— А такъ и полагаю, что ничего не полагаю!

— Нельзя не полагать, мой другъ! велѣно полагать! По твоему, и міръ не въ семь дней сотворенъ, и отъ сотворенія міра до Рождества Христова не 5508 лѣтъ протекло, а нѣсколько десятковъ тысячъ столѣтій — такъ что-ли?

— Ахъ, папенька, вы со мной точно участковый надзиратель разговариваете!

— Для твоего добра, мой другъ! Вѣдь ты и при постороннихъ людяхъ чепуху-то эту несешь, а нынче, слава Богу, гаду-то этого довольно-таки развелось! А ты умненько себя, голубчикъ, держи! Ты линію-то свою веди, да такъ, чтобъ комаръ носу не могъ подточить!

— Слушайте-ка, Алексѣй Степанычъ! — вступился я: — а помните, что вы сами давеча насчетъ молодыхъ-то людей говорили?

— Что же такое?

— А вотъ, что молодымъ людямъ и самихъ себя довольно, что неправы тѣ старики, которые претендуютъ, что молодые люди не ищутъ ихъ общества?

— Такъ-то такъ, да вѣдь родительское сердце — загадка, сударь. Ежели разсудить по справедливости, такъ оно и дѣйствительно такъ: какіе же у насъ съ дѣтьми общіе разговоры могутъ быть? Ба-

ловать ихъ, жалѣть, радоваться на нихъ—вотъ настоящая наша задача! Ну, а какъ коснется до дѣла—тутъ и спасуешь! Все думаешь, какъ бы поближе да потѣснѣе, да какъ бы за свою любовь-то благодарность получить!

Сказавши это, Алексѣй Степанычъ такъ нѣжно и любовно погладилъ по головѣ маленькую Леночку, сидѣвшую около него по правую руку, что та сейчасъ же расшалилась и опрокинула къ нему все свое свѣтящееся личико.

— Слѣдовательно,—продолжалъ онъ: — всякому свое. И старикамъ, и молодымъ. Мы—будемъ объ нынѣшнемъ направленіи разсуждать, а молодежь—пусть сама для себя сюжеты выискиваетъ!

Обѣдъ кончился; мы встали изъ-за стола и, въ ожиданіи кофея, пріютились съ Алексѣемъ Степанычемъ въ его кабинетѣ.

— Я такого объ нынѣшнемъ направленіи мнѣнія,—началъ онъ: —что къ тому видимо все клонится, чтобъ не разсуждать. Совсѣмъ чтобъ это оставить! И ежели ты на этой линіи стоишь твердо, то никто, значитъ, тебя и не потревожитъ!

— Гм... а вѣдь это, Алексѣй Степанычъ, тоже своего рода „періодъ“... и даже довольно округленный!

— Настоящаго „періода“ покамѣстъ еще нѣтъ, а изъ отрывочковъ, дѣйствительно, можно это самое заключить.

— Стало быть, по вашему мнѣнію, если хочешь прожить мирно, то стоитъ только не разсуждать?—резюмировалъ я въ раздумьи.

— Вѣрно!

— Что-жъ! Я думаю, что такъ-то даже легче. Вотъ только въ литературѣ... вѣдь она, пожалуй, однимъ разсужденіемъ и живетъ!

— А въ литературѣ—разсуждай о неразсужденіи!

— Да? стало быть, существуетъ особенный видъ разсужденія: разсужденіе о неразсужденіи?

— Именно. На дняхъ я въ одной газетѣ цѣлую передовую статью о неразсужденіи прочелъ—бойко написано!

— Гм... надо объ этомъ подумать!

— И такъ, сударь, онъ, сочинитель этотъ, ловко эту матерію обставилъ, что даже ни однимъ словомъ прямо не проговорился: не разсуждай-молъ! А говоритъ: разсуждай—но въ предѣлахъ!

— Да вѣдь въ томъ-то и штука, Алексѣй Степанычъ, какъ предѣлы-то эти отыскать?

— И объ этомъ онъ говоритъ. У всякаго, говоритъ, свой предѣлъ есть. Ты сапожникъ—разсуждай объ сапогѣ; ты медикъ—разсуждай о пользѣ касторовaго масла, какъ, въ какой мѣрѣ и въ какихъ случаяхъ оно должно быть употреблено; ты адвокатъ—разсуждай о правахъ единокровныхъ и единоутробныхъ...

— А ежели, напримѣръ, философъ?

— А такого званія, кажется, у насъ не полагается!

— Ну, не философъ, а публицистъ, поэтъ, романистъ?

— Ежели публицистъ — пиши о неразсужденіи; ежели поэтъ —пой:

Я лиру томно строю
Пѣть грусть, объявши духъ:
Приди грустить со мною,
Луна, печальныхъ другъ!

Ежели романистъ—пиши сказаніе о томъ, какъ Ванька Таньку полюбилъ, какъ родители ихъ полагали этой любви препятствія, и какая изъ этого вышла кутерьма! Словомъ сказать, всѣ ремесла, всѣ отрасли человѣческой дѣятельности сочинитель этотъ перебралъ—и вездѣ у него вышло, что безъ разсужденія не только безопаснѣе, но даже художественнѣе выходитъ!

— Да; надобно, надобно объ этомъ подумать, и ежели дѣйствительно есть возможность...

— Подумай, мой другъ! А еще лучше, коли не думавши! Знаю я эти думанья! Сначала только думаешь, а потомъ, смотришь, и разсужденіе пришло!

— Ну, а вы сами какъ, Алексѣй Степанычъ? Пробовали ли вы безъ разсужденія жить?

— Я, мой другъ, всю жизнь безъ разсужденія прожилъ. Мнѣ покойный Павелъ Аѳанасьичъ разъ навсегда сказалъ: „ты, Молчалинъ, ежели захочется тебѣ разсуждать, перекрестись и прочитай трижды: да воскреснетъ Богъ и расточатся врази его!—и расточатся!“ Съ тѣхъ поръ я и не разсуждаю, или, лучше сказать, разсуждаю, но въ предѣлахъ. Вотъ изложить что-нибудь, исполнить — это мой предѣлъ!

— Однако, вы—начальникъ отдѣленія. Въ этомъ качествѣ вы мнѣнія высказываете, заключенія сочиняете!

— И все-таки въ предѣлахъ, мой другъ. Коли спросятъ — я

готовъ. Скромненько, потихоньку да полегоньку — ну, и выскажешься. А такъ, что называется, зря я съ мнѣніями выскакивать опасаюсь!

— А развѣ, несмотря на эту осторожность, васъ не тревожили?

— Кому меня тревожить! Живу, сударь. Видишь, какимъ домкомъ обзавелся.

— Да, домикъ хорошъ. А генералъ-маіоръ Отчаянный? а молодой князь Тугоуховскій? А эта безпрестанная боязнь, что вотъ-вотъ сейчасъ велятъ въ отставку подать?

— Ну, это, мой другъ, не тревога. Это ужъ такая жизнь!

Я ничего не сказалъ на это. Замѣчаніе Алексѣя Степаныча заставило меня задуматься. Молчалинъ правъ, думалось мнѣ: онъ не вполнѣ сознательно, но очень мѣтко опредѣлилъ положеніе. Дѣйствительно, тревоги нѣтъ тамъ, гдѣ есть „такая жизнь“. Онъ ошибается только въ томъ, что полагаетъ, что „такая жизнь“ есть личный удѣлъ его и ему подобныхъ. Нѣтъ, это удѣлъ очень многихъ, начиная съ такъ-называемаго „непомнящаго“, ночующаго въ стогахъ сѣна, и кончая такъ-называемымъ „дѣятелемъ“, тщетно отыскивающимъ себѣ мѣстожительство въ кустахъ. Ежели эти люди еще не убѣдились, что все ихъ существованіе есть не что иное, какъ „такая жизнь“, ежели нѣкоторые изъ нихъ, кромѣ того, ждутъ и еще какой-то тревоги, ими неиспытанной и непредвидѣнной, то это означаетъ только, что они не вполнѣ покорились, что хотя они и говорятъ о тревогахъ, но собственно ждутъ отъ жизни не тревогъ, а благостынь. Вотъ Молчалинъ прямо сказалъ себѣ: для меня нѣтъ тревогъ! для меня существуетъ только „такая жизнь“! — и благо ему! Это сознаніе даетъ ему силу не только перенести „такую жизнь“, но даже, по силѣ возможности, и украсить ее. У него есть уголъ, есть семья; онъ не ночуетъ въ стогахъ сѣна и не прячется въ кусты. Не благоразумнѣе ли было бы и со стороны всѣхъ „непомнящихъ“ и „дѣятелей“, если бы и они послѣдовали примѣру Молчалина? Подумайте объ этомъ, милостивые государи! Потому что вѣдь ежели Алексѣй Степанычъ и говоритъ, что настоящаго „періода“ нѣтъ, то онъ же присовокупляетъ, что и изъ „отрывочковъ“ достаточно заключить можно...

Я взглянулъ на Алексѣя Степаныча: онъ былъ такъ свѣтло спокоенъ, онъ съ такимъ блаженнымъ добродушіемъ попыхивалъ свою сигару, дымъ которой отзывался не то печеными раками, не то паленымъ бараньимъ полушубкомъ, что я вдругъ смутился. Одну ми-

нуту мнѣ даже показалось, что передо мной сидитъ своего рода эпикуреецъ той „такой жизни“, всѣ элементы которой такъ искусно сложились, что даже устранили всякое представленіе о „тревогѣ“. „Да! это оно... оно самое!“ твердилъ я себѣ, совершенно явственно ощущая, какъ я все ниже и ниже опускаюсь на самое дно колодца. Я уже хотѣлъ перекреститься и трикраты прочитать „да воскреснетъ Богъ и расточатся“... какъ вдругъ мнѣ пришло на мысль, что есть и еще два сомнѣнія, которыя мнѣ необходимо разъяснить.

— Прекрасно, — сказалъ я:—въ принципѣ я совершенно согласенъ, что ежели человѣкъ не разсуждаетъ, то тревожить его нѣтъ причины. Это великій принципъ современной жизни, это ея палладіумъ, это безопаснѣйшій ночлежный пріютъ для всѣхъ „непомнящихъ“. Но меня тревожитъ, во-первыхъ, слѣдующее соображеніе: вѣдь человѣкъ носитъ на себѣ образъ и подобіе Божіе! Вы христіанинъ, Алексѣй Степанычъ! Подумайте, какъ же съ этимъ-то быть? какъ отказаться отъ образа и подобія Божія? какъ не разсуждать, когда даръ разсужденія есть главная характеристическая черта этого образа и подобія?

— Ну, мой другъ, по нынѣшнему времени эти уподобленія-то оставить надо!

— Какъ! оставить! да вѣдь это кощунство!

— А какъ бы вамъ сказать... Вотъ авторъ-то статьи, о которой я упоминалъ, совсѣмъ напротивъ говоритъ. Не тотъ, говоритъ, кощунствуетъ, кто, не разсуждая, исполняетъ предначертанное, а тотъ, кто разсуждаетъ—во вредъ. Вотъ, говоритъ, гдѣ истинное и дѣйствительное оскорбленіе образа и подобія Божія!..

— Стало быть, вообще-то говоря, разсуждать не возбраняется, но только нужно, чтобъ эта способность проявлялась, во-первыхъ, въ предѣлахъ и, во-вторыхъ, не во вредъ? Такъ что-ли?

— Да, мой другъ!

— И, стало быть, ежели не умѣешь отыскать „предѣловъ“, или не можешь отличить, что̀ вредно и что̀ полезно, то...

— То лучше не разсуждать!

Мы на минуту умолкли и смотрѣли другъ на друга не то въ изумленіи, не то какъ будто намъ было совѣстно, что мы пришли къ такимъ результатамъ. Но я рѣшился выпить чашу до дна, и первый прервалъ молчаніе.

— Прекрасно; но что вы скажете насчетъ слѣдующаго соображенія? Вотъ мы имѣемъ порохъ, книгопечатаніе, паръ, желѣзныя дороги, шассе́, голубиную почту, аэростаты... Мы, наконецъ, ѣдимъ печеный хлѣбъ, а не питаемся сырыми зернами ржи... Не правда ли, что все это пріобрѣтенія очень и очень полезныя? Какъ вы, однакожъ, думаете: если бы люди не разсуждали, обладали ли бы мы всѣми этими благами?

— И насчетъ этого въ статьѣ говорится. „Правда, говоритъ, что есть вещи, которыхъ польза признана всѣми, и осуществленіе которыхъ было бы невозможно безъ нѣкотораго полета ума, но и на этотъ случай существуетъ извѣстная комбинація, при помощи которой могутъ быть удовлетворены всѣ интересы. Пусть тѣ, которые имѣютъ склонность къ умственнымъ полетамъ, прибѣгаютъ къ онымъ подъ личною за сіе отвѣтственностью! пусть изумляютъ они міръ величіемъ и смѣлостью своихъ открытій и изобрѣтеній! пусть воспользуются за оныя сладчайшею въ мірѣ наградою — славой! Но развѣ это мѣшаетъ намъ, избѣгающимъ упомянутыхъ полетовъ, ради отвѣтственности, съ ними сопрягаемой, пользоваться плодами оныхъ? — Отнюдь!“ Да, мой другъ! нужно только терпѣніе, а прочая вся приложатся! Есть и безъ насъ кому выдумывать и мозгами шевелить! Пускай ихъ! Вѣдь оно, выдуманное-то, и безъ того въ свое время до насъ дойдетъ—тогда мы и попользуемся!

— Слѣдовательно, какъ ни кинь, а въ результатѣ все выходитъ: не разсуждать?

— Ежели потому судить, что въ статьѣ говорится, то видимое дѣло, что оно къ тому клонится.

— Попробуемъ, Алексѣй Степанычъ! попробуемъ!

— Попробуй, мой другъ!

Сказавши это, Алексѣй Степанычъ словно оживился весь. Онъ даже перемѣнилъ свое спокойное положеніе на диванѣ и всѣмъ корпусомъ потянулся ко мнѣ, чтобъ еще крѣпче меня убѣдить.

— И совсѣмъ это не такъ трудно, какъ ты себѣ представляешь, мой другъ! Намъ вотъ, чиновникамъ, не только разсуждать не полагается, да еще чужія разсужденія переносить приходится — и то живы! А отъ тебя только одно требуется: находись въ предѣлахъ!— и то ты ропщешь!

— Не ропщу, а не знаю... предѣловъ найти не могу, Алексѣй Степанычъ!

— Ну, Богъ милостивъ!.. вмѣстѣ какъ-нибудь... общими силами... найдемъ!!

Алексѣй Степанычъ сказалъ эти слова нѣсколько вяло. Мнѣ показалось, что при послѣднемъ словѣ онъ даже зѣвнулъ.

— Извините, пожалуйста,—встрепенулся я:—вѣдь у меня совсѣмъ изъ головы вонъ, что вы, кажется, имѣете привычку отдохнуть послѣ обѣда?

— Есть тотъ грѣхъ, мой другъ!

— Ну, такъ вотъ что, Алексѣй Степанычъ! наставленія ваши я постараюсь исполнить; но только если бы паче чаянія — вѣдь плоть-то немощна!—вы вѣдь не откажетесь все-таки въ мою пользу „обстановочку“ сдѣлать?

— Сдѣлаю, мой другъ! съ удовольствіемъ сдѣлаю!

— А ежели такъ, то выходитъ, что сегодняшній разговоръ привелъ насъ къ слѣдующему результату. Три главныхъ признака имѣетъ современное направленіе: во-первыхъ, отсутствіе округленности въ „періодахъ“; во-вторыхъ, стремленіе къ неразсужденію; и въ-третьихъ, возможность „обстановочекъ“. Воля ваша, а послѣдній признакъ мнѣ гораздо больше нравится, нежели, напримѣръ, второй!

— Губа-то у тебя не дура!

— Равнымъ образомъ, я ничего не могу сказать и противъ отсутствія округленности въ „періодахъ“—Богъ съ нею, съ этою округленностью! Пожалуй, какъ округлять-то навострятся—того и гляди, такъ округлятъ, что и на вѣкъ болваномъ останешься! Вотъ только съ неразсужденіемъ трудненько будетъ сладить!

— Богъ милостивъ!

— Да, надо будетъ! надо! Потому что въ наши годы — и вдругъ...

— Что ты! еще что вздумалъ! Про „обстановочку“-то забылъ? А мы вотъ тутъ-то ее и пустимъ.

Съ этими словами мы пожали другъ другу руки и разстались.

Глава IV.

Какъ я уже не разъ говорилъ, Молчалины отнюдь не представляютъ исключительной особенности чиновничества. Они кишатъ вездѣ, гдѣ существуетъ забитость, приниженность, вездѣ, гдѣ чувствуется невозможность скоротать жизнь безъ содѣйствія „обстановки". Русскія матери (да и никакія въ цѣломъ мірѣ) не обязываются рождать героевъ, а потому масса сыновъ человѣческихъ невольнымъ образомъ придерживается въ жизни той руководящей нити, которая выражается пословицей: „лбомъ стѣны не прошибешь". И такъ какъ пословица эта, сверхъ того, въ практической жизни подтверждается восклицаніемъ: „въ бараній рогъ согну!", примѣненіе котораго сопряжено съ очень солидною болью, то понятно, что въ извѣстные историческіе моменты Молчалины должны во всѣхъ профессіяхъ составлять не очень яркій, но тѣмъ не менѣе несомнѣнно преобладающій элементъ.

Повидимому, литературѣ, по самому характеру ея образовательнаго призванія, долженъ бы быть чуждъ этотъ элементъ, а между тѣмъ мы видимъ, что молчалинство не только проникло въ нее, но и въ значительной мѣрѣ прижилось. Въ особенности же угрожающіе размѣры приняло развитіе литературнаго молчалинства съ тѣхъ поръ, какъ, по условіямъ времени, главныя роли въ литературномъ дѣлѣ заняли не литераторы, а мѣнялы и прохвосты...

Съ литературнымъ Молчалинымъ меня познакомилъ тотъ же самый Алексѣй Степанычъ, о которомъ я уже бесѣдовалъ съ читателемъ. Въ одну изъ минутъ откровенности, излагая мартирологъ Молчалиныхъ-чиновниковъ, онъ сказалъ въ заключеніе:

— Да это еще что! мы, можно сказать, еще счастливчики! А вотъ бы вы посмотрѣли на мученика, такъ ужъ подлинно—мученикъ! Я, напримѣръ, по крайности, знаю своего преслѣдователя, вижу его, почти руками осязаю—ну, стало быть, какова пора ни мѣра, и оборониться отъ него могу. А онъ, мученикъ-то, о которомъ я говорю, даже и преслѣдователя-то своего настоящимъ манеромъ назвать не можетъ, а такъ, передъ невидимымъ какимъ-то духомъ трепещетъ.

— Кто жъ это такой?

— Да тёзка мой, тоже изъ роду Молчалиныхъ (такъ расплодился нынче нашъ родъ!) и Алексѣемъ же Степанычемъ прозывается.

Только я—чиновникъ, а онъ—журналистъ, газету „Чего изволите?“ издаетъ. Да, на бѣду, и газету-то либеральную. Такъ вѣдь онъ день и ночь словно въ котлѣ кипитъ: все старается, какъ бы ему въ мысль попасть, а кому въ мысль и въ какую мысль—и самъ того не вѣдаетъ.

— Да, это—не совсѣмъ ловкое положеніе. Что жъ это, однако, за Молчалинъ? Я что-то не слыхалъ о такомъ имени въ русской литературѣ. Литераторъ онъ, что-ли?

— Литераторъ—не литераторъ, а въ военно-учебномъ заведеніи воспитывался, такъ тамъ вкусъ къ правописанію получилъ. И въ литературу недавно поступилъ—вотъ какъ волю-то объявили. Прежде онъ просто табачную лавку содержалъ, накопилъ деньжонокъ, да и посадилъ ихъ въ газету. Теперь за нихъ и боится.

— Воля ваша, а я про такого газетчика не слыхалъ.

— Что̀ мудренаго, что не слыхалъ. Говорю тебѣ: они нынче всѣ изъ золотарей. Придетъ, яко тать въ нощи, посидитъ мѣсяцъ-другой, оберетъ подписку — и пропалъ. А иному и посчастливится, какъ будто даже корни пуститъ. Вотъ хоть бы мой Молчалинъ, напримѣръ, третій годъ потихоньку въ своей лавочкѣ торгуетъ — ничего, сходитъ съ рукъ!

— А шибко онъ боится?

— Такъ боится, такъ боится, что, можно сказать, вся его жизнь —лихорадка одна. Впалъ онъ, грѣшнымъ дѣломъ, въ либерализмъ, да и самъ не радъ. Каждый разъ, какъ встрѣтитъ меня: „уймите, говоритъ, моихъ передовиковъ!“ А что̀ я сдѣлать могу?

— Да, передовики, особенно наши, это—я вамъ скажу — народъ!... начнетъ объ новомъ способѣ вывоза нечистотъ писать—того гляди, въ Сибирь сошлютъ!

— Да если бы еще его одного сослали—куда бы ни шло. А то сколько постороннихъ черезъ него попадетъ—вотъ ты что̀ сообрази! Сообщники, да попустители, да укрыватели—сколько наименованій-то есть! Ахъ, мой другъ! неровенъ часъ! всѣ мы подъ Богомъ ходимъ! Да не хотите ли, я познакомлю васъ съ нимъ?

— Что-жъ, пожалуй!..

— И не безполезно будетъ, я вамъ скажу. Можетъ быть, грѣшнымъ дѣломъ, фельетончикъ настрочите—онъ вѣдь за строчку-то по четыре копѣечки платитъ! Сотню строчекъ шутя напишете—анъ на табакъ и будетъ!

Мы условились, что въ слѣдующее же воскресенье, въ первомъ часу утра, я зайду къ Алексѣю Степанычу, и затѣмъ мы вмѣстѣ отправимся къ его тёзкѣ.

Въ условленный часъ мы были ужъ въ квартирѣ Молчалина 2-го.

Насъ встрѣтилъ пожилой господинъ, въ лицѣ котораго, дѣйствительно, ничего не было написано, кромѣ неудержимой страсти къ правописанію. Онъ принялъ насъ въ просторномъ кабинетѣ, по серединѣ котораго стоялъ большой столъ, весь усѣянный корректурными листами. По стѣнамъ расположены были шкафы съ выдвижными ящиками, на которыхъ читались надписи: „безобразія свіяжскія", „безобразія красноуфимскія", „безобразія малоархангельскія" и проч. Ко мнѣ Молчалинъ 2-ой отнесся такъ радушно, что я безъ труда прочиталъ въ его глазахъ: „5 копѣекъ за строчку—безъ обмана!—и будь мой навсегда!" Къ Алексѣю Степанычу онъ обратился со словами:

— Да уйми ты, сдѣлай милость, моихъ передовиковъ!

— Бунтуютъ?

— Республики, братецъ, просятъ!

— А ты бы ихъ завѣрилъ, что республики не дадутъ!

— Смѣются. Это, говорятъ, ужъ ваше дѣло. Мы, дескать, люди мысли, мы свое дѣло дѣлаемъ, а вы—свое дѣлайте!

— Да неужто-жъ имъ, въ самомъ дѣлѣ, республики хочется?

— Брюхомъ, братецъ! вотъ какъ?

— А я такъ позволяю себѣ думать,—вмѣшался я: — что они собственно только такъ... Знаютъ, что вамъ самимъ эта форма правленія нравится—вотъ и пищутъ.

Молчалинъ 2-й пріосанился.

— Ну, да, конечно, — сказалъ онъ: — разумѣется, я... Само собой, что, по мнѣнію моему, республика... И въ случаѣ, напримѣръ, если бы покойный Луи-Филиппъ... Однако, согласитесь, что не при всѣхъ же обстоятельствахъ... Да и народы притомъ не всѣ... Не всѣ, говорю я, народы...

— Та-та-та! стой, братецъ! — прервалъ Алексѣй Степанычъ: —самъ-то ты нетвердо говоришь — вотъ они и не понимаютъ. Народы да обстоятельства... Какіе такіе „народы"? Води ихъ почаще на Большую Садовую гулять да указывай на Управу Благочинія: вотъ, молъ, она!

— Такъ-то такъ, Алексѣй Степанычъ!—счелъ долгомъ заступиться я: — да вѣдь нельзя редактору такъ просто выражаться. Редакторъ — вѣдь онъ гражданское мужество долженъ имѣть. А между тѣмъ оно и безъ того понятно, что ежели есть „народы, которые", то очевидно, что это—тѣ самые народы... Впрочемъ, я увѣренъ, что и сотрудники газеты „Чего изволите?" очень хорошо понимаютъ, чѣмъ тутъ пахнетъ, но только, для своего удобства, предпочитаютъ, чтобъ господинъ редакторъ самъ дѣлалъ въ ихъ статьяхъ соотвѣтствующія измѣненія.

Молчалинъ 2-й горько усмѣхнулся.

— Да-съ, предпочитаютъ-съ,—сказалъ онъ:—да, сверхъ того, на всѣхъ перекресткахъ ренегатомъ ругаютъ!

— Такъ что, съ одной стороны, ругаютъ сотрудники, а съ другой —угрожаетъ начальство?—подсмѣялся Алексѣй Степанычъ. — Да, братъ, это, я тебѣ скажу,—положеніе!

Молчалинъ 2-й на минуту потупился, словно бы передъ глазами его внезапно пронесся дурной сонъ.

— Такое это положеніе! такое положеніе!—наконецъ воскликнулъ онъ: — повѣрите ли, всего три года я въ этой передѣлкѣ нахожусь, а ужъ болѣзнь сердца нажилъ! Каждый день слышать ругательства и каждый же день ждать бѣды! Ахъ!

— И, какъ мнѣ сказывалъ Алексѣй Степанычъ, непріятность вашего положенія осложняется еще тѣмъ, что вы боитесь, сами не зная кого и чего?

— И не знаю! ну, вотъ, ей Богу, не знаю! Еще вчера, напримѣръ, писалъ объ какомъ-нибудь предметѣ, писалъ безстрашно — и ничего, сошло! Сегодня опять тотъ же предметъ, съ тѣмъ же безстрашіемъ тронулъ—хлопъ! А я почемъ зналъ?

— „А я почемъ зналъ!"—передразнилъ Алексѣй Степанычъ: —а носъ у тебя на что? А сердце-вѣщунъ для чего? Коли ты — благонамѣренный, такъ вѣдь сердце-то на всякъ часъ должно тебя остерегать!

— Разсказывай! Тебѣ хорошо, ты *своего* проникъ—ну, и объѣздилъ! А вотъ худо, какъ и объѣздить некого! Поди, угадывай, откуда гроза бѣжитъ!

— Да неужто-жъ нѣтъ способовъ?—вмѣшался я:—во-первыхъ, какъ сказалъ Алексѣй Степанычъ, у васъ есть сердце-вѣщунъ, ко-

торое должно васъ остерегать; а во-вторыхъ, вѣдь и писать можно приноровиться... ну, аллегоріями что-ли!

— То-то и есть, что на аллегоріи нынѣче мастеровъ нѣтъ. Были мастера, да сплыли. Нынѣче все пишутъ сплеча, періодовъ не округляютъ, даже къ знакамъ препинанія холодность какая-то видится. Да вотъ, позвольте, я прочту, что̀ мнѣ тутъ одинъ передовикъ напуталъ. Кстати, вмѣстѣ обсудимъ, да тутъ же и исправимъ. А то я ужъ съ утра мучусь, да пониманіе, что-ли, во мнѣ притупилось: просто, никакой аллегоріи придумать не могу!

Мы согласились. Молчалинъ 2-й взялъ со стола корректурный листъ и началъ:

„С.-Петербургъ, 24-го іюля.

„На этотъ разъ мы вновь возвращаемся къ вопросу, который уже не однажды занималъ насъ. Пусть, впрочемъ, читатель не сѣтуетъ за частыя повторенія: это—вопросъ животрепещущій, вопросъ жизни и смерти, вопросъ, отъ правильной постановки котораго зависитъ честь и спокойствіе всѣхъ гражданъ. Однимъ словомъ, это—вопросъ о распространеніи на всѣ селенія имперіи правъ и преимуществъ, изложенныхъ въ уставѣ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій, вопросъ, повидимому, скромный, но, въ сущности, проникающій въ сердце нашей жизни гораздо глубже, нежели можно съ перваго взгляда предположить....“

— Гм... кажется, это можно?

— По моему мнѣнію, не только можно, но и... ахъ, Боже мой! да самая мысль, что честь и спокойствіе гражданъ зависятъ отъ распространенія правъ и преимуществъ, изложенныхъ въ уставѣ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій... Помилуйте! я самъ сколько разъ порывался... сколько разъ самъ думалъ: отъ чего бы это, въ самомъ дѣлѣ, зависѣло?.. и вдругъ такой ясный и вполнѣ опредѣленный отвѣтъ!—восклицалъ я въ восхищеніи.

— А по моему, такъ и тутъ есть изъянецъ,—расхолодилъ мой восторгъ Алексѣй Степанычъ: — кажется, и всего-то одно словечко подпущено: „гражданъ“, а сообразите-ка—чѣмъ оно пахнетъ! Какіе такіе, скажутъ, „граждане“? Откуда такое званіе взялось? У насъ, батюшка, всякій—самъ по себѣ! Ты — самъ по себѣ, я — самъ по себѣ! А то „граждане“! Что за новое слово такое? Да и конецъ, признаюсь, мнѣ не нравится: „проникающій гораздо глубже, нежели

можно съ перваго взгляда предположить"!.. Какой такой „первый взглядъ"? И что̀ тутъ еще „предполагать"? Припахиваетъ, братецъ, припахиваетъ!

— Чѣмъ же бы ты, однакожъ, замѣнилъ слово „гражданъ"?

— А „обыватели" на что! И для тебя спокойно, и особенно гнуснаго ничего нѣтъ. „Честь и спокойствіе обывателей" — чѣмъ худо?

— Гм... да... вы какъ думаете? — обратился Молчалинъ 2-й ко мнѣ?

— По моему, „граждане" возвышеннѣе; но коль скоро общественная безопасность этого требуетъ, то отчего же не припустить и „обывателей"!..

— Такъ ужъ я...

Онъ помуслилъ карандашъ, поскребъ имъ на поляхъ корректурнаго листа и продолжалъ:

„Что селеніямъ нашимъ необходимо предоставить тѣ же благодѣянія полицейскаго надзора, которыми уже пользуются ихъ старшіе собратья по табели о рангахъ, т.-е. города и мѣстечки, — насчетъ этого наша печать единодушна. Если не ошибаемся, до сихъ поръ еще никто и никогда не позволилъ себѣ проводить въ русской печати мысль, что полиція вредна. Да и мудрено проводить что-нибудь подобное, во-первыхъ, потому, что это противорѣчило бы историческому опыту всѣхъ народовъ, а во-вторыхъ, и потому, что, съ принципіальной точки зрѣнія, само начальство высказалось насчетъ пользы, приносимой полиціей, настолько твердо и рѣшительно, что сразу поставило этотъ вопросъ внѣ всякихъ пререканій".

— Хорошо! очень хорошо! только я бы, знаешь, усугубилъ: вмѣсто „внѣ всякихъ пререканій", написалъ бы: „внѣ всякихъ *неумѣстныхъ* пререканій". Вѣрнѣе! — посовѣтовалъ Алексѣй Степанычъ.

— Можно и усугубить! Ну-съ, далѣе!

„Стало быть, если въ нашей печати и существуютъ по этому предмету разномыслія, то они касаются не рѣшеннаго уже начальствомъ вопроса о пользѣ полиціи, но лишь практическихъ его примѣненій. „Полицейское воздѣйствіе безусловно полезно и необходимо", въ одинъ голосъ вопіютъ всѣ органы русской литературы, „слѣдовательно оставимъ этотъ вопросъ въ сторонѣ, а будемъ спо-

рить лишь о томъ, въ какой формѣ должно выразиться полицейское воздѣйствіе, дабы имѣть силу дѣйствительную, а не мнимую". И дѣйствительно спорятъ; спорятъ горячо, съ увлеченіемъ, почти съ жгучестью... Такъ что многимъ приходитъ на мысль: ужъ не потому ли такъ шумятъ наши народные витіи, что, за невозможностью обсуждать дѣло по существу, они хотятъ отыграться на подробностяхъ?"

— Ничего... это? — какъ-то робко спросилъ насъ Молчалинъ 2-й.

— Ничего-то—ничего, а ты вникни, однако, что̀ онъ тутъ наговорилъ, передовикъ-то твой!

Молчалинъ 2-й вопросительно взглянулъ на меня, какъ бы призывая въ свидѣтели своей невинности.

— Нечего, нечего лебезить... Лиса Патрикѣевна! — безжалостно оборвалъ его Алексѣй Степанычъ:—словно и не понимаетъ, въ чемъ тутъ суть! Ишь ты! сначала, какъ и путный: „нельзя, говоритъ, не быть согласнымъ насчетъ существа", а потомъ и пошелъ: „невольнымъ образомъ отыгрываются" да „за невозможностью"! „За безполезностью", сударь! „за безполезностью"! Вотъ какъ слѣдуетъ говорить!

Новый вопросительный взглядъ на меня со стороны Молчалина 2-го, на этотъ разъ уже положительно требующій моего вмѣшательства.

— Къ сожалѣнію, я и самъ не могу не согласиться съ Алексѣемъ Степанычемъ,—поспѣшилъ откликнуться я:—конечно, ни одинъ изъ обыкновенныхъ читателей не найдетъ во всей прочитанной вами тирадѣ ничего, что̀ бы свидѣтельствовало о неблаговидныхъ поступкахъ ея автора. Но *запахъ* — все-таки есть! И читатель необыкновенный, читатель, который слѣдитъ за статьей, такъ сказать, съ карандашомъ въ рукахъ... не знаю! Право, даже угадать не могу, что̀ онъ найдетъ и чего не найдетъ въ указанныхъ Алексѣемъ Степанычемъ словахъ! Можно и ничего не найти, но можно и *все* найти, потому что тутъ есть какая-то неискренность, есть экивокъ. Я самъ люблю экивоки, но вѣдь экивокъ—это что такое? Пройдетъ онъ—хорошо! а не пройдетъ—тогда что? Вотъ почему я полагалъ бы, что, съ точки зрѣнія безопасности, надежнѣе было бы, если бы всю фразу, начиная со словъ: „такъ что многимъ", выкинуть совсѣмъ.

— И такъ можно!—согласился Алексѣй Степанычъ.

— Потому что слово—серебро, а молчаніе—золото!—присовокупилъ я.

— Да, если бы можно было этимъ золотомъ на рынкѣ расплачиваться—богатъ бы я былъ!—вздохнулъ Молчалинъ 2-й и какъ-то задумчиво уперся карандашомъ въ корректуру: какъ бы рѣшаясь и не рѣшаясь исполнить мое замѣчаніе.

— Стойте! нашелъ!—воскликнулъ онъ, наконецъ:—вмѣсто того, чтобъ совсѣмъ выкидывать фразу, я замѣню ее слѣдующею:

„Такъ бываетъ всегда, когда печать становится лицомъ къ лицу съ настоящимъ, реальнымъ дѣломъ, а не съ пустою и безсодержательною идеологіей“... Ладно?

— Прекрасно! прекрасно! прекрасно! — похвалилъ Алексѣй Степанычъ:—похеривай и продолжай.

„Положеніе нашихъ селеній исключительное. Полиція въ нихъ, можно сказать, не существуетъ вовсе. Вотчинная полиція упразднена; мировые посредники, въ обязанности которыхъ отчасти входили атрибуты вотчинной полиціи, тоже сочтены излишними; волостныя правленія и суды вѣдаютъ лишь дѣла крестьянъ; сотскіе и десятскіе —но кто же не знаетъ, что̀ такое наши сотскіе и десятскіе? Мировые судьи или больны, или находятся въ отпуску, занятые пріисканіемъ другихъ, лучшихъ мѣстъ, и притомъ разсѣяны по лицу земли въ такихъ гомеопатическихъ порціяхъ, что безполезно даже разсчитывать на ихъ защиту. Такъ что ежели у васъ пропалъ грошъ, то вамъ некому даже попечалиться объ этомъ. Понятно, что такое двусмысленное положеніе, затрогивающее коренныя основы, на которыхъ зиждется общество, должно было встревожить нашу печать“.

— Печальная картина!—вздохнулъ Молчалинъ 2-й и какъ-то нелѣпо пригорюнился.

— Смотри, не заплачь! Нѣчего тутъ! Валяй! валяй дальше!—поощрилъ его Алексѣй Степанычъ.

„Но, разъ занявшись имъ, она должна была встрѣтиться съ множествомъ вопросовъ, которые существенно на него вліяютъ, и которые, слѣдовательно, предлежало разрѣшить во что̀ бы то ни стало. Что полиція не существуетъ—это ясно; что ее слѣдуетъ возстановить, возродить, создать—это тоже ясно; но какимъ образомъ, изъ какихъ матеріаловъ и съ помощью какихъ силъ предстоитъ воздвигнуть величественное ея зданіе—вотъ что̀ неясно и что̀ требуетъ неотложнаго

разрѣшенія. Въ комъ, т. е. въ какихъ лицахъ должна найти воплощеніе идея, выражаемая уставомъ о пресѣченіи и предупрежденіи преступленій, въ примѣненіи ея къ селеніямъ? Кто наиболѣе заинтересованъ какъ въ назначеніи сихъ лицъ, такъ и въ наблюденіи за правильностью ихъ дѣйствій? Въ какомъ количествѣ должны быть назначаемы эти лица, и какихъ желательно ожидать отъ нихъ качествъ? Какія необходимо имъ присвоить права какъ по прохожденію службы, такъ и по мундиру и пенсіи? Въ какихъ предѣлахъ должна быть заключена ихъ власть, а равнымъ образомъ, въ чемъ должны состоять ихъ обязанности по наблюденію, дабы кутузка, сохраняя свою общедоступность, съ одной стороны — не принимала характера увеселительнаго заведенія, а съ другой — не служила угрозою для выполненія прихотливыхъ требованій и не отвлекала гражданъ отъ ихъ обычныхъ занятій и невинныхъ забавъ?

„Все это, какъ видитъ читатель, — вопросы нешуточные, и потому совершенно понятно, что они волнуютъ въ настоящее время лучшіе умы въ русскомъ обществѣ и въ русской литературѣ“.

— Прекрасно! продолжай, братецъ! продолжай! „Гражданъ“-то, „гражданъ“-то только похерь!

„Однимъ изъ самыхъ рьяныхъ противниковъ нашей газеты по всѣмъ этимъ вопросамъ является газета „И шило брѣетъ“, которая, въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ нумеровъ, даже посвятила намъ по этому случаю обширную статью. По своему обыкновенію, почтенная газета находится въ веселомъ расположеніи духа. Она заигрываетъ съ нами, она охотно извращаетъ наши слова и мысли и, разумѣется, прибѣгаетъ къ отборнѣйшимъ выраженіямъ своего полемическаго жаргона, чтобъ выставить насъ, въ глазахъ своихъ неприхотливыхъ читателей, въ самомъ уморительномъ видѣ. Насъ самихъ она называетъ „недоумками“, „тупицами“ и „барскими прихвостнями“, а газету нашу — „гнойнымъ нарывомъ, въ которомъ нашли себѣ послѣднее убѣжище паскудные остатки отживающаго русскаго холопства“.

— Однако, братъ! — какъ-то испуганно воззрился Алексѣй Степанычъ при послѣднихъ словахъ.

— Да, братецъ! — подтвердительно отвѣтилъ Молчалинъ 2-й, но, какъ малый уже посѣдѣлый въ литературныхъ бояхъ, только махнулъ рукою и продолжалъ:

„Мы не послѣдуемъ за уважаемой газетой въ ея полемическихъ пріемахъ. Мы едва-ли не съ бо́льшимъ основаніемъ могли бы назвать ея сотрудниковъ „паршивыми либералами“, а ее самое—„гніющимъ продуктомъ современнаго общественнаго разложенія“, но не дѣлаемъ этого, ибо знаемъ, что съ словомъ слѣдуетъ обращаться честно. И, конечно, не оголтѣлые казаки „Брѣющаго Шила“ заставятъ насъ отступиться отъ этого правила“...

— Однако, братъ!—вновь изумился Алексѣй Степанычъ.

Но Молчалинъ 2-й даже не отвѣтилъ на этотъ перерывъ, а только машинально отмахнулся рукой, какъ бы отгоняя надоѣдливую муху.

„Дѣйствительно, разница между нашими воззрѣніями и пустопорожними разглагольствованіями „Брѣющаго Шила“ до такой степени существенна, что ничего нѣтъ удивительнаго, ежели почтенная газета выходитъ изъ себя и доводитъ свою полемику до крайнихъ предѣловъ неприличія. Она понимаетъ, что, въ порывѣ прапорщичьяго экстаза, зашла въ трущобу, и сердится на насъ уже не за то, что мы расходимся съ нею, а за то, что мы не подаемъ ей руку помощи и не дѣлаемъ ни малѣйшей уступки, которая позволила бы ей прилично и безъ позора отступиться отъ легкомысленно высказанныхъ ею мнѣній. Сдѣлай мы это—и она давно бы простерла намъ свои объятія, если бы, впрочемъ, не воспользовалась этимъ обстоятельствомъ, чтобъ обвинить насъ же въ малодушіи и непослѣдовательности. Но потому-то именно мы и не сдѣлаемъ ничего въ этомъ смыслѣ; мы ни въ какомъ случаѣ не подадимъ „Брѣющему Шилу“ требуемой имъ руки помощи и не поступимся ни однимъ золотникомъ, ни однимъ скрупуломъ изъ своихъ убѣжденій. Мы не сдѣлаемъ этого, во-первыхъ, потому, что ведемъ свое дѣло на чистоту, а во-вторыхъ, и потому, что поставили себѣ задачей, во что бы то ни стало, раскрыть публикѣ глаза и выставить передъ нею въ надлежащемъ свѣтѣ истинныя достоинства того гнилого либерализма, которымъ щеголяетъ „Брѣющее Шило“...“

— Ничего?—остановился Молчалинъ 2-й.

— Ничего, братецъ! цапайтесь, подсиживайте другъ дружку! Съ точки зрѣнія благоустройства, это даже лучше!

„Прежде всего, мы выходимъ изъ принциповъ діаметрально противоположныхъ. „Брѣющее Шило“ исходною точкой для своихъ разглагольствій ставитъ нагое единоначаліе; мы же, какъ читателямъ

это достаточно извѣстно, не имѣя ничего противъ единоначалія, какъ принципа дисциплинирующаго и дающаго нашей жизни правильный устой, съ своей стороны, въ видѣ корректива, присовокупляемъ къ нему излюбленное и вполнѣ почтительное народосодѣйствіе. Вотъ это-то, съ одной стороны, благосклонно-внимательное, а съ другой—почтительно-любовное взаимодѣйствіе двухъ взаимно другъ друга оплодотворяющихъ силъ, которое, по нашему мнѣнію, составляетъ основу нашей общественной жизни, вотъ оно-то и служитъ поводомъ для полемики. И ежели „Брѣющее Шило“ ведетъ ее съ нахальствомъ и даже ненавистью, то тѣмъ хуже для него; мы же никогда до этого не унизимся, а будемъ на всѣ обвиненія и инсинуаціи отвѣчать съ спокойствіемъ и достоинствомъ, полными презрѣнія“.

— Вотъ „единоначаліе“... ужасно меня это слово безпокоитъ!—задумался Молчалинъ 2-й.

— Что-жъ, слово... ничего!—разувѣрилъ его Алексѣй Степанычъ:—коли у мѣста, такъ даже украшеніемъ служитъ! Вѣдь ты „противъ единоначалій ничего не имѣешь“ — ну, и Христосъ съ тобой! А что касается до „народосодѣйствія“, такъ и законъ, братецъ, не препятствуетъ... Содѣйствуйте, батюшки, содѣйствуйте!

— Такъ-то такъ, а все-таки... Все какъ будто противъ единоначалія... Тогда какъ, видитъ Богъ, я...

— Ну-ну! ничего! не слишкомъ ужъ робѣй! И на начальство, братъ, тоже надѣяться надо: пойметъ! Читай дальше.

„Какъ ни непререкаемъ принципъ единоначалія, какія бы заслуги онъ ни считалъ за собой въ прошедшемъ и въ настоящемъ, тѣмъ не менѣе нельзя отрицать, что, отрѣшенный отъ народосодѣйствія, онъ скоро извращаетъ свой благодѣтельный характеръ и въ самомъ даже благопріятномъ случаѣ является какъ бы вращающимся въ пустотѣ. Лишенный здоровой извѣстительной пищи, которою только народосодѣйствіе и можетъ снабжать его, онъ скоро не будетъ знать и самъ, надъ чѣмъ ему единоначальствовать предстоитъ; а такъ какъ единоначальствовать, все-таки, необходимо, то будетъ удовлетворять этой потребности, истощая свои силы въ единоначальствованіи надъ самимъ собою. Поручики будутъ безъ надобности угнетать корнетовъ, штабсъ-ротмистры—поручиковъ, ротмистры — штабсъ-ротмистровъ и т. д. Вотъ почему мы думаемъ, что единоначаліе, предоставленное однѣмъ своимъ силамъ, не только ничего не достигаетъ, но нерѣдко

приводитъ на край гибели, да и само при семъ погибаетъ жертвою непризнанія иныхъ руководящихъ началъ, кромѣ собственнаго критеріума, ограничиваемаго лишь внезапностью. Это — общее правило, которое"...

— Ого!—прервалъ чтеніе Алексѣй Степанычъ: — ну, этого, братъ, самъ Макъ-Магонъ, и тотъ къ обнародованію не одобритъ!

— А! что! Я вамъ говорилъ!—почти крикомъ крикнулъ Молчалинъ 2-й:—всегда они у меня такъ! начнутъ о бляхахъ городовыхъ, а сведутъ на единоначаліе!

— Я бы, на твоемъ мѣстѣ, всю эту тираду похерилъ, а вмѣсто нея легонькую бы похвалу начальникамъ края пустилъ!

— Какъ такъ?

— Да такъ вотъ. Извѣстно, молъ, что въ подобныхъ дѣлахъ многое зависитъ отъ начальниковъ края, которые, дескать, просвѣщеннымъ вниманіемъ... А потому: обращаемъ взоры наши! Въ надеждѣ, молъ, что скромныя наши замѣтки будутъ приняты не яко замѣчанія, но яко дань... Словомъ сказать, замѣси, защипни, помасли, положи по вкусу соли, да и ставь въ легкій духъ, благословясь!

— И я вполнѣ раздѣляю это мнѣніе, — сказалъ я: — только одно бы я въ редакціи Алексѣя Степаныча измѣнилъ. Онъ говоритъ: *многое* зависитъ отъ начальниковъ края, а я бы сказалъ: *все*!

— А что вы думаете! Мысль-то вѣдь недурна! Потому что хоть и пыжатся господа наши передовики: единоначаліе да единоначаліе! а чего, напримѣръ, какихъ результатовъ они въ пресловутой своей Франціи достигли?! Тогда какъ у насъ...

Онъ не договорилъ и быстро началъ бѣгать карандашомъ по корректурѣ.

— Ну, слушайте, какъ оно у меня теперь вышло:

„Безспорно, что принципъ единоначалія непререкаемъ; безспорно, что власть единоличная, коль скоро она вручена лицамъ просвѣщеннымъ и согрѣваемымъ святою ревностью къ общественному благу (а кто же, кромѣ безшабашныхъ писакъ „Брѣющаго Шила", можетъ отрицать, что именно эти качества всегда въ совершенствѣ характеризовали нашихъ начальниковъ края, въ особенности же тѣхъ, кои удостоились этого назначенія въ послѣднее время?), не только не приводитъ государствъ на край гибели, но даже полагаетъ основаніе ихъ несокрушимости. Но это ни мало не должно охлаждать наше

рвеніе въ смыслѣ содѣйствовательномъ, ибо самъ законъ требуетъ отъ гражданъ содѣйствія, и въ противномъ случаѣ даже угрожаетъ карою, какъ за попустительство. Вотъ что мы имѣли въ виду, настаивая на совмѣстномъ дѣйствіи принципа единоначалія съ принципомъ любовнаго и почтительнаго народосодѣйствія, и вотъ почему мы и нынѣ еще разъ рѣшаемся посвятить наши столбцы всестороннему обсужденію вопроса о распространеніи на селенія имперіи тѣхъ правъ и преимуществъ полицейскаго надзора, которыми уже пользуются города. Мы дѣлаемъ это не въ видахъ поученія, нижѐ совѣта, а лишь въ формѣ скромнаго и благопочтительнаго мнѣнія, принять или не принять которое будетъ, конечно, зависѣть отъ усмотрѣнія. Примется наше мнѣніе—мы будемъ польщены; не примется — мы и на это сѣтовать не станемъ!“

— Хорошо, что-ли, такъ будетъ?

— Ужъ такъ-то хорошо, что даже я и не ожидалъ!—похвалилъ Алексѣй Степанычъ:—и подлости прямой нѣтъ—потому ты никого не назвалъ—а между тѣмъ въ носъ вѣдь, братецъ, бросится!

— Ну, а вы что скажете?—обратился ко мнѣ Молчалинъ 2-й.

— Хорошо, даже очень хорошо; но, признаюсь, я имѣю сдѣлать небольшое замѣчаньице, которое, по мнѣнію моему, нелишне будетъ принять къ свѣдѣнію. Въ новую редакцію мы перенесли изъ прежней слова: „не только не приводитъ государствъ на край гибели“... Конечно, я понимаю, что вы это сдѣлали единственно ради того, чтобъ, по возможности, сохранить трудъ наборщика; но людямъ, не посвященнымъ въ тайны корректуры, эта фраза можетъ показаться сомнительною. Могутъ спросить себя: съ чего это вдругъ пришли ему на умъ „государства, приводимыя на край гибели“? Нѣтъ ли иронiи тутъ какой-нибудь — иронiи, которую наружная восторженность похвалы дѣлаетъ еще болѣе ѣдкою и чувствительною?

— А вѣдь замѣчаніе-то справедливое! — согласился со мною и Алексѣй Степанычъ.

Молчалинъ 2-й задумался.

— Справедливое-то справедливое, — произнесъ онъ наконецъ: — а жаль! Фраза-то ужъ больно ловка!

— Стой! Я придумалъ!—нашелся Алексѣй Степанычъ:—фразу оставить можно, только дополнить ее надо. И дополнить такъ: „какъ думаютъ нѣкоторые распространители превратныхъ идей“ —вотъ и все.

— Отлично!—согласился Молчалинъ 2-й, и тутъ же, сдѣлавъ надлежащее исправленіе, продолжалъ:

„Токвиль говоритъ: единоначальники, доводящіе свое властолюбіе...“

— Марай!—вскричалъ Алексѣй Степанычъ:—и читать дальше не нужно! Марай!

Молчалинъ 2-й, даже не возражая, провелъ крестъ на корректурномъ листѣ.

„Гнейстъ, подтверждая это мнѣніе, съ своей стороны, присовокупляетъ: „Единоначальникъ, который...„

— То—Гнейстъ, а то—русская газета „Чего изволите?“! Марай, любезный, марай!

„Людовикъ XVI не даромъ со слезами на глазахъ собственноручно набиралъ знаменательныя слова Тюрго: pauvre France! pauvre roi! Этотъ добродушный самодержецъ инстинктивно чувствовалъ, что онъ — послѣдній прирожденный король Франціи и Наварры, и что отнынѣ имя Бурбоновъ всецѣло перейдетъ на главы тѣхъ русскихъ офицеровъ, которые выслужились изъ кантонистовъ и сдаточныхъ“.

Молчалинъ 2-й умолкнулъ. Мы тоже молчали. Никто изъ насъ ничего не понималъ, но всѣ мы находились подъ гнетомъ какой-то неожиданности.

— Марай! марай! марай!—первый опомнился Алексѣй Степанычъ. Но, къ изумленію, Молчалинъ 2-й заупрямился.

— Позволь, однако, тёзка!—сказалъ онъ:—вѣдь ежели все-то марать, такъ, пожалуй, и обстановки никакой у статьи не будетъ. Всѣ эти ссылки и анекдоты, конечно, не стоютъ ломанаго гроша; однако попробуй безъ нихъ статью выпустить—голо будетъ!

Онъ вопросительно взглянулъ на меня.

— Если вы желаете знать мое мнѣніе, — сказалъ я: — то оно резюмируется въ одномъ словѣ: марайте! Конечно, анекдотъ объ Людовикѣ XVI очень хорошъ, но вѣдь, собственно говоря, при тѣхъ перемѣнахъ, которыя вами сдѣланы выше, онъ ужъ какъ-то и не подходитъ.

— Гм... да, вотъ это такъ. Дѣйствительно, оно... Но согласитесь, что это тяжело. И каждый вѣдь день, каждый день мы должны приносить эти жертвы!

Онъ вздрогнулъ, но взялъ карандашъ и твердою рукой начерталъ

крестъ на корректурномъ листѣ. Затѣмъ онъ продолжалъ: „Все это мы припоминаемъ здѣсь съ тою цѣлью, чтобъ читатель понялъ нашу мысль вполнѣ. Мы—не только не противники единоначалія, но именно потому и присовокупляемъ къ нему, въ видѣ придатка, народосодѣйствіе, что послѣднее нимало не подрываетъ перваго, а, напротивъ того, дѣйствуя съ нимъ вкупѣ, даже подкрѣпляетъ его. Святая пѣснь спрашиваетъ не даромъ: „се что красно, что добро?“ и отвѣчаетъ: „вонже жити, братіе, вкупѣ“. Этого же и мы желаемъ. Мы говоримъ обществу: остерегись! стань само на стражѣ своихъ интересовъ! спроси себя, можешь ли ты остаться равнодушнымъ къ такимъ вопросамъ, какъ напримѣръ: отъ кого должно зависѣть заготовленіе провіанта и обмундированія для полицейскихъ чиновъ въ селеніяхъ? какой системы слѣдуетъ держаться при организаціи такъ-называемыхъ чижовокъ? и проч. И ежели ты отвѣтишь на этотъ вопросъ отрицательно, то-есть отнесешься къ дѣлу хладнокровно, то пеняй уже на себя, а не на насъ! Пеняй на себя, ежели ты впослѣдствіи увидишь себя подъ гнетомъ морально-полицейскаго давленія! Пеняй на себя, если ты самъ выпустишь изъ рукъ такія плодотворныя статьи, какъ напримѣръ расходы по обмундированію нижнихъ чиновъ и по содержанію въ исправности чижовокъ!“

— Однако дались ему чижовки! — не воздержался замѣтить Алексѣй Степанычъ.

— Ну, это ужъ я самъ,—молвилъ Молчалинъ 2-й и, тутъ же исправивъ, прочиталъ: „Все это... Святая пѣснь... ну, и такъ далѣе, по старому... Мы говоримъ обществу: довѣрься, но доводи до свѣдѣнія! Предоставь, но смотри въ оба! Не для того, чтобъ неумѣстною критикой произвести замѣшательство въ единоначальственныхъ распоряженіяхъ, а для того, чтобъ оправдать почивающія на тебѣ надежды и упованія! Начальство воодушевлено наилучшими намѣреніями, но оно, ежели позволительно такъ выразиться, не всевидяще! И хотя извѣстный куплетъ:

Il voit tout,
Il sait tout,
Et il fourre son nez partout!—

замѣчательно хорошо выражаетъ положеніе вещей, но безусловно вѣренъ, все-таки, лишь послѣдній его стихъ. Начальство желаетъ всѣмъ угодить, но иногда—мы говоримъ это со скорбію—не уго-

ждаетъ никому! Поэтому, о общество, ежели ты пренебрежешь предстоящими тебѣ въ семъ случаѣ обязанностями, то пеняй уже на себя, а не на насъ! Пеняй на себя, если начальство, послѣ тщетныхъ ожиданій твоей извѣстительной инициативы, наконецъ воскликнетъ: валяй по всѣмъ по тремъ! Пеняй на себя, ежели чижовки, въ которыхъ ты отъ времени до времени будешь проводить свои досуги, окажутся наполненными клопами, и ежели вопросъ объ устраненіи сего недостатка будетъ переданъ на обсужденіе особой коммиссіи, которая сочтетъ за нужное издать по этому поводу сто одинъ томъ „трудовъ“, дабы и затѣмъ не придти ни къ какому заключенію“.

— Ну, какъ теперь?

— Что̀ и говорить! ужъ коли ты захочешь, такъ разутѣшишь.

— Вотъ насчетъ „сто одного тома трудовъ“... Это какъ?

— Ничего, съ Богомъ! Душо̀къ, правда, есть, ну, да вѣдь и то сказать: газета-то у тебя либеральная,—нельзя же безъ того, чтобъ немножко и тово...

Но я—я не былъ согласенъ.

— Позвольте, — сказалъ я: — это превосходно, нечего и говорить! И отвага есть, и горячее, отъ души вылившееся слово, и даже... стойкость! Но, во-первыхъ, нужно выпустить куплетъ: это — conditio sine qua non. Такой серьезный предметъ — и вдругъ воспоминаніе о „Чайномъ цвѣткѣ“! Какъ хотите, а это обидно! Во-вторыхъ, необходимо уничтожить и замѣнить выраженіе „валяй по всѣмъ по тремъ!“ —какъ тривіальное, а по отношенію къ высшему начальству даже и непочтительное. Въ-третьихъ, наконецъ, вы говорите: „довѣрься, но доводи до свѣдѣнія!“, „предоставь, но смотри въ оба!“ Но не превосходнѣе ли было бы, если бы вы сказали: „доводи до свѣдѣнія, но—довѣрься! смотри въ оба, но—предоставь!“ Дайте-ка фразѣ этотъ оборотъ — и вы увидите, что тогда, дѣйствительно, не останется ужъ и тѣни недовѣрія къ начальству, а потребность въ почтительныхъ извѣщеніяхъ выступитъ впередъ съ еще большею яркостью!

— Справедливо! — воскликнулъ Алексѣй Степанычъ: — хоть и строгонько, но... справедливо.

Замѣчаніе мое было выполнено. Молчалинъ 2-й продолжалъ:

„Не слѣдуетъ упускать изъ вида, что у общества имѣются свои собственные органы и что эти послѣдніе существуютъ съ надлежа-

щаго разрѣшенія и пользуются законною организаціей, а отнюдь не представляютъ собой сборища узурпаторовъ или случайно сошедшихся людей, какъ это инсинуируютъ борзописцы „Брѣющаго Шила“. Что̀ означаетъ существованіе этихъ органовъ? Оно означаетъ потребность въ нихъ, потребность не только коренящуюся въ глубинахъ общества, но сознаваемую и самимъ начальствомъ. Органы эти созданы не для того, чтобъ покоиться, но для того, чтобъ дѣйствовать, то-есть усматривать и дѣлать соотвѣтствующія представленія. Будутъ уважены эти представленія—хорошо; не будутъ—не прогнѣвайся! Но во всякомъ случаѣ право представлять существуетъ, и было бы величайшимъ малодушіемъ не пользоваться имъ, хотя бы отъ сего и не предвидѣлось никакихъ послѣдствій. Права не даются даромъ; даже прыщъ на носу—и тотъ даромъ не вскочитъ, но сначала почешется. Поэтому мы не имѣемъ основанія пренебрегать никакимъ правомъ, хотя бы оно, на первый взглядъ, казалось намъ ничтожнымъ и даже плёвымъ. Сперва одно плёвое право, затѣмъ другое, тоже плёвое, но уже въ меньшей степени. И такъ далѣе, въ разумной постепенности, доходя до выѣденнаго яйца. Почему наши земства представляются вялыми и дѣйствующими какъ бы впросонкахъ? Почему члены управъ приходятъ въ движеніе лишь въ концѣ мѣсяца, когда предвидится полученіе присвоенныхъ имъ окладовъ? А потому именно, что и земства, и ихъ управы совершенно упускаютъ изъ виду сейчасъ высказанную нами истину. Почему, въ свою очередь, они дозволяютъ себѣ подобное неряшливое отношеніе къ своимъ обязанностямъ? А потому, что само общество, которому надлежало бы поощрять и воодушевлять удостоенныхъ довѣріемъ его лицъ, коснѣетъ въ равнодушіи къ своимъ собственнымъ интересамъ. Это—круговая порука апатіи и лѣности, въ результатѣ которой не можетъ быть ничего иного, кромѣ мерзости запустѣнія. Что̀ скажетъ объ насъ потомство? Оно скажетъ: это были люди, по милости которыхъ мы до сихъ поръ занимаемся толченіемъ воды, тогда какъ мы были бы уже въ самомъ центрѣ пирога, если бы предварительная работа была ими исполнена своевременно и неуклонно. Что̀ скажутъ иностранцы о такомъ обществѣ и такихъ органахъ? Они скажутъ: вотъ общество, которому ничего не было дано и которое, поэтому, ничѣмъ и не воспользовалось. Ужели они будутъ правы?“

Молчалинъ 2-й прочелъ эту тираду однимъ духомъ, весело,

ходко, почти шаловливо, но при послѣдней фразѣ объ иностранцахъ вдругъ поперхнулся и оцѣпенѣлъ.

— Вотъ тебѣ разъ!—невольно воскликнулъ я.

— Постой, братъ, я окошко отворю, да караулъ закричу!—въ свою очередь присовокупилъ Алексѣй Степанычъ.

Мы сидѣли и всѣ въ тактъ покачивали головами.

— Ахъ-ахъ-ахъ!—вздохнулъ Алексѣй Степанычъ:—правилъ ты, правилъ—и вся твоя работа втунѣ! ужъ этого-то, братъ, не исправишь!

— Этого-то! — съ какою-то надменною отвагой вызвался Молчалинъ 2-й:—а вотъ сейчасъ увидишь!

Онъ мгновенно воспрянулъ духомъ и бодро принялся за работу. Не прошло и нѣсколько минутъ, какъ онъ уже читалъ намъ:

„Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что у общества имѣются свои собственные органы, которые существуютъ съ надлежащаго разрѣшенія и пользуются законною организаціей, а отнюдь не представляютъ собой сборища узурпаторовъ или случайно сошедшихся людей, какъ это инсинуируютъ борзописцы „Брѣющаго Шила“. Существованіе этихъ органовъ означаетъ ежели не настоятельную въ нихъ потребность, то по крайней мѣрѣ благосклонное относительно ихъ благоизволеніе. Положимъ, что непосредственнаго и дѣятельнаго участія въ управленіи имъ не предоставлено, но начальство никогда не отказывалось и не отказывается получить отъ нихъ почтительныя, въ надлежащихъ границахъ представленія. А это очень важно. Возможность утруждать начальство представленіями еще не есть, конечно, право, но это—обязанность. Во всякомъ случаѣ, такая возможность существуетъ (и притомъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ), и было бы крайне неразсчетливо и даже безсовѣстно не пользоваться ею, хотя бы отъ сего и не предвидѣлось никакихъ послѣдствій. Мы не имѣемъ права увлекаться исключительно утилитарными цѣлями; мы должны поменьше думать о правахъ и побольше—объ обязанностяхъ. Терпѣніе и самоотверженность—вотъ задача, которую должно преслѣдовать современное поколѣніе общественныхъ дѣятелей, все же остальное—предоставить потомству. Наши земства это поняли. Они представляютъ обо всемъ, представляютъ неупустительно, хотя и безъ всякихъ послѣдствій. Нерѣдко начальство, въ своей мудрости, оставляетъ ихъ представленія даже совсѣмъ безъ отвѣта, но они не обезкуражи-

ваются этимъ и представляютъ вновь, и общественное мнѣніе имъ несомнѣнно въ этомъ сочувствуетъ. Вотъ какимъ труднымъ и, такъ сказать, широко постепеннымъ путемъ достигается нашъ прогрессъ. Что скажетъ о насъ потомство?—оно скажетъ: это были люди самоотверженные, которые, проводя время въ ожиданіи разрѣшеній, тѣмъ самымъ расчищали для насъ пути! Что скажутъ иностранцы?—они скажутъ: вотъ общество, которое съ благоразуміемъ и мудрою постепенностью пользуется предоставленными ему возможностями! И потомство, и иностранцы—будутъ правы!"

Алексѣй Степанычъ, не говоря ни слова, подошелъ къ Молчалину 2-му и поцѣловалъ его въ лобъ.

— Отлично! отлично! — произнесъ онъ въ волненіи (у старика даже слезы на глазахъ показались).

— Отлично,—согласился и я: — но позволю себѣ одно только и притомъ самое маленькое замѣчаніе...

— Нѣтъ ужъ-съ!—сухо и даже нѣсколько нахально прервалъ меня Молчалинъ 2-й: — на этотъ разъ, любезный коллега, прошу уволить! Я знаю, что вы хотите сказать. Вамъ, навѣрное, не нравится, что я нѣсколько разъ и притомъ не безъ намѣренія настаиваю на томъ, что возможность дѣлать представленія на всегда приноситъ желаемые плоды. Но этимъ я уже поступиться не могу. Моя газета либеральная и самимъ начальствомъ признается за таковую; слѣдовательно въ ней полное однообразіе тона не только неумѣстно, но могло бы показаться даже предумышленнымъ. Я не всегда глажу по шёрсткѣ, но я искренень — и въ этомъ моя заслуга! Вообще, положеніе либеральнаго органа печати я резюмирую въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: „мы готовы придти къ вамъ, — говорю я: — но укажите намъ пути и сохраните намъ нашу независимость!"

Это поученіе было высказано такимъ твердымъ и даже строгимъ тономъ, что мнѣ оставалось только прикусить языкъ. Самъ Алексѣй Степанычъ — и тотъ не заступился за меня. Въ самомъ дѣлѣ, я показалъ себя ужъ черезъ-чуръ придирчивымъ. Какъ часто случается намъ встрѣчать въ печати выраженія прямо бунтовскія, въ родѣ: „осмѣливаемся высказать" или „позволяемъ себѣ думать"—что-жъ! начальство не только не взыскиваетъ, но даже положительно не видитъ въ этомъ ничего, могущаго подорвать его авторитетъ! Вѣроятно тутъ есть какая-нибудь секретная конвенція, а можетъ быть и просто

внутренняя политика. Что „независимые голоса“ не безполезны — это, съ легкой руки Бисмарка, уже признано всѣми. Даже оппозиція — и та считается невредною, если она не вредитъ. Слѣдовательно, отчего же бы и намъ не воспользоваться этимъ общепризнаннымъ фактомъ... ну, конечно, умненько? Не даромъ же въ штатахъ департамента этимологіи и правописанія значится: „независимыхъ голосовъ столько-то“. Вотъ это-то и есть „политика“. Интересно бы только знать, присвоено ли этимъ голосамъ соотвѣтствующее содержаніе, или же они обязываются распѣвать, памятуя изреченіе: *изъ чести лишь одной я въ домъ семъ служу?*

Между тѣмъ какъ я такимъ образомъ разсуждалъ, Молчалинъ 2-й продолжалъ читать дальше:

„Такова наша мысль, таково наше глубокое внутреннее убѣжденіе. Убѣжденіе не только интимное (conviction spontanée), но и пропущенное сквозь горнило знанія; убѣжденіе, не избѣгающее благосклонной похвалы, но и не боящееся угрозъ. Какъ же поступило „Брѣющее Шило,“ чтобъ дискредитировать насъ передъ публикой? —да очень просто! По своему обыкновенію, оно смазурничало, то-есть на мѣсто одного выраженія поставило другое, не имѣющее съ первымъ ничего общаго. Мы говорили о „народосодѣйствіи“, а оно — заставляетъ насъ употребить выраженіе „народоправство“. А мы даже и не понимаемъ этого выраженія! Но вы, читатель! понимаете ли вы, какая масса гнуснаго предательства заключается въ этомъ мошенническомъ сопоставленіи принципа единоначалія (вполнѣ нами признаваемаго и чтимаго) съ принципомъ какого-то фантастическаго (и притомъ нами непонимаемаго) народоправства?“

Молчалинъ 2-й остановился и на этотъ разъ окинулъ насъ уже совершенно безбоязненнымъ взоромъ. Вступая на почву такъ-называемой полемики, онъ, очевидно, чувствовалъ себя какъ дома. Онъ понималъ, что здѣсь ему опасаться нечего, и потому даже слегка отодвинулъ корректуру, какъ бы для того, чтобъ издали полюбоваться ею.

„... „Брѣющее Шило“, — продолжалъ онъ, — желало однимъ выстрѣломъ убить двухъ зайцевъ: и дискредитировать нашу газету въ глазахъ читающей публики, и произвести своимъ доносомъ переполохъ въ извѣстныхъ сферахъ. Перваго, конечно, оно не добилось; второго —достигло лишь въ нѣкоторой степени. Дѣйствительно, переполохъ

былъ произведенъ, но, къ счастію для насъ, онъ повлекъ за собой не *осужденіе*, а *изслѣдованіе*, за которымъ, конечно, не замедлило послѣдовать и *оправданіе*. Прошли тѣ времена, когда змѣиное жало доноса держало печать въ постоянной тревогѣ; исчезла навсегда легкая возможность обвинять, *не представляя вполнѣ ясныхъ и удовлетворительныхъ доказательствъ*. Да, прошелъ и исчезъ этотъ дурной сонъ. Отнынѣ — путь клеветы усѣянъ своего рода терніями. Намъ стоило только указать на подлинные нумера нашей газеты, даже не подкрѣпляя этого указанія ссылкой на типографскія корректуры, чтобъ явиться сразу чистыми отъ всякаго подозрѣнія въ сочувствіи къ даже непонимаемымъ нами народоправствамъ. И мы сдѣлали это тѣмъ съ бо́льшимъ удовольствіемъ, что это дало намъ случай представить новыя и убѣдительнѣйшія доказательства чистоты нашихъ намѣреній, которую нимало не могутъ омрачить стойкость и непоколебимость нашихъ убѣжденій. И такимъ образомъ, „Брѣющее Шило“, желая сдѣлать намъ вредъ, въ дѣйствительности оказало услугу, само же по всѣмъ вѣроятіямъ попало на замѣчаніе“.

— Ну-съ?!—самодовольно обратился къ намъ Молчалинъ 2-й.

— Чего еще лучше! Словно краснымъ яичкомъ подарилъ. Такими, братъ, статьями христосоваться съ начальствомъ можно!—поощрилъ его Алексѣй Степанычъ.

Я, съ своей стороны, не сказалъ ничего; я только радовался и думалъ: вотъ, кабы всѣ-то такъ!

Молчалинъ 2-й продолжалъ:

„Но довольно. Мы исполнили одну изъ самыхъ омерзительнѣйшихъ обязанностей нашихъ передъ публикой: обязанность имѣть дѣло съ противниками прямо безчестными. Теперь же будемъ спокойно разсуждать о предметѣ, успѣшное и правильное развитіе котораго для насъ, конечно, дороже, нежели тѣ два-три подписчика, которыхъ „Брѣющее Шило“ изо всѣхъ силъ старается переманить у насъ. Ахъ, если бы это отъ насъ зависѣло, мы уступили бы почтенной газетѣ не одинъ и не два десятка, а цѣлую сотню подписчиковъ, лишь бы водворить миръ въ взволнованныхъ душахъ ея редакторовъ и издателей! Но подписчики—люди свободные, и мы не властны распорядиться ими, какъ французы распорядились ниццарами, а нѣмцы въ послѣднее время — эльзасъ-лотарингцами. Пускай „Брѣющее

Шило“ приметъ это въ соображеніе и не обвиняетъ насъ въ недостаткѣ доброй воли помочь ему.

„И такъ, къ дѣлу, къ дѣлу, къ дѣлу.

„Въ началѣ настоящей статьи мы высказали мысль, что полемическія пререканія, выражаемыя нашею печатью по вопросу объ отдачѣ селеній всѣхъ наименованій подъ надзоръ полиціи, главнымъ образомъ касаются не принциціальной его стороны, а практическихъ примѣненій. И дѣйствительно, какъ только мы вступаемъ на практическую почву, такъ тотчасъ же видимъ себя опутанными цѣлою сѣтью вопросовъ, вопросцевъ и даже подвопросцевъ, изъ коихъ каждый, будучи самъ по себѣ бездѣльнымъ“...

— Бездѣльнымъ?!—воскликнули мы въ одинъ голосъ съ Алексѣемъ Степанычемъ.

— Да, смотрите! такъ прямо и написалъ!

— Объ чемъ же ты думаешь! Похеривай, братецъ, похеривай!

— Погоди, дай же хоть фразу-то кончить...

...„бездѣльнымъ, представляется, однакожъ, однимъ изъ дѣйствующихъ рычаговъ, созидающихъ гнетущее цѣлое“...

— Ну, это — шалишь, братъ! — произнесъ Молчалинъ 2-й и, вслѣдъ за симъ, нимало не затрудняясь, исправилъ: „изъ коихъ каждый, не будучи и самъ по себѣ бездѣльнымъ, пріобрѣтаетъ тѣмъ бо́льшую важность, что служитъ на практикѣ однимъ изъ дѣйствующихъ рычаговъ величественнаго цѣлаго“.

— Вотъ этакъ-то лучше. Ну, а теперь и конецъ ужъ близко! Сейчасъ, господа, сейчасъ!

„Вопросы эти, которые мы отчасти ужъ перечислили выше, суть слѣдующіе: 1) какое наименованіе необходимо присвоить мѣстамъ и чинамъ, на коихъ возложено будетъ содержаніе подъ полицейскимъ надзоромъ селъ и деревень Россійской Имперіи? 2) изъ какого сословія имѣютъ быть преимущественно избираемы эти лица, и отъ кого будетъ зависѣть ихъ назначеніе и увольненіе? 3) въ какомъ количествѣ должны быть избираемы или назначаемы эти чины и какими они обязываются обладать качествами? 4) въ чемъ будутъ состоять ихъ права и преимущества, какъ по прохожденію службы вообще, такъ и по мундиру и пенсіи въ особенности? 5) возможно ли съ точностью опредѣлить какъ предѣлы ихъ власти, такъ и обязанности, ежели послѣднія признано будетъ неизлишнимъ возложить на нихъ? и 6) какимъ

образомъ оградить значеніе и достоинство кутузки, съ тѣмъ, чтобъ она, съ одной стороны, не приняла, вслѣдствіе послабленій, характера увеселительнаго заведенія, а съ другой—чтобъ, вслѣдствіе чрезмѣрной строгости, не послужила поводомъ для преступныхъ вымогательствъ?

„При обсужденіи всѣхъ этихъ вопросовъ мы вновь встрѣтимся съ „Брѣющимъ Шиломъ“, и надѣемся, съ поличнымъ въ рукахъ, убѣдить читателей, что всѣ роды и степени наглости, безстыдства и даже мошенничества равно доступны этой интересной газетѣ и съ одинаковымъ успѣхомъ практикуются ею.

„Но такъ какъ предѣлы нашей статьи вышли и безъ того черезъчуръ обширны, то мы отлагаемъ нашу бесѣду по сейчасъ исчисленнымъ вопросамъ до одного изъ ближайшихъ нумеровъ“.

— Вотъ и все; а тамъ — еще Улита ѣдетъ, когда-то будетъ... въ „одномъ изъ ближайшихъ-то нумеровъ“! — закончилъ Молчалинъ 2-й.

— А любопытно было бы, очень даже любопытно знать, какъ онъ тамъ дальше путать будетъ!—замѣтилъ Алексѣй Степанычъ.

— По секрету... только вы ужъ, пожалуйста!.. онъ, братъ, suffrage universel для выбора сотскихъ потребовать хочетъ!—таинственнымъ шопотомъ сообщилъ намъ Молчалинъ 2-й.

— Затѣйщики вы! только какъ же онъ это напечатаетъ?

— А онъ, братецъ, обстановочку такую придумалъ. Во-первыхъ, говоритъ, можно доказывать, что теперь всѣ жалобы на бездѣйствіе полицейскихъ властей относятся прямо къ начальству, а тогда оно уже явится чистымъ отъ нареканій; во-вторыхъ, говоритъ, остроумно и даже небезъинтересно будетъ видѣть, какъ, напримѣръ, селеніе собственнымъ движеніемъ будетъ отдавать само себя подъ надзоръ полиціи; а въ-третьихъ, говоритъ, можно перспективы разныя насчетъ suffrage universel припустить: усилить, напримѣръ, на время выборовъ власть становыхъ приставовъ, разрѣшить имъ тѣлесныя упражненія и т. п. Обстановка-то вѣдь, коли хотите, не глупа!

— Не глупа-то, не глупа, и даже не безосновательна въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, а все-таки...

— Ну, да это когда-то еще будетъ! Тогда я и опять васъ созову, а теперь, господа, я попрошу у васъ еще часокъ-другой терпѣнія. Есть у меня статейка—эта, я вамъ доложу, похитрѣе будетъ!

„С.-Петербургъ, 27 іюля.

„Матеріалистическія ученія, которыя въ настоящую минуту увлекаютъ за собою современное русское молодое поколѣніе, имѣютъ многое, съ чѣмъ, по справедливости, не согласиться нельзя. Одна матерія вѣчна, хотя, конечно, было бы странно оспаривать и то, что вмѣстѣ съ матеріей вѣчно и ея содержимое. Видоизмѣняется матерія (именно только видоизмѣняется, а не умираетъ), и вмѣстѣ съ нею видоизмѣняется и ея содержимое“...

— Нѣтъ, вы скажите, каковъ сюжетъ выбралъ! — съ горечью воскликнулъ Молчалинъ 2-й: — и это въ виду теперешнихъ, можно сказать, обстоятельствъ!

— Брось — вотъ и все! — прямо рѣшилъ Алексѣй Степанычъ.

— А вотъ, все-таки, попытаемся прежде... Нутко, благослови, Господи!

Молчалинъ 2-й на минуту задумался, и затѣмъ вдругъ порывисто началъ бѣгать перомъ по корректурѣ. Черезъ двѣ-три минуты онъ уже читалъ:

„Матеріалистическія ученія, которыя ублекли въ свои сѣти современное русское молодое поколѣніе, начинаютъ наконецъ выступать передъ нами во всей своей постыдной наготѣ. Намъ говорятъ: матерія вѣчна и доказываютъ это фактами, повидимому, неотразимыми. Но развѣ духъ не вѣченъ? спросимъ и мы съ своей стороны. Кто тотъ смѣльчакъ, который позволитъ себѣ утверждать противное? Матерія вѣчна! Прекрасно. Но, все-таки, она хоть видоизмѣняется (этого и противники наши отвергнуть не могутъ), духъ же — никогда! Вотъ въ чемъ заключается преимущество духа, и вотъ гдѣ слѣдуетъ искать причины, почему духъ всегда торжествовалъ и будетъ торжествовать надъ матеріей, если только у человѣка есть хоть малѣйшая охота способствовать этому торжеству“.

— Ладно?

— А ежели нѣтъ охоты способствовать — тогда что? — спросилъ я.

— Ну, какъ это нѣтъ охоты! Придирчивы вы ужъ очень, дорогой коллега! Тёзка! по твоему какъ? ладно?

— Ладно-то, ладно, а все-таки изъ статьи проку не будетъ! — упорствовалъ въ своемъ скептицизмѣ Алексѣй Степанычъ. — Сюжетъ, братецъ, такой! Отъ этихъ сюжетовъ, какъ отъ чумы, бѣгать нужно!

Но Молчалинъ 2-й не смутился этимъ замѣчаніемъ и продолжалъ:

„Вся наша бѣда въ томъ, что человѣчество, несмотря ни на уроки исторіи, ни на свидѣтельства разума, не убѣдилось въ этой истинѣ. Отсюда — вѣчная и безплодная борьба между духомъ и плотью, борьба, совершающаяся, впрочемъ, больше на бумагѣ, чѣмъ на дѣлѣ, но тѣмъ не менѣе разливающая по всѣмъ венамъ общественнаго организма гангрену лицемѣрія. Нѣтъ того общественнаго органа, который не былъ бы зараженъ этою разъѣдающею болью, нѣтъ человѣка, который не метался бы на прокустовомъ ложѣ подъ игомъ ея“...

— Брось!—повторилъ Алексѣй Степанычъ рѣшительно.

Молчалинъ 2-й вопросительно взглянулъ на меня.

— Какъ бы вамъ сказать?— поспѣшилъ отвѣтить я: —во всякомъ случаѣ авторъ статьи высказалъ свою идею настолько ясно, что *исправить* ее будетъ довольно мудрено. Конечно, если бы покойный Памфилъ Юркевичъ могъ встать изъ гроба, или по крайней мѣрѣ господинъ Струве...

— Ну, нѣтъ-съ, слуга покорный! До сихъ поръ отъ обскурантовъ Богъ миловалъ!

— То-то вотъ и есть! съ одной стороны вы—либералъ, а съ другой—боитесь: ужасно, какъ трудно это согласить!

— Однако, какъ видите, мы только этимъ и занимаемся!

— Знаю; знаю даже, что вы достигаете нѣкоторыхъ результатовъ—вотъ хоть бы въ родѣ того, котораго мы сейчасъ достигли по передовой статьѣ, имѣющей появиться завтра. Но стоитъ ли хлопотать изъ-за такихъ результатовъ—вотъ въ чемъ вопросъ? Стоитъ ли лукавить по такимъ вопросамъ, какъ вопросъ объ отдачѣ селеній подъ надзоръ полиціи?

— Ну, нѣтъ-съ, этого вы не скажите! вопросъ о сотскихъ тутъ только такъ, сбоку, а въ самомъ-то дѣлѣ статья — куда далеко мѣтитъ!

— Да вѣдь вы то, что „мѣтитъ“-то—*исправили*!

— Что-жъ, и исправилъ! Конечно, исправилъ, коли тутъ чортъ знаетъ что ждетъ впереди! Ахъ, если бы публика знала! Но она нынче даже между строками читать разучилась!.. У меня, батюшка, въ портфеляхъ редакціи такія диковинки есть... Да вотъ хоть бы эта самая статья о матеріализмѣ—вѣдь въ носъ бросится, кабы на-

печатать! Сколько новыхъ подписчиковъ прибавилось бы изъ-за одного того, что слово „матеріализмъ“ упомянуто безъ аккомпанимента непечатныхъ словъ! А я долженъ оставить ее, долженъ жертвовать и интересомъ газеты, и собственной выгодой! Я ужъ чуть не въ тридцатый разъ набираю ее. Наберутъ—просмотримъ и опять разобрать велимъ... Да-съ, тяжеленька-таки наша служба публикѣ! Тяжела-съ? А награда?..

Онъ схватился обѣими руками за голову, и мнѣ показалось, что внутри его нѣчто слегка зарычало. И вдругъ припомнилось мнѣ, что именно такъ поступаетъ на Александринскомъ театрѣ актеръ Нильскій, когда видитъ себя въ интересномъ положеніи.

— Я, знаете, все его спрашиваю,—пошутилъ Алексѣй Степанычъ:—а что, молъ, коли ежели что—пойдешь ты на баррикады?

— Ну, тёзка, не до шутокъ теперь! ты дѣло говори, а шутки оставь!—разсердился Молчалинъ 2-й.

— Да что же — покуда Богъ еще милостивъ! только вотъ о портфеляхъ-то своихъ ты ужъ заботу оставь! Что тамъ есть, то тамъ и останется. Давай-ка лучше статью эту бросимъ, а нѣтъ ли у тебя фёльетонцу послушать?

— Есть и фёльетонцу; только читать ли ужъ?

— Развѣ отчаянный?

— Нѣтъ, и не отчаянный, а скука беретъ возиться... Каждый день! каждый день! Право, когда-нибудь возьму да и сбѣгу!

— А сбѣжишь, такъ и изловятъ; если же при семъ подписныя деньги невзначай съ собою унесешь, то и подъ судъ отдадутъ. Добро, читай-ка! Нечего жеманиться!

Молчалинъ 2-й отыскалъ корректуру и началъ:

„ЗА ПРОШЛУЮ НЕДѢЛЮ“.

„Сейчасъ должна начаться моя еженедѣльная обязательная бесѣда съ тобой, благосклонный читатель. Я знаю это, я чувствую приближеніе роковой минуты и, увы! съ ужасомъ сознаю, что въ головѣ моей нѣтъ ни одной мысли!

„Ни признака мысли, ни тѣни мысли, ни единой крупицы ея! Понимаешь ли ты, читатель, сколько трагизма заключается въ этихъ

немногихъ словахъ! Ни одной мысли! Я убитъ, уничтоженъ, подавленъ, и за всѣмъ тѣмъ долженъ сознаться, что это—совершеннѣйшая истина! У меня въ рукахъ перо, передо мною листъ бѣлой бумаги; я обмакиваю перо въ чернильницу, я начинаю водить имъ по бумагѣ, вожу, вожу... и чувствую, что у меня нѣтъ въ головѣ ни одной мысли!"

— Что-жъ! Это вѣдь недурно!—похвалилъ Алексѣй Степанычъ:—главное, написано легко!

— Да слушай! не прерывай!

„Но что важнѣе всего: не у одного меня нѣтъ мысли, а нѣтъ ея вообще нигдѣ, въ цѣломъ мірѣ. Мысль сбѣжала, милостивые государи, мысль оставила предѣлы цивилизованнаго міра и очутилась... гдѣ бы вы думали? У патагонцевъ? Какъ бы не такъ!

„Вы удивляетесь? Вы думаете про себя: какой, однакожъ, онъ городитъ вздоръ! Увы! Я и самъ не знаю, дѣло ли я пишу, или вздоръ горожу, но въ оправданіе свое могу сказать одно: у меня нѣтъ мысли!"

— Очень, очень легко!—опять похвалилъ Алексѣй Степанычъ.

— Легко-то легко, — отозвался я:—а вѣдь и въ самомъ дѣлѣ мысли-то у него, кажется, нѣтъ! Что-то ужъ слишкомъ онъ долго на одномъ мѣстѣ топчется!

— Нѣтъ, мысль у него есть,—возразилъ Молчалинъ 2-й:—а это онъ только для шику жеманится; сейчасъ вотъ увидите, куда онъ загнетъ. Давайте-ка лучше продолжать:

„Однако надо же найти эту интересную бѣглянку, надо найти мысль во что бы ни стало; иначе у меня не будетъ фѣльетона, столбцы газеты останутся ненаполненными, а ты, читатель, лишишься возможности наслаждаться назидательной бесѣдой, которую я въ урочное время имѣю обыкновеніе вести съ тобою. Итакъ, будемъ искать.

„Начинаю искать и отыскиваю. Отыскиваю, во-первыхъ, потому, что это—моя обязанность передъ редакціей газеты, а во-вторыхъ, и потому, что отыскать потребную для фѣльетона мысль вовсе ужъ не такъ трудно, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда.

„Читатель! пойми меня! нельзя отыскать хорошую, *настоящую* мысль, но та мысль, которою я имѣю право тебя продовольствовать, есть мысль дешевая, дрянная, валяющаяся на полу въ сору. Первое попавшееся на глаза отребье, обрывокъ, обгрызокъ можетъ послужить темой для какой угодно печатной бесѣды. И не только можетъ, но

иначе и не должно быть. Хорошихъ мыслей для насъ не полагается, ибо мы еще рыломъ для нихъ не вышли. Да если бы у насъ и были хорошія, серьезныя мысли—кто же насъ пуститъ ихъ публиковать!"

— Вотъ тебѣ и разъ! хорошо-хорошо говорилъ, да вдругъ и подгадилъ!—отозвался Алексѣй Степанычъ: —а я было и уши развѣсилъ!

Молчалинъ 2-й задумался.

— Я полагаю, — сказалъ онъ: — окончаніе со словъ: „и не только можетъ" —слѣдуетъ похерить!

— Позвольте!—вступился я:—нельзя ли его чѣмъ-нибудь замѣнить? Напримѣръ, въ слѣдующемъ родѣ: „Да это и не удивительно, потому что мы сами съ вами, читатель—не что иное, какъ соръ, изъ котораго, натурально, кромѣ сора, ничего и произойти не можетъ. Мы ничего не знаемъ, хотя обо всемъ говоримъ; сегодня наша мысль раздражается въ одномъ направленіи, завтра—въ другомъ. Мы даже, собственно говоря, и сказать-то ничего не намѣреваемся, а просто водимъ перомъ по бумагѣ, въ надеждѣ — не выйдетъ ли изъ этого чего-нибудь? И, разумѣется, ничего не выходитъ". Кажется, этакъ будетъ хорошо!

— Хорошо-то хорошо, только какъ бы онъ не обидѣлся, фѣльетонистъ-то!—затруднился Молчалинъ 2-й.

— А что на него смотрѣть! Поправляй—и дѣло съ концомъ!—высказался Алексѣй Степанычъ.

Мнѣніе мое было принято.

— „И такъ, мы фаталистически"...

— „и по собственной винѣ",—прервалъ я:—не мѣшаетъ даже курсивомъ эти слова набрать.

„... фаталистически *и по собственной винѣ* осуждены копаться въ сору и ветоши и тамъ искать предметовъ для нашихъ бесѣдъ. Будемъ же копаться и посмотримъ, не найдется ли въ нашемъ общественномъ навозѣ чего-нибудь такого, что могло бы пробудить дремлющую мысль. Ба! мысль первая: о погодѣ. Погода у насъ, читатель, по обыкновенію, была отвратительная, и дачники наши заплатили обильную дань катарру и флюсамъ. По всей Черной-Рѣчкѣ нельзя было усмотрѣть ни одного чиновника, который не ходилъ бы съ подвязанной щекой. Несмотря на это, петербургскій житель, все-таки, упорствуетъ думать, что у него есть лѣто, и что это лѣто всего при-

личнѣе провести съ флюсомъ на щекѣ. Болѣе благоразумные, впрочемъ, серьезно намѣревались перебраться въ городъ, въ виду дождей, холода и сырости; но чиновницы, нашившія себѣ лѣтнихъ платьевъ, не допустили до этого. И дѣйствительно, стоитъ посѣтить наши Лѣсные, Старыя и Новыя-Деревни, Каболовки и проч., чтобъ увидѣть цѣлыя свиты чиновницъ, храбро шлепающихъ по грязи и удивляющихъ міръ непреклонностью вѣры въ прелести петербургскаго климата. О! если бы всѣ наши вѣрованія были столь же непоколебимы! Какъ далеко ушли бы мы впередъ!"

— Вотъ и опять пошло легко!—отозвался Алексѣй Степанычъ.

„Можно себѣ представить послѣ этого, какую мерзость запустѣнія представляли нынѣшнимъ лѣтомъ наши минерашки и демидроны! Сырость, холодъ и ко всему этому безголосыя пѣвицы! Повидимому Москва серьезно вознамѣрилась побѣдить Петербургъ. Она уже переманила у насъ и незабвенную Кадуджу, и прелестную Нордэ, а въ недалекомъ будущемъ, вѣроятно, уловитъ въ свои гостепріимныя сѣни и обаятельную Жюдикъ. Впрочемъ это ужъ не первая побѣда, которую „Порфироносная Вдова" одерживаетъ надъ не совсѣмъ впрочемъ „Юною Царицей". Извѣстно, напримѣръ, что въ гастрономическомъ отношеніи Москва представляетъ нѣчто сказочное и что обѣдамъ въ трактирахъ Тѣстова и Лопашова позавидовалъ бы самъ Лукуллъ".

— Хорошо, очень хорошо!

„Кстати о Лукуллѣ: навряд-ли, однакожъ, въ нынѣшнее строго-классическое время его пустили бы баловаться по Тѣстовымъ и Лопашовымъ. Вѣроятнѣе всего, его засадили бы въ Катковскій лицей изучать латинскую грамматику, ибо хотя онъ и римлянинъ (былъ), а все-таки проэкзаменовать его по части склоненій—не лишнее. Припомните, читатель, какъ экзаменовалъ „Русскій Вѣстникъ" профессора римскаго права, Никиту Крылова, по поводу „Ordo equestris и „Ordo equester". Припомните, какъ агитировалъ онъ учащуюся молодежь, назойливо доказывая, что поучающій ее профессоръ аза въ глаза не смыслитъ! Не помню, вышелъ ли изъ этой агитаціи какой-нибудь бунтъ, но ежели и не было бунта, то, очевидно, не по недостатку усилій со стороны „Русскаго Вѣстника", а только потому, что Богъ спасъ. Во всякомъ случаѣ Никита Крыловъ вынужденъ былъ умолкнуть... самъ Никита Крыловъ!! Что жъ послѣ этого значитъ

какой-нибудь Лукуллъ, о степени грамотности котораго даже свѣдѣній не имѣется! Въ ликей его, въ ликей! пусть лучше надъ глаголами корпитъ, чѣмъ московскими поросятами желудокъ себѣ набивать! Конечно, онъ былъ римскій вельможа; но мало ли мы знаемъ вельможъ, которые писывали „штопъ“, вмѣсто „чтобъ“, и „абвахта“, вмѣсто „гауптвахта“!

— Знаете ли что! — сказалъ я: — на вашемъ бы мѣстѣ я всю эту тираду выключилъ.

— Что такъ?

— Да такъ; не знаю и самъ, а внутреннее чувство мнѣ подсказываетъ... Ликей... „Русскій Вѣстникъ“... Катковъ... и эта странная агитація по поводу „Ordo equestris“... Есть, знаете, предметы, которыхъ лучше не касаться... Оставьте!

— А вѣдь онъ, братецъ, правъ! — поддержалъ меня Алексѣй Степанычъ.

— Ну, нѣтъ, господа! — взволновался Молчалинъ 2-й: — ужъ этимъ я вамъ не поступлюсь! „Московскія Вѣдомости“! да знаете ли вы, что *онѣ* на *меня* чуть не каждый день доносъ въ своей паскудной газетѣ строчитъ!

— Ну, а вы старайтесь *дѣлами* своими отвѣчать! Вотъ, молъ, мои *дѣла* — пусть всякій судитъ! Скрытнаго нѣтъ у меня ничего.

— Хорошо вамъ говорить: „дѣлами“! дѣла тоже — дѣламъ рознь!

— Ахъ, не говорите этого! Вѣдь, въ сущности, тутъ и дѣлъ никакихъ нѣтъ, а есть только такъ-называемая полемика! Онъ говоритъ: Ordo equester, а вы говорите: Ordo equestris — вотъ и все. Ну, и продолжайте эту полемику, оживляйте столбцы, употребляйте какъ можно больше аттической соли, ссылайтесь на Цицерона, на лексиконы, однимъ словомъ, устраивайте обстановку... Но за живое... понимаете, за живое-то не задѣвайте!

— Правъ, братецъ, онъ! — вновь поддержалъ меня Алексѣй Степанычъ:

— Нѣтъ, воля ваша, а этого господина я щадить не намѣренъ! Помилуйте! онъ чуть не въ глаза мнѣ каждый день плюетъ!

— А вы оставьте! Вотъ, молъ, мои дѣла — и конченъ балъ! На вашемъ бы мѣстѣ, знаете ли, какъ бы я поступилъ? Я просто бы игнорировалъ — да-съ. Такъ бы и устроилъ, чтобъ кругомъ *его*

пустое пространство образовалось! Ну, и пусть плюетъ на-пусто, коли есть охота плевать!

— Правъ онъ! правъ, правъ, правъ!

Молчалинъ 2-й подумалъ съ минуту, потомъ порывистымъ движенімъ взялся за карандашъ и перечеркнулъ инкриминированное мѣсто крестъ-на-крестъ.

— Ну-съ, довольны ли вы?—обратился онъ ко мнѣ иронически. —Дальше-съ.

„Впрочемъ, въ томъ, что москвичи побѣждаютъ насъ по части Кадуджъ и обжорства—ничего удивительнаго нѣтъ. Москва есть по преимуществу городъ широкихъ русскихъ натуръ, которыя, какъ извѣстно, любятъ не столько наслаждаться, сколько разбрасывать Божье добро зря, подъ столъ. Намъ пишутъ, напримѣръ, что одна изъ такихъ широкихъ натуръ, усмотрѣвъ въ ресторанѣ „Славянскаго Базара“ сажалки съ плавающими въ нихъ стерлядями, вдругъ изъявила желаніе выкупаться въ одной изъ этихъ сажалокъ, и за удовлетвореніе этого нѣсколько дурацкаго желанія заплатила довольно крупную сумму. Ужъ эти мнѣ широкія русскія натуры! Платитъ человѣкъ громадныя деньги за удовольствіе пугать въ сажалкахъ стерлядей, а нѣтъ того, чтобъ плодотворнымъ образомъ эти деньги употребить! Вотъ хоть бы, напримѣръ, на усовершенствованіе русскаго мореходства въ Черномъ морѣ? Ахъ, господа безобразники, господа безобразники! пора бы, кажется, подумать вамъ о томъ, что вѣдь Черное-то море съ самаго севастопольскаго погрома и до сихъ поръ все продолжаетъ сиротѣть!...“

— Прекрасно! — воскликнулъ Алексѣй Степанычъ; — но я бы весь конецъ, начиная со словъ: „вотъ хоть бы, напримѣръ“, — выкинулъ! Не наше, братъ, дѣло объ этомъ судить.

— А въ особенности подстрекать какихъ-то безобразниковъ!— прибавилъ я.

— Позвольте, господа! дѣло—совсѣмъ не въ безобразникахъ, а въ томъ, чтобъ послать кому слѣдуетъ косвенный уколъ, — объяснилъ Молчалинъ 2-й:—сегодня уколъ, завтра уколъ — анъ смотришь, газета-то и съ репутаціей!

— Да, но, все-таки, уколы должны имѣть въ основаніи своемъ извѣстную степень достовѣрности,—возразилъ я:—но этого-то именно качества въ настоящемъ случаѣ и недостаетъ. Ибо что же мы, въ

самомъ дѣлѣ, знаемъ о Черномъ морѣ? Вы пишете: „сиротѣетъ Черное море!“—а можетъ быть оно и не „сиротѣетъ“!

— Гм... да... Впрочемъ, вѣдь оно и дѣйствительно... Сиротѣетъ ли Черное море или не сиротѣетъ—намъ-то что за печаль?

— Какая же тутъ печаль!

— Разумѣется, никакой печали нѣтъ!

— Вѣдь мнѣ, собственно говоря, подписчикъ нуженъ!

— Вотъ-вотъ-вотъ! Слѣдовательно...

Молчалинъ 2-й, махнувъ рукой, похерилъ что слѣдуетъ и продолжалъ:

„У насъ, въ Петербургѣ, конечно, нѣтъ безобразниковъ, плавающихъ въ рыбныхъ сажалкахъ, но взамѣнъ того мы имѣемъ дѣйствительныхъ статскихъ кокодесовъ, которые по вечерамъ наполняютъ наши кафе-шантаны и въ нихъ, повидимому, воспитываютъ себя для дальнѣйшихъ подвиговъ по административной части. Это—совсѣмъ особенный сортъ людей, находящихся въ большой дружбѣ съ татарами петербургскихъ ресторановъ и въ большой враждѣ съ русской литературой. Вездѣ, гдѣ мететъ полъ или аллею шлейфъ паскудной кокотки—вездѣ, будьте въ томъ увѣрены, встрѣтите вы и трущагося около нея дѣйствительнаго статскаго кокодеса“...

— Стой! это что же такое? кого же онъ подъ дѣйствительными-то статскими кокодесами разумѣетъ?—изумился Алексѣй Степанычъ.

— Вѣроятно, это—наши молодые дѣйствительные статскіе совѣтники,—скромно объяснилъ я:—названные такъ ради игры словъ.

— Ну, братъ, это нельзя! Помилуй! государственный чинъ—и такое вдругъ поруганіе!—возмутился Алексѣй Степанычъ.

— Я полагалъ бы, вмѣсто „дѣйствительныхъ статскихъ кокодесовъ употребить выраженіе „нигилисты“,—предложилъ я.

— То-есть, дѣйствительные статскіе нигилисты?

— Нѣтъ, просто „нигилисты“, потому что ежели сказать „дѣйствительные статскіе нигилисты“, то вѣдь и это, пожалуй, за намекъ примутъ.

— Но какъ же согласить: съ одной стороны „нигилисты“, а съ другой—„воспитываютъ себя для дальнѣйшихъ подвиговъ по административной части“?

— И эти слова можно измѣнить. Напримѣръ, сказать: воспитываютъ себя для подвиговъ постыднаго пропагандистскаго искусства“.

— Прекрасно! Исправляй и читай дальше!

„Вы можете узнать дѣйствительнаго статскаго кокодеса по слѣдующимъ характеристическимъ признакамъ: онъ молодъ, но уже слегка разслабленъ; лицо у него испитое, и потому онъ позволяетъ себѣ подрумяниваться; усы проведены въ нитку; борода тщательно выбрита; походка переваливающаяся, свидѣтельствующая о бурно проведенномъ въ казенномъ заведеніи дѣтствѣ; разговора ни о чемъ вести не можетъ, кромѣ какъ о милой бездѣлицѣ и ея свойствахъ; но на этой почвѣ остроуменъ, находчивъ и неистощимъ. Нѣкоторые изъ этихъ господчиковъ должны значительныя суммы не только содержателямъ петербургскихъ ресторановъ, но и служащимъ въ нихъ касимовскимъ князьямъ. Намъ разсказывали такой случай (за достовѣрность котораго, впрочемъ, не ручаемся), что на дняхъ цѣлая стая дѣйствительныхъ статскихъ кокодесовъ забралась ночью къ одной извѣстной кокоткѣ, послала къ Борелю за ужиномъ и виномъ, и, насладившись вполнѣ лукулловскимъ торжествомъ, исчезла, предоставивъ „погибшему, но милому созданію“ уплатить по счету“.

— А ну-ка, братецъ, прикинь, какъ оно будетъ, ежели вмѣсто дѣйствительныхъ-то статскихъ кокодесовъ поставить нигилистовъ?— спохватился Алексѣй Степанычъ.

Молчалинъ 2-й вновь пробѣжалъ глазами по корректурѣ, пошепталъ про себя и воскликнулъ:

— Нѣтъ! не годится!

— То-то и мнѣ показалось, что не ко двору нигилистамъ эти кокотки,—сказалъ Алексѣй Степанычъ: — насчетъ чего другого, а ужъ насчетъ кокотокъ... кажется, этого грѣха за ними не водится?

— Какъ же тутъ быть?—Офицеровъ, что-ли...

— И ни-ни! И не думай!—испугался Алексѣй Степанычъ.

Начали совѣщаться, чѣмъ бы замѣнить нигилистовъ, и долгое время не могли придти ни къ какому результату. Наконецъ меня осѣнила счастливая мысль.

— Послушайте!—сказалъ я:—да о чемъ же мы говоримъ! Поставьте „адвокаты“—будетъ и правдоподобно, и безъ риску!

— Ахъ, Богъ ты мой! А мы-то разговариваемъ! Ну, батюшка, исполать вамъ! Представьте себѣ: вѣдь я ужъ давно догадался, что есть тутъ какая-то неловкость, и все время, покуда корректуру правилъ—все думалъ: чѣмъ бы этихъ нигилистовъ замѣнить? И что жъ!

всякія должности такъ и вертятся на языкѣ: и нотаріусы, и мировые судьи, и гласные городской думы, и даже члены трактирной депутаціи, а самаго-то главнаго, самаго-то подходящаго званія—такъ вѣдь и не пришло на умъ! Адвокаты! Ну, они! они и есть! Теперь у насъ все какъ по маслу пойдетъ!

„Разсказываютъ еще другой случай: одинъ дѣйствительный статскій кокодесъ (т. е. адвокатъ) явился вечеромъ въ демидронъ, держа на рукѣ какое-то шерстяное одѣяніе, которое всѣ приняли за плэдъ. По обыкновенію, онъ усѣлся въ обществѣ „этихъ дамъ“, и въ продолженіе нѣкотораго времени велъ себя довольно прилично. Но потомъ вдругъ развернулъ предполагаемый плэдъ—и что же оказалось? —что у него, вмѣсто плэда, очутились въ рукахъ штаны, которые онъ, будто бы, второпяхъ захватилъ (о, милая, наивная находчивость въ объясненіяхъ!). Можно себѣ представить восторгъ этихъ дамъ при видѣ столь знакомой имъ принадлежности мужского туалета! Хохотъ и взвизгиванія не умолкали въ продолженіе цѣлага часа, и—что любопытнѣе всего—въ довершеніе спектакля милѣйшій petit crevé, по требованію погибшихъ, но милыхъ созданій, имѣлъ обязательность пройти по всѣмъ аллеямъ ликующаго демидрона, держа на плечахъ этотъ новоизобрѣтенный плэдъ. Скандальная хроника ничего не говоритъ о томъ, дѣлали ли во время этого оригинальнаго шествія дежурные городовые подъ козырекъ“.

— А вѣдь это, кажется, истинное происшествіе разсказано?— прервалъ я.

— Чего „кажется“! Съ нашимъ и было!—объяснилъ Алексѣй Степанычъ:—на другой день, при докладѣ, самъ мнѣ разсказывалъ! „представьте, говоритъ, какое недоразумѣніе вчера со мной вышло!“ А я себѣ молчу, да думаю: разсказывай „недоразумѣніе“! чай, нарочно всю штуку продѣлалъ, чтобъ своей Альфонсинкѣ удовольствіе доставить!

— Но ловко ли, въ такомъ случаѣ, будетъ придавать это происшествіе гласности?—усомнился Молчалинъ 2-й.

— Небось! Не обидится! Еще лестно будетъ, какъ на всю-то Россію репутацію любезнаго молодого человѣка пріобрѣтетъ! Вотъ если бы ты напечаталъ, что онъ „Исторію Государства Россійскаго“ сочинилъ—ну, тогда не знаю: можетъ быть, и обидѣлся бы. Да и то по невѣдѣнію. Подозрительны они ноньче, мой другъ! Вѣдь другой

съ самой школьной скамьи книги-то въ глаза не видалъ, да и напуганъ къ тому—ну, и думаетъ, что все—прокламаціи!

„Такимъ образомъ, обѣщаніе мое исполнено: „мысль“ найдена, и притомъ не простая „мысль“, но сопровождаемая анекдотами вполнѣ современнаго характера. По настоящему, слѣдовало бы на этомъ и остановиться, но я съ ужасомъ замѣчаю, что все до сихъ поръ мною написанное займетъ отнюдь не больше шести газетныхъ столбцовъ, тогда какъ я, во что бы ни стало, долженъ написать таковыхъ двѣнадцать. Двѣнадцать столбцовъ убористой печати — это жестоко! Тяжело положеніе почтовой лошади, обязанной пробѣгать отъ сорока до пятидесяти верстъ въ сутки, но въ пользу ея все-таки существуетъ смягчающее обстоятельство: она не имѣетъ надобности *выдумывать* этой ежедневной порціи въ сорокъ-пятьдесятъ верстъ. Эти версты даны ей независимо отъ ея выбора; она—на то лошадь, т. е. существо несвободное и неразумное, чтобъ по первому требованію бѣжать куда глаза глядятъ. Напротивъ того, фёльетонистъ по природѣ своей предполагается одареннымъ свободою выбора и нерожденнымъ для ремесла почтовой лошади. Но въ томъ-то и дѣло, что природа—сама по себѣ, а условія жизни—сами по себѣ. Эти послѣднія большею частью такъ горько складываются, что человѣкъ собственнымъ умомъ доходитъ до убѣжденія, что онъ — не человѣкъ, а лошадь. И, разъ придя къ этому убѣжденію, онъ *свободно* избираетъ себѣ ремесло фёльетониста, т. е. обязывается разъ или два въ недѣлю (смотря по требованіямъ аппетита) пробѣгать, въ виду читателя, извѣстное число верстъ. Но и этого еще мало: онъ обязывается населить эти версты призраками своей фантазіи, и не такими, какіе ему по душѣ, а такими, которые по душѣ другимъ и притомъ благовременны. И когда онъ вздумаетъ пожаловаться читателямъ на безнадежность этой карьеры, ему говорятъ: *самъ* виноватъ! *самъ* выбралъ себѣ ремесло—ну, и скачи куда глаза глядятъ!

„И такъ, впередъ. Осѣдлаю я коня быстролетнаго, запрягу я его въ саночки-самокаточки и поведу къ нему такую рѣчь: конь мой, конь ретивой! сослужи ты мнѣ службу вѣрную, понеси меня черезъ долы, черезъ горы, черезъ поля и луга, понеси за моря-окіаны, за синюю даль, въ одинъ мигъ облети степи-поля неохватныя, лѣса-долины неоглядные! Пусть прольется передо мной море бездонное, немѣрянное, море горькаго русскаго гореваньица, море безконечно лью-

щихся русскихъ слезъ! Однимъ словомъ, помоги мнѣ написать фельетонъ, въ которомъ было бы ровно двѣнадцать столбцовъ, и который одинаково понравился бы и читателямъ, и цензурному вѣдомству.

„Но стоитъ мой конь какъ вкопаный; стоитъ ретивой — не шелохнется; стоитъ—не бѣжитъ, ухми прядетъ, копытами землю роетъ. Га! или зачуялъ ты звѣря лютаго, звѣря лютаго—непасытнаго?“

Молчалинъ 2-й прочиталъ эти строки скандуя и съ большимъ чувствомъ. Я тоже, признаться, былъ тронутъ.

— Это—подражаніе „Слову о полку Игоревѣ“,—сказалъ онъ: —и я долженъ сознаться, что мой фельетонистъ имѣетъ на этотъ счетъ особенное какое-то чутье,

Но Алексѣй Степанычъ самымъ добродушнымъ образомъ расхолодилъ наши восторги.

— То-то вотъ и есть!—сказалъ онъ: — насъ, чиновниковъ, пустозвонами зовутъ; говорятъ, якобы мы изъ пустого въ порожнее переливаемъ, а попробуй я, напримѣръ, въ докладѣ сряду и осѣдлать коня, и запречь его въ сапочки-самокаточки — вѣдь директоръ-то, поди, въ отставку велитъ мнѣ подать!

— Чудакъ ты, братецъ! вѣдь это ужъ размѣръ старинныхъ русскихъ пѣсенъ таковъ!—попробовалъ выгородить своего сотрудника Молчалинъ 2-й.

— Все же, мой другъ! Конечно, не всякое лыко въ строку, а все-таки поостеречись не мѣшаетъ. Ну, да вѣдь нецензурнаго тутъ нѣтъ—стало быть, продолжай! Посмотримъ, какого еще тамъ звѣря лютаго конь твоего фельетониста зачуялъ? Господи! и коня-то никакого у него нѣтъ,—на извозчикѣ, чай, какъ и мы грѣшные, ѣздитъ —а тоже: конь мой, конь ретивой!.. Проказники вы, господа-литераторы!

„Ахъ, зачуялъ ты того звѣря непасытнаго, что сосетъ-грызетъ нашу нужду народную, горькимъ горемъ по землѣ русской порскаетъ, надъ мужицкою бѣдностью посмѣиваючись, мужицкими слезьми упиваючись! Въ деревню тотъ звѣрь зайдетъ — огнемъ-полымемъ деревня загорается; въ поле заглянетъ—засыхаютъ злаки добрые, въ стадо прибѣжитъ—падаютъ-мрутъ бѣдныя коровушки!“

Молчалинъ 2-й не выдержалъ и заплакалъ.

— Ты чего, спрошу тебя, рюмишь?—обратился къ нему Алексѣй Степанычъ.

— Такъ, братецъ! взгрустнулось! невеселую вѣдь картину представляетъ наша бѣдная Русь православная!

Онъ закручинился, склонилъ голову на-бокъ и какъ-то нелѣпо запѣлъ:

— Тяхія долины,
Плоскія равнины,
Барскія руины,
Гнусныя картины!..

— Вона! вонъ что̀ загородилъ?—засмѣялся Алексѣй Степанычъ:—то-то сейчасъ видно, что давно ты предостереженіевъ не получалъ. Небось мужичка жалко стало! Сидишь ты здѣсь въ теплѣ да въ холѣ, а вотъ запѣли передъ тобой Лазаря — ты и раскисъ! Ужъ не думаешь ли ты, что фѣльетониста твоего похвалятъ за причитаніе-то̀?

— Что-жъ? кажется, тутъ ничего такого...

— Знаете ли что̀? — перебилъ я: — коли сказать по правдѣ, такъ я и самъ думаю, что эта тирада несовсѣмъ удобна для опубликованія. Слишкомъ ужъ горько; краски густы; свѣтотѣней нѣтъ... Поэтому я вотъ что̀ придумалъ: похеримте-ка „звѣря лютаго“, да и замѣнимъ его „свѣтлымъ ангеломъ“!

— Вотъ это дѣльно!—воскликнулъ Алексѣй Степанычъ.

— Помилуйте! да какимъ же образомъ? — смутился Молчалинъ 2-й.

— Очень просто. Въ предыдущей тирадѣ, вмѣсто: „Га! или зачуялъ ты звѣря лютаго, звѣря лютаго-непасытнаго?“ скажемъ: „или зачуялъ ты ангела свѣтлаго, ангела свѣтлаго-богоданнаго?“

— Ну, а дальше?

— И дальше тѣмъ же порядкомъ: „ахъ, зачуялъ ты того ангела свѣтлаго, нашу нужду народную крыломъ своимъ осѣняющаго, утѣшеньицемъ по землѣ русской тихо летающаго, въ бѣленькую рубашечку русскаго мужичка одѣвающаго! Ужъ какъ тотъ ли свѣтлый ангелъ на пожаръ прилетитъ — выростаютъ кругомъ его трубы пожарныя, со бочками, со баграми, со крючьями! Ужъ какъ тотъ ли свѣтлый ангелъ про безкормицу услышитъ—выростаютъ кругомъ его закромы полныя, выдаютъ изъ нихъ хлѣбъ члены земскихъ управушекъ! Ужъ какъ тотъ ли свѣтлый ангелъ на коровій падежъ взглянетъ-поглядитъ—выростаютъ кругомъ его врачи ветеринарные!“

— Вѣдь, въ сущности, это все одно,—прибавилъ я:—и пожары, и безкормица, и падежи—все вѣдь остается; только законъ о свѣтотѣняхъ соблюденъ.

— Вѣрно!—поддерживалъ меня и Алексѣй Степанычъ: — ну, братъ, нечего кобениться! Исправляй, да и читай дальше!

На этотъ разъ Молчалинъ 2-й взялся за карандашъ съ видимымъ усиліемъ: ясно было, что ему жаль первоначальной редакціи. Тѣмъ не менѣе, онъ исправилъ и продолжалъ:

„Нѣтъ, кромѣ шутокъ, извѣстія изъ губерній очень непривлекательны: пожаръ въ Моршанскѣ, пожаръ въ Брянскѣ, пожаръ въ Пултускѣ. Это—крупные, отдавшіе въ жертву пламени десятки милліоновъ рублей. А сколько погибло въ пламени безвѣстныхъ Загибаловокъ, Заманиловокъ, Таракановокъ, Клоповокъ, въ которыхъ живетъ населеніе, настолько беззащитное противъ угрозъ стихій, что еслибы мы не знали, что эти люди все-таки ходятъ въ рубищахъ, а не нагишомъ, и ѣдятъ хлѣбъ изъ ржаныхъ отрубей пополамъ съ древесной корой, а не Божіей росой насыщаются (и Христосъ ихъ знаетъ, какъ они ухитряются устроить это!), то имѣли бы полное право сказать: зачѣмъ искать золотого вѣка позади насъ? Онъ здѣсь, онъ у насъ передъ глазами—вотъ въ этихъ самыхъ Клоповкахъ, Таракановкахъ, гдѣ люди съ такимъ блаженнымъ равнодушіемъ относятся и къ жилищамъ, и къ одеждѣ, и къ питанію. Жилища и одежды истреблены пожарами, а пища... Но стоитъ только прочитать газетныя корреспонденціи, чтобъ сказать себѣ, что отнынѣ вся наша надежда на пресловутое: Богъ подастъ!..“

— Не уйти ли намъ за добро-ума отсюда?—безжалостно обратился ко мнѣ Алексѣй Степанычъ: — видно, здѣсь чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ.

Молчалинъ 2-й сидѣлъ, понуривъ голову, словно чувствовалъ себя кругомъ виноватымъ.

— Извините, господа,—сказалъ онъ:—я и самъ ужъ вижу, что только по пустому задерживаю васъ...

— Нѣтъ, эдакъ нельзя!—вступился я съ горячностью: — ужъ если мы взялись помогать, такъ уходить не слѣдуетъ; надо выполнить нашу задачу до конца! Послушайте, господинъ редакторъ! Теперь вы сами видите, что издавать русскую газету нѣсколько труднѣе, нежели вы предполагали, сгарая въ кадетскомъ корпусѣ

страстью къ правописанію. Тѣмъ не менѣе, ваше дѣло далеко еще не безнадежно. Я думаю, что даже сейчасъ вами прочитанное — и то можетъ быть оставлено въ первобытномъ видѣ... да, оставлено *въ первобытномъ видѣ*—я утверждаю это!.. но съ однимъ непремѣннымъ условіемъ...

Молчалинъ 2-й почтительно воззрился на меня.

— А именно: зачеркните конецъ словъ: „но стòитъ только прочитать газетныя корреспонденціи“ и до словъ: „Богъ подастъ“ включительно, а вмѣсто нихъ прикажите набрать слѣдующее: „А всему виною наша славянская распущенность, наша непростительная и легкомысленная неряшливость, наше черезъ-чуръ развязное отношеніе къ своимъ собственнымъ интересамъ. Спросите у любого русскаго мужичка: есть ли у него въ деревнѣ приличный пожарный обозъ? — вѣдь онъ ротъ разинетъ отъ удивленія, словно бы вы говорили съ нимъ на тарабарскомъ языкѣ! А вопросъ объ ирригаціи полей? а вопросъ о прививаніи скоту чумы? О, земство, русское земство! Чтò сдѣлало ты въ теченіе цѣлаго десятилѣтія! Увы! всѣ тяготы самоуправленія, по прежнему, продолжаютъ тяжелымъ бременемъ лежать на начальствѣ! Оно одно простираетъ намъ руку помощи, оно одно не остается равнодушнымъ зрителемъ постигающихъ насъ бѣдствій! Оно же, разумѣется, явилось благодѣтельнымъ посредникомъ и въ данныхъ случаяхъ. По крайней мѣрѣ, мы изъ достовѣрныхъ источниковъ можемъ сообщить, что всѣ надлежащія по сему предмету распоряженія уже сдѣланы“.

— Ну, тёзка, какъ?—обратился Молчалинъ 2-й къ Алексѣю Степанычу.

— Не знаю, братецъ! признаться, у меня ужъ и голова кругомъ пошла! Вотъ онъ посвѣжѣе—стало быть, ему и книги въ руки.

Молчалинъ 2-й покорно взялъ въ руки карандашъ и принялся за корректуру.

— Ну-съ, дальше, — сказалъ онъ, — продолженіе все той же матеріи. „Въ южныхъ губерніяхъ засуха истребила“... „Въ Пензенской губерніи необыкновеннаго вида червь“... „Въ Ярославской губерніи, вслѣдствіе продолжительныхъ холодовъ“... „Изъ Починковъ (Нижегородской губерніи) пишутъ, что на скотѣ появилась какая-то особенная болѣзнь, которую никто не можетъ опредѣлить“... „Въ Кирилловскомъ уѣздѣ (Новгородской губерніи) сибирская язва, по-

видимому, обѣщаетъ акклиматизироваться навсегда"... „Въ Изюмѣ (Харьковской губерніи), въ подгородной слободѣ, не осталось ни одной овцы... Сначала нѣкоторое время чихаютъ, потомъ начинаютъ чесаться, потомъ паршивѣютъ, и наконецъ"... И такъ далѣе, и такъ далѣе. Такъ ужъ, съ вашего позволенія, я все это оставлю въ неприкосновенности, да въ концѣ и присовокуплю: соотвѣтствующія по сему предмету распоряженія сдѣланы?

— Да, непремѣнно, непремѣнно присовокупите. Да вотъ еще: чтобъ ужъ совсѣмъ оттѣнить, я и еще одну штучку придумалъ. Пропечатавши все, что̀ вы сейчасъ прочитали, возьмите да и хватите въ заключеніе: „Не слѣдуетъ, молъ, однако, забывать, что это—только одна сторона медали, которая отнюдь не должна подавать намъ повода отчаиваться насчетъ будущаго; ибо ежели есть мѣстности, посѣщенныя безкормицей, пожарами и скотскими падежами, то вѣдь есть и другія мѣстности, въ которыхъ не было ни пожаровъ, ни неурожаевъ, ни скотскихъ эпидемій. Конечно, будущее и относительно этихъ другихъ мѣстностей — въ рукѣ Божіей, но, все-таки, *пока мысть*, существованіе ихъ не подлежитъ сомнѣнію. Вотъ объ чемъ слишкомъ охотно забываютъ наши господа радикалы и объ чемъ мы считаемъ своимъ долгомъ во всеуслышаніе напомнить имъ".

— Вотъ это прекрасно? Браво, другъ мой, браво! —воскликнулъ Алексѣй Степанычъ:—кажется, и всего три-четыре строки, а каковъ, съ Божьею помощью, оборотъ!

Молчалинъ 2-й вздохнулъ, словно гора свалилась у него съ плечъ. Похвала Алексѣя Степаныча до того ободрила его, что онъ, такъ сказать, уже не правилъ корректуру, но весело шалилъ по ней карандашомъ.

— Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно! — продолжалъ между тѣмъ Алексѣй Степанычъ:—а вотъ вы, оглашенные либералы, сидите да пыжитесь; тамъ пожаръ, тамъ голодъ, тамъ эпидемія, а вотъ мы взяли да и поправили: сколько, молъ, такихъ мѣстъ есть, въ которыхъ нѣтъ ни пожаровъ, ни эпидемій, ни голода! Вѣдь и читателю-то лестнѣе слышать, что у него вездѣ, куда ни оглянись—вездѣ тишь да гладь да Божья благодать! Нутко ты, либералъ прожжёный! Много ли до конца-то еще осталось?

— Сейчасъ. Дальше пойдетъ ужъ заключеніе: штандартъ скачетъ, андроны ѣдутъ, дважды два — стеариновая свѣчка и пр.

Словомъ сказать, всѣ двѣнадцать столбцовъ въ исправности на-лицо. Это уже я самъ.

— А больше ничего нѣтъ?

— Есть корреспонденціи, да тѣ, кажется, и такъ пустить можно.

— Ой-ли?

— Да вотъ напримѣръ: „*Коровчатъ*. Мы думали, что безобразія нашего земства уже въ прошломъ году достигли своего апогея, но оказывается, что въ нынѣшнемъ году оно рѣшилось превзойти самого себя“...

— Съ Богомъ! Спускай на машину! И читать дальше не нужно!

— А вотъ и еще: „*Краснослободскъ*. Давно уже было замѣчено нами, что наши суды присяжныхъ далеко не удовлетворяютъ своему назначенію“...

— Съ Богомъ!

— Пожалуй, есть и еще: „*Пенза*. Хотя и пишутъ объ насъ похвалы въ газетахъ, что мы якобы собственнымъ движеніемъ приговоры объ уничтоженіи кабаковъ составляемъ, но пьянство не только“...

— Стой! — прервалъ Алексѣй Степанычъ: — вотъ тутъ-то и закорючка! Ты знаешь ли, кто эти „пишутъ“-то?

— Полагаю, что въ газетахъ...

— То-то „полагаю“! а ты не полагай, а достовѣрно разузнай! Ни-ни! говорю тебѣ, и Боже тебя сохрани! Брось, чтобъ и духу у тебя этой корреспонденціи не пахло!

— Зачѣмъ же бросать? — вступился я: — поставьте вмѣсто Пензы Алапаевскъ—вотъ и все.

— И отлично. Ну, а теперь только выкройки изъ разныхъ газетъ остались. Спасибо вамъ, господа! Ободрили вы меня! вотъ какое вамъ за это спасибо!

Молчалинъ 2-й всталъ и поклонился намъ, коснувшись рукою до земли.

— Что ты! что ты!—сконфузился Алексѣй Степанычъ:—мы и сами рады, что на что-нибудь пригодились. Только ты ужъ, братъ, помни. Коли газета твоя „Чего изволите?“ называется, такъ ты ужъ тово... такъ эту линію и веди!

Былъ уже часъ четвертый въ исходѣ, когда мы вышли изъ редакціи газеты „Чего изволите?“. Я былъ значительно утомленъ, но, все-таки, шелъ бодро и даже весело. Мнѣ было лестно и радостно,

что я, во-первыхъ, успѣлъ оказать услугу человѣку въ затрудненіи, а во-вторыхъ, и себя при этомъ съумѣлъ показать въ выгодномъ свѣтѣ. Какое-то внутреннее чувство нашептывало мнѣ: способный ты! способный! способный! Я возобновлялъ въ своей памяти всѣ подробности этого утра, припоминалъ, какіе пустяки заставляли иногда задумываться Молчалина 2-го, какъ я легко и сразу ихъ разрѣшалъ, какъ онъ радовался моей находчивости, какъ весело при этомъ карандашъ его попрыгивалъ по корректурнымъ листамъ, какъ онъ однажды даже запѣлъ... При этихъ воспоминаніяхъ я самъ начиналъ семенить ногами по тротуару и напѣвать, а тайный голосъ все пуще и пуще твердилъ: способный! способный! способный!

И вдругъ эти праздничныя мечты измѣнились. Въ самомъ разгарѣ ликованія польщеннаго самолюбія мой слухъ былъ внезапно пораженъ словами простого прохожаго, который, идя намъ на встрѣчу, говорилъ:

— Преспособная, братецъ, бестія! Помани его только пальцемъ...

При этомъ возгласѣ я словно проснулся. Тоскливо мнѣ сдѣлалось, почти тошно. Какую, въ самомъ дѣлѣ, я роль сыгралъ въ это паскудное утро? Я, человѣкъ солидный, почти старикъ—что такое я дѣлалъ?! Мнѣ даже показалось, что воздухъ наполняется міазмами, и что какой-то особенно отвратительный запахъ начинаетъ спеціально преслѣдовать меня. Долгое время я не могъ разобрать, что это за запахъ, но наконецъ понялъ.

— А знаете ли что?—сказалъ я Алексѣю Степанычу: — вѣдь мнѣ все кажется, словно я эти два-три часа въ помойной ямѣ просидѣлъ!

Глава V.

Когда я, по временамъ, раздумываю о моихъ отношеніяхъ къ Алексѣю Степанычу, то невольно прихожу къ заключенію, что въ нихъ есть что-то ненормальное, и это довольно больно щекочетъ мою совѣсть. Или, выражаясь точнѣе, я долженъ сознаться передъ самимъ собой, что отношенія эти ставятъ меня въ какой-то нелѣпый тупикъ, родъ порочнаго круга, изъ котораго, повидимому, нѣтъ ничего легче вывернуться, да вотъ поди-ка вывернись!

Профессія Алексѣя Степаныча не внушаетъ мнѣ особенной симпатіи, но въ то же время личное его добродушіе является для меня фактомъ, стоящимъ внѣ всякаго сомнѣнія. Повидимому, два существованія — казенное и свое собственное — идутъ рядомъ въ этомъ человѣкѣ; но идутъ особнякомъ, не сливаясь, а ежели по временамъ и вліяютъ другъ на друга, то скорѣе въ ущербъ первому, нежели послѣднему. Вотъ это-то хроническое двоегласіе жизни и сбиваетъ съ толку, дѣлая возможными самыя невозможныя отношенія.

Я зналъ одну не очень знаменитую, но все-таки пользовавшуюся хорошей репутаціей танцовщицу, женщину уже пожилую, совершенно добродѣтельную (она была вдова какого-то экзекутора, за котораго ее высваталъ директоръ департамента, и оставалась неизмѣнно вѣрною памяти своего покойнаго мужа) и отличную мать семейства. День она всецѣло посвящала семьѣ и воспитанію дѣтей въ страхѣ Божіемъ (развѣ на какой-нибудь часъ запиралась въ спальной передъ зеркаломъ и упражнялась въ стояніи на носкахъ ногъ и въ біеніи ножкой объ ножку), вечеромъ — уѣзжала въ театръ и продѣлывала тамъ антраша. Даже звалась она не Земфирой и не Асиччіей, а просто Ариной Ивановной. Она не отказывалась отъ антраша, во-первыхъ, потому, что они составляли профессію, съ которой она сжилась, и, во-вторыхъ, потому, что при помощи этихъ антраша она доставала обезпеченный кусокъ ея семейству. Тѣмъ не менѣе, когда она, вечеромъ, надѣвала трико и принималась, стоя на одной ногѣ и поднявъ другую до уровня плечъ, выдѣлывать передъ почтеннѣйшей публикой круги — ей было несовсѣмъ ловко. Поэтому она пуще всего боялась, чтобъ кто-нибудь изъ ея дѣтей не зашелъ въ театръ и не *увидѣлъ* ея (можетъ быть, это-то и было причиной, почему она такъ усиленно старалась о внушеніи имъ „страха Божьяго“). Но вотъ, въ одинъ прекрасный вечеръ, сынъ ея, гимназистъ, соблазненный запретнымъ плодомъ, урвался тайкомъ въ театръ, и когда взвился занавѣсъ, то увидѣлъ слѣдующее: какая-то роскошная женщина, впереди всѣхъ, на самомъ юру, покрытая, вмѣсто платья, прозрачной тряпочкой, совсѣмъ-совсѣмъ нагая, стоитъ на одной ногѣ, а другою, протянутою до уровня плеча, медленно-медленно выдѣлываетъ кругъ. Затѣмъ, вглядываясь въ эту женщину пристально, онъ узналъ въ ней свою мать...

Вотъ наглядный примѣръ того, что двоегласіе въ жизни нисколько не препятствуетъ правильному ея теченію, даже съ такимъ

аккомпаньементомъ, какъ періодически-обязательное переодѣваніе въ трико. И не примѣшайся тутъ неумѣстное любопытство юнаго гимназиста, приведшее его въ театръ, Арина Ивановна и доднесь, въ кругу своего семейства, продолжала бы пользоваться наименованіемъ маменьки Арины Ивановны, причемъ никто бы и не подозрѣвалъ, что съ этимъ именемъ связывается понятіе о какой-то Аспиччіи.

Положеніе Алексѣя Степаныча сходно съ положеніемъ этой женщины въ томъ отношеніи, что оба они устраиваютъ свою личную жизнь по возможности независимо отъ профессіи. Но во всѣхъ другихъ отношеніяхъ Молчалинъ поставленъ даже выгоднѣе. Во-первыхъ, Аринѣ Ивановнѣ все-таки приходилось надѣвать трико, а Алексѣй Степанычъ трико не надѣваетъ, всенародно своихъ атуровъ не показываетъ и антрашà не выдѣлываетъ; во-вторыхъ, Молчалинъ свободенъ и отъ опасенія (и тоже опять потому, что мѣсто трико у него занимаетъ вицъ-мундиръ), что дѣти его узнаютъ объ его профессіи и устыдятся ея. Конечно, можетъ быть, настанетъ время, когда и онъ пойметъ, и дѣти его поймутъ, что, собственно говоря, и вицъ-мундиръ, и трико... Тогда положеніе его, разумѣется, значительно усложнится: но вѣдь когда-то еще это время настанетъ, а покуда...

Покуда Алексѣй Степанычъ—только „нужный человѣкъ“, сношенія съ которымъ въ значительной степени облегчаются его благодушіемъ, и еще въ бо́льшей степени упрощаются такимъ же двоегласіемъ, которому не чуждо и существованіе лицъ, имѣющихъ до него дѣло.

Бываютъ совершенно безумныя условія, при которыхъ жизнь складывается тревожно, тоскливо, унизительно,—такія условія, когда человѣкъ, подъ гнетомъ смутнаго ожиданія чего-то непредвидѣннаго, приходитъ къ сознанію, что существованіе его не имѣетъ ничего яснаго, опредѣленнаго, что оно только терпимо, но и то лишь подъ условіемъ безпрерывныхъ, ничѣмъ немотивированныхъ оглядокъ.

Подобныя неясныя существованія встрѣчаются на свѣтѣ чаще, нежели можно предполагать, и, говоря по совѣсти, они мучительнѣе самой суровой ясности. Насколько отвѣтственъ въ этомъ тотъ или другой человѣкъ персонально — этотъ вопросъ всегда казался для меня сомнительнымъ; но, во всякомъ случаѣ, нельзя объяснить его одною приверженностью интересамъ собственнаго мамона или черезъ-чуръ исключительнымъ преобладаніемъ чувства самосохраненія.

Скорѣе всего, тутъ кроется цѣлая тина мелочей, очень цѣпкихъ, которая извращаетъ всѣ мотивы человѣческой дѣятельности, да и самой потребности самозащиты сообщаетъ характеръ изнурительной изворотливости.

Барахтаясь въ этой тинѣ, гонимый угрозой чего-то, ежели не подлинно страшнаго, то непредвидѣннаго и застающаго врасплохъ, я тѣмъ охотнѣе обращаюсь къ Алексѣю Степанычу, что сквозь наносную кору молчалинства мнѣ удается угадывать въ немъ черты подлиннаго человѣческаго образа. При этомъ я, конечно, сознаю, что наша связь основана на недоразумѣніи, и что не будь этого послѣдняго, то и самому Алексѣю Степанычу врядъ-ли пришло бы въ голову поддерживать эту связь послѣдовательно и по собственному интимному влеченію; но въ то же время — не скрою этого—я очень радъ, если успѣваю додуматься до чего-нибудь въ родѣ апоѳеоза молчалинства, лишь бы обойти недоразумѣнія и оправдать себя въ своихъ собственныхъ глазахъ.

По временамъ эта связь формулируется для меня въ видѣ слѣдующаго вопроса: ежели общественное значеніе Алексѣя Степаныча исчерпывается носимою имъ фамиліею Молчалиныхъ, то твою, человѣче, роль въ сношеніяхъ съ нимъ — какимъ именемъ слѣдуетъ ее характеризовать?

Непріятны и щекотливы подобные вопросы — этого отрицать нельзя. До того щекотливы, что при упорномъ преслѣдованіи могутъ побѣдить самое упорное чувство самосохраненія. Но щекотливость эту въ значительной мѣрѣ охлаждаетъ и развлекаетъ безалаберная и неклейная сутолока жизненной обстановки. Покуда человѣкъ щекотится и раздумываетъ надъ собой, на него со всѣхъ сторонъ съ такой быстротой надвигаются волны всевозможныхъ жизненныхъ мелочей, что въ одно мгновеніе захлестываютъ и его самого, и всѣ его вопросы. Счастіе это или несчастіе — судить не берусь; но могу засвидѣтельствовать, что тѣ же самыя мелочи, которыя возбуждаютъ мысль, онѣ же и притупляютъ ее или, лучше сказать, представляютъ ей всегда готовое мерзкое ложе для успокоенія. Повторяю: это — порочный кругъ, гдѣ одинъ и тотъ же мотивъ служитъ поводомъ для безконечно-блудной игры, въ которой раздраженіе и успокоеніе смѣняютъ другъ друга, безъ всякой надежды на просвѣтъ.

На дняхъ я получилъ отъ Алексѣя Степаныча записку, которая порядкомъ-таки взбудоражила меня. Записка гласила слѣдующее:

„Любезный тёзка!“ (Алексѣй Степанычъ любитъ, при случаѣ, подразнить меня „тёзкою“: вы, дескать, хоть и рядитесь въ костюмъ Чацкихъ, а копни-ка васъ—такими же Молчалиными, какъ и мы, грѣшные, окажетесь!) „Получилъ я отъ одного человѣка, служащаго въ департаментѣ возмездій и воздаяній, цидулу, въ которой идетъ рѣчь объ васъ. Пишетъ, что вы, мой другъ, проштрафились, и должно полагать, штрафъ предстоитъ съ васъ немалый, потому что дѣло о вашихъ провинностяхъ передано въ отдѣленіе воздаяній по преимуществу. А туда поступаютъ лишь такіе казусы, по которымъ слѣдуетъ ожидать, по малой мѣрѣ, поврежденія. Да и то, говоритъ, только по нынѣшнему снисходительному времени, а прежде—строже бывало. Однако вы не очень-то унывайте, потому что „человѣкъ“ тутъ же присовокупляетъ: „такъ пусть пріятель твой постарается сію непріятную для него будущность предотвратить; мы же, для времени продолженія, заведемъ по сему предмету со всѣми мѣстами Россійской Имперіи переписку“. Слѣдовательно, вы такъ и поступите; не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, отправляйтесь-ка около полденъ въ департаментъ, подайте видъ, какъ будто имѣете дѣло къ самому директору, и въ ожиданіи заведите съ молодыми чиновниками разговоръ, не предвидится ли, молъ, новыхъ реформъ какихъ. Они—народъ вѣтренный, очень охотно о семъ говорятъ, да, слово за словомъ, и объ той реформѣ объявятъ, которая и для васъ прописана. Тогда вы прямо и просите, чтобъ вамъ пути указали, какимъ образомъ ту реформу устранить“.

Прочитавши это извѣстіе, я призадумался. Что Алексѣй Степанычъ не съ вѣтру предупреждаетъ меня о предстоящемъ членовредительствѣ—въ этомъ я ни на минуту не сомнѣвался. Но я такъ давно не былъ въ департаментѣ возмездій и воздаяній (болѣе двадцати лѣтъ), что становилось жутко при одной мысли о предстоящемъ путешествіи, хотя мнѣ и сказывали, что, благодаря либеральнымъ вѣяніямъ, департаментъ этотъ, въ послѣднее время, сдѣлался почти департаментомъ утѣхъ. Сверхъ того, мнѣ показалось нѣсколько досадною та чрезмѣрная уклончивость, съ которою было высказано обязательное предостереженіе Молчалина. Извѣщенія о поврежденіи имѣютъ слишкомъ острый характеръ, чтобъ не дѣйствовать на человѣка воз-

буждающимъ образомъ. Они не только порождаютъ въ его умѣ цѣлую свиту вопросовъ въ родѣ: за что? въ какой формѣ проектировано возвѣщаемое повреждепіе? и т. д., но и заставляютъ искать немедленнаго ихъ разрѣшенія. А записка объ этомъ-то именно и умалчивала. Я согласенъ, что это—вопросы не особенно лестные для человѣческаго самолюбія и что въ извѣстномъ возрастѣ (доживши до сѣдыхъ волосъ) даже нѣсколько конфузно предлагать ихъ себѣ, но ежели жизнь такъ складывается, что обмѣнъ мыслей представляется возможнымъ только на почвѣ „виноватъ“ и „помилуйте!“, то какъ ни гоните отъ себя нелестные вопросы, они все-таки вторгнутся въ ваше существованіе и не дадутъ покоя, пока вы не сыщете для нихъ разрѣшенія, хотя бы даже мнимаго.

Но независимо отъ всего этого разрѣшеніе упомянутыхъ вопросовъ необходимо и потому, что относительно повреждеиій практика выработала цѣлую систему или, лучше сказать, философію, обходить которую—тоже дѣло рискованное.

Мнѣ нужно знать: за что?—совсѣмъ не ради празднаго уясненія себѣ состава и характера содѣяннаго преступленія, а для того, чтобъ составить планъ кампаніи и опредѣлить со всею точностью, какія я обязываюсь приносить оправданія. Съ тѣхъ поръ какъ я живу на свѣтѣ, мнѣ такъ часто приводилось выслушивать восклицанія (даже отъ людей положительно мнѣ благожелательныхъ), въ родѣ: „ахъ, да какъ это вы!“ или: „подумайте, что васъ ожидаетъ за это?“—что я и самъ ужъ пришелъ къ убѣжденію, что вся моя жизнь есть не что иное, какъ непрерывная цѣпь чего-то неключимаго, и что, стало быть, я не въ томъ, такъ въ другомъ—виноватъ. Но дѣло не въ томъ, что я виноватъ, а въ томъ, что, несмотря на „темную свиту преступленій“—я все-таки живъ. Живъ Богъ и жива душа моя! благодарно восклицаю я, и, какъ мнѣ кажется, восклицаю именно благодаря довольно сложной и отлично соображенной системѣ оправданій, которую я успѣлъ себѣ выработать. Въ оправданіяхъ этихъ я, конечно, уже понаторѣлъ, но все-таки, прежде нежели приносить ихъ, я долженъ сообразить ихъ размѣры съ размѣрами содѣяннаго преступленія. Быть можетъ, я виноватъ только въ томъ, что, идя по улицѣ, ввелъ въ соблазнъ городового—въ такомъ случаѣ, я могу отдѣлаться только искреннимъ раскаяніемъ. Но ежели введя въ соблазнъ городового, я еще позволилъ себѣ „разсуждать“—тогда вина моя уже

сильнѣе, и вмѣстѣ съ искреннимъ раскаяніемъ я долженъ представить еще ручательство въ непремѣнномъ, на будущее время, „неразсужденіи“. Наконецъ, ежели бы я... но нѣтъ! со мною *этого* случиться не можетъ.. Однакожъ, паче чаянія, если бы даже я и не сдѣлалъ *этого*, но такъ показалось бы... о, тогда! представьте себѣ сами, каковы должны быть *тогда* размѣры моего оправданія!

Что же касается до вопроса о формѣ предстоящаго поврежденія, то и его разрѣшеніе необходимо совсѣмъ не ради удовлетворенія празднаго любомудрія, а для того, чтобъ не выказать неумѣстной щепетильности, не зарекомендовать себя безпокойнымъ человѣкомъ, не утруждать по пустякамъ. Конечно начальство вообще снисходительно выслушиваетъ оправданія; но мы въ качествѣ подсудимыхъ, все-таки, должны пользоваться этой прерогативой съ осмотрительностью, т.-е. утруждать только въ виду поврежденій несомнѣнно тяжкихъ. Поврежденія же среднія принимать съ довѣріемъ и безропотно.

Такова, милостивые государи, теорія оправданій, сама собой выработавшаяся на почвѣ „виноватъ“.

Поэтому едва-ли покажется удивительнымъ, что, прежде нежели выполнить совѣтъ Алексѣя Степаныча буквально, я рѣшился заявить ему о возникшихъ во мнѣ сомнѣніяхъ. Но, къ удивленію, онъ выслушалъ мои заявленія не только безъ обычнаго ему благодушія, но даже почти разсердился на меня.

— Очень ужъ вы набалованы, мой другъ, — сказалъ онъ: — оттого вамъ и думается, что тутъ діалогъ какой-то произойдетъ: вы вопросы будете предлагать, а вамъ будутъ отвѣты давать. Ничего не будетъ— вотъ что! Да и какая, скажите, корысть для васъ знать: за что? Вѣдь ежели не въ томъ, такъ въ другомъ — все-таки вы виноваты. Слѣдовательно, что ужъ тутъ! А между тѣмъ начальство не любитъ вопросовъ, закоренѣлость въ нихъ видитъ, неспособность къ исправленію. Вмѣсто того чтобъ искренно, благородно: „виноватъ, ваше превосходительство!“ — а вы все съ азартомъ да наступя на горло!

— Помилуйте, Алексѣй Степанычъ! человѣкъ хлопочетъ только о томъ, чтобъ какъ-нибудь поумнѣе предстоящее ему поврежденіе устранить, а вы какіе-то азарты да „наступя на горло“ тутъ припутываете!

— Ну, положимъ... ну, не такъ я выразился! А все-таки... Прежде всего я и самъ ничего не могу на ваши вопросы отвѣтить, кромѣ: „не знаю“! Знаю, что нехорошо пахнетъ — вотъ и все, и будетъ съ васъ! Да и у тѣхъ, которымъ доподлинно извѣстно, что̀ и ка́къ—и у нихъ освѣдомляться вамъ не совѣтую. Пользы нѣтъ—вотъ въ чемъ главное. Во-первыхъ, на вашъ вопросъ вы рискуете получить въ отвѣтъ: здорово живешь! — будете ли вы этимъ удовлетворены? Во-вторыхъ, если даже и снизойдутъ къ вашей немощи—лучше ли вамъ будетъ, если свитокъ-то этотъ передъ вами развернутъ, въ которомъ, какъ въ требникѣ, противъ всѣхъ заповѣдей всѣ грѣхопаденія записаны, да скажутъ: читай! Да каяться велятъ, да приговаривать станутъ: ежели не дѣйствіемъ, такъ словомъ, а не словомъ—такъ помышленіемъ? Да въ заключеніе спросятъ: а теперь-молъ сказывайте сами, какому вы за сіе возмездію подлежать должны?

— Полноте! этого нынѣче ужъ не бываетъ! вѣдь ежели и васъ по требнику экзаменовать начать, такъ и для васъ, пожалуй, на каторгѣ мѣста не найдется!

— Такъ-то такъ: кто Богу не грѣшенъ, царю не виноватъ, а все-таки и эту случайность предусмотрѣть не мѣшаетъ. Прихоти-то, мой другъ, оставить нужно да проще на дѣло смотрѣть!

— Такъ, по вашему, лучше не любопытствовать?

— Не любопытствуй, мой другъ!

— Ну, хорошо. Стало быть, и вопросъ о формѣ поврежденія тоже праздный... прекрасно! Но согласитесь, что съ моей стороны все-таки никакого „наступя на горло“ въ этомъ случаѣ не было, и что въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ я нахожусь, не только позволительно, но и вполнѣ естественно...

— Въ томъ-то и дѣло, голубчикъ, что объ естественности-то объ этой забыть надо. Все естественно знать: и за что̀, и что̀ за сіе ожидаетъ, да сдерживать себя надо, потому что естественность-то наша строптивостью называется. А вы просто, безъ естественности... довѣрьтесь! Къ тому же, вы сами видите, что и начало „обстановочки“ ужъ сдѣлано: со всѣми мѣстами Россійской Имперіи переписка заведена. Покуда справки да отвѣты идутъ, а потомъ пойдутъ выборки да соображенія—смотришь, человѣкъ-то и живъ! Можетъ, и оправданій совсѣмъ приносить не придется — такъ, изморомъ все дѣло кончится, а вы себя заго̀дя сомнѣніями да вопросами изнуряете!

— Хорошо; но какъ же все-таки сдѣлать? вѣдь я ни одного знакомаго лица въ департаментѣ возмездій и воздаяній не имѣю—съ какого повода, какъ и къ кому я туда явлюсь?

— А это ужъ и совсѣмъ просто. Ныньче, мой другъ, вездѣ свободно; всякій можетъ придти, даже просто съ прогулки. Придти, выкурить папиросу и уйти. Вы, какъ придете, спросите у сторожа, скоро ли директоръ будетъ—этого и довольно. Затѣмъ, хотите—въ пріемной сидите, хотите—по корридору ходите: папироску закурите—сторожъ и спичку дастъ. Покуда вы курите, около васъ молодежь тамошняя соберется — сейчасъ и разговоръ промежъ васъ пойдетъ. Сколько-молъ реформъ мы ужъ видѣли, а сколько таковыхъ еще подъ сукномъ состоитъ! Слово за слово—и сами не замѣтите, какъ вамъ и объ вашей реформѣ объятъ. Да кстати и уму-разуму научатъ; и не просите—научатъ!

Совѣты Алексѣя Степаныча были настолько ясны и опредѣлительны, что на этотъ разъ я рѣшился послѣдовать имъ слѣпо. На другой же день, часовъ около одиннадцати утра, я забрался подъ арку къ площади и сталъ ожидать чиновничьяго хода. Передо мною разстилалась неоглядная пустыня, обрамленная всякаго рода присутственными мѣстами, которыя какъ-то хмуро, почти свирѣпо глядѣли на меня зіяющими отверстіями своихъ безчисленныхъ оконъ, дверей и воротъ. При взглядѣ на эти черныя пятна, похожія на выколотые глаза, въ душѣ невольно рождалось ощущеніе какой-то упраздненности. Казалось, что тутъ витаютъ не люди, а только тѣни людей. Да и тѣ не постоянно прижились, а налетаютъ урывками; появятся, произведутъ какой-то таинственный шелестъ, помечутся въ безцѣльной тоскѣ и опять исчезнутъ, предоставивъ упраздненное мѣсто въ жертву оргіи архивныхъ крысъ, экзекуторовъ и сторожей.

Чиновничій ходъ начался только черезъ полчаса. Сперва повалили гольцы, пискари и плотва, повалили такою массой, что улица, дотолѣ казавшаяся пустою, вдругъ ожила. Гольцы и пискари шли рѣзво, играючи; плотва брела сонно, словно увѣренная, что крючка ей не миновать. Потомъ движеніе перемежилось, и уже въ одиночку потянулись головли, караси, лини и прочая чиновничья бѣль. Воображеніе мое было такъ возбуждено, что я намѣренно вглядывался въ эти физіономіи, думая уловить въ нихъ какія-либо неизгладимыя черты, свидѣтельствующія о страсти къ поврежденіямъ. Но, къ удив-

ленію, я встрѣтилъ только самую обыкновенную затасканность, сквозь которую едва-едва просачивалось озабоченное праздномысліе. Точно передо мной прошелъ рядъ швабръ, которыми ужъ такъ давно трутъ полы, что онѣ утратили даже характеръ швабръ и получили форму тощихъ и совершенно нецѣлесообразныхъ мочалокъ.

Когда для меня сдѣлалось яснымъ, что административная машина пущена въ ходъ, я тоже юркнулъ въ одну изъ зіяющихъ дверей сѣраго зданія—и пропалъ. Но и тутъ воображеніе обмануло меня. Я думалъ, что и стѣны, и лѣстница, и передняя — все будетъ „вопіять“. Ничуть не бывало! На лѣстницѣ чувствовался сильный запахъ упраздненности — и только: въ департаментской передней пахло отчасти сторожами, отчасти бумажной червоточиной, острый запахъ которой проникалъ сюда изъ канцеляріи.

Сторожа приняли меня какъ родного. Ихъ было двое, и, повидимому, жилось имъ тутъ отлично. Не только предупредительно, но почти съ ликованіемъ бросились они снимать съ меня пальто, и глаза ихъ смотрѣли при этомъ такъ ясно, какъ будто говорили: сейчасъ-съ! пожалуйте! будьте знакомы! Пока я освобождался отъ верхняго платья, мимо меня бойко прослѣдовалъ курьеръ его превосходительства, молодой малый, который тоже смотрѣлъ отлично. Онъ отнюдь не давилъ высокомѣрнымъ сознаніемъ своей высокопоставленности, но весело поигрывалъ серебряной цѣпочкой, пропущенной сквозь пуговицы его темнозеленаго казакина, и съ какою-то чрезвычайно милой загадочностью, казалось, говорилъ: сегодня его превосходительство изволили утромъ меня спрашивать—угадайте, объ чемъ?

— Его превосходительство... — началъ-было я, но одинъ изъ сторожей, помоложе, даже не далъ мнѣ продолжать.

— Пожалуйте! сейчасъ-съ! сейчасъ они будутъ! — заторопился онъ, словно боялся упустить меня: — ужъ и курьеръ съ портфелемъ пріѣхалъ. Полчаса, много часъ... А покуда не угодно ли посидѣть, —продолжалъ онъ, широко растворяя передо мной дверь въ пріемную: —вотъ здѣсь, на диванчикѣ... здѣсь покойно будетъ!

Новое разочарованіе! Я думалъ, что на меня со всѣхъ сторонъ налетятъ сбирры, какъ въ „Лукреціи Борджіа“, а меня принималъ въ свои объятія добродушный русскій солдатикъ, который даже шпицрутеномъ хлеснуть не можетъ безъ того, чтобъ не произнести предварительно: „Господи-Владычица! Успленья-Матушка!“

Я всталъ у окна и отъ нечего-дѣлать началъ смотрѣть на площадь. Налѣво отъ меня была затворенная дверь, ведущая въ кабинетъ его превосходительства, направо—отворенная дверь, черезъ которую виднѣлась обширная анфилада комнатъ, занимаемыхъ канцеляріей. Кабинетъ сурово безмолвствовалъ, словно боялся выдать тайну; напротивъ, изъ канцеляріи доносился до меня непрерывный шумъ—вѣстникъ начинавшейся, но еще не установившейся канцелярской дѣятельности. Слышалось шарканье, хлопанье дверьми, щелканье замковъ, выдвиганіе ящиковъ, чирканье спичками; въ нѣсколькихъ мѣстахъ раздавалось имя Надежды Ивановны (я вспомнилъ, что наканунѣ Надежды были именинницы). Словомъ сказать, происходило все то, что обыкновенно происходитъ во всѣхъ публичныхъ мѣстахъ, въ родѣ кофеенъ, трактировъ, кафе-шантановъ и проч., въ тѣ неясныя минуты дня, когда „дѣятели“ ужъ проснулись и принялись за чистку, но настоящая торговля еще не началась. Но ни малѣйшаго намека ни на то, что „здѣсь стригутъ, брѣютъ и кровь отворяютъ“, ни на „бараній рогъ“, ни на „Макара телятъ негоняющаго“—ничего! Тихо, мило, благородно. Площадь изъ окна четвертаго этажа представлялась какою-то нелѣпою пустынею, на поверхности которой тамъ и сямъ двигались, словно на одномъ мѣстѣ топтались, крохотныя черныя точки; по ту сторону площади, на подоконникахъ казеннаго зданія, токовала несмѣтная масса голубей, какъ будто понимали умныя пернатыя, что нужно же какое-нибудь развлеченіе этому стаду праздномыслящихъ людей, тоскливо выглядывающихъ изъ окопъ всѣхъ четырехъ этажей.

— Покурить не желаете ли?—спросилъ меня тотъ самый сторожъ, который отворилъ мнѣ дверь въ пріемную.

— А можно?

— Даже мы куримъ... сторожа! Можетъ, у васъ огоньку нѣтъ? И огоньку достать можно (онъ чиркнулъ спичкой объ обшлагъ своего рукава и далъ мнѣ закурить). —Курите съ Богомъ. А черезъ часъ, много черезъ полтора, и „они“ будутъ... это безпремѣнно. Вы просить объ чемъ-нибудь?

— Да, придется, можетъ быть...

— Такъ вы, когда они пріѣдутъ, въ канцелярію схоронитесь. Я вамъ въ то время шепну... можно ли, значитъ...

Сдѣлавши это наставленіе и снабдивъ меня на всякій случай еще

двумя спичками (онъ даже показалъ, какъ нужно чиркать ими о подоконникъ), сторожъ оставилъ меня. Я сѣлъ у окна, взявъ со стола старый листъ газеты, и въ ожиданіи событій началъ читать. Въ газетѣ описывалось открытіе сезона въ театрѣ Берга, причемъ выражалось мнѣніе, что, пригласивъ г-жу Бекка („а не Бека, какъ пишутъ въ нѣкоторыхъ газетахъ"), г. Бергъ тѣмъ самымъ доказалъ, что относится къ своей задачѣ серьезно. Черезъ минуту въ дверяхъ канцеляріи показался одинъ чиновникъ, разлетѣлся до половины комнаты, потомъ вдругъ всталъ какъ вкопаный, словно объ чемъ-то вспомнилъ, искоса взглянулъ на меня и возвратился вспять. Вслѣдъ за нимъ разлетѣлся другой чиновникъ и повторилъ тотъ же маневръ. Наконецъ появился третій чиновникъ, который неслышными шагами, какъ будто у него сапоги на суконныхъ подошвахъ были, проскользнулъ уже прямо въ кабинетъ. Впрочемъ онъ пробылъ тамъ лишь нѣсколько секундъ, пошуршалъ бумагами и, возвращаясь черезъ пріемную, остановился противъ меня. Я было-думалъ, что онъ вынесетъ изъ кабинета, по крайней мѣрѣ, хоть одно оторванное ухо, но и тутъ дѣйствительность не оправдала моихъ ожиданій.

— Вы — по дѣлу? — услышалъ я обращенный ко мнѣ вопросъ.

Передо мной стоялъ небольшого роста человѣкъ, еще не старый, но уже поблекшій и какъ будто надорванный. Голосъ у него былъ мягкій, слегка надтреснутый, грудь почти совсѣмъ пропала, большіе каріе глаза отливали какою-то грустною ласковостью. Болѣзненная потребность „послушанія" видѣлась въ нихъ — потребность, не обусловленная никакимъ корыстнымъ побужденіемъ и не отступающая даже передъ загнанностью. Навѣрное этотъ человѣкъ и побѣжитъ куда слѣдуетъ, и дѣло въ одну минуту разыщетъ, и въ отсутствіе другихъ дѣлопроизводителей бумажку (разумѣется, не очень сложную) напишетъ. Его и изъ-за обѣда внезапно вытащить можно, и ночью разбудить, и онъ никогда даже внутренно не поропщетъ. Это —тоже Молчалинъ, но Молчалинъ-аскетъ, Молчалинъ, окончательно освободившійся отъ всякихъ разсчетовъ преднамѣренной угодливости и пламенѣющій на-голо и беззавѣтно. Казалось, въ немъ гдѣ-то далеко теплится какое-то очень отвлеченное убѣжденіе, не имѣющее ничего общаго съ его ежедневною дѣятельностью, но дающее ему силу усмирять въ себѣ всякій позывъ на протестъ. Убѣжденіе въ родѣ того, напримѣръ, что земля есть юдоль скорбей, въ которой

люди должны „терпѣть“. Оно подкралось къ нему, повидимому, очень давно, когда онъ еще не понималъ себя, и оттого не получило даже ясной формулы, а просто являлось естественнымъ закономъ его жизни. Такія личности всего чаще встрѣчаются въ монастыряхъ, но попадаются и въ чиновничьемъ быту, гдѣ спросъ на загнанность и беззавѣтность еще далеко не пересталъ существовать. Они неслышно, какъ тѣни, снуютъ по всѣмъ направленіямъ укрѣпленнаго лагеря, въ которомъ имъ предназначено бодрствовать, разговариваютъ съ мірянами ласково, но почти съ состраданіемъ, и глядятъ какъ-то чудно, словно взоръ ихъ глазъ уходитъ дальше видимаго предмета, стоящаго передъ ними. Игумены-начальники дорожатъ подобными подчиненными, но не даютъ имъ сильнаго хода, а отдѣлываются такъ-называемыми знаками довѣрія. Не потому чтобъ они были неспособны, а потому что нѣтъ въ нихъ ни настоящей чиновничьей цѣпкости, ни той веселонравной готовности во всякое время сочинять проекты о всеобщемъ обездоленіи, которая въ многообѣщающихъ личностяхъ уже съ молодыхъ лѣтъ позволяетъ провидѣть будущую „способнѣйшую бестію“.

— Да, по дѣлу и, кажется, довольно непріятному,—отвѣтилъ я.

— Всѣ дѣла не особенно пріятны,—вздохнулъ онъ съ видимымъ сочувствіемъ ко мнѣ:—но не слѣдуетъ отчаиваться. Такъ вы ужъ потрудитесь подождать: черезъ часъ они будутъ. Папироску, можетъ быть, желаете выкурить... отъ скуки?—прибавилъ онъ, какъ бы желая побаловать меня.

— Благодарю васъ, я сейчасъ курилъ.

— А еще? посидите, покурите. Или вотъ газету... Пишутъ, Бѣку какую-то привезли (лицо его освѣтилось при этомъ улыбкой, вѣроятно ради доставленія мнѣ удовольствія *мірскимъ* разговоромъ)... Такъ потрудитесь ужъ подождать! — прибавилъ онъ, поощряя меня ласковымъ взглядомъ и дѣлая движеніе, чтобъ удалиться.

Но я вспомнилъ совѣтъ Алексѣя Степаныча, что нужно о реформахъ завести разговоръ, и рѣшился остановить ласковаго чиновника.

— А у васъ, кажется, довольно-таки дѣла? — приступилъ я стороною.

— Нельзя сказать. Вотъ у его превосходительства—точно, что много дѣла. Вѣдь отъ нихъ все исходитъ, и къ нимъ же опять все возвращается. Ну, а у насъ... нынѣче начальство у насъ снисходительное: сверхъ силъ не требуетъ!

— Однакожъ, все-таки... Помилуйте! сколько реформъ мы ужъ видѣли, а сколькихъ еще не видали... то-есть, несомнѣнно увидимъ въ ближайшемъ будущемъ!

— Теперь—мы отдыхаемъ; внутрь обратились. Внутри разбираемся, — сказалъ онъ, вовсе, повидимому, не стыдясь и не желая дѣлать тайны изъ временной пріостановки реформаторской дѣятельности. —Такъ вы ужъ будьте такъ добры, подождите!

Высказавши это, маленькій человѣкъ тою же неслышною поступью удалился отъ меня. Начиналась таинственность. Вотъ я и о реформахъ заговорилъ, думалось мнѣ, а *онъ* даже вниманія не обратилъ! видно, не такъ-то легко въ этомъ мѣстѣ завязываются разговоры о реформахъ, какъ предсказывалъ мнѣ Алексѣй Степанычъ. Что жъ я, однакожъ, буду дѣлать? Неужто-жъ, такъ-таки прямо и попаду во чрево кита? А ну, какъ *онъ* (не этотъ, а ужъ настоящій *онъ*, *онъ самый*), вмѣсто того, чтобъ входить со мной въ объясненія, прямо огорошитъ меня вопросомъ: а позвольте, скажетъ, узнать, какимъ образомъ вы *объ этомъ* провѣдали? Что я отвѣчу ему? Отвѣчу ли, что самая совѣсть моя подсказала мнѣ, что я *заслужилъ*, или же, просто-на-просто, запутаюсь въ противорѣчивыхъ разъясненіяхъ! И я съ безпокойствомъ слѣдилъ глазами, какъ маленькій человѣчекъ скользилъ по анфиладѣ, постепенно умаляясь въ пространствѣ, и наконецъ совсѣмъ исчезъ, смѣшавшись съ другими черными точками, мелькавшими въ отдаленіи.

— Это—экзекуторъ! — сказалъ мнѣ, вновь повляясь, прежній сторожъ, покуда я такимъ образомъ размышлялъ.

— Кто? вотъ этотъ чиновникъ, который сейчасъ со мной говорилъ?

— Да; генералъ ихъ страсть какъ любятъ!

И сторожъ опять исчезъ, оставивъ меня одного съ газетою. „Г-жа Бекка, — читалъ я въ газетѣ, — внесла совершенно новый элементъ въ исполненіе французскихъ шансонетокъ. Она не поетъ ихъ, а передаетъ говоркомъ, сопровождая эту передачу гримасами, не лишенными своеобразной граціи“... Но въ ту самую минуту, когда я вмѣстѣ съ авторомъ приступилъ къ сравнительной оцѣнкѣ достоинствъ г-жъ Бекка и Жюдикъ, въ передней послышалось движеніе, и вслѣдъ затѣмъ въ пріемной компатѣ появилось новое лицо. Это былъ Молчалинъ-жуиръ, мужчина замѣчательно большого роста, утробистый,

сильный, съ веселымъ и крупнымъ лицомъ и съ раскатистымъ голосомъ, валившимъ изъ него, какъ изъ протодіакона. Совершенно круглые и черезъ-чуръ выпуклые глаза показывали, что онъ не чуждается даровъ Вакха, но что послѣднимъ не легко достается побѣда надъ нимъ. Однимъ словомъ, это была одна изъ тѣхъ замѣчательныхъ и нынѣ ужъ исчезающихъ личностей, которыя когда-то проводили дни за дѣлами, а ночи въ безпробудныхъ кутежахъ, и о которыхъ во времена оны складывались въ канцелярскомъ мірѣ цѣлыя легенды, переходившія отъ одного поколѣнія коллежскихъ регистраторовъ къ другому. Проходя мимо, онъ, какъ мнѣ показалось, внимательно взглянулъ на меня и остановился.

— Къ директору?—спросилъ онъ меня.

— По дѣлу... тутъ дѣло есть у меня.

— На цугундеръ потянули... ха, ха!

— То-то, что не знаю.

— И знать не нужно. Знаете, какъ Кузькину мать зовутъ—и довольно съ васъ! ха, ха!

— Однакожъ, все-таки...

— Ступайте въ курительную комнату — тамъ видно будетъ! А здѣсь вамъ дожидаться нечего. Вы отъ Алексѣя Степаныча?

— Да, я знаю его.

— Такъ ступайте въ курительную — теперь некогда. Сейчасъ наше зелье пріѣдетъ, такъ съ докладомъ еще разобраться надо... Стойте! А ну, какъ я возьму да и доложу ваше дѣло теперь же... ха, ха!

— А вы не докладывайте!

— Не докладывать... ха, ха! Бѣдокуры вы, господа! Начудолесите тамъ, а для васъ обстановочки придумывай... ха, ха! Ну, съ Богомъ!

Напутствовавши меня такимъ образомъ, онъ сдѣлалъ быстрый полуоборотъ и, грузно ступая, направился къ анфиладѣ, на всемъ протяженіи которой, покуда онъ шелъ, раздавался шумъ отодвигаемыхъ стульевъ.

— Да у васъ гдѣ дѣло-то, у кого въ отдѣленіи? — раздалось надъ самымъ моимъ ухомъ.

Я обернулся: около меня стоялъ тотъ же сторожъ, который, повидимому, рѣшился быть моимъ ангеломъ-хранителемъ.

— Въ отдѣленіи воздаяній по преимуществу, кажется...

— Такъ это они самые и есть.

— Кто „они“?

— Иванъ Семенычъ. У нихъ ваше дѣло.

— Гм... онъ мнѣ въ курительную совѣтовалъ идти.

— Такъ что же... и съ Богомъ! въ курительной, позвольте вамъ сказать, даже поваднѐе будетъ. Тамъ и прочіе просители собрались... пожалуйте!

Курительная кишѣла народомъ. Это была небольшая и до крайности неопрятная комната съ закоптѣлыми стѣнами и потолками, съ заплеванным и усѣяннымъ папиросными окурками поломъ, сверху до низу наполненная густымъ облакомъ дыма, сквозь который трудно было различать предметы. Когда я очутился тамъ, мнѣ показалось, что меня втолкнули въ арестантскую, и мнѣ вдругъ сдѣлалось до крайности неловко всѣхъ этихъ незнакомыхъ людей. Мнѣ казалось, что ко мнѣ подойдутъ и спросятъ: „вы что̀ украли?“ и что я тоже, когда „обойдусь“, то буду предлагать такіе же вопросы. Разумѣется, это были предположенія совершенно безалаберныя и неосновательныя; тѣмъ не менѣе, впечатлѣніе, производимое обстановкою комнаты, было именно арестантское. Мебели въ комнатѣ было чрезвычайно мало: четыре-пять стульевъ сомнительной прочности, разбросанныхъ тамъ и сямъ, и диванъ, на которомъ навѣрное отдыхали сторожа—до такой степени онъ былъ замасленъ, оборванъ и скомканъ. Человѣкъ съ десять въ вицъ-мундирахъ стояло отдѣльной группой по срединѣ; остальные курильщики размѣщались на диванѣ и по угламъ. Постороннихъ посѣтителей было трое, и всѣ они принадлежали къ числу *своихъ*. Во-первыхъ, дама, которая держала себя до того уже просто, что ее скорѣе можно было счесть за пріятную собесѣдницу, нежели за просительницу (послѣ оказалось, что это была сама вчерашняя именинница, Надежда Ивановна, имя которой не разъ доходило до моихъ ушей, покуда я сидѣлъ въ пріемной). Во-вторыхъ, господинъ въ военной формѣ, что-то въ родѣ пріѣхавшаго изъ провинціи капитана-исправника, который уже откланялся по начальству, но еще оставался въ Петербургѣ и продолжалъ посѣщать департаментъ не ради дѣла, а для того, чтобъ проникнуться духомъ и направленіемъ учрежденія. Въ-третьихъ, статскій господинъ, съ совершенно распутною физіономіей, имѣющій всѣ наружныя формы ростовщика или содержателя

увеселительнаго заведенія, который, повидимому, былъ уже окончательно „рѣшенъ“, но все еще изворачивался, какъ бы уклониться отъ этого рѣшенія. Словомъ сказать: и чиновники, и просители составляли одну семью, что въ нашихъ присутственныхъ мѣстахъ случается нерѣдко. Бываютъ просители (особенно изъ провинціаловъ), которые до того сживаются съ своей ролью просителей, что даже не очень настаиваютъ на теченіи своихъ дѣлъ. Они приходятъ въ подлежащее мѣсто почти ежедневно, какъ въ клубъ, и нерѣдко ни однимъ словомъ не напоминаютъ объ оффиціальномъ предметѣ своихъ посѣщеній, а курятъ, балагурятъ, разузнаютъ о похожденіяхъ начальниковъ, разговариваютъ о совершенно посторонникъ предметахъ и даже о своихъ семейныхъ дѣлахъ. Нѣкоторые изъ нихъ, начавъ знакомство съ чиновниками въ качествѣ просителей, продолжаютъ его уже въ качествѣ друзей, то-есть втираются въ чиновничьи дома и у себя устраиваютъ для чиновниковъ вечеринки и пироги.

То же арестантское чувство, которое испыталъ я при входѣ въ курительную, повидимому, ощутили, при моемъ появленіи, и прочіе бывшіе тутъ. Какъ старые арестанты, давно обжившіеся за желѣзными запорами и рѣшетками, обглядываютъ новичка и, покуда онъ конфузливо обдергивается, спрашиваютъ себя: какую-то новую струю внесетъ этотъ новый субъектъ въ ихъ старое, уже сложившееся сожительство? — такъ точно обглядѣли здѣсь и меня. Даже разговоръ моментально стихъ, точно перерѣзался, и только спустя минуту или двѣ возобновился опять.

— Да ты икру-то ѣлъ ли? (разговоръ шелъ, очевидно, о вчерашнихъ именинахъ) — спрашивала Надежда Ивановна одного изъ трехъ кавалеровъ, составлявшихъ ея компанію.

Это была довольно красивая женщина, хотя уже не первой молодости и значительно подержанная. Одѣта она была по домашнему, въ блузу, и сидѣла на диванѣ, тоже совсѣмъ по домашнему, нѣсколько сгорбившись и положивъ ногу на ногу, причемъ курила папироску за папироской.

— Ѣлъ... какъ же! удивительная, безподобная икра! Ужъ у васъ, Надежда Ивановна, коли захотите угостить...

— Будетъ удивительная, какъ два съ полтинкой за фунтикъ заплатишь! — жеманилась Надежда Ивановна: — сама въ Чернышевомъ

покупала, а у Елисеевыхъ да у Эрберовъ этихъ меньше трехъ рубликовъ къ такой икрѣ—и не подступайся!

— Что говорить! и кулебяка, и икра—однимъ словомъ, все...

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Икра сама по себѣ—объ ней послѣ,—прервалъ другой кавалеръ, котораго, повидимому, интересовали вопросы совсѣмъ иного свойства:—а вы скажите-ка намъ, барыня, въ силу какихъ данныхъ вы утверждаете, что всѣ мужчины—подлецы?

— Всѣхъ васъ, пакостниковъ, на одной осинѣ повѣсить надо!—бойко пошутила въ отвѣтъ Надежда Ивановна, пуская кольца дыма.

— Стало быть, въ жизни вашей бывали такіе случаи, вслѣдствіе которыхъ вы убѣдились, что на мужчинъ надежда плоха?

— Бывали-таки со мной случаи... много! Какъ въ Бессарабіи мы съ полкомъ стояли, такъ молдаване эти... вотъ мерзавцы-то! Турки, я тебѣ скажу,—и тѣ лучше! Совѣстливѣе.

— Гм... однакожъ! должно быть, строго поступали съ вами господа молдаване!

— Оттого-то я и говорю, что всѣхъ васъ на одной осинѣ повѣсить надо! А тебѣ, Лодырь Семенычъ, небось, завидно? Да ты что меня за колѣнки-то хватаешь? Отстань, говорю! Ну, а ты, Петръ Петровичъ, отчего вчера до ужина убѣжалъ? Я смотрю, гдѣ онъ, а онъ ужъ и лыжи навострилъ!

— Признаться сказать, не могъ... Во-первыхъ, своя именинница дома была, во-вторыхъ... Надежда Ивановна? голубушка! разскажите, что такое молдаване... что они такое могли... ну, однимъ словомъ...

— „Однимъ словомъ“—и будетъ съ тебя! Ну васъ! и не рада, что съ вами связалась! Кабы, кажется, не дѣло мое, давно бы я васъ, распостылыхъ...

Въ углу, около печки, шелъ другого рода разговоръ: молодой и очень шустрый чиновникъ прижалъ къ стѣнѣ штатскаго человѣка съ распутной физіономіей и допрашивалъ его.

— Ты зачѣмъ, позволь тебя, господинъ Расплюевъ, спросить, къ намъ шляешься? подслушивать? а?

— Помилуйте, Иванъ Павлычъ, побойтесь Бога! Этакое дѣло... въ двадцать-четыре часа... Какъ же тутъ не хлопотать!

— Тебя не только въ двадцать-четыре часа, тебя на свѣтъ родиться не слѣдовало допускать! Скажите, пожалуйста!.. въ двадцать-четыре часа! И онъ удивляется! Это онъ-то, онъ-то удивляется!

Да ты смотрѣлся ли въ зеркало-то когда-нибудь? видѣлъ, ли что за монументъ у тебя на плечахъ-то болтается! Въ двадцать-четыре часа! это *онъ* говоритъ! Онъ!!

— За всѣмъ тѣмъ, Иванъ Павлычъ, позвольте вамъ доложить...

— Нечего „позвольте вамъ доложить“! Ты мнѣ скажи, сколько времени двадцать-четыре часа для тебя продолжаются? а? Тебѣ срокъ указанъ, а ты не только существуешь, да еще сюда свою рожу непотребную показывать смѣешь! Брысь!

— Такъ ужъ я, Иванъ Павлычъ, буду въ надеждѣ-съ...

— Брысь, говорятъ! И если ты еще разъ... Въ двадцать-четыре часа! Это ему не нравится — скажите, нѣжный какой! Вотъ покажись-ка ты у меня еще разъ сюда — узнаешь, какъ безъ прогоновъ въ три шеи съ четвертаго этажа летаютъ! Брысь!

Въ другомъ углу пріѣзжій военный человѣкъ выслушивалъ наставленія теоретическаго свойства.

— Цѣль нашего учрежденія,—ораторствовалъ солидный молодой человѣкъ, — заключается не столько въ пресѣченіи, сколько въ предупрежденіи. Никого не утѣсняя, всѣхъ ограждать—вотъ нашъ девизъ! или, лучше сказать, никому не давая чувствовать, вести дѣло такъ, чтобъ тѣмъ не менѣе всѣ почувствовали! Поэтому и вы должны такимъ же образомъ поступать!

Военный человѣкъ, вмѣсто отвѣта, закатилъ глаза въ знакъ того, что понялъ и намѣренъ слѣдовать неуклонно.

— И такъ, повторяю: мы не жертвъ ищемъ!—продолжалъ чиновникъ. — Жертвы — онѣ принадлежатъ вѣдомству департамента вздоховъ, въ предѣлы дѣйствій котораго мы вторгаться не имѣемъ права! А мы—мы должны сосредоточить все вниманіе, всю дѣятельность нашу только на томъ, чтобъ подлежащія лица не оставались безъ воздаяній! Понимаете! не оставались *безъ воздаяній!*

Въ средней и самой многочисленной группѣ предметомъ разговора опять служила пресловутая Надежда Ивановна и вчерашній именинный фестиваль.

— Въ три часа пирогъ подали, потомъ ростбифъ, рыбу, жареную индѣйку—словомъ, полный обѣдъ. Потомъ сѣли мы за зеленое поле, да такъ до 3-хъ часовъ утра и пропутались!

— Ай да Надежда Ивановна! Ура Надеждѣ Ивановнѣ! Господа! давайте, покачаемте Надежду Ивановну на рукахъ!

Во время этого панегирика Надежда Ивановна, сидя на диванѣ, блаженно вскидывала глазами на говорящихъ, постукивая въ тактъ ногою, и жеманно приговаривала: — Ну ужъ! напли что! эка невидаль!

— Такъ и Иванъ Семенычъ, вы говорите, былъ?

— Еще бы! да и какъ еще удивилъ всѣхъ! Ну, вы меня знаете? Ну, люблю, кажется, я въ картишки поиграть! Такъ онъ и меня за поясъ заткнулъ! Въ третьемъ ужъ часу — мнѣ даже спину всю разломило — а онъ: сыграемъ да сыграемъ еще одну пулечку! Ну, потѣшили старика, сыграли, да на двадцать цѣлковенькихъ онъ насъ и наказалъ! Это — въ шестьдесятъ-то пять лѣтъ!

— Крѣпкій старикъ!

— И замѣтьте: играетъ, а около него бутылка хересу стоитъ. По рюмочкѣ да по рюмочкѣ — никакъ бутылки съ три онъ въ теченіе вечера перемѣнилъ! И хоть бы въ одномъ глазѣ!

— Н-да; вчера въ ночь три бутылки хересу, кромѣ прочихъ напитковъ, выкушалъ, а нынче — на службѣ! Поди, догадайся, какъ онъ ночь провелъ!

— И докладываетъ?

— Не только докладываетъ, а всѣхъ насъ, молодыхъ, передоложитъ! Съ нимъ, я вамъ скажу, такой случай однажды былъ. Заложилъ онъ съ вечера, да, должно быть, ужъ такъ достаточно, что всталъ да ничего и не помнитъ, только спрашиваетъ себя: „есмь азъ или не есмь?“ Однако, по привычкѣ, побѣжалъ въ департаментъ, подошелъ къ своему столу, да такъ и ахнулъ. На столѣ — вотъ эдакая груда бумагъ, да все нужныя, все къ докладу. И докладъ-то — сейчасъ. Что жъ бы, вы думали, онъ сдѣлалъ? Видитъ, что читать бумаги ужъ некогда, присѣлъ за столъ, да въ четверть часа и навалялъ! Приходитъ-это къ директору: „вы, говоритъ, вашество, изволили приказать написать докладъ о томъ, какія чувства надлежитъ признавать въ обывателѣ добрыми, и что отъ таковыхъ чувствъ для блага отечества ожидать предстоитъ“? Ну, тотъ хоть и не приказывалъ ничего, а тутъ сдѣлалъ видъ, что вспомнилъ: „читайте“, говоритъ. И началъ онъ читать. И по писанному-то читаетъ, и отъ себя тутъ же импровизируетъ... словомъ сказать, генералъ не вытерпѣлъ: всталъ и тутъ же его въ лобъ поцѣловалъ! „Прекрасно, говоритъ, это именно моя мысль была! Велите, говоритъ, поскорѣе цир-

куляръ заготовить, да прикажите всѣмъ департаментскимъ чиновникамъ этотъ докладъ наизусть выучить, дабы они могли во всякое время и на всякомъ мѣстѣ на вопросъ: что̀ такое добрыя чувства? — надлежащій отвѣтъ дать! А прочія дѣла мы до завтра отложимъ!“

— Ай да Иванъ Семенычъ!

И вдругъ вся курительная, словно подъ вліяніемъ волшебнаго манія, загудѣла:

„Добрыя чувства суть тѣ, кои, будучи при рожденіи самимъ Богомъ въ насъ вложены и впослѣдствіи воспитаніемъ въ казенныхъ заведеніяхъ развиваемы и утверждаемы“ и т. д.

— И Богъ его знаетъ, какъ онъ это дѣлаетъ! И дѣла у него кипятъ, и за галстухъ онъ закладывать успѣваетъ, и стихи пишетъ! Читали ли вы послѣднюю его вещь, какъ онъ „Спаси, Господи!“ въ стихи переложилъ?

— Превосходно! Безподобно!

— Спаси, говоритъ, насъ и отъ того, и отъ того: и отъ непрошенныхъ совѣтчиковъ, и отъ матеріалистовъ, и отъ нигилистовъ, и отъ стриженыхъ дѣвокъ, и отъ лекцій Сѣченова... Да, перечисливши-то все, вдругъ какъ выпалитъ: „По-бѣ-ѣ-ды!!“

— И это—послѣ трехъ-то бутылокъ хересу!

— Пьетъ хересъ—и пишетъ! потомъ коньяку, для разнообразія, спроситъ—и опять стихи пишетъ!

Наконецъ, ужъ совсѣмъ подлѣ меня, двое чиновниковъ бесѣдовали:

— Да, воротился. Мы-то думали, что ему совсѣмъ капутъ, а онъ еще прочнѣе прежняго засѣлъ!

— Тсс... а помните, какъ за границу-то онъ отправлялся?

— Да, многіе въ то время... Михалъ Михалычъ даже проводить его за нужное не счелъ, а теперь и тужитъ!

— Такъ вы говорите, что пріемъ ему хорошій былъ?

— Помилуйте! чего лучше! Идите, говоритъ, и дѣйствуйте!

— Н-да; такъ Михалъ Михалычъ... пожалуй, что Михалъ Михалычъ-то и прогадалъ!

— Чего хуже! и неблагодарность, и недальновидность — все выказалъ! Ну, какъ было не предвидѣть! Ну, кѣмъ его замѣнить? Гдѣ у насъ люди-то? люди-то у насъ гдѣ?

— Главное—неблагодарность! Вѣдь онъ его изъ грязи вытащилъ! Тогда онъ, садясь въ вагонъ, даже со слезами это высказалъ! „Изъ грязи, говоритъ, я его вытащилъ... ммерзавца!“ За то теперь онъ ему все это выпоетъ! Все, скажетъ, можно простить, но неблагодарности — никогда!

— Вы думаете, значитъ, Михалъ Михалычу въ чистую придется подать?

— Нѣтъ, до этого вѣроятно не дойдетъ, потому что вѣдь и Михалъ Михалычъ также... ну, кѣмъ его замѣнить? Гдѣ у насъ люди-то? люди-то у насъ гдѣ?

Словомъ сказать, сколько я ни прислушивался къ происходившимъ кругомъ меня разговорамъ, ничего членовредительнаго уловить не могъ. Это были обыкновенные житейскіе разговоры, характеризовавшіе людей, быть можетъ, не особенно умныхъ, но и отнюдь не злыхъ. Замѣчательнѣе всего, что мнѣ не удалось услышать ни одного анекдота изъ сферы воздаяній, ни малѣйшаго примѣра сколько-нибудь оригинальнаго возмездія! Какъ будто всѣ эти анекдоты и примѣры были разъ навсегда погребены въ какомъ-то „Полномъ собраніи анекдотовъ“, и нѣтъ никому до нихъ дѣла, и останутся они въ забвеніи до тѣхъ поръ, пока М. И. Семевскій (лѣтъ черезъ сотню) не откроетъ ихъ и не украситъ ими страницъ „Русской Старины“.

Однако на меня, все-таки, никто не обращалъ вниманія, и я уже начиналъ опасаться, что предполагаемаго разговора о реформахъ такъ-таки и не удастся мнѣ завести, какъ вдругъ неожиданное обстоятельство вывело меня изъ затрудненія. Покуда я сокрушался и ропталъ, въ комнатѣ появилось новое лицо. Я взглянулъ на вошедшаго—и сердце у меня такъ и захолонуло: это былъ... Тугариновъ! Тугариновъ, мой товарищъ по школѣ, съ которымъ я, правда, никогда не былъ особенно близокъ, а лѣтъ двадцать тому назадъ даже совсѣмъ потерялъ изъ виду, но котораго, все-таки, я никакъ не ожидалъ встрѣтить *здѣсь*, въ эту минуту! Несмотря на то, что самыя черты этого человѣка почти изгладились въ моей памяти, мнѣ сдѣлалось почти жутко, когда я увидѣлъ его. Съ своей стороны, и онъ узналъ меня, и ему тоже, повидимому, сдѣлалось жутко. Онъ влетѣлъ въ комнату съ разбѣга, бойко и весело, даже кому-то крикнулъ: „Петръ Егорычъ! а что же дѣло о...“—и вдругъ осѣкся! Лицо его покрылось красными пятнами, руки уставились врозь, папироска,

которую онъ намѣревался сейчасъ закурить, не дрожала, а какъ-то плясала между указательнымъ и третьимъ пальцами.

— Тугариновъ!—началъ я первый:—вы... ты...

— Ахъ, да! вѣдь ты у насъ тутъ еще не бывалъ? — откликнулся онъ какъ-то ни къ селу, ни къ городу, совсѣмъ смѣшавшись.

— Да, то-есть лѣтъ двадцать-пять тому назадъ...

— Ахъ, такъ ты теперь совсѣмъ-совсѣмъ нашего департамента не узнаешь!—заторопился онъ:—пойдемъ, пойдемъ ко мнѣ въ отдѣленіе, я тебѣ покажу!

Онъ какъ-то неуклюже, почти насильно взялъ меня подъ руку и повелъ вонъ изъ курительной комнаты.

— Ты совсѣмъ нашего департамента не узнаешь!—взволнованно и спѣша объяснялъ онъ мнѣ, покуда мы пробирались рядомъ комнатъ до его отдѣленія:—теперь, братъ, у насъ совсѣмъ не то, что было двадцать-пять лѣтъ назадъ! теперь наша служба, благодаря Богу, получила совсѣмъ-совсѣмъ другое направленіе!

Онъ пододвинулъ мнѣ кресло, усадилъ меня и самъ сѣлъ.

— Ну, какъ тебѣ жилось? Говори! разсказывай... ссстарррый товарищъ!—началъ онъ, взявъ меня за руку и крѣпко сжимая ее.

Онъ опять покраснѣлъ и какъ-то нелѣпо стиснулъ зубы, какъ бы сдерживая сладкое волненіе, произведенное свиданіемъ со мной.

— Да нечего, признаться, разсказывать. Главное, вѣроятно, тебѣ извѣстно, а затѣмъ едва-ли стоитъ говорить о частностяхъ.

— Какъ же! какъ же! знаю! читалъ, мой другъ! читалъ! Почитываемъ мы тебя... почитываемъ! Рѣзконько, голубчикъ!

— То-то вотъ! одни говорятъ: рѣзконько, другіе—мяконько... какъ тутъ быть! Одно могу сказать съ увѣренностью: ни ты, ни другой не найдете у меня и слѣда злоумышленій!

— Что ты! что ты! кто же объ этомъ даже въ мысляхъ держать можетъ! Напротивъ, *вспъ*—это я съ увѣренностью могу сказать—*вспъ* отдаютъ тебѣ въ этомъ отношеніи справедливость! И все-таки, голубчикъ, рѣзконько! Тѣни слишкомъ густы, свѣту нѣтъ! Немножко бы... чуточку! А впрочемъ что-жъ я! Я-то объ чемъ хлопочу! Напротивъ, я не только съ удовольствіемъ, но даже съ наслажденіемъ... Особливо послѣднее... какъ-бишь?.. Такъ такъ-то, братъ! Пописываешь? прибавилъ онъ, дружески похлопывая меня по колѣнкѣ.

— Да, пишу... что-жъ!

— Помилуй! да ты никакъ думаешь, что я... да сохрани меня Богъ! Ты къ намъ по дѣлу вѣроятно? Пустяки! я тебѣ въ одну минуту все обхлопочу! У кого твое дѣло?

— Говорили, что въ отдѣленіи воздаяній по преимуществу, а впрочемъ достовѣрно не знаю.

— Это у Ивана Семеныча! ну, стало быть, твое дѣло—въ добрыхъ рукахъ! Это, братъ,—человѣкъ! Мы всѣ здѣсь—его ученики! Это — человѣкъ убѣжденный и въ то же время не односторонній! Нѣтъ, не односторонній!

— То-есть, какъ же не односторонній? мнѣ кажется, что самое дѣло, которое онъ дѣлаетъ, довольно односторонне...

— Да, это — одна точка зрѣнія. Но вѣдь служба, мой другъ, не исчерпывается однимъ исполненіемъ служебнаго долга... напротивъ! Мы, конечно, прежде всего сознаемъ свои обязанности передъ службой, но это не освобождаетъ насъ и отъ другой, высшей обязанности: обязанности быть человѣчными и относиться къ заблужденію съ снисходительностью и безъ озлобленія! О, въ этомъ отношеніи очень-очень много въ послѣднее время сдѣлано, и ты не узнаешь нашего департамента, когда ближе познакомишься съ нимъ!

Затѣмъ онъ разсказалъ мнѣ, какой Иванъ Семенычъ—прекрасный сынъ, какъ онъ любитъ и холитъ свою старушку-мать, какъ много помогаетъ роднымъ и ближнимъ. А сверхъ того онъ — музыкантъ и поэтъ.

— Да, и поэтъ. У него литературные вечера бываютъ. На дняхъ онъ намъ переложеніе тропаря „Спаси, Господи“ прочиталъ... н-да-а, съ кваскомъ-съ! не всѣхъ по шерсткѣ погладилъ! многимъ даже и очень не по вкусу пришлось! Сатира, да еще и какая!

— Какіе же литераторы у него на вечерахъ бываютъ?

— Свои, мой другъ, департаментскіе, да вотъ изъ департамента вздоховъ еще... Иногда, впрочемъ, тѣнь Булгарина заходитъ... Иванъ Семенычъ даже журналъ хочетъ свой основать... у него для перваго нумера трагедія Баркова въ портфеляхъ хранится — вотъ кабы ты зналъ! только врядъ-ли цензура... Ахъ, душа моя! вѣдь и за нами въ тысячу глазъ смотрятъ! да еще какъ смотрятъ!

Онъ вздохнулъ, помолчалъ съ минуту, но такъ какъ я съ своей стороны ничего не говорилъ, то началъ опять:

— Да! давненько! давненько-таки! Много съ тѣхъ поръ воды

утекло! Вотъ и у насъ въ департаментѣ... Конечно, существуетъ предубѣжденіе... но, право, ежели посмотрѣть на дѣло свободно...

Онъ взглянулъ на меня, какъ бы прося, чтобъ я хоть на минуту „взглянулъ свободно", въ видахъ разсѣянія предубѣжденія.

— Да, свобода взгляда—это... на что ужъ свободнѣе!—отвѣтилъ я, сдаваясь на его нѣмую просьбу.

— Ну, вотъ видишь, ты самъ это говоришь!—И мы то же самое утверждаемъ! Прежде — это такъ! Прежде чиновничество стояло какъ-то особнякомъ, взаперти, и, разумѣется, не могло внушать къ себѣ довѣрія, но нынче... Если сообразить, что сдѣлано въ этомъ смыслѣ въ послѣднее время — такъ даже страшно, именно страшно становится! На послѣднемъ литературномъ вечерѣ одинъ пріѣзжій исправникъ читалъ намъ статью „Двадцать лѣтъ реформъ"—такъ это даже удивительно, какъ мы все это выдержали! А вы, господа, все недовольны! то-есть, не ты собственно, а вообще...

— Помилуй! я даже очень доволенъ!—поспѣшилъ я выгородить себя.

— Ты — я знаю; а другіе?.. А между тѣмъ, начать хоть съ нашего департамента... Сравни-ка нынѣшнюю процедуру съ той, которая существовала двадцать, двадцать-пять лѣтъ назадъ... голова, мой другъ, закружится!

— Да, съ этой точки... разумѣется, прогрессъ несомнѣнный! Революціи... то-бишь, реформы... — путался я, стараясь придать моему лицу благодарное и даже умиленное выраженіе. Но онъ, къ счастью, уже закусилъ удила и не слушалъ меня.

— Всеобщая апатія — вотъ главное и неисправимое зло нашей общественной жизни! вотъ наша рана! вотъ что разъѣдаетъ насъ! Никто ни объ чемъ не думаетъ, а слѣдовательно никто не можетъ и оцѣнить... А возьмемъ между тѣмъ хоть настоящій случай — съ тобою! Ты имѣешь до насъ дѣло... положимъ, даже непріятное... но какая, однакожъ, разница между тѣмъ, какъ пошло бы это дѣло при прежнихъ порядкахъ — и какъ оно идетъ теперь! Во-первыхъ, въ прежнее время, объектъ воздаяній не выслушивался, не приносилъ оправданій; чаще всего даже не зналъ, что объ немъ идетъ рѣчь. Онъ разрабатывался исключительно съ отвлеченной точки зрѣнія. Дѣло начиналось, созрѣвало и округлялось само собой, независимо отъ объекта и безъ всякаго вниманія къ тому, что онъ долженъ былъ ощу-

щать вслѣдствіе этого созрѣванія и округленія. Наблюдалось, чтобъ всѣ отвѣты были получены, всѣ справки собраны, и когда являлась увѣренность, что надлежащее округленіе достигнуто... фюить!... Все происходило какъ въ сонномъ видѣніи... не такъ ли? правду ли я говорю, что все это именно было... и къ счастію нашему—прошло?

— Правда,—согласился я: — все это именно такъ было, какъ ты говоришь!

— Теперь будемъ продолжать. Если таковы были отношенія „объекта“ къ вопросу о предстоящемъ ему воздаяніи,—продолжалъ Тугариновъ:—то не меньшею фантастичностью отличались и отношенія самихъ дѣлопроизводителей къ принятымъ ими на себя обязанностямъ по сему предмету. Они исполняли эти обязанности безъ всякой руководящей нити, почти автоматически. Они не понимали, что можетъ быть и *очень* больно, и *умѣренно* больно, и *просто* больно; что хотя все это—стадіи одного и того же принципа воздаянія, но стадіи, находящіяся въ значительномъ другъ отъ друга отдаленіи, и потому требующія очень осторожнаго, очень тонкаго примѣненія. Они не различали бытія отъ небытія, и потому съ неумѣстною расточительностью прописывали небытіе даже въ тѣхъ случаяхъ, когда достаточно было удовлетвориться лишь болѣе или менѣе легкимъ ограниченіемъ бытія. Прописать небытіе казалось легче, проще—вотъ они и прописывали. Словомъ сказать: ихъ отношеніе къ дѣлу было столь же неосмысленно, какъ и отношеніе самого объекта. И первые, и послѣдній являлись орудіями и жертвой мрачнаго канцелярскаго фатума, который несся какъ смерчъ, одинаково давя на пути своемъ и орудія, и жертву. Не такъ ли? вѣдь правда? правду я говорю?

— Да, но ты забываешь, что орудія, все-таки, получали присвоенное имъ штатами содержаніе, тогда какъ „объектъ“ пользовался только правами и преимуществами, проистекающими изъ слова „фюить“!

— Объ этомъ—когда-нибудь послѣ. Когда-нибудь, на свободѣ, мы поговоримъ съ тобою, и ты убѣдишься, что пользованіе присвоенными окладами не всегда представляетъ усладу... но объ этомъ послѣ, послѣ! Теперь же будемъ продолжать. И такъ, объяснивъ, какой процедурѣ подверглось бы твое дѣло при существованіи прежнихъ порядковъ, обратимся къ тому, въ какомъ положеніи оно находится нынѣ. Я, конечно, не буду утверждать, что теперь ты уже полный

распорядитель своего дѣла—нѣтъ, этого еще нѣтъ! (Но это *будетъ* и, притомъ, въ самомъ непродолжительномъ времени—въ этомъ тебѣ я ручаюсь... *я!*—прибавилъ онъ въ скобкахъ и при этомъ ударилъ ладонью по столу, какъ бы говоря: вотъ *она* тутъ, въ этомъ самомъ ящикѣ... ррреформа!!). Однакожъ разница, все-таки, несомнѣнная и громадная! Во-первыхъ, ты уже *извѣщенъ*! Правда, ты извѣщенъ негласнымъ и, такъ сказать, не вполнѣ легальнымъ путемъ, но вѣдь легальность, мой другъ, бываетъ двоякая: легальность оффиціальная и легальность хотя и неоффиціальная, но *допускаемая*, и тебѣ, я полагаю, все равно, отъ той или отъ другой ты вкушаешь плоды... Согласись, что это—уже побѣда, благодаря которой передъ тобой освѣщается цѣлый путь. И вотъ ты идешь по этому пути, идешь не въ потемкахъ, не ощупью, а по прямому направленію къ самому источнику. Ты приходишь къ намъ, не заходя ни въ департаментъ преуспѣяній и препонъ, ни въ департаментъ устраненія и порожденія недоразумѣній, хотя послѣдніе вѣроятно тоже ведутъ обширную переписку объ тебѣ, и—кто знаетъ?—переписку, быть можетъ, даже близкую къ окончанію!

При этомъ неожиданномъ откровеніи я даже привскочилъ на мѣстѣ отъ удивленія.

— Какъ!—вскрикнулъ я:—такъ, стало быть, и еще въ двухъ департаментахъ могутъ находиться въ производствѣ дѣла... А можетъ быть и еще въ трехъ-четырехъ?

— Я не утверждаю этого навѣрное, но не могу утверждать и противнаго. Я долженъ сознаться, что относительно распредѣленія занятій у насъ остается желать еще очень многаго, и я первый сознаю, что, напримѣръ, департаментъ преуспѣяній и препонъ могъ бы быть присоединенъ къ нашему безъ особенныхъ затрудненій. Есть, конечно, черты очень существенныя, касающіяся круга дѣйствій, предѣловъ власти и т. п.; но по моему мнѣнію, въ видахъ доставленія публикѣ удобствъ, не мѣшаетъ иногда жертвовать и существеннымъ. Почему, напримѣръ, абонементъ на итальянскую оперу объявляется иногда въ дирекціи императорскихъ театровъ, а иногда въ кассѣ императорскаго двора? Конечно, и тутъ есть основанія, и даже очень вѣскія; но повторяю: въ видахъ удобствъ публики, лучше было бы остановиться на театральной дирекціи, какъ находящейся въ центральномъ мѣстѣ и, притомъ, помѣщенной въ первомъ этажѣ,

а не подъ крышей. Утѣшаюсь однакожъ тѣмъ, что это — вопросъ времени, точно такъ же, какъ вопросъ времени — окончательная смерть „больного человѣка“.

— Да, но въ ожиданіи этого времени у болгаръ...

— Успокойся, мой другъ, у насъ еще до этого не дошло. А чтобъ помочь тебѣ окончательно выяснить твое положеніе, я обѣщаюсь тебѣ во всѣхъ департаментахъ навести справки (онъ взялъ карандашъ и для памяти черкнулъ нѣсколько словъ на листѣ бумаги). Чортъ возьми! надо помогать другъ другу, особливо послѣ столькихъ лѣтъ, проведенныхъ рядомъ на школьной скамьѣ... сстарый товарищъ!

Онъ опять стиснулъ губы, въ знакъ сдерживаемаго волненія, и протянулъ мнѣ руку, которую я и пожалъ.

— И такъ, ты приходишь къ намъ,—продолжалъ онъ:—и съ перваго же шага убѣждаешься, что мы, съ своей стороны, принимаемъ тебя съ распростертыми объятіями. У насъ — ты совершенно свободенъ. Ты можешь и въ пріемной сидѣть, и ходить по корридору, и зайти въ курительную — дѣлай какъ хочешь! Захотѣлось тебѣ покурить — кури! Захотѣлось почитать — къ услугамъ твоимъ листокъ газеты! Затѣмъ, если тебя интересуетъ знать, имѣется ли въ производствѣ дѣло объ тебѣ—ты обращаешься къ подлежащему чиновнику, и онъ тебѣ прямо и безъ утайки говоритъ: есть. Мало того: онъ скажетъ тебѣ, въ какомъ періодѣ оно находится: въ періодѣ ли округленія, или уже приближается къ созрѣванію. Сообразно съ этимъ ты получаешь возможность дѣлать соотвѣтствующія распоряженія. Конечно, если ты захочешь знать, за что? и что именно тебя ждетъ?—этого тебѣ покуда не откроютъ; но и это, опять-таки, вопросъ времени. Принципіально, неудобства канцелярской тайны уже осуждены, и ты увидишь, что не пройдетъ и двадцати лѣтъ, какъ отъ нея не останется и слѣда.

— Однако... двадцать лѣтъ!—изумился я.

— Что дѣлать, мой другъ! Человѣчество идетъ къ совершенству медленными, но за то вѣрными шагами, и мы можемъ только содѣйствовать ему на пути развитія, но отнюдь не побуждать къ тому насильственными мѣрами. Я понимаю, что соблюденіе канцелярской тайны можетъ возбудить досаду, но людямъ нетерпѣливымъ могу сказать одно: господа! имѣйте терпѣніе! вы видите, что дѣ-

лается все, что можно! Сравните прежнюю процедуру съ теперешнею —и сознайтесь, что разница громадная! Не просите! не просите! Все будетъ сдѣлано—въ свое время! Но теперь—нельзя-съ!

Покуда онъ говорилъ, я смотрѣлъ на него. Въ немъ уже не оставалось того стыда, который онъ выказалъ при встрѣчѣ со мною. Лицо его уже не отливало багровыми пятнами, но было приличноблѣдно и смотрѣло солидно и отчасти сурово. Голосъ не колебался, но звучалъ ровно и твердо. Рѣчь не путалась, но лилась плавно, словно была выхвачена цѣликомъ изъ докладной записки объ историческомъ развитіи формъ воздаяній и возмездій, которою, быть можетъ, еще недавно онъ щегольнулъ передъ начальствомъ. А такъ какъ мнѣ никогда не приходило на умъ разсматривать вопросъ о воздаяніяхъ и возмездіяхъ въ пространствѣ и во времени, ибо для меня совершенно достаточно и тѣхъ воздаяній, которыя уготованы для меня *теперь*, то, признаюсь, мнѣ дѣлалось даже неловко выслушивать эту плавно-пустопорожнюю рѣчь, стремившуюся заставить меня восчувствовать, что въ до-историческія времена формы воздаяній были не въ примѣръ солиднѣе, нежели въ наше время, когда... Въ первый разъ съ той минуты, какъ я вступилъ подъ сѣнь департамента, на меня пахнуло скрытымъ членовредительствомъ. Въ первый разъ я почувствовалъ, что хотя теорія и смягчается практикой, но она, все-таки, не изгибла.

— Какъ бы то ни было, — продолжалъ онъ, — а сдѣлано все, чтобъ устранить испугъ и возбудить въ объектѣ воздаяній надежду на болѣе свѣтлое будущее. Какъ хочешь, а это—значительный шагъ впередъ, особливо если взять его въ связи съ тѣми предположеніями, которыя уже стоятъ на очереди и отчасти уже приняты въ принципѣ, отчасти же, по несвоевременности, хотя и отвергнуты, но именно только по несвоевременности! Но этого мало: нѣкоторыя изъ этихъ предположеній практикуются уже и теперь, благодаря системѣ негласныхъ ходатайствъ, которой хотя и не присвоено еще характера строгой дѣйствительной легальности, но которая, вслѣдствіе несомнѣннаго смягченія начальственныхъ нравовъ, уже пользуется всѣми правами легальной допускаемости. А это прямо приводитъ меня къ разсмотрѣнію другой стороны вопроса, а именно...

— Извини, сдѣлай милость, что я на минуту тебя перерву. Ты сказалъ сейчасъ, что существуетъ система негласныхъ ходатайствъ,

которая хотя и не вполнѣ легальна, но уже пользуется допускаемостью... Такъ нельзя ли какъ-нибудь примѣнить эту систему...

— Въ томъ дѣлѣ, которое привело тебя сюда? Конечно, мой другъ! о, безъ сомнѣнія! безъ сомнѣнія! Но извини меня и ты въ свою очередь! Позволь мнѣ развить до конца начатый мною очеркъ современнаго направленія нашего департамента, Признаюсь тебѣ: у меня такъ много накипѣло на душѣ, и мнѣ такъ отрадно было бы сообщить все это тебѣ... сстарый товарищъ!

Новое выраженіе едва сдерживаемыхъ чувствъ и новое пожатіе руки.

— До сихъ поръ я объяснилъ тебѣ только ту перемѣну, которая произошла въ объектѣ воздаяній. Но вѣяніе времени коснулось не его одного—оно коснулось и насъ, скромныхъ служителей принципа воздаянія. Оно морализировало насъ, оно раскрыло наши сердцá и просвѣтило наши умы. Прежде чиновникъ былъ угрюмъ, теперь—онъ сообщителенъ; прежде чиновникъ хранилъ канцелярскую тайну, быть можетъ отчасти и потому, что не понималъ ея; теперь — онъ относится къ этой тайнѣ критически и готовъ, при удобномъ случаѣ, щегольнуть ею даже въ трактирномъ заведеніи. Это, конечно, уже крайность, увлеченіе, но увлеченіе — знаменательное! Съ тѣхъ поръ какъ начались реформы,—а особливо съ тѣхъ поръ какъ разрѣшено въ департаментахъ куреніе табаку, чиновникъ сдѣлался неузнаваемъ. Въ прежнія времена твое появленіе въ нашемъ департаментѣ было бы немыслимо иначе, какъ въ „сопровожденіи“. Теперь ты приходишь самъ, и не только никто не отвращается отъ тебя, но всякій наперерывъ спѣшитъ подать тебѣ руку. Ты пересталъ быть „объектомъ“, ты сдѣлался—человѣкомъ! И ежели это въ значительной мѣрѣ развязываетъ тебѣ руки, то это же самое дѣлаетъ величайшую честь тѣмъ, которые успѣли настолько поднять свой уровень, чтобъ сдѣлать себя доступными человѣчности! Это—прогрессъ, это—побѣда, это — почти переворотъ! Это до такой степени переворотъ, что случись онъ въ другой странѣ, напримѣръ въ Англіи или во Франціи—въ носъ бы бросилось, другъ мой! А у насъ—кого тронулъ у насъ этотъ переворотъ? кто обратилъ на него вниманіе?

Онъ поникъ головой, какъ бы подавленный неблагодарностью, а можетъ быть и неразвитостью согражданъ. Минуты съ двѣ мы мол-

чали: онъ—потому что собирался съ мыслями, я — потому что чувствовалъ себя въ положеніи человѣка, посаженнаго въ кранову.

— Говорятъ, что Россія есть страна переворотовъ мирныхъ,—продолжалъ онъ:—что у насъ мѣропріятія возбуждаютъ не эфемерный энтузіазмъ, но болѣе прочное повиновеніе. Можетъ быть, что это и такъ! Можетъ быть, можетъ быть... можетъ быть! Но согласись, что это горько! что отъ этого „повиновенія“ вѣетъ холодомъ! что есть минуты, когда чувствуется потребность, когда къ сердцу подступаетъ... однимъ словомъ... ну, да что объ этомъ! Такъ-то вотъ, ты и у насъ, въ нашемъ департаментѣ... сстаррый, добррый товарищъ!

Онъ наклонился ко мнѣ, и я уже видѣлъ минуту, что онъ поцѣлуетъ меня. Но вмѣсто того, чтобъ облобызать меня, онъ вдругъ покраснѣлъ, откинулся на спинку кресла и зажмурилъ глаза. Очевидно, ему показалось, что я отнесся къ нему слишкомъ ужъ сдержанно. А такъ какъ въ мои разсчеты вовсе не входило производить такого рода впечатлѣнія, то я, въ свою очередь, встревожился.

— Послушай,—началъ я:—такъ какъ же? собственно о *моемъ*-то дѣлѣ... какъ же ты полагаешь?

Онъ вновь открылъ глаза и на этотъ разъ посмотрѣлъ на меня, какъ мнѣ показалось, довольно иронически.

— Н-да? ты хочешь, конечно, чтобъ я тебя съ Иваномъ Семенычемъ свелъ?—сказалъ онъ:—охотно, мой другъ, съ величайшимъ удовольствіемъ! Но подожди минутку: я сейчасъ велю узнать, воротился ли онъ отъ доклада!

Онъ взялся за звонокъ; но Иванъ Семенычъ былъ легокъ на поминѣ, и едва успѣли мы произнести его имя, какъ онъ персонально явился передъ нами.

— А! писатель!—вскричалъ онъ:—я его ищу, а онъ вотъ гдѣ! Что, батюшка! къ Исусу потянули? трясутся поджилки-то? ха-ха!

— Нѣтъ, не поджилки, а вообще...

— Во всемъ, значитъ, тѣлѣ трясеніе... ха-ха! Знаю, батюшка! знаю! Самъ грѣшнымъ дѣломъ пописываю... знаю! ха-ха!

— Вотъ и я говорилъ, что вы литературой занимаетесь,—молвилъ Тугариновъ:—и что по пятницамъ...

— То-есть, я собственно не литературой, а поэзіей... ха-ха! Бряцаю при случаѣ... ха-ха!

— Мы вѣдь съ нимъ, Иванъ Семенычъ, —товарищи!—пояснилъ Тугариновъ:—какъ же! въ школѣ... рядомъ... Старый товарищъ!

Тугариновъ протянулъ мнѣ руку; примѣру его послѣдовалъ и Иванъ Семенычъ, сказавъ:

— Очень радъ! очень радъ! а что касается до пятницъ, такъ милости просимъ! милости просимъ... ежели не побрезгуете... ха-ха!

— У Ивана Семеныча, мой другъ, очень многіе бываютъ, а между прочимъ и такіе люди, съ которыми тебѣ очень и очень не мѣшало бы познакомиться!

— Бываютъ, бываютъ... ха-ха! Ѳаддей иногда съ Волкова заходитъ... къ закускѣ... ха-ха! впрочемъ, съ Волкова ли? не со Смоленскаго ли?.. пыньче вѣдь могилъ-то этихъ не помнятъ... ха-ха! Я и самъ, признаться, забылъ... Въ ту пору мы съ Кукольникомъ на похоронахъ-то были... или то-бишь! не съ Булгаринымъ ли мы у Кукольника на похоронахъ были... ха-ха!

— А можетъ быть и у Греча—пошутилъ Тугариновъ.

— А что вы думаете—и въ самомъ дѣлѣ у Греча! ха-ха! Да, всѣ перемерли... литераторы! То-есть, хоть и остались еще литераторы—только не тѣ... ха-ха!

— А знаешь ли ты, что на послѣднемъ вечерѣ у Ивана Семеныча и твою вещь читали? Какъ, бишь, ее?

— Какъ же! читали... ха-ха! И какъ только васъ земля носитъ... ха-ха! Да, почитываемъ мы васъ... ха-ха!

— Такъ знаешь ли, какъ мы сдѣлаемъ, — обратился ко мнѣ Тугариновъ:—въ слѣдующую пятницу я заѣду за тобой—мы вмѣстѣ и отправимся къ Ивану Семенычу... безъ церемоній!

— Какія церемоніи... ха-ха! Очень радъ, очень радъ! Да вы не опасайтесь: мы не одною департаментскою поэзіей васъ угостимъ! мы не только читаемъ, но и вкушаемъ... ха-ха!

— Да еще какъ вкушаемъ-то!

И Тугариновъ, и Иванъ Семенычъ посмотрѣли на меня такими радостными глазами, точно имъ удалось „обрящить“.

— А вѣдь я къ вамъ по дѣлу, Иванъ Семенычъ! — рискнулъ напомнить я.

— Есть и дѣльце... ха-ха! вотъ въ пятницу пожалуйте... тогда и разсмотримъ вкупѣ... ха-ха!

— Нельзя ли теперь?

наторенной Молчалинской дорожкѣ пойдутъ, а вдругъ очутятся совсѣмъ не тамъ? Какъ ихъ старческими-то руками удержать? какъ старческими думами услѣдить за ними? какъ старческими словами урезонить ихъ?

— А ну, какъ Павелъ-то Алексѣичъ мой какъ-ни-на-есть не доглядитъ за собой?—сказалъ мнѣ однажды Алексѣй Степанычъ, и, по моему мнѣнію, въ этихъ немногихъ словахъ онъ очертилъ цѣлый трагическій сценарій.

Современность пріучила насъ къ цѣлому ряду явленій, которыя мы легко угадываемъ съ перваго же намека. Домашній очагъ потухъ; семья или разорвалась, или сдѣлалась ареной какой-то сплошной трагедіи, разъясненія которой мы можемъ отыскивать по временамъ лишь въ стенографическихъ отчетахъ судебныхъ засѣданій. Но стенографическіе отчеты обстоятельны только по наружности; полнаго же внутренняго смысла развивающихся трагедій они уже по тому одному не могутъ передать, что очень компактная масса дѣйствующихъ лицъ остается совершенно внѣ предѣловъ ихъ кругозора. Эту компактную массу составляютъ Молчалины — отцы и матери. Они изнываютъ, мечутся, истекаютъ слезами и кровью, и тѣмъ съ бо̀льшею болью отзываются на удары судьбы, что послѣдніе падаютъ на организмы, уже обезсиленные прежними жизненными ударами.

Да, я не разъ задумывался надъ финаломъ, которымъ должно разрѣшиться Молчалинское существованіе, и, признаюсь, невольно блѣднѣлъ при мысли объ ожидающихъ его жгучихъ болѣхъ. Что̀ бы ни произошло: отвернется ли Молчалинъ-сынъ отъ Молчалина-отца, или же онъ по-просту, какъ выразился Алексѣй Степанычъ, „не доглядитъ за собою“—результатъ для Молчалина-отца во всякомъ случаѣ будетъ одинъ. Больно вездѣ: мозгъ горитъ, сердце колотится въ груди, спину переломило. Надо куда-то бѣжать, о чемъ-то взывать, надо шагъ за шагомъ перебрать всю прежнюю жизнь, надо каяться, отрицать самого себя, просить, умолять... И все это въ такія минуты, когда разсудокъ отказывается дѣйствовать, когда колеблющіяся ноги не могутъ выносить тяжести вдругъ осѣвшаго тѣла, когда съ каждымъ шагомъ такъ и кажется, что сейчасъ провалишься въ бездну, когда ничего не понимаешь, ничего не сознаёшь, когда „и въ мысляхъ“, и на языкѣ одно только слово:

Дѣти! Дѣти!

Вотъ „больное мѣсто“ беззащитнаго, безпомощнаго молчалинства. По мнѣнію моему, оно представляетъ по истинѣ неистощимый родникъ для размышленій, да и для художественнаго воспроизведенія въ немъ чуется весьма небезъинтересная канва. Я даже думаю, что тутъ, именно тутъ и таится зерно той заправской русской драмы, которой до-днесь никакъ не могла выродить изъ себя русская жизнь.. И такъ, настоящая, захватывающая духъ драма найдена!

Но кто же воспроизведетъ ее? и когда?

— Загорѣлось... ха-ха! Да просто залучить васъ сюда хотѣлъ, посмотрѣть на васъ, — ну, и написалъ Алексѣю Степанычу цидулу! вотъ вамъ и дѣльце... ха-ха!

— Нѣтъ! вы шутите!

— А впрочемъ есть и дѣльце, коли хотите, да не стоитъ объ немъ говорить! Словцо тамъ одно... ха-ха! Не бойтесь! мы его кругомъ пальца обвернемъ, дѣльце ваше! Самъ, батюшка, литераторъ... хотя и не нынѣшній, а знаю... ха-ха!

— Но въ чемъ же, однако, дѣло?—настаивалъ я.

— Говорю вамъ: не стоитъ тратить словъ... залучить васъ хотѣлось и успѣлъ въ томъ... ха-ха!

Мнѣ вдругъ сдѣлалось ужасно неловко, почти стыдно. Я и самъ не могъ дать себѣ отчета, почему стыдно; но какое-то непреодолимое желаніе „уйти“ охватило все мое существо.

— Такъ, стало быть, къ генералу... не надо?—лепеталъ я, не понимая, что я говорю.

— Къ какому генералу? Вотъ въ пятницу пріѣдете — и генерала увидите... ха-ха! Онъ будетъ даже радъ... Почитываемъ мы васъ, батюшка, почитываемъ... ха-ха! Познакомитесь, поговорите, а между тѣмъ и дѣльце ваше... ха-ха!

Затѣмъ я просидѣлъ еще съ пять минутъ, и уже не помню, что происходило со мной. Помню только, что и я пожималъ руки, и мнѣ пожимали руки, и что когда, наконецъ, почти шатаясь, я направился черезъ анфиладу къ выходу, то во всѣхъ комнатахъ меня сторожили любопытные, въ глазахъ которыхъ я явственно читалъ:

— Почитываемъ мы васъ! да, почитываемъ!

Глава VI.

Такимъ образомъ, благодаря „уступочкамъ“ — съ одной стороны, и „обстановочкамъ“ — съ другой, Молчалинская жизнь кое-какъ налаживается. Жизнь смурая, спутанная, сама себѣ не дающая отчета въ томъ, почему она называетъ себя жизнью, а не смертью.

Среди этихъ сумерекъ Молчалинъ, ихъ главный устроитель, чувствуетъ себя вполнѣ хорошо. Онъ не только счастливъ самъ лично, но убѣжденъ, что и другіе должны быть счастливы; что сумерки именно

и представляютъ ту идеальную норму человѣческаго существованія, которая должна всѣхъ удовлетворить и за предѣлами которой начинается уже прихоть. Ухитивши свое гнѣздо, завоевавши себѣ: въ настоящемъ—тепло и сытость, въ будущемъ—завидную историческую безответственность, онъ съ истинно-молчалинскимъ благодушіемъ предаетъ забвенію свой недавній мартирологъ, окончательно успокаивается, разнѣживается и даже позволяетъ себѣ слегка помечтать.

Мечты его имѣютъ тотъ же дѣтски-непритязательный характеръ, которымъ отличается и вся его жизнь. Онъ видитъ себя въ отставкѣ, почившимъ отъ дѣлъ, сытымъ, благодаря получаемой пенсіи, благодарнымъ, свободнымъ отъ угрызеній совѣсти, почтеннымъ отъ сосѣдей и начальства и ни въ чемъ незамѣченнымъ. А главное онъ видитъ себя окруженнымъ взрослыми Молчалиными-дѣтьми, прямо и безъ особенныхъ усилій утвердившимися на той же Молчалинской колеѣ, которую онъ съ такимъ неслыханнымъ самоотверженіемъ для нихъ проложилъ.

Но тутъ-то именно и надвигается на Молчалина изъ-за угла совершенно новый и притомъ отнюдь не предвидѣнный имъ мартирологъ.

Истинно-больное мѣсто существованія Молчалиныхъ — совсѣмъ не тамъ, гдѣ они сами его видятъ, совсѣмъ не въ ихъ прошломъ, хотя это прошлое и до краевъ переполнено лишеніями, обидами и униженіями. Не назади, а впереди ждетъ ихъ настоящая казнь, которая будетъ тѣмъ жесточе, что ее предстоитъ принять безпрекословно, не вдаваясь, даже втихомолку, въ разысканіе законности или незаконности поводовъ, обусловившихъ ея появленіе. И эту казнь имъ принесутъ—Молчалины-дѣти.

Эта новая казнь заставитъ на-ново перечувствовать всѣ казни прошлаго и къ старымъ обостреннымъ истязаніямъ прибавить новое неслыханно-жгучее истязаніе.

Какъ отнесутся Молчалины-дѣти къ дѣятельности Молчалиныхъ-отцовъ? Отвернутся ли отъ нея съ суровой неумолимостью безповоротнаго убѣжденія, или же, болѣе мягкосердечныя, подарятъ ей смягчающія обстоятельства... только смягчающія обстоятельства? Въ томъ или другомъ случаѣ—развѣ это не казнь?

Но и помимо этой неизбѣжной казни предвидится еще другая, не менѣе неизбѣжная. Дѣти... ахъ, эти дѣти! Хорошо, какъ они по

II.—ОТГОЛОСКИ.

I.—День прошелъ—и слава Богу!

Это было утромъ; я сидѣлъ за чаемъ и читалъ только-что принесенную газету. Ужасъ, что тамъ было: мужчинамъ рѣжутъ ноги, уши, живыхъ сжигаютъ, сажаютъ на колъ, женщинъ насилуютъ и стадами продаютъ въ гаремы, дѣтей бросаютъ вверхъ и принимаютъ на штыки... Это въ газетахъ такъ, а какова должна быть дѣйствительность! Каково тутъ быть, видѣть! Представьте только себѣ, летитъ съ высоты ребенокъ и падаетъ на подставленные штыки...

Я закрылъ глаза—какъ будто это ужасное зрѣлище произошло передо мной въявѣ. Я видѣлъ этого ребенка, я чувствовалъ себя отцомъ его. Всѣ внутренности во мнѣ жгло и рвало. *Мой* ребенокъ... въ моихъ глазахъ... Тотъ самый, на котораго я не зналъ, какъ налюбоваться, не зналъ, какъ его приголубить... опъ!! Тотъ самый, который, съ минуты своего рожденія, взялъ у меня сердце, внутренности—все... Нѣтъ! это—безуміе! Еще моментъ—и я готовъ былъ метаться. Безсильно, безнадежно, какъ мечутся люди въ предсмертной тоскѣ.

Не знаю, какимъ образомъ разрѣшился бы для меня этотъ неслыханный кошмаръ, если бы, къ моему облегченію, въ эту минуту не раздался въ передней звонокъ.

Мы, люди культурнаго слоя, возбуждаемся очень легко. Художественные инстинкты до такой степени въ насъ развиты и выхолены, что самые чудовищные образы воспроизводятся нами мгновенно и во всѣхъ подробностяхъ. Мы поражаемся быстро, сильно и даже искренно,

но, увы! какъ-то ужъ черезъ-чуръ беззавѣтно. Какъ будто не понимаемъ и не хотимъ понимать, что и для инстинктовъ художественности нужно какое-нибудь практическое разрѣшеніе. Къ какимъ практическимъ результатамъ могъ бы привести меня *мой* порывъ?—я рѣшительно ничего не могу отвѣтить на этотъ вопросъ. Быть можетъ, у меня заболѣла бы голова, я былъ бы вынужденъ лечь въ постель, и затѣмъ все прошло бы сномъ. Быть можетъ, въ томъ же родѣ исходъ представила бы мнѣ какая-нибудь другая, чисто-внѣшняя случайность: пришелъ бы портной примѣрить платье, или „бѣдная кузина“ вытурила бы изъ квартиры хлопотать объ мѣстѣ для ея мужа... Достовѣрно извѣстно одно: что подобные порывы не отличаются особенной устойчивостью, и что какъ бы ни богата была сила художественной воспроизводительности, но она, слава Богу, рѣдко кого изъ культурныхъ людей доводила до коренныхъ рѣшеній.

По силѣ удара звонка я догадался, что пришелъ другъ мой Глумовъ — и это былъ дѣйствительно онъ. Покуда онъ снималъ въ передней пальто, я уже чувствовалъ, что мой кошмаръ мало-по-малу таетъ; тѣмъ не менѣе, первымъ моимъ движеніемъ, при его появленіи, было наскочить на него и воскликнуть:

— Ну, на! ну, читай! Читай вотъ... читай!

Но онъ даже не взглянулъ прямо, а какъ-то искоса посмотрѣлъ на мои ноги, какъ будто хотѣлъ сказать: экъ тебя подмываетъ! и при этомъ легонько отвелъ меня отъ себя рукой.

— Читалъ,—отвѣтилъ онъ сквозь зубы.

— Ну, и что-жъ?

— Читалъ— вотъ и все,—повторилъ онъ съ возрастающей загадочностью.

Но для меня этого было недостаточно. Хотя художественная картина № 1-й, изображавшая обугленныхъ людей и дѣтей, принимаемыхъ на штыки, уже въ значительной мѣрѣ поблѣднѣла, но при видѣ Глумова, съ его загадочностью, первы мои вновь поднялись, и новый мотивъ вдругъ переполнилъ все мое существо. Сейчасъ же выпырнула художественная картина № 2-й: позоръ! позоръ! позоръ!

— Но вѣдь это — позоръ! — опять наскочилъ я на Глумова: —пойми, наконецъ: позоръ! позоръ! позоръ!

— А тебѣ что?—процѣдилъ онъ, бросая на меня косой, почти злобный взглядъ.

— Какъ „что“! Но понимаешь ли... вѣдь это наконецъ—ужасъ! Цѣлый адъ тамъ... сатана тамъ... понимаешь ли: сатана!

Я задыхался; картина №. 1-й, совсѣмъ-было исчезнувшая, опять засвѣтилась; сатана, съ его немыслящимъ, искони потухшимъ взоромъ, такъ и надвигался на меня изъ глубины...

— Кому—„ужасъ“, а ты—живи въ свое удовольствіе!—угрюмо проговорилъ Глумовъ, дѣлая рукой нетерпѣливое движеніе.

Ясно, что съ его стороны было что-то преднамѣренное. Не то чтобъ онъ не интересовался *этимъ*, но онъ не хотѣлъ почему-то говоритъ, и именно *со мной* не хотѣлъ говорить. Картина № 2-й исчезла въ свою очередь; на ея мѣстѣ явилась картина № 3-й съ надписью: „Оскорбленное самолюбіе“.

— Ты это что говоришь?

— Говорю: живи въ свое удовольствіе!

— Ты это, конечно, за тѣмъ говоришь, что *для меня* и такого разрѣшенія достаточно?

— Не для тебя одного, а вообще... Живите, говорю, въ свое удовольствіе—вотъ и все!

Я вспыхнулъ.

— Тутъ совсѣмъ жить нельзя, а онъ объ какой-то жизни въ свое удовольствіе твердитъ! —воскликнулъ я:—нельзя жить, нельзя! Мерзко! противно! подло!

— А коли тебя такъ мутитъ, такъ пошли въ „дамскій кружокъ“ три цѣлковыхъ—можетъ, и поле́гчитъ!

Старинная товарищеская привязанность къ Глумову въ значительной степени помогаетъ мнѣ выносить его выходки, несмотря на то, что по временамъ онѣ бываютъ обидны. Но на этотъ разъ поведеніе его показалось мнѣ даже не обиднымъ, а просто нелѣпымъ.

— А знаешь ли, — сказалъ я: — съ твоей стороны, это даже глупо!

— Что же особенно глупаго?

— А все, весь твой разговоръ. Глядишь ты глубокомысленно; слово скажешь—словно рублемъ подарить хочешь... Ну, сообрази въ самомъ дѣлѣ: что такое ты сейчасъ нагородилъ?

— Изволь, я и другое что-нибудь скажу. Напримѣръ: познай самого себя!

— Ну-съ, дальше-съ!

— А дальше: и сообразно съ симъ распорядись. То-есть, опять-таки: вынимай три цѣлковыхъ и отправляй ихъ въ „дамскій кружокъ“!

Сердце во мнѣ такъ и кипѣло. Но меня, въ особенности, поразило, что онъ двукратно и, конечно, не безъ намѣренія указалъ на „дамскій кружокъ“. Какъ будто бы я...

— Ха, ха! но почему же именно въ „дамскій кружокъ“?

— А потому, что ты—художникъ, ну, а тамъ дамочки... Помнишь, какъ у Толстого въ „Аннѣ Карениной“: дамочки, бутылочки, рюмочки...

И онъ точно такъ же вкусно потянулъ въ себя воздухъ, какъ и Стива („въ Аннѣ Карениной“), проснувшись на другой день послѣ грѣхопаденія.

— А вѣдь ты, Глумовъ, и самъ... художникъ!—не удержался, сказалъ я.

— Знаю.

— И что-жъ?

— Я и себѣ давнымъ-давно сказалъ: познай самого себя, то-есть неси три цѣлковыхъ, и понимай, что это—единственный подвигъ, который довлѣетъ тебѣ.

— Но вѣдь это—срамъ!

— Срамъ и есть.

— И ничего дальше?

— Дальше опять то же: отправивши куда слѣдуетъ три цѣлковыхъ,—живи въ свое удовольствіе!

Обида была нѣсколько смягчена. Своимъ признаніемъ Глумовъ ставилъ себя на одинъ уровень со мною — это все-таки былъ уже выигрышъ. Но я не удовольствовался смиреніемъ, косвенно высказаннымъ Глумовымъ, и продолжалъ:

— Однако неужто ты и въ самомъ дѣлѣ считаешь... ну, напримѣръ, хотя меня или себя... неужто мы не способны ни на какую другую жертву, кромѣ трехъ цѣлковыхъ?

— Нѣтъ, мы и добровольцами можемъ быть... Хотя... какой же, напримѣръ, ты доброволецъ!

Я инстинктивно взглянулъ на себя въ зеркало и долженъ былъ убѣдиться, что, дѣйствительно, добровольцемъ быть не могу. Затѣмъ разговоръ нашъ какъ-то круто оборвался. Глумовъ, тяжело ступая и

смотря въ землю, ходилъ по комнатѣ; по временамъ онъ что-то напѣвалъ, но какъ-то капризно, своеобразно: то тихо, словно про себя, мурлычитъ, то вдругъ выкатитъ колѣно по-протодіаконски и при этомъ даже кулакъ покажетъ. Я молча слѣдовалъ за нимъ, словно выжидалъ, не явится ли на выручку художественная картина № 4-й, вмѣсто исчезнувшихъ трехъ.

И дѣйствительно, словно облако остановилось у меня передъ глазами. Сначала оно было темное, тусклое, но по мѣрѣ того, какъ я въ него вглядывался, оно постепенно блѣднѣло, таяло и, наконецъ, сдѣлалось совсѣмъ прозрачнымъ. И вотъ—картина!

— А помнишь ли, Глумовъ, самарскій голодъ? — спросилъ я, причемъ начало вопроса вышло у меня какъ-то нерѣшительно, но за то конецъ звучалъ уже почти восторженно.

— Помню.

— Что-жъ, и тогда... развѣ и тогда ты относился къ народному бѣдствію съ такимъ же безучастіемъ, можно даже сказать, безсердечіемъ, какъ относишься теперь къ страданіямъ нашихъ собратій по крови?

Глумовъ какъ-то гадливо сморщился при этомъ вопросѣ—точно ему показалась до крайности назойливою моя претензія во что бы то ни стало запустить ему иглу въ живое мясо.

— Надоѣлъ ты,—началъ-было онъ, но впрочемъ сдержался и продолжалъ: — гм... да... такъ ты о самарцахъ спрашиваешь? Что-жъ! я и тогда говорилъ: живи въ свое удовольствіе!

— Но вѣдь это безнравственно!

— Разумѣется, безнравственно.

— Какъ же это, однакожъ!—Ты говоришь: „безнравственно“, и въ то же время самъ...

— Это я тебѣ частнымъ образомъ говорю: безнравственно. Можетъ быть, что я даже и сознаю это... тоже частнымъ образомъ. Но вѣдь изъ моего личнаго сознанія шубы не сошьешь, если оно никакихъ обязанностей на меня не налагаетъ—вотъ что!

— Какъ такъ?

— Не хотѣлось мнѣ объ этомъ говорить, да и шелъ я къ тебѣ совсѣмъ не съ тѣмъ... Ну, да ужъ если ты настаиваешь — давай, будемъ разговаривать. Только поскорѣе. Вотъ, изволишь ли видѣть, правильно ли, нѣтъ ли, а я думаю такъ: покуда шкура на мнѣ тол-

ста и прочна (можетъ быть, она и не такъ ужъ прочна, какъ я полагаю, да вѣдь, поди-ка, убѣди меня въ противномъ!) — до тѣхъ поръ я все буду сидѣть въ ней, словно въ крѣпости. Сидѣть и приговаривать: живи въ свое удовольствіе!

— Но вѣдь есть же сознаніе безправственности, безчестности такого сидѣнія въ собственной шкурѣ! Что же ты съ этимъ сознаніемъ-то сдѣлаешь?

— Посмакую это сознаніе, можетъ быть даже умилюсь надъ нимъ. А матерью всѣхъ моихъ сознаній все-таки останется сознаніе толстоты собственной шкуры. Пока оно сидитъ во мнѣ прочно—всѣ прочія сознанія или стушуются передъ нимъ, или явятся въ видѣ предмета умственной гастрономіи. Начитавшись газетъ или книжекъ, я, смотря по обстоятельствамъ, или умилюсь, или вознегодую, но, въ концѣ концовъ, все-таки скажу: а вѣдь хорошо, что шкура-то у меня толста!

— Воля твоя, а это—паскудство! совѣсть вѣдь вопіетъ! стыдъ!

— Безтолковый ты человѣкъ! Говорю тебѣ, что я лично, коли хочешь, ужъ давнымъ-давно со стыда пропадаю, да толку-то въ этомъ нѣтъ! Не въ томъ дѣло, что я стыжусь, а въ томъ, что эта способность стыдиться есть мое личное, ни до кого не относящееся качество! Я стыжусь—хорошо! но если бы я *не* стыдился—отъ этого я былъ бы только цвѣтнѣе и крупичатѣе. Самарцы голодали — эка штука! вѣдь отголодали же какъ-нибудь! Такъ точно и теперь съ болгарами, сербами и проч. Когда же нибудь и какъ-нибудь это кончится, а я между тѣмъ буду жить въ свое удовольствіе.

— Что-жъ это за рецептъ такой: живи въ свое удовольствіе?

— Ну, жри! Надоѣстъ жрать—пей! Надоѣстъ пить—дамочки есть!

— Хорошо, коли кто вмѣстить такую доктрипу можетъ! А другого, пожалуй, и стошнитъ съ нея.

— Небось, не стошнитъ! Вотъ мы съ тобой—художники; стало быть всякую штуку живьемъ себѣ представить можемъ; да и то, пойдемъ сейчасъ къ Борелю завтракать, да развѣ по случаю пищеваренія вздохнемъ объ герцеговинцахъ... А представь себѣ, у кого и художественности-то этой нѣтъ — вѣдь этакому-то субъекту, будь хоть разсамарцы, хоть разболгаре — во всякое время не жизнь, а масляница.

Картина № 5-й. Просторная комната у Бореля, съ накрытымъ по срединѣ столомъ. Бѣлоснѣжная скатерть, фарфоръ, хрусталь, серебро—все такъ и блеститъ. Татары суетятся около закуски; метръ-д'отель глубокомысленно и обстоятельно обсуждаетъ меню; соммелье застылъ у дверей, съ картой въ рукахъ, въ выжидающей позѣ... Всѣ *они* тутъ:—и Петька, и Сережа, и Лёвушка, и Володя. Желудки томятся и сладко поютъ въ ожиданіи чего-то прелестнаго. Изъ сосѣдней комнаты доносятся женскіе голоса. Тамъ — тоже свои Петька, Сережа, Лёвушка, Володя... И во всѣхъ комнатахъ одна и та же неизбѣжная дѣвица Сузетта... А въ кухнѣ, на плитѣ, что-то пыхтитъ и подрумянивается, а въ погребѣ, изъ мрака, затканнаго паутиной, бережно, словно новорожденный младенецъ, выносится на Божій свѣтъ таинственная бутылка... Ахъ, что-то на днѣ у нея, у этой бутылки?

Нѣтъ, Глумовъ неправъ. Не толста шкура у тѣхъ, которые съ такою ясностью могутъ вырабатывать въ одинъ моментъ какія угодно художественныя картины! захотятъ—неистовства турокъ въ Болгаріи воспроизведутъ, захотятъ—неистовства русскихъ „гарсоновъ" въ ресторанѣ Бореля изобразятъ!

— Что-жъ, ѣдемъ, что-ли?—круто прервалъ Глумовъ мои сладкія размышленія.

— Куда?

— Разумѣется, къ Борелю. Славяне—славянами, а завтракать надо. Тюрбо, братецъ, привезли... sauce normande — это что-жъ такое! Наши будутъ; Лёвушку Колѣнцова сегодня поздравляютъ: вѣрную надежду, говоритъ, получилъ.

— Лёвушка! Куда же? въ провинцію? Не можетъ быть!

— Вѣрное слово, хвалится. Говоритъ: въ газетахъ на дняхъ увидите. Законы, говоритъ, сочинять буду... хохочетъ—веселый такой!

Картина № 6-й. Лёвушка — въ Семіозерскѣ; сидитъ въ своемъ кабинетѣ и обдумываетъ, какой бы ему законъ сочинить. Онъ веселъ и здоровъ. Тѣло у него крупичатое, щеки розовыя, уста алыя, подернутыя улыбкой, лобъ гладкій, плечи жирныя, грудь колесомъ, брюшко круглое, посадка женская, ящичкомъ. Онъ безпримѣрно, „до сихъ поръ", счастливъ. Счастливъ и тѣмъ, что мѣстный клубъ втрое-больше противъ прежняго посѣщается — значитъ, развивается общественность; и тѣмъ, что на углу Дворянской и Московской улицъ купецъ

Фурсиковъ открылъ новый бакалейный магазинъ — значитъ, развивается промышленность; и тѣмъ, что содержатель гостиницы „Синопъ“ выписалъ изъ Москвы хоръ цыганъ — значитъ, зарождается вкусъ къ изяществу; и тѣмъ, что купецъ Лапотниковъ отлилъ новый колоколъ для приходской церкви—значитъ, и благочестіе не оскудѣваетъ. Словомъ сказать, счастливъ.

— Что я имъ буду писать? — мысленно спрашиваетъ онъ себя: —зачѣмъ?

Въ его умѣ пробѣгаютъ всевозможныя: „воспрещается“ и „разрѣшается“, но прежде нежели мысль успѣваетъ выработать, что именно воспрещается или разрѣшается, является вопросъ: зачѣмъ?—и сразу подрываетъ кропотливыя усилія мысли.

— Напишу что-нибудь легонькое!—наконецъ рѣшается онъ.

Перо его съ минуту, играючи, бѣгаетъ по листу бумаги. Выходитъ:

„Дозволяется, при встрѣчахъ съ начальствомъ, вѣжливыми и почтительными тѣлодвиженіями выражать испытываемое при семъ удовольствіе“.

— „При семъ“... гм... что такое: „при семъ“?.. — шепчетъ Лёвушка, какъ бы самъ удивляясь вылившейся изъ-подъ его пера неуклюжей фразѣ. — Нѣтъ, лучше ужъ я такъ сдѣлаю: пойду сегодня въ клубъ и спрошу *ихъ*: какой, господа, хотите, чтобъ я вамъ законъ написалъ? я съ нашимъ удовольствіемъ... ха-ха!

Лёвушка съ минуту хохочетъ, самъ не подозрѣвая, какъ онъ въ эту минуту добръ и разуменъ; потомъ на мгновеніе задумывается; наконецъ рѣшительнымъ движеніемъ руки схватываетъ листъ, по которому только-что играючи рѣзвилась его рука, и разрываетъ его на мелкіе клочки.

— А вѣдь Лёвушка... славный!—обратился я къ Глумову, очевидно подъ впечатлѣніемъ только-что воспроизведенной мною картины.

— Чего лучше! парень—первый сортъ! настоящій „правитель“! Идемъ, что-ли?

Говоря по совѣсти, мнѣ очень хотѣлось идти. Чортъ возьми! не Зеноны мы, въ самомъ дѣлѣ, чтобъ ради политическихъ какихъ-то невзгодъ забывать о требованіяхъ жизни! Славяне! Вѣдь отголодали же самарцы — и ничего, какъ съ гуся вода! И хлѣбъ, поди, теперь

ѣдятъ, и подати платятъ! Главное—подати, а прочая вся приложатся! Ну, и тутъ какъ-нибудь, со славянами... Помаленьку да полегоньку, да съ Божьею помощью... Пройдетъ время—обрѣзанные носы и уши заживутъ; на мѣстѣ живьемъ обугленныхъ и посаженныхъ на колъ поколѣній народятся другія... Ахъ, эти поколѣнія! Какъ ни стараются объ ихъ истребленіи, а они, словно вино изъ „неистощимой бутылки", льются да льются на Божью ниву: вотъ, молъ, и еще матеріалъ для обугливанія... орудуйте!

Картина № 7-й. Славяне, умиротворенные, успокоенные, мирно предаются невиннымъ занятіямъ, подъ сѣнію „административной автономіи". Веселое солнце желтыми лучами обливаетъ и кипящія млекомъ и медомъ сёла, и воздѣланныя нивы, и тучныя стада и храбраго добровольца Живиовскаго, за неимѣніемъ средствъ къ возвращенію на родину, застрявшаго въ Сербіи. Живиовскій остепенился и уже не употребляетъ очищенной; голова его побѣлѣла; лицо, правда, нѣсколько осунулось, но за то смотритъ сдержанно, даже почтенно; онъ скромно сидитъ въ углу хаты и качаетъ на рукахъ сербскаго ребенка, между тѣмъ какъ красавица-сербинка, мать ребенка, вынимаетъ изъ печки горячіе хлѣбы. „Эхъ, ущипнулъ бы я тебя!" думаетъ Живиовскій, взглядывая на стройныя, словно вычеканенныя формы молодой женщины; но такъ какъ у него нѣтъ подъ рукой очищеннаго, которое нѣкогда возбуждало въ немъ предпріимчивость, то онъ мысленно прибавляетъ: „ущипнулъ бы — да не теперь!! теперь, братъ,—ау!" И въ довершеніе картины гдѣ-то вдали (можетъ быть, въ Петербургѣ, на Минеральныхъ) хоръ господина Славянскаго отхватываетъ: „идѣ домувъ муй"...

Самое теперь время ѣхать къ Борелю завтракать! Ахъ, Лёвушка, Лёвушка! Каковъ-то онъ теперь? Чай, свѣтлый, сіяющій, бодрый, весь съ ногъ до головы ликующій! Вотъ ему только еще пообѣщали, а ужъ изъ всѣхъ поръ его такъ и прыщетъ: хочешь, сейчасъ уставъ сочиню! А на лицѣ въ это время играетъ вызванная избыткомъ ликованія разувѣрительная улыбка, которая говоритъ: что! испугался!... ничего, голубчикъ! это я пошутилъ! живи... безъ уставовъ!

Стало быть, ѣхать—такъ ѣхать. Но, съ другой стороны, послѣ тѣхъ обидъ, которыми, ни дай, ни вынеси за что, наградилъ меня Глумовъ, мнѣ было какъ-то неловко уступить такъ просто: взялъ шапку да и поѣхалъ. Какъ у всякаго культурнаго человѣка, у меня

есть самолюбіе, которое заставляетъ меня сначала слегка покобениться, а потомъ ужъ ринуться туда, куда зовутъ меня мои собственные излюбленные инстинкты.

— Знаешь, братъ! — сказалъ я: — вотъ я, какъ за границей былъ, такъ мнѣ тамъ говорили: мы васъ, казаковъ, за Волгу оттѣснимъ! въ Саратовъ, говорятъ, туда, гдѣ „véritable Astrakhan“ выдѣлываютъ!

— Ну, такъ что-жъ!

— Какъ что! обидно, душа моя! Признаюсь, не мало-таки это отравляло мнѣ мое путешествіе! Всѣмъ хорошо: и дешево, и удобно, и тепло, а вотъ какъ начнутъ объ Саратовѣ да объ „véritable Astrakhan“ говорить—такъ вотъ и закипитъ все внутри.

— А тебѣ бы сказать: намъ и въ Саратовѣ хорошо будетъ!

— Ну, нѣтъ, любезный! это ужъ — аттѣнде! Порохомъ, братецъ, запахнетъ! порохомъ!

Картина № 8-й: сраженіе подъ Саратовомъ...

— Что такъ? Вѣдь итальянскую-то оперу и въ Саратовъ переведутъ; Жюдикъ—тоже въ Саратовъ пріѣдетъ... Поляковъ, Варшавскій, Кронебергъ, Малкіель... Гляди, и Борель съ своими татарами живо слѣдомъ за ними сберется... А икра тамъ какая! При тебѣ, въ твоихъ глазахъ, живому осетру брюхо распорютъ—сливки!

— Ахъ, Глумовъ, Глумовъ! Балагуришь ты, голубчикъ мой! все-то ты балагуришь!

— Извѣстно, балагурю! а то что же?

— Знаешь ли ты, однако, что вѣдь и для балагурства есть мѣра, и что безъ этого условія балагурство... можетъ раздражать?

— А коли раздражаетъ, такъ не трогай меня! Не трогай меня... слышишь! Не разговаривай со мной о вещахъ, которыя... тоже раздражаютъ! Баста! Идемъ къ Борелю или нѣтъ? Ежели не идешь, такъ прощай: я отправлюсь одинъ.

Я покорился этому ультиматуму довольно охотно. Повторяю: меня самого уже тяготилъ затѣянный разговоръ, а въ особенности то множество разнообразныхъ художественныхъ картинъ, которыя, по мѣрѣ его развитія, какъ-то сами собой зарождались въ моемъ воображеніи.

Когда мы вышли на Невскій, Глумовъ угрюмо шепнулъ мнѣ:

— Ужъ сдѣлай ты для меня милость: придержи языкъ за зу-

бами! Теперь вѣдь многіе около славянъ-то прохаживаются!—Скажешь слово не по шерсти—разорвутъ!

Невскій кипѣлъ пѣшеходами и экипажами. Магазины и рестораны, по обыкновенію, весело, лучезарно выглядывали на улицу своими цѣльными окнами; банкирскія конторы поминутно распахивали настежъ свои гостепріимныя двери, какъ бы поддразнивая человѣческую алчность дешевизною своихъ продуктовъ; только книжныя лавки смотрѣли уныло, почти выморочно: очевидно, что публика, обрадованная, что славянскій вопросъ освобождаетъ ее отъ обязанности читать что-либо, кромѣ газетъ, позабыла даже дорогу къ нимъ... За то у Пассажа цѣлая толпа собралась около газетныхъ разносчиковъ и требовала газетъ. Одинъ изъ газетчиковъ добродушно выхваливалъ свой товаръ:

— Измѣна фельетониста Тряпичкина описывается... купите, господинъ!

Мы уже почти достигли цѣли, то-есть Большой Морской, какъ изъ ресторана Доминика, словно привидѣніе, вынырнулъ поручикъ Живновскій и остановился наверху лѣстницы. Слегка пошатываясь и разставивъ граблевидныя руки, съ явнымъ намѣреніемъ разорвать пополамъ, онъ медленно поводилъ зрачками своихъ глазъ и вдругъ уперся ими въ меня.

— Га! писатель! либер-раллъ!—гаркнулъ онъ зычнымъ голосомъ въ упоръ мнѣ.

Я инстинктивно бросился къ извозчику, увлекая за собой и Глумова, но тутъ насъ ожидало такое зрѣлище, къ которому мы ужъ совсѣмъ не были приготовлены. На пути нашего отступленія безшумно скользило по тротуару что-то ослизлое, студенистое, разлагающееся, но все еще живое. То былъ Булгаринъ! Въ рукахъ его дрожалъ листокъ газеты, который онъ, очевидно, торопился положить на могилу Шешковскаго, вмѣсто цвѣтовъ. Смѣсь запаха живого извѣщенія съ запахомъ извѣщенія, задохшагося въ могилѣ, шла за нимъ по пятамъ и заражала атмосферу...

— Пришелъ порадоваться на потомковъ своихъ! — донесся до моихъ ушей таинственый шопотъ...

Насилу мы уѣхали.

— Вотъ, — говорилъ мнѣ дорогою Глумовъ: — ты, грѣшнымъ

дѣломъ, статейки въ журналахъ пописываешь; такъ я въ этомъ отношеніи хотѣлъ тебя предупредить: помалчивай, другъ! Спокойнѣе!

— Помилуй, душа моя! вѣдь я же сочувствую!

— Сочувствуешь-то ты сочувствуешь, даже сны наяву видишь —знаю я это! Да время нехорошо для печатнаго изображенія чувствъ. Одно слово переложилъ, другого не доложилъ—сейчасъ: измѣна! Старыя-то литературныя преданія и безъ того не въ авантажѣ обрѣтались, а нынѣче, въ виду несомнѣннаго заполученія подписчика, да ежели при семъ и продажа распивочно и на вынось успѣшно идетъ... Такъ ужъ ты сдѣлай милость, голубчикъ, поостерегись!

У Бореля все обстояло такъ, какъ я уже заранѣе нарисовалъ въ картинѣ № 5-й. По срединѣ просторной комнаты былъ накрытъ столъ: бѣлоснѣжная скатерть, фарфоръ, хрусталь, серебро — все блестѣло. Татары во фракахъ шныряли взадъ и впередъ, принося и разставляя всевозможныя водки и закуски; метръ-д'отель почтительно, но съ достоинствомъ принималъ изъ устъ самого Лёвушки заказъ; соммельé, съ картою винъ въ рукахъ, выжидалъ своей очереди. Сережа Преженцовъ, Володя Культяпкинъ и Петька Долгоуховъ, въ ожиданіи земныхъ благъ, расхаживали взадъ и впередъ и весело дѣлились другъ съ другомъ впечатлѣніями, въ которыхъ покамѣстъ не было ничего „славянскаго“.

Насъ приняли съ распростертыми объятіями; даже Лёвушка поспѣшилъ съ послѣдними приказаніями насчетъ меню, чтобъ привѣтствовать насъ.

— Читалъ? — обратился онъ ко мнѣ: — ахъ, меггзавцы! (Лёвушка слегка грессейировалъ, что̀ очень къ нему шло.)

Меня такъ и ожгло. Я не знаю, пойметъ ли меня читатель, но мнѣ показалось, что неожиданно распахнулись двери дома терпимости и вынеслось оттуда слово, о которомъ тамъ совсѣмъ и въ помин̀ѣ не должно бы быть. Давно ли я говорилъ, въ сущности, то же самое, что̀ сейчасъ сказалъ Колѣнцовъ, и негодовалъ на Глумова за то, что онъ всталъ ко мнѣ по этому поводу въ учительныя отношенія —и вотъ, не прошло и часа, какъ я уже и самъ былъ готовъ разыграть ту же нелѣпо учительную роль.—Да, неслыханныя вещи творятся на бѣломъ свѣтѣ, говорилъ я себѣ, но какое же до всего этого дѣло Лёвушкѣ? Зачѣмъ онъ оторвался отъ соммельé... чтобъ произнести слово „меггзавцы“? Ахъ, это слово!

— Да, да, — поспѣшилъ я вильнуть въ кусты: — такъ что же мы будемъ ѣсть?

— Все ужъ условлено и заказано. Но скажи: вѣдь ты читалъ? не правда ли, какіе мерзавцы? N'est-ce pas?

Вопросъ былъ поставленъ двукратно, и не было никакого ручательства, что онъ не будетъ предложенъ и въ третій разъ. Къ счастію, Глумовъ выручилъ меня.

— Мерзавцы,—сказалъ онъ кротко.

— Этотъ ребенокъ... parole d'honneur, j'en ai rêvé toute la nuit! И эти штыки... Этотъ „штыкъ-молодецъ", comme le disait le grand Souvoroff... употребляемый—для чего? Les coquins!

Всѣ сгруппировались вокругъ Колѣнцова, и всѣ искренно заявляли о своемъ сочувствіи. Даже Петька Долгоуховъ, малый отнюдь не сантиментальный, и тотъ нервно вздрагивалъ, искоса, впрочемъ, поглядывая на жирную, совсѣмъ ранжевую семгу, пластомъ лежавшую на металлическомъ блюдѣ.

— Ну, а теперь можно, кажется, поздравить тебя?..—началъ было я.

— Благодарю тебя, но позволь еще одну минуту. Господа! прежде нежели приступить къ нашему дружескому завтраку, ознаменуемте эту торжественную минуту добрымъ... патріотическимъ дѣломъ!

Лёвушка взялъ тарелку и обошелъ съ нею присутствующихъ, говоря:

— Во имя братьевъ! Пусть каждый дастъ что можетъ! А потомъ мы отошлемъ нашу посильную лепту... въ дамскій кружокъ!

Всѣ руки разомъ заторопились, и черезъ мгновеніе на тарелкѣ лежало пять зелененькихъ. Петька Долгоуховъ (шестая зелененькая) обратился къ одному изъ татаръ и сказалъ:

— Поди за буфетъ, вели записать на меня три цѣлковыхъ и принести сюда!

Затѣмъ Лёвушка вложилъ собранныя деньги въ конвертъ, сдѣлалъ надпись: „отъ счастливыхъ, за бокаломъ вина"—и отправилъ по принадлежности.

— А теперь, господа, приступимъ! — весело сказалъ онъ:—не знаю, какъ вамъ, а у меня какъ-то теплѣе, покойнѣе на сердцѣ становится, когда я сознаю, что выполнилъ долгъ. А вѣдь это — священный долгъ... это—*нашъ* долгъ, господа! N'est-ce pas?

— Еще бы! à qui le dis-tu! —раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Собственно говоря, это даже—не *долгъ*, а душевное дѣло... Это, такъ сказать, наша подоплёка!

— Браво! —вырвалось у Глумова.

— Браво! браво!—захлопали въ ладоши остальные.

— Ну-съ, такъ приступимъ. Завракъ *я* заказалъ умѣренный; вина тоже не много будетъ—предупреждаю васъ. Я нахожу, что бываютъ обстоятельства, при которыхъ умѣренность становится обязательною. А чтобъ испытать васъ, я даже не открою вамъ содержаніе моего меню. Будемъ довольны, чѣмъ Богъ послалъ!

Какъ истинные герои, мы поспѣшили согласиться. Одинъ Долгоуховъ казался огорченнымъ. Въ качествѣ истиннаго pique assiette'a, онъ любилъ не только сладко поѣсть, но и заранѣе предрасположить себя къ предстоящимъ вкушеніямъ.

Тѣмъ не менѣе завтракъ удался какъ нельзя больше. Было шумно и весело. Поздравляли Лёвушку, подшучивали надъ Долгоуховымъ, сочиняли циркуляры. Одинъ декламировалъ „уставъ о печеніи пироговъ“; другой импровизировалъ „правила о переводѣ въ разрядъ полезныхъ животныхъ тѣхъ изъ волковъ, кои добрыми нравами и примѣрнымъ поведеніемъ признаны будутъ заслуживающими сего отличія“. Каждая импровизація сопровождалась громкими „браво!“ и обращеніями къ Лёвушкѣ, который сквозь зубы ворчалъ: „шуты!“ и въ то же время благосклонно улыбался. Словомъ сказать, всѣ очутились въ обычной атмосферѣ, изъ которой никто и никогда не чувствовалъ ни малѣйшей потребности выходить. Какъ вдругъ дверь дома терпимости распахнулась опять.

— Да, господа, я оставляю васъ... оставляю! — сказалъ Лёвушка, обращаясь къ намъ:—въ принципѣ, мой отъѣздъ въ Семиозерскъ уже рѣшенъ. Надежды, которыя вы всѣ возлагаете на меня —я увѣренъ, что оправдаю ихъ. Я — вашъ товарищъ, и это одно налагаетъ на меня святыя обязанности. Я буду твердъ, но безъ непреклонности; буду снисходителенъ, но безъ потворства. Преступныхъ страстей—не потерплю! Но не скрою отъ васъ, какъ не скрываю и отъ самого себя, что предстоящая мнѣ задача, и безъ того трудная, въ значительной степени усложняется современнымъ политическимъ положеніемъ. Эти славяне съ обрѣзанными носами и ушами, эти обугленные трупы сожженныхъ живьемъ людей, наконецъ этотъ ребе-

нокъ, котораго сначала бросаютъ вверхъ и потомъ принимаютъ на штыки—все это не выходитъ у меня изъ головы и, конечно, войдетъ въ программу моихъ будущихъ дѣйствій. Надо положить предѣлъ этому. Господа! я предлагаю тостъ за освобожденіе славянъ! И не только на Балканскомъ полуостровѣ, но и... Я никого не называю по имени, но каждый изъ васъ, конечно, уже назвалъ страну, которая, въ годину нашихъ испытаній, удивила міръ своею неблагодарностью!

Этотъ тонкій намекъ на коварную Австрію привелъ насъ въ восторгъ. Съ криками „ура!“, „живіо!“ мы бросились обнимать Лёвушку, который, и съ своей стороны, весь сіялъ восторгомъ и рѣшимостью.

— А теперь, господа, выпьемъ за здоровье княгини Наталіи! —какъ нельзя болѣе кстати воскликнулъ Сережа Преженцовъ.

— Королевы, mon cher, королевы! Въ глазахъ дипломатіи, она—княгиня, но въ нашихъ, въ „русскихъ“ глазахъ—королева! —паставительно поправилъ Лёвушка.

Выпили за королеву Наталію, но не забыли и княгиню Милену. Потомъ вынули еще по три цѣлковыхъ, вложили въ конвертъ, съ надписью: *отъ счастливыхъ за третьей здравицей*, и опять послали въ „дамскій кружокъ“.

Здравицы слѣдовали за здравицами, такъ что подъ конецъ произошло уже нѣчто въ родѣ пронунсіаменто. Милана смѣнили и на мѣсто его провозгласили генерала Черняева королемъ Сербіи и соединенной съ ней Болгаріи. Генералу Новоселову пріискали мѣстечко въ Босніи. Герцеговину присоединили къ Черногоріи, „гирла“ оставили за собой; княгинѣ Наталіи, яко „дамочкѣ“, назначили пенсію въ милліонъ дукатовъ. Наконецъ, въ половинѣ четвертаго, подъ мотивъ долетавшей изъ сосѣдняго кабинета (гдѣ тоже, вѣроятно, происходило своего рода пронунсіаменто) пѣсенки:

A Provins,
Trou-la-la,
E'on récolte des roses
Et du jasmin,
Trou-la-la,
Et beaucoup d'autres choses...

вышли на улицу и разбрелись въ разныя стороны.

— Кто бы подумалъ,—сказалъ Глумовъ, усаживаясь вмѣстѣ

со мною въ извозчичьи сани,—что въ этомъ паскудномъ трактирѣ сейчасъ произошло великое таинство проявленія русско-культурнаго патріотизма!

Я ничего не отвѣтилъ на эту выходку и, говоря по совѣсти, даже не совсѣмъ сознавалъ, что происходило во мнѣ. Одно только было для меня вполнѣ ясно: что Глумовъ стѣсняетъ меня! Гадливость, которую я часа полтора тому назадъ ощутилъ при словѣ „мерзавцы", вылетѣвшемъ изъ устъ Лёвушки Колѣнцова, именно была плодомъ моей утренней бесѣды съ этимъ человѣкомъ. Не будь его, я легко и свободно отдался бы веселымъ впечатлѣніямъ товарищеской бесѣды и изящно сервированнаго завтрака, а въ то же время не упустилъ бы и поскорбѣть. Между прочимъ вздохнулъ бы о славянахъ, между прочимъ выпилъ бы за здоровье королевы Наталіи, между прочимъ вынулъ бы изъ кармана три цѣлковыхъ и съ удовольствіемъ увидѣлъ бы, что они отосланы... въ „дамскій кружокъ". Но мысль, что Глумовъ все это провидѣлъ заранѣе и даже снабдилъ не совсѣмъ лестными комментаріями, заставляла меня ощущать нѣкоторую неловкость. Въ самомъ дѣлѣ, эти три цѣлковыхъ... Неужели, думалось мнѣ, русская культура не выработала изъ себя никакого жизненнаго факта, кромѣ безшабашнаго гвалта, на днѣ котораго лежатъ три цѣлковыхъ,—никакого жизненнаго требованія, кромѣ дикой потребности пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобъ кому-то зажать ротъ, перервать горло, согнуть въ бараній рогъ?

Я гналъ эту мысль отъ себя, потому что она положительно мнѣ мѣшала. Я говорилъ себѣ: если даже все это и правда, то для чего мнѣ эта правда, ежели я не могу измѣнить въ ней ни одной іоты? Мы такъ безпомощны, такъ безнадежны, что сознаніе правды не впередъ насъ толкаетъ, а заставляетъ только опускать руки. Покуда мы безшабашны, хоть наши цѣлковые играютъ какую-то роль, а отнимите у насъ это качество—что останется? Останется безцѣльное шатаніе по бѣлу свѣту, останется скука, апатія и блудливыя погони за какимъ-то несознаннымъ дѣломъ, которое, дразня насъ въ перспективѣ,—на практикѣ самымъ обиднымъ образомъ оставляетъ на бобахъ.

Да, наконецъ, и самъ Глумовъ — лучше ли онъ другихъ? Надѣвать на себя маску ментора, подсмѣиваться надъ безшабашностью русской культуры, указывать на три цѣлковыхъ, какъ на единствен-

ный ясный результатъ обще-культурнаго возбужденія, и въ то же время самому по уши погрязать въ той же безшабашности и, хихикая исподтишка, вынимать такіе же три цѣлковыхъ для отправленія въ „дамскій кружокъ“—развѣ это тоже не своего рода русско-культурная черта? О, Глумовъ, съ какимъ презрѣніемъ ты говорилъ давеча: „жри, а не хочешь жрать—пей!“ и съ какимъ наслажденіемъ ты выполнилъ эту программу, вслѣдъ затѣмъ, на практикѣ. Да, и ты — не больше, какъ продуктъ той же культуры! и даже не простой, а сугубый продуктъ! И ты—рабъ съ головы до ногъ, рабъ, выполняющій свое рабское дѣло съ безупречною исправностью и, въ то же время, старающійся, съ помощью цѣлой системы показываемыхъ въ карманѣ кукишей, обратить свое рабство въ шутку!

Мнѣ большого труда стоило, чтобъ воздержаться и не бросить этихъ соображеній въ лицо Глумову. Однако я понялъ, что всякій дальнѣйшій разговоръ на тему о современномъ общественномъ возбужденіи былъ бы празднымъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. Тутъ чувствовалась какая-то путаница, въ которой въ одно и то же время сквозила и насмѣшка надъ тремя цѣлковыми, и косвенное поощреніе нести ихъ въ общую массу. Въ чемъ же, однакожъ, тутъ дѣло? Ежели только въ томъ, чтобъ, вынимая свою зелененькую, не кричать, не галдѣть, а сохранять чувство собственнаго достоинства, такъ вѣдь это—задача далеко не лестная, да и не легкая, господа! Помилуйте! я—живой человѣкъ, я хочу, я чувствую потребность шумѣть и кричать! Я столько времени молчалъ и столько горькаго, почти свирѣпаго накопилось внутри меня за время этой молчанки, что я съ жадностью цѣпляюсь за первый попавшійся поводъ, чтобъ облегчить свою грудь. И ежели у меня нѣтъ личнаго дѣла, по случаю котораго я могъ бы свободно повѣдать міру о своей живучести, то я хватаюсь за дѣло чужое, чтобъ хоть на время, хотя въ своихъ собственныхъ глазахъ, востановить свое право на жизненную отзывчивость!

— Куда же мы ѣдемъ? — обратился я, наконецъ, къ Глумову.

— А кто жъ его знаетъ? Куда-нибудь! Не заѣхать ли, напримѣръ, къ Поликсенѣ Ивановнѣ? тамъ бы кстати и отобѣдали! Извозчикъ! въ Разъѣзжую!

Поликсена Ивановна — очень добрая и милая особа, у которой я бываю довольно часто. Мужъ ея, Павелъ Ермолаичъ Положиловъ,

нашъ общій товарищъ по школѣ, считался въ молодости передовымъ и крайнимъ, и въ свое время даже потерпѣлъ за свои мнѣнія. Потерпѣлъ онъ не особенно много, но испугался настолько, что и донынѣ вздрагиваетъ и оглядывается, когда въ его присутствіи произносится какая-нибудь рѣзкость. Съ тѣхъ поръ онъ женился и повелъ жизнь совершенно уединенную, какъ будто на совѣсть его легло нѣчто такое, что̀ мѣшаетъ открытому общенію съ людьми. Въ настоящее время онъ занимаетъ довольно солидное мѣсто въ одномъ изъ министерствъ и души не чаетъ въ Поликсенѣ Ивановнѣ, которая, съ своей стороны, инстинктомъ преданнаго женскаго сердца поняла, что Павлу Ермолаичу ничего не требуется, кромѣ покоя, и сообразно съ этимъ устроила для него домашнюю обстановку. Обстановка эта — строго старозавѣтная. Утромъ Павелъ Ермолаичъ уѣзжаетъ въ департаментъ, а Поликсена Ивановна сидитъ дома и заботится, чтобъ Павлу Ермолаичу, по возвращеніи изъ департамента, было хорошо. По вечерамъ оба сидятъ дома, любуются на дѣтей, *въ гости* совсѣмъ не выѣзжаютъ, но всегда очень рады, когда кто-нибудь изъ ограниченнаго числа друзей посѣтитъ ихъ. Даже квартира у нихъ старозавѣтная: въ каменномъ домѣ съ толстѣйшими стѣнами, безъ швейцара, съ крашеными полами вмѣсто паркета. Кромѣ казеннаго жалованья, составляющаго фундаментъ, на которомъ зиждется благосостояніе семьи (у Положиловыхъ шесть человѣкъ дѣтей), у Павла Ермолаича есть еще усадьбица въ Лугскомъ уѣздѣ. Туда семья укрывается на лѣто и оттуда получаетъ на зиму запасы, въ видѣ живности, отварныхъ рыжиковъ и всевозможныхъ сортовъ вареній. Эта скромная деревенская субсидія помогаетъ Положиловымъ жить настолько гостепріимно, что за столомъ ихъ никогда не бываетъ недостатка въ лишнемъ кускѣ для пріятеля. Вообще, несмотря на явный диссонансъ съ общимъ тономъ петербургской жизни, домъ Положиловыхъ былъ бы очень пріятенъ, если бы въ немъ на каждомъ шагу (особливо въ присутствіи Павла Ермолаича) не чувствовалась боязнь сказать лишнее слово, которое должно объ чемъ-то напомнить и нѣчто разбередить. На этомъ основаніи никакихъ „рѣзкостей“ на дружескихъ собесѣдованіяхъ не допускается, а ежели таковыя и прорываются случайно, то Поликсена Ивановна съ изумительнымъ мастерствомъ умѣетъ ихъ сглаживать и заминать. Разговоры ведутся чинно, смирно, держась по преимуществу около фактовъ, допуская „справедливую критику“

ихъ, но не вдаваясь ни въ утопіи, ни въ радикализмъ. Тѣмъ не менѣе уже и то одно производитъ хорошее впечатлѣніе, что никто въ этомъ домѣ не грозитъ очами воображаемымъ внутреннимъ врагамъ, не предается дешевому глумленію „надъ стриженными дѣвками“ и не кричитъ, что авторитеты попраны и собственность потрясена.

— А въ газетахъ-то что... ужасти! — были первыя слова Поликсены Ивановны послѣ краткаго взаимнаго привѣтствія.

— Вотъ и онъ тоже... тревожится! — съ легкой иронією цыкнулъ Глумовъ, указывая на меня.

— Да какъ же не тревожиться! Вѣдь читаешь — даже кровь холодѣетъ! Павелъ Ермолаичъ чуть давеча боленъ не сдѣлался — такъ это его разстроило!

— Пользы мало отъ этихъ тревогъ, Поликсена Ивановна!

— Какая польза — вѣдь это природное! Польза пользой, а и чувство тоже дѣвать некуда. Для пользы Павелъ Ермолаичъ два процента изъ жалованья жертвуетъ, а кромѣ того и чувствуетъ. Неужто же, по вашему, не такъ выходитъ?

— Не знаю, Поликсена Ивановна. Все такъ спуталось, что иногда даже самому себѣ отчетъ хочешь дать — и ничего не выходитъ. Чувствуешь, что нужно бы слово какое-то сказать, пробуешь его вымолвить — и не вымолвишь!

— А по моему, такъ совсѣмъ ничего не спуталось. Помогать надо—вотъ и все. Глядя на прочихъ, и мы у себя кружку завели, не оффиціально, а такъ... Можетъ быть, кто изъ знакомыхъ и пожелаетъ... по силѣ возможности...

Это было косвенное приглашеніе къ пожертвованію, на которое мы и поспѣшили, конечно, отвѣтить.

— Вотъ видите, — продолжала Поликсена Ивановна: — вы положили, другой, третій положитъ—смотришь, а въ результатѣ и помощь будетъ. Что же тутъ такого... спутаннаго?

— Въ этомъ-то, разумѣется, ничего спутаннаго нѣтъ. А Павелъ Ермолаичъ гдѣ? по обыкновенію, въ департаментѣ!

— Да, уѣхалъ. Генералъ ихній изъ-за границы воротился, такъ представиться поѣхалъ. Да вы не отлынивайте! скажите: въ чемъ, по вашему, путаница?

— Да начать хоть съ того, что никто не знаетъ, изъ-за чего онъ хлопочетъ.

— Ахъ, Боже мой! да просто изъ-за того, чтобъ помочь!

— То-есть, сотворить милостыню? а дальше что?

— И дальше—то же. Неужто это худо?

— Что худого! Вотъ я давеча утромъ къ нему пришелъ—тоже чуть не въ слезахъ засталъ... И съ перваго же слова посовѣтовалъ: вынимай, говорю, три цѣлковыхъ, посылай въ дамскій кружокъ — всѣ болѣсти какъ рукою сниметъ!

Поликсена Ивановна недоумѣло взглянула на своего собесѣдника. Не любила она Глумовскихъ подтруниваній, боялась, какъ бы они не напомнили чего Павлу Ермолаичу, не „разстроили“ его.

— Не понимаю я что-то,—сказала она нѣсколько сухо:—да и вообще... не понимаю! Вотъ Павелъ Ермолаичъ—тотъ иногда любитъ эти иносказанія, особливо когда ему по службѣ свободно... А по мнѣ...

— А по вашему, такъ Глумовъ хоть бы и совсѣмъ уволилъ вашъ домъ отъ посѣщеній? такъ, что-ли?

— Нѣтъ, не то... какой вы, однакожъ, занозистый! всякое слово ребромъ ставите... Не понимаю я, именно не понимаю! Ни то вы смѣетесь, ни то правду хотите сказать!

— Это у него манера такая выработалась.. эзоповская,—отозвался я: — онъ статейки инкогнито въ журналахъ тискаетъ, такъ все цензуру объѣхать хочетъ!

— Да, такъ вотъ какъ! А ну-те-ка серьезно: скажите-ка, что же дѣлать-то намъ?

— То самое и дѣлайте, что дѣлаете. Вотъ Павелъ Ермолаичъ два процента изъ жалованья жертвуетъ; вы — кружку завели, въ которую тоже, поди, процентикъ-другой изъ столовыхъ денегъ откладываете. Отлично. Вѣдь и я, съ часъ тому назадъ, вмѣстѣ съ прочими, своихъ кровныхъ двѣ зеленькихъ на блюдце положилъ. Тоже отъ другихъ не отстанемъ.

— Нѣтъ, это—не то. Не то вы говорите, что думаете. Вотъ и Павелъ Ермолаичъ, когда я ему о своемъ намѣреніи завести кружку открылась: „ничего, говоритъ, займись! я самъ два процента изъ жалованья жертвовать буду!“ И такъ-то ласково да мило, по наружности, сказалъ, а какъ вдумаешься, такъ настоящая-то у него мысль такая: забавляйся, молъ, коли это тебѣ удовольствіе можетъ доставить!

— У Павла Ермолаича съ Глумовымъ насчетъ этого „идеи“ особенныя есть,—попытался я уязвить.

— А ты думаешь, что такъ, безъ идей — съ одними художественными инстинктами лучше?—огрызнулся на меня Глумовъ.

— Нѣтъ, я не насчетъ идей, —вступилась Поликсена Ивановна: —идеи—что же! Это даже хорошо! Рѣзкостей допускать не надо —это вотъ дѣйствительно... Но опять и то сказать: не всякій ихъ понимаетъ... идеи-то эти, а помочь между тѣмъ хочется. Сколько на свѣтѣ маленькихъ людей есть, у которыхъ просто, безъ идей, сердце болитъ—такъ неужто жъ вся ихъ роль въ томъ только и состоять должна, чтобъ сложа руки сидѣть или фыркать?

Поликсена Ивановна умилилась. Въ ней, дѣйствительно, было это естественное предрасположеніе къ сердечной боли, о которой она сейчасъ упомянула и которая въ нѣкоторыхъ личностяхъ является чертой настолько характеристичною, что составляетъ содержаніе всего ихъ существованія. Объяснять причины, обусловливающія эту боль, стараться отыскивать, сколько въ ней есть сознательности или безсознательности—было бы совершенно напрасно. Довольно и того, что она существуетъ вполнѣ ясно и несомнѣнно, и что, исходя изъ нея одной и ею одной сильный, человѣкъ, сознательно или безсознательно, находитъ въ себѣ энергію практически отзываться на всѣ жизненныя явленія, въ незримой глубинѣ которыхъ лежитъ недугъ или немощь. Очень часто эта своеобразная сила достигаетъ далеко не тѣхъ результатовъ, которые были въ ея намѣреніяхъ, а еще чаще растрачивается совсѣмъ задаромъ, но во всякомъ случаѣ она — потому уже благо, что въ виду ея обыкновенное культурное фырканье представляется чѣмъ-то мизернымъ, почти непозволительнымъ.

— А вѣдь, по вашему, это почти-что такъ выходитъ, — кончила Поликсена Ивановна, обращаясь къ Глумову.

— Нѣтъ, не такъ.

— А то какъ же! Смѣетесь вы надъ простотой, явное дѣло, смѣетесь!

— Смѣхъ, это—форма, а въ сущности, я вникнуть прошу. Хорошо и благородно—болѣть сердцемъ, какъ вы болѣете, да вѣдь и способность разсуждать не Богъ знаетъ какъ провинилась, чтобъ ее въ ссылку ссылать. Не станете же вы, подобно вашему духовнику, отцу Арсенію, утверждать: чувство—первѣе всего, а умъ, яко слуга, и на запяткахъ постоять можетъ!

— Это вы насчетъ „идей", что-ли? зачѣмъ ихъ въ ссылку ссы-

лать—Божьи вѣдь и онѣ! Только не ко двору онѣ у насъ — это я вѣрное слово вамъ говорю. Не бодрость онѣ придаютъ, а еще пуще въ унынiе вводятъ. Примѣръ-то у меня на глазахъ: нѣтъ-нѣтъ да и заскучаетъ мой Павелъ Ермолаичъ. Нелюбо съ идеями-то въ департаментъ ходить, а приходится.

— Приходится—вотъ это такъ, это правильно вы сказали. Я и самъ нынѣче этой вѣры сталъ, хоть все еще отъ старой привычки отдѣлаться не могу. Не отъ практики старой, которой у насъ не бывало, а отъ лучей-то этихъ, которые смолоду, еще со школьной скамьи, Богъ вѣсть откуда заползли въ голову. Хоть и не такъ ужъ слѣпятъ эти лучи, какъ въ былые годы, а все-таки нѣтъ-нѣтъ, да и приведутъ въ изумленiе. Идешь иногда, даже ходко идешь, въ то самое мѣсто, „куда приходится“, и вдругъ словно скоситъ тебя. По какому, молъ, человѣче, случаю ты въ путь-дорогу собрался? съ чѣмъ собрался? Скажите, что я отвѣтить на эти вопросы могу?

— Собрался—потому что сердечное влеченiе есть; съ чѣмъ собрался?—съ чѣмъ Богъ послалъ!

— Поэзiя это, Поликсена Ивановна! А вы мнѣ лучше вотъ что скажите: почему у насъ всякое бѣдствiе словно шабашъ какой-то въ россiйскихъ сердцахъ производитъ? Вся мразь, все отпѣтое вдругъ оживаетъ и, пользуясь симъ случаемъ, принимается старые счеты сводить. Объ здравомъ смыслѣ, о свободѣ сужденiя—нѣтъ и въ поминѣ. На всѣхъ языкахъ—угроза, во всѣхъ взглядахъ—намѣреніе горло перекусить. Вонъ, давеча, поручикъ Живновскiй встрѣтился, такъ и тотъ, чего ужъ отпѣтѣе: „писат-тель! кричитъ, либерра-алъ!“ Булгаринъ изъ гроба всталъ: „на потомковъ, говоритъ, полюбоваться пришелъ!“ Какъ вы полагаете: не позорно при этомъ „воскресенiи мертвыхъ“ присутствовать?

— Да не преувеличиваете ли вы?

— Не только не преувеличиваю, а говорю прямо: всякое бѣдствiе застаетъ наши лучшiя силы врасплохъ и дѣлается поводомъ для возбужденiя какихъ-то непонятныхъ старыхъ счетовъ. И что всего ужаснѣе: люди вполнѣ хорошiе до того теряются при этомъ, что сами себя головой выдать готовы. Иной прямо говоритъ: виноваты! другой —подлѣйшимъ образомъ вторитъ въ топъ господамъ ташкентцамъ, или хоронится. Вотъ вы, и ничего не видя (сидите вы въ Разъѣзжей, за семью замками, и видѣть-то ничего вамъ нельзя), сердцемъ болѣете

а кабы вы настоящую-то вакханалію видѣли,—такъ ли бы у васъ оно заболѣло! Да-съ, не вымерли еще господа ташкентцы и долго не вымрутъ! Если мнѣ не вѣрите—у Павла Ермолаича спросите: онъ подтвердитъ!

Поликсена Ивановна ничего не сказала на это. При ссылкѣ на Павла Ермолаича она какъ-то съёжилась и даже слегка поблѣднѣла. Вѣроятно не въ первый разъ ей приходилось эти рѣчи выслушивать: не даромъ же она упомянула, что нѣлюбо съ „идеями“ въ департаментъ ходить. Какъ ни скроменъ Павелъ Ермолаичъ, а невозможно, чтобъ онъ не проговорился.

— Вотъ вы давеча сказали: рѣзкостей допускать не надо, — продолжалъ Глумовъ, не унимаясь:—а вѣдь въ переводѣ на обыкновенный языкъ это значитъ: держи языкъ за зубами! На что же, помилуйте! За что я долженъ вѣчно смотрѣть на себя, какъ на...

— Ахъ, оставьте это... не говорите!—не выдержала, наконецъ, Поликсена Ивановна.

На этомъ разговоръ оборвался. Очень вѣроятно, намъ пришлось бы безвременно покинуть мирный пріютъ въ Разъѣзжей улицѣ, если бы въ эту минуту не раздался звонокъ, возвѣщавшій появленіе хозяина.

— Это — Павла Ермолаича звонокъ! — шепнула Поликсена Ивановна: — пожалуйста! прошу васъ! не возобновляйте этого разговора при немъ!

Вопреки обыкновенію, Павелъ Ермолаичъ предсталъ передъ нами ясный и лучезарный. Лицо его, выбритое до зеркальности, сіяло удовольствіемъ; глаза блестѣли; даже въ ямочкѣ, украшавшей его бороду, замѣчалась радостная игра.

— Сегодня у насъ, по случаю пріема, засѣданіе кончилось раньше обыкновеннаго,—сказалъ онъ, цѣлуя Поликсену Ивановну и затѣмъ подавая намъ руки.

— Ну, что, принялъ?—спросила Поликсена Ивановна, которая, видя сіяніе на лицѣ мужа, тоже возсіяла.

— Принялъ.

— Здоровъ?

— Совершенно.

— Разспрашивалъ?

— И разспрашивалъ.

— Ахъ, какой ты! ты сядь, разскажи, какъ и что... по порядку.

— Ну, вотъ, собрались мы, ждемъ... Такъ я стою, такъ Петръ Иванычъ, а такъ Николай Павлычъ...—началъ Павелъ Ермолаичъ свое повѣствованіе, но начало это, видимо, не удовлетворило Поликсену Ивановну.

— Ты все шутишь, — сказала она: — а вѣдь мнѣ интересно! Впрочемъ, я ужъ и тѣмъ довольна, что ты-то веселъ!

— Чего „шутишь“! Знаю я, что тебѣ хочется! хочется, чтобъ я сказалъ, что генералъ меня поцѣловалъ—такъ не могу солгать: не поцѣловалъ! Вотъ Николай Павловичъ—тотъ, послѣ общаго представленія, особенно въ кабинетъ ходилъ и весь оттуда въ слезахъ вышелъ: „поцѣловалъ“, говоритъ! А курьеръ сказываетъ: „нахлобучку задалъ!“

Черезъ полчаса мы сидѣли за обѣдомъ. Поликсена Ивановна, окруженная всѣхъ возрастовъ малолѣтками, — на одномъ концѣ, мы по обѣ стороны хозяина — на другомъ. Павелъ Ермолаичъ сначала новости изъ служебной сферы разсказывалъ; но такъ какъ и онѣ въ настоящую минуту вертѣлись по преимуществу около славянскаго движенія, то весьма естественно, что послѣднее не замедлило сдѣлаться главной темой разговора.

— И у насъ что-то затѣвается,—сказалъ Положиловъ.

— А что?

— Есть что-то. Сегодня на пріемѣ его превосходительство... не то чтобъ прямо, а стороной... Сначала объ дѣлахъ говорилъ, а въ заключеніе и далъ понять, что русское воинство всегда было побѣдоносно, а потому и впредь ожидать слѣдуетъ...

— И мнѣ тоже сдается, — отозвался Глумовъ:—вчера ко мнѣ совсѣмъ неожиданно съ „нашей стороны“ Иванъ Парамонычъ пожаловалъ—купецъ такой есть, сапожнымъ товаромъ торгуетъ — навѣдаться, значитъ, въ Петербургъ пріѣхалъ. А это — вѣрный признакъ, потому что у этихъ шакаловъ насчетъ „кровопролитіевъ“ особенное чутье есть. Разузнавать я отъ него ничего не разузнавалъ, а стороной, грѣшный человѣкъ, поддразнилъ:—а что говорю, Иванъ Парамонычъ, кабы тебѣ поставку сапоговъ для арміи и флотовъ предоставили, угобзилъ бы ты, чай, солдатиковъ?—Такъ у него даже нутро все заколыхалось въ отвѣтъ: „вотъ какъ передъ Истиннымъ!“ говоритъ.

— Да, теперь ихній чередъ наступилъ! только вотъ что не-

ладно: покуда эти Парамонычи, вкупѣ съ Шмулями да съ Лейбами, арміи и флоты угобжаютъ, а ты сиди да смотри на нихъ!

— Что такъ? развѣ строгія времена пришли?

— Да не безъ того... Не всяко касаться можно, особливо ежели въ связи съ...

Положиловъ случайно взглянулъ на Поликсену Ивановну и прочиталъ въ ея глазахъ неодобреніе.

— А впрочемъ, не наше это дѣло,—сказалъ онъ:—Поликсена Ивановна это лучше знаетъ—вонъ какъ грозно на меня посмотрѣла.

— Совсѣмъ не грозно! говори, коли хочешь! А вообще я... Сверху виднѣе, мой другъ! а мы—что мы можемъ въ такихъ дѣлахъ видѣть?

— Разумѣется, разумѣется! съ насъ и нашихъ личныхъ, маленькихъ дѣлъ довольно! Вотъ, напримѣръ, солонину мы ѣдимъ—это я могу... Ишь она, солонина какая—масло!

— Да, братъ, это... со-лло-ни-на! — восторженно отозвался Глумовъ.—А онъ вотъ обижается, что за границей, за табльд'отами, нѣмцы болтаютъ: васъ, молъ, казаковъ, за Волгу надо, въ Саратовъ! А по мнѣ—такъ и въ Саратовѣ солонина отъ насъ не уйдетъ!

— А насчетъ икры такъ даже лучше!

— Ахъ, господа, господа!—укоризненно промолвила Поликсена Ивановна, покачивая головой.

— Ну, баста! Не наше дѣло. А для того, чтобъ ужъ совсѣмъ все въ порядкѣ было, чтобъ даже разговаривать некогда было—знаете, господа, что мы сдѣлаемъ! Засядемте-ка послѣ обѣда въ сибирку съ болваномъ!

— И отлично!

— Я нынче все въ сибирку упражняюсь. Ни для ума, ни для сердца — ничего! А между тѣмъ алчность является — смотришь, время-то и безъ внутреннихъ вопросовъ летитъ!

Такъ мы и сдѣлали. Съ шести часовъ до одиннадцати проиграли въ сибирку, причемъ Положиловъ обоихъ насъ обыгралъ на три рубля (и неудивительно, потому что подлѣ него, для счастья, съ лѣвой стороны сидѣла Поликсена Ивановна), и сейчасъ же положилъ въ копилку „въ пользу страждущихъ братьевъ“. Затѣмъ подали закусить опять ту же солонину, но уже холодную, причемъ Положиловъ совершенно основательно замѣтилъ, что этотъ кусокъ—отъ огузка, а по-

тому въ холодномъ видѣ много теряетъ, а вотъ край или филей, такъ тотъ въ холодномъ видѣ, пожалуй, даже лучше, нежели въ горячемъ. Поликсена же Ивановна, съ своей стороны, присовокупила, что когда она съ маменькой въ Вяткѣ жила (отецъ ея на службѣ тамъ былъ), такъ тамъ учили въ кадочку солонины языковъ говяжьихъ съ пятокъ припустить—вотъ это такъ солонина бываетъ!

Въ первомъ часу ночи мы вышли отъ Положиловыхъ. Дорогой я началъ припоминать проведенный день, и—клянусь—мнѣ сдѣлалось стыдно.

— Какъ странно, однакожъ, мы проводимъ наши дни!—сказалъ я, обращаясь къ Глумову.

— Что же тутъ страннаго?

— Помилуй! утро въ кабакѣ провели, вечеръ — въ сибирку играли, объ солонинѣ разговаривали... вѣдь это, наконецъ, неприлично!

— А по моему, такъ мы именно самымъ приличнымъ образомъ, по-русски время провели. Наѣлись, напились, наигрались — чего больше! А теперь вотъ придемъ домой, ляжемъ спать и скажемъ себѣ: день прошелъ—и слава Богу!

II.—На досугѣ.

I.

Наконецъ тучи скопились. Въ обычное теченіе жизни врывается несомнѣнно чуждый элементъ, который замѣтнымъ образомъ спутываетъ и замедляетъ его; вся дѣятельность ума и чувства стягивается исключительно къ одному предмету, къ которому съ судорожнымъ напряженіемъ устремлены помыслы всѣхъ. Тоскливо до боли. Чувствуется, что эти тревожныя минуты не пройдутъ даромъ, что онѣ и на дальнѣйшее существованіе человѣка положатъ неизгладимыя отмѣтки. Нѣтъ личныхъ утратъ, нѣтъ личныхъ опасеній, ничего такого, что заставляло бы страшиться лично за себя, но есть суевѣрное предчувствіе какой-то громадной угрозы, которую даже не можешь назвать по имени. Точно стоишь передъ необъятною ставкой, и эта ставка вотъ-вотъ унесетъ все дорогое, все любезное сердцу—все!

И въ то же время слышишь, какъ кругомъ раздаются возгласы, ликованія. Ликуютъ посѣтители ресторановъ и трактировъ, ликуютъ гранители мостовыхъ, ликуютъ досужія русскія барыни. Газетчики, наперерывъ другъ передъ другомъ, стараются показать, до какихъ геркулесовыхъ столбовъ можетъ дойти всероссійское долгоязычіе. Одни ликуютъ съ умысломъ, другіе—сами не понимая, что̀ заставляетъ ихъ ликовать. Такъ принято—вотъ и все. Гулящій человѣкъ убѣжденъ, что онъ выкажетъ отсутствіе патріотизма, ежели не воспользуется случаемъ, чтобъ дать волю долгоязычію.

Я не принадлежу къ породѣ людей ликующихъ, но понимаю, что въ ликованіи толпы заключается своего рода обаяніе. Когда передо мною мечется и плещетъ руками толпа, я знаю, что она находится подъ тяготѣніемъ могущественнаго инстинкта, который дастъ ей силу нѣчто совершить. Очень возможно, что это—инстинктъ неясный и даже невѣрный, но онъ можетъ заключать въ себѣ зерно самоотверженности, можетъ развиться въ подвигъ, и этого одного достаточно, чтобъ не относиться къ нему легко. Толпа имѣетъ право даже заблуждаться въ своихъ увлеченіяхъ, потому что она же несетъ на своихъ плечахъ и всѣ послѣдствія этихъ увлеченій.

Совсѣмъ другое дѣло—ликованіе культурное. Въ культурныхъ сферахъ источникомъ побуждающей силы предполагаются уже не инстинкты, не смутныя чаянія, а ясное сознаніе цѣли и средствъ къ ея достиженію. Это въ значительной степени осложняетъ поводы для ликованія и, во всякомъ случаѣ, отнимаетъ у послѣдняго тотъ характеръ искренности и непосредственности, который въ сущности и составляетъ всю цѣнность его. Сверхъ того есть и еще причина для воздержанія: культурный слой стоитъ въ сторонѣ отъ русла народной жизни и, слѣдовательно, лишь въ слабой степени чувствуетъ на себѣ отраженіе ея трудностей и невзгодъ. Чтобъ получить право ликовать въ виду предстоящаго подвига, необходимо сознавать себя матеріально привлеченнымъ къ его выполненію и матеріально же обязаннымъ нести на себѣ всѣ его послѣдствія. А это для большинства культурныхъ людей почти недоступно.

Поэтому, когда посѣтители ресторановъ, гранители мостовыхъ, газетчики и проч. начинаютъ ликовать, то невольно возникаетъ вопросъ: справедливо ли поступаютъ эти люди, принимая дѣятельное участіе въ легчайшей части подвига, то-есть въ ликованіи по его по-

воду и не сознавая себя въ то же время матеріально отвѣтственными за его послѣдствія? Не знаю, ошибаюсь ли я, но думаю, что самаго слабаго проблеска совѣсти достаточно, чтобъ отвѣтить на этотъ вопросъ отрицательно.

Что касается до меня лично, то я знаю одно: я не имѣю той непосредственности и свѣжести чувства, которыя давали бы мнѣ поводъ возбуждаться неясными чаяніями, волнующими толпу, но въ то же время нѣтъ у меня и той развязности, которая дозволяла бы сказать: да, я ликую, потому что заранѣе могу опредѣлить ходъ и результатъ событій. Поэтому, въ такія историческія минуты, когда затрогиваются самыя дорогія и самыя существенныя струны народной жизни, я считаю воздержанность болѣе нежели когда-либо для себя обязательною. Болѣе нежели когда-либо я сознаю въ себѣ присутствіе той совѣстливости, которая подсказываетъ, что въ данномъ случаѣ мои подстрекательства или сдерживанія не только не необходимы, но и не совсѣмъ умѣстны, и что вотъ эта самая ликующая толпа имѣетъ полное право остановить мою назойливость словами: сиди въ своемъ углу и втихомолку радуйся или скорби въ виду имѣющихъ развиваться событій.

Я не одинъ въ своемъ родѣ. Прошлое завѣщало довольно большое количество людей, которыхъ единственное занятіе (а быть можетъ и единственная заслуга) заключается въ томъ, что они сторонятся отъ дѣятельнаго участія въ жизни. Занятіе непроизводительное и даже, можно сказать, тунеядное, но вѣдь надо же, наконецъ, понять, что мы —дѣти того времени, когда прикасаться къ жизни можно было лишь при посредствѣ самыхъ непривлекательныхъ, почти отвратительныхъ ея сторонъ, и что вслѣдствіе этого устраненіе отъ жизненныхъ торжествъ (опять-таки повторяю: *въ то время*) составляло своего рода заслугу...

Я помню очень многое, и между прочимъ 1853 — 1855 годы. Помню ликующихъ жуликовъ, помню людей, одолѣваемыхъ простымъ долгоязычіемъ, и людей, пользовавшихся долгоязычіемъ, какъ подходящимъ средствомъ, чтобъ запускать руку въ карманъ ближняго или казны. Мало того: я помню, что этихъ людей называли тогда благонамѣренными, несмотря на то, что ихъ лганье было шито бѣлыми нитками. И что всего ужаснѣе: не только не представлялось возможности обличить ихъ, но даже устраниться, уйти отъ нихъ было нельзя. Надо было выслушивать ихъ, соглашаться, вторить имъ, лгать...

Съ тѣхъ поръ, правда, многое измѣнилось, и измѣнилось, конечно,

къ лучшему. Признаніе относительной свободы мнѣній настолько умалило страхъ, внушаемый подыскивающимся долгоязычіемъ, что человѣкъ, высказывающій, въ учтивой и богобоязненной формѣ, свое сужденіе о тѣхъ или другихъ явленіяхъ современности, уже можетъ, до извѣстной степени, считать себя отъ слѣдствія и суда свободнымъ. Вслѣдствіе этого у многихъ даже блеснула мысль, будто Булгаринъ, Шешковскій и проч. исчезли, не оставивъ потомства... И вотъ одного серьезнаго момента достаточно, чтобъ ветхій культурный человѣкъ всплылъ на поверхность во всеоружіи. Да! онъ все тотъ же! съ одной стороны—долгоязычный, наянливо примазывающійся къ чужому ликованію, съ другой—робкій и устраняющійся. Я знаю, что оба эти отношенія къ вещамъ современности одинаково неестественны, но такъ какъ первое изъ нихъ, сверхъ того, отмѣчено явною печатью нахальства, то понятно, что люди, успѣвшіе сохранить нѣкоторую стыдливость — а я имѣю слабость считать себя въ числѣ этихъ людей — предпочитаютъ держать себя въ сторонѣ.

Независимо отъ этого, есть у меня и еще одинъ очень вѣскій доводъ въ пользу воздержанія: я съ дѣтскихъ лѣтъ воспитывался въ системѣ строжайшаго нейтралитета и вдобавокъ совершенно невооруженнаго. Весь кодексъ дѣятельной поры моей жизни исчерпывался словами: ни порицанія, ни похвалы, такъ какъ въ то время и то и другое одинаково разсматривалось какъ позывъ къ непрошенному вмѣшательству. Жить съ такимъ кодексомъ въ рукахъ было чрезвычайно легко и, коли хотите, даже пріятно, но все-таки нельзя сказать, чтобъ такое житье представлялось хорошей школой для общественной или иной дѣятельности. Между тѣмъ годы шли; жизнь мало-по-малу измѣнялась и пополнялась, и наконецъ двери въ область ликованія отворились настежъ... Но увы!—я уже оробѣлъ! Ярмо старой дисциплины настолько придавило меня, что хоть я и понимаю, что отнынѣ ликовать никому не воспрещается, но все-таки не могу отдѣлаться отъ преслѣдующей меня мысли: а что если мое ликованіе вдругъ возъимѣетъ видъ вмѣшательства?

Да и дѣйствительно вѣдь это—вмѣшательство. Даже безпутное газетное ликованіе—и то имѣетъ побудительный характеръ.

Каждое утро, покуда я сижу за чаемъ, въ ушахъ моихъ раздается одинъ и тотъ же неизмѣнный вопль: а ну-те, голубчики! еще немножко, и Константинополь—нашъ! На что похоже! Во-первыхъ,

быть можетъ, это не въ намѣреніяхъ мудрой политики, а во-вторыхъ, ежели вамъ непремѣнно нужно, чтобъ Константинополь былъ нашъ— идите и берите его! Что же касается до меня, то я рѣшительно никого понуждать не берусь! Помилуйте! я пью чай и кофе, не торопясь обѣдаю, завтракаю, сплю на мягкой постели, занимаюсь своими будничными дѣлами, пишу статейки по стольку-то копѣекъ за строчку, словомъ, живу себѣ помаленьку, какъ всегда жилъ — къ лицу ли, при такомъ-то житьѣ, понуждать людей, которые и безъ того глядятъ въ лицо смерти? Нѣтъ, лучше я вспомню старую дисциплину и останусь въ своемъ углу. Съ меня достаточно и того, что я вѣрю въ силу и жизненность русскаго народа и вѣрю въ испытанную самоотверженность русскаго солдата. Зачѣмъ я буду кричать: молодцы! не выдавай!—когда и безъ моихъ подстрекательствъ все исполнено сознанія своего долга? Какое значеніе можетъ имѣть моя безотвѣтственная, хотя бы и восторженная болтовня, въ виду трудностей предстоящаго подвига? Подумайте: вѣдь это наконецъ — назойливость, которая не только претитъ нравственно, но и матеріально мѣшаетъ, разбивая на мелочи силу въ тотъ самый моментъ, когда она требуетъ наибольшей сосредоточенности. Вѣдь это назойливость, отъ которой каждый изъ этихъ людей, такъ серьезно и просто смотрящихъ въ лицо подвигу, имѣетъ полное и законное основаніе отмахнуться, какъ отъ чего-то не только безполезнаго, но и совсѣмъ несноснаго...

Вотъ причины, по которымъ я держусь въ сторонѣ и удерживаюсь отъ всякихъ неумѣстныхъ заявленій. Смутная тревога до того овладѣла моимъ существомъ, что ни мысль, ни чувство не могутъ отыскать для себя вполнѣ яснаго выраженія. Кажется, будто завѣса упала, и вся природа наполнилась стономъ и хаосомъ. Я боюсь радоваться успѣху, потому что въ самомъ успѣхѣ представляется столько выстраданнаго и притомъ невѣрнаго, невыясненнаго, что въ невольномъ страхѣ закрываешь глаза, чтобъ отогнать отъ себя выдвигающуюся на заднемъ планѣ картину, которую торжествующая смерть сверху до низу наполнила безконечною свитою жертвъ. Я боюсь отчаиваться и роптать, потому что самый неуспѣхъ сопровождается здѣсь такимъ очевиднымъ искупленіемъ, передъ которымъ должны умолкнуть и праздный ропотъ, и безплодное отчаяніе.

Все праздно, все безплодно! Одна безконечная сердечная боль заявляетъ себя настолько живуче, что лишь благодаря ей чувствуешь

себя живымъ свидѣтелемъ чего-то неимѣющаго опредѣленныхъ очертаній, но полнаго загадочныхъ угрозъ...

Прошло лѣто, проведенное мною на благословенныхъ берегахъ Карповки, среди дождей, вѣтровъ и другихъ буйствъ природы. Въ концѣ августа я не вытерпѣлъ и перекочевалъ въ городъ. Какъ человѣкъ совершенно досужій, то-есть не обязанный службой, я, разумѣется, бросился разузнавать, кто изъ знакомыхъ воротился на зимнія квартиры, и съ удовольствіемъ удостовѣрился, что Положиловы уже въ Петербургѣ.

По воскресеньямъ я предпочтительно передъ другими днями посѣщаю Положиловыхъ. Во-первыхъ, въ этой гостепріимной семьѣ еще не утратилась старинная традиція обязательности воскреснаго пирога, а во-вторыхъ, у Павла Ермолаича почти навѣрно встрѣтишь на этотъ день „гостя“, который не откажется послѣ обѣда засѣсть на табельку или въ сибирку. Такимъ образомъ день проходитъ сытно, занятно и непредосудительно, что̀ для людей, устраняющихъ себя отъ политическихъ и стратегическихъ соображеній, очень удобно.

На этотъ разъ я какъ-то особенно ходко шелъ по направленію къ Разъѣзжей. Утромъ я наглотался въ газетахъ столько пыли, что въ горлѣ першило. Иронизировали насчетъ англичанина и безъ церемоніи называли его торгашемъ; пускались въ тонкія соображенія по вопросу о проливахъ и обращались къ начальству съ просьбою обратить на этотъ предметъ серьезное вниманіе; полемизировали со своими литературными и политическими противниками и укоряли другъ друга въ неимѣніи надлежащей теплоты чувствъ; взывали къ пожертвованіямъ и тутъ же кстати обличали такую-то думу или такое-то земство въ своекорыстіи, отсутствіи патріотизма, узкости взглядовъ и т. д. Однимъ словомъ, изъ каждаго листка выглядывала зіяющая пасть, которая кого-то невѣдомо въ чемъ обличала и въ то же время вопрошала читателя: „а нутко, сказывай — во сколько рублей ты оцѣниваешь свой патріотизмъ?“

Было пять часовъ, когда я вошелъ въ гостиную Положиловыхъ. Обыкновенно я никогда не задерживался въ этой комнатѣ, да и сами хозяева, повидимому, не особенно жаловали ее. Расположена и меблирована она была по старинному: неудобно, парадно-симметрично, то-есть именно такъ, какъ слѣдуетъ для „дорогихъ гостей“, которыхъ

нелишне черезъ четверть часа спровадить. У стѣны, противъ входа, стоялъ вальяжный краснаго дерева диванъ, обитый синимъ штофомъ, съ вырѣзными ручками въ видѣ французскихъ эссовъ и съ прямой спинкой, верхъ который былъ увѣнчанъ наклейной рѣзьбой; противъ дивана находился осьмиугольной столъ съ поставленнымъ на немъ карселемъ, который издавалъ дребезжащій звукъ всякій разъ, какъ около стола происходило движеніе; по обѣ стороны стола, отъ дивана по направленію къ входной двери, тянулось два ряда креселъ (тоже съ ручками въ формѣ эссовъ), по три въ каждомъ, одинъ противъ другого, такъ что когда въ нихъ сидѣли гости, то они обязывались смотрѣть своему визави въ лицо и косить глазами, когда нужно было обратиться къ сидящимъ на диванѣ. Остальная мебель, въ видѣ стульевъ съ деревянными спинками, тоже увѣнчанными рѣзьбой, разставлена была рапжиромъ по стѣнамъ и около оконъ. Вообще въ этой гостиной какъ-то не сидѣлось и не говорилось, а иногда даже казалось, что она нетоплена, хотя Положиловы, какъ люди старозавѣтные, любили жить тепло. И я примѣтилъ, что когда прислуга возвѣщала, что пріѣхалъ такой-то, а Павелъ Ермолаичъ приказывалъ „просить въ гостиную“, то это навѣрное означало, что пожаловалъ гость, которому предстояло устроить времяпровожденіе по возможности неудобное и скоропреходящее.

На этотъ разъ, однако, мнѣ пришлось расположиться именно въ гостиной, потому что у Положиловыхъ были „гости“. На диванѣ сидѣла, впрочемъ, не Поликсена Ивановна, какъ обыкновенно бывало въ такихъ парадныхъ случаяхъ, а какая-то посторонняя гостья, повидимому очень ужъ важная, потому что хозяйка примостилась около нея на ближайшемъ боковомъ креслѣ, а визави съ Поликсеной Ивановной, изъ-за лампы, выглядывалъ Павелъ Ермолаичъ. Кромѣ этихъ лицъ, въ гостиной было еще двое. Рядомъ съ Поликсеной Ивановной ютился Simon Рогаткинъ, подчиненный Положилова, весьма прилично одѣтый и очень почтительный молодой человѣкъ, на лицѣ котораго было написано, что онъ несомнѣнно оправдаетъ довѣріе начальства. Нѣсколько наискосокъ, черезъ кресло отъ хозяина, держась обѣими руками за ручки кресла, помѣщался Терентій Галактіонычъ Дрыгаловъ, землякъ Павла Ермолаича, к—скій купецъ, который, очевидно, только на дняхъ прибылъ въ столицу изъ „своего мѣста“, потому что дорожный загаръ не успѣлъ еще слетѣть съ его лица.

При входѣ моемъ Положиловъ поспѣшилъ ко мнѣ на встрѣчу и шепнулъ на ухо:

— Генеральша... сама!

Затѣмъ послѣдовало представленіе. Генеральша пріятно изумилась, узнавъ, что я—литераторъ (очевидно, ей именно меня, то-есть литератора, и недоставало въ эту минуту), и очень благосклонно произнесла:

— А отъ васъ, гг. литераторы, мы ждемъ очень, очень большой услуги: вамъ предстоитъ поддерживать въ обществѣ тотъ святой пламень, который въ настоящее время согрѣваетъ всѣ сердца! N'est-ce pas, chère Поликсена Ивановна?

Поликсена Ивановна помяла въ отвѣтъ губами; я же поспѣшилъ отвѣтить глубокимъ поклономъ въ знакъ совершенной готовности выполнить приказаніе ея превосходительства, вполнѣ, впрочемъ, согласное и съ настроеніемъ моихъ собственныхъ чувствъ.

Вообще „дорогая гостья“ держала себя благосклонно, хотя и съ достоинствомъ. Это была дамочка лѣтъ 25-ти, съ весьма красивой головкой, хорошенькой грудкой и прелестными ручками. Темно-лиловое шолковое платье сидѣло на ней обворожительно, а на голову было кинуто какое-то je ne sais quoi, до такой степени легкое и изящное, что можно было только изумиться совмѣстимости этого легкаго и изящнаго съ вопросомъ о проливахъ и гирлахъ. Тѣмъ не менѣе вопросъ этотъ, очевидно, ее озабочивалъ, потому что прелестные глазки ея смотрѣли устало, а розы на щекахъ смѣнились лиліями. Говорила она мягко и плавно, причемъ въ одно и то же время выказывала и разсудительность, почерпнутую изъ „Leçons de morale et de littérature“, и рѣзвость, почерпнутую изъ вчерашней causerie съ изящными молодыми людьми. Она съ откровенностью, достойной лучшей участи, развивала передъ нами свои планы, знакомила насъ съ ходомъ и съ сущностью своихъ занятій, а иногда даже спрашивала нашего мнѣнія, но такъ, что всякій чувствовалъ, что все ужъ у нея заранѣе рѣшено, и что намъ ничего другого не остается, какъ съ удовольствіемъ согласиться. Сперва разскажетъ, какъ все это „у насъ“ устроено, а потомъ обратится съ вопросомъ: не правда ли, хорошо?

— Теперь,—говорила она, возобновляя начатый разговоръ:—намъ необходимо содѣйствіе всѣхъ патріотовъ, потому что—вы по-

нимаете?—безъ этого чтò же мы можемъ? О должностныхъ лицахъ (взглядъ въ сторону Павла Ермолаича, у котораго лицо моментально покрывается глянцемъ удовольствія) я уже не говорю—это само собой; но и другіе всѣ... Молодые люди (взглядъ въ сторону Рогаткина) могутъ исполнять порученія, устраивать спектакли, собирать пожертвованія; гг. литераторы (взглядъ въ мою сторону)—поддерживать святой огонь патріотизма; messieurs les négociants (взглядъ почти умильный на Дрыгалова) — удѣлять отъ избытковъ... Mais n'est-ce pas, chère Поликсена Ивановна!

— Ужъ это само собой! при такихъ обстоятельствахъ, ежели даже жизнь потребуется, то и ею стыдно дорожить!—отвѣтила Поликсена Ивановна.

— Для насъ, ваше превосходительство, нужно только, чтобъ вы починъ взяли, а затѣмъ только свиснуть извольте — у насъ *ящичекъ* всегда на-лицо! Ключикомъ отпереть— и вся хитрость тутъ!—сочувственно отозвался и купецъ Дрыгаловъ.

Хотя выраженіе „свиснуть", въ примѣненіи къ ея превосходительству, было нѣсколько рискованно (Павелъ Ермолаичъ даже повернулъ лицо къ Дрыгалову съ нѣмымъ укоромъ: экой ты, братецъ, какой!), тѣмъ не менѣе генеральша съумѣла скрыть свое изумленіе подъ благосклонной улыбкой.

— Ну, да, мы и не сомнѣваемся, что почтенное наше купечество...—сказала она солидно: — Минины, Погребовы, Королевы— ces noms appartiennent à l'histoire. Et Овсянниковъ donc? Но и мы, женщины, съ своей стороны должны... Я, напримѣръ, до сихъ поръ ботинки у Auclaire заказывала, а теперь, вы понимаете, этого ужъ нельзя! Пришлось обратиться къ Дорохову. Только отъ милой Andrieux отказаться никакъ не могу, потому что всѣ эти Розановы, Маришины, Соловьевы... Такъ вотъ и выходитъ... объ чемъ, однакожъ, я говорить начала?.. ахъ, да! Такъ я говорю: мужчины пускай воюютъ, распоряжаются, ведутъ переговоры, а мы должны поддерживать въ нихъ этотъ духъ и въ то же время содѣйствовать... Именно содѣйствовать — c'est le mot! Есть множество подробностей —n'est-ce pas?—въ которыхъ мужчины теряются и въ которыхъ женщина является доброю и заботливою хозяйкою... La charpie, les onguents, les draps de lit... тысячи маленькихъ вещей, которыя могутъ понадобиться и которыхъ мужчины не могутъ предусмотрѣть!

Не правда ли, вы раздѣляете мое мнѣніе, добрѣйшая Поликсена Ивановна?

Поликсена Ивановна разсудительно покачала головой, какъ бы говоря: чего жъ еще лучше!

— Вы только представьте себѣ, какъ будетъ пріятно храброму воину, послѣ жаркаго дѣла, отдохнуть на чистой постели, покрытой свѣжимъ бѣльемъ! Конечно, мы не можемъ обѣщать, что у всякаго будетъ свой эдредонъ, mais enfin... à la guerre comme à la guerre! вѣдь и въ мирное время ça laisse à désirer—n'est-ce pas?

Поликсена Ивановна продолжала сочувственно покачивать головой, какъ бы избавляя себя этимъ отъ необходимости соглашаться или возражать; но купецъ Дрыгаловъ даже глаза закатилъ, покуда генеральша разсказывала объ удовольствіяхъ, предстоящихъ храброму воину, успокоившемуся послѣ жаркаго дѣла въ чистой постели.

— Вотъ, по моему, гдѣ истинное назначеніе женщины въ настоящее трудное время! — заключила генеральша, вздохнувъ тѣмъ дѣтскимъ, всхлипывающимъ вздохомъ, какимъ вздыхаетъ человѣкъ, чувствующій, что у него гора съ плечъ сползла.

Всѣ даже руками развели, какъ бы удивлялись, какъ это имъ никому въ голову не пришла такая простая мысль. Но Положиловъ на этотъ разъ счелъ долгомъ предложить поправку къ мнѣнію ея превосходительства.

— А мнѣ такъ кажется, что ваше превосходительство слишкомъ ужъ умаляете роль женщины въ сферѣ общественной дѣятельности,—спридворничалъ онъ (при этомъ у него даже ямочка на бородѣ радостно заиграла):—по моему, главное назначеніе женщины состоитъ не въ однѣхъ мелочахъ,—впрочемъ, безспорно полезныхъ и необходимыхъ,—о которыхъ вы сейчасъ изволили упомянуть, а въ томъ, и даже преимущественно въ томъ, чтобъ служить одухотворяющимъ началомъ общественной дѣятельности и въ то же время соединяющимъ звеномъ. И ваше превосходительство собственнымъ примѣромъ изволите несомнѣнно доказывать...

— Ну, да, это само собой... Конечно, я стараюсь... Устроить какой-нибудь комитетъ, собрать, соединить... enfin organiser quelque-chose... Вотъ мы хотимъ на дняхъ базаръ устроить... Это — такъ! Я въ четырехъ комитетахъ участвую, въ одномъ даже предсѣдательницей — и, право, нахожу, что это совсѣмъ не такъ тяжело!

Le gros du travail appartient certainement aux messieurs, а мы... наше дѣло—дать идею, организировать... и, разумѣется, содѣйствовать! А знаете ли вы, Поликсена Ивановна, что вашъ мужъ очень, очень помогаетъ намъ въ нашихъ заботахъ?

— И это тѣмъ пріятнѣе слышать, что Павелъ Ермолаичъ, дѣйствительно, не только съ готовностью, но и съ радостью исполняетъ приказанія вашего превосходительства! — поспѣшила отвѣтить Поликсена Ивановна, желая закрѣпить за своимъ мужемъ репутацію усерднаго исполнителя предначертаній.

— Да, онъ даже балуетъ насъ. Вашъ мужъ—это именно, какъ говорится, — un coeur d'or. И надобно удивляться, какъ онъ находитъ время для всего этого. Мы съ мужемъ—а вы знаете, Грегуаръ взыскателенъ относительно своихъ подчиненныхъ! — иначе не называемъ его, какъ l'homme au coeur d'or! Объ службѣ ужъ нечего и говорить: Грегуаръ прямо выражается: „это — моя правая рука!“ Но, кромѣ службы, сколько комитетовъ, коммиссій, совѣтовъ—право, даже голова кружится! Я всего въ четырехъ комитетахъ участвую, и то иногда... je n'en peux plus! А онъ... въ сколькихъ комитетахъ вы участвуете, Павелъ Ермолаичъ?

— Въ семи-съ, — отвѣтилъ Положиловъ скромно, но очевидно ужъ подъ вліяніемъ яда лести:—въ трехъ состою дѣлопроизводителемъ, въ четырехъ—просто членомъ.

— Ну, да, „просто членомъ“... nous en savons quelque-chose! То-есть, на васъ же лежитъ все главное! Нѣтъ, вы представьте себѣ, Поликсена Ивановна! вотъ хоть бы въ томъ комитетѣ, гдѣ я служу предсѣдательницей: что бы я ни спросила у Павла Ермолаича... ну, тамъ статистику, цифру какую-нибудь... les onguents, la chargie... всегда, всегда сейчасъ же готовъ отвѣтъ! Просто невѣроятно. Сколько разъ мы убѣждали его: Павелъ Ермолаичъ, возьмите себѣ помощника! Потому что это наконецъ невозможно! — не правда ли, вѣдь это положительно невозможно? — и слышать не хочетъ! Я даже себя предлагала — вѣдь я, вы знаете, въ Смольномъ съ шифромъ вышла?—и мнѣ отказалъ! Такой нелюбезный!

— Это не нелюбезность, — поспѣшила Поликсена Ивановна оправдать своего мужа: — а вѣроятно онъ бережетъ здоровье вашего превосходительства, не желаетъ, чтобъ вы утруждали себя изъза него!

— Au reste, это немножко правда! всѣ эти бумаги, счеты — я ничего въ нихъ не понимаю. Еще маленькіе счеты — это я могу; но у нихъ, представьте, счеты въ четыре столбца! А онъ — у него все это сейчасъ какъ на ладони! И даже деньги — да! Я сама ревизовала... внезапно, вдругъ! Сговорились мы съ Петромъ Иванычемъ и Анной Константиновной и нагрянули! и представьте, все, все какъ есть, все на-лицо! la charpie, les onguents,—все до послѣдняго золотника! И даже деньги всѣ на-лицо—а вы знаете, какъ это трудно! И все намъ сейчасъ показалъ!

— Но вѣдь это — его долгъ, ваше превосходительство! — сентенціозно проговорила Поликсена Ивановна:—этимъ даже хвалиться нельзя!

— Вы говорите: долгъ? ахъ, chère Поликсена Ивановна! Но развѣ многіе изъ насъ серьезно относятся къ своему долгу? Вы знаете Грегуара—ужъ если есть человѣкъ à cheval sur son devoir, такъ это именно онъ! — ну-съ, такъ даже онъ на дняхъ мнѣ сказалъ: „долгъ, мой другъ, есть тотъ прекрасный на видъ плодъ, который пользуется въ начальственныхъ сферахъ очень солидною репутаціей, но вкушеніе отъ котораго предоставляется, по преимуществу, нижнимъ чинамъ, да и тѣ вкушаютъ оный лишь подъ страхомъ отрѣшенія отъ должности! Вотъ что такое нашъ долгъ!“

Безнадежность этого своеобразнаго толкованія на минуту огорчила присутствующихъ; но всѣ опять встрепенулись (а купецъ Дрыгаловъ даже лукаво подмигнулъ по направленію къ ея превосходительству), когда Положиловъ возразилъ:

— Но ваше превосходительство своимъ примѣромъ, собственною, такъ сказать, особою доказываете...

— Что я! Это ужъ моя роль такая, мое назначеніе! Я *не могу* не исполнить моего долга—et me voilà lancée! Но даже и я иногда тягощусь! Очень, очень! Я знаю, что это нехорошо, что въ настоящее время это—наша святая обязанность, mais que voulez-vous? иногда это невольно! И опять таки повторяю, если бы у меня не было такой прелестной помощницы, какъ Анна Константиновна, и такого казначея, какъ Павелъ Ермолаичъ—я не знаю... Право, мнѣ кажется, я бы взбунтовалась! Представьте себѣ: въ четыре столбца! Иногда мнѣ и хотѣлось бы понять, и я стараюсь... Но вы знаете наше воспитаніе... Насъ воспитывали, чтобъ изъ насъ вышли des bonnes

épouses, d'excellentes mères de famile, чтобъ мы умѣли себя держать прилично въ обществѣ, могли занять гостей, поддержать разговоръ; но счеты, бухгалтерія... кто же могъ предвидѣть, что это когда-нибудь понадобится?

— Не извольте огорчаться! Богъ дастъ, ваше превосходительство, современемъ и эту науку произойдете. А покудова, потрудитесь только приказать—для васъ Павелъ Ермолаичъ всякіе счеты сведутъ! — счелъ долгомъ утѣшить разогорченную генеральшу купецъ Дрыгаловъ.

При этихъ словахъ глазки генеральши выразили почти безпокойство; очевидно, въ ея умѣ блеснула мысль: а что если этотъ негоціантъ встанетъ и въ знакъ своего расположенія погладитъ ее по головкѣ? Павелъ Ермолаичъ тоже сконфузился и вопросительно глядѣлъ на Дрыгалова, словно выжидая, не скажетъ ли онъ чего-нибудь еще? Даже Simon Рогаткинъ — и тотъ застыдился. Натурально, Поликсена Ивановна поспѣшила прекратить общее недоумѣніе.

— Какъ это, однако, пріятно видѣть, что ваше превосходительство, молодыя такія, а объ одномъ только и безпокоитесь, какъ бы ближнему на помощь придти да на общеполезное дѣло потрудиться! Вотъ хоть бы теперь: весело даже посмотрѣть, какая вы заботливая, дѣятельная...

— А главное, дѣльная! — присовокупилъ, съ своей стороны, Павелъ Ермолаичъ: — хлопотать можно всячески; но дѣльно хлопотать, такъ, чтобъ черезъ эти хлопоты достигалась благая цѣль—это доступно не всякому!

Однимъ словомъ, благодаря находчивости хозяевъ, дѣло приняло такой оборотъ, что „дорогая гостья“ не только оправилась отъ безпокойства, но даже грудка ея слегка заволновалась отъ похвалъ.

— Ахъ, пѣтъ... ну, да, то-есть, коли хотите, я, конечно... вотъ только счеты эти... И еще, сознаюсь вамъ по секрету, вопросъ о проливахъ... никакъ не могу я оріентироваться въ немъ... То-есть, вотъ видите, мнѣ-то кажется, что они должны принадлежать *намъ*... Не правда ли, вѣдь это такъ? Они должны принадлежать — намъ? да?

— Но какое же можетъ быть въ этомъ сомнѣніе, ваше превосходительство!—даже изумился въ отвѣтъ Положиловъ.

— Ну, вотъ видите! И Анна Константиновна, и Ольга Павловна, et tous les messieurs de notre comité—всѣ такъ говорятъ; а вотъ

Грегуаръ... Представьте себѣ, на дняхъ онъ мнѣ прямо сказалъ: „желанія ваши насчетъ проливовъ, какъ патріотъ, я, конечно, вполнѣ одобряю, но опасаюсь одного: едва-ли вопросъ сей получитъ то рѣшеніе, которое вполнѣ удовлетворитъ Анну Константиновну“!

— Но, можетъ быть, это не насчетъ проливовъ, а насчетъ гирлъ его превосходительство изволилъ такъ выразиться?—робко попробовалъ Положиловъ устроить лазейку.

— Нѣтъ, именно насчетъ проливовъ! „Гирла,—сказалъ онъ:—это само по себѣ. *Но... и проливы*“!..

Въ виду столь ясно выраженнаго мнѣнія высшаго начальства, и Павелъ Ермолаичъ и Поликсена Ивановна, очевидно, затруднились, какой бы придумать компромиссъ, который бы обѣ стороны обѣлилъ. Павелъ Ермолаичъ даже ужъ началъ: „Конечно, ваше превосходительство, съ одной стороны“... Но Дрыгаловъ далъ дѣлу совершенно неожиданный оборотъ, воскликнувъ:

— Богъ милостивъ, ваше превосходительство! можетъ, и въ нашу пользу рѣшатъ! А нѣтъ, такъ вѣдь мы и подождать можемъ!

Этотъ исходъ всѣхъ примирилъ. Поликсена Ивановна сочувственно подмигнула, Павелъ Ермолаичъ почесалъ у себя за ухомъ, Simon Рогаткинъ сложилъ губы сердечкомъ, а генеральша даже вздохнула, словно бремя свалилось у нея съ души.

— Да, но все-таки...—сказала она весело:—впрочемъ, только это одно и затруднятъ насъ... А во всемъ остальномъ... право, вовсе *это* не такъ трудно, какъ казалось, когда мы приступали къ дѣлу. Знаете ли что? Я замѣчаю, что это даже для здоровья моего хорошо... Прежде, покуда меня *это* не занимало, я чувствовала, что начинаю толстѣть. И лѣнь какая-то явилась: въ два, три магазина съѣздишь — и домой! А теперь, при этомъ постоянномъ движеніи, я такая проворная сдѣлалась, что могу десять-пятнадцать визитовъ въ утро сдѣлать—и ничего. А вечеромъ опять!

Всѣ сочувственно покачали головой, какъ бы дивясь Божьему произволенію, укрѣпляющему скудельный сосудъ сей.

— А все-таки до Павла Ермолаича мнѣ далеко,—продолжала генеральша: — Павелъ Ермолаичъ, это — такой человѣкъ! такой человѣкъ! это именно, какъ говоритъ Грегуаръ — un coeur d'or! Представьте себѣ: les onguents, la charpie, les draps de lit... все, все у него на рукахъ! И... деньги! Ахъ, это очень, очень трудно!

— Ваше превосходительство слишкомъ ужъ милостивы къ нему!

— Нѣтъ, какъ хотите! Я когда была въ Смольномъ, то и тогда ужъ кастеляншѣ удивлялась, какъ это она цѣлый день все считаетъ и не потеряется, а теперь... это даже поразительно! И отчего вы не возьмете себѣ помощника, Павелъ Ермолаичъ? вѣдь вы устали? вѣдь да? Посмотрите на него, Поликсена Ивановна! вѣдь онъ усталъ... да?

Павелъ Ермолаичъ только кланялся въ знакъ признательности! но видно было, что ему ужъ начинаетъ подступать къ горлу.

— Усталъ и не хочетъ, чтобъ ему помогли!—продолжала упорствовать „дорогая гостья“:—я этого, какъ хотите, не понимаю! По моему, это—ужъ упрямство! Знаете ли, вѣдь и Грегуаръ въ васъ это замѣтилъ! Не далѣе какъ вчера была объ васъ рѣчь, и онъ сказалъ: „Положиловъ—золотой человѣкъ, но въ немъ есть одинъ недостатокъ: упрямство!“ Не правда ли, онъ упрямъ, Поликсена Ивановна?

Отзывъ Грегуара, какъ непосредственнаго начальника, нѣсколько огорчилъ Поликсену Ивановну, но, дѣлать нечего, она все-таки постаралась улыбнуться въ отвѣтъ.

— Да, есть-таки грѣшокъ!—сказала она.

— И какъ еще есть! Скажите, Павелъ Ермолаичъ, вы всегда были упрямы? Мсьё! вы его товарищъ — скажите, онъ всегда былъ упрямъ?—обратилась генеральша ко мнѣ и, не выждавъ отвѣта, — продолжала:—Усталъ—и не хочетъ, чтобъ ему помогли! Отчего вы не хотите намъ удовольствіе сдѣлать... отчего? Мы васъ просимъ: возьмите помощника!—скажите, отчего вы не хотите исполнить нашу просьбу?

Наконецъ къ Павлу Ермолаичу подступило.

— Коли угодно, вотъ Семенъ Николаичъ охотится, — сказалъ онъ, указывая на Рогаткина.

— Вотъ и прекрасно! и незачѣмъ это дѣло откладывать! Такъ вы, мсьё... мсьё... мсьё...

Генеральша затруднилась; Simon поспѣшилъ подсказать:

— Рогаткинъ-съ.

— Такъ вы, мсьё... ah, pardon! Такъ вотъ что, мсьё... Вы завтра утромъ, около часу, пожалуйте ко мнѣ, и я посвящу васъ во всѣ наши дѣла... я вамъ все разскажу... tout... tout! Les onguents, la charpie... все, все! Вы, кажется, тоже у Грегуара служите въ вѣдомствѣ?

Simon слегка отдѣлился отъ кресла, но былъ такъ еще неопытенъ въ сношеніяхъ съ дамами высшаго полета, что недоумѣвалъ — слѣдуетъ ли ему встать, или продолжать сидѣть.

— Онъ у меня, въ нашемъ же вѣдомствѣ, — выручилъ его Павелъ Ермолаичъ.

— И отлично. Значитъ, мы будемъ en famille. Ну, а вы, мьсё? — вдругъ обратилась она ко мнѣ: — какъ товарищъ мьсё Положилова, вы, можетъ быть, тоже пожелали бы...

Это было такъ неожиданно, что я съ перваго раза не понялъ и осмотрѣлся по сторонамъ, ища, не вошелъ ли еще кто-нибудь, къ кому бы могъ быть обращенъ вопросъ ея превосходительства. Къ счастію, Положиловъ поспѣшилъ ко мнѣ на помощь.

— Нѣтъ, ужъ его вы, ваше превосходительство, не тревожьте! — сказалъ онъ: — онъ — человѣкъ больной... да притомъ же, какъ вы сами изволили выразиться, и пламень этотъ долженъ поддерживать.

— Да, да, это тоже необходимо... вѣдь я и забыла, что вы литераторъ! вѣдь вы — литераторъ?.. да? Какъ же! какъ же! Грегуаръ еще на дняхъ объ васъ говорилъ: „этотъ литераторъ“...

Но тутъ она вдругъ какъ бы вспомнила что-то и не договорила... Даже лиліи смѣнились на ея щекахъ розами, и она какъ-то тоскливо взглянула по сторонамъ, словно ожидая, не выручитъ ли ее кто-нибудь. Но такъ какъ на этотъ разъ никто не нашелся, то она взглянула на часы и заторопилась.

— Ужъ половина шестого! — воскликнула она, шумно поднимаясь съ дивана: — скажите, какъ я у васъ засидѣлась! Такъ, стало быть, c'est convenu: съ завтрашняго дня, chère Поликсена Ивановна, вы — наша?

Она взяла Поликсену Ивановну за обѣ руки и съ минуту смотрѣла ей въ глаза такъ любовно, какъ будто ея участь была въ рукахъ этой милой женщины. Съ своей стороны, и Поликсена Ивановна умышленно медлила отвѣтомъ, какъ будто съ одной стороны ее пугала трудность подвига, а съ другой — не было той жертвы, которой бы она не принесла въ пользу „дорогой гостьи“.

— Ваша! — выговорила, наконецъ, Поликсена Ивановна твердо.

— Ну, такъ до свиданія! Завтра вечеромъ у насъ первое засѣданіе... увидимся! И, право, у насъ совсѣмъ не такъ скучно! On cause,

on rit... а между тѣмъ и дѣло... До свиданія, Павелъ Ермолаичъ! вотъ вы и съ помощникомъ... очень, очень рада за васъ, а еще больше за себя, потому что я не хочу—слышите, не хочу!—чтобъ вы уставали!

Черезъ секунду отъ нея осталась только благоухающая струя.

Я столлъ и потягивался, точно бремя съ души у меня спало. Дрыгаловъ закрылъ глаза, очевидно стараясь воспроизвести и *навсегда запечатлѣть* мелькнувшее передъ нимъ видѣніе. Simon Рогаткинъ, въ устремленной позѣ, приковалъ взоры къ двери передней, куда скрылась его очаровательная начальница.

И вдругъ меня словно ударило. Грегуаръ сказалъ: „этотъ литераторъ“... Ну-съ, а дальше? Что такое онъ дальше сказалъ? Отчего она не договорила и зарумянилась? „Этотъ литераторъ“?.. развѣ это опредѣленіе? Дальше-то, дальше-то что онъ сказалъ? А можетъ быть онъ и дѣйствительно ничего не сказалъ, а только ковырнулъ пальцемъ въ воздухѣ... Любопытно! очень бы любопытно узнать, въ какомъ смыслѣ совершилось это ковыряніе! Означаетъ ли оно: *читалъ съ удовольствіемъ*, или напротивъ... „Гм... этотъ литераторъ“... О, чортъ побери!

Удивительно это, однакожъ. Если бы мнѣ сказали, что Дрыгаловъ или Рогаткинъ, или даже самъ Положиловъ, разговаривая обо мнѣ, ковырнули пальцемъ въ воздухѣ, я рѣшительно нимало не озаботился бы этимъ. А вотъ Грегуаръ ковырнулъ — и у меня моментально кошки на сердцѣ заскребли! Поймите: вѣдь это тотъ самый Грегуаръ, котораго даже богобоязненный Положиловъ, въ минуты откровенности, называетъ „сивымъ мериномъ“, и вотъ онъ, въ одинъ моментъ, какого переполоху во всѣхъ моихъ внутренностяхъ надѣлалъ! Ковырнулъ пальцемъ... да, навѣрное онъ ковырнулъ! Что жъ такое случилось? Какіе такіе поступки я совершилъ, чтобъ заслужить это ковырянье? и что мнѣ *за это* будетъ? Потому что вѣдь этотъ сивый меринъ... то бишь, этотъ Грегуаръ—вѣдь онъ...

Эти странныя мысли точно сверломъ сверлили меня, покуда Положиловъ раскланивался съ „дорогой гостьей“. Я ужъ началъ помаленьку перебирать въ умѣ свое прошлое, съ цѣлью сначала уразумѣть и внимательно обсудить свои „вины“, а потомъ уже перейти и къ опредѣленію мѣръ взысканія, какъ говоръ въ передней утихъ и Павелъ Ермолаичъ почти въ-прискочку подбѣжалъ ко мнѣ.

— Вотъ оно, братецъ! — воскликнулъ онъ, беря меня за обѣ руки и, весь красный, смотря мнѣ въ глаза.

Какъ ни пріятно было благоуханіе, распространяемое дорогою гостьей, однако съ отъѣздомъ ея сдѣлалось замѣтно легче. Даже у осторожной Поликсены Ивановны появилась на лицѣ улыбка освобожденія, и только купецъ Дрыгаловъ счелъ долгомъ воздать должное отъѣхавшей, воскликнувъ: „вотъ такъ дамочка! отдай все да и мало!“

Подобныя ощущенія внезапнаго облегченія случаются нерѣдко, особливо когда имѣешь дѣло съ дамочками. Посмотрѣть на нее — только, кажется, дунь, и вся она, со всѣмъ кружевнымъ и шолковымъ скарбомъ, разсѣется какъ дымъ; а посиди да поговори съ нею —тяжелѣе мономаховой шапки скажется. Голова заболитъ отъ одного учтиваго напряженія что-нибудь уловить въ безконечномъ журчаніи словъ. Это журчаніе, несмотря на свои ласкающія формы, представляетъ, въ сущности, очень страшное орудіе, съ помощью котораго маленькое, слабенькое, почти прозрачное существо можетъ въ короткое время не только осилить самаго солиднаго человѣка, но и свести его съ ума, подвинуть на множество глупыхъ и безчестныхъ дѣлъ, заставить метаться и проч. Мало того: съ помощью словеснаго журчанія дамочка можетъ поставить вътупикъ цѣлое общество здравомыслящихъ людей, въ одинъ моментъ смоетъ всѣ ихъ умственныя построенія, порветъ всякую связь между мыслями и взамѣнъ заключенія заставитъ выпучить глаза.

Извѣстно однакожъ, что существуетъ цѣлый общественный слой, въ которомъ подобныя журчанія представляютъ единственное орудіе для обмѣна мыслей, и въ которомъ, за всѣмъ тѣмъ, никто не ощущаетъ ни головныхъ болей, ни поползновенія метаться. Повидимому люди этого міра, отбросивъ всякую мысль о необходимости понимать другъ друга, довольствуются во взаимныхъ сношеніяхъ тѣмъ, что одному журчанію противопоставляютъ равносильное встрѣчное журчаніе. И хотя въ результатѣ, разумѣется, оказывается путаница, но къ удивленію жизнь не только не терпитъ ущерба отъ нея, но даже пріобрѣтаетъ извѣстную внѣшнюю пестроту. Благодаря этой послѣдней, завязываются между дѣйствующими лицами отношенія, столкновенія, даже цѣлые романы съ довольно сложными перипетіями, являются про-

блески радости, горя, отчаянія и проч. Однимъ словомъ, съ внѣшней стороны все происходитъ совсѣмъ такъ, какъ бы и въ настоящемъ человѣческомъ обществѣ, вслѣдствіе чего нѣкоторые не особенно прозорливые наблюдатели (напримѣръ, романисты) легко впадаютъ въ ошибку и, изображая эту призрачную жизнь, въ которой нѣтъ ни одного яснаго мотива, кромѣ амуровъ, щегольства и гастрономическихъ увлеченій, выдаютъ ее за человѣческую...

Да, много еще тайнъ хранитъ природа въ нѣдрахъ своихъ, и что̀ всего замѣчательнѣе: чѣмъ дряннѣе тайна, тѣмъ труднѣе распутать тѣ безконечныя паутинныя наслоенія, которыми она закутываетъ себя со всѣхъ сторонъ.

И такъ, мы повеселѣли. Къ тому же явилась и еще пріятная неожиданность, которая окончательно возвратила намъ хорошее расположеніе духа. Едва Положиловъ успѣлъ посѣтовать, что между нами нѣтъ Глумова, какъ въ столовой раздался его голосъ. Разумѣется, мы сейчасъ же устремились туда и застали нашего друга совмѣстно съ Поликсеной Ивановной сѣтующимъ, что Богъ огурцовъ прошлымъ лѣтомъ совсѣмъ не уродилъ.

— Эдакая снѣдь прекраснѣйшая, а мы, яко христіане, даже роптать не смѣемъ, что на цѣлый годъ ея лишены! — жаловался онъ.

— И грибы только ужъ къ сентябрю пошли. Полакомиться ими — полакомились, а въ прокъ заготовить не успѣли! — вторила ему Поликсена Ивановна.

— И на это роптать не смѣемъ. Каждый годъ у насъ чего-нибудь либо мало, либо совсѣмъ нѣтъ; каждый годъ съ весны мы надѣемся, а осенью видимъ наши надежды разрушенными; но и за всѣмъ тѣмъ не ропщемъ, потому что вновь впредь надѣемся. Вотъ хоть бы по части огурцовъ... если бы не помѣшали военныя обстоятельства, непремѣнно вышло бы какое-нибудь мѣропріятіе, дабы, съ одной стороны, предотвратить непомѣрные урожаи, вслѣдствіе которыхъ воздѣлываніе сего полезнаго продукта представляется не токмо безвыгоднымъ, но и убыточнымъ, а съ другой...

На этомъ мѣстѣ разговоръ былъ прерванъ нашимъ появленіемъ. Послѣдовали взаимныя горячія объятія, вопросы: — какими судьбами? откуда? когда?

— Сегодня утромъ изъ деревни, и ужъ съ полчаса сижу въ кабинетѣ. Вижу, что у подъѣзда карета стоитъ, спрашиваю: кто?

говорятъ: международная дамочка въ гостяхъ сидитъ... Ну, я и притаился. А занятная дамочка! я, признаться, въ щелку заглянулъ, какъ она проходила: грудочка, плечики... именно все, что для утѣшенія рода человѣческаго нужно—все на-лицо! На букетъ, что-ли, для поднесенія плѣннымъ туркамъ, съ подпиской пріѣзжала?

Собственно насъ съ Положиловымъ вопросъ этотъ нимало не удивилъ, такъ какъ мы достаточно знали страсть Глумова озадачивать людей неожиданными предположеніями, однако, видя, что Поликсена Ивановна поморщилась, мы сочли своимъ долгомъ по мѣрѣ силъ вступиться за дорогую гостью.

— Ну, любезный, ты этого говорить не моги!—сказалъ Положиловъ: —во-первыхъ, эта дама—супруга моего начальника, а во-вторыхъ... что, бишь, во-вторыхъ?.. да! вотъ и насчетъ патріотизма... Не только къ туркамъ пристрастія не имѣетъ, но даже о проливахъ заботится... Очень, очень старается, чтобъ проливы за нами остались...

— И, Богъ дастъ, старанія ея увѣнчаются успѣхомъ, — присовокупилъ и я съ своей стороны:—хотя, къ сожалѣнію, Грегуаръ и сомнѣвается въ томъ.

Къ удивленію однакожъ, Поликсена Ивановна не только не утѣшилась этими похвалами, но, напротивъ того, покачивала головой и приговаривала:

— Ахъ, господа, господа!

Наконецъ сѣли обѣдать, и, разумѣется, бесѣда началась съ вопроса, обращеннаго къ Глумову: какъ въ „своемъ мѣстѣ“ нашелъ?

— Какъ вездѣ, такъ и у насъ въ Соломенномъ Городищѣ. У всѣхъ и на умѣ, и на языкѣ одно: война!

— Что говорятъ? какъ относятся?

— Да какъ сказать... прилично! Интеллигенція, то-есть... ей Богу, очень даже прилично! Молебны, панихиды — всегда полонъ соборъ мундировъ. Предводители — тѣ такъ-таки прямо говорятъ: „доколѣ ненавистное имя Турціи существуетъ на картѣ Европы, дотолѣ не положимъ оружія!“ Такъ что губернаторъ, на всякій случай, даже вынуждается деликатнымъ образомъ сдерживать ихъ. А разговоры какіе въ клубахъ происходятъ— просто хоть куда!

— Чай, и дамы въ движеніи участіе принимаютъ?

— Какъ же, и дамы... Генеральши сами корпію щиплютъ, пикники, лотереи-аллегри въ пользу раненыхъ воиновъ устраиваютъ...

Намедни поѣздъ съ ранеными на станцію пріѣхалъ, такъ всѣ соломенныя дамочки туда устремились, и всѣ, какъ на подборъ, прехорошенькія! Одна генеральша раны перевязываетъ, другая чаемъ съ блюдечка поитъ, третья со словъ солдатиковъ письма въ деревню пишетъ... А граціи да прекрасныхъ манеръ сколько было по этому случаю въ одночасье выказано, такъ, увѣряю, въ Александринкѣ, съ самаго ея основанія, не было столько потрачено!

— Не все же, чай, грація да прекрасныя манеры; вѣроятно что-нибудь и другое найдется!

— По временамъ и скандалы бываютъ. Прислали, напримѣръ, къ намъ на жительство майорину турецкаго; только видятъ: жрать майорина безъ бутылки шампанскаго за столъ не садится! Стали разузнавать — и что жъ оказалось! — что это наши соломенныя интернаціональныя дамочки ему въ складчину каждый день по бутылкѣ посылаютъ! А онъ, въ благодарность русскимъ, сквернымъ словамъ выучился — всѣ гуртомъ такъ и чешетъ! Это ужъ наши соломенные интернаціональные жёнъ-жаны научили.

— Неужели все это правда? неужто и теперь подобные факты случаться могутъ? — удивлялась Поликсена Ивановна, прискорбно покачивая головой.

— Не лгу-съ.

— И ничего? такъ-таки о сю пору и хлещетъ турка шампанское?

— Нѣтъ, сторонкой дали дамочкамъ знать, что не хорошо, молъ, врага религіи ублажать — ну, перестали. Теперь майорина при одномъ сквернословіи остался.

— Гм... такъ вотъ ты какія вѣсти привезъ! пикники, мундиры, грація и, для оттѣненія картины, майорина, пьющій шампанское, пріобрѣтаемое иждивеніемъ русскихъ дамъ! Se non è vero, è ben trovato! — усомнился Положиловъ.

— А если не вѣришь, такъ и не вѣрь!

— Нѣтъ, это даже очень возможно-съ! — вступился за Глумова Дрыгаловъ. — У насъ, доложу вамъ, Павелъ Ермолаичъ, въ 1854 году какой случай былъ. Прислали этта одного плѣннаго англичанина къ намъ на житье — ну, одна дамочка, промежду танцевъ, и скажи ему: „сколь много мы были бы довольны, ежели бы господа англичане до нашего города дошли!“ Такъ одинъ господинъ услыхалъ эти слова, да плюху ей и закатилъ!

— Такъ-таки и закатилъ?

— Вотъ какъ передъ Истиннымъ. И супругъ ейный видѣлъ и не вступился: „полностью, говоритъ, заслужила!“

— Какіе, однакожъ, странные и отчасти прискорбные факты вы приводите, господа!—сантиментально воскликнулъ Положиловъ, тутъ же, впрочемъ, спохватившись, что выразился слишкомъ ужъ по бумажному.

— А ты... какимъ ты страннымъ и отчасти прискорбнымъ языкомъ говоришь!—передразнилъ его Глумовъ:—точно отношеніе отъ равнаго къ равному пишешь! Милый ты человѣкъ! вѣдь не въ томъ дѣло, что мы прискорбные факты передаемъ, а въ томъ, что этихъ фактовъ отрицать нельзя. Существуютъ они.

— Положимъ. И грація, и скандалы—все это подмѣчено вѣрно. Но, во-первыхъ, глупыя и пошлыя личности возможны во всякомъ обществѣ, а во-вторыхъ...

— Во-вторыхъ, не всѣ, молъ, таковы?.. разумѣется, не всѣ! Я съ того вѣдь и началъ, что въ общемъ все очень прилично. При молебствіяхъ присутствуютъ, благословеніями напутствуютъ — чего еще надо? Есть, братецъ, даже и такія личности, которыя всякаго за горло готовы ухватить не только при сомнѣніи насчетъ будущихъ успѣховъ, но и при малѣйшемъ упоминаніи о неуспѣхахъ прошедшихъ... Такъ развѣ это что-нибудь доказываетъ?

— Доказываетъ, что люди вездѣ люди и что каждый изъ нихъ выражаетъ свое отношеніе къ дѣлу какъ можетъ. Ты вотъ въ смѣшномъ видѣ грацію представляешь; но, во-первыхъ, дамочекъ-то пора бы и въ сторонѣ оставить, потому что не въ нихъ дѣло, а во-вторыхъ, что жъ имъ дѣлать, этимъ несчастнымъ, когда онѣ съ колыбели граціей исковерканы!

— А между тѣмъ и имъ свое сочувствіе чѣмъ-нибудь выразить хочется!—поддержала мужа Поликсена Ивановна.

— Я развѣ запрещаю? Я говорю только: смотрѣть противно!

— Намеднись, доложу вамъ, я, вмѣстѣ съ прочими, на вокзалѣ при пріемкѣ раненыхъ былъ,—отозвался Дрыгаловъ:—такъ одна барынька къ служивенькому привязалась: „гдѣ у тебя, воинъ, болитъ?“—Не могу сказать, ваше благородіе! говоритъ.—„Нѣтъ, ты скажи! теперь такое время, что мы все можемъ знать!“ — Не могу,

говоритъ, сказать, нехорошо у меня болитъ!—Нѣтъ-таки, не отстаетъ: скажи да скажи! Ну, онъ и сказалъ.

— Да неужто же вы не понимаете, господа, что все это анекдоты одни?—слегка разсердился Положиловъ: — положимъ, Дрыгаловъ спроста анекдоты разсказываетъ, ну, а ты, Глумовъ... подумай, нѣтъ ли у тебя предвзятаго предубѣжденія въ этомъ случаѣ? Помнится, ты когда-то говаривалъ, что для нашей интеллигенціи все равно, если насъ, русскихъ, и за Волгу загонятъ...

— Ну, да, то-есть доходы получать — конечно, все равно. Я нашу такъ-называемую интеллигенцію даже и сравнить ни съ чѣмъ другимъ не умѣю, кромѣ какъ съ ветхой печкой, у которой нутро выгорѣло. Хоть цѣлый лѣсъ тамъ спали—ничѣмъ ты ея не разожжешь!

— Почему же нибудь, однако, она живетъ и даже заявляетъ о своемъ существованіи?

— Живетъ — на остатки отъ выкупныхъ свидѣтельствъ; заявляетъ о своемъ существованіи—тѣмъ, что превратныя идеи разыскиваетъ да строчки въ книжкахъ подчеркиваетъ. Даже и теперь—кажется, время не шуточное!—эти занятія на первомъ планѣ. Сосѣдъ у меня по деревнѣ, штатскій генералъ, есть, такъ пріѣзжаю я на дняхъ къ нему: такъ и такъ, говорю, мои двѣ коровы въ овсахъ у вашего превосходительства пойманы, такъ прикажите штрафъ получить, а скотину отпустить... Ну, разумѣется, вознегодовалъ. „Помилуйте, говоритъ, такое ли теперь время, чтобъ пустяками заниматься... Эй, сейчасъ же отпустить коровъ г. Глумова, да сказать тамъ, чтобъ впредь подобныхъ глупостей не допускали! А мы, говоритъ, съ вами о нынѣшнихъ дѣлахъ побесѣдуемъ!“ И началъ, и началъ... И сердце-то у него изболѣло, и не разъ-то онъ предсказывалъ, что война до добра не доведетъ, и проливовъ-то ему хочется, и Константинополь... „Отчего, говоритъ, они прямо туда не идутъ? По моему, говоритъ, сначала на Филиппополь, потомъ на Адріанополь, а оттуда—ужъ рукой подать!“ Только бесѣдовалъ-это, бесѣдовалъ, да вдругъ какъ брякнетъ: „а знаете ли, говоритъ, все-таки настоящая язва наша не здѣсь! внѣшнихъ-то враговъ мы, съ Божьею помощью, рано или поздно побѣдимъ, а вотъ внутренніе враги... о!!“

— И это опять-таки анекдотъ!

— Ахъ, любезный, да ежели вся жизнь изъ анекдотовъ состоитъ?

На выдумки, что-ли, пускаться прикажешь, чтобъ тебя не огорчать?

— Выдумывать, конечно, нѣзачѣмъ, а воздерживаться — пожалуй, не лишнее!

— То-есть, рапортовать, что всѣ сословія, въ одномъ общемъ чувствѣ умиленія, возсылали теплыя мольбы... такъ, что-ли?

— Нѣтъ, и не такъ. Скажу тебѣ откровенно: и самъ даже не знаю какъ; но знаю навѣрное, что отъ всѣхъ этихъ анекдотовъ фальшью отдаетъ. И еще знаю, что и въ средѣ интеллигенціи найдется довольно людей, которые совсѣмъ не такъ легкомысленно относятся къ дѣлу... ты, напримѣръ?

Вопросъ былъ поставленъ не безъ ехидства, и я, признаюсь, ожидалъ, что Глумовъ смутится или, по малой мѣрѣ, прибѣгнетъ къ одному изъ множества истрепанныхъ оправданій, въ родѣ: „я — человѣкъ искалѣченный“, или: „моя пѣсня спѣта“ и т. д. Но онъ, повидимому, рѣшился не смущаться ни передъ какими вопросами.

— Я-то!—воскликнулъ онъ совершенно просто: —а ты почему думаешь, что я къ чему бы то ни было и какъ бы то ни было относиться долженъ?

— Однако!

— Развѣ я что-нибудь знаю? развѣ я когда-нибудь за свой счетъ думалъ? развѣ мнѣ не твердили съ пеленокъ, что я — ничего болѣе, какъ пятое колесо въ колесницѣ? Нѣтъ, государь мой, отъ „отношеній“ къ чему бы то ни было прошу меня разъ навсегда уволить! Не мое дѣло—вотъ единственный отвѣтъ, который я могу на всѣ вопросы дать, и за который навѣрное получу полный баллъ у своего соломенскаго исправника. И все, къ чему я сознаю себя нравственно-обязаннымъ, это — не кобениться, не глубокомысленничать насчетъ проливовъ и не науськивать. А по прочему по всему я такой же культурный человѣкъ, какъ и всѣ.

Возражать на этотъ новый Глумовскій парадоксъ было, конечно, не мудрено (у меня даже цѣлый рядъ живыхъ картинъ по этому случаю въ головѣ мелькнулъ); но скользко было слѣдовать за нимъ по этому пути, и потому мы благоразумно смолчали.

— Ну, хорошо,—началъ опять Положиловъ: —оставимъ интеллигенцію въ сторонѣ. Въ народѣ что говорятъ?

— Въ народѣ, любезный другъ, не хвастаются, не долгоязычни-

чаютъ и даже ничего не знаютъ о проливахъ, а просто несутъ свои головы. Только вдю очень ужъ много.

— Гм... да?

— Да, есть-таки. Ѣхалъ я нынче изъ деревни до желѣзной дороги, такъ и до сихъ поръ въ ушахъ звенитъ. Всѣ двадцать верстъ, какъ нарочно, партіи ратниковъ тянулись, а за ними толпами бабы... всю жизнь этихъ звуковъ не позабыть!

Глумовъ умолкъ на минуту, словно почувствовалъ неловкость.

— Мы этихъ картинъ не видимъ,—продолжалъ онъ:—а потому даже лучшіе изъ насъ представляютъ себѣ народъ въ видѣ громаднаго и упругаго кокона, отъ котораго отскакиваютъ всякія бѣдствія, или, по крайней мѣрѣ, не такъ мучительно вопзаются. Такъ это неправда. Никакого кокона нѣтъ, а есть миріады отдѣльныхъ единицъ, изъ которыхъ каждая за свой собственный счетъ страдаетъ и стонетъ. И даже больше, нежели, напримѣръ, мы, потому что ей, этой безвѣстной единицѣ, приходится прямо кровь проливать и голову нести, а не морально только изнывать. Да, господа, коли издали слушать, такъ и стонъ въ общей массѣ не поразителенъ, даже гармонію своеобразную представляетъ, а вотъ какъ выхватить изъ этой массы отдѣльный вопль... ужасно! ужасно! ужасно!

— Позвольте вамъ, сударь, доложить, что вой этотъ собственно...— попробовалъ-было вмѣшаться Дрыгаловъ, но Глумовъ даже не обратилъ вниманія на его перерывъ.

— Да, — продолжалъ онъ: — народъ и теперь, какъ всегда, ведетъ себя сдержанно и степенно. Онъ всякую тяжесть выдержитъ на своихъ плечахъ, изъ всякой бѣды грудью вынесетъ! Теперь мы и сами готовы признать, что народъ, въ самомъ дѣлѣ, есть нѣчто, имѣющее собственную физіономію, а не просто объектъ для экономическихъ и административныхъ построеній, а давно ли...

— Позвольте, однако, вамъ доложить, что собственно бабы эти...—опять рискнулъ Дрыгаловъ, но Глумовъ и на этотъ разъ не далъ ему высказаться.

— Знаю, Терентій Галактіонычъ, что ты хочешь сказать, и заранѣе говорю: умолкни! Умолкни, потому что если ты выскажешь то, что у тебя на языкѣ вертится — тебѣ же стыдно будетъ! Да, господа, стыдно! Стыдно разговаривать, стыдно проводить время... даже жить въ иныя минуты чувствуется неловко!

— А жить все-таки нужно! — задумчиво отозвалась Поликсена Ивановна.

— Жить нужно для сродственниковъ, для знакомыхъ... вообще для всѣхъ нужно жить!—сентенціозно поддержалъ ее Дрыгаловъ.— Иванъ Николаичъ люди одинокіе — вотъ имъ и сподручно панафиды-то эти пѣть!

— Панихиды, а не панафиды,—поправилъ его Глумовъ:—который годъ ты первую гильдію платишь, а по благородному все-таки говорить не умѣешь. А впрочемъ, ты правъ: именно панафиды — весь этотъ разговоръ нашъ. И охота тебѣ, Павелъ Ермолаичъ, объ такихъ матеріяхъ рѣчь заводить! Сидѣли бы да зубами щелкали — право, съ нашего брата прѣдостаточно.

— Ничего, сударь, въ кампаніи отчего жъ и не поговорить!— разсудилъ Дрыгаловъ: — кабы за нами дѣло какое стояло — ну, тогда точно что не до разговоровъ! а то дѣловъ никакихъ нѣтъ, время праздничное—никто не забранитъ, ежели, между прочимъ, и слово перекинемъ.

— Такъ ты и перекидывай, ежели у тебя языкъ чешется!

— Нѣтъ ужъ, сдѣлайте ваше одолженіе, извольте продолжать! всѣхъ вы отрекомендовали, такъ ужъ и намъ, купечеству, аттестатъ пожалуйте!

— Посмотри на свое пузо—вотъ тебѣ и аттестатъ!

— Пузо, сударь, отъ пищи, а пища отъ Бога. Нѣтъ, вы намъ вотъ что доложите: неужто въ нашемъ купечествѣ этого духу мало?

— Какого духу?

— А вотъ хоть бы насчетъ этихъ самыхъ обстоятельствъ?

— А кто отъ ратничества всѣми правдами и неправдами откупается?

— Такъ вѣдь это по человѣчеству-съ. Нешто пріятно теперича, въ самое, можно сказать, горячее время, свой интересъ бросать? Или, напримѣръ, нешто пріятно отцу воображать, какъ надъ его дитёй свиное ухо надругательство будетъ дѣлать?

— Дальше?

— А вы насчетъ пожертвованьевъ Павлу Ермолаичу доложите. Пожертвованія откуда идутъ?

— Откуда?—изъ ящика!

— Да, да, да!—вспомнилъ и Положиловъ: — и ты вѣдь, Те-

рентій Галактіонычъ, давеча объ „ящичкѣ“ поминалъ... Сказывай, что̀ за штука такая?

— Просто общественныя деньги, земскія, городскія—вотъ они ими и жертвуютъ,—пояснилъ за Дрыгалова Глумовъ.

— Такъ что-жъ что общественныя! чай, и нашихъ частичка тутъ есть!

— Ни шелега. Частичку, объ которой ты говоришь, совсѣмъ не на этотъ предметъ ты внесъ. Не пожертвовалъ, а именно внесъ, потому что если бы ты по окладному листу не уплатилъ, такъ у тебя имущества на соотвѣтствующую сумму описали бы. Понимаешь?

— Понимаю, и все-таки...

— Гм... такъ вотъ оно что̀! — молвилъ Положиловъ: — а я было на тебя, степенный гражданинъ, по части одѣяльцевъ для нашего комитета надежды возлагалъ!

— На этотъ счетъ будьте спокойны, Павелъ Ермолаичъ. Всѣмъ достанетъ! ежели даже цѣлую армію пожелаете прикрыть — предоставимъ въ лучшемъ видѣ?

— Изъ ящичка?

— Ужъ тамъ изъ ящичка ли, изъ своихъ ли — будетъ доставлено.

— То-то, ты у меня смотри: я ужъ генеральшѣ пообѣщалъ. Ну, и она не прочь походатайствовать за тебя... Только вотъ не знаю, не испортилъ ли ты дѣла тѣмъ, что спевѣжничалъ давеча...

— Помилуйте! что̀ же я такое сдѣлалъ? — испугался Дрыгаловъ.

— А помнишь: „только свисните, ваше превосходительство“? а? Развѣ съ высокопоставленными дамами такъ разговариваютъ?

— Да, другъ, проштрафился ты! „только свисните!“ — шутка сказать! поддразнилъ и Глумовъ.—Ты на какой лентѣ-то ожидалъ?

— Все бы хоша съ черными полосками...

— А теперь и съ бѣлыми полосками за глаза довольно. Ахъ, господа, господа! такъ вотъ вы какими средствіями патріотическіе-то огни поддерживаете!

Восклицаніе это заставило Положилова на минуту смѣшаться, но онъ сейчасъ же впрочемъ поправился.

— Любезный другъ,—сказалъ онъ:—въ настоящее время надо практическихъ результатовъ достигать, а не миндальничать. Задача

предстоитъ такая: раненымъ необходимы одѣяла — не былъ ли бы комитетъ черезъ-чуръ ужъ наивенъ, если бы дожидался, пока одѣяла съ неба спадутъ?

— Да, да, одѣяла... понятно, это — вещь полезная, — согласился Глумовъ. — Такъ ужъ ты вотъ что, Терентій Галактіонычъ! какъ будешь одѣяла-то готовить, такъ помни твердо, что солдатикъ — святой человѣкъ, и сдѣлай милость ужъ не сфальшивь! Пожертвуй настоящія одѣяла, а не то чтобъ званіе одно. А впрочемъ, знаешь ли, что я тебѣ скажу?—вдругъ прибавилъ онъ, по обыкновенію, совсѣмъ неожиданно: — ежели дѣйствительно тебя почести взманили, такъ обкорми ты арміи и флоты гнилыми сухарями—по гробъ жизни счастливъ будешь!

— Ахъ, это ужасно!—нервно откликнулась Поликсена Ивановна.

— За этакія дѣла, чай, нашего брата не похвалятъ!—скромно оговорился и Дрыгаловъ.

— Попробуй! Сказано: солдатикъ—святой человѣкъ, а святые люди развѣ обижаются? Нынче какъ на этотъ предметъ глядятъ? —Святой человѣкъ—глупый человѣкъ! вотъ какой нынче разговоръ просвѣщенные люди имѣютъ! Всякія злодѣйства за злодѣйства признаются: и убійства, и истязанія, и грабежи... только вотъ о промышленныхъ злодѣйствахъ что-то не слыхать... Слѣдовательно... Ахъ, да давайте же, господа, объ чемъ-нибудь другомъ говорить!— вдругъ крикнулъ онъ надтреснутымъ, болѣзненнымъ крикомъ: — ну, объ чемъ? объ чемъ, напримѣръ? Вѣдь говаривали же мы объ чемъ-нибудь до войны?

Но мы молчали. Я рылся въ воспоминаніяхъ и спрашивалъ себя: о чемъ, въ самомъ дѣлѣ, мы до войны говорили? Говорили о королѣ Луи-Филиппѣ, о процессахъ, ознаменовавшихъ его царствованіе, о Гизо, Тьерѣ; говорили о томъ, что такое tiers-état, и переходили къ Мирабо, Робеспьеру, Дантону и къ декларацiи правъ человѣка. Но больше всего говорили о самихъ себѣ, о какихъ-то надеждахъ, разлетѣвшихся въ прахъ и оставившихъ насъ между двухъ стульевъ. Безспорно, это были темы очень благодарныя, но для того, чтобы развивать ихъ не торопясь, необходимо, чтобъ окрестъ царствовалъ глубокій миръ, чтобъ процвѣтала промышленность, чтобъ курсъ на Парижъ былъ не ниже 360 сантимовъ и чтобъ „превратныя идеи“

появлялись лишь въ умѣренномъ количествѣ, единственно какъ матеріалъ для подновленія слишкомъ истрепавшейся разговорной канвы. Въ настоящую же минуту сюжеты эти оказывались рѣшительно непригодными. Мысль была всецѣло поглощена одною, спеціальною темою и рѣшительно отказывалась работать на общечеловѣческой почвѣ.

— Вотъ и Тьеръ умеръ!—рискнулъ, наконецъ, кто-то.

— Да, да, да! жилъ-жилъ старичина—и померъ!

— Теперь у нихъ, пожалуй, на чистоту Макмагонія пойдетъ!

— Макмагонія... Тьеръ... да! Много старичина въ свою жизнь непотребствъ совершилъ, а вотъ какое жестокое время приспѣло, что и объ немъ приходится слезы лить!

И опять всѣ смолкли.

— Вотъ вамъ, Иванъ Николаичъ, извѣстно,—буркнулъ вдругъ Дрыгаловъ, обращаясь къ Глумову:—господинъ Макмагонъ и господинъ Базинъ—одно ли и то же это лицо?

— Ну, да; то-есть почти... Только одинъ убѣжалъ, а другой —остался...

— Такъ-съ. А у насъ въ городу непремѣнный засѣдатель въ полицейскомъ управленіи есть, Базинымъ прозывается, такъ онъ сказываетъ, что этому самому Базину двоюроднымъ племянникомъ приходится... чай, хвастаетъ?

Но вопросъ Дрыгалова такъ и остался безъ отвѣта. Увы! даже смерть Тьера не выгорѣла! Сколько бы въ другое время мы по ея поводу разговоровъ наговорили! а теперь вотъ сказали два-три слова — и словно законопатило! Чудятся: Плевна, Ловча, Шипкинскій проходъ; слышатся выстрѣлы, лязгъ штыковъ, бряцаніе сабель и стопы, стоны безъ конца! Мретъ русскій мужикъ, мужикъ, одѣвшійся въ солдатскую форму, мретъ поилецъ-кормилецъ русской земли! Не долгоязычничаетъ, сидя на печи, не критикуетъ, не побуждаетъ, а прямо несетъ свою голову на встрѣчу смерти!

Можно ли „разговаривать“, когда сердце истекаетъ кровью? Да и объ чемъ? Развѣ мы что-нибудь знаемъ? развѣ мы что-нибудь можемъ? какую связь мы имѣемъ съ этой безпримѣрной трагедіей, которая длится, длится безъ конца? Откуда вдругъ налетѣлъ шквалъ? какимъ образомъ составился сценарій трагедіи? что его питаетъ и долго ли будетъ питать? развѣ мы что-нибудь знаемъ?

Какъ знать,—можетъ быть, въ ту самую минуту, когда мы на

досугѣ судачимъ, гдѣ-нибудь тамъ, подъ Казанлыкомъ, подъ Ени-Загрой, разыгрывается... ахъ, страшно даже представить себѣ, что такое тамъ разыгрывается! Когда занавѣсъ остается безсмѣнно поднятымъ, когда со сцены ни на мгновеніе не сходитъ единственное дѣйствующее лицо—смерть, можно ли мыслить, можно ли даже ощущать что-нибудь иное, кромѣ щемящей боли, пронизывающей все существо, убивающей мысль, сдавливающей въ горлѣ вопль, готовый вылетѣть изъ груди?

— Вотъ и Гамбетта на три мѣсяца въ кутузку засаженъ...— опять-было началъ кто-то

И все окончательно смолкло.

Къ счастію, обѣдъ приходилъ къ концу; атмосфера столовой слишкомъ ужъ обострилась; ощущалась настоятельная потребность перемѣнить ее.

Но и въ кабинетѣ Положилова, куда мы перешли, чувствовалось не легче. Мы разсѣлись по угламъ и молчали, словно какая-то тупая враждебность овладѣла всѣми. Только Рогаткинъ и Дрыгаловъ — первый въ качествѣ будущаго исполнителя предначертаній, второй въ качествѣ жертвователя—въ полголоса толковали о томъ, какія должны быть одѣяла.

— Я думаю, аршина два длины достаточно будетъ? — робко выпытывалъ Дрыгаловъ, въ надеждѣ, что молодой человѣкъ, по неопытности, не замѣтитъ его жертвовательской продѣлки.

— Непремѣнно еще поларшина прикинь!—крикнулъ ему Глумовъ и, обратясь къ Рогаткину, прибавилъ: — Вы, молодой человѣкъ, шагъ за шагомъ за нимъ слѣдите, а то какъ разъ...

Дольше оставаться было незачѣмъ.

Такимъ образомъ, обычная воскресная программа осталась невыполненною, и, что всего прискорбнѣе, трудно было и въ будущемъ предвидѣть какія-либо отрадныя улучшенія въ этомъ смыслѣ. Карты не радовали, разговоры—пресѣклись. Въ такомъ сѣромъ настроеніи пройдетъ, вѣроятно, цѣлая длинная зима. На дворѣ уже становится жутко отъ холода, съ шести часовъ начинаются сумерки, дождь льетъ съ утра до вечера — какъ будемъ мы коротать безконечные осенніе вечера? Придется ходить изъ угла въ уголъ и думать... объ чемъ думать? объ томъ, что намъ и думать-то не объ чемъ! Какая, однакожъ, странная, почти страшная вещь!

Да, Глумовъ такъ-таки и утверждаетъ, что намъ думать и незачѣмъ, и не объ чемъ. Онъ увѣряетъ, что ни сочувствіе, ни несочувствіе наше, ни критики, ни панегирики—ничто не идетъ въ счетъ, что всѣ наши сужденія и рѣчи — кимвалъ бряцающій, что мы не можемъ быть ни искренними, ни правдивыми, что всякая наша попытка отнестись критически къ злобѣ дня отзывается или самохвальствомъ, или ложью, что, наконецъ, у насъ путро выгорѣло, какъ у старой печки, отслужившей свой вѣкъ... Положимъ, что онъ, по обыкновенію своему, преувеличиваетъ; но ежели есть даже частичка правды въ его словахъ—развѣ это не ужасно? Развѣ не ужасно уже и то, что человѣку можетъ *казаться* подобная безотрадная картина?

А частичка правды навѣрное есть. Въ самомъ дѣлѣ, кому нужны не только мнѣнія наши, но даже сочувствіе и панегирики? Ни силы не слышится въ нихъ, ни опоры они никому не могутъ дать—какая же надобность видѣть въ нихъ что-нибудь иное, кромѣ назойливаго желанія подслужиться или, много-много, оградить себя отъ какихъ-то загадочныхъ угрозъ? Никто нашихъ сочувствій не ищетъ, никто не утѣшается ими; что же касается до нашихъ критикъ, то всему міру извѣстно, что мы такую особенную манеру протестовать и критиковать выработали, которая бросается въ носъ крѣпче всякаго панегирика.

Празднословіе, праздношатательство, амуры и погоня за наживой—вотъ единственныя жизненныя основы, которыя завѣщаны намъ прошлымъ и которыя мы можемъ назвать вполнѣ своими, вполнѣ конкретными. Спрашивается: прочны ли онѣ? Очень возможно, что если бы онѣ могли длиться безъ конца, то мы сочли бы себя вполнѣ удовлетворенными; но въ томъ-то и дѣло, что на безконечность срываніе цвѣтовъ удовольствія даже самые легкомысленные изъ насъ нынѣче ужъ не разсчитываютъ... Поэтому, хотя люди и продолжаютъ слѣдовать по завѣщанной колеѣ, но дѣлаютъ это по-неволѣ, потому что идти больше некуда, и въ то же время отлично сознаютъ, что это—жизнь, висящая на волоскѣ, и что *пользоваться* подобнымъ существованіемъ, жуировать, можетъ только тотъ, кто упорно закрываетъ глаза всякій разъ, какъ промелькнетъ передъ нимъ призракъ будущаго. А призракъ этотъ начинаетъ мелькать какъ-то особенно назойливо.

Съ каждымъ днемъ, все больше и больше погружаясь въ пучину

отчужденности, мы мало-по-малу доходимъ до положенія эмигрантовъ, у которыхъ нѣтъ ничего, кромѣ мѣстожительства да ревниваго полицейскаго надзора. Нѣтъ у насъ ни бѣлаго, ни чернаго труда, нѣтъ ничего побуждающаго къ дѣятельности, напоминающаго о кровномъ, *своемъ* дѣлѣ... Есть только интересы мелкихъ удобствъ, да и тѣ не отъ насъ зависятъ, а отъ разныхъ учрежденій и лицъ, съ которыми мы ничѣмъ внутренно не связаны. Ничего нѣтъ, кромѣ массы праздпаго времени. А жить между тѣмъ надобно. Ужели только „для сродственниковъ и знакомыхъ", какъ объяснялъ давеча купецъ Дрыгаловъ?

Такова, какъ мнѣ кажется, внутренняя сущность давешнихъ Глумовскихъ рѣчей. Говоря по совѣсти, лично я даже не имѣю ни малѣйшаго основанія что-либо возражать противъ нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ такое вся моя собственная жизнь, какъ не приличное прозябаніе, съ обязательнымъ аккомпаньементомъ систематическаго воздержанія отъ жизни? Всегда мы шли съ Глумовымъ объ руку по одной и той же колеѣ, съ унынiемъ относясь къ прошлому, съ брезгливостью — къ настоящему, съ недоумѣніемъ — къ будущему. Что нами руководило при этомъ совершенно искреннее сознаніе полнѣйшей безнадежности какихъ бы то ни было усилій, что мы не рисовались, не кобянились — въ этомъ можетъ служить порукою хоть бы то, что мы, послѣ долгаго странствованія по прозябательному рецепту, все-таки пришли къ тому самому пункту, изъ котораго и отправились, то-есть къ унынію. Да, не весело-таки намъ живется, господа! право, не весело!

И такъ, съ личной точки зрѣнія, мы правы, и даже, можетъ быть, и не съ личной только, но и съ точки зрѣнія дѣйствительнаго положенія вещей. Но правы ли мы, обобщая заключенія, вынесенныя нами изъ жизненныхъ наблюденій? правы ли мы, выводя изъ этихъ наблюденій такія практическія примѣненія, которыя даже самому упорному индефферентизму вынести не въ силахъ, и которыя, стало быть, и практическими, въ строгомъ смыслѣ, названы быть не могутъ? По обыкновенію, я и на этотъ вопросъ не могъ отвѣтить категорическимъ да или нѣтъ, но, подъ вліяніемъ впечатлѣній дня, что-то хоть смутно, но подсказывало мнѣ: нѣтъ, мы неправы...

Какъ ни забитъ человѣкъ, какъ ни ясно для него самого, что онъ и безполезенъ, и безсиленъ, и беззащитенъ, все-таки остается еще убѣдить его, что самая приличная для него форма существова-

нія — это прозябаніе. Но тутъ-то именно и окажутся безсильными всѣ логическія доказательства. Никакая забитость, никакое сознаніе собственнаго безсилія не убѣдитъ человѣка, что онъ долженъ отказаться отъ прирожденнаго ему права быть судьей среды, въ которой онъ живетъ, и дѣлъ, которыя совершаются передъ его глазами. Допустимъ, что въ данномъ случаѣ отказъ и дѣйствительно былъ бы очень *приличенъ*, но что же такое вопросъ о приличіяхъ тамъ, гдѣ рѣшающее слово принадлежитъ самой природѣ человѣка?

Да, и въ тюрьмѣ есть доступъ въ область общечеловѣческой мысли и въ область общечеловѣческаго чувства! и въ тюрьмѣ трепещетъ мысль, горитъ сердце, кипитъ кровь! Даже тамъ, гдѣ въ силу всевозможныхъ уставовъ и правилъ жизнь уже прекращаетъ свое дѣйствіе, гдѣ повидимому уже нѣтъ ничего *своего*, оно все-таки есть, это *свое*, и никакіе запреты не сильны сказать ему: остановись! не иди дальше этой двери! Это *свое* неотступно идетъ за человѣкомъ, куда бы ни бросила его неумолимая судьба; оно раздѣляетъ съ нимъ и узы, и заключеніе, оно освѣщаетъ для него смрадный каменный мѣшокъ, въ которомъ онъ осужденъ нести иго жизни...

Сознавать свое существованіе лишнимъ, видѣть себя навсегда осужденнымъ, стоять передъ замкнутой дверью—конечно, ужасно; но и это не исключаетъ ни законности, ни возможности волненій негодованія и любви. Что нужды, что порывы мысли и чувства безслѣдно пропадутъ въ какой-то безсмысленной пропасти—человѣкъ все-таки будетъ негодовать и любить ради самого себя, ради того, что этого требуетъ сама природа его. Есть много простыхъ и честныхъ натуръ, которыхъ судьба съ жестокою послѣдовательностью отметаетъ отъ жизни, и которыя, несмотря на безчисленные удары, все-таки льнутъ къ ней. И льнутъ не во имя благъ, которыми она такъ обильна, а во имя страданій, которыхъ у нея тоже непочатый край. И кто же знаетъ — быть можетъ, когда-нибудь онѣ и прильнутъ?.. Какъ требовать отъ этихъ людей какой-то *приличной* сдержанности, какого-то благороднаго прозябанія, во имя того только, что эта сдержанность и прозябаніе заключаютъ въ себѣ косвенный протестъ противъ неправильностей жизни?

Даже и мы, теоретики приличнаго прозябанія, развѣ мы не волнуемся, не негодуемъ, не любимъ, несмотря на теоріи, несмотря даже на неопровержимыя свидѣтельства фактовъ?

Таковы были мысли, которыя невольно шевелились во мнѣ, покуда я шелъ вмѣстѣ съ Глумовымъ отъ Положиловыхъ. Несмотря на сравнительно ранній часъ, Разъѣзжая была совсѣмъ пустынна, такъ что если бы судить по ней, то можно было бы думать, что городъ совсѣмъ брошенъ. Масса сѣрыхъ облаковъ, казалось, висѣла надъ самыми крышами домовъ и безъ перерыва сѣяла мелкій дождь. Безконечное ненастье давило; глаза искали просвѣта и не находили. Вездѣ все заперто, заколочено, какъ и въ этой постылой жизни, въ которой, какъ ни стучись, какъ ни зови, нигдѣ ни до чего не достучишься и не дозовешься...

— А ты не совсѣмъ-таки правъ! — сказалъ я, наконецъ, Глумову послѣ довольно продолжительнаго молчанія.

— Не только не совсѣмъ, а даже и совсѣмъ неправъ, — отвѣтилъ онъ мнѣ.

— Ты не принялъ въ соображеніе многихъ обстоятельствъ. Такъ напримѣръ...

— И примѣры знаю.

— Нельзя рекомендовать людямъ прозябаніе, какъ приличнѣйшую форму существованія, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда они и подлинно сознаютъ, что всякій дѣятельный порывъ съ ихъ стороны безполезенъ?

— Нельзя.

— Нельзя сказать человѣку: не негодуй, не люби, когда сама природа вырываетъ изъ его груди слова негодованія и любви?

— Нельзя.

— Что же сей сонъ значитъ?

— А то и значитъ, что мы живемъ среди четырехъ глухихъ стѣнъ, въ которыхъ нѣтъ ни двери, чтобъ выйти, ни окна, чтобъ выброситься на мостовую. Въ этомъ тѣсномъ пространствѣ всякій правъ и всякій неправъ... за собственный счетъ. Какъ можно требовать отъ мысли, чтобъ она работала правильно, когда кругомъ царитъ кромѣшная тьма? Когда нельзя отличить надежды отъ отчаянія, лекарства отъ отравы? Я знаю, что заставить человѣка не мыслить, не волноваться, не негодовать, не любить—нельзя; но я знаю также, что рядомъ съ этимъ „нельзя“ стоитъ отрава, гласящая: безплодно! Стоя между этими двумя одинаково конкретными фактами, какъ я могу быть правымъ или неправымъ?

— Но вѣдь если ты хочешь, чтобъ общество развивалось, то ужъ, конечно, не съ помощью теоріи приличнаго прозябанія ты достигнешь...

— Знаю и это. Но слушай! будь другъ! прекратимъ этотъ разговоръ! До крови больно — человѣкъ вѣдь и я! Я соглашаюсь, что всякій имѣетъ право волноваться, любить, негодовать и вообще поступать по-человѣчески... Но трудно это, голубчикъ, ахъ, какъ трудно! Вѣдь по-человѣчески-то поступать только за свой счетъ можно, а много ли такихъ храбрецовъ! Большинство-то вѣдь только кобянится да грацію показываетъ—ужели и это тоже „право"? Или же двоедушничаетъ—вотъ какъ нашъ другъ Павелъ Ермолаичъ. Я вѣдь до сихъ поръ думалъ, что душа-то у него человѣческая, анъ она, выходитъ, куриная. Бѣденъ онъ, семействомъ угнетенъ—пусть такъ; но неужто же нельзя вести себя прилично, неужто нельзя безъ семи комитетовъ обойтись? Баста! съ нынѣшняго дня я ни объ чемъ другомъ не говорю, кромѣ какъ о Гамбеттѣ. Какъ ты думаешь, будетъ во Франціи переворотъ?

Вопросъ этотъ былъ сдѣланъ при поворотѣ на Вознесенскій проспектъ, какъ вдругъ изъ-за угла на насъ что-то стремительно наскочило. Вглядываемся: самъ Балалайкинъ собственной персоной!

— Куда? зачѣмъ?

— На войну, господа, ѣду!

Я, признаюсь, хотѣлъ-было поздравить его съ такимъ благороднымъ рѣшеніемъ, думая, что вотъ и Балалайку, стало быть, за живое зацѣпило, коль скоро кровь проливать идетъ; но Глумовъ оказался и тутъ проницательнѣе меня.

— Гешефтъ нашелъ?—спросилъ онъ кратко.

— Наши тамъ... сухари... галеты... по сту тысячъ въ сутки зарабатываютъ... зовутъ!

— То-то ты такъ и запыхался—бѣжишь... курицынъ сынъ!

Но Балалайкинъ не слыхалъ, или притворился, что не слыхалъ этой апострофы, и продолжалъ бормотать:

— Сухари... галеты... а притомъ и народъ мретъ... Наслѣдства открываются: по закону, по завѣщанію... всѣхъ сортовъ... Опять же и долговыя обязательства... охраненіе имущества... пропасть дѣла, пропасть! Только поспѣвай!

II.

Едва еще было девять часовъ утра, какъ я былъ пробужденъ сильнымъ звонкомъ, раздавшимся въ передней. Вслѣдъ затѣмъ до слуха моего донеслись переговоры и пререканія, а черезъ минуту я уже зналъ, что господинъ Балалайкинъ настоятельно требуетъ видѣть меня по крайне нужному дѣлу.

— Свободныя деньги есть?—такъ-таки прямо и оборвалъ онъ меня, какъ только я вошелъ въ кабинетъ.

Онъ расположился у меня какъ свой человѣкъ, то-есть забрался на кушетку съ ногами и съ невыразимою наглостью покуривалъ сигару, осыпая пепломъ коверъ и обивку мебели.

Вопросъ о деньгахъ, признаюсь, нѣсколько смутилъ меня. Капиталъ у меня хоть и небольшой, но есть. Какъ истинно-культурный русскій человѣкъ, я давно понялъ, что всякія недвижимости, до которыхъ, подъ прикрытіемъ крѣпостного права, такъ падки были наши отцы, могутъ, на будущее время, служить лишь къ обремененію, и потому довольно ходко совершилъ ликвидацію суходоловъ и мокрыхъ мѣстъ, составлявшихъ совокупность полученнаго мною отцовскаго наслѣдія. Результатомъ этой ликвидаціи былъ капиталъ, часть котораго я, въ свою очередь, тоже ликвидировалъ въ увеселительныхъ заведеніяхъ обѣихъ столицъ, но, на мое счастіе, нашлись добрые люди, которые во-время остановили меня отъ дальнѣйшей ликвидаціи. Съ тѣхъ поръ я окончательно сосчитался съ собой, спряталъ остатки капитала въ надежное мѣсто и... ожесточился. Вздрагиваю всякій разъ, когда кто-нибудь при мнѣ начинаетъ разговаривать объ отсутствіи въ русскихъ духа предпріимчивости, и невольно блѣднѣю при мысли: а что, ежели явится обольститель и отниметъ у меня мои деньги?

Да и денегъ-то вѣдь немного... ахъ, какъ немного! именно въ обрѣзъ, столько, сколько нужно, чтобъ обезпечить человѣку возможность жить, раскладывая гранъ-пасьянсъ и не трепеща отъ ужаса при мысли о завтрашнемъ днѣ. Все у меня разсчитано заранѣе: сколько можно истратить въ день на извозчика, на ѣду, на папиросы, на прачку и проч. Слѣдовательно, унеси у меня сегодня кто-нибудь тысячу рублей, то я *немедленно завтра же почувствую,*

что въ моемъ годовомъ бюджетѣ послѣдовала убыль въ пятьдесятъ-шестьдесятъ рублей. А какъ только унесли тысячу, то за нею непремѣнно послѣдуетъ другая, третья, четвертая — это ужъ я знаю по опыту. Стоитъ только разъ сойти со стези непреклонности, а затѣмъ —пиши пропало! Поэтому я даже другу моему, Глумову, никогда о капиталахъ моихъ не говорю — все думаю: а вдругъ попроситъ! И онъ мнѣ о своихъ капиталахъ не говоритъ, — тоже, конечно, думаетъ: а вдругъ попроситъ! Молчокъ—святое дѣло. Ибо ежели, съ одной стороны, въ человѣкѣ нѣтъ рѣшимости сдѣлаться червоннымъ валетомъ, а съ другой стороны не предвидится и иныхъ путей для „полученій", то понятное дѣло, что вся его мысль исключительно поглощается однимъ предметомъ: охраненіемъ тайны существованія наслѣдственныхъ четвертаковъ и пятиалтынныхъ отъ нескромной любознательности постороннихъ лицъ. Подумайте! вѣдь на этихъ пятиалтынныхъ зиждется все благополучіе современнаго культурнаго русскаго человѣка! вѣдь человѣкъ этотъ все еще не утратилъ вкуса къ жизни, хотя и не можетъ дать себѣ отчета, чего ему отъ нея надобно!

— Деньги? какія же могутъ быть у меня деньги? — отвѣчалъ я, усиливаясь придать моему голосу тонъ непринужденности, но въ то же время чувствуя, что внутри у меня все дрожитъ.

— Разсказывайте! живете же чѣмъ-нибудь!

— Конечно, живу... Какой вы, однако, наглый, Балалайкинъ! Вамъ недостаточно знать, что человѣкъ живетъ — нѣтъ, вы непремѣнно хотите доискаться, на чей счетъ онъ живетъ, сколько тратитъ, дѣлаетъ ли долги, или, напротивъ, откладываетъ сбереженія для пріобрѣтенія бумагъ, дающихъ небольшой, но за то вѣрный доходъ.

— Совсѣмъ я этого знать не желаю; я просто спрашиваю: есть ли у васъ свободныя деньги? потому что мнѣ нужно.

— Нужно!—а это развѣ не наглость? Вамъ — нужно, а мнѣ, можетъ, совсѣмъ не нужно, чтобъ вы знали. Нѣтъ, это ужъ такая привычка у васъ пошлая: не можете вы мимо человѣка пройти, чтобъ не заглянуть, что у него въ карманѣ! Нужно, изволите видѣть, ему знать... нужно!

— Да увѣряю васъ: нужно!

Настойчивость эта разсердила меня еще пуще. Не говоря ни

слова, я присѣлъ къ письменному столу съ твердою рѣшимостью оставаться глухимъ къ какимъ бы то ни было обольщеніямъ.

— А я бы хорошій процентъ далъ! — продолжалъ Балалайкинъ, располагаясь на кушеткѣ какъ можно комфортабельнѣе и даже потягиваясь.

Я молчу.

— Напримѣръ, два процента въ мѣсяцъ... и съ гарантіей, что въ этомъ размѣрѣ теченіе процентовъ будетъ продолжаться не менѣе года.

Прежнее молчаніе съ моей стороны — и выжидательный зѣвокъ со стороны Балалайкина.

— А возможно и такъ: половина всѣхъ прибылей предпріятія съ гарантіей минимума, напримѣръ, въ размѣрѣ двадцати-четырехъ процентовъ.

Въ такомъ вкусѣ длятся краткіе монологи минутъ десять. Приносятъ два стакана чаю: для меня и для Балалайкина. Я беру свой стаканъ и отсылаю другой, говоря, что Балалайкинъ можетъ и безъ чаю остаться. Но онъ и этимъ не пронимается.

— А я бы стаканъ выпилъ, — говоритъ онъ: — впрочемъ... Такъ вотъ что̀, голубчикъ: три процента въ мѣсяцъ съ учетомъ впередъ за цѣлый годъ. C'est à prendre ou à laisser!

— Слушайте, Балалайкинъ!—не выдерживаю я: — ежели вы не прекратите этого разговора—клянусь, я пошлю за городовымъ!

— Что-жъ, и городовой всякій скажетъ, что мое предпріятіе вѣрное. И не только вѣрное, но и... патріотическое... да!

— Вы—патріотъ!—вскрикиваю я внѣ себя отъ гнѣва и боли: —вы, Балалайкинъ... вы! Вы—побочный сынъ не то Репетилова, не то Удушьева... Вы—поставщикъ самыхъ достовѣрныхъ лжесвидѣтелей... ахъ!

— И все-таки, я повторяю: предпріятіе мое не только вѣрное, но и патріотическое... да! А обстоятельство, что я—побочный сынъ, не имѣетъ къ дѣлу никакого отношенія, и я даже удивляюсь, что человѣкъ образованный и въ нѣкоторомъ родѣ даже либералъ... Впрочемъ, я не желаю оставаться на почвѣ инкриминацій, а повторяю: мое предпріятіе вѣрно и патріотическое!.. да! И я охотно предложилъ бы на выборъ: или принять непосредственное участіе въ дѣлѣ, или ссудить меня деньгами за хорошій процентъ!

Я смотрѣлъ и не вѣрилъ глазамъ. Потокъ брани, который я въ-горячахъ вылилъ на него (я даже самъ упрекалъ себя: съ какой стати я объ Репетиловѣ и Удушьевѣ напомнилъ!), не только не заставилъ его покраснѣть или поколебаться, но повидимому даже оказалъ на него какъ бы укрѣпляющее дѣйствіе.

— Я уже былъ по этому дѣлу сегодня съ визитомъ у господина Глумова,—продолжалъ онъ совершенно спокойно.

— Врете вы! ужъ одно то, что только теперь бьетъ девять часовъ, доказываетъ...

— Былъ-съ. И даже входилъ въ соглашеніе...

— Которое, конечно, кончилось тѣмъ, что Глумовъ предложилъ вамъ оставить его квартиру...

— Нѣтъ-съ, господинъ Глумовъ обѣщалъ подумать...

Я въ волненіи ходилъ по комнатѣ. Вотъ тварь,—думалось мнѣ,—которая впилась въ мое существованіе и отъ которой я ни подъ какимъ видомъ отцѣпиться не могу! Какой-то фатализмъ тяготѣетъ надо мной относительно Балалайкина—фатализмъ, воспріявшій начало еще въ то время, когда я вѣрилъ въ искренность и либерализмъ Ипполита Маркелыча Удушьева. Я помню: это было лѣтъ двадцать тому назадъ. Я сгаралъ жаждой подвига, который, по тогдашнему времени, заключался въ томъ, чтобъ такую статейку тиснуть, въ которой бы не только цензура, но и самъ чортъ ногу переломилъ. Но прежде, нежели приступить къ выполненію подвига, нужно было, чтобъ кто-нибудь изъ старыхъ воробьевъ благословилъ на него. Въ то время всѣхъ благословлялъ Удушьевъ. Его только-что откуда-то возвратили, и Москва, въ которой онъ поселился, съ благоговѣйнымъ вниманіемъ прислушивалась къ его реченіямъ. Я нарочно поѣхалъ въ Москву изъ Петербурга и не безъ труда добился доступа къ Удушьеву. Онъ принялъ меня важно: въ халатѣ и полулежа въ длинномъ креслѣ. Это былъ старикъ бодрый, громаднаго роста, нѣсколько тучный и румяный; масса сѣдыхъ кудрей вѣнчала его словно ореоломъ. Въ его глазахъ безпрерывно вспыхивалъ огонь („я старый крамольникъ", говорилъ онъ, „хотя сознаюсь, что въ настоящее время для крамольничества нѣтъ пищи!"), а говорилъ онъ плавно, размѣренно, начавъ собесѣдованіе важнымъ дактилемъ и незамѣтно перейдя въ игривый анапестъ. Часто ссылался на свой „Взглядъ и нѣчто" и, чтобъ сдѣлать эти ссылки болѣе доступными, подкрѣплялъ

ихъ цитатами изъ водевилей Репетилова. Теперь я понимаю, что въ рѣчахъ его ничего не было, кромѣ смѣси самаго обыкновеннаго реторическаго лганья съ водевильнымъ легкомысліемъ, но тогда казалось, что это именно и есть языкъ, приличествующій глубокому убѣжденію, смягченному привычками благовоспитанности. Странная вещь! этотъ человѣкъ довольно-таки вытерпѣлъ, многое видѣлъ въ жизни, многое могъ лично наблюсти — и за всѣмъ тѣмъ былъ до того полонъ отрывками изъ „Взгляда и нѣчто“, что десятки лѣтъ, казалось, прошли мимо, не измѣнивши ни одной строки въ этомъ загадочномъ profession de foi. Повидимому, онъ интересовался и новой русской литературой, но преимущественно театромъ, причемъ—такова жизненность репетиловскихъ преданій—одобрялъ Ленскаго и Кони и сдержанно относился къ Островскому.

— Островскій интересенъ! — отозвался онъ: — да... это несомнѣнно: онъ интересенъ! но мой почтеннѣйшій другъ Михайло Семенычъ (актеръ Щепкинъ) не даромъ говоритъ, что со времени его появленія русская сцена пропахла овчиннымъ полушубкомъ!

Одною изъ особенностей этого свиданія было то, что покуда Удушьевъ на тысячу ладовъ перефразировалъ передо мной свой „Взглядъ и нѣчто“, въ комнатѣ наянливо копошился не совсѣмъ опрятный, но вороватый мальчишка, который дѣлалъ мнѣ тысячи надоѣдливыхъ пакостей: сразбѣгу кидался мнѣ на ноги, карабкался на спинку кресла, въ которомъ я сидѣлъ, теребилъ меня сзади за волосы и проч. И вотъ когда началось „благословеніе“, Удушьевъ, возложивъ обѣ руки на мою голову, подозвалъ къ себѣ и вороватаго мальчишку.

— Балалайкинъ! преклони колѣна!—сказалъ онъ, торжественно указывая на меня:—запомни черты этого многообѣщающаго юноши, ибо онъ—мой продолжатель! А вы, — продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—рукоположите въ свою очередь этого отрока. Онъ будетъ *вашимъ* продолжателемъ!

Затѣмъ онъ слегка приподнялся въ креслѣ, дрожащимъ голосомъ пропѣлъ куплетъ изъ „Стряпчаго подъ столомъ“—и церемоніалъ былъ выполненъ. Но когда я откланивался, то на прощаніе онъ счелъ долгомъ вновь напомнить мнѣ о Балалайкинѣ.

— Поберегите его!—сказалъ онъ мнѣ: — Богъ знаетъ, долго ли я проживу, а между тѣмъ.... Балалайкинъ — это послѣдній от-

прыскъ единственнаго человѣка, который въ совершенствѣ понималъ меня! Онъ — побочный сынъ Репетилова и Стешки... знаменитой Стешки... ахъ, бестія, какъ она заливалась въ „Настасьѣ“! Ея голосъ—покрывалъ весь хоръ!

Разумѣется, я долженъ былъ обѣщать, и вотъ съ этихъ-то поръ Балалайкинъ впился въ мое существованіе. Изгнанный изъ лицея Каткова за крамольно-легкомысленное отношеніе къ латинской грамматикѣ, онъ явился въ Петербургъ юношей полнымъ надеждъ и самымъ безцеремоннымъ образомъ потребовалъ, чтобъ я его поддержалъ. Я отнесся къ нему очень привѣтливо и тотчасъ же опредѣлилъ въ департаментъ „напрасныхъ тревогъ“; а когда ему тамъ не понравилось, то въ теченіе одного года послѣдовательно переводилъ его въ четыре другіе департамента, изъ коихъ послѣднимъ былъ департаментъ „возбужденія вопросовъ и оставленія таковыхъ безъ разрѣшенія“. Но онъ нигдѣ не уживался, лѣнился, манкировалъ, не могъ путно двухъ строкъ написать, и, что̀ всего важнѣе, однажды, во время доклада, во всеуслышаніе пропѣлъ „La chose“ и тѣмъ произвелъ волненіе среди департаментскихъ чиновниковъ, которые, съ вице-директоромъ во главѣ, бросивъ занятія, начали ему подпѣвать. Съ тѣхъ поръ онъ окончательно повисъ у меня на шеѣ, и сколько двугривенныхъ и четвертаковъ передавалъ я ему — такъ и теперь встаютъ дыбомъ волосы, когда я вспоминаю объ этомъ! Я не говорю, чтобъ я смиренно переносилъ его нахальство — нѣтъ: очень часто я даже объяснялся съ нимъ на самомъ чистѣйшемъ русскомъ діалектѣ, но онъ не только не смущался этимъ, но даже съ каждымъ подобнымъ объясненіемъ какъ бы усугублялъ свою привязанность ко мнѣ. Придетъ, бывало, дернетъ во всю мочь за звонокъ, устрашитъ слугу, ежели послѣдній вздумаетъ попрепятствовать ему войти въ переднюю, и ворвется.

— Прикажите-ка, папенька-крестный,—скажетъ,—извозчику за меня заплатить, да кстати ужъ каминчикъ бы затопить, да котлеточку... Иззябъ и проголодался... смерть!

Только тогда я вздохнулъ свободно, когда былъ объявленъ скорый и правый судъ. Найдя въ немъ пріютъ въ качествѣ адвоката, Балалайкинъ, съ свойственною легкомыслію неблагодарностью, тотчасъ прекратилъ свои посѣщенія ко мнѣ, чѣмъ я, впрочемъ, не только не опечалился, но даже втайнѣ ласкалъ себя надеждой, что теперь-то

ужъ непремѣнно сошлютъ его на поселеніе, ибо въ противномъ случаѣ какое же значеніе имѣлъ бы милостивый судъ?

И вдругъ этотъ человѣкъ снова становится на моемъ пути и требуетъ у меня—чего?—ужъ не просто двугривеннаго или пятиалтыннаго, чтобъ заплатить за извозчика, а... капитала!!

— Все-то вы врете! — сказалъ я: — никогда Глумовъ не обѣщалъ, да и не могъ обѣщать вамъ подумать. На васъ достаточно взглянуть, чтобъ сейчасъ же дать отвѣтъ на всякій вопросъ, который вы предложите!

— Будто ужъ у меня такая открытая физіономія?

— У васъ физіономія... у васъ, я вамъ скажу, такая физіономія...

— Не продолжайте. И все-таки, я вамъ говорю правду: господинъ Глумовъ не только обѣщалъ подумать, но даже прямо выразился: „предпріятіе ваше несомнѣнно выгодное, но прежде все-таки надо сообразить, какого сорта вознагражденія слѣдуетъ за него ожидать“.

— Ну, да... конечно, такъ! то-есть, дивиденда или трёпки!

— А я, напротивъ, увѣренъ, что господинъ Глумовъ хотѣлъ сказать совсѣмъ другое, а именно: такъ какъ предпріятіе хотя и несомнѣнно выгодно, но все-таки сопряжено съ рискомъ, то сообразно съ этимъ должно быть опредѣлено и вознагражденіе. Какъ человѣкъ осмотрительный, онъ не бросился въ предпріятіе сразу, но пожелалъ предварительно сообразить размѣръ процента, основательно взвѣсивши всѣ шансы pro и contra...

Отвѣтъ этотъ заставилъ меня нѣсколько поколебаться. Конечно, я понималъ, что Балалайкинъ лжетъ, но ссылка на осмотрительность и сообразительность Глумова все-таки заключала въ себѣ нѣкоторое правдоподобіе. Дѣйствительно, я и Глумовъ (а можетъ быть и большинство нашихъ сверстниковъ вообще) не имѣемъ недостатка ни въ осмотрительности, ни въ сообразительности, чему наглядымъ доказательствомъ служитъ уже одно то, что мы, несмотря на крамольный духъ, находимся только на замѣчаніи, но живота не лишены. Конечно, мы кассы гласныхъ ссудъ не откроемъ, но что касается до того, чтобъ получить хорошій процентъ, и ежели притомъ благородно и для всѣхъ безобидно...

— Да что жъ это за предпріятіе, наконецъ?—спросилъ я, значительно смягчаясь.

— Отбивать не будете?

— Балалайкинъ! вы сошли съ ума!

— Хорошо, я вамъ вѣрю. И такъ, вотъ что: на дняхъ я очень дешево присмотрѣлъ партію килекъ...

Онъ пристально взглянулъ на меня, словно наслаждаясь чувствомъ недоумѣнія, которое выразило мое лицо.

— Кильки ревельскія, настоящія,—продолжалъ онъ:—съ запашкомъ, правда, — ну, да вѣдь à la guerre comme à la guerre...

— Ну?

— Присмотрѣлъ я партію въ сто тысячъ банокъ. Мы покупаемъ здѣсь въ лавкахъ банку по восьмидесяти копѣекъ, а мнѣ одинъ изъ моихъ клієнтовъ уступаетъ банку по пятнадцати копѣекъ, то-есть, собственно говоря, возвращаетъ себѣ лишь цѣнность стекла.

— Чортъ знаетъ, что вы городите!

— Дѣлаетъ онъ такую значительную уступку, разумѣется, преимущественно потому, что, какъ я уже сказалъ, кильки выдержаны, съ запашкомъ. Но, во-первыхъ, ежели продавать кильки въ банкахъ, то и въ мирное время этотъ недостатокъ будетъ замѣтенъ лишь по откупоркѣ, а, во-вторыхъ, на полѣ битвы, когда люди ѣдятъ урывками, воинъ, конечно...

— Ахъ, да уйдите вы отъ меня, Христа ради!

— Выслушайте, прошу васъ, до конца. Когда мнѣ было сдѣлано предложеніе о покупкѣ упомянутой партіи килекъ, то у меня натурально сейчасъ же блеснула въ головѣ мысль, что килька должна сыграть на Дунаѣ большую роль. Въ настоящее время, какъ это подтверждаютъ корреспонденты всѣхъ русскихъ газетъ, въ нашей арміи ни въ чемъ не ощущается такого существеннаго недостатка, какъ въ закускахъ. Подмѣтивъ этотъ фактъ, я прежде всего остановилъ свой взоръ на сардинкѣ; но покуда я входилъ въ сношенія по этому предмету, всю свободную сардинку уже скупилъ Новосельскій, который уже недреманнымъ окомъ слѣдилъ за газетными корреспонденціями. Затѣмъ я долгое время блуждалъ между икрой, балыкомъ и сыромъ, покуда счастливая случайность не натолкнула меня на кильку. Какъ вы думаете, сколько килекъ заключается въ каждой банкѣ?

— Не считалъ, не знаю.

— А я считалъ: ровно сто-шестьдесятъ-три. Тогда какъ въ

коробкѣ сардинокъ, стоющей столько же, сколько и цѣлая банка килекъ, помѣщается не больше пятнадцати рыбокъ. Теперь резюмируемъ нашу мысль. Получивъ единственный въ своемъ родѣ случай пріобрѣсти за ничто громадную партію килекъ, мы имѣемъ возможность не только конкуррировать съ сардиной Новосельскаго, но и положительнѣйшимъ образомъ убить ее. Какъ ни великъ патріотизмъ Новосельскаго, но онъ, какъ ни вертись, не можетъ отпустить свою сардину дешевле, какъ по шести копѣекъ за штуку, тогда какъ мы, даже принимая за норму цѣны, существующія на кильку въ петербургскихъ лавкахъ, имѣемъ полную возможность за копѣйку предложить потребителю двѣ штуки отличнѣйшей въ мірѣ закуски! Ясно, что *нашу* закуску съ удовольствіемъ купитъ даже солдатъ, тогда какъ надъ закуской Новосельскаго по временамъ задумается и армейскій офицеръ. Но я иду дальше; рядомъ неопровержимыхъ доводовъ я докажу вамъ, что *нашу* закуску, преимущественно предъ закуской Новосельскаго, пріобрѣтетъ не только недостаточный чинъ арміи и флотовъ, но и баловень фортуны, гвардейскій офицеръ. И не потому только, что она *дешевле*, а потому, что она *лучше*. Дѣлая въ теченіе десяти дней самые тщательные опыты надъ сардинкой и килькой, какъ съ точки зрѣнія вкусового ощущенія, доставляемаго этими рыбами, такъ и со стороны сравнительнаго вліянія ихъ на физическій и духовный организмъ человѣка, я пришелъ къ слѣдующимъ неопровержимымъ выводамъ. Сардинка, будучи приготовлена на маслѣ, имѣетъ вкусъ прѣсный и потому скоро пріѣдается, тогда какъ килька, сдобренная перцемъ и лавровымъ листомъ — никогда! Въ военное время это очень важно! На войнѣ, господа судьи (Балалайкинъ вдругъ всталъ и простеръ руки, вообразивъ, что онъ произноситъ на судѣ защитительную рѣчь), разнообразіе закусокъ — вещь очень желательная, но достижимая ли — это еще вопросъ. Это — идеалъ, къ которому будутъ вѣчно устремляться всѣ помыслы заботливыхъ военачальниковъ, но идеалъ, которому, смѣло могу сказать, никогда не суждено осуществиться. Подъ градомъ пуль и гранатъ, въ виду устремляющейся со всѣхъ сторонъ смерти, не столько важно разнообразіе закуски, сколько непріѣдаемость ея. На этой незыблемой основѣ покоится изобрѣтеніе гороховой колбасы, и этимъ же свойствомъ въ высшей степени обладаетъ—килька!! Она имѣетъ ту же манность, какъ и сардинка, но вмѣстѣ съ тѣмъ обладаетъ задержкою, въ видѣ продольной кости,

которая положительно препятствуетъ переходу манности въ притворность. Мало того: килька не притупляетъ вкусовыхъ органовъ, какъ сардинка, но дѣйствуетъ на нихъ возбуждающимъ и, такъ сказать, развивающимъ образомъ. Съѣшьте одну сардинку—и съ васъ достаточно; съѣшьте кильку—и вамъ захочется съѣсть еще пять, десять, сто, тысячу килекъ! Таковы, милостивые государи, результаты моихъ наблюденій съ точки зрѣнія непосредственно вкусовой. Что же касается до сравнительнаго вліянія сардинки и кильки на физическій и духовный организмъ человѣка, то наблюденія мои могутъ быть выражены въ слѣдующихъ немногихъ, но рѣшительныхъ выводахъ: 1) сардинка, даже при умѣренномъ употребленіи, производитъ отяжелѣніе въ желудкѣ, тогда какъ килька подстрекаетъ желудокъ къ новой и новой дѣятельности; 2) производя отяжелѣніе физическое, сардинка сообщаетъ вялость и умственнымъ отправленіямъ человѣка, вливаетъ ядъ сомнѣнія и нерѣшительности въ его дѣйствія, тогда какъ килька —веселитъ и одушевляетъ человѣка жаждою славы и подвиговъ... Вотъ, милостивые государи, не фантастическія, но вполнѣ осязательныя основанія, которыя заставляютъ меня прозрѣвать въ недалекомъ будущемъ несомнѣнную побѣду кильки надъ сардинкой, несмотря на патріотическія усилія г. Новосельскаго сдѣлать послѣднюю обязательною закуской русскихъ воиновъ на все время достославной борьбы за независимость единовѣрныхъ и единокровныхъ намъ славянъ. Представьте же себѣ теперь...

Онъ вдругъ поперхнулся и выпучилъ глаза. Ни судей, ни присяжныхъ, ни публики — никого передъ нимъ не было. Нѣсколько минутъ онъ стоялъ въ изумленіи, припоминая, какимъ образомъ онъ очутился въ моей квартирѣ и что собственно заставило его произнести вдохновенную рѣчь въ защиту кильки. Наконецъ онъ припомнилъ.

— Я, кажется, увлекся, — сказалъ онъ: — но все равно. Высказанныя мною сейчасъ основанія настолько вѣрны, что едва-ли вы найдете возможнымъ опровергнуть ихъ. Теперь остается доказать самое существенное: то-есть, опредѣлить ожидаемую отъ предпріятія прибыль. По моему, это очень просто. Употребивши на пріобрѣтеніе ста тысячъ банокъ килекъ пятнадцать тысячъ рублей, предпріятіе, въ какихъ-нибудь два-три мѣсяца, учетверяетъ свой капиталъ... гдѣ, спрашиваю я васъ, въ какой странѣ возможно столь быстрое и притомъ ни съ чѣмъ несообразное накопленіе богатствъ?

Онъ обратилъ на меня взоръ, полный легкомысленной увѣренности, что нарисованная имъ перспектива заставитъ меня немедленно вынуть изъ кармана ключъ. Но увы! я уже охладѣлъ...

— Быть можетъ, вамъ недостаточно этихъ соображеній, и вы ожидаете отъ меня дальнѣйшихъ,—вновь началъ онъ: — извольте, есть и дальнѣйшія. Во-первыхъ, не слѣдуетъ упускать изъ вида, что въ настоящій моментъ на Дунаѣ всѣ расплаты производятся не кредитными рублями, а на звонкую монету. Слѣдовательно, покупая банку килекъ за восемь гривенниковъ, воинъ, собственно говоря, уплатитъ намъ не восемь гривенниковъ, а рубль двадцать копѣекъ, что̀ дѣлаетъ будущность, ожидающую предпріятіе, еще болѣе блестящею. Во-вторыхъ, учетверивъ, въ теченіе двухъ-трехъ мѣсяцевъ, свой первоначальный фондъ, предпріятіе можетъ продолжать операцію дальше, то-есть не только наводнить килькою поля битвъ, но и накормить ею болгаръ, герцеговинцевъ, черногорцевъ и вообще всѣхъ, борющихся за святое дѣло свободы и независимости. Въ-третьихъ, предпріятіе, независимо отъ громадныхъ матеріальныхъ выгодъ, навѣрное будетъ пользоваться въ глазахъ начальства и патріотическою окраской. Конечно, мы пріобрѣтаемъ кильку почти задаромъ, но вѣдь это извѣстно только намъ; въ глазахъ же цѣлаго міра будетъ стоять тотъ непререкаемый фактъ, что мы банку килекъ, стоющую въ Петербургѣ (то-есть почти въ самомъ мѣстѣ ея производства) восемдесятъ копѣекъ, за тѣ же восемдесятъ копѣекъ продаемъ на Дунаѣ! И пространство, и время, и даже законные проценты на затраченный капиталъ — все принесено нами на алтарь любви къ отечеству! Ужели это не величественное зрѣлище! И замѣтьте: мы ничего не просимъ; мы не выговариваемъ въ свою пользу даже тѣхъ десяти процентовъ, которые получаютъ Коганъ, Горвицъ, Грегеръ и комп.; мы требуемъ только одного: дайте просторъ нашей килькѣ, не стѣсняйте естественное распространеніе ея въ средѣ русскихъ воиновъ! Разумѣется, если Новосельскій приметъ явственно-насильственныя мѣры, чтобъ подчинить нашу вкусную и вполнѣ приспособленную къ военнымъ обстоятельствамъ закуску своей нецѣлесообразной и вредно дѣйствующей на духъ войскъ сардинкѣ— тогда... ну, тогда окажите намъ защиту... но только защиту! Ужели и этого много?

Онъ вновь обратилъ ко мнѣ молящіе взоры; но я продолжалъ оста-

ваться безучастнымъ и холоднымъ. Мало того: я рѣшился сразу и окончательно высказаться.

— Послушайте, Балалайкинъ,—сказалъ я:—я одному удивляюсь, какъ это вамъ не приходитъ въ голову: а что если меня за такіе проекты возьмутъ да повѣсятъ?

— Этотъ вопросъ уже былъ мнѣ предложенъ господиномъ Глумовымъ,—отвѣтилъ онъ:—да, впрочемъ, я и самъ имѣлъ его въ виду, когда обсуждалъ шансы предпріятія.

— Вотъ видите! стало быть, вы ужъ и сами догадывались, что предпріятіе ваше совсѣмъ не такое патріотическое, какимъ вы его хотите представить теперь.

— Нѣтъ, я не догадывался, а просто разсчитывалъ и соображалъ. Такъ какъ въ военное время возможны всякаго рода недоразумѣнія, то весьма естественно, что я принималъ во вниманіе и шансъ быть повѣшеннымъ.

— И разумѣется, по строгомъ размышленіи, пришли къ убѣжденію...

— Что вѣшать рѣшительно не за что. Вотъ если бы я распространялъ превратныя идеи — ну, тогда не спорю... Но килька, и притомъ по такой дешовой цѣнѣ...

— Балалайкинъ! вы слишкомъ снисходительны къ себѣ! Подумайте, вѣдь вы сами только-что выразились—и, по моему, черезъ-чуръ даже деликатно—что ваши кильки съ запашкомъ, а на дѣлѣ-то онѣ должны быть просто-на-просто протухлыя. Я не спорю, вашъ проектъ основанъ на такой мизерной частности, что назвать его злодѣйствомъ, въ строгомъ смыслѣ, нельзя; но ежели вы и не заслуживаете названія злодѣя, то совсѣмъ не потому, чтобы у васъ не было доброй воли сдѣлаться имъ, а потому, что на изобрѣтеніе настоящаго злодѣйства у васъ не хватитъ ни смѣлости, ни воображенія. Переступите одну черту, только одну черту—и вы единогласно приговорены! Вѣдь вы ужъ примирились съ мыслью, что воины, „въ торопяхъ“, могутъ гнилыя кильки глотать (на этой „мысли“ вертится весь нашъ проектъ): отчего же не примириться и съ тѣмъ, напримѣръ, что тѣ же воины, „въ торопяхъ“, могутъ гнилыми сухарями довольствоваться? Вы скажете, быть можетъ, что эта мысль уже предвосхищена и по мѣрѣ возможности приводится въ исполненіе. Прекрасно! На это я могу отвѣтить вамъ слѣдующее: изобрѣтатели гнилыхъ сухарей, конечно, въ

болѣе или менѣе близкомъ будущемъ, не избѣгнутъ должнаго возмездія—по крайней мѣрѣ, вся образованная Россія съ надеждой ожидаетъ этого — но и вамъ, злодѣю мелкому, все-таки слѣдуетъ отнестись къ себѣ строже и спросить себя: не будетъ ли висѣлица лишь слабымъ вознагражденіемъ за вашу прожектерскую дѣятельность?

Балалайкинъ на минуту задумался и даже инстинктивно потеръ рукою шею, словно ощущая на ней присутствіе веревки! Но сейчасъ же вслѣдъ за этимъ онъ уже смотрѣлъ по прежнему бодро.

— И такъ, вы возбуждаете вопросъ объ уголовномъ возмездіи...

— Я, собственно, ничего не возбуждаю; но думаю, что вопросъ этотъ возникаетъ самъ собою, силою вещей, какъ возникло, напримѣръ, дѣло московскаго учетнаго банка.

— И кончилось тѣмъ, что Струсбергъ *препровожденъ* за границу, а Ландау самъ туда бѣжалъ... Моралистъ! — пошутилъ онъ ужъ совсѣмъ весело.

— Моралистъ—пожалуй. И даже неудачный—согласенъ и на это. Но вотъ въ чемъ дѣло. Давеча у меня сорвалось съ языка напоминаніе о томъ, что вы—сынъ Репетилова. Что я поступилъ въ этомъ случаѣ болѣе нежели опрометчиво—въ этомъ я сознаюсь вполнѣ искренно. Но теперь я даже вдвойнѣ сознаю свою опрометчивость, потому что Репетиловъ—вѣдь это что же такое? Репетиловъ, это—идеалъ душевной опрятности, Репетиловъ, это — человѣкъ безъ упрека... разумѣется, говоря не абсолютно, а сравнительно. Репетиловъ легкомысленъ, назойливъ и даже, пожалуй, противенъ, но все-таки врядъ-ли кому-либо изъ его сверстниковъ могло придти на мысль сказать при взглядѣ на него: вотъ человѣкъ, котораго настоятельно нужно повѣсить. Подобный приговоръ былъ бы и жестокъ, и несправедливъ, потому что преступленія, совершаемыя Репетиловыми, таковы, что щелчокъ въ носъ служитъ вполнѣ достаточною для нихъ оцѣнкою. Теперь сравните же... но нѣтъ!.. Ахъ, Балалайкинъ! если бы вы могли сдѣлаться Репетиловымъ *вполнѣ*—какъ бы это было хорошо и какъ бы я былъ счастливъ за васъ!

Покуда я отчеканивалъ эту предику, Балалайкинъ смотрѣлъ на меня пристально, но совершенно безучастно. Врядъ-ли даже онъ слышалъ что-нибудь изъ высказаннаго мною; скорѣе всего, въ его головѣ копошились въ это время новые промышленные проекты, по-

тому что, какъ только утихъ мой голосъ, онъ сейчасъ же, какъ ни въ чемъ не бывало, опять возвратился къ своему предмету.

— И такъ, мое предпріятіе съ килькой кажется вамъ недостаточно выгоднымъ? — спросилъ онъ меня совершенно спокойно.

— Нѣтъ, не невыгоднымъ, а... Ахъ, Балалайкинъ, Балалайкинъ! какой вы наглый человѣкъ! именно наглый, наглый, наглый! Совсѣмъ не невыгоднымъ нахожу я ваше предпріятіе, а именно...

— Позвольте. Допустимъ, что только невыгоднымъ — зачѣмъ искать другихъ опредѣленій? Вѣдь не Богъ же знаетъ, какое блаженство вы ощутите, ежели замѣните эпитетъ „невыгодный“ какимъ-нибудь бурмицкимъ зерномъ изъ словаря Полторацкаго кабака. И такъ, мое предпріятіе кажется вамъ невыгоднымъ... хотя... Въ два-три мѣсяца возможность учетверить капиталъ — желалъ бы я знать, какое предпріятіе, кромѣ, разумѣется, Горвицевскаго, можетъ принести такой дивидендъ? И гдѣ же, наконецъ, предѣлъ человѣческимъ желаніямъ?

— Оставимте этотъ разговоръ, Балалайкинъ! вы — наглый! васъ не урезонишь! оставимте!

— Прекрасно. Забудемъ о килькахъ. Но въ такомъ случаѣ у меня имѣется къ вашимъ услугамъ другая, ежели не болѣе, то отнюдь не менѣе выгодная операція.

И, замѣтивъ на моемъ лицѣ испугъ, онъ, чтобъ не дать мнѣ возможности возражать, поспѣшно продолжалъ:

— Вотъ въ чемъ дѣло, голубчикъ. На дняхъ мнѣ предложили пріобрѣсти партію махорки по баснословно дешевой цѣнѣ... что-то въ родѣ шести гривенъ за пудъ...

— Это еще что?

— Махорка — это табакъ, родъ опіума самаго сквернаго сорта. Мы съ вами, конечно, не будемъ его курить, ну, и господа офицеры... Но для солдатъ — это лучшее лакомство и, вмѣстѣ съ тѣмъ, прекраснѣйшее возбудительное средство, какого только можно желать!

— И, конечно, ваша махорка будетъ тоже гнилая?

— Гнилая — нѣтъ, подмоченная — да. Но я ужъ имѣю въ виду средство: стоитъ только подмоченные листы вновь подмочить — и они будутъ опять совсѣмъ какъ свѣжіе.

— Ну да, на видъ, а въ сущности, все-таки, гнилые?

— Моралистъ! но развѣ въ пылу битвъ есть возможность отличить свѣжій табакъ отъ... подмоченнаго?

Это было ужасно. Битыхъ два часа онъ неуставаючи мучилъ меня, и я до того отупѣлъ подъ гнетомъ его приставаній, что даже утратилъ всякую изобрѣтательную энергію. Нѣсколько разъ спрашивалъ я себя: какъ бы поступилъ на моемъ мѣстѣ, напримѣръ, французъ, нѣмецъ, англичанинъ? но нѣтъ, *тамъ* подобнаго случая даже быть не можетъ! Тамъ всякій свое мѣсто знаетъ: Балалайкины — между собою разговоры водятъ, Глумовы—между собою. Явился Балалайкинъ-нѣмецъ къ Глумову-нѣмцу съ предложеніемъ о килькѣ—Глумовъ повернулся къ нему спиной — и дѣло съ концомъ. А у насъ, словно на днѣ запущеннаго пруда, сплелось что-то до такой степени дивное, что хоть желѣзный ломъ въ ходъ пускай — и тѣмъ не раздерешь. Пришелъ Балалайкинъ „посидѣть“ — и будетъ сидѣть, сколько ему Богъ на душу положитъ. Ни за городовымъ послать, ни отвернуться отъ него —даже въ голову не придетъ. А почему такъ?—да потому именно, что тутъ есть невообразимое сплетеніе. Сзади есть Удушьевъ, есть Репетиловъ — все люди, которые и изъ могилъ кричатъ: плоть отъ плоти! кость отъ костей! И кричатъ не только Балалайкину, но и мнѣ, и Глумову, и всѣмъ.

— Эхъ вы!—продолжалъ между тѣмъ Балалайкинъ:—и капиталъ у васъ есть, и даже хорошій — это я достовѣрно знаю—а вы сидите на немъ да по пяти копѣечекъ съ рубля получаете! Подумайте! время-то вѣдь летитъ! Вѣдь нынѣче человѣкъ, у котораго нѣтъ денегъ —это что̀ такое? вѣдь это—презрѣнный; это больше чѣмъ презрѣнный; это — каналья, которая навѣрное воруетъ и которая, слѣдовательно, рано или поздно непремѣнно попадетъ на скамью подсудимыхъ! Какую вы себѣ старость готовите!!

Ужасно, ужасно, ужасно! Я сидѣлъ какъ на угольяхъ и безнадежно смотрѣлъ на часы. Мнѣ казалось: вотъ-вотъ сейчасъ раздастся звонокъ, и Глумовъ освободитъ меня отъ этого распутнаго юноши.

— Вы всю жизнь спустя рукава прожили, всю жизнь по верхамъ глазѣли!—гудѣлъ въ моихъ ушахъ голосъ Балалайкина:—такъ хоть одинъ-то разъ взгляните на дѣло серьезно! Вѣдь я кому пользы желаю — все вамъ же! Потому что я самъ... мнѣ зачѣмъ? съ меня и практики моей адвокатской по горло будетъ! Вотъ я, не дальше, какъ вчера, одну дамочку съ мужемъ разлучилъ... штучка, я вамъ доложу... пальчики оближешь! Десять тысячъ чистоганчикомъ за хлопоты вручила, да *приложеніе*... у Огюста въ отдѣльномъ кабинетѣ! Всю ночь

до позднихъ пѣтуховъ мы съ ней прохороводились—я потомъ татарамъ двадцать-пять рублей на водку далъ! А какой ужинъ! фрукты какіе! вино! Я было заплатить хотѣлъ—не допустила! Сама за все разсчиталась, а татарамъ, съ своей стороны, радужную выкинула! Такъ вотъ какую я жизнь веду! А вы... объ чемъ бишь, впрочемъ, я говорить началъ?... да, объ махоркѣ! Слушайте: вѣдь это—какой проектъ! вѣдь я не на офицеровъ разсчитываю, а на солдатъ, на массы—понимаете? Махорку всякій куритъ, безъ махорки воину обойтись нельзя! Онъ на редутъ лѣзетъ, а трубка у него въ зубахъ! А ежели и этого вамъ мало, такъ можно *нашу* махорку и обязательною сдѣлать... у меня и насчетъ этого ходы есть... По рукамъ, что-ли?

Но я продолжалъ молчать и не сводилъ глазъ съ часовъ.

— Но вамъ, можетъ быть, и то не нравится, что я насчетъ ходовъ упомянулъ... моралистъ? такъ я вамъ доложу, что безъ этого нашему брату—матъ. Конечно, можно дуракомъ и передъ открытою дверью стоять, да вѣдь дураки потому и называются дураками, что они ротъ разѣваютъ, а умные въ это время куски глотаютъ. Нѣтъ, вотъ какъ я тутъ позолочу, да тамъ посеребрю, а ежели и это не помогаетъ, такъ гдѣ ползкомъ, а гдѣ и на заднихъ лапкахъ... такъ-то, папенька крёстный!

Говоря это, онъ дружески хлопалъ меня по колѣнкѣ, и — увы! —я не оказалъ никакого противодѣйствія его ласкамъ? Я только старался окаменѣть въ ожиданіи чуда. Вдругъ звонокъ! Я бросился на встрѣчу къ Глумову и, буквально дрожа всѣмъ тѣломъ, крикнулъ:

— Ахъ, какъ онъ мнѣ надоѣлъ! какъ надоѣлъ!

— Такъ я и зналъ! предвидѣлъ я, братецъ, что онъ къ тебѣ пойдетъ! Ахъ, Балалайка безструнная! Мало тебѣ того, что я тебя съ лѣстницы спустилъ?

— Помилуй, онъ хвастается, что ты выслушалъ его проекты и обѣщалъ подумать,—сосплетничалъ я.

— Я тебѣ обѣщалъ? я?

Голосъ Глумова звучалъ такъ сурово, видъ его былъ такъ грозенъ, что Балалайкинъ невольно смутился.

— Молись Богу! твой часъ наступилъ! Я тебя предупреждалъ давеча, что добромъ тебѣ не кончить!—продолжалъ Глумовъ и прекраснѣйшимъ basso profondo пропѣлъ:

Твой сме-ертный часъ! твой гро-озный часъ!

— Душа моя, надо его повѣсить! — обратился онъ ко мнѣ: — онъ, впрочемъ, ужъ знаетъ объ этомъ; я и веревку съ собой захватилъ.

Дѣйствительно, Глумовъ вынулъ изъ кармана совсѣмъ новую веревку и поднесъ ее къ носу Балалайкина. Балалайкинъ старался улыбнуться, но отъ наблюдательности моей не укрылось, что физіономія его замѣтно поблекла, въ виду рѣшимости, съ которою Глумовъ произнесъ свой приговоръ.

— А вотъ и гвоздь—молись, Балалайкинъ! Мало того, что ты людей до истерики своими приставаніями доводишь—ты, за-одно съ турками, возмечталъ русскую армію истребить! Знаешь ли, чѣмъ это пахнетъ? Молись и снимай галстухъ!

Балалайкинъ, желая обратить дѣло въ шутку, охотно развязалъ галстухъ, разстегнулъ воротникъ рубашки и даже шею подставилъ; я, съ своей стороны, въ качествѣ любителя юмористическихъ представленій, не менѣе охотно помогалъ Глумову надѣвать петлю... И вдругъ Глумовъ схватилъ Балалайкина въ охапку и самымъ серьезнымъ образомъ потащилъ его къ гвоздю.

— Послушайте! это, наконецъ, ужъ выходитъ изъ предѣловъ шутки!—протестовалъ на ходу Балалайкинъ.

Я тоже порядочно испугался.

— Что ты дѣлаешь, душа моя!—взмолился я:—вѣдь насъ за это... Не лучше ли отправить его въ участокъ?

— Чтобъ его оттуда выпустили... Оставь меня! я знаю, что дѣлаю! Такъ ты, Балалайка, думалъ, что съ тобой шутки шутятъ... а? Нѣтъ, мой другъ! ты меня такъ огорчилъ, такъ огорчилъ... даже до глубины души! Государственную измѣну затѣялъ... а?! Полѣзай, полѣзай! барахтаться нечего!

И онъ въ одинъ моментъ его вздернулъ, до такой степени вздернулъ, что Балалайкинъ сейчасъ же и языкъ высунулъ.

— Теперь пойдемъ къ Палкину завтракать!—обратился ко мнѣ Глумовъ:—а онъ покуда пускай повиситъ!

— Помилуй! да вѣдь онъ, того гляди, умретъ!

— Не умретъ—не бойся! Ты думаешь, онъ языкъ-то высунулъ—это онъ лжетъ! Лжешь, Балалайка?

Балалайкинъ не отвѣтилъ, а только еще больше высунулъ языкъ.

— Вотъ и прекрасно. Повиси тутъ, а мы пойдемъ!

Я долженъ сказать, что Глумовъ увлекъ меня къ Палкину почти насильно. Я шелъ за нимъ, подчиняясь его авторитету, но въ то же время безпрестанно оглядываясь назадъ, какъ будто Балалайкинъ съ высунутымъ языкомъ гнался за мной по пятамъ. Глумовъ съ обычною ласковостью успокоивалъ меня.

— Я—человѣкъ не жестокій,—говорилъ онъ:—но думаю, что въ настоящее время спасительный намекъ необходимъ. Такъ ужъ эти негодяи нынѣче расходились и столько ихъ развелось... Помилуй! кровь пьютъ, обворовываютъ, а наконецъ и начисто морить собрались!.. Надо же намекъ сдѣлать, чтобъ хоть немножко поостепенились мерзавцы!

— Дѣйствительно, это нелишнее: но все-таки прошу тебя имѣть въ виду, что Балалайкинъ ужъ языкъ высунулъ. Дай мнѣ слово, что пробудешь у Палкина недолго.

— Пробуду столько, сколько требуется, чтобъ аппетитъ удовлетворить. Говорю тебѣ, что онъ лжетъ, и по всѣмъ вѣроятіямъ въ эту минуту ужъ лыжи навострилъ и бѣжитъ сломя голову еще кого-нибудь своими проектами соблазнять. Но ежели онъ и поколѣетъ — неужто же судъ не пойметъ, что иначе въ данномъ случаѣ нельзя было поступить? И неужто ты-то не благодаренъ мнѣ, что я тебя выручилъ? Оставимъ, мой другъ, этотъ разговоръ.

И точно: Глумовъ, не торопясь, съѣлъ котлетку, выпилъ бутылку пива и вступилъ со мной въ душевную бесѣду.

— Столько нынѣче по городу анекдотовъ про этихъ христопродавцевъ ходитъ,—говорилъ онъ, — что другой, наслушавшись, невольно скажетъ: какая, однакожъ, распутная страна!

— Да, голубчикъ! даже ужъ и говорятъ!

— Завелась эта шайка проходимцевъ да дѣвицъ международнаго поведенія, впились, сосутъ... Окружила сѣтью наши Заманиловки, Погорѣловки, Проплеванныя; бьются тамъ люди, словно рыба въ мотнѣ, ничего не понимаютъ, только чувствуютъ, что ихъ сейчасъ жрать будутъ... Бьются—и только! какъ будто въ этомъ одномъ и состоитъ ихъ провиденціальное назначеніе! Кто отомститъ-то за это —вотъ ты мнѣ что скажи!

— Исторія послѣ все разберетъ.

— Нѣтъ, не разберетъ, потому что исторія только верхоглядничаетъ. Ей даже и узнать неоткуда, что въ Заманиловкахъ честные

люди живутъ. Струсберги, да Овсянниковы, да жидовствующая братія—вотъ матеріалъ, который она разрабатываетъ. Блескъ ей нуженъ, герои нужны!

— Что жъ, вѣдь, съ одной стороны, это и не худо. По крайней мѣрѣ, отъ компрометтирующей солидарности заманиловцы ускользнутъ.

— Врядъ-ли. Это въ прежнее время бывало, что заладитъ историкъ: Мстиславъ до Ростиславъ, а изъ партикулярныхъ людей — Добрыня да Блудъ. А нынѣче историкъ воровать сдѣлался: хоть и тѣ же Добрыни да Блуды у него подъ руками, а онъ такъ-таки и нахальничаетъ: я, говоритъ, знать не хочу, что на Васильевскомъ Острову да на Англійской Набережной происходило; я, говоритъ, народъ имѣю въ виду, народъ призываю къ суду исторіи! Вотъ и потянутъ проплёвановцевъ на цугундеръ...

— Но какой же можетъ быть судъ, ежели о нихъ, какъ ты самъ сейчасъ выразился, и сказать-то нечего?

— То-то, что солжетъ что-нибудь. А впрочемъ, голубчикъ, если бы и удалось заманиловцамъ отъ солидарности ускользнуть, такъ вѣдь и тутъ барышъ не великъ. Солидарности-то не будетъ, да, пожалуй, и *совсѣмъ ничего* не будетъ—вотъ что нелестно! жили, молъ, да были непомнящіе родства—хорошо развѣ этакъ-то?

— Однако мы видимъ, что даже въ краткихъ учебникахъ—и тамъ заманиловцевъ непомнящими родства не называютъ, а, напротивъ, аттестаты даже выдаютъ.

— Ну, да; отличаются, молъ, твердостью въ бѣдствіяхъ и доблестнымъ очищеніемъ окладныхъ листовъ; такъ нынѣче вѣдь и этого человѣкъ съ совѣстью сказать не можетъ. Твердость въ бѣдствіяхъ кабаки пошатнули, а что касается до окладныхъ листовъ... ахъ, не радуются, мой другъ, сердца начальниковъ, глядя на нихъ!

— Неужто?

— Да, любезный! а впрочемъ, ты не подумай... ни ни! Просто ничего не подѣлаешь! „Ничего не подѣлаешь“—вотъ кличъ, который нынѣче несется изъ края въ край по всей Руси! А тутъ между тѣмъ шайка международныхъ негодяевъ мрежи неуставаючи плететъ!

Глумовъ вздохнулъ и спросилъ рюмку водки (послѣ завтрака!), что означало, что онъ находится въ ожесточеніи.

— Такъ ты думаешь, что Балалайкинъ, напримѣръ, попадетъ въ исторію?

— Нѣтъ, Балалайкинъ-имярекъ, Балалайкинъ, котораго мы сейчасъ повѣсили — тотъ не попадетъ. Съ него достаточно и того, что онъ гдѣ-нибудь, въ концѣ тома, въ ученыхъ примѣчаніяхъ, фигурировать будетъ. Но Балалайкины вообще, Балалайкины, ихъ же имена ты, Господи, вѣси! — тѣ краеугольный камень составятъ. А отъ нихъ пойдетъ мораль и на заманиловцевъ, проплёвановцевъ, погорѣлковцевъ. Потому что кто же виноватъ, что о нихъ никакихъ свидѣтельствъ нѣтъ, кромѣ ревизскихъ сказокъ? Вотъ и скажетъ историкъ: на основаніи такихъ-то и такихъ-то данныхъ — я имѣю полное право заключить, что сія эпоха была эпохой распутства— *всеобщаго*! Все, значитъ, безъ исключенія... Что-жъ! коли хочешь, оно вѣдь и правильно!

— Почему же правильно?

— А потому: не хлопай глазами! Одно изъ двухъ: или ты человѣкъ, или волъ подъяремный. Ежели ты человѣкъ, и за всѣмъ тѣмъ у тебя подъ носомъ Балалайкины исторію народа россійскаго созидаютъ — стало быть ты самъ потатчикъ и попуститель: ежели ты — только волъ подъяремный, стало быть нечего о тебѣ и говорить. Мало ли на земномъ шарѣ земноводныхъ обитаетъ? мычатъ, блѣютъ, мяукаютъ, каркаютъ, свищутъ, квакаютъ — развѣ исторія обязывается принимать ихъ въ разсчетъ?

Приговоръ былъ рѣшительный, и меня, признаюсь, даже не разъ передернуло, покуда Глумовъ высказывалъ его. Но такъ какъ я зналъ навѣрное, что онъ говоритъ такимъ образомъ совсѣмъ не по убѣжденію, а единственно подъ вліяніемъ ожесточенія, то ограничился тѣмъ, что возразилъ ему:

— Ты этого не думаешь, а говоришь подъ вліяніемъ хотя и законнаго, но все-таки не вполнѣ разумнаго ожесточенія.

— Ужъ не противъ Балалайкина ли?

— Нѣтъ, Балалайкина мы ужъ повѣсили—будетъ съ него. Но сдѣлай транспортировку Балалайкиныхъ, переложи ихъ нѣсколькими тонами выше — гамма-то вѣдь безконечна!—усложни его ребяческіе проекты, прибавь къ нимъ гнилые сухари, толченый уголь вмѣсто пороха (разумѣется, если только можно такое злодѣйство себѣ представить!), и поводы для ожесточенія получатся до такой степени полные, что въ виду ихъ невольно притупится самое живое чувство справедливости. Не въ Балалайкинѣ, а въ совокупности

Балалайкиныхъ, въ ихъ общедоступности и общепризнанности, въ разлитости Балалайкинскаго эѳира въ воздухѣ—вотъ гдѣ настоящая причина негодованія!

— Что же, однако, въ моихъ словахъ несправедливаго?

— Все несправедливо. Во-первыхъ, тутъ совсѣмъ не „хлопаютъ глазами", какъ ты говоришь, а совершенно серьезно истекаютъ кровью и никакой историкъ не увольняется отъ обязанности знать это. Во-вторыхъ, дѣла о „претерпѣніи" настолько сложны, что такими дилеммами, какъ: „или ты — человѣкъ, или ты—волъ подъяремный", ихъ ни подъ какимъ видомъ не разрѣшишь. Есть, любезный другъ, еще третій субъектъ, коли ты хочешь, тоже подъяремный, но не волъ, а человѣкъ, мечущійся изъ стороны въ сторону подъ игомъ мысли, что его, какъ ты самъ сейчасъ выразился, немедленно жрать будутъ. Этотъ субъектъ не мычитъ, а пѣсни о своихъ болѣхъ слагаетъ; не потворствуетъ и не потакаетъ, а просто *не знаетъ*. Положеніе трагическое и запутанное, но въ матеріалахъ для изученія его недостатка все-таки нѣтъ. Вѣдь Балалайкинскіе-то проекты на комъ отражаются? — на немъ, исключительно на этомъ мечущемся человѣкѣ! Стало быть, историку, ежели онъ—не безумный, стоитъ только разобраться въ этихъ проектахъ и сопоставить ихъ... Впрочемъ ты вѣдь и самъ все это лучше меня знаешь, а только такъ, въ минуту жизни трудную, пофрондировать вздумалъ.

. . . . . .

Глумовъ хотя и возражалъ, но не искренно, а скорѣе изъ упрямства, чтобъ сохранить за собой послѣднее слово. Впрочемъ я тоже поспѣшилъ перемѣнить разговоръ, потому что замѣтилъ, что сидѣвшій за сосѣднимъ столомъ посѣтитель началъ что-то ужъ черезъ-чуръ симпатично прислушиваться къ нашимъ рѣчамъ.

— А Балалайкинъ-то вѣдь все виситъ! — сказалъ я.

— И пускай виситъ.

— Однако, знаешь ли что? конечно, проекты его гнусны, но ежели ихъ съ финансовой точки зрѣнія разобрать... право, они совсѣмъ не глупы!

— Еще какъ неглупы-то!

— Вѣдь это только такъ кажется, что килька или махорка—нестоющіе вниманія предметы! а взгляни-ка на дѣло поглубже, особливо на махорку...

— И числа процентамъ не будетъ!

— И знаешь ли еще что? не только осуществленіе этихъ проектовъ вполнѣ практично, но даже и характеръ имъ можно придать... именно патріотическій... да!

— Еще бы! восемь гривенниковъ на мѣстѣ производства и тѣ же восемь гривенниковъ за двѣ тысячи верстъ — это хоть кому угодно въ носъ бросится!

— Такъ что ежели бы, напримѣръ...

— Постой! заключимъ лучше нашъ разговоръ такъ: но по этимъ-то именно соображеніямъ и надлежало Балалайкина повѣсить! Правильно?

Я долженъ былъ согласиться, что правильно, и сдѣлалъ это тѣмъ охотнѣе, что вопросъ о томъ: что-то происходитъ теперь у меня дома? все-таки ни на минуту не оставлялъ меня. Безъ особеннаго сожалѣнія оставили мы Палкинскіе салоны, и, признаюсь, я не безъ тревоги позвонилъ у дверей моей квартиры. Къ счастію, проницательность Глумова на этотъ разъ не измѣнила ему: Балалайкина и слѣдъ простылъ. Какимъ образомъ онъ ухитрился на вѣсу высвободиться изъ петли, это—его тайна; но на письменномъ столѣ моемъ лежала записка, гласившая такъ:

„Я могъ бы претендовать на васъ; но, понимая шутку, первый готовъ посмѣяться, ежели она остроумна. Поэтому я считаю наши переговоры по извѣстному дѣлу не конченными, а только временно прерванными. Когда голосъ страстей умолкнетъ и разсудокъ вновь вступитъ въ права свои, то телеграфируйте мнѣ: Фонарный переулокъ, домъ бывшій Зондермана. Я во всякое время къ вашимъ услугамъ.

Балалайкинъ“.

Прошло два мѣсяца, въ продолженіе которыхъ я не слѣдилъ за Балалайкинымъ, хотя случайными путями и получалъ о немъ отрывочныя свѣдѣнія. Но послѣднія были до такой степени ни съ чѣмъ несообразны, что трудно было дать имъ какую-нибудь вѣру. Одни говорили, что Балалайкинъ вступилъ въ товарищество съ извѣстнымъ евреемъ Зельманомъ, и принялъ моисеевъ законъ, чтобъ получить больше свободы въ движеніяхъ по махорочной операціи; другіе разсказывали, что онъ потурчился и поступилъ адъютантомъ къ Осману-

пашѣ; наконецъ, третьи утверждали, что онъ сдѣлался приближеннымъ Макъ-Магона и ѣздилъ отъ послѣдняго къ римскому папѣ за испрошеніемъ благословенія на совершеніе государственнаго переворота. Не потому трудно было повѣрить этимъ слухамъ, чтобъ Балалайкинъ неспособенъ былъ совершить всѣ эти метаморфозы, но потому, что невольно представлялся вопросъ: на кой чортъ могъ понадобиться нашъ Балалайкинъ Зельману, Осману-пашѣ и Макъ-Магону, когда у нихъ подъ руками тьмы темъ своихъ собственныхъ Балалайкиныхъ, всегда готовыхъ на всякія послуги?

На дняхъ, утромъ, передо мной, по обыкновенію, лежалъ мой любимый листокъ: „Чего изволите?“, газета ежедневно-либеральная. Проштудировавъ извѣстія съ театра войны, я обратился къ „внутреннимъ дѣламъ“ (прежде эта рубрика носила названіе „внутреннихъ безобразій“, но такъ какъ со времени войны безобразій у насъ уже не совершается, то взамѣнъ ихъ явились „внутреннія дѣла“),— и вдругъ взоръ мой упалъ на корреспонденцію изъ Махорска:

„Намъ пишутъ изъ губернскаго города *Махорска*: На дняхъ въ нашемъ городѣ, по распоряженію административныхъ властей (?), подвергнутъ наказанію на тѣлѣ розгами одинъ изъ проходимцевъ, порожденныхъ современными военными обстоятельствами. Это—нѣкто Балалайкинъ, довольно еще молодой человѣкъ, содержавшій, до начала войны, въ Петербургѣ адвокатскую контору, которая преимущественно принимала на себя веденіе бракоразводныхъ дѣлъ и подыскиваніе лжесвидѣтелей. Преступленіе, за которое онъ нынѣ понесъ заслуженную кару, заключалось въ томъ, что онъ, прибывъ къ намъ подъ предлогомъ заготовленія махорки для находящихся на Дунаѣ русскихъ войскъ, имѣлъ отъ Османа-паши тайное порученіе слѣдить за распоряженіями здѣшняго губернскаго начальства. Употребивъ въ дѣло подкупъ, онъ постепенно переслалъ въ Плевну, въ копіяхъ, всѣ журналы здѣшняго губернскаго правленія и, между прочимъ, одинъ очень важный, въ которомъ обсуждались мѣры для приведенія Россійской Имперіи въ состояніе неуязвимости, причемъ главною и самою дѣйствительною мѣрою предполагалось немедленное и совершенное во всѣхъ мѣстахъ прекращеніе книгопечатанія, съ оставленіемъ лишь небольшого числа литеръ для опубликованія театральныхъ афишъ и начальственныхъ циркуляровъ. Получивъ этотъ журналъ, Османъ-паша, конечно, сообразилъ, что ежели прописанная въ немъ мѣра

будетъ принята, то неуязвимость будетъ достигнута неизбѣжно, и притомъ въ самое короткое время, и тогда борьба съ сѣвернымъ колоссомъ сдѣлается совершенно немыслимою. И вотъ, подъ вліяніемъ этой мысли, турецкій главнокомандующій рѣшился сдѣлать цѣлый рядъ отчаянныхъ попытокъ, чтобъ хоть въ послѣдній разъ потѣшить сердце повелителя правовѣрныхъ, и результатомъ этого рѣшенія было, какъ извѣстно, нѣсколько эфемерныхъ успѣховъ, одержанныхъ турками. Долгое время, однако, виновники измѣны укрывались отъ взоровъ правосудія, но на дняхъ интрига разъяснилась, благодаря дѣятельнымъ розыскамъ, предпринятымъ частнымъ приставомъ Х., и Балалайкинъ, въ виду вѣскости собранныхъ противъ него уликъ, вынужденъ былъ во всемъ сознаться, причемъ сильно компрометтировалъ Османа и Реуфа пашей.

„Разсказываютъ, что первоначально было предположено повѣсить Балалайкина, но, по ходатайству дамъ махорскаго международнаго beau monde'а, наказаніе это было замѣнено болѣе легкимъ — розгами... Обрядъ былъ совершонъ публично на главной городской площади, причемъ, конечно, присутствовалъ и весь нашъ beau monde. Балалайкинъ—мужчина очень пропорціонально сложенный. Онъ прибылъ на мѣсто экзекуціи въ коляскѣ и очень любезно раскланивался съ знакомыми, а въ особенности съ дамами: затѣмъ бодро выскочилъ изъ экипажа, взбѣжалъ на устроенное возвышеніе и самъ сдѣлалъ необходимый для совершенія обряда туалетъ. Криковъ во время сѣченія съ его стороны не было, а потому въ народѣ ходилъ слухъ, что сѣкуторы подкуплены. По окончаніи обряда, покуда Балалайкинъ, по обычаю, благодарилъ сѣкуторовъ за науку, дамы махали платками. Въ этотъ день Балалайкинъ былъ приглашенъ въ десяти домахъ на обѣдъ, но гостепріимные хозяева съ горечью узнали, что интересной жертвѣ махорскаго правосудія уже не суждено обѣдать въ Махорскѣ. Черезъ два часа по совершеніи обряда, проходимецъ, въ сопровожденіи двоихъ прохвостовъ, уже слѣдовалъ по назначенію, для принятія на тѣлѣ административныхъ распоряженій и въ прочихъ городахъ Россійской Имперіи“.

Разумѣется, я сейчасъ же поспѣшилъ къ Глумову, чтобъ подѣлиться съ нимъ вѣстью, и засталъ его за чтеніемъ „Красы Демидрона“, въ которой о томъ же предметѣ писалось совершенно другое. А именно:

„Никто, въ теченіе столь короткаго времени, не былъ жертвою такого множества ложныхъ слуховъ и клеветъ, какъ уважаемый нашъ сотрудникъ Балалайкинъ, авторъ статьи: „При ходатайствѣ—и закону премѣна бываетъ“. Чего-чего ни распускали объ немъ: и жидовство-то онъ принялъ, и Осману-пашѣ передалъ будто бы важную государственную тайну, а вчера даже очень серьезные люди за вѣрное выдавали, что онъ высѣченъ въ губернскомъ городѣ Махорскѣ, гдѣ въ послѣднее время находился центръ его полезной дѣятельности по заготовленію махорки для войскъ дѣйствующей на Дунаѣ арміи! Изъ всѣхъ этихъ извѣстій похоже на правду одно: дѣйствительно Балалайкинъ имѣлъ свиданіе съ Османомъ-пашой, но совсѣмъ не для сообщенія государственной тайны, а съ дипломатической миссіей отъ Грегера, Когана, Горвица и всѣхъ вообще евреевъ, обитающихъ въ Россіи и поручившихъ Балалайкину убѣдить талантливаго турецкаго полководца, что усилія его приведутъ лишь къ напрасной тратѣ пороха. Все же остальное—чистѣйшая выдумка и самая наглая ложь. Будучи близко знакомы съ Балалайкинымъ, мы, отъ лица всѣхъ его друзей и почитателей, можемъ удостовѣрить, что патріотическія операціи, предпринятыя имъ по случаю настоящей войны, всѣ до одной увѣнчались успѣхомъ, и что онъ самъ, обремененный добычею, прибудетъ въ Петербургъ не далѣе какъ завтра, то-есть 12-го сего октября. Всѣ приготовленія къ пріему его кончены, а именно: 1) Въ домѣ Мурузи, на Литейной, занятъ подъ его помѣщеніе весь бель-этажъ, причемъ особый обширный залъ отдѣленъ для игры въ чехарду; 2) на хрѣновскомъ заводѣ пріобрѣтена, за баснословно дорогую цѣну, четверня породистыхъ орловскихъ лошадей, выѣзженныхъ въ упряжи à la Daumont; 3) у Неллиса, Тацки и Вагнера заказано до двадцати великолѣпныхъ экипажей, а въ Москвѣ, у Арбатскаго—безчисленное множество дрожекъ, саней и прочей экипажной мелочи. Затѣмъ намъ остается прибавить только одно: Балалайкинъ почтенъ отъ начальства единственнымъ въ своемъ родѣ отличіемъ: правомъ носить на спинѣ изображеніе бубноваго туза. Надѣемся, что отнынѣ ни зависть, ни клевета уже не настигнутъ его. Sapienti sat“.

— 12-е октября—да вѣдь это сегодня! стало быть, онъ ужъ здѣсь!—воскликнули мы въ одинъ голосъ и рѣшили тотчасъ же на мѣстѣ, въ домѣ Мурузи, удостовѣриться, которая изъ двухъ газетъ имѣетъ болѣе вѣрныя извѣстія съ театра войны.

Литейная была оживлена болѣе обыкновеннаго; мѣстами виднѣлись кучки любопытныхъ, которыя, по мѣрѣ приближенія нашего къ Пантелеймонской улицѣ, встрѣчались все чаще и чаще. Около дома Мурузи мы нашли уже цѣлую толпу. У одного изъ подъѣздовъ красовалось новенькое съ иголочки открытое ландо, запряженное четверкой великолѣпныхъ бѣлыхъ лошадей; за ландо тянулся рядъ дрожекъ. Мы хотѣли-было войти въ дверь подъѣзда, но вооруженный булавою и отлично откормленный швейцаръ сурово отогналъ насъ.

Съ четверть часа мы простояли въ нѣмомъ ожиданіи. Вдругъ, откормленный швейцаръ заметался, и вслѣдъ затѣмъ обѣ двери подъѣзда растворились настежъ. Нѣтъ сомнѣнія... это—онъ, это—Балалайкинъ! Но какъ онъ выросъ, возмужалъ, похорошѣлъ! какъ онъ выхолилъ свои щеки и какая безконечно блаженная улыбка играла на его алыхъ устахъ! Щегольской дорожный костюмъ плотно облегалъ его стройное тѣло; полированная сумка, переброшенная черезъ плечо, отливала на солнцѣ нестерпимымъ блескомъ; на головѣ была накинута легкая шотландская шапочка, въ околышѣ которой, вмѣсто пера, былъ воткнутъ листъ засохшей махорки; въ петличкѣ жакетки красовалась ленточка неизвѣстнаго ордена. За нимъ слѣдовала блестящая свита, въ которой я насчиталъ десять жидовъ, десять грековъ и десять армянъ. Шествіе было очень шумное, потому что армяне и греки препирались между собой о томъ, чья вѣра лучше, а жиды, напротивъ того, галдѣли, что всѣ вѣры хороши. Обязанности церемоніймейстера исполнялъ оставшійся за штатомъ оберъ-секретарь одного изъ упраздненныхъ департаментовъ сената.

Балалайкинъ, однакожъ, замѣтилъ насъ и... подошелъ къ намъ! Безъ особенной фамильярности, но и безъ театральной напыщенности, свойственной выскочкамъ и временщикамъ. Просто, благородно.

— Господа!—сказалъ онъ: — я васъ въ свое время приглашалъ—вы сами не захотѣли! Пеняйте на себя.

Я не помню, что со мной было. Помню только, что я весь дрожалъ отъ волненія, и совершенно не понимаю, какъ произнесъ:

— Ваше сіятельство!..

— Шт!..—скромно остановилъ онъ меня, прижимая палецъ къ губамъ:—покамѣстъ, я еще... просто Балалайкинъ!

Быть можетъ, свиданіе на этомъ и кончилось бы, если бы Глу-

мовъ не поспѣшилъ исправить глупое впечатлѣніе, произведенное моею нелѣпою робостью.

— Стой, Балалайка безструнная!—сказалъ онъ: — куда жъ ты собрался этакимъ франтомъ?

— Я отправляюсь теперь въ Монтекарло просить руки дочери мсьё Блана *),—отвѣтилъ онъ, не смущаясь выходкой Глумова: — но ежели мнѣ это не удастся, то во всякомъ случаѣ я имѣю обѣщаніе, что первая вакансія крупье при рулеткѣ будетъ принадлежать мнѣ. Ахъ, господа, господа! не хотѣли вы въ то время...

— Объ этомъ послѣ,—прервалъ его Глумовъ: — но вотъ нумеръ газеты, въ которой пишутъ, что въ Махорскѣ на площади, при громадномъ стеченіи народа...

— Было, господа, и это! все было!

— Что жъ это за орденъ у тебя въ петлицѣ?

— А это—орденъ „борьбы“. Его на дняхъ учредилъ МакъМагонъ и по секрету раздаетъ своимъ приближеннымъ. Разумѣется, прислалъ и мнѣ.

— Нѣтъ, какъ ты хочешь, а объяснись обстоятельнѣе. Что такое съ тобой? откуда все это? эта свита, эти экипажи, этотъ откормленный швейцаръ, это восточное великолѣпіе?..

— На это я могу сказать вамъ одно, господа. Что̀ такое — я? что̀ такое—все то, что̀ вы теперь видите? Погодите! вотъ кончится война, и прибудутъ въ Петербургъ настоящіе негодяи... дѣльцы, хотѣлъ я сказать... Тогда—увидите!

---

*) Планъ—содержатель игорнаго дома въ Монтекарло.

III.—Тряпичкины-очевидцы.

*Отъ дунайскаго корреспондента Подхалимова I-го въ редакцію газеты „Краса Демидрона“ *).*

1.

Станція Бологое. Ровно недѣлю тому назадъ вы призвали меня, г. редакторъ, и, выложивъ передъ моими обрадованными глазами пачку ассигнацій, сказали: „ты—малый проворный! вотъ деньги—иди и воспѣвай!“ Фраза—въ устахъ редактора газеты „Краса Демидрона“ — глубоко знаменательная. Перенеситесь мыслью за двадцать лѣтъ тому назадъ и отвѣтьте: возможно ли было что-нибудь подобное въ то время?! Прежде цари, призывая полководцевъ, говорили: иди и побѣждай! теперь—съ бо́льшею лишь осторожностью въ выборѣ выраженій—то же самое дѣлаютъ редакторы газетъ...

Да, надо сознаться, что въ наши дни пресса пріобрѣла такое значеніе, которому равное представляетъ лишь главное управленіе по дѣламъ книгопечатанія. Это двѣ новыя великія державы, которыя народились на нашихъ глазахъ и которыя въ равной степени украсили знаменитую Меттерниховскую пентархію. Возникли онѣ одновременно, чего, впрочемъ, и слѣдовало ожидать. Еще покойный Ансильонъ (а у насъ Иванъ Петровичъ Шульгинъ) замѣтилъ, что вся политическая исторія новѣйшихъ временъ объясняется тѣмъ, что одна великая держава непремѣнно стремится нарушить политическое равновѣсіе, а одновременно съ нею другая великая держава непремѣнно же стремится возстановить его. Такъ точно и тутъ. Какъ только пресса обнаруживаетъ намѣреніе нарушить равновѣсіе, такъ тотчасъ же главное управленіе открываетъ по ней огонь изъ всѣхъ батарей. Какъ это ни грустно, но мы должны покоряться безропотно: во-первыхъ, потому, что таковъ уже самъ по себѣ неумолимый законъ

*) Чтобъ удовлетворить справедливымъ требованіямъ нашихъ читателей, мы отправили корреспондентовъ на оба театра войны: на Дунай—г. Подхалимова 1-го и въ Малую Азію—г. Подхалимова 2-го. Оба намъ извѣстны, какъ молодые люди чрезвычайно талантливые, добросовѣстные и, главное, непьющіе. Надѣемся, что читатели не посѣтуютъ на насъ за это новое доказательство нашихъ заботъ объ ихъ интересахъ, которое стоитъ намъ, при этомъ, довольно значительныхъ издержекъ.

Примѣч. редакціи газеты „Краса Демидрона“.

исторіи (по Ансильону), а во-вторыхъ, и потому, что въ противномъ случаѣ насъ ожидаютъ предостереженія, воспрещенія розничной продажи, аресты, пріостановки и проч.

Какъ бы то ни было, но я—на пути къ Дунаю. Не знаю, что̀ будетъ дальше, но первыя впечатлѣнія, вынесенныя на пути между Петербургомъ и Бологовомъ, удивительно отрадны. Я не буду занимать васъ описаніемъ нашего переѣзда черезъ валдайскій хребетъ, хотя, по словамъ спеціалистовъ, эти горы представляютъ, въ стратегическомъ отношеніи, отличнѣйшія удобства. Описаніе это было бы небезъинтересно въ такомъ лишь случаѣ, если бы возможно было предположить, что театръ военныхъ дѣйствій перенесется сюда; но такъ какъ турки навѣрное никогда не дерзнутъ проникнуть такъ далеко, то я полагаю, что говорить объ этомъ предметѣ преждевременно. Пускай Европа думаетъ, что въ здѣшнихъ мѣстахъ ничего нѣтъ кромѣ валдайскихъ колокольчиковъ и валдайскихъ баранокъ; для насъ, съ стратегической точки зрѣнія, такое самоувѣренное невѣжество даже выгодно...

Купивъ въ гостиномъ дворѣ чемоданъ и уложивъ свой несложный багажъ, я отправился изъ Петербурга съ утреннимъ 9-тичасовымъ поѣздомъ и, конечно, взялъ себѣ мѣсто въ вагонѣ третьяго класса. Я сдѣлалъ это намѣренно, хотя полученныя мною отъ васъ средства позволяли мнѣ претендовать и на второй, а съ нѣкоторою натяжкою и на первый классъ. Но я прежде всего хотѣлъ познакомиться съ чувствами, одушевляющими простой русскій народъ, въ настоящую славную минуту, а для наблюденія подобнаго рода вагонъ III-го класса—сущій кладъ. И, какъ вы увидите дальше, я былъ съ избыткомъ вознагражденъ за тѣ маленькія неудобства, которыя сопряжены съ продолжительнымъ пребываніемъ въ обстановкѣ, отнюдь не напоминающей благоуханной атмосферы петербургскихъ салоновъ (я невольно вспомнилъ при этомъ, какъ хорошо въ вашихъ гостиныхъ, г. редакторъ, и какимъ отличнымъ, душистымъ мокка вы меня угощали, давая инструкціи, какъ мнѣ вести себя на Дунаѣ!)

Какъ и слѣдовало ожидать, настроеніе нашего вагона было отличное. Пассажиры были точно на подборъ молодецъ къ молодцу! Всѣ имѣли видъ увѣренный, бодрый, и какъ только прошли первыя минуты обычной суматохи усаживанія, такъ тотчасъ же, разумѣется, выступилъ животрепещущій восточный вопросъ. Насчетъ участи,

ожидающей турокъ, судили разно, но замѣчательно, что ни въ комъ не было ни тѣни колебанія или сомнѣнія; напротивъ того, всѣхъ воодушевляла твердая рѣшимость не полагать оружія до тѣхъ поръ, пока самое имя Турціи существуетъ на картѣ Европы. Никому изъ насъ лично не приходилось участвовать въ военныхъ дѣйствіяхъ, но тѣмъ не менѣе большинство выказывало такую отвагу, что я безъ труда понялъ, чего можно бы было ожидать отъ этихъ людей, если бы не стѣсняли предѣлы вагона, подобно тому, какъ меня стѣсняютъ предѣлы газетной статьи. Многіе, буквально, рвались на поле битвы. Напримѣръ, одинъ почтенный мѣщанинъ (онъ содержитъ въ Углицкомъ уѣздѣ питейный домъ и мелочную лавку) сказалъ мнѣ:

— Кажется, пусти меня теперича въ страженіе, такъ я одинъ десяти туркамъ-чуркамъ головы поснесу!

А сидѣвшій тутъ же по близости духовный пастырь, движимый похвальнымъ соревнованіемъ, присовокупилъ:

— Духовно мы, сударь, давно ужъ за Дунаемъ, а нѣкоторые даже и далѣе.

Разумѣется, я охотно воспользовался этимъ случаемъ, чтобъ вступить въ собесѣдованіе.

— Такъ зачѣмъ же дѣло стало?—спросилъ я.

— А затѣмъ и стало, что дома своихъ дѣловъ много,—отвѣтилъ мѣщанинъ. Священникъ же, соревнуя ему, пояснилъ:

— Духомъ мы высоко паримъ, но немощная плоть паренью нашему не мало препонъ представляетъ — отъ сего и унываемъ. Питейный-то домъ, напримѣръ, ихній, по настоящимъ обстоятельствамъ, прикрыть бы можно, дабы съ легкимъ сердцемъ устремиться туда, куда гласъ чести всѣхъ вѣрныхъ призываетъ, а мы, на мѣсто того, немощствуемъ.

Объясненіе это заставило меня задуматься. Священникъ правъ, думалось мнѣ, но не вполнѣ. Спору нѣтъ, что было бы и патріотичнѣе, и согласнѣе съ чувствами истиннаго русскаго—прикрыть на время кабакъ, чтобъ удовлетворить святой потребности сразиться съ исконнымъ врагомъ цивилизаціи и христіанства, но, съ другой стороны, если всѣ пойдутъ сражаться, кто же тогда будетъ производить торговлю распивочно и на-выносъ, вносить гильдейскіе сборы и проч.? Провидѣніе не безъ разсчета, конечно, устраиваетъ, предоставляя однимъ спеціальность охранять и защищать границы государства, а

другимъ—спеціальность воздѣлывать землю, производить торговые обороты и уплачивать соотвѣтствующіе окладные и неокладные сборы. Извѣстно, что въ странахъ цивилизованныхъ силы матеріально-производительныя составляютъ такой же зиждущій государственный нервъ, какъ и духовно-производительныя; такъ что ежели послѣднія и наглядѣе двигаютъ государство на пути преуспѣянія, то первыя хотя и не столь наглядно, но столь же несомнѣнно споспѣшествуютъ этому, снабжая (въ видѣ жалованья, столовыхъ, квартирныхъ и проч.) необходимыми матеріальными средствами воиновъ, администраторовъ, ученыхъ, литераторовъ и даже насъ, грѣшныхъ корреспондентовъ. Ваша уважаемая газета давно уже сознала эту важную истину и неоднократно развивала ее въ передовыхъ статьяхъ своихъ. Помнится, вы однажды сказали: отнимите у войны ея нервъ — деньги, и она немедленно утратитъ свою цѣлесообразность! Пушки, лишенныя пороха, не будутъ палить (да еще вопросъ, осуществимы ли самыя пушки безъ денегъ?); люди и лошади, лишенные провіанта и фуража, въ непродолжительномъ времени впадутъ въ изнеможеніе *). Англичане отлично это поняли, и мнѣ кажется, что нашимъ господамъ-шовинистамъ, проповѣдующимъ, сидя дома на печи, поголовное ополченіе, тоже не мѣшало бы зарубить эту истину у себя на носу.

Вотъ почему я думаю, что почтенный батюшка былъ не совсѣмъ правъ, обвиняя кабатчиковъ и прочихъ негоціантовъ въ немощи плотской (впрочемъ онъ и самъ впослѣдствіи сознался мнѣ, что высказался въ этомъ смыслѣ болѣе для того, чтобъ выдержать свойственную его званію учительную роль). Если и дѣйствительно плотская немощь не дозволяетъ имъ прикрывать, по чувству патріотизма, кабаки, то это немощь естественная, обусловливаемая недостаткомъ не патріотизма, но самымъ распредѣленіемъ божіихъ даровъ между людьми. Всякому свое: одни употребляютъ, для прославленія отечества, холодное и огнестрѣльное оружіе: другіе, въ тѣхъ же видахъ, изощряютъ свои коммерческія способности, а третьи упражняютъ свои мышцы, воздѣлывая землю. Даже мы, корреспонденты, едва-ли правильно поступили бы, если бы, въ порывѣ отваги, бросились въ самый пылъ битвы, вмѣсто того, чтобъ, находясь въ безопасномъ мѣстѣ,

*) Дѣйствительно, мы всегда утверждали это, и очень рады, что живыя наблюденія нашего корреспондента подтверждаютъ наше мнѣніе.—*Прим. той же редакціи.*

быть лишь достовѣрными очевидцами ея. Подумайте: если бы мы были перебиты, развѣ газеты были бы въ состояніи разнообразить столбцы и удовлетворять справедливому любопытству публики? Какъ подѣйствовало бы это на годовую подписку? Что сталось бы съ розничной продажей?

Покуда я такимъ образомъ размышлялъ, кто-то въ углу вагона крикнулъ:

— Что̀ долго разговаривать! идемъ всѣ противъ турка—и сказъ весь!

Что̀ произошло въ эту минуту — я не берусь описать. Представьте себѣ поѣздъ, несущійся на всѣхъ парàхъ, представьте грохотъ колесъ, тяжелое дыханіе паровоза—и что-жъ! даже всего этого оказалось недостаточнымъ, чтобъ заглушить гулъ нашихъ голосовъ, слившихся въ одномъ общемъ чувствѣ!.. Да, нужно имѣть перо Немировича-Данченко, чтобъ передать эту картину! Всѣ поздравляли другъ друга, обнимались, цѣловались, а одна старушка, сидя въ углу, тихо плакала. Откуда взялся этотъ внезапный наплывъ чувствъ? Почему теперь, а не прежде или послѣ? на это я могу отвѣтить только слѣдующее: спросите у своего сердца, г. редакторъ!

Ежели человѣкъ имѣетъ сердце чувствительное, то онъ отвѣтитъ на эти вопросы очень легко; а ежели при этомъ онъ еще выпивши, то отвѣтъ, и безъ словъ, самъ собою окажется начертаннымъ на его лицѣ...

Часовъ въ одиннадцать началось въ вагонѣ другого рода движеніе: пассажиры принялись разгружать свои дорожные мѣшки и вынимать изъ нихъ всевозможную провизію. Опять прекрасная бытовая картина, но на этотъ разъ уже совершенно мирнаго свойства.

Не видно ни пармезановъ, ни анчоусовъ, ни гомаровъ, ничего такого, что̀ напоминало бы утонченности иноземной гастрономіи. Русскій человѣкъ понимаетъ, что теперь не такая минута, когда слѣдовало бы поощрять ввозную торговлю *). Но за то на всѣхъ колѣняхъ вы замѣтите рыжеватую паюсную икру, нашу родную углицкую колбасу и въ особенномъ изобиліи печеныя яйца. Во всѣхъ углахъ слышится дѣятельная работа зубовъ, на всѣхъ лицахъ написано неподъ-

*) Хотя, съ другой стороны, воздержаніе отъ употребленія ввозныхъ товаровъ должно имѣть неминуемымъ послѣдствіемъ уменьшеніе таможеннаго дохода. Это тоже не мѣшаетъ имѣть въ виду.—*Прим. той же редакціи.*

дѣльное удовольствіе, которое, въ настоящемъ случаѣ, тѣмъ болѣе законно, что всѣ эти припасы суть результатъ усидчиваго труда.

Простые русскіе люди и насыщаются просто: раскладываютъ на колѣняхъ листы бумаги, въ которой завернута провизія, отрѣзываютъ дорожнымъ ножомъ что имъ нужно и затѣмъ предоставляютъ дальнѣйшую работу пальцамъ и зубамъ.

Я невольно залюбовался этой картиной, хотя, сознаюсь откровенно, лично мнѣ было не совсѣмъ ловко, потому что повсемѣстная ѣда обострила и мой аппетитъ, а я былъ настолько непредусмотрителенъ, что никакого запаса съ собой не взялъ. Къ счастію, я какъ-то проговорился, что я корреспондентъ, отправляющійся на Дунай, и этого одного достаточно было, чтобъ вывести меня изъ затруднительнаго положенія. Какъ только слово „корреспондентъ облетѣло всѣ скамьи вагона, такъ мнѣ въ одну минуту накидали цѣлую массу печеныхъ яицъ... Скажите по совѣсти: возможно ли что-нибудь подобное за границей или гдѣ бы то ни было, кромѣ нашей хлѣбосольной и изобильной Россіи?

Этого мало: меня обступила цѣлая толпа съ вопросами, въ чемъ заключается должность корреспондента и платятъ ли за нее жалованье? Разумѣется, я, какъ могъ, удовлетворилъ законному любопытству этихъ добрыхъ людей, и, къ удивленію моему, могу сказать, что объясненія мои были вездѣ встрѣчены сочувственно. Одни, совершенно въ стилѣ Немировича-Данченко, восклицали:

— Господи! хоть бы глазкомъ на страженія-то посмотрѣть!

Другіе наивно замѣчали:

— Ишь ты! за что ноньче деньги платятъ!

Затѣмъ, по русскому обычаю, раздалось:—выпьемъ!— и пошла круговая.

Всѣ подходили ко мнѣ и пили за мое здоровье, а также и за ваше, г. редакторъ, потому что я объявилъ, что, лишь благодаря вашему иждивенію, я могъ осуществить давнишнее желаніе моего сердца увидѣть Дунай и Балканы.

Покуда все это происходило, подошелъ ко мнѣ одинъ почтенный рыбинскій купецъ (называется онъ, какъ я послѣ узналъ, Иванъ Иванычъ Тр.) и сталъ уговаривать меня, чтобы я ѣхалъ съ нимъ въ Рыбинскъ.

— Ты малый проворный, на войну завсегда поспѣешь! а лясы точить и у насъ въ Рыбинскѣ можно!

Къ этой же просьбѣ присоединилъ свой голосъ и отецъ Николай (имя священника, говорившаго о плотской немощи), который тоже оказался обитателемъ рыбинскихъ палестинъ. Напрасно я отговаривался, во-первыхъ, тѣмъ, что для корреспондента время — тѣ же деньги, и, во-вторыхъ, тѣмъ, что я уже заплатилъ за свое мѣсто до самой Москвы — гостепріимный Иванъ Иванычъ ни объ чемъ слышать не хотѣлъ.

— Пустое ты городишь!—говорилъ онъ:—времени тебѣ дѣвать некуда, а деньги, которыя за мѣсто тобой плочены, всѣ до копѣечки возвратимъ! Полюбился ты мнѣ! парень-то очень ужъ ты проворный! На Дунай собрался—лёгко ли дѣло!

Я попробовалъ еще сопротивляться, но когда отецъ Николай разсчиталъ мнѣ по пальцамъ, что если я нѣсколько дней и опоздаю на поля битвъ, то потери отъ этого не будетъ никакой, а между тѣмъ я могу упустить единственный въ своемъ родѣ случай для наблюденій за проявленіями русскаго духа, такъ какъ именно теперь въ Рыбинскѣ проходятъ караваны съ хлѣбомъ, то я вынужденъ былъ согласиться. Не знаю, похвалите ли вы меня за это уклоненіе отъ первоначально утвержденнаго вами маршрута, но увѣряю васъ, что газета отъ этого ничего не проиграетъ *). Съѣзжу въ Рыбинскъ, наблюду за проявленіями русскаго духа, и затѣмъ—маршъ на Дунай!

Что происходило потомъ, я не помню, потому что очень крѣпко уснулъ. Не видѣлъ ни Любани, ни Малой-Вишеры, ни Окуловки, и только въ Березайкѣ былъ разбуженъ моими будущими спутниками. Проснулся и не безъ изумленія увидѣлъ, что кто-то взялъ на себя трудъ собрать мои печеныя яйца и уложить ихъ въ плетушку, которая и стояла возлѣ меня. Вотъ еще замѣчательная черта русскаго характера! Кто въ другой странѣ проявилъ бы такую трогательную заботливость о спящемъ корреспондентѣ!

Такимъ образомъ я очутился въ Бологовѣ, откуда и бесѣдую съ вами!

Содержатель буфета, узнавъ, что я отправляюсь черезъ Рыбинскъ на Дунай, отъ всей души предложилъ мнѣ графинъ очищенной, причемъ наотрѣзъ отказался отъ уплаты денегъ по таксѣ. Вотъ вамъ и еще фактъ. Ужели послѣ всего этого можно усомниться въ силѣ рус-

*) Дай-то Богъ.—*Примѣч. той же редакціи.*

скаго чувства! Что я содержателю бологовскаго буфета? Что онъ мнѣ? И вотъ, однакожъ, оказывается, что между нами существуетъ невидимая духовная связь, которая его заставляетъ пожертвовать графиномъ водки, а меня — принять эту жертву.

Итакъ, не знаю что будетъ дальше, но до сихъ поръ требованія моего желудка (а можетъ быть и издержки по передвиженію, если почтенный Иванъ Иванычъ сдержитъ свое слово) были удовлетворяемы безвозмездно. Вы, конечно, поймете сами, какого рода чувства должны волновать мое сердце, въ виду этого факта! Я же, съ своей стороны, могу присовокупить: да, добрые люди, поступокъ вашъ навсегда останется запечатлѣннымъ въ моемъ благодарномъ сердцѣ, и да будетъ забвенна десница моя, ежели я не заявлю объ немъ въ „Красѣ Демидрона“!

Но въ заключеніе позвольте напомнить и вамъ, г. редакторъ, сколько многимъ я обязанъ вашей изысканной добродѣтели. Я былъ простымъ половымъ въ трактирѣ „Старый Пекинъ“ *), когда вы, замѣтивъ мою расторопность, сначала сдѣлали меня отмѣтчикомъ, а потомъ отправили и корреспондентомъ на мѣста битвъ. Гдѣ, въ какой странѣ возможенъ такой фактъ!

Подхалимовъ 1-й.

2.

Рыбинскъ. Дорога отъ Бологова до Рыбинска тоже весьма замѣчательна въ стратегическомъ отношеніи. Она окружена сплошными болотами, посреди которыхъ тамъ и слямъ, въ разбросанномъ видѣ, живутъ остатки тверскихъ либераловъ, укрывшіеся послѣ извѣстнаго разгрома 1862 года. Разсказываютъ, что это люди смирные, пострадавшіе „за напрасно“, или, собственно говоря, за любовь къ отечеству. Странная вещь эта любовь къ отечеству! Вотъ люди, которые несомнѣнно любили отечество, и которыхъ тѣмъ не менѣе разгромили другіе люди, тоже несомнѣнно любившіе отечество! Кто тутъ правъ, кто виноватъ — рѣшить не берусь, но теперь эти люди живутъ среди своихъ болотъ и занимаются молочными скопами. Отъ

*) Г. Тряпичкинъ черезъ-чуръ скроменъ. Онъ былъ не половымъ, а маркеромъ, что предполагаетъ уже значительно высшую степень развитія.
Примѣч. той же редакціи.

души желаю имъ успѣха въ ихъ полезныхъ занятіяхъ, и такъ какъ вся эта исторія уже канула въ вѣчность и съ тѣхъ поръ страсти значительно улеглись, то не думаю, чтобъ кто-либо нашелъ въ моихъ сочувственныхъ пожеланіяхъ что-либо предосудительное.

По разсказамъ туземцевъ, болота здѣшнія таковы, что въ нихъ безъ труда возможно было бы потопить пѣхоту цѣлаго міра, не говоря уже о кавалеріи, артиллеріи и войскахъ прочихъ родовъ оружія. Слѣдовательно, насчетъ безопасности здѣшнихъ культурныхъ центровъ, какъ-то: Бѣжецка, Краснаго-Холма, Весьегонска и даже самого Вышняго-Волочка, мы можемъ быть спокойны. А сверхъ того я убѣжденъ, что и тверскіе либералы, въ случаѣ проникновенія въ ихъ палестины врага, забывъ прежніе счеты, дадутъ имъ солидный урокъ.

Была уже ночь, когда мы выѣхали изъ Бологова. Спутники мои оказались отличнѣйшими людьми. Иванъ Иванычъ Тр. — веселый малый, высокій, плотный, румяный, кудрявый, съ голубыми, но необыкновенно страшными глазами, которые дѣлались совершенно круглыми, по мѣрѣ того, какъ опоражнивалась висѣвшая у него черезъ плечо фляга. Подобно всѣмъ русскимъ, не отказывающимъ себѣ въ удовольствіи выпить лишнюю рюмку водки, онъ говорилъ разбросанно, не только не вникая строго въ смыслъ выраженій, но даже не имѣя, повидимому, достаточно разнообразнаго запаса ихъ. Однако я не скажу, чтобъ онъ былъ глупъ, въ строгомъ смыслѣ этого слова, а только, вслѣдствіе удачно сложившихся жизненныхъ обстоятельствъ, не чувствовалъ настоятельной надобности въ размышленіи. Такіе люди въ общежитіи чрезвычайно пріятны. Они никого собой не обременяютъ, не навязываютъ своихъ мнѣній, но, взамѣнъ того, являются отличнѣйшими собутыльниками, и хотя не поражаютъ своимъ краснорѣчіемъ, но охотно смѣются, поютъ, стучатъ ногами и вообще выказываютъ веселое расположеніе духа. Тѣмъ не менѣе, такъ какъ людямъ вообще свойственно заблуждаться, то и личности, подобныя Тр., конечно, не изъяты отъ недостатковъ. Во-первыхъ, они любятъ прибѣгать къ шуткамъ черезъ-чуръ истязательнаго характера, а во-вторыхъ, недовольно смирны во хмелю. Противъ перваго изъ этихъ недостатковъ никакихъ средствъ еще не придумано; что же касается до второго, то необходимо только зорко слѣдить, чтобъ эти люди не шли дальше того числа бутылокъ, которое человѣкъ вообще можетъ

вмѣстить, и какъ только этотъ предѣлъ достигнутъ, то нужно какъ можно скорѣе укладывать ихъ спать... Затѣмъ относительно отца Николая могу сказать, что отличнѣйшія качества его ума и сердца были въ настоящемъ случаѣ для меня тѣмъ болѣе драгоцѣнны, что онъ являлся прекраснымъ комментаторомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда смыслъ рѣчей Ивана Иваныча дѣлался слишкомъ загадочнымъ. Судя же по тому, какъ онъ выражался о препонахъ, представляемыхъ плотскою немощью паренію духа, я едва-ли ошибусь, сказавъ, что изъ него могъ бы выйти очень даровитый духовный витія, если бы арена его дѣятельности была нѣсколько обширнѣе.

Несмотря на ночное время, никому изъ насъ спать не хотѣлось, и потому я, въ качествѣ корреспондента, счелъ долгомъ вступить въ разговоръ съ моими спутниками.

— Иванъ Иванычъ! — обратился я къ моему амфитріону: — какъ вы думаете объ нынѣшнихъ военныхъ обстоятельствахъ?

Но онъ не безъ изумленія взглянулъ на меня и, вмѣсто отвѣта откупоривъ фляжку, сказалъ:

— Выпьемъ, корррреспондентъ!

Я не отказался сдѣлать ему удовольствіе, но восклицаніе его, все-таки, мало удовлетворило меня. Отецъ Николай, видя мое недоумѣніе, поспѣшилъ ко мнѣ на помощь.

— Вмѣстѣ съ прочими, значитъ, — сказалъ онъ: — какъ прочіе, такъ и мы.

— Вѣрррно! — подтвердилъ и Иванъ Иванычъ.

— Но лично что же вы думаете? личное ваше мнѣніе въ чемъ заключается? — настаивалъ я, ничего не понимая въ этой странной воздержности.

— А въ кутузку не желаешь... корррреспондентъ? — отвѣтилъ онъ послѣ минутнаго молчанія.

— Не только не желаю, но даже не понимаю, причемъ тутъ кутузка.

— Ну, а мы даже очень отлично понимаемъ.

— Позвольте, однакожъ! Если въ вашихъ мнѣніяхъ нѣтъ ничего предосудительнаго, то почему не высказать ихъ? Если энтузіазмъ самъ просится изъ вашей груди, то почему не выразить его публично, всенародно? Неужели вамъ неизвѣстно, что нынѣче никому выражать свой энтузіазмъ не воспрещается?

— И не воспрещается, и извѣстно, а все-таки... выпьемъ, корррespондентъ!

Я опять не отказалъ ему въ удовольствіи вмѣстѣ выпить, но все-таки стоялъ на своемъ:

— Но почему же? почему?

— А потому что потому—вотъ тебѣ и сказъ!

— Боязно-съ,—пояснилъ отецъ Николай:—думается, слово-то нетрудно молвить, анъ оно, пожалуй,—не то, какое надобно. Ну, и кутузка притомъ же. Хоша нынче она и утратила прежнее всенародное значеніе, а все-таки въ совершенствѣ забвенію не предана.

— Вѣрррно!—опять подтвердилъ Иванъ Иванычъ.

— Но вѣдь вы сами были давеча очевидцемъ, какъ люди совершенно простые выражали свой энтузіазмъ! И выражали такъ открыто, что навѣрное никто изъ нихъ не опасался подвергнуться за это административному воздѣйствію!

— То—мужики, имъ все можно, потому что имъ и подъ замкомъ посидѣть ничего, а мы — люди обстоятельные. Для насъ не токма что день или недѣля, а всякій часъ дорогъ! Будетъ... выпьемъ!

Я убѣдился, что продолжать этотъ разговоръ было бы безполезно, но, признаюсь, сдержанность почтеннѣйшаго Ивана Иваныча сдѣлала на меня горькое впечатлѣніе. Я никакъ не могъ вообразить себѣ, чтобъ представленіе о кутузкѣ было до сихъ поръ такъ живо среди народа. Пришлось опять припомнить вашу газету, или, лучше сказать, безчисленныя передовыя статьи ея, въ которыхъ выражалась мысль, что физіономія народа надолго, если не навсегда, опредѣляется его воспитаніемъ. Святая, безспорная истина! Подумайте, какъ давно уже пали стѣны кутузки; но такъ какъ въ продолженіе вѣковъ она составляла главную основу нашего народнаго воспитанія, то и теперь стоитъ передъ нами, какъ живая! Кутузокъ уже нѣтъ, самый характеръ нашей культуры настолько измѣнился, что не только исправники и становые пристава, но даже сотскіе служатъ образцомъ предупредительности и вѣжливости, а мы все еще жмемся къ сторонкѣ, скрываемся, боимся проронить лишнее слово, какъ будто вотъ-вотъ насъ сейчасъ возьмутъ за шиворотъ! Спрашивается: сколько прекраснѣйшихъ изліяній чувствъ остается, вслѣдствіе этого, подъ спудомъ! Сколькихъ драгоцѣнныхъ и по истинѣ умилительныхъ картинъ мы лишаемся случая быть свидѣтелями!

Начните хоть бы съ насъ, корреспондентовъ: какую массу совершенно неожиданныхъ бытовыхъ сценъ мы могли бы воспроизвести, если бы не существовало этого фаталистическаго самозапрета относительно изліяній чувствъ! Конечно, и теперь мы достаточно сильны по части подражанія мужицкому жаргону, но, все-таки, намъ нужно насиловать свое воображеніе или прибѣгать къ перу Немировича-Данченко, чтобъ достигнуть какихъ-нибудь солидныхъ результатовъ въ смыслѣ увеличенія розничной продажи газетъ. Тогда какъ не будь этого... Но этого мало: самое начальство — смѣю спросить — развѣ оно не теряетъ отъ этого въ смыслѣ самоутѣшенія и самопоощренія? Увы! взирая на ровную поверхность нашего общества, изрѣдка возмущаемую восторгами мужиковъ, оно само не знаетъ, что скрывается въ этихъ глубинахъ: доброе ли чешуйчатое, которое можно выпотрошить и употребить въ снѣдь, или злой крокодилъ, который самъ можетъ поглотить, ежели приблизиться къ нему безъ достаточной осторожности?!

Нѣтъ, прочь кутузки! прочь самое воспоминаніе о нихъ! По крайней мѣрѣ на время войны... Пусть всякій полагаетъ, что онъ обо всемъ можетъ откровенно высказать свою мысль! И пусть не только полагаетъ, но и въ самомъ дѣлѣ высказывается! Результатовъ отъ такой внутренней политики можно ожидать только вполнѣ удовлетворительныхъ. Во-первыхъ, всякій другъ передъ другомъ навѣрное будетъ стараться, чтобъ мысль его была по возможности восторженная и патріотическая; во-вторыхъ, если бы въ общемъ строѣ голосовъ и оказались нѣкоторые диссонансы, то можно бы таковые отмѣтить въ особыхъ спискахъ и, по окончаніи войны, съ выразителями ихъ поступать на основаніи существующихъ постановленій. Тогда какъ теперь, при общемъ молчаніи, невозможно даже опредѣлить, гдѣ кончается благонамѣренность и гдѣ начинается область превратныхъ толкованій...

— Скажи ты мнѣ, сдѣлай милость, что это за должность такая: корреспондентъ? — прервалъ мои размышленія Иванъ Иванычъ.

Я объяснилъ, что въ недавнее время возникла шестая великая держава, называемая прессою, которая, стремясь къ украшенію столбцовъ и страницъ, повсюду завела корреспондентовъ. Эти послѣдніе обязываются замѣчать все, что происходитъ на ихъ глазахъ, и описывать въ легкой забавной формѣ, способной заинтересовать и увеселить

читателя. Писанія свои корреспонденты отправляютъ въ газеты для напечатанія, но бабушка еще на-двое сказала, увидятъ ли они свѣтъ, потому что существуетъ еще седьмая великая держава, которая вообще смотритъ на корреспондентовъ какъ на лицъ неблагонадежныхъ, и допускаетъ или прекращаетъ ихъ дѣятельность по усмотрѣнію. Все искусство корреспондента въ томъ заключается, чтобъ попасть въ мысль этой седьмой державѣ и угадать, какіе восторги своевременны и какіе преждевременны. Напримѣръ: во время сербской войны нѣкоторые восторги были сочтены преждевременными, и потому множество корреспондентовъ погибло напрасною смертью; теперь же, повидимому, эти самые восторги вполнѣ своевременны. Но и то только повидимому, ибо ежели будущее неисповѣдимо вообще, то въ отношеніи къ корреспонденту оно неисповѣдимо сугубо. „Лови моментъ!“ — вотъ единственное правило, которое умный корреспондентъ обязанъ вполнѣ себѣ усвоить — и тогда онъ получитъ за свой трудъ достаточное вознагражденіе, чтобъ...

Иванъ Иванычъ не далъ мнѣ докончить и съ изумленіемъ спросилъ:

— Такъ и корреспондентамъ деньги платятъ?

— Конечно, и даже совершенно достаточно, чтобъ не...

— Ахъ, прахъ-те побери! Отецъ Николай, слышь?

— Слышу, и ничего въ томъ предосудительнаго не нахожу, ибо знаю, по собственному опыту, что̀ такое духовный трудъ, особливо ежели оный совершается въ благоприличныхъ формахъ и въ благопотребное время...

— Нѣтъ, да ты шутишь! настоящими ли деньгами-то платятъ вамъ! не гуслицкими ли?

— Настоящими,—сказалъ я:—и вотъ вамъ доказательство...

Я вынулъ изъ бумажника десятирублевую и подалъ ему. Онъ поднесъ ее къ фонарю, посмотрѣлъ на огонь и вдругъ съ быстротою молніи опустилъ ее въ свой карманъ.

— Я ее дома ужò въ рамку вставлю и на стѣнкѣ въ гостиной у себя повѣшу!—сказалъ онъ.

Положеніе мое было критическое. Съ одной стороны, я понималъ, что это шутка (испытательнаго характера), но съ другой — мнѣ вдругъ сдѣлалось такъ жалко, такъ жалко этой десятирублевой бумажки, что даже сердце въ груди невольно стѣснилось. Не желая,

однакожъ, выказать свои опасенія, я рѣшился пойти на компромиссъ (опять вспомнилъ ваши передовыя статьи, гдѣ это слово такъ часто употребляется).

— Прекрасно, — сказалъ я: — въ такомъ случаѣ вы мою бумажку вывѣсите, а мнѣ отдадите свою равносильной цѣнности.

Къ несчастію, голосъ мой при этомъ дрогнулъ, и это дало ему поводъ продолжать свою шутку.

— Жирно будетъ!—воскликнулъ онъ.

— Но почему же?

— А потому что потому... выпьемъ, корреспондентъ!

Онъ откупорилъ фляжку, налилъ чарочку, и поднесъ ее къ моему лицу; но въ то время, какъ я уже почти касался чарки губами, онъ ловкимъ маневромъ отдернулъ ее отъ меня и выпилъ вино самъ.

— За твое здоровье... корреспондентъ!—Это была новая шутка, и опять испытательнаго характера; но на сей разъ я рѣшился не выказывать своихъ чувствъ.

— И такъ,—сказалъ я, возвращаясь къ прерванному разговору о позаимствованной у меня бумажкѣ:—за вами десять рублей.

— Шалишь, любезный! Хочешь, грѣхъ пополамъ?

— Но зачѣмъ же я получу только пять рублей, коль скоро вы у меня взяли цѣлыхъ десять?

— Ну, слушай! Пойдемъ на аккордъ: пять рублей я тебѣ отдамъ сейчасъ, а пять — черезъ годъ. Хочешь? А твою бумажку въ рамку вставить велю и подпишу: корреспондентова бумажка... По рукамъ, что-ли?

— Не могу и на это согласиться, потому что и это не будетъ справедливо. А впрочемъ я понимаю, что это съ вашей стороны шутка, и охотно буду ожидать, покуда вы сами найдете возможнымъ положить ей конецъ.

— Разсердился... корреспондентъ!

— Нимало... И въ доказательство, что уваженіе мое къ вамъ нисколько не поколеблено, я, если угодно, хоть сейчасъ же выпью вмѣстѣ съ вами за ваше здоровье.

— Вотъ это—дѣло! ай да корреспондентъ! Выпьемъ!

Опять появляется фляжка, и, увы! вновь повторяется тотъ же маневръ, вслѣдствіе котораго чарка, проскользнувши у меня мимо губъ, опрокидывается въ горло моего амфитріона.

Я прислонился головой къ стѣнѣ вагона и сдѣлалъ видъ, что желаю заснуть. Замѣчательно, что батюшка, въ продолженіе этихъ шутокъ, ни разу не вступился за меня. Онъ видимо уклонялся отъ вмѣшательства, и даже въ то время, когда шутки Ивана Иваныча пріобрѣтали несомнѣнно острый характеръ, старался смотрѣть въ окно, хотя тамъ, по ночному времени, ничего не было видно. Ясно, что если бы Ивану Иванычу вздумалось въ самомъ дѣлѣ присвоить себѣ мои десять рублей, то я не имѣлъ бы даже свидѣтеля столь вопіющаго факта! Повторяю впрочемъ: серьезныхъ опасеній насчетъ преднамѣреннаго присвоенія я не имѣлъ; но, все-таки, думалось: а что если онъ позабудетъ?

Не прошло, однакожъ, четверти часа, какъ Иванъ Иванычъ хлопнулъ меня по колѣнкѣ и предложилъ выпить на мировую. Я, разумѣется, поспѣшилъ согласиться, и на этотъ разъ ужъ не было употреблено никакихъ фальшивыхъ маневровъ.

— Слушай, корреспондентъ!—сказалъ онъ при этомъ: — ты парень проворный! постой, я тебѣ загадку загану! Отчего нашъ рубль, теперича, шесть гривенъ на биржѣ стоитъ?

Я призадумался, потому что мнѣ и самому, правду сказать, какъ-то не приходило въ голову, отчего это такъ? Однако, припомнивъ кое-что изъ вашихъ передовыхъ статей, отвѣтилъ, что всему причиной коварство англичанъ.

— Такъ неужто англичанинъ такую власть надъ нами взялъ, что нашъ рубль въ полтинникъ обратить можетъ?

— Это—не власть, а естественное слѣдствіе слабости нашего денежнаго рынка.

— Да рынокъ-то нашъ отчего слабъ?

— А это опять-таки оттого, что англичане...

Я остановился въ недоумѣніи и сталъ соображать. Не оттого-ли это—мелькнуло вдругъ у меня въ головѣ, — что у насъ, взамѣнъ книгопечатанія, въ усиленной степени развито билетопечатаніе? Но онъ уже не слушалъ меня.

— Самъ-то ты, вижу я, слабъ... корреспондентъ! Батя! по маленькой!

— Съ удовольствіемъ, — отвѣтилъ отецъ Николай, который уже пересталъ смотрѣть въ окно.

— Такъ ты за Дунай и далѣе?—вновь обратился ко мнѣ Иванъ Иванычъ.

— Да, за Дунай.

— „Ѣхалъ казакъ за Дунай"... а попалъ въ Рыбинскъ!

— Да, и въ Рыбинскъ. Во-первыхъ, вы сами меня пригласили, а во-вторыхъ, такъ какъ военныя дѣйствія еще не начались, то отчего же мнѣ, предварительно, не быть свидѣтелемъ драгоцѣнныхъ выраженій русскаго духа!

— Смотри, какъ бы безъ тебя войну не кончили!

— Не безпокойтесь. Лучше скажите мнѣ вотъ что. Теперь время трудное; одни жертвуютъ жизнью, другіе —знаніями, третьи—корреспонденты, напримѣръ—поддерживаютъ въ публикѣ духъ, знакомятъ ее съ ходомъ военныхъ дѣйствій... Ну, а прочіе какъ?

— А тебѣ зачѣмъ нужно знать?

— А хоть бы затѣмъ, чтобъ познакомить публику съ дѣйствительнымъ настроеніемъ русскаго общества въ настоящую минуту.

— Изволь, братецъ. А мы... прочіе, то-есть... какъ чуть что, сейчасъ пошлемъ за ящичкомъ—и деньги готовы!

— За какимъ же это ящичкомъ?

— А за личественнымъ. Прежде у насъ личественныхъ денегъ не было, а нынче — есть. Такъ замѣсто того, чтобъ со списочкомъ по домамъ ходить, взялъ, сколько требуется, изъ ящичка—и шабашъ!

— Оно изъ общественнаго-то ящичка ровнѣе,—пояснилъ отецъ Николай.

— Почему же ровнѣе?

— Чудакъ ты! Про англичанина знаешь, а этого не можешь понять! Извѣстно, личественный ящикъ всѣхъ равняетъ. Такъ и мой гривенникъ, и его пятакъ, и твоя копѣйка — все тамъ складено! Значитъ, отъ всякаго и жертва идетъ, глядя по состоянію.

— Стало быть, вы лично никакой тягости отъ этихъ пожертвованій не ощущаете?

— Какая тягость! Сказано тебѣ: со всѣмъ нашимъ удовольствіемъ!

Вотъ вамъ фактъ. Мнѣ кажется, что, при разсмотрѣніи вопроса объ русской общинѣ, онъ долженъ имѣть первостепенное значеніе! Удивительное дѣло! Какъ только было дано разрѣшеніе завести общественныя кассы, такъ тотчасъ же онѣ получили у насъ такое же право

гражданственности, какъ и растрата оныхъ! Это уже не фантазія, не вымыселъ безпокойнаго и празднаго воображенія, а фактъ. Кассы наполняются, потомъ растрачиваются... и снова наполняются—какая изумительная, знаменательная и въ то же время отрадная настойчивость! Гдѣ, въ какой странѣ вы увидите что-либо подобное?

Въ этихъ мысляхъ я незамѣтно заснулъ. Да и время было, потому что письмо мое и безъ того уже вышло изъ предѣловъ обыкновенной газетной корреспонденціи *).

Я проснулся въ десятомъ часу утра. Горячее солнце стояло уже высоко и обливало желтоватымъ свѣтомъ внутренность вагона. Кругомъ царствовало суетливое движеніе: пассажиры громко разговаривали, собирая свои пожитки, въ виду скораго достиженія цѣли нашего путешествія.

— А вотъ и наша Рыбна! — весело воскликнулъ Иванъ Иванычъ, указывая пальцемъ въ окно.

Я потянулся, протеръ глаза, и, сознаюсь откровенно, первою моею мыслью было воспоминаніе о взятыхъ у меня десяти рубляхъ.

— И такъ,—сказалъ я:—вы должны мнѣ десять рубликовъ, почтеннѣйшій Иванъ Иванычъ!

— Христосъ съ тобой! — никакихъ я у тебя денегъ не бралъ! Во снѣ ты это видѣлъ.

— Слушайте! это, наконецъ, ни на что не похоже!—не на шутку разгорячился я, но тутъ мой взоръ случайно упалъ на полу моего пальто, и всѣ мои опасенія мгновенно разсѣялись. Вчерашняя моя десятирублевка оказалась пришитою на самомъ видномъ мѣстѣ къ полѣ пальто и такъ тщательно, что я употребилъ не мало труда, чтобъ отшить ее. Разумѣется, добродушный хохотъ моихъ собесѣдниковъ оглашалъ стѣны вагона все время, покуда продолжалась операція отшиванія.

Подхалимовъ 1-й.

---

*) Напротивъ того. Чѣмъ больше подобныхъ фактовъ, тѣмъ лучше, и мы просимъ нашего корреспондента не стѣснять себя. Но въ то же время присовокупляемъ и другую покорнѣйшую просьбу: поспѣшить на Дунай.

Примѣч. той же редакціи.

3.

Отъ редакціи газеты „Краса Демидрона“. Сегодня мы получили отъ нашего дунайскаго корреспондента слѣдующую телеграмму, которая—мы говоримъ откровенно—привела насъ въ нѣкоторое изумленіе:

„Кинешма (не Кишиневъ ли?). Сейчасъ получено извѣстіе, что мы перешли черезъ Дунай. Городъ иллюминованъ. Отецъ Макридій сказалъ приличное обстоятельствамъ слово. Завидую вамъ! Ура!“

Подхалимовъ 1-й.

Во-первыхъ, какимъ образомъ корреспондентъ нашъ могъ попасть въ Кинешму—мы рѣшительно недоумѣваемъ. Скорѣе всего мы склонны думать, что слѣдуетъ читать: „Кишиневъ“, превратившійся въ Кинешму вслѣдствіе одной изъ тѣхъ прискорбныхъ ошибокъ, отъ которыхъ, къ величайшему нашему сожалѣнію, телеграфное наше вѣдомство далеко не можетъ считать себя свободнымъ. Во-вторыхъ, предположивъ даже, что нашъ корреспондентъ, вслѣдствіе разныхъ замедленій, неразлучныхъ съ военнымъ временемъ, достигъ только Кишинева (о Кинешмѣ мы, конечно, и не думаемъ), какимъ образомъ могло случиться, что телеграмма наша попала по назначенію лишь черезъ недѣлю послѣ того, какъ радостная вѣсть о переходѣ нашихъ войскъ у Мачина, а потомъ и у Систова уже облетѣла всю Россію, была опубликована во всѣхъ газетахъ и сдѣлалась драгоцѣннѣйшимъ достояніемъ всего русскаго народа?

Все это наводитъ на весьма невеселыя мысли о дѣйствіяхъ нашего полевого телеграфнаго вѣдомства. Жалобы на его неисправности слышатся не только у насъ, но проникли и за границу, что̀ въ особенности важно въ такую минуту, когда глаза цѣлой Европы устремлены на насъ. Мы говоримъ это не въ видѣ упрека (сохрани насъ Богъ!), но не можемъ не констатировать факта, который, какъ онъ ни прискорбенъ въ данномъ случаѣ, но все-таки поправимъ. И мы надѣемся, что впредь ничего подобнаго не случится, ибо мы уже обратились по этому предмету куда слѣдуетъ съ ходатайствомъ, которое, конечно, будетъ уважено, ежели, впрочемъ, начальство, всегда къ намъ благосклонное, не найдетъ болѣе умѣстнымъ оставить нашу просьбу безъ разсмотрѣнія.

Вообще, наши военные корреспонденты причиняютъ намъ много заботъ, а иногда даже служатъ источникомъ горестнаго изумленія. Конечно, это дѣло совсѣмъ новое, и невозможно требовать, чтобъ оно шло какъ по маслу, но намъ какъ-то особенно не посчастливилось въ этомъ отношеніи, хотя мы не щадили ни трудовъ, ни издержекъ, чтобъ прочно поставить это дѣло на ноги. Нашъ дунайскій корреспондентъ, очевидно, увлекся. Происходя самъ изъ народа, онъ послѣдовалъ за волной народныхъ восторговъ и вѣроятно пробылъ въ Рыбинскѣ болѣе, нежели слѣдовало. Вотъ отчего онъ только теперь достигъ Кишинева, куда мы, впрочемъ, вмѣстѣ съ нимъ посылаемъ ему дружеское приглашеніе не медлить болѣе и постараться, сколь возможно скорѣе, присоединиться къ нашей арміи, дабы быть очевидцемъ предстоящихъ великихъ событій. Что касается до нашего малоазіатскаго корреспондента (Подхалимовъ 2-й), то о немъ мы рѣшительно не имѣемъ никакихъ извѣстій. 9-го мая мы простились съ нимъ, и знаемъ, что онъ былъ совершенно здоровъ, въ полномъ разсудкѣ, дышалъ отвагой и оставилъ насъ съ твердымъ намѣреніемъ выѣхать въ тотъ же день изъ Петербурга съ послѣднимъ пассажирскимъ поѣздомъ. Знаемъ еще, что у него есть въ Чебоксарахъ родные, къ которымъ онъ хотѣлъ заѣхать, но не болѣе какъ на одинъ день. Однако, съ тѣхъ поръ онъ какъ въ воду канулъ. Напрасно мы посылали узнавать на его петербургскую квартиру, потомъ телеграфировали въ Чебоксары, въ Тифлисъ, въ Кутаисъ и, наконецъ, въ Александрополь — отовсюду мы получили отрицательные отвѣты. Очень возможно, что онъ взятъ въ плѣнъ, и въ такомъ случаѣ намъ приходится только пожалѣть объ участи талантливаго юноши и сотрудника, который намъ былъ особенно дорогъ своею готовностью выполнять порученія редакціи. Какъ бы то ни было, но это должно объяснить публикѣ, почему наши свѣдѣнія съ малоазіатскаго военнаго театра еще слабѣе, нежели съ Дуная.

Надѣемся, что читатели не посѣтуютъ на насъ за это откровенное объясненіе. Можемъ прибавить къ этому, что въ виду глубокаго интереса, возбуждаемаго настоящей войной, мы и еще разъ не пожалѣли трудовъ и издержекъ. А именно: отыскали, на замѣну безъ вѣсти пропавшаго малоазіатскаго корреспондента нашего — другого, г. Ящерицына, котораго испытанное и вполнѣ намъ извѣстное проворство не оставляетъ желать ничего лучшаго. Вчера мы лично при-

сутствовали на дебаркадерѣ николаевской желѣзной дороги при его отправленіи, и можемъ сказать съ полною увѣренностью: онъ уѣхалъ. Такимъ образомъ, черезъ мѣсяцъ, никакъ не болѣе, читатели наши будутъ имѣть подробнѣйшій выборъ самыхъ свѣжихъ новостей, почерпнутыхъ прямо изъ перваго источника. При этомъ считаемъ не лишнимъ напомнить почтеннѣйшей публикѣ, что розничная продажа нашей газеты *никогда не была воспрещена, а тѣмъ менѣе пріостанавливаемо самое изданіе газеты,* и что слухи, будто бы мы прекращаемъ нашу дѣятельность по недостатку средствъ — чистѣйшая ложь, выдуманная нашими противниками, въ видахъ распространенія ихъ вредныхъ и *очень часто недопускаемыхъ къ розничной продажѣ* изданій, что̀, какъ извѣстно, при совокупномъ примѣненіи системы предостереженія, влечетъ за собой пріостановку оныхъ на болѣе или менѣе продолжительные сроки, а иногда даже и совершенное прекращеніе, по усмотрѣнію начальства. А отъ этого, кромѣ потребителей розничной продажи, очевидно страдаютъ и годовые подписчики.

4.

Варнавинъ. Васъ, конечно, удивитъ, что я пишу изъ Варнавина. Что̀ дѣлать, волны народной восторженности увлекли меня дальше, нежели я предполагалъ. Впрочемъ я изъ Кишиневы *) уже телеграфировалъ вамъ, что русскія войска благополучно переправились черезъ Дунай у Зимницы и еще въ какомъ-то мѣстѣ — забылъ. Слѣдовательно, главное вамъ извѣстно.

Пожалуйста, извините меня, что я медленно спѣшу. Дѣйствительно, я не поспѣлъ къ переходу за Дунай, но къ переходу черезъ Балканы поспѣю, это — вѣрно. Впрочемъ, собственно говоря, въ виду

*) Такимъ образомъ, помѣщенная нами въ одномъ изъ предыдущихъ нумеровъ телеграмма г. Подхалимова 1-го разъясняется. Онъ, дѣйствительно, телеграфировалъ изъ Кишиневы, а не изъ Кишинева, и мы глубоко извиняемся передъ полевымъ телеграфнымъ вѣдомствомъ въ той неосмотрительности, съ какою поспѣшили обвинить его въ неисправности, въ которой оно оказывается совершенно невиновнымъ. Впрочемъ, съ одной стороны, это насъ отчасти и радуетъ, такъ какъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, и тѣ обвиненія противъ телеграфнаго вѣдомства, которыя проникли въ иностранную печать, останутся столь же неосновательными, какъ и наше, и, такимъ образомъ, означенное вѣдомство выйдетъ совершенно чистымъ въ глазахъ

той копѣечной платы, которою вы меня награждаете, и извиняться не стóить *)...

Въ Рыбинскѣ я пробылъ всего три недѣли и, признаюсь, разстался съ моимъ амфитріономъ безъ особенной горести. Слишкомъ испытательный характеръ его шутокъ съ каждымъ днемъ пріобрѣталъ все болѣе и болѣе острый характеръ, такъ что, подъ конецъ, я не могъ безъ опасенія смотрѣть въ глаза будущему. Я не говорю уже о томъ, что когда всѣмъ подавали за обѣдомъ уху изъ живыхъ стерлядей, то для меня, какъ онъ самъ выражался, спеціально готовили таковую изъ *дохлой* рыбы; но были шутки и покруппѣе. Такъ напримѣръ: воспользовавшись моимъ восторженнымъ положеніемъ по случаю взятія Баязета, онъ уложилъ меня, соннаго, въ гробъ, покрывъ старой столовой красной салфеткой и поставивъ по четыремъ угламъ сальныя свѣчи, такъ что когда я ночью проснулся и увидѣлъ себя въ компатѣ одного и въ такой обстановкѣ, то чуть въ самомъ дѣлѣ не умеръ со страху. Въ другой разъ, воспользовавшись таковымъ же моимъ положеніемъ по случаю взятія Ардагана, онъ вывезъ меня на дрогахъ въ городской лѣсъ и бросилъ въ канаву, такъ что я,

---

просвѣщенной Европы. Затѣмъ, чтобъ сложить съ себя хотя часть отвѣтственности передъ читателями за поступки нашихъ корреспондентовъ, мы заявляемъ: 1) что мы не только не одобряемъ страннаго образа дѣйствій г. Подхалимова 1-го, но даже строго порицаемъ его; 2) что мы не видимъ ничего любопытнаго, ни даже забавнаго въ его корреспонденціяхъ; напротивъ того, находимъ ихъ вполнѣ неумѣстными, и если, за всѣмъ тѣмъ, печатаемъ ихъ, то потому только, чтобъ хотя отчасти восполнить издержки, употребленныя нами на посылку корреспондентовъ; 3) что вмѣстѣ съ симъ мы вторично и съ строжайшею настоятельностію предлагаемъ г. Подхалимову 1-му прекратить свои блужданія и отправиться на театръ военныхъ дѣйствій—*немедленно*; 4) что въ этихъ же видахъ нами отправлено письмо къ г. варнавинскому уѣздному исправнику, котораго мы просимъ подѣйствовать на г. Подхалимова 1-го путемъ убѣжденія, а буде это окажется недѣйствительнымъ, то подыскать на мѣсто его кого-либо изъ мѣстныхъ жителей, оказывающаго склонность къ правописанію, и немедленно отправить на Дунай, а намъ телеграфировать объ издержкахъ, которыя мы, безъ упущенія времени, съ благодарностью возвратимъ.—*Примѣч. редакціи газеты „Краса Демидрона“*.

*) Это—наглая ложь, за которую мы, по окончаніи военныхъ дѣйствій, непремѣнно призовемъ г. Подхалимова къ суду. Мы платимъ не по копѣйкѣ, а по три копѣйки за каждую строку; сверхъ того приняли на себя всѣ путевыя издержки, по разсчету за мѣсто въ вагонѣ II-го класса, и кормовыхъ по 5 рублей въ сутки, за каждый проведенный въ пути и на мѣстѣ военныхъ дѣйствій день.—*Примѣч. редакціи той же газеты.*

будучи пробужденъ воемъ собакъ, долженъ былъ для спасенія своего лѣзть на дерево и въ другой разъ чуть не умеръ со страху.

Этотъ послѣдній поступокъ даже уклончиваго отца Николая привелъ въ недоумѣніе (я не обвиняю, впрочемъ, его за эту излишнюю склонность къ дипломатіи, потому что въ домѣ Тр. каждую субботу служатъ всенощныя, а это—немаловажное подспорье для причта), такъ что онъ сказалъ въ лицо самому Ивану Иванычу:

— Хотя шутка, сударь, вообще не предосудительна, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже пріятнымъ развлеченіемъ служить можетъ, но въ семъ разѣ вы подвергли господина корреспондента опасности быть растерзаннымъ дикими звѣрьми, и тѣмъ самымъ довольно ясно доказали, что предѣлы невиннаго препровожденія времени преступаются вами безъ надлежащей осмотрительности!

— Ишь, вѣдь, городитъ! какихъ ты еще дикихъ звѣрей въ нашемъ лѣсу сочинилъ? — нимало не смущаясь, возразилъ на это Иванъ Иванычъ.

— Все-таки, сударь, въ иномъ разѣ и собака, не хуже волка, свою роль сыграетъ!

— Бѣду нашелъ! все равно турки его растреплютъ — чего жъ тутъ! Еще хуже будетъ: слыхалъ, чай, какъ турки-то съ *ранеными* поступаютъ... ахъ, варвары, прахъ ихъ побери!

— И на это скажу: неправильно въ предвидѣніи смерти чаемой, а быть можетъ и неизбѣжной, подвергать человѣка смерти опредѣлительной и неминуемой. Жестокой отвѣтственности за это подпасть можете.

— „Опредѣлительной“ да „чаемой“! — не умеръ вѣдь! Отдышался!

Такъ-таки и не успѣлъ отецъ Николай довести моего амфитріона до чистосердечнаго раскаянія!

Въ заключеніе всего Иванъ Иванычъ пригласилъ меня съ собой въ Нижній, куда онъ ѣхалъ по торговымъ дѣламъ, и высадилъ ночью, соннаго, въ согласіи съ капитаномъ парохода, на пустынномъ берегу Волги. Такъ что я на другой день проснулся, томимый жаждою, подъ палящими лучами солнца, и только отъ проходящихъ бурлаковъ узналъ, что нахожусь въ семи верстахъ отъ Кинешмы. Справедливость, однакожъ, требуетъ сказать, что я нашелъ свой сакъ въ сохранности, и сверхъ того въ карманы моего пальто заботливою ру-

кою г. Тр. были положены: булка, кусокъ колбасы и бутылка водки. Сверхъ того я нашелъ у себя въ боковомъ карманѣ сторублевый кредитный билетъ и записку слѣдующаго содержанія: „прощай, корреспондентъ!“ Однако и этому доброму дѣлу онъ придалъ шутовскія формы, надѣлавшія мнѣ немало хлопотъ, а именно нарисовалъ на сторублевомъ билетѣ усы, такъ что когда я, придя въ Кинешму, хотѣлъ размѣнять ассигнацію на мелкія, то меня повели къ исправнику, въ качествѣ обвиняемаго въ превратныхъ толкованіяхъ! Исправникъ же хотя и убѣдился моими объясненіями въ моей невинности, но, все-таки, отобралъ отъ меня сторублевку да, сверхъ того, и паспортъ, на случай, какъ онъ выразился, возникновенія обо мнѣ дѣла, и обязалъ меня подпискою увѣдомлять его каждонедѣльно о своемъ мѣстопребываніи! Вотъ каковы результаты моей поѣздки въ Рыбинскъ!

Замѣчательно легкомысліе людей, подобныхъ моему рыбинскому амфитріону. Повидимому они набожны, охотно ходятъ въ церковь, служатъ всенощныя, молебны и приносятъ значительныя пожертвованія на благолѣпіе храмовъ, а между тѣмъ никто легче ихъ не переходитъ отъ набожности къ самому циническому кощунству. Случай со мной, какъ меня уложили въ гробъ, служитъ тому очевиднымъ доказательствомъ. И я вполнѣ убѣжденъ, что Иванъ Иванычъ даже не понималъ, что онъ кощунствуетъ, а просто полагалъ, что это такая же „шутка“, какъ и та, которую онъ дозволялъ себѣ, кормя меня ухою изъ „дохлой рыбы“!

Да, печальна участь русскаго корреспондента! *) Мало того, что онъ, подобно американскимъ піонерамъ, рискуетъ, изслѣдуя русскія дебри, быть растерзаннымъ дикими звѣрьми — надъ нимъ еще всячески издѣваются люди, которымъ, по ихъ богатству и положенію, слѣдовало бы стоять на стражѣ отечественной культуры!

За все мое пребываніе въ Рыбинскѣ случилось одно только замѣчательное происшествіе: битва въ клубѣ, причемъ враждующіе раз-

*) Печальна, правда, но вмѣстѣ съ тѣмъ и вполнѣ заслужена. Если мы желаемъ, чтобъ насъ уважали, необходимо, во-первыхъ, чтобъ мы сами выполняли принятыя нами добровольно обязанности честно и добросовѣстно, не ставя лицъ ни въ чемъ невиновныхъ въ затруднительное положеніе предъ подписчиками, а во-вторыхъ, чтобъ мы даже для выраженія чувствъ восторга прінскивали болѣе приличныя формы, а не впадали въ крайности, которыя позволяютъ, безъ нашего вѣдома, высаживать насъ на пустынный берегъ Волги!

Примѣч. редакціи газеты „Краса Демидрона“.

дѣлились на двѣ партіи: одна подъ предводительствомъ моего принципала (въ этомъ же лагерѣ находился и я), другая—подъ предводительствомъ одного изъ здѣшнихъ сильныхъ міра, статскаго совѣтника Р. Враждующія стороны давно уже пикировались изъ-за первенства въ клубѣ, и наконецъ на дняхъ, во время выборовъ въ старшины, когда партія статскаго совѣтника была торжественно прокачена на вороныхъ, не выдержали. Генеральное сраженіе устроилось какъ-то совершенно внезапно. „Наши“, по окончаніи баллотировки, преспокойно разсѣлись за карточные столы, какъ вдругъ развѣдчики донесли Тр., что въ непріятельскомъ лагерѣ происходитъ какое-то подозрительное движеніе. И дѣйствительно, статскій совѣтникъ совѣщался въ большой залѣ со своими аколитами и металъ глазами молніи. Убѣдившись, что нападеніе должно воспослѣдовать въ самомъ непродолжительномъ времени, „паши“, не подавая вида, что подозрѣваютъ что-либо, продолжали сидѣть за картами, но между тѣмъ приготовились и разослали по домамъ за подкрѣпленіями. Но и за всѣмъ тѣмъ положеніе было очень и очень сомнительное, и если бы непріятель сдѣлалъ нападеніе немедленно (онъ самъ, повидимому, не былъ увѣренъ въ своихъ силахъ), то весьма возможно, что наше дѣло было бы проиграно навсегда. Но въ этотъ вечеръ статскій совѣтникъ дѣлалъ промахъ за промахомъ. Во-первыхъ, онъ пропустилъ удобный моментъ; во-вторыхъ, допустилъ, что коллежскій совѣтникъ N и отставной ротмистръ Ж. ушли домой; и, въ-третьихъ, ворвался въ игральныя комнаты, не разсчитавъ, что мы были защищены игральными столами и вооружены подсвѣчниками. Результатъ былъ таковъ, какого и слѣдовало ожидать. Непріятель былъ смятъ въ нѣсколько мгновеній и бѣжалъ съ поля сраженія, съ трудомъ подобравъ своихъ раненыхъ. Съ нашей стороны потерь не было, но лицо Тр. оказалось до такой степени испещреннымъ разнообразными боевыми знаками, какъ будто по немъ проѣхали желѣзной бороной. Я также получилъ ушибъ въ лѣвое ухо и въ правую скулу, но награды себѣ за это не ожидаю *).

*) Сотрудникъ нашъ приложилъ при этомъ даже планъ дома, въ которомъ происходило сраженіе, съ обозначеніемъ расположенія враждующихъ сторонъ. Мы, однакожъ, не воспроизводимъ этой карты на страницахъ нашей газеты и вновь убѣждаемъ г. Подхалимова 1-го, не увлекаясь посторонними предметами, немедленно слѣдовать къ мѣсту назначенія. — *Примѣч. той же редакціи.*

Еще особенность Рыбинска: тамошнія мѣщанки гораздо охотнѣе, нежели мѣщанки другихъ городовъ Ярославской губерніи, назначаютъ на бульварѣ любовные рандеву. Я самъ однажды, въ качествѣ любопытнаго, отправился, когда стемнѣло, на бульваръ и невольно вспомнилъ о Немировичѣ-Данченко. Только его чарующее перо можетъ достойно описать упоительную рыбинскую ночь среди группъ густолиственныхъ липъ, каждый листъ которыхъ полонъ сладострастнаго шопота! По увѣреніямъ сторожиловъ, любовное предрасположеніе здѣшнихъ жителей происходитъ отъ того, что они питаются преимущественно рыбою (отсюда и самое названіе Рыбинскъ), которая, какъ извѣстно, заключаетъ въ себѣ много фосфора.

Я и самъ получилъ приглашеніе на рандеву отъ нѣкой Аннушки, но остерегся пойти, подозрѣвая въ этомъ новую шутку моего амфитріона. И дѣйствительно, я угадалъ: на другой день отецъ Николай сообщилъ мнѣ за тайну, что все это было устроено съ единственною цѣлью *помять мнѣ бока*!

И такъ, я въ Варнавинѣ!.. *)

5 **).

Село Баки (между Варнавиномъ и Семеновомъ). И такъ, я на Ветлугѣ; разскажу по порядку, какимъ образомъ это произошло.

Послѣ извѣстнаго вамъ рыбинскаго погрома, будучи высаженъ съ парохода на пустынный берегъ Волги, я достигъ наконецъ Кинешмы, гдѣ и пробылъ три дня, во-первыхъ, чтобъ отдохнуть, а во-вторыхъ, чтобъ покончить непріятное дѣло о превратныхъ толкованіяхъ, возникшее по поводу злополучной сторублевки, подаренной мнѣ купцомъ Тр.

Изъ Кинешмы я хотѣлъ отправиться по желѣзной дорогѣ въ

*) На этомъ письмо обрывается. Оно не подписано г. Подхалимовымъ 1-мъ, но почеркъ его слишкомъ хорошо знакомъ намъ, чтобъ мы могли хотя на минуту усомниться въ принадлежности письма именно ему.

Примѣч. той же редакціи.

**) На сей разъ мы даже не сопровождаемъ письма нашего корреспондента никакими комментаріями, предоставляя читателямъ самимъ разсудить, съ какимъ чувствомъ мы его помѣщаемъ. Письма г. Подхалимова становятся, впрочемъ, короче и короче, что отчасти утѣшаетъ насъ.

Примѣч. той же редакціи.

Москву, дабы оттуда уже безостановочно ѣхать на Дунай и далѣе, но вмѣсто того попалъ на пароходъ, который нечувствительно привезъ меня въ Юрьевецъ. Бѣда была бы, однакожъ, невелика, потому что я могъ бы доѣхать этимъ порядкомъ до Нижняго, и все-таки, рано или поздно, добраться до Москвы; но въ Юрьевцѣ случился со мною новый казусъ. Тамъ, какъ вамъ, конечно, извѣстно, существуютъ двѣ пароходныя линіи: одна идетъ внизъ и вверхъ по Волгѣ на Нижній и Рыбинскъ; другая же уклоняется къ сѣверу и идетъ по рѣкѣ Унжѣ до Макарьева (костромского). Выйдя съ парохода погулять, я, ничего не подозрѣвая, попалъ, вмѣсто нижегородскаго парохода, на макарьевскій, и, къ великому моему удивленію, на другой день утромъ очутился въ Макарьевѣ. Къ счастію, я имѣю привычку никогда не оставлять моего дорожнаго сака ни въ вагонахъ, ни въ пароходныхъ каютахъ, и потому всѣ вещи мои оказались на-лицо. Тѣмъ не менѣе, какъ я ни оправдывался передъ капитаномъ парохода и даже показывалъ ему билетъ, взятый на пароходѣ до Нижняго, но меня, все-таки, заставили заплатить за мое невольное путешествіе отъ Юрьевца до Макарьева. Я даже подозрѣваю, что капитанъ, въ самый моментъ моего появленія на унженскій пароходъ, очень хорошо понималъ, что я попалъ туда ошибкою, но нарочно оставилъ меня въ заблужденіи, такъ какъ публики по унженской линіи ѣздитъ мало, и подобныя заблужденія, конечно, на руку компаніи. По крайней мѣрѣ, нѣкоторые пассажиры мнѣ сказывали, что такіе случаи здѣсь нерѣдки, особливо во время нижегородской ярмарки, когда купцы вообще дѣлаются особенно склонными впадать въ заблужденія.

Въ Макарьевѣ я пробылъ менѣе сутокъ, и такъ какъ былъ сильно утомленъ, то цѣлый день проспалъ и никакихъ городскихъ достопримѣчательностей осмотрѣть не могъ. Вечеромъ, впрочемъ, отправился въ мѣстный клубъ, но тутъ-то именно и случилось фатальное недоразумѣніе. Сторожъ потребовалъ отъ меня рекомендаціи кого-либо изъ членовъ, а я при этомъ требованіи неизвѣстно почему обробѣлъ. Тогда онъ началъ самымъ наглымъ образомъ настаивать, чтобъ я предъявилъ свой паспортъ, грозя, въ противномъ случаѣ, дать знать исправнику. Впослѣдствіи я узналъ, что эта необыкновенная щепетильность имѣетъ свою законную причину: незадолго передъ тѣмъ въ городѣ произошло нѣсколько пожаровъ, причину которыхъ относятъ къ поджогамъ. Слѣдовательно, теперь появленіе каждаго новаго лица

въ городѣ поднимаетъ тревогу и возбуждаетъ подозрѣніе, не поджигатель ли. А такъ какъ у меня паспортъ былъ отобранъ еще въ Кинешмѣ, то, натурально, я не могъ ничего предъявить. Какъ бы то ни было, я долженъ былъ дать гривенникъ изъ собственныхъ своихъ, чтобъ только замять это дѣло, которое могло разыграться тѣмъ, что крикни только сторожъ — и разъяренная чернь меня, человѣка совсѣмъ невиннаго *), навѣрное разорвала бы на части!

Въ виду такой перспективы я, даже не возвращаясь на постоялый дворъ, поспѣшилъ выбраться изъ города и очутился на совершенно незнакомой мнѣ дорогѣ. Я шелъ наугадъ цѣлыхъ четыре дня, не зная, куда приведетъ меня звѣзда, ночевалъ большею частью въ стогахъ сѣна и питался ягодами, которыми, къ счастію, здѣшніе лѣса изобилуютъ. Но, ахъ! если бы вы знали, какіе это лѣса! Дремучіе, торжественно молчаливые, наполненные всякаго рода птицей, звѣремъ и гадомъ! Изрѣдка только, въ перелѣскахъ, попадаются небольшія селенія, которыхъ я, однакожъ, какъ безпаспортный старался избѣгать.

Но, сколько могу судить по мимолетнымъ моимъ наблюденіямъ, восторгъ по случаю войны и здѣсь не мѣньшій, нежели въ прочихъ мѣстахъ, гдѣ я до сихъ поръ былъ. По крайней мѣрѣ, одна старушка, къ которой я зашелъ въ избу, чтобъ хоть сколько-нибудь подкрѣпить свои силы горячей пищей (семья была въ это время на работѣ, и она домовничала), узнавъ, что я — корреспондентъ газеты „Краса Демидрона“, не только накормила меня задаромъ прекраснѣйшей глазуньей-яичницей, но дала мнѣ на дорогу большую лепешку, которая сослужила мнѣ очень-очень большую службу въ дальнѣйшемъ путешествіи. Отъ нея же я узналъ, что деревня ихъ Варнавинскаго уѣзда и отстоитъ отъ Варнавина въ сорока верстахъ. Пользуясь этимъ случаемъ, я вздумалъ кстати собрать нѣсколько небезполезныхъ этнографическихъ данныхъ, которыя могли бы мнѣ послужить матеріаломъ для характеристики этой мѣстности, и съ этою цѣлью вступилъ въ разговоръ со старушкой.

— Ну, милая старушка,—сказалъ я:—за хлѣбъ за соль благодарю, а все-таки попрошу тебя и еще одну службушку мнѣ сослужить.

---

*) Но пьянаго.—*Примѣч. той же редакціи.*

— Какую, кормилецъ?

— Разскажи ты мнѣ, какіе тутъ у васъ есть нравы и обычаи?

— Какимъ у насъ, кормилецъ, обычаямъ быть? Извѣстно, лѣтомъ работаемъ, весною работаемъ, осенью работаемъ, зимою работаемъ—вотъ и всѣ наши обычаи здѣшніе!

Болѣе этого я узнать такъ-таки ничего и не могъ, и какъ ни старался втолковать доброй женщинѣ, что слово „обычай“ означаетъ „игры“, „пѣсни“, „обряды свадебные и похоронные“ и проч., но она уперлась на своемъ, что никакихъ обычаевъ у нихъ нѣтъ, кромѣ одного: и лѣтомъ, и зимой, и осенью, и весной — всѣ работаютъ. Къ довершенію всего, когда я собрался въ путь, она бросилась мнѣ въ ноги, и стала умолять, чтобъ я попомнилъ ея хлѣбъ-соль и не „трогалъ“ ихъ деревни. Представьте! она приняла меня за поджигателя!

Ровно черезъ сутки я очутился въ виду Варнавина, да и пора была, потому что ноги у меня ужасно отекли и распухли. Варнавинъ —довольно чистенькій городокъ на Ветлугѣ, при впаденіи въ нее Лапшанги. Я пришелъ туда хотя подъ вечеръ, но еще не поздно; однако на улицахъ было до того пустынно, что самые дома, въ изумленіи, что раздались чьи-то шаги, казалось, спрашивали: кто здѣсь блуждаетъ? Насилу нашелъ постоялый дворъ; разумѣется, сейчасъ же снялъ сапоги, напился скверпѣйшаго чаю и заснулъ какъ убитый. На другой день, проснувшись довольно рано, хотѣлъ осмотрѣть достопримѣчательности города — не тутъ-то было! Представьте! и здѣсь на дняхъ было нѣсколько пожаровъ, и здѣсь ходятъ слухи о поджогахъ, такъ что внезапное появленіе мое пѣшкомъ и неизвѣстно откуда окончательно всполошило и полицію, и обывателей. И вотъ, въ то самое время, какъ я писалъ мое предыдущее письмо къ вамъ, вдругъ возникъ вопросъ о паспортѣ, и я вновь долженъ былъ мгновенно исчезнуть... что я и сдѣлалъ, оставивъ на столѣ два двугривенныхъ для расплаты съ хозяиномъ за постой.

Вотъ почему мое послѣднее письмо къ вамъ осталось неподписаннымъ, а совсѣмъ не потому, чтобъ я былъ *нездоровъ*, какъ вы, быть можетъ, предположили. Люди вообще склонны дѣлать слишкомъ скорыя заключенія въ ущербъ своимъ ближнимъ, а редакторы газетъ въ особенности. Но опытъ доказываетъ, что очень часто подобныя заключенія оказываются не только преждевременными, но даже и вполнѣ неосновательными!

И такъ, я въ самомъ центрѣ Ветлужскаго края. Баки — довольно большое село, стоящее на крутомъ берегу рѣки Ветлуги. Здѣсь дорога изъ Семенова (Нижегородской губерніи) развѣтвляется: одна вѣтвь идетъ на сѣверъ, чрезъ Варнавинъ до города Ветлуги, а можетъ быть и дальше, другая — поворачиваетъ на востокъ, на Яранскъ и Вятку. Баки принадлежали прежде... *)

6.

Отъ редакціи газеты „Краса Демидрона“. Сегодня мы опять получили телеграмму отъ нашего дунайскаго корреспондента, весьма странную телеграмму, которую, однакожъ, не считаемъ нужнымъ скрывать отъ нашихъ читателей, дабы они могли видѣть сами, какими неожиданными результатами увѣнчались наши старанія удовлетворить справедливымъ требованіямъ публики, по случаю настоящихъ военныхъ обстоятельствъ. Вотъ эта телеграмма:

„Козьмодемьянскъ. 20-го іюля. Наши войска перешли за Балканы. Ура генералу Гурко! Всеобщій восторгъ. Пью за ваше здоровье, Аннушка (не понимаемъ!). Кажется, успѣлъ напасть на слѣды Подхалимова 2-го, который дня три тому назадъ былъ здѣсь. Подробности почтою“.

Подхалимовъ 1-й.

Такимъ образомъ, есть признаки, свидѣтельствующіе, что и малоазіатскій нашъ корреспондентъ совсѣмъ не попалъ въ плѣнъ, какъ мы первоначально полагали, а просто-на-просто запутался въ Чебоксарахъ... Будемъ ожидать дальнѣйшихъ разъясненій.

7.

Васильсурскъ. Я вышелъ изъ Баковъ съ такой поспѣшностью, что птицы дивились быстротѣ моихъ ногъ. Представьте! оказалось, что хотя въ Бакахъ и не было въ настоящемъ году пожаровъ, но такъ какъ таковые были во всѣхъ ближайшихъ селеніяхъ, то у меня до такой степени настоятельно потребовали паспорта, что я долженъ былъ скрыться, не допивъ стакана чаю, лишь бы не быть арестованнымъ!

Хотя изъ Баковъ идетъ прямая дорога на Семеновъ, но я пред-

*) И это письмо не дописано... вѣроятно, тоже по случаю паспорта!? *Примѣч. той же редакціи.*

почелъ слѣдовать берегомъ рѣки Ветлуги, тѣмъ больше, что незадолго передъ тѣмъ прочиталъ романъ Печерскаго „Въ лѣсахъ“, и зналъ, что этимъ путемъ попаду въ село Воскресенское, гдѣ могу полакомиться отмѣнными ветлужскими стерлядями. Я не стану описывать восторговъ, происходящихъ въ этой мѣстности по случаю военныхъ обстоятельствъ: они вездѣ одинаковы. Замѣчу, однакожъ, что все описанное г. Печерскимъ въ его романѣ я нашелъ здѣсь на-лицо и въ полной исправности. Не успѣлъ я пройти нѣсколько верстъ отъ Баковъ, какъ на меня напала „стрека“ и чуть не заѣла. Изъ Воскресенскаго, наѣвшись до отвала въ тамошнемъ трактирѣ отличнѣйшей стерляжьей ухи, зашелъ въ женскій раскольничій скитъ, гдѣ нашелъ все совершенно такъ, какъ описывается у г. Печерскаго. Въ горницахъ „матери“ угощаютъ макарьевскаго исправника провѣсной бѣлорыбицей и переславскими копчеными сельдями, а въ это время въ подпольѣ сидитъ старецъ и дѣлаетъ фальшивыя ассигнаціи. И меня приглашали заняться этимъ выгоднымъ ремесломъ, но я, понимаете, отказался и, поѣвъ въ келарнѣ пухлыхъ скитскихъ блиновъ, отправился далѣе.

„Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается“ — эта пословица съ буквальною точностью осуществилась на мнѣ. Цѣлыхъ двѣ недѣли бродилъ я по Ветлугѣ, но гдѣ бродилъ и что видѣлъ — хоть убейте, сказать не могу. Знаю, что видѣлъ множество мѣстъ, укрѣпленныхъ самою природою, и безчисленное количество болотъ, которыя тоже могутъ служить отличнѣйшею защитою. И больше — никъ!

Странное свойство этой мѣстности! Еще про покойнаго П. И Якушкина разсказывали, что онъ цѣлыхъ два года ходилъ по Ветлугѣ, въ качествѣ собирателя этнографическихъ матеріаловъ, и когда его впослѣдствіи спрашивали, что онъ замѣтилъ, то онъ отвѣчалъ: „забылъ!“ То же самое повторилось и со мною. Гдѣ былъ, что видѣлъ, объ чемъ говорилъ — ничего не помню! Хотя же выше я и написалъ вамъ о „стрекѣ“ и о воскресенскихъ стерлядяхъ и о житьѣ-бытьѣ въ скитахъ, но не могу ручаться, что все это было на дѣлѣ, а не есть послѣдствіе недавняго прочтенія романа „Въ лѣсахъ“. Однимъ словомъ, Ветлуга —это наша русская Лета, въ волнахъ которой никому безвозвратно окунуться не дозволяется.

Наконецъ я дошелъ до Волги, сѣлъ на пароходъ, и на сей разъ

удачно, потому что попалъ не въ Козьмодемьянскъ, а въ Васильсурскъ, то-есть прямо по направленію къ дунайскому театру войны, отъ котораго до сихъ поръ такъ настойчиво отдаляли меня тысячи мелкихъ случайностей. Я знаю, что мнѣ слѣдовало бы ѣхать прямо въ Нижній (тѣмъ болѣе, что тамъ началась уже ярмарка, и въ Кунавинѣ можно было бы собрать громадный матеріалъ для бытовыхъ сценъ), но что̀ хотите! отецъ Николай сказалъ правду, что плоть человѣческая немощна; я вспомнилъ о знаменитыхъ сурскихъ стерлядяхъ и рѣшился побывать въ Василѣ... впрочемъ только отъ парохода до парохода *).

Васильсурскъ — очень хорошенькій городокъ, стоящій на возвышенномъ берегу Волги, при сліяніи ея съ Сурой, отъ чего произошло и самое наименованіе его. По календарю Суворина въ немъ значится жителей 2.507 душъ обоего пола, но мнѣ кажется, что я въ однихъ трактирныхъ заведеніяхъ насчиталъ въ разное время больше (впрочемъ очень возможно, что это были одни и тѣ же лица, приходившія пить чай по нѣскольку разъ). На столбѣ, врытомъ у почтовой станціи, значится: отъ С.-Петербурга 1.186, отъ Москвы 582, отъ Нижняго-Новгорода 112 верстъ. Плата за телеграммы взимается въ обѣ столицы одинаковая: одинъ рубль; но международной корреспонденціи нѣтъ, такъ что если бы вамъ вздумалось, напримѣръ, телеграфировать мнѣ по-французски, то, извините, мы этого діалекта не понимаемъ! Еще особенность Васильсурска: онъ лежитъ подъ 56,8′ сѣверной широты и подъ 63,40′ восточной долготы. Будущность, ожидающая этотъ городъ — громадная, особливо когда проведутъ отсюда желѣзный путь до Алатыря (Симбирской губерніи), а отсюда, черезъ Котяковъ, до Пензы. Тогда весь хлѣбъ сурскаго бассейна пойдетъ сюда, и моршанско-сызранской дорогѣ — капутъ; такъ, по крайней мѣрѣ, при мнѣ говорили посѣтители трактира, въ которомъ я ѣлъ знаменитую сурскую уху.

Какъ вашъ корреспондентъ, я счелъ нелишнимъ представиться здѣшнему инвалидному начальнику, который очень любезно меня принялъ, представилъ меня своей супругѣ и показалъ свою команду **).

---

*) Отчего жъ не подольше?—*Примѣч. той же редакціи.*

**) Вотъ до чего велико невѣжество нашего корреспондента: онъ не знаетъ даже, что инвалидныя команды давно упразднены. Впрочемъ для насъ это дѣло ясное: вѣроятно, г. Подхалимовъ 1-й опять попалъ въ гости къ новому Ивану Ивановичу Тр., и тотъ показалъ ему, подъ видомъ инвалидной команды, своихъ переодѣтыхъ приказчиковъ!—*Тоже.*

Ахъ, что это за бравый, бодрый, отличный народъ! Всѣ (ихъ было пять человѣкъ) *) какъ на подборъ одинъ къ одному — молодцы! Коренастые, кровь съ молокомъ — заглядѣніе! Поздоровкавшись съ ними какъ слѣдуетъ (начальникъ **) показывалъ мнѣ ихъ въ манежѣ), я обратился къ нимъ съ вопросомъ:

— А что, ребята, горите желаніемъ сразиться съ врагомъ?

— Га-а-рр-ы-имъ, ваше калеспандентное ва-ше-ство!—грянули въ отвѣтъ молодцы, какъ изъ пушки.

— И скоро вы выступаете въ походъ? — обратился я къ начальнику.

— Какъ скоро, такъ сейчасъ!—отвѣтилъ онъ мнѣ.

И такъ, въ походъ. Мы еще не за Балканами, но съ такими молодцами будемъ тамъ скоро; это не подлежитъ никакому сомнѣнію ***). Возвращаясь изъ манежа домой, мы были застигнуты въ дорогѣ такимъ проливнымъ дождемъ, что буквально на насъ не осталось ни одной сухой нитки. Къ тому же порядочно ужъ стемнѣло, и грязь на улицахъ сдѣлалась непролазная (здѣсь начало черноземной полосы, этого неисчерпаемаго золотого дна Россіи). Къ несчастію, я еще упалъ, и такимъ образомъ, измокшіе, всѣ въ грязи, мы явились обратно. Миловидная супруга начальника очень смѣялась, увидя насъ въ этомъ непривлекательномъ видѣ, но амфитріонъ мой сердито замѣтилъ:

— Чѣмъ смѣяться-то, лучше бы велѣла подать гостю сухое бѣлье!

Черезъ нѣсколько минутъ я былъ уже переодѣтъ: въ сухомъ бѣльѣ и въ турецкомъ халатѣ. Въ этомъ видѣ любезный начальникъ повелъ меня къ своей супругѣ (я протестовалъ, но онъ такъ убѣдительно просилъ не церемониться, что я вынужденъ былъ покориться), которая, увидѣвъ меня въ моемъ импровизированномъ костюмѣ, сейчасъ же прозвала меня злымъ туркомъ, а потомъ, когда хозяинъ дома на минуту отлучился изъ комнаты, потихоньку сказала мнѣ, что это халатъ ея мужа и что я въ немъ такъ похожъ на него, что... Къ сожалѣнію, она не докончила, потому что въ эту минуту вошелъ слуга съ самоваромъ.

---

*) Такъ и есть, приказчики. Слыханное ли дѣло, чтобъ инвалидная команда состояла всего-на-все изъ пяти человѣкъ?—*Тоже.*

**) То-есть, васильсурскій Иванъ Иванычъ Тр., и не въ манежѣ, конечно, а въ какомъ-нибудь сараишкѣ.—*Тоже.*

***) Ужъ давно тамъ... пьяница!—*Прим. той же редакціи.*

Налили чай, въ который я, для вкуса, подбавилъ рюмочку рома *), и затѣмъ бесѣда наша пошла далеко за ночь. Обсуждали военныя дѣйствія, сперва на малоазіатскомъ театрѣ, потомъ на дунайскомъ, и, по совѣсти, нашли болѣе поводовъ для одобренія, нежели для порицанія. Впрочемъ вы и сами по опыту знаете, какое живительное вліяніе оказываютъ на бесѣду во-время и у-мѣста проглоченныя двѣ-три рюмки ямайскаго! **)

Въ заключеніе гостепріимный хозяинъ велѣлъ сервировать скромную закуску и двѣ полубутылочки холодненькаго ***), которыя мы и роспили за здоровье храбрыхъ русскихъ воиновъ.

Когда я всталъ наконецъ, чтобъ проститься, мой амфитріонъ крѣпко пожалъ мнѣ руку и просилъ не забывать его. На это я отвѣтилъ, что корреспонденты никогда ни одного проглоченнаго куска не забываютъ, и сослался на примѣръ малоазіатскаго корреспондента „Сѣвернаго Вѣстника“, который передъ лицомъ всей Россіи далъ клятву вѣчно хранить благодарное воспоминаніе о радушномъ пріемѣ, оказанномъ ему кутаисскимъ бомондомъ. Еще бы! кормили шемаей, поили кахетинскимъ—и это забыть!

Да, воспоминаніе о Васильсурскѣ будетъ до гроба жить въ моемъ благодарномъ сердцѣ! Во-первыхъ, отъ меня не потребовали паспорта, а во-вторыхъ, не только не „пошутили“ надо мной ****), но обласкали и накормили меня совершенно серьезно, какъ слѣдуетъ. Согласитесь, что это не вездѣ и не со всякимъ бываетъ!

Возвратясь на постоялый, засѣлъ за корреспонденцію, но, признаюсь, до того усталъ, что дальше продолжать не могу; совсѣмъ глаза слипаются. Прощайте; иду спать, и навѣрное засну какъ убитый. Но завтра, въ пять часовъ утра—въ Нижній! и на этотъ разъ ужъ вѣрнѣе смерти! *****)

Подхалимовъ 1-й.

---

*) Не десять ли?—*Тоже.*

**) Отъ роду, кромѣ квасу, ничего не пивали!—*Тоже.*

***) Не двадцать ли двѣ, и притомъ не шампанскаго, а ерофеича?—*Тоже.*

****) А мы такъ крѣпко въ этомъ сомнѣваемся, хотя, конечно, шутки васильсурскаго Ивана Иваныча посятъ болѣе гуманный характеръ, нежели шутки Ивана Иваныча—рыбинскаго.—*Прим. той же редакціи.*

*****) Поѣхалъ въ Нижній, а попалъ въ Козьмодемьянскъ, какъ доказываетъ вчерашняя телеграмма, извѣщающая о переходѣ черезъ Балканы. Посмотримъ, чѣмъ-то кончится эта новая Одиссея?!—*Тоже.*

P. S. Чтобъ окончательно успокоить васъ насчетъ непремѣннаго моего отъѣзда въ Нижній, спѣшу прибавить, что самъ здѣшній представитель военной власти взялся устроить мнѣ мѣсто на пароходѣ, отправляющемся въ пять часовъ. За часъ передъ отплытіемъ онъ пришлетъ на постоялый одного изъ своихъ юныхъ героевъ, чтобъ разбудить меня. Слѣдовательно, вы можете быть спокойны: все заранѣе такъ комбинировано, что я даже проспать не могу. Развѣ что сонъ какой-нибудь черезъ-чуръ ужъ веселый увижу—въ родѣ, напримѣръ, того, что вы рѣшились копѣйку на строчку прибавить мнѣ... Но нѣтъ—этого даже и во снѣ не увидать!

8 *).

Чебоксары. Даже не извиняюсь передъ вами—надоѣло. Вчерашній амфитріонъ мой вѣроятно разсудилъ, что черезъ Васильсурскъ можно ѣхать только на малоазіатскій театръ войны, и потому взялъ билетъ на пароходѣ, идущемъ въ Казань. А я не справился—вотъ и вся моя вина! Знаю, что подобныя qui pro quo не всегда умѣстны, но на практикѣ они бываютъ очень назидательны. Ѣдешь часъ, ѣдешь другой, думаешь: вотъ сейчасъ будетъ Лысково—и вдругъ Козьмодемьянскъ! Удивительный переворотъ въ мысляхъ производятъ подобныя неожиданности!

Однако въ сторону все это. Главное: я отыскалъ *Подхалимова 2-го.*

Вотъ какъ было дѣло. Узнавъ на пароходѣ, что наши перешли черезъ Балканы, я воспользовался остановкой въ Козьмодемьянскѣ, чтобъ подѣлиться съ вами этою радостью. Прихожу на телеграфную станцію, подаю телеграмму, настаиваю, чтобъ ее поставили на аппаратъ немедленно, при мнѣ — и вдругъ телеграфистъ говоритъ мнѣ:

*) Мы безпрерывно получаемъ письма отъ нашихъ подписчиковъ, въ которыхъ послѣдніе укоряютъ насъ за то, что мы, вмѣсто дѣйствительныхъ извѣстій съ театра войны, печатаемъ какую-то фантастическую дребедень. Просимъ, однакожъ, войти въ наше положеніе. Въ свое время мы сдѣлали всѣ зависящія распоряженія, чтобъ получать самыя свѣжія и точныя свѣдѣнія съ обоихъ театровъ войны, и, положа руку на сердце, можемъ сказать, что не щадили при этомъ ни трудовъ, ни издержекъ. Предпріятіе это намъ не удалось—это правда; но нужно же намъ вознаградить себя хотя за понесенныя издержки, не говоря уже о трудахъ!!—*Тоже.*

— А вчера точь-въ-точь такую телеграмму и въ ту же газету подавалъ у насъ одинъ господинъ.

Разумѣется, интересуюсь, разспрашиваю и получаю въ отвѣтъ: черноватенькій (онъ!), небольшого роста (онъ!), шадровитый изъ лица (тысячу разъ онъ!).

— И чудной господинъ! — прибавляетъ телеграфистъ: — точно во снѣ ходитъ (опять-таки онъ!). Подалъ-это телеграмму и говоритъ: „Зачѣмъ я, однако, въ Козьмодемьянскъ пріѣхалъ?“ — Вамъ, говорю, лучше это знать! — „Да въ Чебоксарахъ вѣдь есть своя телеграфная станція?“ — Есть, говорю. — „Ну, такъ, говоритъ, лучше изъ Чебоксаръ отправлю“. Взялъ назадъ и уѣхалъ *).

Онъ! онъ! онъ! Въ Чебоксарахъ — это вѣрно!

Покуда я такимъ образомъ бесѣдовалъ, нашъ пароходъ ушелъ, но я уже не жалѣлъ о потерянныхъ деньгахъ за мѣсто, взятое до Казани, и думалъ лишь о томъ, какъ бы съ будущимъ пароходомъ опять не вышло ошибки, и мнѣ, вмѣсто Чебоксаръ, не пришлось воротиться въ Васильсурскъ!

На этотъ разъ, однако, обошлось благополучно. Проходитъ два часа — и Чебоксары уже въ виду. Пристаемъ; я выхожу на берегъ и спѣшу въ первый попавшійся на глаза трактиръ.

— Подхалимовъ 2-й! ты?

— Я!

— Какими судьбами? У родственниковъ, что-ли, загостился? Помнится, ты говорилъ, что у тебя въ Чебоксарахъ родные живутъ? **)

— Какіе, братъ, къ чорту родственники! развѣ у Подхалимовыхъ бываютъ родственники!

Слова эти опечалили меня. Горемычные мы, Подхалимовы, въ самомъ дѣлѣ, люди! Безъ роду, безъ племени (все-то мы растеряли!), шатаемся изъ трактира въ трактиръ, разыскивая, гдѣ бы хоть крошечку пріютиться! Выйдетъ мѣстечко — не успѣешь и оглянуться, смотришь и опять чѣмъ-нибудь не потрафилъ! Неуживчивы мы, мятежа въ насъ много — вотъ оно что! Но съ другой стороны, кабы не

*) Вотъ до чего можетъ довести неумѣренное употребленіе алкоголя! — *Примѣч. той же редакціи.*

**) И насъ въ томъ удостовѣрилъ, а на повѣрку выходитъ, что имѣлъ въ предметѣ прелюбодѣяніе!! — *Тоже.*

было этого мятежа—что бы поддерживало насъ? Вотъ и вы, поди, теперь думаете: безпремѣнно я этому Подхалимову 1-му, за его неисправности, отъ мѣста откажу! Что-жъ! откажите! *)

— Что же такое случилось? деньги, что-ли, потерялъ?

— Деньги потерялъ, паспортъ потерялъ—это само собой! А главное, штучка у меня тутъ завелась.

— Гм... штучка! Интересно, братъ, интересно!

— Да что! бестія, братъ! то-есть,—такая выжига, что Боже упаси!

— Какъ же ты на нее напалъ?

— А знаешь Василія, который въ гостинницѣ „Москва“ половымъ служилъ, ну, такъ это—его сестра. Самъ-то онъ изъ черемисъ, а Чебоксары, это—столица черемисская. Когда я отправился подъ Карсъ-то, вотъ онъ и говоритъ мнѣ: „будете, говоритъ, мимо нашихъ мѣстовъ ѣхать, такъ потрудитесь сестрицѣ писемцо да пять рублей денегъ отдать“...

— Что-жъ, хороша, по крайней мѣрѣ?

— Разсыпчатая!

— Дѣвица?

— Замужемъ. И сама бестія, и мужъ шельма. Засталъ я ихъ въ лачугѣ, съ голоду мрутъ, а теперь — распивочную продажу открыли!

— Эге! такъ вонъ куда корреспондентское-то содержаніе ушло! **)

— Туда. Сперва всѣ наличныя изъ меня высосали, а потомъ и векселя въ ходъ пошли. Сколько я этихъ векселей надавалъ — страсть!

— Ничего, другъ, Богъ милостивъ! Напишемъ въ редакцію „Красы Демидрона“ слезное прошеніе—выручатъ! ***)

Однако онъ усомнился въ этомъ и сталъ доказывать что редакція нисколько непричастна его злоключеніямъ; что она и безъ того не щадила ни трудовъ, ни издержекъ, чтобъ удовлетворить справед-

---

*) И откажемъ! И не только Подхалимову 1-му, но и Подхалимову 2-му! Въ этомъ читатели наши и сомнѣваться не должны!—*Тоже.*

**) Да-съ, вотъ оно куда! Мы не щадимъ ни трудовъ, ни издержекъ, имѣя въ виду полезныя цѣли, а вмѣсто того наши деньги оказываются косвеннымъ орудіемъ для приведенія въ исполненіе постыдныхъ предпріятій!—*Примѣч. той же редакціи.*

***) Непремѣнно! послѣ дождичка въ четвергъ!—*Тоже.*

ливымъ требованіямъ публики, и что, слѣдовательно, было бы въ высшей степени несправедливо привлекать ее къ отвѣтственности по такому дѣлу, которое не подходитъ прямо къ программѣ газеты, какъ изданія литературнаго, политическаго и ассенизаціоннаго, но не прелюбодѣйственнаго. Я, конечно, не могъ внутренно не согласится съ его доводами, но все-таки, чтобъ окончательно не обезкуражить его, нѣкоторое время поддерживалъ мой тезисъ, хотя, признаюсь, довольно слабо.

— Но по крайней мѣрѣ ты хоть пожуировалъ!—наконецъ сказалъ я, чтобъ перемѣнить разговоръ, принимавшій черезъ-чуръ печальное направленіе.—Вѣдь эти „штучки“, коли онѣ захотятъ... секретцы у нихъ.

— Ни-ни!—воскликнулъ онъ съ необыкновенною живостью.

Я былъ ошеломленъ.

— Ну, братъ, это ужъ совсѣмъ глупо!

— Въ томъ-то и дѣло, что изгибы человѣческаго сердца... очень, братъ, это мудреная штука!—отвѣчалъ онъ печально:—она-то, повидимому, не прочь, да бестія мужъ такъ и вертится... А впрочемъ, можетъ быть, и она... шельмы они оба, это—вѣрнѣе!

Мы умолкли: обоимъ намъ было тяжело. Ему—потому, что встрѣча со мной заставила его опомниться и обнаружила во всей наготѣ пропасть, зіявшую подъ его ногами; мнѣ—потому что и надо мной начинали тяготѣть смутныя предчувствія чего-то недобраго.

— Сколько-нибудь, однако, осталось у тебя денегъ? — первый я прервалъ молчаніе.

Вмѣсто отвѣта онъ выложилъ на столъ желтенькую и, обращаясь къ служителю, скомандовалъ:

— Гарсонъ! полштофа очищенной... живо!

Это былъ крикъ отчаянія, который меня глубоко взволновалъ.

— Спрячь этотъ послѣдній рессурсъ!—вскричалъ я:—я плачу за все! И сверхъ того... могу даже рубликовъ двадцать-пять удѣлить тебѣ... идетъ?

Онъ крѣпко пожалъ мою руку.

— Извини, что не больше; самъ знаешь, впереди предстоитъ еще Дунай—дорога неблизкая!

Но онъ только горько усмѣхнулся въ отвѣтъ и запѣлъ:

— Ахъ, Дунай ты мой, Дунай!
Сынъ Ивановичъ Дунай!

— Погодимъ, братъ, и въ Чебоксарахъ!—прибавилъ онъ съ фаталистическою увѣренностью поклонника ислама.

— Ну, нѣтъ, другъ, это — ни-ни! Я тово... я — непремѣнно! Нынче же ночью, вотъ только дождусь парохода — и сейчасъ! И прямо такъ-таки, нигдѣ не останавливаясь—на Дунай! *)

Увѣренный тонъ, которымъ я выразилъ мое намѣреніе, повидимому ободрилъ и его.

— А сѣмъ-ка и я въ Малую-Азію хвачу! — воскликнулъ онъ весело:—авось-либо до Самары доѣду!

— Хватимъ, другъ!

Увы! Это было только „плѣнной мысли раздраженье“! Черезъ минуту онъ уже опять опустилъ голову.

— Нѣтъ, голубчикъ!—сказалъ онъ уныло: — теперь мнѣ остается объ одномъ Бога молить: чтобъ меня отсюда куда-ни-на-есть по этапу выслали **). Да куда выслать-то—вотъ вопросъ! Гдѣ моя родина? Гдѣ мое мѣстожительство? Въ „Старомъ Пекинѣ“? Въ гостинницѣ „Москва“? Вотъ ужъ подлинно: бѣгаемъ мы, корреспонденты, и „града невѣдомаго взыскуемъ“!

— Кстати! скажи, пожалуйста: какъ это ты паспортъ потерялъ?

— Да такъ вотъ: купаться въ Волгѣ вздумалъ. Признаться, выпито нѣсколько было—вотъ и приди мнѣ въ голову дикая мысль: украдутъ, молъ, у тебя этотъ самый паспортъ, ежели ты его на берегу оставишь! Ну, раздѣлся, положилъ его подъ мышку, да какъ поплылъ—совсѣмъ и забылъ; смотрю, въ сторонѣ какая-то бумажка плыветъ! Анъ это онъ и былъ! Исправникъ ужъ разъ десятокъ присылалъ, никакихъ резоновъ не принимаетъ—навѣрнякъ этапомъ кончится! Впрочемъ, что все обо мнѣ да обо мнѣ — ты какъ, вмѣсто Дуная, въ Чебоксары попалъ?

Я разсказалъ подробно все, что вамъ уже извѣстно изъ моихъ писемъ. Исторія вышла тоже невеселая, но нѣкоторымъ эпизодамъ ея

*) Не трудитесь, сдѣлайте милость! Лучше въ Кинешму съѣздите да паспортъ выручите!—*Примѣч. той же редакціи.*

**) Такъ непремѣнно и будетъ.—*Тоже.*

мы, все-таки, искренно посмѣялись *). Когда я кончилъ, онъ сравнилъ мое положеніе съ своимъ (относительно редакціи „Красы Демидрона"), и нашелъ, что я, все-таки, могу оправдаться передъ редакціей довольно прилично **).

— Ты, по крайности, все-таки какую-ни-на-есть корреспонденцію посылалъ,—сказалъ онъ:—тогда какъ я... Вѣдь я, братъ, даже вѣсточкой о взятіи Ардагана не подѣлился!

— Неужто?

— Да, братъ. То-есть, я-то собственно не преминулъ, да она... шельма! „Позвольте, говоритъ, я сама на станцію снесу"... А послѣ оказалось, что и телеграммы не послала, да и цѣлковый мой рубль какъ пить далъ!

— Такъ знаешь ли что? Право, уѣдемъ отсюда вмѣстѣ! Я тебя до Самары провожу, потому что мнѣ все равно: я и черезъ Моршанскъ по желѣзной дорогѣ на Дунай попаду! Ѣдемъ! Прямо вотъ изъ трактира пойдемъ на берегъ, и какъ только причалитъ пароходъ—фьють!

Онъ на минуту задумался, но потомъ—только рукой махнулъ.

— Нѣтъ, братъ, alea jacta est! Пускай свершится! А вотъ что лучше: не раздавимъ ли вмѣстѣ еще посудинку?

Сначала я было-согласился, но потомъ вспомнилъ, что вы будете, пожалуй, сердиться, если узнаете объ этомъ,—и отказалъ наотрѣзъ ***).

— Ну, въ такомъ случаѣ, пойдемъ ко мнѣ!—предложилъ онъ:—я тебя съ нею познакомлю...

Признаюсь откровенно: искушеніе было велико. Я люблю женскій полъ и съ трудомъ отказываю себѣ въ сближеніи съ нимъ, если представляется къ тому случай... Но голосъ разсудка и на сей разъ восторжествовалъ. Я вспомнилъ, какъ вы, отпуская насъ на театръ войны, настаивали, чтобъ мы не задерживались на пути безъ надобности,—и дрогнулъ. Къ тому же я разсчиталъ, что деньги, данныя вами, еще всѣ на-лицо, да пожалуй еще, благодаря щедрости Ивана Ивановича Тр., и небольшой прибавочекъ есть, и ужаснулся при мысли, что

---

*) Веселые люди! даже въ столь несомнѣнно критическихъ обстоятельствахъ—и то находятъ поводъ для смѣха!—*Примѣч. той же редакціи.*

**) Никогда! Lasciate ogni speranza!—*Тоже.*

***) Ахъ, господа, господа! Не въ томъ дѣло, что вы при свиданіи выпили. И выпить, и закусить можно, да въ мѣру, въ мѣру, въ мѣру!—*Тоже.*

такая сравнительно значительная сумма, безъ всякой пользы для „Красы Демидрона“, утонетъ въ зіяющей безднѣ разврата! *)

Онъ угадалъ мои мысли и одобрительно покачалъ головой.

— Ты поступаешь правильно,—сказалъ онъ, вставая:—исполни свой долгъ передъ „Красой Демидрона“, а—меня предоставь моей злосчастной участи!

— Бѣдный другъ!

Я отсчиталъ ему обѣщанные двадцать-пять рублей, прибавилъ еще отъ себя пятирублевку, послѣ чего онъ взялъ шапку и удалился. Затѣмъ я потребовалъ себѣ отдѣльную комнату, чтобъ заняться корреспонденціей; но едва лишь расположился писать, какъ онъ опять возвратился въ трактиръ.

— Возьми назадъ свои двадцать-пять рублей, съ меня и синюги довольно!—сказалъ онъ, по-рыцарски кладя деньги на столъ.

Я, разумѣется, протестовалъ, но онъ остался непоколебимъ.

— Все равно, сколько бы у меня ни было денегъ — ихъ отнимутъ!—повторялъ онъ уныло.

Благородный, честный другъ! Высказавши все это, онъ быстро повернулся и направился къ двери, но на сей разъ я самъ уже воротилъ его.

— Позволь! разскажи мнѣ, каково здѣсь народное настроеніе! —спросилъ я.

— Восторгъ всеобщій!

— А здѣшняя инвалидная команда? надежна?

— Молодцы! одинъ къ одному, какъ на подборъ! Не крупные, но коренастые, кровь съ молокомъ—загляденіе! Такъ и рвутся!

Онъ постоялъ немного и съ горькой усмѣшкой прибавилъ:

— А вотъ мы съ тобой—свиньи!

— Это почему?

— То-есть, не мы одни, а вообще.... Сидимъ въ укромномъ мѣстѣ, галдимъ: ату его! ребятушки! не выдавайте! Гнусно, любезный другъ!

— Ну, нѣтъ, съ этимъ я не согласенъ! Природа поступила мудро! предоставивъ однимъ возбуждать патріотическій духъ, а другимъ—примѣнять этотъ духъ на практикѣ!

---

*) Наслу-то догадались!—*Тожс.*

— Ладно, братъ! Разсказывай по понедѣльникамъ!

На этомъ мы разстались. Я сошелъ съ крыльца, чтобъ проводить его, и долго слѣдилъ глазами, какъ постепенно утопала его колеблющаяся фигура во мракѣ сгустившейся ночи, а наконецъ и совсѣмъ пропала за угломъ сосѣдняго переулка.

„Благородный, бѣдный другъ! — говорилъ я себѣ: — ты просишь у судьбы, какъ милости, чтобъ тебя отправили по этапу — и кто знаетъ? Можетъ быть, вскорѣ получишь желаемое!“

Послѣ того я окончательно усѣлся за писаніе, но долгое время воспоминаніе о погибающемъ русскомъ корреспондентѣ преслѣдовало меня *). Знаю, что слѣдовало бы сказать что-нибудь о Чебоксарахъ, но, по настоящему позднему времени, могу сказать лишь кратко: это — дрянной и грязный черемисскій городишко, стоящій на высокомъ берегу Волги. По Суворинскому календарю (который, кстати, очень мнѣ помогалъ въ моихъ статистическихъ изслѣдованіяхъ), жителей только всего 3.564 человѣка обоего пола. Однако, если бы выстроить тамъ крѣпость, то, съ стратегической точки зрѣнія, вышелъ бы второй Гибралтаръ, за исключеніемъ, разумѣется, пролива.

Въ ту минуту, какъ я дописываю эти строки, бьетъ два часа, и я слышу приближеніе парохода. Пыхтитъ, шумитъ, свиститъ... На Дунай! **)

Подхалимовъ 1-й.

9.

Отъ редакціи газеты „Краса Демидрона“. Предчувствія не обманули насъ: Одиссея господъ Подхалимовыхъ кончилась, и, кажется, весьма для нихъ неблагополучно. Сегодня мы получили отъ г. чебоксарскаго уѣзднаго исправника оффиціальную бумагу, изъ которой видно, что въ Чебоксарахъ пойманы двое безпаспортныхъ бродягъ, по фамиліи Подхалимовы, которые называютъ себя корреспондентами „Красы Демидрона“. Разумѣется, мы поспѣшили сообщить все, что намъ извѣстно объ этихъ господахъ, но при этомъ, конечно,

*) А кто виноватъ?—*Примѣч. той же редакціи.*

**) А мы такъ думаемъ, что вы преспокойно останетесь въ Чебоксарахъ, влекомые страстью къ женскому полу, а ежели и попадете куда-нибудь, то не на Дунай, а въ укромное мѣсто, чѣмъ ваша Одиссея и кончится.—*Тоже.*

не упустили опредѣлить съ точностью наши отношенія къ нимъ, дабы отстранить отъ себя всякую прикосновенность къ этой непріятной исторіи.

Вообще намъ не посчастливилось съ корреспондентами. Г. Ящерицынъ, посланный на малоазіатскій театръ войны, вмѣсто г. Подхалимова 2-го, тоже измѣнилъ намъ: изъ полученнаго сегодня письма его видно, что онъ принялъ мѣсто квартальнаго надзирателя въ Сызрани и уже вступилъ въ отправленіе своихъ обязанностей. Новая, чувствительная потеря для насъ, ибо и г. Ящерицына мы снабдили и подъемными, и поверстными, и кормовыми деньгами. Будемъ надѣяться, однако, что онъ возвратитъ намъ забранное, тѣмъ болѣе, что мѣсто квартальнаго надзирателя въ Сызрани, знаменитой своей обширной хлѣбной торговлей,—весьма и весьма небезвыгодное.

За всѣмъ тѣмъ мы продолжаемъ не щадить ни трудовъ, ни издержекъ для удовлетворенія нашихъ подписчиковъ. На дняхъ мы опять пріусловили двоихъ талантливыхъ молодыхъ людей: г. Миловзорова и г. Прелестникова, и уже отправили перваго за Дунай, а второго—въ Малую-Азію. Оба они изъ архіерейскихъ пѣвчихъ, обладаютъ прекрасными голосами (слѣдовательно могутъ, при случаѣ, обучать болгаръ и прочихъ единокровныхъ партесному церковному пѣнію) и чрезвычайно солиднаго характера. Мы не станемъ увѣрять, что они совсѣмъ не пьютъ, но, кажется, не ошибемся, ежели скажемъ, что они пьютъ—въ мѣру. Рюмка, двѣ рюмки, три рюмки — не больше.

IV.—Дворянскія мелодіи.

Я — человѣкъ отживающій. Разстояніе, которое мнѣ остается пройти, такъ невелико, что мысль объ итогѣ невольно закрадывается въ голову. И вотъ, по размышленіи, оказывается, что итогъ этотъ можетъ быть формулированъ въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: ни зла, ни добра...

Не скрою, бываютъ минуты, когда такая краткословность моего кондуитнаго списка довольно-таки больно щекочетъ мою совѣсть. Есть

въ ней что-то обидное, отзывающееся какою-то мертвенною безформенностью. Положимъ, это еще ничего, что я въ сраженіяхъ не бывалъ, никого не изувѣчилъ и даже пороху не выдумалъ, но какимъ образомъ объяснить, что вообще никакихъ „поступковъ“ за мною не числится? Вялость и хворость—вотъ и все. Именно хворость, потому что недугу, изъ котораго въ видѣ итога выростаетъ сознаніе: „ни зла, ни добра“—даже названія не подберешь. Острыхъ болей нѣтъ, а постоянно какъ будто разнемогаешься.

Тѣмъ не менѣе, когда, движимый инстинктомъ самооправданія, я начинаю вглядываться пристальнѣе въ то положеніе, которое создали для меня обстоятельства (я совершенно искренно думаю, что личное мое участіе въ этомъ дѣлѣ далеко не существенно), то, въ концѣ концовъ, прихожу къ заключенію, что есть, однакожъ, почва, на которой я довольно прилично могу примириться съ встревожившеюся совѣстью. Нѣтъ дѣятельнаго, торжествующаго зла: право, и это не бездѣлица! Конечно, это не Богъ знаетъ какая „почва“, а скорѣе соломинка, но, въ качествѣ человѣка отживающаго, человѣка иныхъ пѣсенъ и иныхъ традицій, я хватаюсь за эту соломинку и возлагаю на нее великія надежды.

Мы переживаемъ время, которое несомнѣнно представляетъ замѣчательно полное осуществленіе ликующаго хищничества. Безсовѣстность, заручившись союзомъ съ невѣжествомъ и неразвитостью, выбросила на поверхность цѣлую массу людей, которые до того упростили свои отношенія къ вещамъ и лицамъ, что, не стѣсняясь, возводятъ насиліе на степень единственнаго жизненнаго регулятора. Можетъ быть, я ошибаюсь, но думаю, что такого нагло откровеннаго заявленія „принципій“ давно не бывало. Прежде, даже въ средѣ самыхъ отпѣтыхъ людей, можно было изрѣдка разслышать слова въ родѣ: великодушіе, совѣсть, долгъ; нынѣче эти слова окончательно вычеркнуты изъ лексикона торжествующихъ людей. Прежде люди, сдѣлавши пакость, хотя и пользовались плодами ея, но молились Богу, чтобъ объ ней не узнали; нынѣче—Богу молиться вообще не принято, а краснѣютъ, по поводу затѣянной пакости только тогда, когда она не удалась. Весьма возможно, что въ этой темной оцѣнкѣ современности (то-есть торжествующей ея части) очень значительную роль играетъ мое личное чувство — чувство отживающаго человѣка; но во всякомъ случаѣ я дѣлаю ее *искренно* и затѣмъ предоставляю

читателю самому распутывать, сколько изъ приведенной выше характеристики принадлежитъ брюзжанью усталаго старика, и сколько— дѣйствительности.

Но если даже такое простое слово, какъ „совѣсть", оказывается слишкомъ тяжеловѣснымъ для современныхъ діалоговъ, то какое же значеніе могутъ имѣть слова болѣе мудреныя, какъ напримѣръ: любовь, самоотверженность и проч.? Очевидно, что единственная оцѣнка, на которую въ этомъ случаѣ можно разсчитывать, это—хохотъ. Что-то отрепанное, жалкое, полупомѣшанное представляется: не то салопница, не то Донъ-Кихотъ, выѣзжающій на битву съ мельницами. И всѣмъ по этому поводу весело; всѣ хохочутъ: и преднамѣренные бездѣльники, и искренніе глупцы.

Этотъ хохотъ наполняетъ сердце смутными предчувствіями. Сначала человѣкъ видитъ въ немъ не болѣе, какъ безсмысленное вліяніе возбужденныхъ инстинктовъ веселонравія, но мало-по-малу онъ начинаетъ угадывать оттѣнки и тоны, предвѣщающіе нѣчто болѣе горькое и зловѣщее. Увы! подобныя предчувствія рѣдко обманываютъ. Хохотъ самъ по себѣ заключаетъ такъ много зачатковъ плотоядности, что тяготѣніе его къ проявленіямъ чистаго звѣрства представляется уже чѣмъ-то неизбѣжнымъ, фаталистическимъ. Однимъ простымъ хохотомъ Донъ-Кихота не проймешь, да онъ не удовлетворяетъ и самого хохочущаго. Является потребность проявить себя чѣмъ-нибудь болѣе дѣятельнымъ, напримѣръ: наплевать въ лицо, повалить на землю, топтать ногами. Конечно, всѣ эти дѣйствія могутъ быть производимы и самостоятельно, но несомнѣнно, что чаще всего они представляютъ собой видоизмѣненія хохота и, такъ сказать, естественное его развитіе. Поэтому, ежели вамъ на долю выпало несчастіе случайно или неслучайно возбудить хохотъ толпы, то бойтесь, ибо хохотъ не только не противорѣчитъ остервененію, но прямо вызываетъ его...

Какъ бы то ни было, но я могу себѣ сказать смѣло, что проявленія совѣсти, самоотверженности и проч. никогда не возбуждали во мнѣ позыва къ хохоту. Напротивъ того, я относился къ нимъ скорѣе благосклонно или, лучше сказать, опрятно... хотя и безсильно. Я понимаю, разумѣется, что безсиліе очень мало украшаетъ человѣка, но поставьте все-таки мою страдательную опрятность рядомъ съ тѣми дѣятельными формами и видоизмѣненіями хохота, на кото-

рыя я сейчасъ указалъ, и едва-ли не придется согласиться, что въ извѣстной обстановкѣ самое воздержаніе можетъ претендовать на названіе заслуги. Притомъ же хохотъ не только жестокъ, но и подозрителенъ или, лучше сказать, придирчивъ. Преслѣдуя непосредственно Донъ-Кихота, онъ придирается и къ стороннему человѣку: а ты что ротъ разинулъ? Онъ не терпитъ никакой неясности, и ежели до поры до времени позволяетъ воздержанію прозябать въ темномъ углу, куда загналъ его испугъ—то именно только до поры до времени и притомъ въ видѣ безпримѣрнаго снисхожденія. Наступитъ моментъ, когда онъ прямо потребуетъ, чтобъ вся наличная армія, и старые и малые, и сильные и хилые — были въ строю, чтобъ всѣ нижніе чины до единаго смотрѣли не кисло, а бодро, весело и рѣшительно. Это будетъ минута тяжкая и рѣшительная. Человѣкъ недоумѣнія, человѣкъ, жизненный девизъ котораго исчерпывался словами: „ни зла, ни добра“, вдругъ очутится если не прямо въ положеніи козподѣйствующаго Донъ-Кихота, то во всякомъ случаѣ въ положеніи его попустителя. Покончивши съ Донъ-Кихотомъ, и безсильнаго человѣка выведутъ предъ лицо хохочущей толпы, прочитаютъ его вины („смотрѣлъ кисло“, „улыбался слабо“ (а все-таки улыбался), не „паяривалъ“, не „накладывалъ“) и въ заключеніе скажутъ: „ты даже опаснѣе, чѣмъ Донъ-Кихотъ; ибо настоящій Донъ-Кихотъ по крайней мѣрѣ всенародно гарцуетъ, а ты забился въ уголъ и оттуда втихомолку льешь потоки донкихотствующаго яда“... Вѣдь хохоту-то по этому случаю, пожалуй, еще больше будетъ! Помилуйте! дуракъ, ничего не дѣлалъ, хотѣлъ спрятаться, а его на свѣжую воду вывели!

Имѣя въ перспективѣ возможность такого момента, ужели я не правъ, утверждая, что есть почва, на которой я могу примириться съ своею совѣстью?

Я принадлежу къ поколѣнію, которое воспитывалось на лонѣ эстетическихъ преданій и матеріальной обезпеченности. Конечно, и мы не всегда оставались вѣрными чисто эстетическимъ традиціямъ, но по временамъ дѣлали набѣги въ область дѣйствительности... нѣтъ, впрочемъ, не туда, а скорѣй въ область „униженныхъ и оскорбленныхъ“. Но, подъ прикрытіемъ обезпеченности, эти набѣги производились словно во снѣ, безъ строгой послѣдовательности, порывами, которые столь же быстро потухали, какъ и зажигались. Много вышло

изъ этой школы проходимцевъ и негодяевъ, но довольно и просто безсильныхъ и неумѣлыхъ людей. Проходимцы оказались живучими; неумѣлые—какъ и слѣдовало ожидать—вымираютъ...

Я сижу въ своемъ углу и разнемогаюсь. Гордиться тутъ нечѣмъ; но самый фактъ вольнаго умиранія, въ виду легкой достижимости торжества, есть уже признакъ, передъ которымъ должно умолкнуть рѣзкое слово осужденія.

Сейчасъ я сказалъ, что могу примириться съ своею совѣстью—и сейчасъ же одумался. „Нѣтъ дѣятельнаго добра, но за то нѣтъ и дѣятельнаго зла“—ужели это не странно?! Разумѣется, ежели представить себя живущимъ среди разбойничьяго вертепа, то и за эту пустопорожнюю формулу можно ухватиться, какъ за нѣчто умиротворяющее встревоженную совѣсть... Но вѣдь пустопорожнее все-таки останется пустопорожнимъ, какъ ни обставляй его оправдательными документами. Какое кому дѣло до вертеповъ, когда имѣется непререкаемый итогъ, свидѣтельствующій о безсиліи, о бездѣйствіи, а пожалуй даже и бездѣліи?

У жизни моей никогда не было насущнаго дѣла—вотъ въ чемъ моя боль. Бремя эстетическихъ традицій, бремя обезпеченности и легкомысленнаго срыванія жизненныхъ цвѣтовъ съ юношескихъ лѣтъ надвигалось на мои плечи съ такою вкрадчивою постепенностью, что я и не замѣтилъ, какъ эти плечи совсѣмъ онѣмѣли и сдѣлались неспособными къ принятію какого-либо иного бремени. И вотъ теперь, когда кругомъ раздались жизненные запросы, я прислушиваюсь къ нимъ, но ничего другого не ощущаю, кромѣ того, что старчество со всѣхъ сторонъ до того плотно окутало меня, что между мною и настоящей, развивающейся жизнью совсѣмъ неожиданно выросла цѣлая стѣна. Благодаря этой стѣнѣ, я осужденъ довольствоваться самимъ собой, своимъ прошлымъ и въ немъ одномъ искать для себя поддержки. И я невольно ищу, не потому, чтобъ я черезъ-чуръ былъ привязанъ къ жизни, а потому, что она сама не хочетъ уйти отъ меня. Я роюсь въ воспоминаніяхъ и тщательно подбираю всевозможные обрывки прошлаго, чтобъ вывести изъ нихъ хотя какой-нибудь итогъ—и съ изумленіемъ, почти съ испугомъ, останавливаюсь передъ вопросомъ: что же такое было?

Но ежели не было прямого дѣла, про которое я могъ сказать: вотъ чему я послужилъ въ такой-то и такой-то формѣ, то, можетъ быть, существовало хоть *отношеніе* къ дѣлу? — Да, что-то такое было. По крайней мѣрѣ, я навѣрное могу сказать, что въ общемъ каталогѣ жизненныхъ пріятствъ, составлявшихъ необходимую принадлежность существованія всякаго развитого человѣка того времени, значились и пріятства свойства спекулятивнаго. Устремленія, порывы, слезы, зубовный скрежетъ и проч. Но, увы! это именно были только пріятства и развлеченія—и ничего больше. Человѣку, считавшему себя развитымъ, свойственно было, отъ времени до времени, сознавать себя нечуждымъ интересамъ высшаго разряда, скорбѣть и радоваться не только по поводу личныхъ удачъ или неудачъ, но и по поводу радостей и скорбей общечеловѣческихъ. Все это не только не оскорбляло требованій приличія, но прямо щекотало самолюбіе, а въ извѣстной степени даже возвышало человѣка въ собственныхъ глазахъ. Но обязывало ли къ чему-нибудь?

Пусть каждый отвѣтитъ на этотъ вопросъ по совѣсти; я же иду дальше и спрашиваю: развѣ можно назвать „отношеніемъ къ дѣлу“ такія умственныя и нравственныя сумерки, которыя ни къ чему не обязываютъ? возможно ли, однажды сознавъ справедливость того или другого явленія, не идти на защиту его? или, сознавъ несправедливость его, не выступить на бой съ нимъ? возможно ли успокоиться на одномъ сознаніи справедливости или несправедливости и затѣмъ считать себя нравственно-свободнымъ отъ всякихъ дальнѣйшихъ обязательствъ?

По моему мнѣнію, это возможно только въ одномъ случаѣ: когда человѣкъ сидитъ въ четырехъ глухихъ стѣнахъ и когда ему ничего другого не остается, какъ утѣшаться тѣмъ, что и этимъ стѣнамъ не дано погасить въ немъ свѣточа мысли, озаряющей даже непроглядный мракъ тюрьмы. Но людямъ, которые, во всякомъ случаѣ, пользуются свободой исполнять начальственныя распоряженія... помилуйте! что же значитъ тогда „сознаніе“? зачѣмъ „благородный образъ мыслей“? Къ чему вся эта комедія устремленій, порывовъ, зубовныхъ скрежетовъ и слезъ? Ужели затѣмъ только, чтобъ при посредствѣ горячихъ изліяній зажигать пламень въ сердцахъ „этихъ дамъ“?

Но именно эти-то глухія стѣны и преслѣдовали насъ. Я не буду

входить въ разборъ, сами ли мы ихъ создали, или онѣ намъ были завѣщаны — какъ бы то ни было, онѣ ходили за нами по пятамъ. Мы наслаждались, но ничего не защищали, мы срывали цвѣты удовольствія, но въ битвахъ не бывали. Молчаливое признаніе, что утопія можетъ вѣчно витать въ пространствѣ, не обнаруживая ни на чемъ своихъ прикладныхъ свойствъ — вотъ основа всѣхъ нашихъ порывовъ и устремленій. Утопія для утопіи — развѣ это не одно изъ „пріятствъ“ жизни?

Очевидно, что не только объ дѣлѣ, но и объ отношеніи къ дѣлу тутъ рѣчи быть не могло. Порывы наши были смутны, почти безпредметны, и, какъ я сказалъ уже выше, ограничивались экскурсіями въ область униженныхъ и оскорбленныхъ, — область до того безформенную и уныло однообразную, что мысль и чувство разбѣгаются по ней, не находя поводовъ для провѣрки даже самихъ себя. Я лично и теперь, по старой привычкѣ, охотно посѣщаю эту область, но что же собственно извлекаю я изъ этихъ посѣщеній? Увы! я извлекаю только убѣжденіе, что время экскурсій прошло безвозвратно, что жизненные запросы измѣнили не только сущность, но и форму, и что перемѣна эта застала меня врасплохъ...

Нѣчто, несомнѣнно вызывающее всѣ симпатіи моей души, мелькаетъ передо мной, но что̀ именно — я различить не могу. Нѣчто требуетъ моего участія, но въ чемъ оно должно состоять и какъ можетъ быть выражено — я и на это отвѣтить не умѣю. Я вкладываю персты, но не въ раны, а въ пустое пространство. „Не могу!“ и не „умѣю!“ — мучительно повторяю я себѣ и только одно сознаю вполнѣ отчетливо: что никакихъ жизненныхъ итоговъ у меня нѣтъ, кромѣ безмѣрной тоски, которою преисполнено все мое существо.

Поэтому я на всѣ явленія современности, ежели они мало-мальски возвышаются надъ общимъ уровнемъ обыденнаго хищничества, смотрю съ осторожностью и боюсь примѣнить къ нимъ какую-либо оцѣнку. Есть въ нихъ нѣчто, быть можетъ, и затрогивающее мою совѣсть, но это нѣчто до такой степени не согласуется съ общимъ складомъ всей моей жизни, съ моими привычками и нравами, что я, вопреки симпатіямъ, не имѣю силы примкнуть къ нимъ. И сдается, что ежели я начну судить — только судить — объ этихъ явленіяхъ, то даже и тутъ совсѣмъ не о томъ поведу рѣчь. На сцену появятся или старыя экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ, или

же, вмѣсто дѣйствительной драмы, родится нелѣпый фарсъ съ переодѣваніями. И ни моими сужденіями, ни моими воспроизведеніями и обличеніями я никого не заинтересую: ни старыхъ, ни малыхъ. Одни скажутъ: „кого онъ хочетъ обмануть, увѣряя, что русская жизнь есть не что иное, какъ водевиль?“ Другіе: „вотъ старый безстыдникъ, у котораго сѣдой волосъ изъ всѣхъ щелей лѣзетъ, а онъ все-таки не чувствуетъ потребности обуздать себя!“

Такимъ образомъ, опасаясь остаться, какъ говорится, ни въ тѣхъ, ни въ сѣхъ, я предпочитаю молчать. И въ этомъ-то вынужденномъ молчаніи формулируется весь жизненный итогъ... какая, однакожъ, мучительная старость!

Но что дѣлаетъ эту старость еще болѣе мучительною — это то, что, при всей своей немощи, я все-таки „желаю“. Да, экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ не прошли для меня даромъ. Онѣ населили мое существо извѣстными вкусами и предрасположеніями, которыя даже на безсиліе мое наложили своеобразную печать. Сколько разъ жизнь пыталась растоптать эти предрасположенія, а я все-таки возвращался къ нимъ. И я не только не сожалѣю объ этихъ возвратахъ, но даже горжусь ими. Горжусь!! послѣ всего, что только-что сейчасъ вылилось изъ-подъ моего пера — не правда ли, какъ странно звучитъ это слово? Но въ томъ-то и дѣло, что прошлое, составленное изъ обрывковъ, и въ результатѣ даетъ только обрывки. Сейчасъ — горжусь, и сейчасъ — презираю. По наружности, жить такимъ образомъ (то-есть, безъ усилій переходя отъ самовозвеличенія къ самобичеванію) кажется очень легко, но вглядитесь попристальнѣе: право, вѣдь это цѣлая мученическая эпопея!

Иногда мнѣ даже думается, что если бы я передѣлалъ свой жизненный девизъ наоборотъ и вмѣсто: „хочу, но не могу“, написалъ на своемъ знамени: „могу, но не хочу“,—мнѣ жилось бы лучше. По крайней мѣрѣ, тогда я былъ бы уже совсѣмъ скотиною. Не думалъ бы ни о прошедшемъ, ни о настоящемъ, ни о будущемъ, а производилъ бы нужныя физическія отправленія и съѣдалъ бы свою порцію печатныхъ пряниковъ. Но въ томъ-то и дѣло, что когда увлеченное воображеніе начинаетъ живописать цѣлый рядъ свойственныхъ „совсѣмъ скотинѣ“ наслажденій — вдругъ изнутри словно толкнетъ что: „да развѣ это Богъ вѣсть какое счастіе—быть совсѣмъ скотиною?“ И вслѣдъ затѣмъ опять раздумье, опять обрывки, которые, мало-по-

малу разростаясь и разростаясь, переходятъ наконецъ въ негодованіе. А негодованіе — само по себѣ цѣлый кладъ. Оно поднимаетъ нравственный и духовный уровень человѣка; оно утѣшаетъ, очищаетъ его въ собственныхъ глазахъ. Я чувствую себя просвѣтленнымъ; я негодую на самого себя, что могъ хотя минуту увлечься мечтами о счастіи быть совсѣмъ скотиною; я берегу и лелѣю святое волненіе, охватившее меня... и опять-таки горжусь! Горжусь — чѣмъ? — тѣмъ, что негодую одинъ-на-одинъ съ самимъ собою, среди четырехъ стѣнъ, которыя даже сфискалить на меня не могутъ! Ужели есть пытка болѣе невыносимая и унизительная, нежели эта?

Да, тутъ несомнѣнно собрана цѣлая коллекція пытокъ, достойно увѣнчивающаяся послѣднею: одиночествомъ. Несмотря на болтливо проведенную молодость, несмотря на то, что въ основѣ этой молодости все-таки лежалъ призывъ къ общенію, къ любви, въ результатѣ ея все-таки оказалось одиночество полное, несомнѣнное. Пустыня, на поверхности которой мелькаютъ два-три родственные и столь же одинокіе индивидуума, и въ центрѣ пустыни — безпріютное, оголтѣлое старчество! А помнится, когда мы выходили на арену экскурсій, насъ было видимо-невидимо. И всѣ мы были полны надеждъ, всѣ представляли единое стадо и единую неразрывную цѣпь, всѣ одинаково пламенѣли и одинаково вѣрили, что и тамъ, „у пристани“, наша цѣпь окажется такою же плотною и неразрывною, какою мы видѣли ее при отправленіи. Всѣ, все множество наше, всѣ вдохновенно клялись, что ни время, ни испытанія, ничто... А въ концѣ пути, вмѣсто „пристани“, оказалась — пустыня!

Въ растительномъ царствѣ встрѣчается нѣчто подобное. Посмотрите на дерево весною — какая на немъ могучая, чистая, незапятнанная листва! И какое множество этихъ листьевъ, какъ они тѣснятся другъ къ другу — точно хотятъ изъ своей совокупности сдѣлать непроницаемый оплотъ! Лѣтомъ листья уже потемнѣли, перепутались и слегка запятнались; древесинная перепонка, прикрѣпляющая ихъ къ вѣткѣ, постепенно подсыхаетъ, и въ воздухѣ носятся оторванные вѣтромъ дезертиры, сначала рѣдкіе, а потомъ все чаще и чаще. Наступаетъ осень; дезертиры ужъ не кружатся въ воздухѣ, а просто сыплются дождемъ на увлаженную землю; таинственный шопотъ листьевъ умолкаетъ, и воздухъ наполняется зловѣщимъ свищущимъ шумомъ, производимымъ хлестаніемъ оголенныхъ вѣтвей. Передъ

глазами не дерево, а безжизненный и насквозь свѣтящійся остовъ его. И вдругъ, среди наготы и опустошенія, вы замѣчаете два-три засохшіе листка. Они случайно защемились между вѣтками, но издали кажется, что въ нихъ удержалась какая-то загадочная сила, которая не даетъ надъ ними власти ни вѣтрамъ, ни непогодамъ. Тѣмъ не менѣе, существованіе ихъ — безнадежное. Жалобно жмутся эти остатки роскошной весны къ родному дереву и не переставая трясутся, точно чувствуютъ, что вотъ-вотъ налетитъ шквалъ и погонитъ ихъ... И хотя случается, что такіе забытые листья переживаютъ всю зиму, но никогда не бывало, чтобъ листва новой весны не вытѣснила ихъ.

То же было и съ нами. Весной мы вышли и насъ было много; но весна была недолгая, а лѣто промчалось уже до того быстро, что настоящаго солнца мы даже не видѣли. Осень наступила разомъ, и такъ какъ по бокамъ дороги, на которую насъ поставила судьба, на каждомъ шагу встрѣчались всякаго рода увеселительныя заведенія, то большинство соблазнилось и застряло тамъ. Къ зимѣ насъ осталось уже немного. Растерявши товарищей, мы продолжали, однакожъ, неуклонно идти прежней дорогой; шли-шли, покуда старчество не подкосило нашихъ ногъ; но въ результатѣ, вмѣсто желанной пристани, очутились передъ пустымъ пространствомъ. Вотъ въ немъ-то мы и дрожимъ, и стонемъ, какъ тѣ засохшіе листья, случайно ущемленные между сплетшимися вѣтвями. Унесетъ ли насъ шквалъ, или пощадитъ? Ежели унесетъ, то насъ смоетъ весенней водой вмѣстѣ съ прочею ветошью; ежели пощадитъ, то мы такъ и будемъ дрожать всю зиму, а весной на томъ мѣстѣ, гдѣ мы дрожимъ, пробьется новая почка и вытѣснитъ насъ совсѣмъ, неизвѣстно куда...

Отыщите дилемму болѣе горькую: въ обоихъ случаяхъ—исчезнуть! Право, только у насъ, только среди нашего оголтѣлаго общества, могутъ происходить подобныя загадочныя исчезновенія.

Очевидно, что это не могло бы случиться, если бы цѣлью нашихъ жизненныхъ перегринацій были не праздныя экскурсіи, а конкретное дѣло. Дѣло, уже само по себѣ (въ какой хотите формѣ, даже въ формѣ хищничества), непремѣнно оставляетъ слѣдъ, но, сверхъ того, оно даетъ дѣятелю силу и снабжаетъ его средствами обороны. Даже такихъ несомнѣнныхъ поганцевъ, какъ современные подрядчики и паразиты войны, и тѣхъ не такъ-то легко погрузить въ пу-

чину забвенія. И они не исчезнутъ безъ борьбы (если только исчезнутъ), и ужъ во всякомъ случаѣ оставятъ по себѣ слѣдъ въ разнообразнѣйшихъ формахъ обездоленія, тяжесть которыхъ долго будетъ давать себя чувствовать героямъ ревизскихъ сказокъ и окладныхъ листовъ.

Какъ бы то ни было, но мы, не соблазнившіеся попутными увеселительными заведеніями, все еще крѣпимся и живемъ. Насъ немного, но узы, соединяющія насъ, съ годами какъ будто даже окрѣпли. Во внѣшнихъ жизненныхъ сношеніяхъ мы исключительно довольствуемся ветшающимъ, но избраннымъ кружкомъ нашей уцѣлѣвшей семьи, и почти никого изъ посторонннихъ не видимъ. Внутренно мы также остались неприкосновенными: по прежнему увлекающіеся, воспріимчивые, одаренные богатыми художественными инстинктами и по прежнему же робкіе и стыдливые. И тѣ же экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ продолжаютъ преслѣдовать насъ.

Но, увы! отсутствіе разнообразія уже замѣтно подтачиваетъ насъ. Нельзя жить, не выходя изъ очарованнаго круга трехъ-четырехъ личностей. Нельзя не исчерпать всего своего содержанія, не имѣя иныхъ исходныхъ пунктовъ, кромѣ тѣхъ, отъ которыхъ мы уже пришли прямёхонько къ пустому пространству. И вотъ, въ результатѣ—бѣшеная скука, почти отчаяніе. Ибо хотя мы и не разстаемся другъ съ другомъ, хотя мы непрерывно бесѣдуемъ, обмѣниваемся мыслями, критикуемъ и даже негодуемъ, но я убѣжденъ, что не только я лично, но и каждый изъ насъ очень хорошо понимаетъ, что онъ бесѣдуетъ, обмѣнивается мыслями, критикуетъ и негодуетъ, въ сущности, одинъ-на-одинъ съ самимъ собою, въ четырехъ стѣнахъ.

По привычкѣ мы сходимся и по привычкѣ же заводимъ обмѣнъ мыслей. Но самое собесѣдованіе наше имѣетъ какой-то подневольный характеръ, какъ будто собесѣдники предприняли его только для того, чтобъ мистифировать другъ друга. Не было настоящаго дѣла—нѣтъ и настоящихъ воспоминаній, нѣтъ настоящаго сюжета для обмѣна мыслей. Предметъ спора не формулируется, а какъ-то подозрѣвается; на каждомъ шагу чуется множество невымолвленныхъ словъ, недосказанныхъ рѣчей. Очевидно, что разговаривающіе смотрятъ въ одну и ту же точку, одну и ту же мысль въ головѣ держатъ, что имъ даже сообщать другъ другу нечего, но зачѣмъ-то понадобилось тянуть праздную канитель, щеголять другъ передъ другомъ діалекти-

ческими тонкостями, поражать остроумными выходками, все еще благосклонно выслушиваемыми, хотя и выдержавшими тринадцатилѣтнюю давность, и проч.

Объ чемъ мы разговариваемъ? — да обо всемъ. О пользѣ стыда, о томъ, что мы ничего не знаемъ, ничего не можемъ, о томъ, что жить опасно, а пожалуй и довольно — это ли не безгранично растяжимыя темы?

Одинъ говоритъ:

— Существовать и постыдно, и незачѣмъ. Ни въ лагерѣ торжествующихъ, ни въ лагерѣ толкущихся — мы одинаково не у мѣста. Мы способны лишь волноваться, да и не волноваться, въ строгомъ смыслѣ слова, а только жалкія слова говорить. Но вѣдь это, наконецъ, и постыдно, и надоѣло. Ясно, что выходъ для насъ предстоитъ одинъ: уйти.

Другой возражаетъ:

— Нѣтъ, это неясно. Мы уже по тому одному имѣемъ право не исчезать, что въ насъ воплощается традиція сочувственнаго отношенія къ развивающимъ запросамъ жизни. Мы выработали привычку опрятности и благодушія, а среди общаго направленія умовъ въ сторону травли это качество—далеко не лишнее.

Но третій опять становится на точку зрѣнія безнадежности и развиваетъ такую мысль.

— И все-таки, какъ ни кинь — вездѣ будетъ клинъ. Къ кому бы мы ни обратились — одни намъ скажутъ: „уйдите! вы своимъ унылымъ видомъ только въ смущеніе приводите!“ Другіе: „эге! да вы никакъ сочувственныя слезы проливать собрались! умирать надо —вотъ что!“

И такъ далѣе.

На разговорахъ этихъ мы зубы съѣли. Каждый день мы ихъ начинаемъ и, повидимому, даже кончаемъ; каждый день, по наружности, разнообразимъ ихъ подкладку задачами самой животрепещущей современности и въ то же время внутренно сознаемся, что новы тутъ только ярлыки, за которыми скрывается залежавшаяся и до тла вывѣтрившаяся ветошь.

Понятно, что подобные разговоры ни къ чему не приводятъ, ни съ чѣмъ не примиряютъ, а только достаточно раздражаютъ...

Подъ веселую руку мы называемъ эти бесѣды „дворянскими мелодіями“. А другъ мой Глумовъ при семъ присовокупляетъ:

— И что въ особенности дорого въ этихъ мелодіяхъ, и почему самое начальство всегда смотрѣло на нихъ снисходительно, это то, что въ нихъ, въ одно и то же время, слышится и несомнѣнный гуманизмъ (начало неблагонамѣренное), и несомнѣнное молчалинство (начало во всѣхъ статьяхъ благонамѣренное). Какъ будто былъ такой моментъ, когда древнял Лаиса почувствовала себя до того уже слабою, что даже Алексѣя Степаныча удостоила ласкою.

Я знаю, что самое выраженіе: „дворянскія мелодіи“ — въ настоящее время анахронизмъ; но что оно вполнѣ подтверждается свидѣтельствомъ недавняго прошлаго — въ этомъ сомнѣваться нельзя. Сверхъ того, для меня лично это выраженіе имѣетъ еще особую цѣну. Съ нимъ неразрывно связаны мои лучшія воспоминанія и имъ же исчерпывается ежели не вся моя жизнь, то, во всякомъ случаѣ, ея дѣятельнѣйшая пора.

Хотя мелодіи эти зародились очень давно, въ самомъ началѣ сороковыхъ годовъ, но память о нихъ до сихъ поръ такъ жива и такъ полна, что мнѣ чудится, что онѣ раздались только вчера. Это было время, когда крѣпостное право царствовало въ полномъ разгарѣ, обезпечивая существованіе избранныхъ и доставляя всѣ удобства для украшенія ихъ досуговъ. И между тѣмъ — странная вещь! — молодые дворяне тосковали. Исполненные юношеской силы, обезпеченные, не безъ пользы для ума и сердца исколесившіе всю Европу, они не могли не почувствовать себя умиленными зрѣлищемъ общихъ симпатій къ угнетеннымъ и обдѣленнымъ, которыми обуревались тогда лучшіе умы Запада, и въ особенности Франціи, этого неугасающаго очага, на которомъ преимущественно загораются всѣ зачатки, подвигающіе человѣчество впередъ. И въ этомъ-то умиленномъ видѣ возвращались домой, къ своимъ домашнимъ пенатамъ.

Но тогдашніе пенаты были хмурые и неподатливые. Они ревниво охраняли крѣпостное логовище отъ какого бы то ни было „разврата“, кромѣ строго-плотского, и безпощадно отметали дерзновеннаго, который мечталъ внести двоегласіе въ дѣйствія безчисленныхъ Прошекъ и Палашекъ, наполнявшихъ своею безгласною суетливостью всероссійскую пустыню отъ хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды. Нельзя сказать, чтобъ въ то время было строже насчетъ „разврата“,

нежели теперь (съ точки зрѣнія начальственныхъ воздѣйствій), но самыя свойства пенатовъ были таковы, что мысль о „развратѣ“ просто не шла въ голову. Зданіе стояло такъ прочно и съ солидностью его сопрягалось столь многое (и слава, и страхъ врагамъ, и процвѣтаніе), что самый рѣшительный поборникъ „разврата“, и тотъ смирялся подъ подавляющимъ игомъ своеобразной крѣпостной гармоніи, которая со всѣхъ сторонъ охватывала его. И умъ и чувство, которые даже иностранцевъ, во время заграничныхъ перегринацій, поражали чуткостью и подвижностью, разомъ утрачивали всю воспріимчивость и цѣпкость при видѣ девиза, нигдѣ прямо не написаннаго, но несомнѣнно и подлинно горѣвшаго на всѣхъ лбахъ: здѣсь, въ этомъ солидномъ зданіи, никакія попытки разврата успѣха имѣть не могутъ!

А между тѣмъ сердца молодыхъ дворянъ уже растворились и, слѣдовательно, требовали пищи. Этой пищи не могла имъ-дать ни плотная масса Прошекъ, потому что къ ней даже подступиться было нельзя, ни несложныя утѣхи стариковъ-отцовъ, потому что онѣ были черезъ-чуръ грубы, ни литература того времени, потому что воркованіе школы Карамзина и Жуковскаго казалось уже смѣшнымъ, а болѣе современный байронизмъ поражалъ своей безпричинностью и неприложимостью къ крѣпостной средѣ. Почувствовалась потребность въ пищѣ болѣе прянаго свойства, въ такой, которая хоть косвенно соприкасалась бы съ крѣпостною дѣйствительностью и въ же время не слишкомъ компрометтировала бы тотъ общедворянскій жизненный складъ, отказаться отъ котораго совсѣмъ и не предполагалось. Экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ, которыми такъ богата была европейская литература того времени и подъ вліяніемъ которыхъ уже растворились молодыя дворянскія сердца, представлялись въ этомъ смыслѣ пищею почти идеальною. Онѣ располагали сердца къ чувствительности и вмѣстѣ съ тѣмъ не нарушали привычекъ. Отсюда—дворянскія мелодіи.

Отличительныя свойства этихъ мелодій: елейность, хорошій слогъ, обиліе околичностей (обстановокъ) и въ то же время отсутствіе конкретнаго объекта. И какъ естественный результатъ всѣхъ этихъ свойствъ, взятыхъ вмѣстѣ,—неуловимость. Можно заслушаться ихъ, можно вздохнуть подъ ихъ переливы, но сжать и формулировать точный ихъ смыслъ—невозможно.

Мелодіи эти раздаются и понынѣ, хотя съ каждымъ днемъ все рѣже и рѣже. Правда, что въ большинствѣ случаевъ дворянскія мелодіи довольно свободно превратились въ дворянскія же рычанія, но все-таки существуютъ разсѣянныя по лицу земли стыдливыя единицы, которыя упорствуютъ и до-днесь. Только мнѣ кажется, что со времени упраздненія крѣпостного права мелодіи эти сдѣлались еще тоскливѣе.

Да, раздаются еще наши мелодіи и даже имѣютъ представителей въ литературѣ. Произведенія этой дворянско-литературной школы и теперь читаются охотно, потому что читатель находитъ въ нихъ отличный слогъ, искусную обстановку (въ противоположность наготѣ современныхъ реалистовъ) и даже послѣдовательность (въ сущности, эта послѣдовательность есть плодъ умѣнія цѣлесообразно пользоваться частицами рѣчи: между тѣмъ, такъ какъ, за всѣмъ тѣмъ и т. п.). Какъ бы то ни было, но ежели читатель берется за книгу, главнымъ образомъ съ намѣреніемъ убить праздное время и при этомъ исполнить еще одно условіе, совершенно необходимое при чтеніи подобныхъ произведеній, — то-есть остережется отъ возстановленія прочитаннаго въ своей памяти, — то цѣль его будетъ достигнута несомнѣнно. И время пройдетъ занятно, и особенной тяжести въ головѣ не останется.

Но благодарить ли за это?

На дняхъ я этотъ самый вопросъ предложилъ пріятелю моему Глумову.

— Любезный другъ!—сказалъ я ему:—въ виду прекрасныхъ намѣреній, которыми проникнуты были дворянскія мелодіи, осуждать насъ за нихъ было бы, конечно, несправедливо; но, воля твоя, и благодарить не за что. Благодарность предлагаетъ услугу, въ какой бы формѣ, матеріальной или духовной, она ни была оказана, но непремѣнно услугу. Какую же услугу можетъ представлять собой благородная смутность чувствъ, сопровождаемая сладкозвучнымъ словеснымъ журчаніемъ, вся прелесть котораго въ томъ именно и заключается, что оно — журчаніе, не поддающееся даже законамъ сжимаемости? Вѣдь мы до того изжурчались, что вотъ теперь, когда со всѣхъ сторонъ зарождаются всякіе запросы, мы не только не можемъ установить связи между этими запросами и нашимъ про-

шлымъ, но даже едва-ли въ состояніи формулировать точное опредѣленіе существа современныхъ явленій!

Глумовъ по обыкновенію сочувственно отнесся къ моему заявленію (тѣмъ болѣе, что оно уже само по себѣ представляло не что иное, какъ продолженіе тѣхъ же дворянскихъ мелодій), но, прежде нежели отвѣтить на мой вопросъ, онъ какъ-то уныло, почти безнадежно взглянулъ на меня.

— Хворы мы, братъ—вотъ что!—наконецъ произнесъ онъ.

— Да и не теперь только хворы, а всегда были!—подхватилъ я съ жаромъ. — Вѣдь, коли по совѣсти-то говорить, помянуть нечѣмъ прошлаго... Эти экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ—ахъ, я забыть объ нихъ не могу!

— А это еще лучшее, что было!

— Но вѣдь это развратъ! это сонное любострастіе — вотъ это что! Какъ вспомнишь теперь, что по временамъ я лишалъ себя настоящаго обѣда, питался колбасой да вареной ветчиной... ты думаешь, для чего! А для того, любезный другъ, чтобъ на сбереженныя отъ обѣда деньги въ такихъ же клѣтчатыхъ штанахъ щегольнуть, какіе нашъ общій товарищъ Сеня Бирюковъ носилъ! Ахъ, даже кровь въ голову бросится! Вѣдь я сгаралъ завистью къ тѣмъ, которые къ графинѣ де Мильфлёръ на балы ѣздили! Я, отъ роду ее не видавши, анекдоты изъ жизни Мильфлёрши разсказывалъ! Я стихи Лермонтова: „Какъ мальчикъ кудрявый рѣзва“, на всѣхъ перекресткахъ, съ пѣною у рта, декламировалъ!

— И въ то же время отдавалъ часы досуга сочувствію униженнымъ и оскорбленнымъ... было, братъ, это! было!

— Развѣ это—не сонное любострастіе? Ахъ, что это за молодость была! Вѣдь ни одного послѣдовательнаго шага, ни одного связнаго поступка не было—ничего, кромѣ нервной искренности, то-есть искренняго лганья! Не лжи, а именно лганья, безобразнаго, нескладнаго, которое всякій насквозь видитъ! И странное дѣло! Всѣ вѣдь знали и понимали, что мы лжемъ, лжемъ и лжемъ, и никто не сказалъ: молодые лгуны, подумайте, какую вы себѣ готовите старость!

— Тогда, любезный другъ, всѣ лгали, а объ молодыхъ людяхъ такъ даже прямо такое мнѣніе было, что имъ лгать приличествуетъ. И дамочки тогдашнія такое направленіе имѣли, что только передъ

лганьемъ и полагали оружіе. Ручательство страстности и пылкость —въ лганьѣ видѣли.

— И вотъ теперь мы старики—и никому до насъ дѣла нѣтъ. Даже самимъ себѣ... да, и самимъ себѣ мы опостылѣли и, словно прокаженные, жмемся и разнемогаемся по своимъ угламъ!

Это было такъ горько, такъ горько, что я совсѣмъ незамѣтно увлекся и уже совершенно непослѣдовательно заключилъ свою діатрибу восклицаніемъ:

— За что?

— А вотъ за то за самое, въ чемъ ты сейчасъ самъ себя уличалъ! за лганье! Чудакъ, братецъ, ты! Цѣлый часъ самъ себѣ нотацію читаешь, и вдругъ—за что?

— Да, но вѣдь все-таки... Не все же умерло... напримѣръ, хоть бы во мнѣ! вѣдь хоть и поздно, а я очнулся-таки! Весь этотъ угаръ, всѣ эти странныя понятія о свойствахъ, составляющихъ украшеніе благороднаго молодого человѣка — все это ужъ давно похерено и сдано въ архивъ! Вѣдь я теперь...

На этомъ словѣ я осѣкся и покраснѣлъ.

— Что же „теперь“?—спросилъ меня Глумовъ угрюмо.

— Зла я не дѣлаю! зла!

— Христосъ съ тобой! на что дѣлать зло?

— Да, но вѣдь и это... Нельзя же не принять въ разсчетъ... Потому что, въ противномъ случаѣ, при чемъ же мы состоимъ? И что же, наконецъ, намъ дѣлать?!

— Жить — вотъ и все. Если жизнь привязалась и не отпускаетъ тебя—ну, и живи. Удивляй міръ отсутствіемъ поступковъ и опрятностью чувствъ. Не пиши преднамѣренныхъ романовъ съ переодѣваніями, но и отъ гимновъ воздержись, потому что въ самые гимны твои, помимо твоей воли, непремѣнно проникнетъ водевильная струя. Тоскуй, стыдись, тяготись жизнью, но живи въ своихъ четырехъ стѣнахъ, благо ты ужъ обжился въ нихъ, и въ чужія существованія не впутывайся. Наблюдай эти существованія, и буде чего не поймешь въ нихъ, то не огрызайся, но и не славословь, а говори прямо: я этого не понимаю! Живи!

Въ сущности, въ виду такого рѣшенія вопроса, не жить, а просто умереть нужно. Но мы живемъ. Я думаю, что насъ спасаетъ въ этомъ

случаѣ та общая смутность представленій, которая необыкновенно облегчаетъ самые внезапные переходы отъ одного тезиса къ другому, совершенно противоположному. Противорѣчія останавливаютъ насъ только въ такомъ случаѣ, когда они уже черезъ-чуръ явно заходятъ въ область представленій, прямо оскорбляющихъ нашу опрятность; но мы охотно примиряемся со всякими скачками и перерывами, какъ скоро стоящая на очереди мысль (хотя бы и мало сходная съ мыслью, стоявшею на очереди за минуту передъ тѣмъ) настроиваетъ насъ на тонъ великодушія, негодованія и другихъ праздничныхъ чувствъ. Такъ, напримѣръ, кончить вчерашній день самобичеваніемъ, а завтрашній день начать съ самооправданія, близкаго къ самохвальству, не представляетъ для насъ никакой трудности. Ибо и самобичеваніе, и самооправданіе равно допускаютъ участіе великодушія, негодованія и проч. и одинаково представляютъ лишь результатъ нервной возбужденности, настолько эмансипировавшейся, что подъ ея давленіемъ самый контроль разума обращается въ ничто. Повторяю: только наличность конкретнаго дѣла или, по малой мѣрѣ, ясное объ немъ представленіе могли бы оградить насъ отъ нервной распущенности и сопровождающихъ ее противорѣчій, но именно этихъ-то отрезвляющихъ условій мы и были всегда лишены.

Согласившись со мной наканунѣ, что наша дѣятельность (если не рискованно употребить въ настоящемъ случаѣ это выраженіе) всегда страдала двоегласіемъ и неясностью, и что, посему, благодарить за нее нѣтъ никакого основанія, Глумовъ, очень недолго остался при своемъ показаніи и на другой день уже развивалъ передо мною мысль, что благодарить — слѣдуетъ.

— Насъ слѣдуетъ благодарить ужъ за то одно, — говорилъ онъ, — что однимъ изъ главныхъ результатовъ нашего существованія былъ стыдъ. Почему современное хищническое ликованіе до того оскорбляетъ, напримѣръ, хоть тебя, что тебѣ сдается, будто ты вращаешься среди смѣшанной атмосферы бойни и дома терпимости? — потому что ты смолоду воспиталъ въ себѣ стыдъ! Почему сознаніе твоего безсилія въ виду этой атмосферы не побуждаетъ тебя покориться ей, но загоняетъ въ тѣсное пространство четырехъ стѣнъ и наполняетъ твое сердце горечью? — опять-таки потому, что въ тебѣ есть стыдъ! Не будь стыда, ты нюхалъ бы міазмы современности и говорилъ бы, что пахнетъ розами. Не будь стыда, ты даже безсиліемъ своимъ воспользо-

вался бы только для того, чтобъ подписать удовольствіе приговору современности. Ты сказалъ бы себѣ: я до того затерянъ въ безъименной толпѣ, что всякая возможность заявить о своей личности, объ ея симпатіяхъ и антипатіяхъ, для меня безповоротно утрачена, а потому буду жить смирно и въ мирѣ съ самимъ собой и окружающей средой, довольствоваться званіемъ скотины, которое одно для меня доступно. И такъ какъ скотина ни о какихъ заявленіяхъ помышлять не должна...

— Послушай, однако!—остановилъ я Глумова:—да самъ-то ты во истину ли убѣжденъ, что въ нашихъ „заявленіяхъ“ чувствуется надобность?

— Все-таки, другъ мой. Положимъ, что и не Богъ вѣсть какія заявленія мы съ тобой сдѣлать можемъ, но и за всѣмъ тѣмъ потребность въ ихъ формулированіи не только не претенціозна, но и вполнѣ естественна. Ты находишь, что наши заявленія ничего существеннаго дать не могутъ—прекрасно! но тѣмъ стыднѣе, что даже это несущественное находится подъ замкомъ. Вотъ мы и стыдимся! Стыдимся не за себя, а за то по истинѣ неистовое положеніе, въ которое мы фаталистически поставлены.

— И благодаря которому мы, не имѣющіе сказать ничего существеннаго, въ общественномъ мнѣніи считаемся чуть не опаснѣе бѣшеныхъ собакъ. Но вѣдь это — цѣлая роль, голубчикъ! ею кичиться можно, а не стыдиться ея.

— Да, бываютъ и у насъ минуты духовнаго распутства, когда мы кичимся ролью бѣшеныхъ собакъ. Мы легкомысленны и тщеславны—это правда; но, къ счастію, распутство проявляется въ насъ только вспышками, а главнымъ жизненнымъ регуляторомъ все-таки остается стыдъ. Мы ничего не можемъ! ничего не знаемъ!—вотъ восклицанія, которыя не сходятъ у насъ съ языка; восклицанія сами по себѣ не важны, но важно въ нихъ то, что они не дозволяютъ краскѣ стыда сойти съ нашихъ лицъ. Не за себя однихъ стыдимся мы, но и за другихъ—за всѣхъ. Вотъ въ этомъ-то смыслѣ я и утверждаю, что стыдъ—хорошее и здоровое чувство!

— Особенно когда люди стыдятся въ четырехъ стѣнахъ... ахъ, мой другъ, вѣдь мы и стыдимся-то какъ-то своеобразно!..

— Втихомолку, въ четырехъ стѣнахъ—это вѣрно. Но и четыре стѣны, въ которыхъ притаился подлинный стыдъ, могутъ имѣть свое значеніе въ общемъ развитіи жизненнаго строя. Когда въ громадномъ

домѣ, сплошь горящемъ огнями, ты замѣчаешь три-четыре окна, окутанные сумракомъ — это на первый разъ поражаетъ тебя только въ качествѣ антитезы. Но когда ты, нѣсколько дней сряду проходя мимо зданія, убѣждаешься, что эти три черныя окна — явленіе не случайное, а повторяющееся изо дня въ день, то оно уже заинтересовываетъ тебя.

— Но, можетъ быть, эти окна принадлежатъ кладовой, въ которую складывается ненужный хламъ?

— Можетъ быть это и обыкновенная кладовая, а можетъ быть и другое вмѣстилище, въ которомъ матеріала для стыда конца-краю нѣтъ. Впрочемъ, я воспользовался этимъ уподобленіемъ только для того, чтобъ показать, какимъ путемъ люди могутъ заинтересовываться явленіями, повидимому совсѣмъ не бросающимися въ глаза. Пожалуй, возьмемъ и другой примѣръ. Ты выходишь на улицу и въ толпѣ людей, выпячивающихъ грудь и нахально несущихъ мѣдный лобъ, видишь человѣка, который не идетъ рядомъ со всѣми по тротуару, а жмется къ стѣнѣ. Ты вглядываешься въ этого человѣка и по наружному обзору убѣждаешься, что онъ—не калѣка и не кретинъ, и что, слѣдовательно, существенныхъ внѣшнихъ причинъ, которыя заставляли бы жаться къ сторонѣ, для него не существуетъ. И не испугъ написанъ на его лицѣ, а только чувство неизреченной брезгливости. Натурально, этотъ человѣкъ начинаетъ интересовать тебя; ты хочешь узнать, почему у этого человѣка не мѣдный лобъ, какъ у большинства идущихъ по тротуару, и даже не полу-мѣдный, какъ у меньшинства... И узнаешь. Такъ точно и со стыдомъ, хотя бы онъ и скрывался въ четырехъ стѣнахъ. Стыдъ, это — начало очень тонкое, другъ мой; онъ и въ самыхъ плотныхъ стѣнахъ найдетъ швы, сквозь которые пробьется наружу.

— Стало быть, по твоему, мы въ нѣкоторомъ родѣ стыдо-учители?—пошутилъ я; но Глумовъ не слышалъ моей шутки и продолжалъ:

— Стыдъ животворитъ. Безсильному онъ помогаетъ нести бремя жизни, сильному внушаетъ мысль о подвигѣ. Но, сверхъ того, онъ и прилипчивъ. Хотя ты, безсильный, стыдишься только въ четырехъ стѣнахъ, но и это келейное стыдѣніе не пройдетъ безъ слѣда, ибо непремѣнно отыщется другой, болѣе сильный, который, заинтересовавшись тобой, пойдетъ дальше. Есть тутъ преемственность, есть. И, по моему, всякія опасенія насчетъ безплодности стыда не только оши-

бочны сами по себѣ, но и могутъ ввести въ заблужденіе честныхъ людей. А потому стыдись мой другъ, и не опасайся быть въ тягость ни себѣ, ни другимъ! Вѣрь, что твой стыдъ зачтется тебѣ и за клѣтчатые штаны, для пріобрѣтенія которыхъ ты лишалъ свой организмъ правильнаго питанія, и за прокламаціи въ формѣ стихотворенія: *Какъ мальчикъ кудрявый рѣзва*! Не только не безполезно, но даже положительно необходимо, чтобъ сколь возможно бо́льшее количество людей почувствовало стыдъ. Чтобъ люди стыдились не только неудачъ, но и удачъ, чтобъ, въ случаѣ неудачи, они чувствовали на своемъ лицѣ пощечину, а въ случаѣ удачи—двѣ. Потому что только тогда опредѣлится вполнѣ ясно, что нравственный уровень общества настолько распутенъ, что пощечина сдѣлалась единственно возможнымъ мѣриломъ для оцѣнки поступковъ и дѣйствій. И только тогда получится непремѣнная рѣшимость во что́ бы ни стало уйти. Такъ-то, душа моя!

Глумовъ, очевидно, былъ доволенъ, что высказался. Онъ протянулъ мнѣ руку и даже обнялъ меня. Въ этомъ видѣ, то-есть обнявшись, мы сдѣлали нѣсколько туровъ взадъ и впередъ по кабинету. „Еще одна дворянская мелодія канула въ вѣчность!“—мелькнуло у меня въ головѣ, но я воздержался высказать эту мысль, потому что Глумовъ на этотъ разъ навѣрное огорчился бы ею.

— Я знаю, голубчикъ,—началъ опять Глумовъ, послѣ непродолжительнаго молчанія,—что въ стыдѣ нашемъ нѣтъ ничего героическаго, но настаиваю на томъ, что одинъ видъ стыдящагося человѣка, среди проявленій безстыжества, уже можетъ служить небезполезнымъ напоминаніемъ. Самые закоренѣлые проходимцы—и тѣ понимаютъ, что въ стыдящемся человѣкѣ есть нѣчто, выдѣляющее его изъ массы бездѣльниковъ и глупцовъ. Поэтому они такъ и стараются загнать его въ темный уголъ, откуда совсѣмъ бы его не было видно. А сколько субъектовъ не вполнѣ закоснѣлыхъ, сколько такихъ, которые заразились безстыжествомъ или по малодушію, или по недоразумѣнію! Все это люди колеблющіеся, въ которыхъ напоминаніе о стыдѣ можетъ пробудить не только опасеніе возмездія, но и дѣйствительныя мерцанія совѣсти. И я убѣжденъ, что ка̀къ ни робки эти позывы къ стыду, но и они не останутся безслѣдными. Вотъ во имя чего стыдъ долженъ быть зачтенъ даже такому существованію, котораго кондуитный итогъ формулируется словами: ни зла, ни добра!

На этотъ разъ Глумовъ умолкъ окончательно. Мелодія была закруглена, закончена и, словно гармоническій аккордъ, замерла въ четырехъ стѣнахъ моей квартиры...

Нѣтъ, она не вполнѣ замерла, потому что на другой день Глумовъ опять посѣтилъ меня и возобновилъ бесѣду на ту же тему.

— И не за одно стыдѣніе должно благодарить насъ потомство, —говорилъ онъ:—но и за то, что мы пустили въ ходъ мысль о безнадежности, первые убоялись жизни, первые высказали, что жить страшно, а пожалуй и довольно. Все наше существованіе представляло собой непрерывную цѣпь гревогъ, страховъ и трепетовъ, не особенно лестныхъ для самолюбія, но замѣчательныхъ въ томъ отношеніи, что на послѣднемъ звенѣ этой цѣпи совершенно явственно можно было прочитать слово: безнадежность. И при этомъ мы такъ неотступно и такъ искренно вопіяли: „нельзя жить, нельзя! надо уйти, исчезнуть, пропасть!“ что только глухой или преднамѣренно закоснѣлый могъ не слышать этихъ воплей. Теперь представь же себѣ такую картину: какое множество на свѣтѣ существуетъ людей, которые, ничего въ себѣ не заключая, кромѣ праха, все-таки карабкаются и хватаются цѣпкими руками за колеблющіяся нити срамного существованія—и вдругъ рядомъ съ ними выдѣляется небольшая кучка иныхъ людей, въ которыхъ это жадное ловленіе жизненныхъ нитей производитъ только отвращеніе, которые прямо провозглашаютъ: жить довольно! Ужели это зрѣлище не достаточно поразительно, чтобъ заинтересовать многихъ и многихъ?

— Поразительно-то поразительно; а все-таки, говоря по совѣсти, вѣдь и въ отвращеніи отъ жизни главную роль играла обычная наша нервная распущенность. И лучшимъ доказательствомъ, что это было именно такъ, служитъ то, что хоть мы и вопіяли: надо уйти, исчезнуть, пропасть! —но сами, все-таки, не уходили, не исчезали не пропадали. Вотъ хоть бы мы съ тобой—развѣ мы не живемъ? живемъ, братецъ, да еще какъ! дай Богъ и напредки такъ пожить!

— Позволь! Я охотно допускаю, что твое возраженіе съ формальной стороны вполнѣ резонно; но именно только съ формальной стороны, не больше, потому что мы лично тутъ ни-при-чемъ и представляемъ только обстановку, до которой будущему нѣтъ дѣла. Глав-

пая сила не въ насъ, а въ тѣхъ вопляхъ, которыми мы были преисполнены и совокупность которыхъ составила такъ-называемый духъ времени. Мы лично были непослѣдовательны—это такъ; но духъ времени, въ строеніи котораго, повторяю, участіе наше все таки не подвержено никакому сомнѣнію, не можетъ быть привлеченъ къ отвѣтственности за наше личное безсиліе. Онъ свое дѣло сдѣлалъ; онъ принялъ брошенное нами сѣмя мысли, взлелѣялъ его и навѣрное выведетъ изъ него съ неумолимою послѣдовательностью всѣ дальнѣйшія развитія, которыя оно способно дать.

— Ахъ, Глумовъ, Глумовъ? да какія же развитія-то? Уйти! исчезнуть!—развѣ изъ этого можно что-нибудь извлечь?

— Для насъ съ тобой нельзя; для другихъ, болѣе сильныхъ—можно. Мы, люди воплей, говоримъ: надо исчезнуть! и останавливаемся на этомъ. Другіе, болѣе сильные, скажутъ: нѣтъ, исчезнуть мало, надо искать! И будутъ искать. А все-таки первый толчокъ дали—мы! Неужто же это не должно быть намъ зачтено?

Я не отвѣтилъ на этотъ вопросъ, но, признаюсь откровенно, меня уже брало раздумье. Глумовская теорія оправданія „экскурсій“ начинала серьезно соблазнять меня, и я чувствовалъ, какъ въ мою голову, исподволь, но настойчиво и съ явнымъ намѣреніемъ утвердиться въ ней навсегда, заползала мысль: а что, ежели и въ самомъ дѣлѣ намъ удастся выйти сухими изъ воды?

— Да и не это одно, — продолжалъ между тѣмъ Глумовъ, все больше и больше разгорячаясь: — многое, многое будетъ намъ зачтено... все! Вся наша жизнь была сплошнымъ уклоненіемъ отъ жизни, настойчивымъ отказомъ отъ ея ликованій и торжествъ! Было же, стало быть, что-нибудь, что побуждало насъ не сходить со стези воздержанія... было, было, было!

— Были экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ, — робко напомнилъ я: — можетъ быть, въ нихъ-то и заключается главный стимулъ нашего воздержанія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и та заслуга, которая будетъ намъ зачтена по преимуществу...

Мое напоминаніе объ экскурсіяхъ было, очевидно, какъ нельзя больше кстати, потому что Глумовъ окончательно возсіялъ.

— А ты думалъ — нѣтъ? — ужъ не говорилъ онъ, а гремѣлъ: —ты думалъ, что экскурсіи-то наши—пустопорожнее мѣсто? Нѣтъ, мой другъ, это—сила, большая сила! Отъ нихъ свѣтъ пролился! Я

знаю, что нынче принято относиться къ нимъ съ пренебрежительною снисходительностью, что большинство даже несомнѣнно порядочныхъ людей совсѣмъ позабыло объ нихъ, но знаю также, что къ нимъ еще возвратятся... навѣрное! Потому что въ нихъ—свѣтъ! свѣтъ! свѣтъ!

Въ этихъ словахъ звучалъ такой несомнѣнный порывъ, что онъ сразу охватилъ и меня. Мы оба инстинктивно встали съ мѣстъ и, крѣпко сжимая другъ другу руки и смотря другъ другу въ глаза, воскликнули:

— Свѣтъ! свѣтъ! свѣтъ!

Ежели читатель заподозритъ, что, отдаваясь нашему порыву, мы били на театральный эффектъ, то онъ будетъ положительно неправъ. Передъ кѣмъ было рисоваться намъ? кто могъ быть свидѣтелемъ нашего порыва, кромѣ четырехъ нѣмыхъ стѣнъ?

Но, можетъ быть, читатель пойдетъ дальше въ своей подозрительности и скажетъ, что для рисовки существуютъ и болѣе тонкіе поводы, что человѣкъ нерѣдко устраиваетъ театральные эффекты не только въ виду сторонннхъ зрителей, но и ради самого себя. Что этимъ способомъ онъ достигаетъ нѣкоторыхъ небезполезныхъ для себя результатовъ, какъ напримѣръ: самоуслажденія, самообольщенія и т. п., каковые результаты поощряютъ его помаленьку тянуть да тянуть жизненную канитель до указнаго часа.

Клянусь, ничего подобнаго не было! Мы не рисовались ни передъ людьми, ни передъ самими собой, а отдались порыву безусловно, беззавѣтно, не имѣя въ виду ни самоуслажденій, ни самообольщеній —ничего!

Единственный стимулъ, который еще можно предположить въ этомъ случаѣ, это — жгучая потребность самооправданія. Но вѣдь потребность эта столь же законна, какъ и самобичеваніе. Она до такой степени лежитъ въ природѣ человѣка, что даже въ основѣ какого угодно самобичеванія, ежели его подробнѣе разобрать, навѣрное отыщется замаскированное самооправданіе. Помилуйте! ежели человѣкъ самъ себя бичуетъ, безъ всякихъ внѣшнихъ побужденій, стало быть онъ все-таки сила! Ужели же въ этой самоувѣренности, въ этомъ косвенномъ, но совершенно явномъ признаніи себя силою— не слышится полнѣйшее самооправданіе?

Но, можетъ быть, человѣкъ, бичуя самого себя, не безъ хитрости разсчитываетъ силу удара, и не слишкомъ-то ужъ больно...

Будетъ. Ибо ежели я не оборву разомъ, то навѣрное запутаюсь въ лабиринтѣ самовопрошеній и самовозраженій. И опять меня со всѣхъ сторонъ обступятъ мелодіи... Мелодіи! мелодіи! мелодіи!

Да, я больше не сомнѣваюсь: Глумовъ сказалъ правду. И стыдѣніе, и принципъ безнадежности, и опаска жизни, и экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ—все это несомнѣнно представляетъ очень вѣскія права на зачетъ въ будущемъ. Да, мы прошли въ мірѣ не безплодно, то-есть опять-таки не мы собственно, а духъ времени, въ строеніи котораго мы, однакожъ, безспорно участвовали. Не знаю, установлюсь ли я на этой точкѣ зрѣнія до такой степени прочно, чтобъ и завтра, и послѣ-завтра отстаивать ее, по теперь, въ эту минуту...

Въ эту минуту мои права на зачетъ до такой степени ясны для меня, что я даже позволяю себѣ нѣкоторую прихотливую затѣю.

Дѣло вотъ въ чемъ. Когда жизнь, наконецъ, отвяжется отъ меня, то пускай тотъ „батюшка“, на долю котораго выпадетъ проводить меня въ лучшій міръ, вмѣсто длинной предики, наполненной неудобоваримыми выраженіями, въ родѣ: „благопотребныя намъ блага“, или „благопочтительное даже предъ господиномъ квартальнымъ надзирателемъ благоповеденіе“ и проч., прочтетъ слѣдующее краткое, но для всѣхъ вразумительное напутствіе:

„Братіе! передъ вами лежитъ прахъ человѣка, котораго жизнь была осуществленіемъ не весьма полезнаго, но скромнаго девиза: ни добра, ни зла! Этотъ человѣкъ не самоотвергался лично, но и не ругался надъ самоотверженіемъ, не плевалъ на него, не топталъ его ногами и не устраивалъ изъ него водевиля съ переодѣваніемъ. Клики торжествующаго безстыдства не соблазняли его, а, напротивъ, поселяли въ его сердцѣ страхъ, тоску, стыдъ. Представленіе о стыдѣ составляло руководящее начало очень достаточной части его существованія и въ значительной степени примиряло его съ тревогами совѣсти. Тотъ же стыдъ примирилъ его и съ идеей исчезновенія; онъ помогъ ему видѣть въ этомъ актѣ не тяжкую разлуку съ благами жизни, но освобожденіе отъ узъ срама. Геройство не было въ привычкахъ этого человѣка, а можетъ быть отсутствовало и въ самой природѣ его, но при этомъ нельзя не принять во вниманіе, во-первыхъ, традицій эстетизма и обезпеченности, на лонѣ которыхъ онъ былъ воспитанъ, а во-вторыхъ, и того, что геройство вообще ни для кого не обяза-

тельно. Это послѣднее соображеніе въ особенности вѣско, хотя, по недоумѣнію, довольно рѣдко принимается въ разсчетъ. Какъ бы то ни было, но, кажется, что сказанное въ этихъ немногихъ словахъ даетъ возможность, не обременяя памяти этого человѣка словомъ укоризны, закончить разсчетъ съ пройденнымъ имъ жизненнымъ путемъ, словами: Sit tibi terra levis".

И довольно.

Я кончилъ. Я знаю, что читатель вправѣ ждать отъ меня продолженія, а кромѣ того знаю, что я и самъ могъ бы продолжать до безконечности... И все-таки: я кончилъ.

Читатель, въ недоумѣніи, а можетъ быть и въ негодованіи, спроситъ меня:

— Что жъ это, наконецъ, такое? Самобичеваніе или самооправданіе?

На этотъ вопросъ я могу отвѣтить только указаніемъ на заглавіе настоящей статьи, которое въ двухъ словахъ исчерпываетъ всю сущность ея. Вотъ эти слова:

Дворянскія мелодіи...

V.—Чужой толкъ *).

Я человѣкъ отживающій. Разстояніе, которое мнѣ остается пройти, такъ невелико, что мысль объ итогѣ невольно закрадывается въ голову. И вотъ, по размышленіи, оказывается, что итогъ этотъ можетъ быть формулированъ въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: ни зла, ни добра...

Не скрою, бываютъ минуты, когда такая краткословность моего кондуитнаго списка довольно-таки больно щекочетъ мою совѣсть. Есть

*) Разсказъ этотъ былъ написанъ еще въ 1877 году, но по обстоятельствамъ не могъ быть въ то время напечатанъ. Началомъ его я, однакожъ, воспользовался, то-есть положилъ его въ основаніе другого моего разсказа: „Дворянскія мелодіи". Нынѣ считаю нелишнимъ напечатать предлагаемый разсказъ въ его первоначальномъ видѣ, причемъ извиняюсь передъ читателями, что часть его имъ уже извѣстна.

въ ней что-то обидное, отзывающееся какою-то болѣзненною безформенностью. Положимъ, это еще ничего, что я въ сраженіяхъ не бывалъ, никого не изувѣчилъ и даже пороху не выдумалъ, но какимъ образомъ объяснить, что вообще никакихъ „поступковъ“ за мною не числится? Вялость и хворость — вотъ и все. Именно хворость, потому что недугу, изъ котораго въ видѣ итога выростаетъ сознаніе: „ни зла, ни добра“ — даже названія не подберешь. Острыхъ болей нѣтъ, а постоянно какъ будто разнемогаешься.

Тѣмъ не менѣе, когда, движимый инстинктомъ самооправданія, я начинаю вглядываться пристальнѣе въ то положеніе, которое создали для меня обстоятельства (я совершенно искренно думаю, что личное мое участіе въ этомъ дѣлѣ далеко не существенно), то, въ концѣ концовъ, прихожу къ заключенію, что есть, однакожъ, почва, на которой я довольно приличпо могу примириться съ встревожившеюся совѣстью. Нѣтъ дѣятельнаго, торжествующаго зла — и на томъ спасибо! Конечно, это не Богъ знаетъ какая „почва“, а скорѣе соломинка, но въ качествѣ человѣка отживающаго, человѣка иныхъ пѣсенъ и иныхъ традицій, я хватаюсь за эту соломинку, и возлагаю на нее великія надежды.

Мы переживаемъ время, которое, несомнѣнно, представляетъ самое полное осуществленіе ликующаго хищничества. Безсовѣстность, заручившись союзомъ съ невѣжествомъ и глупостью, выбросила на поверхность цѣлую массу людей, которые до того упростили свои отношенія къ вещамъ и лицамъ, что, не стѣсняясь, возводятъ насиліе на степень единственнаго жизненнаго регулятора. Можетъ быть, я ошибаюсь, но думаю, что такого нагло откровеннаго заявленія „принципій“ давно не бывало. Прежде, даже въ средѣ самыхъ отпѣтыхъ людей, можно было изрѣдка разслышать слова, въ родѣ: „великодушіе, совѣсть, долгъ“; нынѣче эти слова окончательно вычеркнуты изъ лексикона торжествующихъ людей. Прежде люди, сдѣлавши пакость, хотя и пользовались плодами ея, но молились Богу, чтобъ объ ней не узнали; нынѣче — Богу молиться не принято, а краснѣютъ по поводу затѣянной пакости только тогда, когда она не удалась. Можетъ быть, въ этой темной оцѣнкѣ современности (то-есть торжествующей ея части) очень значительную роль играетъ мое личное чувство — чувство отживающаго человѣка, — но во всякомъ случаѣ я дѣлаю ее *искренно*, и затѣмъ предоставляю читателю самому распу-

тывать, сколько изъ приведенной выше характеристики принадлежитъ брюзжанью усталаго старика, и сколько — дѣйствительности.

Но если даже такое обыкновенное слово, какъ „совѣсть“, оказывается слишкомъ тяжеловѣснымъ для современныхъ діалоговъ, то какое же значеніе могутъ имѣть слова болѣе мудреныя, какъ напримѣръ: „любовь, самоотверженіе“ и проч.? Очевидно, что единственная оцѣнка, на которую можно въ этомъ случаѣ разсчитывать — это хохотъ. Что-то отрепанное, жалкое, полупомѣшанное представляется: не то салонница, не то Донъ-Кихотъ, выѣзжающій на битву съ мельницами. И всѣмъ по этому поводу весело; всѣ хохочутъ: и предназначенные бездѣльники, и дураки.

Я принадлежу къ поколѣнію, которое воспитывалось на лонѣ эстетическихъ преданій и матеріальной обезпеченности. Конечно, и мы не всегда оставались вѣрными чисто-эстетическимъ традиціямъ, но по временамъ дѣлали набѣги на область дѣйствительности... нѣтъ, впрочемъ, не туда, а скорѣе въ область „униженныхъ и оскорбленныхъ“. Но, подъ прикрытіемъ обезпеченности, эти набѣги производились словно во снѣ, безъ строгой послѣдовательности, порывами, которые столь же быстро потухали, какъ и зажигались. Много вышло изъ этой школы проходимцевъ и негодяевъ, но довольно и просто безсильныхъ и неумѣлыхъ людей. Проходимцы оказались живучими; неумѣлые — какъ и слѣдовало ожидать — вымираютъ; ибо набѣги въ область униженныхъ и оскорбленныхъ, несмотря на свою платоничность, все-таки не прошли для нихъ даромъ. Къ числу вымирающихъ принадлежу и я.

Я сижу въ своемъ углу и разнемогаюсь. Гордиться тутъ нечѣмъ, но самый фактъ вольнаго умиранія, въ виду легкой достижимости торжества, есть уже признакъ, передъ которымъ должно умолкнуть рѣзкое слово осужденія.

Сверхъ того, я могу назвать три особенности, которыя проходятъ черезъ очень значительную половину моего существованія и которыя, по сущей справедливости, должны быть мнѣ зачтены.

Особенность первая—тоска. Тоскливое чувство—и притомъ не напускное, а совершенно искреннее — съ давнихъ поръ составляетъ господствующій тонъ моей жизни. Современная вакханалія хищничества не пробуждаетъ во мнѣ не только стремленія участвовать въ ней,

но даже любопытства узнать причины этого явленія; она просто утомляетъ меня, поселяетъ чувство уныніе. Ужели это не „заслуга“?

Я не желаю быть ни желѣзнодорожнымъ дѣятелемъ, ни кабачникомъ, ни добровольцемъ, ни адвокатомъ, ни даже присяжнымъ засѣдателемъ... во истину не желаю, не хочу! Какая-то щемящая унылость, сопровождаемая полнымъ отсутствіемъ естественности и искренности, слышится мнѣ и въ базарномъ гвалтѣ, и во всѣхъ бряцаніяхъ, составляющихъ внѣшнюю обстановку современной хищнической свалки. Фальшиво, неинтересно, даже просто глупо. Уйти изъ этой свалки, забиться подальше куда-нибудь въ незнаемую раковину, и тамъ, ничего не видя и не слыша, предаваться грызеніямъ тоски—вотъ единственный искъ, который я предъявляю къ жизни, единственное желаніе, которое мнѣ удалось формулировать съ достаточною ясностью. Никакихъ другихъ исковъ и желаній у меня нѣтъ, потому что если я, съ одной стороны, не хочу торжествовать, то съ другой—не могу и не умѣю самоотвергаться. Не могу! не умѣю!—это не претензіи на оправданіе, а фактъ.

Бремя эстетическихъ традицій и обезпеченности такъ тяжело и плотно легло на мою спину, что я ужъ давно не имѣю силы ее разогнуть. Я сказалъ выше, что въ жизни моей бывали случаи (даже довольно частые), когда я посѣщалъ область „униженныхъ и оскорбленныхъ“—я охотно посѣщаю ее и теперь. Но вѣдь это-то самое и есть тоска. Что-то несомнѣнно вызывающее всѣ симпатіи моей души мелькаетъ передо мной, но что̀ именно — я различить не могу. Что-то требуетъ моей помощи, но въ чемъ должна состоять эта помощь, и какъ она можетъ быть подана—я и отвѣтить на это не умѣю. Однимъ словомъ, я вкладываю персты въ воздушное пространство, а не въ раны. „Не могу!“—„не умѣю!“—мучительно повторяю я себѣ, и только одно сознаю вполнѣ отчетливо: что все мое существо преисполнено безмѣрной тоской.

Я смотрю на факты самоотверженія и боюсь примѣнить къ нимъ какую-нибудь оцѣнку. Мнѣ сдается, что я не понимаю ихъ, и что, во всякомъ случаѣ, если я начну говорить объ нихъ, то буду говорить совсѣмъ не то и совсѣмъ не объ томъ. Никто не прельстится моими изображеніями, воспроизведеніями и описаніями (даже если бы они обнаруживали не водевильное, а дѣйствительное мастерство), но всякій самый снисходительный человѣкъ скажетъ: „вотъ старый без-

стыдникъ, у котораго сѣдой волосъ изо всѣхъ щелей лѣзетъ, а онъ и за всѣмъ тѣмъ не чувствуетъ потребности обуздать себя! вотъ неопрятный болтунище, который до преклонныхъ лѣтъ не можетъ очнуться отъ экскурсій въ область „униженныхъ и оскорбленныхъ“, которыми онъ нѣкогда сдабривалъ свое пребываніе на лонѣ водевильнаго эстетизма и обезпеченности!“

Я боюсь этихъ приговоровъ, не потому, что они могутъ оскорбить мое самолюбіе, а потому, что въ нихъ слышится правда. Другія птицы — другія пѣсни! говорю я себѣ, и такъ какъ я совершенно сознаю себя птицею очень старою, то стараюсь во всемъ, что касается оцѣнки этихъ другихъ пѣсенъ, по возможности обуздывать себя, или, много-много, предаваться по поводу ихъ опрятной тоскѣ. Я соглашаюсь впередъ, что это тоска безплодная и даже не совсѣмъ ясно мотивированная, но содержаніе ея, несмотря на неясность, настолько все-таки доброкачественно, что отказъ въ принятіи его къ зачету былъ бы во истину несправедливъ.

Вторая моя особенность — щекотливость, очень близкая къ стыду. По временамъ мнѣ кажется, что я вращаюсь среди смѣшанной атмосферы бойни и дома терпимости. Очень возможно, что тутъ есть преувеличеніе, въ которомъ главную роль играютъ мои художественные инстинкты; но вѣдь если мнѣ даже доказано будетъ, что я преувеличиваю, отъ этого мнѣ не сдѣлается легче. Сверхъ того, я сознаю себя до того слабосильнымъ, малорослымъ, загнаннымъ, затерянным въ какой-то безъимянной толпѣ, что всякая возможность чѣмъ-нибудь заявить о своей личности, о своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ представляется навсегда для меня утраченною. Быть можетъ, въ этихъ заявленіяхъ и надобности нѣтъ (старраго тряпья! кому нужно... сттарраго трряпья!), а все-таки сдается, что претензія эта не только не преувеличенная, но даже совсѣмъ-совсѣмъ естественная. Тѣмъ не менѣе, отыскать практическій выходъ изъ этого болѣе или менѣе несноснаго положенія я все-таки не въ состояніи (я убѣжденъ, что жизнь, въ конечномъ результатѣ, поставила меня лицомъ къ лицу съ глухой стѣной, и что, стало быть, безполезно даже предпринимать что-нибудь, чтобъ перескочить черезъ нее); но я могу стыдиться его и пользуюсь этою возможностью, то-есть стыжусь искренно, всѣми силами души. И вѣрю, что стыдъ — хорошее, здоровое чувство

—при случаѣ можетъ быть рекомендовано даже въ качествѣ цѣлесообразнаго практическаго средства.

Стыдъ очищаетъ человѣка; безсильному онъ помогаетъ нести бремя безсилія, сильному—внушаетъ мысль о подвигѣ. Нужно, чтобъ возможно бо́льшее количество людей почувствовало стыдъ. Нужно, чтобъ люди стыдились не только пораженій, но и побѣдъ и одолѣній, не только неудачъ, но и удачъ. Чтобъ, въ случаѣ неудачи, они почувствовали на своемъ лицѣ пощечину, а въ случаѣ удачи—двѣ. Только тогда вполнѣ выяснится, что нравственный уровень общества настолько гнилъ, что пощечина сдѣлалась единственно возможнымъ мѣриломъ для оцѣнки поступковъ и дѣйствій. Только тогда получится рѣшимость во что бы ни стало уйти изъ области пощечинъ.

Въ моемъ стыдѣ нѣтъ ничего героическаго—я знаю и это; но думаю, что одинъ видъ стыдящагося человѣка, среди проявленій несомнѣнно безстыжаго торжества, уже можетъ служить небезполезнымъ напоминаніемъ. Самые закоренѣлые проходимцы—и тѣ понимаютъ, что въ стыдящемся человѣкѣ есть нѣчто, выдѣляющее его изъ общей массы торжествующихъ бездѣльниковъ и глупцовъ. Поэтому они прежде всего стремятся подыскаться подъ него, а если солидныхъ прицѣпокъ нѣтъ, то сторонятся и стараются игнорировать. А сколько есть субъектовъ не вполнѣ закоренѣлыхъ, сколько такихъ, которые попали въ лагерь торжествующихъ или по малодушію, или недоразумѣнію! Все это люди колеблющіеся, въ которыхъ видъ стыдящагося человѣка можетъ пробудить не только мерцанія совѣсти, но и опасенія возмездія. Въ нихъ еще нѣтъ настолько наглости, чтобъ совсѣмъ игнорировать представленіе о стыдѣ, и потому они, хотя урывками и втихомолку, но все-таки подходятъ къ стыдящемуся человѣку и жмутъ ему руку. Я убѣжденъ, что какъ ни смутны эти позывы къ стыду, но они и на практикѣ не останутся безслѣдными, что они произведутъ въ торжествующемъ лагерѣ ежели не прямой разладъ, то броженіе, и что, пожалуй, когда-нибудь это броженіе превратится въ цѣлую заразу стыда. Вотъ во имя чего стыдъ долженъ быть зачтенъ даже такому существованію, котораго итогъ формулируется словами: ни зла, ни добра!

Третья моя особенность—это искреннее убѣжденіе, что жить довольно. Хотя моя тоска и мой стыдъ еще могутъ въ извѣстной степени имѣть воспитательное значеніе, но значеніе это, въ смыслѣ

практическихъ послѣдствій, полезно только для другихъ, я же лично ничего изъ нихъ не извлекаю, кромѣ страстнаго желанія исчезнуть, уйти. Съ давнихъ поръ я вижу послѣднюю страницу съ начертаннымъ на ней словомъ: „конецъ“, и, право, никого не намѣреваюсь надуть, говоря, что это самая желательная страница, какую только можно имѣть въ виду. Подумайте, какая масса срама вдругъ перестанетъ существовать! и какая громадная свита безобразныхъ видѣній разсѣется какъ дымъ и не будетъ больше тревожить испуганное воображеніе!

Несомнѣнно, что стремленіе сократиться и исчезнуть всего ближе подходитъ къ девизу: ни зла, ни добра, — и что въ этомъ смыслѣ оно не должно бы даже значиться въ числѣ оправдательныхъ документовъ. Но взятое само по себѣ, независимо отъ практическихъ примѣненій, оно все-таки имѣетъ право быть выдѣленнымъ. Когда есть сознаніе, что „продолженіе впредь“ не представляетъ иныхъ перспективъ, кромѣ перспективы хроническаго безсилія, тогда не можетъ быть желанія болѣе законнаго и естественнаго, а пожалуй даже и болѣе нравственнаго, какъ желаніе исчезнуть. Сколько есть такихъ, которые, будучи подавлены массами срама, все еще карабкаются и хватаются дрожащими руками за колеблющіяся нити срамного существованія — почему же рядомъ съ ними не различить такихъ, въ сердцахъ которыхъ это жадное ловленіе жизненныхъ нитей производитъ только скуку, граничащую съ отвращеніемъ?

Я сидѣлъ въ своемъ углу и разнемогался; Глумовъ, по обыкновенію, большими шагами ходилъ по комнатѣ и былъ угрюмъ. Мы только-что прочитали газеты и вели по этому поводу разговоръ.

— Ну, можно ли такъ!—восклицалъ я: — вѣдь это значитъ, что самаго простого практическаго смысла—и того нѣтъ!

— Нѣтъ, ты обрати вниманіе, до чего понизился уровень нашей печати!—повторилъ мнѣ Глумовъ: — простой совѣсти—и той нѣтъ!

Поговорили, поахали и, наконецъ, обратились къ самимъ себѣ. Мы-то какую роль играемъ въ круговоротѣ современности? Что мы такое? Что мы можемъ, зачѣмъ живемъ? Но это обращеніе еще больше раздражило насъ обоихъ. Начинался одинъ изъ тѣхъ безконечныхъ

разговоровъ, которые ведутся собесѣдниками какъ бы для того, чтобъ мистифировать другъ друга, въ которыхъ чуется множество невымолвленныхъ словъ, недосказанныхъ рѣчей, въ которыхъ предметъ спора не формулируется, а какъ-то подозрѣвается, да и самый споръ ведется такъ, что не оставляетъ никакой надежды на серьезный выводъ. Очевидно, обѣ стороны смотрятъ въ одну и ту же точку (да и смотрѣть-то имъ больше некуда), одну и ту же мысль въ головѣ держатъ, но почему-то имъ понадобилось тянуть праздную канитель, высказывать другъ другу мнимыя возраженія, щеголять другъ передъ другомъ діалектическими тонкостями и проч.

На разговорахъ этихъ мы зубы съѣли. Каждый день мы ихъ начинаемъ и, повидимому, даже кончаемъ; каждый день, по наружности, разнообразимъ ихъ подкладку задачами самой животрепещущей современности и въ то же время внутренно сознаемъ, что новы тутъ только ярлыки, за которыми скрывается давно залежавшаяся, покрытая плесенью ветошь... Понятно, что это не успокоиваетъ, а только раздражаетъ.

— А выводъ все-таки возможенъ одинъ: кружимся мы вотъ въ этихъ четырехъ стѣнахъ, суесловимъ, острословимъ, сквернословимъ —и ничего изъ этого у насъ не выходитъ!—наконецъ сказалъ я въ формѣ заключенія.

По совѣсти, я не могу, впрочемъ, сказать, что̀ выходило изъ моихъ словъ: были ли они дѣйствительнымъ заключеніемъ прежняго разговора, или же, напротивъ, служили началомъ разговора новаго. Но раздавшійся въ передней звонокъ рѣшилъ въ пользу завершенія.

Въ комнату вошелъ Алексѣй Степанычъ Молчалинъ. Я такъ мало былъ приготовленъ къ его визиту, что прежде всего у меня мелькнуло въ головѣ: ужъ не желаетъ ли онъ мнѣ сообщить свое мнѣніе насчетъ высылки Митхада-паши въ мѣста не столь отдаленныя (въ то время это была самая животрепещущая новость дня). Но, взглянувъ на него, тотчасъ же убѣдился, что случилось нѣчто не совсѣмъ обыкновенное.

Онъ былъ очень блѣденъ; лицо осунулось, носъ обострился, углы губъ подергивались, глаза были сухи и воспалены.

— Дайте воды—пить хочу!—вымолвилъ онъ осиплымъ голосомъ, точно слова съ трудомъ выходили изъ пересохшаго горла: — былъ около васъ, и вдругъ почувствовалъ: пить хочу... Не потревожилъ?

Онъ жадно выпилъ стаканъ воды съ виномъ, потомъ налилъ другой, опять выпилъ и съ минуту не могъ отдышаться. Ясно, что его постигла какая-то непріятность, и, судя потому, что день былъ будничный и время близилось къ двумъ часамъ, когда Молчалиныхъ даже нельзя представить себѣ иначе, какъ водворенными въ соотвѣтствующихъ департаментахъ, я сначала подумалъ, что непріятность эта служебнаго свойства: чего добраго, въ отставку велѣли подать... И вдругъ меня словно обожгло. Вспомнилось, какъ однажды Алексѣй Степанычъ объ сынѣ стужался: „а ну, какъ онъ, Павелъ-то Алексѣичъ мой, что-ни-на-есть сболтнетъ?“ Неужто сболтнулъ?

— Помните, мы намеднись съ вами о Павлушѣ бесѣдовали? — какъ бы угадывая мою мысль, спросилъ меня Алексѣй Степанычъ.

Вопросъ этотъ точно обухомъ ударилъ меня по головѣ. Догадливость моя показалась мнѣ до того зловѣщею, что я боялся даже мыслить, чтобъ и еще не напасть на какую-нибудь догадку. Затаивши дыханіе, смотрѣлъ я на этого человѣка, который—такъ недавно еще, мнѣ это казалось—цѣпою неслыханныхъ усилій успѣлъ-таки пріурочить свое трудное существованіе къ чему-то прочному, почти безмятежному.

— Да-съ, такъ вотъ это самое... Именно этотъ случай и разыгрался у насъ... Пошелъ я давеча къ князю — къ начальнику-то своему—а тотъ говоритъ: „сами, сударь, виноваты! правилъ настоящихъ не умѣли внушить!“ —Что-жъ! и прекрасно! Это точно, что я не внушалъ! ну, я, стало быть, и отвѣтъ за это долженъ дать! А то, помилуйте! я — не внушалъ, а Павелъ Алексѣичъ все-таки обязанъ знать... „настоящія правила“! На что похоже!

Онъ высказалъ это безсвязно, едва-ли сознавая значеніе своихъ словъ. И вслѣдъ затѣмъ такъ же машинально потянулся за сигарой, зажегъ ее и началъ муслить во рту.

— Смѣшно, право!—прибавилъ онъ въ заключеніе, какъ будто все „предыдущее“ было для насъ такъ же ясно, какъ и для него:— я не внушалъ, а Павелъ Алексѣичъ— долженъ знать!!

Но, въ сущности, это „предыдущее“ было дѣйствительно ясно. Жизнь пріучила насъ къ цѣлому ряду явленій, которыя мы угадываемъ съ одного намека. Всѣ современныя семейныя драмы (во всѣхъ въ качествѣ дѣйствующаго premier sujet является подростающій

„молодой человѣкъ“) построены до того на одинъ ладъ, что можно заранѣе расположить ихъ сценарій и угадать заключительную катастрофу. Стенографическіе отчеты газетъ знакомятъ насъ съ этими драмами довольно аккуратно, но нельзя сказать, чтобъ вполнѣ обстоятельно. А именно: не всѣ дѣйствующія лица выходятъ въ нихъ на сцену. Мы видимъ только такъ-называемыхъ увлекающихся, но намъ почти никогда не приходитъ на мысль, что у каждаго изъ этихъ увлекающихся существуетъ извѣстная обстановка, данная рожденіемъ, воспитаніемъ, дружбою. Стенографическіе отчеты рѣшительно умалчиваютъ объ этихъ обстановкахъ, а между тѣмъ въ нихъ встрѣчаются дѣйствующія лица отнюдь не менѣе интересныя, какъ и главные сюжеты. Это — отцы и матери увлекающихся, которые мечутся, истекаютъ слезами и кровью и тѣмъ съ бо́льшею болью отзываются на удары судьбы, что послѣдніе падаютъ на организмы, уже обезсиленные прежними жизненными ударами. Поэтому, ежели читатель стенографическихъ отчетовъ хочетъ знать, гдѣ находится настоящій узелъ современныхъ семейныхъ драмъ, то онъ долженъ перенестись мыслью къ этимъ анонимнымъ, безъ рѣчей изнемогающимъ лицамъ. Тогда драма сдѣлается для него вполнѣ понятною, ибо онъ на себѣ самомъ почувствуетъ цѣпенящее дуновеніе того ужаса, который заставляетъ анонимныхъ людей анонимно истекать слезами и кровью.

Мы молчали. Я боялся даже взглянуть на Алексѣя Степаныча: мнѣ казалось, что я встрѣчу въ лицѣ его нѣчто такое, что̀ должно меня уничтожить. До сихъ поръ я видѣлъ въ немъ только несомнѣнно добраго человѣка; теперь — онъ представлялся мнѣ верховнымъ судьею, который силою сосредоточившагося въ немъ трагизма всю мою жизнь можетъ привести къ нулю. Да, я не зналъ, какъ *это* страшно; я не понималъ, что можетъ существовать *такая* боль. Вотъ человѣкъ, котораго жизнь до самой глубокой старости была сцѣпленіемъ всевозможныхъ „обстановочекъ“, который вполнѣ удовлетворялся этимъ, думалъ только о томъ, какъ бы ему поудобнѣе устроить послѣднюю „обстановочку“—„обстановочку“ смертнаго часа—и на котораго вдругъ, изъ-за угла, налетѣла неслыханнѣйшая трагедія и заставила метаться въ пустотѣ, заставила истекать сухими слезами, не сознавать собственныхъ рѣчей, не понимать, зачѣмъ и куда онъ пришелъ...

Да, я увѣренъ, что онъ находился въ состояніи полуспа и со-

знавалъ только одно: что его пристигла внезапная и совсѣмъ нестерпимая боль. Больно вездѣ: мозгъ горитъ, сердце колотится въ груди, спину переломило. Надо куда-то бѣжать, о чемъ-то взывать—и все это въ такія минуты, когда разсудокъ отказывается дѣйствовать, когда колеблющіяся ноги не могутъ выносить тяжести вдругъ осѣвшаго тѣла, когда съ каждымъ шагомъ кажется, что проваливаешься въ бездну. Несомнѣнно, что старикъ уже съ ранняго утра мыкался по городу, но *былъ* ли онъ гдѣ-нибудь и *зачѣмъ* былъ—навѣрно онъ въ эту минуту даже разсказать не могъ. Бываютъ положенія, когда человѣкъ ни о чемъ больше и думать не можетъ, кромѣ того, что ему надо куда-то идти и за что-то себя распинать, когда онъ спѣшитъ, оставляетъ всѣ дѣла, выходитъ на улицу — и не знаетъ, въ какую сторону броситься. Я убѣжденъ, что онъ и ко мнѣ зашелъ машинально. Пить захотѣлось, онъ взглянулъ на домъ, мимо котораго шелъ, показалось что-то знакомое—онъ и позвонилъ. Вотъ и теперь, хотя глаза его были устремлены въ ту сторону, гдѣ стояли мы съ Глумовымъ, но, въ сущности, онъ смотрѣлъ не на насъ, а черезъ насъ, въ тотъ невѣдомый уголъ, откуда слышится ему дорогой голосъ: „мы, папаша, знаемъ, что вы насъ любите, и очень вамъ за это благодарны“. Эти слова когда-то казались ему холодными (онъ, какъ и всѣ старики-отцы, не прочь бы посантиментальничать), но теперь они звучатъ въ его ушахъ какъ высшее выраженіе сыновней любви. Да, именно такъ, просто и безъ излишествъ, долженъ говорить сынъ съ отцомъ, такой сынъ, который ждетъ отъ отца серьезно-любовнаго отношенія, а не бомбошки. Эта сжатость и трезвенность сыновняго обращенія даже ему, старику, дѣлала величайшую честь: она поднимала его до уровня сына. Да, поднимала; отца поднимала... до сына. Теперь это для него совсѣмъ ясно. И вотъ, этотъ самый сынъ, который ему такъ недавно еще говорилъ: „мы, папаша, знаемъ, что вы насъ любите“... ахъ, какъ онъ просто, какъ любовно онъ это говорилъ! Господи! да вѣдь не дальше, какъ вчера, вчера утромъ, онъ, Алексѣй Степанычъ, ходилъ, обнявши его, по залѣ и не надоѣдалъ ему старческой болтовнею, а только осторожно заглядывалъ ему въ лицо... Отчего вчера, а не сегодня?

Подавленный этой мыслью, онъ продолжалъ смотрѣть черезъ насъ въ пространство, въ то небольшое, но лучезарное пространство, въ которомъ сосредоточивалось искупленіе, обрѣтенное цѣною крестнаго пути.

— Голубчикъ! да вы узнавали ли?—первый прервалъ молчаніе Глумовъ.

Алексѣй Степанычъ слегка вздрогнулъ; вопросъ этотъ снова возвратилъ его къ чувству дѣйствительности.

— Былъ,—отвѣчалъ онъ:—и у своего князя, и у другихъ... Всѣ говорятъ: „самъ, старикъ, виноватъ! возжи покороче держать было надо!“ Помилуйте! диви бы что̀ умное сказали, а то... возжи! Ишь вѣдь... возжи!

— Обнадеживаютъ ли, по крайней мѣрѣ?

— Обнадеживаютъ... да. Только вѣдь я Ѳома невѣрующій! мнѣ вѣдь *сейчасъ* его надобно... вотъ теперь, сію минуту! А этого, говорятъ, нельзя! Ну и я самъ знаю, что нельзя!

— Отчего же?

— Нельзя, сударь... служба, долгъ!

— Да разскажите подробнѣе: какъ васъ приняли, что̀ сказали?

— „Нельзя!“ — я, признаться, только это и слышалъ. А въ прочихъ частяхъ, разумѣется... за что̀ же меня дурно принимать! Старикъ... съ ума сходитъ... любитъ... Одинъ генералъ даже руки жалъ... слезы на глазахъ... „Успокойтесь!“ говоритъ.

При этомъ воспоминаніи Алексѣй Степанычъ нервно повернулся въ креслѣ и усиленно началъ муслить потухшую сигару.

— Что̀-жъ, я вѣдь и не безпокоюсь!—продолжалъ онъ: — я на стѣну не лѣзу, на приступъ не иду, не грублю, а прошу!.. Сердце у меня въ клочки изорвали—вотъ я что̀ говорю! Служба, долгъ—все это я знаю! Чего еще спокойнѣе!

— Да не можемъ ли мы что-нибудь... ну, сходить куда-нибудь, разузнать?—началъ-было я.

— Нѣтъ, другъ мой, что̀ ужъ! Вотъ воды напиться дали—за это спасибо!—поблагодарилъ Алексѣй Степанычъ и вдругъ какъ-то пристально взглянулъ на насъ, покачалъ головой и прибавилъ: — Ахъ, господа, господа!

Меня даже въ жаръ бросило отъ этого восклицанія. Господи! да вѣдь онъ понялъ! думалось мнѣ. Онъ понялъ, что ему съ нами дѣлать нечего; можетъ быть, онъ даже угадалъ разговоръ, который мы вели до его прихода. Бываютъ такія минуты прозорливости, когда видимое человѣкомъ пространство вдругъ освѣщается какимъ-то совсѣмъ особеннымъ свѣтомъ, и передъ умственнымъ его взоромъ

совершается что-то въ родѣ откровенія. Вотъ одну изъ такихъ минутъ переживалъ и Молчалинъ. Онъ какъ бы очнулся и мысленно спрашивалъ себя, какимъ образомъ, при такихъ несомнѣнно трудныхъ для него обстоятельствахъ, онъ очутился здѣсь, въ кругу „пріятныхъ знакомыхъ“?

И дѣйствительно, онъ посидѣлъ еще минутъ съ пять, но уже не говорилъ, а только возился съ сигарой, безуспѣшно пытаясь зажечь ее. Наконецъ онъ грузно поднялся съ кресла и простился съ нами.

— Пора! дѣло дѣлать пужно! – сказалъ онъ, направляясь колеблющимся шагомъ къ выходу.

Мы опять остались глазъ-на-глазъ съ Глумовымъ. Нѣкоторое время мы безмолвствовали, какъ бы стараясь вникнуть въ смыслъ сопнаго видѣнія, которое мелькнуло передъ нашими глазами.

Увы! смыслъ этотъ былъ такъ ясенъ, что его нельзя было затемнить даже самыми ухищренными комментаріями. Видѣніе стояло передъ нами несомнѣннымъ укоромъ и практически подтверждало то самое, о чемъ мы, при каждой встрѣчѣ, вели безконечную хворую канитель. Даже теперь, когда на-лицо стоялъ живой фактъ, я замѣтилъ, что меня интересуютъ не столько Молчалины, отецъ и сынъ, сколько мое личное отношеніе къ обрушившемуся на нихъ злоключенію. „Не могу! не умѣю!“, затянулъ было я, но тутъ же съ какимъ-то омерзѣніемъ подумалъ: „Господи! да вѣдь это опять все та же канитель!“ Противно сдѣлалось; зарыться куда-нибудь хотѣлось, забыть. Но для этого нужно было, чтобъ Глумовъ ушелъ, а онъ не уходилъ. Канитель преслѣдовала до конца.

— Пить попросилъ!—началъ я, почему-то особенно пораженный этой подробностью.

— Да, попросилъ.

— И замѣть: когда я предложилъ ему свои услуги, онъ даже и не задумался. Какія, молъ, услуги вы, пріятные знакомые, оказать можете! вотъ напиться дали — за это спасибо! Старикъ! Молчалинъ!—и тотъ!

— Да, и тотъ!

— И тотъ ничего отъ насъ не чаетъ... ха-ха!

— Видно, что такъ.

— И тотъ говоритъ: вотъ покалякать съ вами—я съ удовольствіемъ; а что касается до дѣла, до такого, въ которомъ, такъ ска-

зать, кровь говоритъ—это ужъ слуга покорный! Лучше, дескать, я къ квартальному обращусь: можетъ быть, вмѣстѣ какую-нибудь „обстановочку“ выдумаемъ!

— То-то, что не сильны мы насчетъ „обстановочекъ“-то! Это вѣрно!

— Да и не насчетъ однѣхъ „обстановочекъ“, а вообще... Ничего мы не можемъ. Старикъ — и тотъ это понялъ. А представь себѣ, если бы намъ пришлось, напримѣръ, предложить свои услуги самому Павлу Алексѣичу...

— Ну, тому врядъ-ли бы даже предложить пришлось, потому что вѣдь онъ, поди, и въ мысляхъ не держитъ, что мы существуемъ на свѣтѣ.

— Положимъ, однакожъ. Допустимъ, что намъ какъ-нибудь удалось бы напомнить ему о своемъ существованіи, вѣдь онъ... что бы онъ намъ сказалъ?! Ахъ, какое это, однакожъ, нестерпимое, оскорбительное положеніе!

Глумовъ не возражалъ. Обыкновенно мы наши діалоги вели въ такомъ порядкѣ: онъ говорилъ, я подавалъ реплику, и наоборотъ. Но на этотъ разъ передъ нами стоялъ фактъ, который до нѣкоторой степени обуздывалъ. Глумовъ даже прекратилъ свое обычное хожденіе по комнатѣ, усѣлся на диванъ и какъ-то уныло смотрѣлъ на меня.

— Хворы, братъ, мы—вотъ что,—сказалъ онъ.

— Да и не теперь только хворы, а всегда были! Помянуть нечѣмъ прошлаго! Эти экскурсіи въ область „униженныхъ и оскорбленныхъ“—ахъ, я забыть объ нихъ не могу!

— А это еще лучшее, что было!

— Но вѣдь это развратъ! это сонное любострастіе! вотъ вѣдь это что! На дѣлѣ-то я себѣ въ пищѣ отказывалъ, лишь бы въ такихъ же клѣтчатыхъ штанахъ щегольнуть, какіе нашъ общій товарищъ, Сеня Бирюковъ, носилъ! Я сгаралъ завистью къ тѣмъ, которые къ графинѣ де-Мильфлёръ на балы ѣздили! Я, отъ роду ея не видѣвши, анекдоты изъ жизни Мильфлёрши разсказывалъ!

— И въ то же время занимался экскурсіями въ область униженныхъ и оскорбленныхъ... было, братъ, это, было!

— Развѣ это не сонное любострастіе? Ахъ, что это за молодость была! Вѣдь ни одного шага, ни одного поступка искренняго не было, ничего, кромѣ лганья! И не лжи, а именно лганья, безобразнаго,

нескладнаго, которое всякій насквозь видѣлъ! И странное дѣло, всѣ знали, всѣ понимали, что мы лжемъ, и никто не далъ себѣ труда уличить насъ, никто не сказалъ намъ: „молодые лгуны! подумайте, какую вы готовите себѣ старость!“

— Тогда, любезный другъ, всѣ лгали, а объ молодыхъ людяхъ такъ даже прямо такое мнѣніе было, что имъ лгать приличествуетъ!

— И вотъ теперь мы старики—и никому до насъ дѣла нѣтъ! Молчалинъ—пойми, Христа ради! тотъ самый Молчалинъ, который къ Софьѣ Павловнѣ по ночамъ на флейтѣ играть ходилъ!—и тотъ говоритъ: „ничего я отъ васъ не жду, а вотъ воды напиться дадите —скажу спасибо!“

Это было такъ горько, такъ горько, что я совсѣмъ незамѣтно увлекся, и уже совершенно непослѣдовательно заключилъ свою діатрибу восклицаніемъ:

— За что?!

— А вотъ за то самое, въ чемъ ты сейчасъ себя уличалъ! Чудакъ, братецъ, ты! Цѣлый часъ самъ себѣ нотацію читаешь, и вдругъ —за что?!

— Да, но вѣдь все-таки... Не все же во мнѣ умерло! вѣдь хоть и поздно, а я очнулся! Весь этотъ угаръ, всѣ эти странныя понятія о свойствахъ, составляющихъ украшеніе благороднаго молодого человѣка—все это давнымъ-давно похерено и сдано въ архивъ! Вѣдь я теперь...

Но на этомъ словѣ я осѣкся и покраснѣлъ.

— Что же ты „теперь“?—спросилъ меня Глумовъ угрюмо.

— Зла я не дѣлаю! зла!

— Христосъ съ тобой! на что дѣлать зло!

— Да, но вѣдь и это... Что же, наконецъ, остается намъ? при чемъ мы состоимъ? что намъ дѣлать?

— Жить—вотъ и все. Если жизнь привязалась и не отпускаетъ тебя—ну, и живи. Удивляй міръ отсутствіемъ поступковъ и опрятностью чувствъ. Тоскуй, стыдись, тяготись жизнью, но живи въ четырехъ стѣнахъ и въ чужія существованія не впутывайся. Наблюдай эти существованія, но буде чего не понимаешь въ нихъ, то не огрызайся и не глумись, а говори прямо: я этого не понимаю! Живи!

На этомъ словѣ мы разстались.

Къ сожалѣнію, я не послѣдовалъ совѣту Глумова и впутался. Въ ближайшій же праздничный день, послѣ посѣщенія Алексѣя Степаныча, я отправился на Пески, и часовъ около двѣнадцати утра не безъ тревоги звонилъ у подъѣзда знакомаго одноэтажнаго деревяннаго домика. Но по беззаботному виду, съ которымъ прислуга отворила мнѣ дверь, я догадался, что *все* семейство Молчалиныхъ налицо, и что, слѣдовательно, тревога моя напрасна.

— Вотъ и чудесно!—встрѣтилъ меня Алексѣй Степанычъ. — Спасибо, мой другъ, спасибо! Вѣдь и вы... да, голубчикъ, помню я, очень помню, какое вы намедни участіе приняли! И готовность вашу, и заботливость... много, очень много вы меня облегчили! А вода у васъ какая, лакомство, а не вода! У насъ вотъ на Пескахъ все какъ-то Лиговкой припахиваетъ, а въ вашихъ краяхъ прекрасная... прекраснѣйшая вода!

Алексѣй Степанычъ обнялъ меня и поцѣловалъ въ обѣ щеки.

— Стало быть, все благополучно?

— Какъ вы тогда сказали, что безпокоиться преждевременно, такъ и оказалось! Слава Богу! слава Богу! слава Богу!

Дѣйствительно, вся фигура Алексѣя Степаныча дышала такимъ спокойствіемъ, что отъ тревоги „того дня“ не осталось и слѣда. Лицо пополнѣло и посвѣтлѣло; грудь и животъ приняли обычную, слегка дугообразную форму, станъ выпрямился, голова нѣсколько откинулась назадъ, какъ у человѣка, который вполнѣ понимаетъ, что сегодня праздникъ, въ продолженіе котораго онъ самъ себѣ господинъ.

— Пустяки!—прибавилъ онъ съ такимъ жестомъ, въ которомъ я усмотрѣлъ даже нѣкоторое посягательство на молодечество.

— Ну, и отлично. Во всякомъ случаѣ я очень радъ, что все объяснилось.

— Разумѣется, пустяки!—повторилъ онъ:—Гимназистку шестого класса взбунтовалъ—важность какая, сдѣлайте милость!

— Очень радъ. Такъ, стало быть, мѣшать мнѣ вамъ нечего: по случаю счастливаго исхода дѣла, вамъ и безъ посторонннихъ теперь хорошо. Прощайте.

— Ни-ни, и не думайте. Посидимъ въ кабинетѣ, покуримъ, побесѣдуемъ. Что-жъ такое! Мы рады—отчего же и вамъ съ нами не порадоваться!

Однимъ словомъ, какъ я ни отпрашивался, старикъ настоялъ, чтобъ я остался, и увелъ меня въ кабинетъ...

— Мои-то еще отъ обѣдни не пришли,—прибавилъ онъ дорогой:—а Павелъ-то Алексѣичъ къ товарищу съ утра забрался: вмѣстѣ „Правительственный Вѣстникъ“ будутъ критиковать! Не нравятся мнѣ эти критики, охъ, какъ не нравятся! а съ другой стороны — жалко и на привязи молодого человѣка держать! Думалъ-было сказать: не ходи!—да совѣстно! Недотрога вѣдь онъ у меня—недолго и разбередить! Нынѣче же гаду промежду публики много развелось; вмѣсто того чтобъ миркомъ да ладкомъ—только и слышишь: „мальчишка! негодяй!“ Вотъ онъ, Павелъ-то Алексѣичъ, и настораживаетъ уши!

— Конфузится?

— Да какъ сказать? Въ первые два-три дня, какъ явился къ намъ — точно, что былъ будто не въ себѣ... Гимназистку взбунтовалъ—ишь вѣдь какой грѣхъ случился! Ну, а теперь, кажется, обошелся. Милости просимъ!

Мы вошли въ кабинетъ, усѣлись, закурили папиросы и начали бесѣдовать.

— Довольно-таки было мнѣ бѣготни, — началъ Алексѣй Степанычъ: — въ одномъ мѣстѣ пять минутъ, въ другомъ — десять минутъ, да на лѣстницу, да съ лѣстницы—смотришь, анъ къ вечеру и порядочно ноги отбилъ.

— Хорошо, по крайней мѣрѣ, что успѣли.

— Да, мой другъ, очень это хорошо. Я, впрочемъ, не ропщу. Роптать свойственно сильнымъ міра сего. Вотъ кто на высотѣ стоитъ, и вдругъ его оттуда шарахнутъ! или чиномъ обойдутъ, или онъ Владиміра вторыя къ празднику мечталъ получить, а его короной на Анны отпотчивали. Тутъ по-неволѣ возропщешь. А мнѣ - что! самолюбіевъ да честолюбіевъ у меня и въ заводѣ никогда не бывало. Сижу да корплю. Сытъ, обутъ, одѣтъ, начальство не притѣсняетъ, жалованье въ срокъ выдаютъ, семью Богъ хранитъ — чего еще надо! Скажу тебѣ откровенно, что я и на праздничное нынѣче не особенно разсчитываю. Прежде это точно-что, по молодости, фантазіи играли: все, бывало, думаешь, какую бы обновку на праздникъ соорудить; а нынѣче — умудрился! Дадутъ — хорошо; не дадутъ — и на томъ спасибо!

— Философъ вы, Алексѣй Степанычъ!

— Нѣтъ, не философъ, а пожилъ — вотъ и вся философія. Я даже въ то время, какъ бѣда-то эта надо мной стряслась—большая бѣда, мой другъ! — и то не ропталъ, а только какъ бы потерялся. Не понимаю, что случилось; чувствую, что вездѣ больно, суюсь во всѣ стороны... А теперь, какъ все благополучно кончилось, не только не ропщу, а даже, какъ бы сказать, взглядъ получилъ.

— Вотъ какъ — и „взглядъ“! Такъ что, пожалуй, съ точки зрѣнія этого „взгляда“, Павелъ-то Алексѣичъ...

— Сохрани Богъ! Я не объ Павлѣ Алексѣевичѣ... объ немъ я даже говорить не могу: права не имѣю! А вообще судя... Вѣдь и сквозь пальцы тоже смотрѣть...

— Алексѣй Степанычъ! батюшка! да не вы ли же сію минуту на нынѣшнюю публику жаловались, что взглядъ у нея легкомысленный.

— Да, но вѣдь я свой „взглядъ“ про себя и хороню: имѣть имѣю, а зря—по большимъ дорогамъ не выбалтываю. Легко сказать: негодяи! — да каково будетъ послѣ, какъ подлость-то эту съ языка своего смывать придется! Сегодня ты на всѣхъ перекресткахъ кричишь: негодяй! — а завтра окажется, что у тебя собственный сынъ завязъ! Примѣры-то эти бывали. Ахъ, какъ осторожно нынѣче нужно эпитеты-то эти раздавать? И не думаешь, не гадаешь, какъ въ свою собственную кровь попадешь!

— Воля ваша, а того, что вы сейчасъ высказали, совершенно достаточно съ точки зрѣнія „взгляда“. Какихъ же еще особенныхъ „взглядовъ“ нужно?

— Нѣтъ, это „поведеніе“, а „взглядъ“ — это опять другое. Нельзя и безъ „взгляда“, мой другъ. Вотъ и объ турецкихъ дѣлахъ въ газетахъ читаешь — и тутъ „взглядъ“ себѣ составляешь... Что, молъ, Бисмаркъ скажетъ? какую-то Дизраэли новую ловушку сочинитъ? Все хочется заранѣе разсчитать и угадать.

— А Бисмаркъ возьметъ да совсѣмъ другое скажетъ!

— Что-жъ! онъ скажетъ, а мы съ тобой послушаемъ. Вѣдь это и всегда такъ бываетъ: мы, публика, взгляды составляемъ, а начальство возьметъ да взгляды наши поправитъ! Такъ-то, мой другъ!

Алексѣй Степанычъ снисходительно потрепалъ меня по колѣнкѣ и прибавилъ:

— Начальство-то наверху стоитъ—оттого ему и видно! Оно не

только взгляды имѣетъ, но и примѣняетъ ихъ, а мы—соображаться должны. Вотъ я, не дальше какъ вчера, съ княземъ Тугоуховскимъ, съ начальникомъ моимъ, разговоръ объ нынѣшнихъ этихъ дѣлахъ имѣлъ — и что-жъ, сударь! Можетъ, и не совсѣмъ это для меня пріятно, а все-таки долженъ сознаться, что во многомъ я, послѣ этого разговора, свой „взглядъ“ измѣнилъ!

— А не будетъ это нескромностью, ежели бы я васъ попросилъ объяснить мнѣ, въ чемъ взглядъ князя Тугоуховскаго состоитъ?

— Отчего не объяснить—съ удовольствіемъ! Сначала объ дѣлахъ, разумѣется, говорили, а потомъ и другое многое къ слову молвилось. Объ Павлѣ Алексѣичѣ рѣчь зашла: „радъ, говоритъ, душевно, что благополучно кончилось, хотя съ другой стороны“... Ну, я молчу, кланяюсь, думаю: что-то будетъ? И вдругъ взялъ онъ меня за обѣ руки и говоритъ: „ахъ, Алексѣй Степанычъ! Алексѣй Степанычъ! ты думаешь, намъ легко?“

Алексѣй Степанычъ остановился на мгновеніе, взглянулъ на меня и продолжалъ:

— Да, мой другъ, и имъ не легко!

— А мнѣ такъ кажется, что вашъ князь напрасно отягощается. Совсѣмъ ужъ онъ не такая важная птица, чтобъ на себя тяготы-то эти принимать.

— Важная не важная, а все-таки птица. Въ нашей служебной іерархіи и малая птица значеніе имѣетъ, потому что она на себѣ образъ и подобіе большихъ птицъ отражаетъ. А къ тому же, если Тугоуховскій и небольшая птица, такъ вѣдь я-то передъ нимъ—ужъ совсѣмъ воробей.

— Такъ неужто-жъ въ одномъ этомъ и весь „взглядъ“ вашего князя состоитъ?

— Нѣтъ, многое и другое было говорено. „Вотъ, говоритъ, который ужъ годъ неурожай вездѣ, заработковъ нѣтъ, торговля въ умаленіи, земледѣліе пало—надо же мѣры принимать!“

— Трудно жить — это правда; но вѣдь еще недостаточно сказать: „трудно“,—надобно хоть причину трудности выяснить.

— Куски на-перечетъ стали—вотъ и причина. Прежде, когда во всемъ обиліе было—и духъ легче былъ, и расположенность чувствовалась; а нынѣче какъ на зубъ-то нечего положить стало — ну и смотритъ на тебя всякій, словно за горло ухватить хочетъ!

— Прекрасно. Значитъ, такъ и надобно устроить, чтобъ всего было вдоволь. Тогда и опять легкій духъ и расположенность явится. Какъ вотъ насчетъ этого вашъ князь разсуждаетъ?

— А какъ же ты это разсудишь, голубчикъ? Сокрушается наравнѣ съ прочими—ну и довольно!

— И часто онъ такимъ образомъ сокрушается?

— Прежде рѣже было, а съ тѣхъ поръ, какъ пошли эти воровства да банкротства... Представь себѣ! Вѣдь и его Иванъ-то Иванычъ ожегъ! Сегодня ему банкротомъ себя объявить, а вчера нашъ князь къ нему въ контору три тысячи на текущій счетъ снесъ!

Я хотѣлъ-было еще что-то спросить, но разговоръ выходилъ какъ-то ужъ черезъ-чуръ запутанъ и сложенъ. Тутъ и неурожаи, и отсутствіе заработковъ, и банкротства... Помилуйте! да вѣдь это цѣлый курсъ политическихъ, экономическихъ и общественныхъ наукъ! И вдругъ—„взглядъ“!

А между тѣмъ эти разговоры ведутся во множествѣ, да едва-ли не одни они и ведутся. По крайней мѣрѣ на меня пахнуло чѣмъ-то до того знакомымъ, что воображеніе мое даже цѣлую картину нарисовало. Почудилось, что я самъ удостоенъ отъ князя Тугоуховскаго аудіенціей, и онъ, въ краткихъ словахъ, изливаетъ передо мной свою душу. „Поймите меня!—говоритъ онъ:—съ одной стороны, мѣры—необходимы; съ другой стороны — принимать ихъ не легко!“ Сказавши это, онъ на минуту впадаетъ въ меланхолію и прибавляетъ: „да, mon cher, не легка наша задача, хотя съ Божіею помощью и не непреодолима. Во всякомъ случаѣ, я очень радъ, вы имѣли случай узнать мой „взглядъ“. Этого, я надѣюсь, совершенно достаточно, чтобъ обезпечить мнѣ ваше содѣйствіе въ будущемъ!“ Затѣмъ онъ весьма любезно дѣлаетъ знакъ ручкой, извѣщающій меня, что аудіенція кончилась...

Я могъ бы продолжать эту картину и далѣе. Могъ бы разсказать, какъ я былъ очарованъ словами князя, какъ я ѣлъ его глазами, ловилъ каждое движеніе губъ и безпокойно двигался въ креслѣ, въ знакъ пониманія, какъ я даже „понималъ“, какъ я шевелилъ губами, словно бы желая сказать: „ваше сіятельство! да я... да неужели?! да вы только свиснуть извольте!!“ какъ я потомъ вышелъ изъ квартиры князя на свѣжій воздухъ, началъ припоминать, припоминать... и вдругъ остолбенѣлъ! „Что онъ такое сказалъ? что та-

кое онъ хотѣлъ выразить?“ — мучительно завертѣлось у меня въ головѣ...

Но я не успѣлъ еще надлежащимъ образомъ развить эту картину, какъ въ передней раздался звонокъ.

— А вотъ и самъ Павелъ Алексѣичъ, кажется, явился! — молвилъ Алексѣй Степанычъ и, послѣ минутнаго размышленія, прибавилъ: — А что бы вамъ, съ своей стороны, молодого человѣка слегка пожурить? право!

— Помилуйте, Алексѣй Степанычъ! вы, отецъ, — и то не журите! съ какой же стати я-то въ это дѣло мѣшаться буду!

— Нѣтъ, и я, признаться, журилъ, да какъ-то имъ скучно стариковъ-то слушать... Скажу вамъ откровенно, не только самъ я журилъ, да и знакомаго священника, отца Николая, приглашалъ. Да тотъ какъ-то ужъ странно... „звѣзда отъ звѣзды“, да „ему же честь-честь“... Для меня-то оно вразумительно, ну, а Павелъ Алексѣичъ только стоитъ да обмахивается, словно мухи около него летаютъ.

— Вотъ видите-ли! Ну, и со мной то же самое будетъ: точно также обмахиваться начнетъ.

Сказалъ я это очень твердо и, повидимому, совершенно искренно въ эту минуту былъ убѣжденъ, что въ сущности Павлу Алексѣичу ничего другого и не предстоитъ, какъ только обмахиваться подъ гудѣніе моей журьбы. Но не могу не сознаться, что внутри у меня уже что-то щекотало. — А что, въ самомъ дѣлѣ, ежели бы пожурить молодого человѣка? — шепталъ искушающій голосъ: — не строго, не въ духѣ пророка Иліи, а въ минорномъ тонѣ: хорошій, молъ, вы молодой человѣкъ, а поступка вашего, относительно взбунтованія гимназистки, одобрить, извините, не могу! Да-съ, не могу-съ. Не такъ-съ! не этакъ-съ! Стремитесь-съ! шествуйте впередъ-съ!.. Но не такъ-съ!..

И я опять слегка началъ рисовать картину: вотъ та́къ я стою, а та́къ — онъ стоитъ. Языкъ у меня безъ костей, слова — такъ и льются: не такъ, сударь, не такъ-съ! и правая рука поднята вверхъ, и указательный палецъ въ воздухѣ торчмя торчитъ: не такъ-съ! Гм... да вѣдь и это, пожалуй, своего рода, взглядъ!..

Въ эту минуту Павелъ Алексѣичъ вошелъ въ кабинетъ. Онъ значительно возмужалъ съ тѣхъ поръ, какъ я его въ первый разъ видѣлъ, но въ манерахъ его замѣчалась прежняя юношеская за-

стѣнчивость и какъ бы угловатость. Онъ поздоровался съ отцомъ, протянулъ мнѣ руку и хотѣлъ-было немедленно удалиться, однако Алексѣй Степанычъ остановилъ.

— Небось на совѣщаніи былъ?—спросилъ онъ его.

— Ходилъ къ одному товарищу.

— „Правительственный Вѣстникъ“ вдвоемъ критиковали? Господина Черняева съ Гарибальди сравнивали?

— Нѣтъ, этого мы не дѣлали.

Молодой человѣкъ вновь сдѣлалъ движеніе, чтобъ удалиться.

— Что же вы дѣлали? сядь, посиди съ нами! довольно за утро съ молодыми наговорился—можно и со старшими посидѣть.

Павелъ Алексѣичъ, не говоря ни слова, сѣлъ нѣсколько поодаль и закурилъ папироску.

— А мы сейчасъ тоже объ современномъ этомъ направленіи говорили. Я — порицаю, а вотъ онъ (Алексѣй Степанычъ назвалъ меня по имени и по отчеству): извинить, говоритъ, надо!

Павелъ Алексѣичъ продолжалъ молчать, но я замѣтилъ, что онъ дѣйствительно сдѣлалъ такое движеніе рукой, словно обмахнулся.

— Позвольте, Алексѣй Степанычъ,—вступился я: — я не совсѣмъ такъ говорилъ. Я говорилъ, что молодые люди увлекаются, что увлеченіе свойственно этому возрасту!—вотъ что я говорилъ! А извинять или не извинять — это совсѣмъ другой вопросъ! Я разсматривалъ, я взвѣшивалъ... пожалуй, даже констатировалъ, но не считалъ себя вправѣ ни осуждать, ни, тѣмъ менѣе, извинять. Помилуйте! Это не мое дѣло!

Странная вещь! въ сущности, какъ читатель самъ можетъ убѣдиться изъ предыдущаго, я ничего подобнаго не говорилъ, но въ эту минуту мнѣ до того ясно представилось, что я именно говорилъ то самое, что даже угрызеній совѣсти не чувствовалось. А внутри такъ и подмывало: пожури да пожури!

— А по моему, такъ это именно и значитъ „извинять“... „Увлекаются“ —что жъ это, какъ не извиненіе?—разсудилъ Алексѣй Степанычъ.

— Нѣтъ, это не то-съ! Я не извиняю и не осуждаю, а просто говорю... Но и тутъ опять: я не только не считаю своего мнѣнія обязательнымъ, но даже высказать его рѣшусь лишь въ такомъ слу-

чаѣ, когда буду имѣть увѣренность, что оно можетъ кого-нибудь интересовать!

Я взглянулъ на Павла Алексѣича, въ чаяніи, не поощритъ ли онъ меня къ дальнѣйшимъ развитіямъ, но, увы! онъ опять обмахнулся—и только. За то Алексѣй Степанычъ поощрилъ меня.

— Отчего же не высказаться? — сказалъ онъ: — ваше мнѣніе для всякаго, сударь, интересно!

Но я рѣшился не вдругъ. Съ одной стороны, внутренній голосъ подсказывалъ: пожури! съ другой — думалось: а ну, какъ изъ этой журьбы что-нибудь въ родѣ: „ина слава лунѣ, ина слава звѣздамъ“ выйдетъ?

— Не такъ!—сорвалось у меня наконецъ: — совсѣмъ не *это* намъ нужно!

Сказалъ я это, по обычное хворое двоегласіе и тутъ не оставило меня. Кому „намъ“? о комъ ты разглагольствуешь?.. Можетъ быть, на этомъ и прервалась бы моя „журьба“, если бы Алексѣй Степанычъ не подстрекнулъ меня.

— Вотъ, вотъ, вотъ! Это же самое и я ему говорю! — вмѣшался онъ.—Никогда, говорю, не бывало, чтобъ яйца курицу учили! и за границей этого нѣтъ, а у насъ — и подавно! Слѣдовательно, коли ежели старшіе говорятъ: погоди! — значитъ, такъ ты и долженъ сообразоваться! Язычокъ-то на привязи держать, да уважать старшихъ, да расположенность ихъ стараться сыскать... такъ ли я говорю?

— Нѣтъ, я не объ томъ! Я вообще говорю: не такъ! Не то намъ нужно! Должно быть, двукратное повтореніе одной и той же формулы повліяло на Павла Алексѣича раздражительно, потому что онъ не выдержалъ.

— Позвольте! что же собственно нужно вамъ? — спросилъ онъ довольно, впрочемъ, спокойно.

— Выше лба уши не ростутъ—вотъ что памятовать нужно!— формулировалъ наконецъ я:—и сообразно съ симъ поступать!

— Но вѣдь это то же самое, что „яйца курицу не учатъ“!

— Нѣтъ-съ, не то! то-есть, коли хотите, оно и то, да не то! Въ предположеніи Алексѣя Степаныча яйца должны навсегда остаться яйцами. Я же говорю: вотъ яйца, изъ которыхъ современемъ нѣчто должно вылупиться! Но прежде—и вотъ гдѣ разница между

мною и вами, молодой человѣкъ!—прежде, говорю я... вылупитесь, господа!

Я сказалъ это горячо и съ убѣжденіемъ; даже старческая слеза выступила. Господи! да вѣдь тутъ ужъ цѣлый планъ! Сперва вылупитесь, потомъ подростите, потомъ осмотритесь, а тамъ что Богъ дастъ!

— Да-съ, это не то!—продолжалъ я.—Я самъ былъ молодъ, самъ увлекался... Знаю! Молодость великодушна, но — извините меня—неразсудительна! Она не хочетъ понимать, что всякое общество есть союзъ, заключенный во имя совершившихся фактовъ и упроченныхъ интересовъ. Что безнаказанно колебать подобные союзы нельзя. Что ежели, наконецъ, и не невозможно къ нимъ прикасаться, то прикосновеніе это можетъ быть допущено лишь съ величайшею осторожностью и крайнимъ благоразуміемъ!

— Съ подходцемъ, мой другъ, съ подходцемъ!—подтвердилъ и Алексѣй Степанычъ.

Я былъ въ ударѣ и хотѣлъ сказать многое. Даже цѣлую картину сбирался нарисовать, какъ *оно* катится и словно снѣжный комъ наростаетъ... Само катится, милостивые государи, и само наростаетъ... Само! Но послѣднее замѣчаніе старика Молчалина какъ-то разомъ подкосило меня. Увы! Алексѣй Степанычъ былъ неумолимъ! Онъ не только подавалъ руку помощи, но еще комментировалъ, выводилъ на свѣжую воду. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не одно и то же мы говорили? Сначала онъ сказалъ: вотъ онъ *извиняетъ*, а я возразилъ: нѣтъ, я не извиняю, а только думаю, что молодости свойственно увлекаться. Потомъ онъ свелъ разговоръ на тему: курицу яйца не учатъ, а я возразилъ: нѣтъ, и это не такъ, а вотъ какъ: уши выше лба не ростутъ! Наконецъ я сказалъ: къ совершившимся фактамъ слѣдуетъ прикасаться съ осторожностью, а онъ прибавилъ: съ подходцемъ!.. Неужто же мы единомышленники? Неужто я—онъ, а онъ—я?

Я смотрѣлъ во всѣ глаза и не могъ придти въ себя отъ изумленія. Алексѣй Степанычъ, перегнувшись въ креслѣ, болталъ руками между колѣнъ и, благодушно покачиваясь, приговаривалъ:—Да, братъ, съ подходцемъ — а ты думалъ, какъ? „Молодой человѣкъ“ покуривалъ папироску и совершенно безучастно смотрѣлъ въ окно. Такая скука была написана на лицѣ его, что я сразу понялъ,

какое дѣйствіе произвела на него моя журьба. Это дѣйствіе формулировалось словами: вотъ-вотъ сейчасъ будетъ „звѣзда же отъ звѣзды разнствуетъ во славѣ“—и конецъ разглагольствію!

Наконецъ онъ не выдержалъ и всталъ.

— Я, папенька, пойду,—сказалъ онъ:—наши ужъ отъ обѣдни пришли.

Мы опять остались одни со старикомъ Молчалинымъ.

Алексѣй Степанычъ имѣлъ такой видъ, какъ будто сейчасъ проснулся. Очевидно, и онъ не ждалъ, что *такъ* выйдетъ. Можетъ быть, онъ думалъ, что я представленіе дамъ: возьму шляпу, сперва покажу ея внутренность: пусто?—а потомъ въ ней окажется яичница или живой голубь, или букетъ цвѣтовъ. А оказалось, что я *почти* то же сказалъ, что и отецъ Николай, что и всѣ мы, отживающіе люди, говоримъ, когда нелегкая наталкиваетъ насъ на разговоръ...

Однако онъ не только не попенялъ мнѣ за это, но, какъ человѣкъ вполнѣ незлопамятный, даже поощрилъ.

— Ну, спасибо, голубчикъ! — сказалъ онъ, подавая мнѣ на прощаніе руку: — большое вамъ за это спасибо, что моего молодого человѣка уму-разуму наставили! Горьконько ему, конечно, правду-то эту выслушивать, за то впослѣдствіи благодаренъ будетъ, какъ дѣйствіе-то на себѣ ощутитъ! Да, зарубитъ-таки онъ кое-что! зарубитъ себѣ на носу!

Я возвращался отъ Молчалиныхъ и съ тревогой, почти съ болью, спрашивалъ себя: могъ ли я сказать что-нибудь иное?

Да, я высказалъ то самое безразличное брюзжаніе, которое, благодаря старческой хворости, замѣняетъ намъ и анализъ, и доказательства,—все... Но я высказалъ некрасиво, не постарался—оттого и вышло, что я какъ бы повторилъ Тугоуховскаго, Алексѣя Степаныча и отца Николая.

Впрочемъ, быть можетъ, я имѣлъ бы сказать что-нибудь, и еще, да языкъ не поворачивался. Несмотря на симпатичныя стороны, о которыхъ я подробно упомянулъ выше, у насъ, людей отживающихъ, людей старыхъ пѣсенъ, есть огромный недостатокъ: мы боимся даже невзначай обнаружить ту сокровенную подоплеку, которая составляла основу всей нашей жизни. Вѣдь, собственно говоря, мы никогда настоящимъ образомъ не жили, а только жеманились. Мы и свободу

любили на греческій и римскій манеръ: чтобъ амфора была, вино сиракузское лилось, а мы бы мудро бесѣдовали. Даже смерть мы представляли себѣ въ красивой формѣ, по образцу смерти Тразеи Пета, съ разговоромъ въ кругу друзей о непрочности земныхъ благъ и съ восклицаніемъ, въ видѣ заключенія: хвала Юпитеру! Подумайте: есть ли возможность все это обнаруживать? есть ли возможность вступать въ споръ, имѣя въ запасѣ такую опорную точку?

Увы! нынѣче нѣтъ ни амфоръ, ни сиракузскаго вина, ни красивой смерти, ни даже Юпитера. Нынѣшняя жизнь, даже въ запросахъ своихъ, воплотилась въ какія-то странныя формы, чуждыя свѣтотѣней, аляповатыя, грубыя, почти циничныя. Хотѣлось бы порой сказать ей слово сочувствія, а внутри такъ и колышится: фуй! Гадливость, коли хотите, отнюдь не злостная, а только инстинктивная, но, благодаря безпрерывному возбужденію, очень легко переходящая въ привычку, въ страхъ.

Вотъ этотъ-то страхъ и есть то общее, что̀ приравниваетъ насъ къ Тугоуховскимъ, Молчалинымъ и проч. Не въ томъ дѣло, что мы не тѣхъ результатовъ боимся, которыхъ боятся они, а въ томъ, что и мы, и они ждемъ своихъ различныхъ результатовъ изъ одного и того же источника. Поэтому, хотя мы выражаемъ наше отношеніе къ современности нѣсколько иначе, нежели Тугоуховскіе и Молчалины, но разница лежитъ скорѣе въ формѣ, нежели въ сущности.

Поэтому же ничего у насъ яснаго не выходитъ, да и не ждетъ отъ насъ никто ничего. Мы и скорбимъ, и стыдимся, и къ смерти взываемъ, а намъ говорятъ: уйдите! живите или умирайте — какъ вамъ угодно, но только тамъ, въ своихъ углахъ!

Это очень больно, но средствъ къ уврачеванію этой боли, кажется, не предвидится. Что̀ бы мы ни говорили, какой бы „обмѣнъ мыслей“ ни предпринимали—все-таки въ результатѣ окажется: „ина слава лунѣ, ина слава звѣздамъ“. Развѣ это разговоръ? Нѣтъ, правду сказалъ Глумовъ: „живи и удивляй міръ отсутствіемъ поступковъ и опрятностью чувствъ!“ Да, только это и остается.

Не успѣлъ я мысленно произнести имя Глумова, какъ почувствовалъ, что кто-то хватаетъ меня за локоть. Оглянулся—онъ самый и есть!

— Пари держу, что у Молчалиныхъ былъ?

— Да, былъ.

— Ну и что̀ жъ?

Я разсказалъ все по порядку, ничего не утаивая и не прибавляя.

— И по дѣломъ!—разсердился на меня Глумовъ: — малодушный ты старикъ—вотъ что! Говорено было тебѣ: сиди смирно! Да тебя, впрочемъ, не убѣдишь! Вотъ и теперь, придешь, чай, домой, сядешь за столъ и скажешь себѣ: а путко, благословясь, я этюдъ объ „новыхъ людяхъ“ настрочу! Нехорошо! не моги!

II.

ПИСЬМА О ПРОВИНЦІИ

[1868—1870 гг.]

Письмо первое.

Съ нѣкотораго времени жизнь въ провинціи измѣняется. Мало-по-малу въ эту жизнь входятъ новые элементы, которые захватываютъ болѣе значительную массу дѣятелей. Образуются зачатки жизни умственной, и хотя еще далеко до самостоятельности, но, по крайней мѣрѣ, нѣтъ того повальнаго бездѣльничества, которое, въ буквальномъ смыслѣ слова, сокрушало провинціальное общество лѣтъ двѣнадцать-тринадцать тому назадъ.

Даже центры дѣятельности сдвинулись съ прежнихъ гнѣздъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнились и роли самихъ дѣятелей. Дѣятельность органическая видимо отдаляется отъ старыхъ центровъ и скромно пріурочивается къ новымъ. Совѣтники разныхъ палатъ и управленій, конечно, еще существуютъ, но прежде они ходили окруженные свѣтозарнымъ облакомъ, теперь же путешествуютъ по административнымъ пажитямъ, бо́льшею частью инкогнито и въ значительно сокращенномъ видѣ.

Какъ и водится, такое перемѣщеніе дѣятельныхъ центровъ производитъ немалый переполохъ и въ самихъ дѣятеляхъ. Въ однихъ оно возбуждаетъ зависть и худо скрываемую досаду, въ другихъ—чувство робкой недовѣрчивости, смѣшанное съ нѣкоторымъ удивленіемъ. На одной сторонѣ сцены стоятъ люди, которые издревле привыкли понимать себя прирожденными исторіографами Россіи и зиждителями ея судебъ; на другой сторонѣ—люди новые, которыхъ девизомъ еще такъ недавно была знаменитая поговорка: „изба моя съ краю, ничего не знаю“. Середку (хоръ) занимаютъ такъ-называемые фофаны, то-есть вымирающіе остатки эпохи богатырей. Понятно, съ какимъ чув-

ствомъ смотрятъ ископные исторіографы на пришельцевъ, которые отнынѣ обязываются раздѣлять ихъ труды по части сочиненія русской исторіи.

Съ призывомъ новыхъ сочинителей на поприще русской исторіи, старые исторіографы чувствуютъ себя неловко. Во-первыхъ, имъ стыдно, что исторія, которую они до сихъ поръ сочиняли, имѣетъ несомнѣнное сходство съ яичницей; во-вторыхъ, они боятся, что пришельцы, пожалуй, догадаются, что это не исторія, а яичница, и вслѣдствіе того не выдадутъ имъ квитанціи; въ-третьихъ, имъ сдается, что пришельцы наступаютъ имъ на ноги, и хотя говорятъ: pardon, но съ замѣтною въ голосѣ ироніей; въ-четвертыхъ, они чувствуютъ, что имъ нечего дѣлать, что праздпаго времени остается пропасть, а дѣвать его рѣшительно некуда. Поэтому истинный исторіографъ съ ранняго утра мучится подозрѣніями и безпокоится мыслью, какъ бы ему на кого-нибудь такъ наѣхать, чтобъ отъ наѣзда этого громъ прокатился отъ одного конца вселенной до другого, и чтобы разумѣли языцы, что зубосокрушающая сила отнюдь еще не упразднилась.

Сдается, однако, что опасенія старыхъ исторіографовъ черезъчуръ преувеличены и происходятъ оттого, что послѣдніе, погрузившись исключительно въ сочиненіе русской исторіи, недостаточно обогатили свой умъ знакомствомъ съ политической экономіей. Еслибъ этотъ пробѣлъ въ ихъ воспитаніи былъ пополненъ, они поняли бы, что первое условіе успѣшности всякаго труда есть его раздѣленіе, и что появленіе на сцену новыхъ сочинителей по части русской исторіи представляетъ собой не что иное, какъ ближайшее послѣдствіе этого условія. Чтобы изготовить надлежащую яичницу, необходимо, во-первыхъ, затопить печь, во-вторыхъ, вычистить сковороду, въ-третьихъ, выбрать и выпустить яйца и т. д. Каждая изъ этихъ операцій требуетъ особаго спеціалиста, ибо ежели выпускать яйца примется истопникъ, то онъ легко можетъ помять желтки. Слѣдовательно, стряпать яичницу силами совокупными не токмо не предосудительно, но даже пріятно. Работа на людяхъ идетъ спорѣе и веселѣе; истопникъ подстрекаетъ судомойку, судомойка поощряетъ повара; поютъ пѣсни, перебрасываются невинными шутками, а яичница, между тѣмъ, поспѣваетъ да поспѣваетъ. Не ясно ли, что такого рода зрѣлище ничего, кромѣ отрадъ, возбуждать не должно?

И дѣйствительно, наплывъ пришельцевъ отнюдь не означаетъ ни

злоумышленія, ни посягательства, а есть просто послѣдствіе признанія принципа раздѣленія труда. Внѣшнія формы труда безспорно видоизмѣнились, но сущность его осталась столь же обильною разнаго рода случайностями, какъ и въ то время, когда еще не было исторіи, а былъ мракъ временъ. Конечно, тутъ, кромѣ сущности труда, можетъ возникнуть еще вопросъ о томъ, кому-то придется съѣсть устроенную общими силами яичницу, но, по мнѣнію людей благомыслящихъ, такого рода вопросъ, по малой мѣрѣ, преждевременъ. Подобное забѣганье впередъ можетъ самаго кипучаго дѣятеля заставить опустить руки, можетъ тлетворно подѣйствовать на успѣхъ дѣла самаго несомнѣннаго. Политическая мудрость всѣхъ вѣковъ и народовъ убѣждаетъ, что цѣли ближайшія и непосредственныя суть, въ то же время, и наиболѣе желанныя; а какъ въ настоящемъ случаѣ ближайшую цѣль составляетъ производство яичницы, а не потребленіе ея, то примемся за это дѣло вкупѣ и не будемъ раздражать нашу мысль опасеніями будущаго. Ибо съѣстъ яичницу, навѣрное, тотъ, кому съѣсть ее надлежитъ.

Мысль объ отдавливаньи ногъ, объ ироническомъ выраженіи ртовъ и носовъ, есть именно порожденіе подобныхъ неполезныхъ забѣганій впередъ. Всякій согласится, что не изобрѣтено еще тѣхъ чувствительныхъ вѣсовъ, съ помощью которыхъ можно было бы взвѣсить вещь столь неуловимую, какъ выраженіе лица. Можно даже утверждать, что самое представленіе о томъ или другомъ выраженіи лица есть представленіе почти субъективное. Вы раздражены, ваша мысль напугана неизвѣстностью будущаго, и вотъ вамъ кажется, что всѣ носы иронизируютъ, что всѣ ноги направлены къ тому, чтобъ злоумышлять противъ вашихъ мозолей. Но успокойтесь на минуту, оторвите вашу мысль отъ сомнительнаго будущаго, и вы убѣдитесь, что глаза ваши лжесвидѣтельствовали, что уши были съ ними за-одно въ заговорѣ, чтобъ отравить ваше душевное спокойствіе. Безчисленныя свидѣтельства людей опытныхъ и компетентныхъ удостовѣрятъ васъ, что въ провинціяхъ нашихъ могутъ быть выраженія лицъ почтительныя, безпечно-преданныя, исполнительныя, на все готовыя, но выраженій ироническихъ нѣтъ и никогда не бывало. Этого мало: въ провинціи даже положеніе человѣческаго тѣла невольнымъ образомъ принимаетъ характеръ устремительный, но никакъ не упирающійся или угрожающій—ужели этихъ свидѣтельствъ не достаточно?

Нѣсколько болѣе основательными кажутся опасенія насчетъ сокращенія способовъ умерщвлять избытокъ праздпаго времени. Опасенія эти возникли еще въ то время, когда возбужденъ былъ вопросъ о сокращеніи переписки. Уже тогда многимъ казалось, что власть значительно потрясется, ежели вмѣсто: „имѣю честь покорнѣйше просить", будутъ писать просто: „прошу", а вмѣсто: „о послѣдующемъ прошу не оставить увѣдомленіемъ" — „прошу увѣдомить". Ожидали, что экономія труда произведетъ праздность, праздность породитъ неуваженіе, неуваженіе — бунтъ. Впослѣдствіи къ этимъ ожиданіямъ присоединились соображенія еще болѣе вѣскія. Припомнили, что время каждаго дѣятеля распредѣляется съ такою точностью, что всякое нарушеніе однажды заведеннаго порядка не можетъ не произвести въ организмѣ законнаго безпокойства. Если пріобрѣтена привычка въ извѣстный часъ для строчить, въ другой распекать и т. д., то пельзя себѣ представить, какая истома овладѣваетъ человѣкомъ при наступленіи урочнаго часа. Вотъ-вотъ, кажется, такъ бы и изстрочилъ насквозь всю природу, и вдругъ — о, ужасъ! — въ ту самую минуту, когда всѣ фибры ваши натянуты, когда длани ваши уже простерты, вамъ докладываютъ, что все уже выстрочено и перестрочено... Что тутъ дѣлать? что предпринять?

Нельзя не согласиться, что эти опасенія и вопросы далеко не безосновательны. Время — это издревле страшнѣйшій нашъ врагъ. Мы неустанно боремся съ нимъ, мы употребляемъ и коварство, и хитрость, чтобы восторжествовать надъ этимъ призракомъ, всегда стоящимъ передъ нами, и постоянно изнемогаемъ въ неравной борьбѣ. У насъ положительно нѣтъ ресурсовъ, и если мы всегда довольно охотно беремся за всякую профессію, то единственно потому, что съ профессіей этой въ умѣ нашемъ соединяется понятіе совсѣмъ не о дѣлѣ, а о властномъ положеніи въ обществѣ, о безотвѣтственности и произволѣ. Всѣ условія прошлаго были такъ направлены, чтобы сдѣлать изъ насъ самолюбивыхъ тупеядцевъ и развить въ насъ одну страсть —страсть къ существованію на чужой счетъ. Понятно, какого рода идеалы при подобныхъ условіяхъ жизни могли обольщать наши умы, и какое озлобленное негодованіе должно закипать въ нашихъ сердцахъ, когда обстоятельства напоминаютъ, что время даровыхъ утѣхъ миновалось, и что ежели мы желаемъ продолжать жить, то обязываемся устроить нашу дѣятельность на иныхъ основаніяхъ.

Какъ бы то ни было, въ провинціальной жизни чувствуется разладъ, но разладъ, такъ сказать, односторонній. Собственно нападаетъ и раздорствуетъ только одна сторона—исторіографы; другая сторона даже не обороняется, а только молится Богу, чтобы объ ней на время забыли. Это время ей нужно, чтобы доказать, что она невинна.

Извѣстно, что Россія съ древнѣйшихъ временъ періодически подвергается дѣйствію различнаго рода піонеровъ, которые обрабатываютъ ее всесторонне и съ старательностью, заслуживающею величайшей похвалы. Но небезъизвѣстно также, что піонеры всѣхъ странъ и временъ встрѣчали и встрѣчаютъ пріемъ непривѣтливый. Во-первыхъ, не всякому лестно, что его вотъ-вотъ сейчасъ начнутъ обрабатывать; во-вторыхъ, піонеры почти всегда являются на сцену снабженные прекраснѣйшими окладами, на которые очень многіе заглядываются. Ужъ на что благонамѣренными піонерами явили себя акцизные чиновники, а какого переполоха надѣлало ихъ появленіе! „Нигилисты!“ кричали одни; „коммунисты!“ кричали другіе, и нужно было цѣлую массу нечеловѣческихъ усилій, чтобъ доказать вселенной, что это совсѣмъ не нигилисты, а такіе же исторіографы и столпы, какъ и всѣ прочіе. Точно такой же фактъ совершился на нашихъ глазахъ съ піонерами контрольными: ихъ до тѣхъ поръ упрекали въ тайныхъ наклонностяхъ къ конституціонализму, пока они добрымъ своимъ поведеніемъ побѣдоносно не доказали, что за ними не только къ конституціонализму, но и къ счетоводству наклонностей никакихъ не водится.

Но піонеры слѣдуютъ за піонерами съ быстротою изумительною, и быстрота эта такъ вредно дѣйствуетъ на ясность понятій, что рѣшительно не знаешь, кого въ данную минуту называть піонеромъ, а кого столпомъ. Тѣ люди, которые еще вчера въ глазахъ всѣхъ казались завзятыми піонерами, сегодня именуютъ уже себя столпами и ни откуда не встрѣчаютъ на это возраженія. Въ настоящую минуту, сколько можно понять, піонеры самые свѣжіе — это земство и новый судъ.

Велико было озлобленіе противъ акцизниковъ и контрольныхъ, но невозможно рѣщи, какіе оно приняло размѣры и до какой дошло ядовитости относительно людей суда и земства. Въ виду этихъ новыхъ пришельцевъ, исторіографы становятся въ карѣ и показываютъ рѣшимость бодаться; они забываютъ взаимные междуисторіографскіе

раздоры и подаютъ другъ другу руку примиренія; околоточные торжественно лобызаютъ акцизниковъ и очищаютъ единство кассы отъ обвиненій въ либерализмѣ и конституціонализмѣ. И все для того только, чтобы противопоставить новому врагу армію сильную, способную поразить его на всѣхъ пунктахъ.

Способы дѣйствія исторіографовъ извѣстны достаточно; это — отчасти лганье, отчасти клевета. Лгутъ исторіографы простодушные, клевещутъ — злоумышленные; первые были бы подчасъ даже забавны, еслибы, въ большинствѣ случаевъ, не служили вреднымъ орудіемъ въ рукахъ послѣднихъ.

Можно себѣ представить, какую богатую пищу представили для этихъ скудныхъ умовъ новыя судебныя и земскія учрежденія!

Прежде всего, ихъ поражаетъ перемѣна внѣшнихъ формъ обращенія. Завелось какое-то „вы“, какое-то неслыханное сажаніе на стулъ — все это признаки революціи. Не то что прежніе орлы — налетятъ, бывало: „а ну, растакія-то дѣти! распоясывайтесь!“ Потомъ, поражаетъ преданность дѣлу (нѣсколько, впрочемъ, кропотливая), не позволяющая мѣшать его съ бездѣльемъ, — опять признакъ революціи; ибо издревле замѣчено, что человѣкъ необщежительный, человѣкъ, не принимающій участія въ провинціальныхъ folles journées, непремѣнно долженъ быть человѣкомъ неблагонамѣреннымъ и злоумышляющимъ. Въ-третьихъ, поражаетъ скромность образа жизни — новый признакъ революціи; ибо опытъ доказываетъ, что въ обществахъ благоустроенныхъ и богобоязненныхъ сановники должны быть представительные и прикармливать около себя толпу губернскихъ дармоѣдовъ. Въ-четвертыхъ, поражаетъ извѣстная доля начитанности и образованности; въ-пятыхъ...

Но нужно ли высчитывать всѣ такъ-называемые признаки революціи, которые заставляютъ блѣднѣть и трепетать архистратиговъ нашего болотнаго воинства? Въ сущности, они столько же понимаютъ значеніе слова „революція“, какъ и та простодушная дама, которая увѣряла, что революцію развозятъ по деревнямъ разнощики; но исторіографы злоумышленные цѣпко хватаются за хлесткое словечко и дѣйствуютъ неукоснительно, чтобы популяризировать его обращеніе между исторіографами простодушными. И начинается тутъ то неслыханное лганье, которое могутъ выносить только крѣпкія обывательскія натуры.

У какого-нибудь болотнаго чибиса пропали старыя портянки, а онъ уже повѣствуетъ, что въ этихъ портянкахъ спрятана была тысяча рублей и женины приданныя ложки.

— И представьте себѣ, хоть бы воръ не сознался! — оратор-ствуетъ чибисъ въ порывѣ сочинительства: — сознался, сударь, и пойманъ, и уличенъ! да нигилисты-то, голубчики-то наши... Какъ же, молъ, это такъ — вѣдь воръ-то, чай, свой братъ!.. ну, и отпустили! ступай, молъ, голубчикъ, воровать на всѣ четыре стороны!

— Слышали? слышали? — стономъ стонетъ, проснувшись, болото.

— Нѣтъ, вы мнѣ вотъ что̀ скажите: съ которыхъ это поръ завелось у насъ равенство?—вопіетъ другой чибисъ: —прихожу я давеча къ „нашему“, только, вижу, и Ѳенька моя тутъ!—Ну-съ, спрашиваю, что̀ угодно вашему высокородію? А вотъ, говоритъ, сейчасъ будетъ разбираться ваше дѣло съ крестьянской дѣвицей Ѳедосьей Павловной“ (это съ Ѳенькой-то!).—Слушаю-съ, говорю (разскащикъ, произнося это, иронически шаркаетъ ножкой). Только началось у насъ это разбирательство; я слово—Ѳенька такъ и сыплетъ! Не вытерпѣлъ:—Прикажите, говорю, замолчать этой паскудѣ! — Что̀ жъ бы вы думали, онъ-то? „Во-первыхъ, говоритъ, Ѳедосья Павловна имѣетъ такое же право объяснять свое дѣло, какъ и вы, а во-вторыхъ, за то, что вы ее въ присутствіи моемъ оскорбили (это Ѳеньку-то!), штрафую, говоритъ, васъ тремя рублями“. Хороша штучка-съ?

Исторій въ этомъ родѣ не оберешься, ибо чибисы зорко наблюдаютъ за каждымъ шагомъ пришельцевъ и каждое ихъ дѣйствіе подвергаютъ немедленному оболганію. Но изъ тьмы всякаго рода небылицъ и нелѣпыхъ претензій ярче другихъ выступаетъ впередъ претензія на такъ-называемое бездѣйствіе власти, на то, что подсудимыхъ не бьютъ по скуламъ и не сгибаютъ въ бараній рогъ. Припоминаются тутъ всякіе лихіе исправники и неслыханныхъ размѣровъ городничіе. Повѣствуется, какъ нѣкоторый Порфиръ Порфирычъ того-то засѣкъ, тому-то ребра переломалъ, того-то на всю жизнь оглушилъ.

— У этого, братъ, запоешь!—восторженно вопіютъ разомъ всѣ кулики:—этому, братъ, того наскажешь, чего никогда и не бывало! Ужъ это такъ.

Злоумышленные исторіографы съ удовольствіемъ прислушиваются

къ этому повальному лганью, и отъ времени до времени подогрѣваютъ его изобрѣтеніями своей фабрики. Это тѣмъ для нихъ легче, что жизнь дѣйствительно представляетъ факты, по наружности подкрѣпляющіе эти изобрѣтенія. Въ мірѣ не безъ воровства, не безъ грабежей и не безъ убійствъ, въ мірѣ не безъ скверныхъ дорогъ и неисправныхъ переправъ—все это такія житейскія невзгоды, которыя бывали, бываютъ и будутъ во всѣ времена. Но въ былое время невзгоды эти утопали въ безднѣ безмолвія и безотвѣтственности, и потому не поражали, не возбуждали ничьихъ протестовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ былое время кара настигала преступника еще рѣже, нежели нынче; но такъ какъ судъ и расправа были, такъ сказать, дѣломъ домашнимъ, то слѣдственныя неудачи и судебная безнаказанность не порождали ни толковъ, ни негодованій. Теперь дѣло иное. Теперь судъ есть нѣчто для всѣхъ ослзаемое; теперь — это общее достояніе, на которое устремлены всѣ взоры. И столпы съ большою ловкостью воспользовались этимъ обстоятельствомъ, чтобы сдѣлать изъ него злонамѣренное орудіе. Попробуйте-ка не уличить, не поймать, не открыть во что бы то ни стало, попробуйте ошибиться, увлечься, упустить изъ вида подробность — и вы увидите, какой вдругъ гвалтъ поднимутъ столпы, и какъ, слѣдомъ за ними, застонутъ и захлопаютъ крыльями простодушные кулики!

— Нѣтъ, это такъ не дѣлается! ça ne se fait pas ainsi!—вопіетъ, сверкая глазами, какой-нибудь столпъ, пользующійся между куликами особеннымъ авторитетомъ.

— Возьмите, однако, въ соображеніе...

— Да нѣтъ, поймите меня, такъ не дѣлается!—долбитъ столпъ, и тутъ же, обращаясь къ толпящимся вокругъ него чибисамъ, прибавляетъ: — я увѣренъ, что будь это дѣло въ рукахъ моихъ прежнихъ... моихъ вѣрныхъ!! ужъ давно было бы все раскрыто!

Этого достаточно, чтобы поддать масла въ огонь, которымъ пламенѣютъ сердца куликовъ. Опять выступаютъ на сцену Порфиры-реброломатели, Кузьмы-оглушители, Ѳомы-зубокрушители, а „революція“, словно живая, такъ и смотритъ въ глаза каждому чибису, какъ будто говоритъ: а вотъ я тебя сейчасъ на сковороду да въ печку!

Вотъ какого рода разладъ существуетъ въ современномъ провинціальномъ обществѣ и какого рода непрерывнымъ шпикапствамъ

подвергается тамъ піонерное ремесло. Что же за люди эти піонеры и въ чемъ состоитъ ихъ вина передъ исторіографами?

Въ самомъ началѣ настоящаго письма выражена мысль, что жизнь въ провинціи измѣняется къ лучшему. Несмотря на то, что многое въ дальнѣйшемъ изложеніи условій этой жизни какъ будто противорѣчитъ этому завѣренію, оно, все-таки, остается въ своей силѣ. Къ чести новыхъ пришельцевъ нужно сказать, что ежели въ современную провинціальную жизнь начинаютъ вторгаться умственные интересы, то этимъ она обязана исключительно имъ:

Путникъ, случайно забравшійся въ современную провинцію, не рискуетъ уже, какъ въ бывалыя времена, заблудиться въ ней, какъ въ дремучемъ лѣсу, или очутиться въ положеніи Робинзона на необитаемомъ острову. Конечно, нельзя утверждать, чтобы карты и доселѣ не играли преимущественной роли въ жизни провинціала, но это почти единственный обломокъ древней славы, уцѣлѣвшій на развалинахъ прежняго развеселаго житья. Ужъ одно то, что прежде постоянно кого-нибудь гдѣ-нибудь заушали, что прежде вы не могли сдѣлать шагу, не рискуя услышать: „батюшки! не буду!“ что мысль объ этомъ повальномъ заушеніи не могла не терзать существованія честнаго человѣка, и что теперь честный человѣкъ несравненно рѣже подвергается подобнаго рода опасенію—ужъ одно это представляетъ такую отраду, которую взвѣсить и достойно оцѣнить могутъ только люди, бывшіе непосредственными зрителями стариннаго столпотворенія. Метаморфоза, которая произошла на нашихъ глазахъ, по истинѣ заслуживаетъ удивленія; вы видите мастодонтовъ, которые, еще на вашей памяти, били въ ярости копытами землю, которые ревомъ своимъ заставляли содрогаться природу, которые безъ малѣйшихъ усилій обращали въ прахъ человѣческія челюсти—и что жъ? теперь эти самые мастодонты удивляютъ міръ своимъ кроткимъ поведеніемъ и все свое ехидство ограничиваютъ невиннымъ судачеміемъ по части судебныхъ и земскихъ учрежденій. Отчего эта метаморфоза? Отчего это превращеніе яростныхъ остатковъ допотопной формаціи въ безвредныхъ и ощипанныхъ куликовъ? А все оттого, милостивые государи, что явились новые люди съ прекраснѣйшими манерами и убѣдили вселенную, что сквернословіе отнюдь не составляетъ фаталистической принадлежности русской рѣчи. Да, нельзя не согласиться, что пришельцы оказались изрядными насадителями граціозныхъ манеръ и изящнаго

обращенія! Ни одинъ танцмейстеръ, при самыхъ упорныхъ усиліяхъ, конечно, никогда не могъ достигнуть такихъ результатовъ, какихъ они достигли въ самое короткое время и почти безъ усилій.

Сверхъ того, рядомъ съ картами, въ провинціи уже зарождается потребность чтенія и даже потребность мышленія. Конечно, опытнѣйшіе исторіографы и теперь утверждаютъ, что мышленіе во всѣ времена представляло, такъ сказать, оппозицію исполнительности, а слѣдовательно, и благоустройству; но позволительно думать, что если однажды насъ уже посѣтила потребность разсуждать, то лучше искренно примириться съ этимъ прискорбнымъ фактомъ, нежели подкапываться подъ него. Это примиреніе дастъ намъ, по крайней мѣрѣ, возможность направить фактъ по усмотрѣнію, тогда какъ вражда непремѣнно оставитъ насъ съ носомъ.

Въ этомъ отношеніи, пришельцы представляютъ кладъ безцѣнный, не требующій даже направленія. Мысли у нихъ не только благонамѣренныя, но, такъ сказать, очищенныя. Какъ люди милые и образованные, они, конечно, не могутъ временами не озабочиваться извѣстіями объ успѣхахъ или неуспѣхахъ Гарибальди, но не подлежитъ сомнѣнію, что пренія такого рода занимаютъ въ ихъ бесѣдахъ мѣсто весьма ограниченное. У нихъ такъ много своего насущнаго дѣла, и при томъ ихъ до такой степени поглощаетъ забота о томъ, какъ бы послужить, услужить и заслужить, что въ виду этихъ капитальныхъ интересовъ невольно стушевывается даже вопросъ объ исправленіи французской границы на Рейнѣ.

И дѣйствительно, въ настоящее время мы присутствуемъ при такого рода внутренней работѣ, что насъ долженъ болѣе занимать вопросъ объ иныхъ поглощеніяхъ, нежели о поглощеніи Пруссіей маленькихъ государствъ Германіи. Щукъ развелось въ провинціи такъ много, и притомъ съ такимъ циническимъ желаніемъ глотать, глотать и глотать, что даже вчужѣ становится какъ-то не по себѣ. Извѣстно, что щука, во время жора, глотаетъ что ни попало, заглатываетъ даже собственныхъ щурятъ, эту надежду и цвѣтъ всего щучьяго рода — мудрено ли, что прочія рыбы, плавающія въ этой мелкой и прѣсной водѣ, заслышавъ приближеніе ужаснаго хищника, мгновенно прекращаютъ невинныя забавы и устремляются къ своимъ норамъ?

И такъ, пришлецъ благонамѣренъ, учтивъ, прилеженъ, кротокъ, занятливъ, почтителенъ и послушливъ. Онъ даже не огрызается, когда

на него нападаютъ, хотя нападенія эти бываютъ нерѣдко свойства довольно циническаго. Сверхъ того, онъ читаетъ книжки, а относительно исполненія того, что называется долгомъ, не имѣетъ себѣ равнаго. Это просто левъ. Казалось бы, что при видѣ такого соединенія драгоцѣннѣйшихъ качествъ щука самая прожорливая должна бы съ довѣріемъ повторять стихи Пушкина:

Въ надеждѣ славы и добра,
Идемъ впередъ мы безъ боязни...

А выходитъ совсѣмъ напротивъ...

Не ясно ли теперь, что разладъ, замѣчаемый въ провинціальномъ обществѣ, есть разладъ односторонній; что онъ возбуждается и питается исключительно исторіографами, которые, безъ всякой надобности, волнуютъ провинціальное общество своими личными тревогами и опасеніями, и что на долю пришельцевъ досталась въ этой распрѣ роль хотя и симпатичная, но далеко не выгодная въ стратегическомъ смыслѣ? Не ясно ли также, что самая эта распря имѣетъ поразительное сходство съ столь знакомымъ и столь любезнымъ нашему сердцу дѣломъ о прекаліяхъ, на обложкѣ котораго читалась крупно начертанная надпись: „сіе дѣло есть дѣло о выѣденномъ яйцѣ“?

Но письмо о провинціальномъ житьѣ будетъ далеко неполно, если не упомянуть въ немъ о нашемъ beau sexe. Прежде всего должно отдать полную справедливость нашимъ дамамъ, въ томъ смыслѣ, что вопросъ объ эманципаціи женщинъ, о женскомъ трудѣ и проч., трогаетъ ихъ въ самой умѣренной степени. Въ этомъ отношеніи онѣ представляютъ оплотъ, и притомъ весьма благонадежный. Существуетъ по этому поводу даже очень трогательный анекдотъ. Разсказываютъ, что когда одна юная дамочка, отъ лица всѣхъ женщинъ, заявила однажды претензію на фельдмаршальскій жезлъ, то присутствовавшій при этомъ предводитель въ упоръ спросилъ ее: „ну, а родить кто будетъ?“ Этого простодушнаго вопроса было достаточно, чтобы покончить съ вопросомъ о женскомъ трудѣ, и чтобы дамы, даже судейскія, сдѣлались въ поступкахъ своихъ осмотрительнѣе и принялись родить пуще прежняго. Тѣмъ не менѣе, разладъ, огорчающій мужское провинціальное общество, не могъ не отразиться и на дамскомъ. Не только жены и сестры, но даже племянницы охотно принимаютъ участіе въ турнирѣ и этимъ участіемъ нѣсколько смягчаютъ

слишкомъ суровые тоны распри. Но сія послѣдняя и тутъ поражаетъ своимъ неравенствомъ. Тогда какъ жены исторіографовъ отличаются неслыханнымъ великолѣпіемъ одеждъ, необычайными размѣрами шлейфовъ и бѣлизною и округлостью бюстовъ, жены пришельцевъ, напротивъ, представляются слегка ощипанными и даже какъ бы не совсѣмъ кормленными. По сему, когда эти два полка стоятъ другъ противъ друга въ безмолвіи, то симпатія проходящихъ невольно склоняется на сторону исторіографовъ. Кажется, что при подругахъ голодныхъ и мысли должны быть голодныя; напротивъ того, при подругахъ сытыхъ и мысли непремѣнно должны быть сытыя. Но когда печать безмолвія упадаетъ, когда голодныя и сытыя начинаютъ чувствовать потребность провѣщевать, то симпатіи измѣняютъ характеръ и обращаются отъ послѣднихъ къ первымъ. Сколько сытыя блистаютъ тѣлами и шлейфами, столько голодныя плѣняютъ основательностью и либеральною умѣренностью своихъ сужденій. Тогда какъ первыя бесѣдуютъ о различіи любви и дружбы и о другихъ предметахъ, рѣшительно не приносящихъ никакой пользы для отечества, послѣднія повѣствуютъ о гражданской честности и непреоборимой вѣрности. Случается даже слышать весьма удачныя сужденія по слѣдственной части и по части судебныхъ ошибокъ, и любопытно видѣть, какъ пламенѣютъ, внимая этимъ рѣчамъ, юнѣйшіе изъ пришельцевъ мужского пола, и какъ исчезаетъ въ ихъ глазахъ весь суетный міръ съ его бюстами и шлейфами въ виду одного ни съ чѣмъ несравнимаго блаженства... въ виду судейской ошибки!

Но еще любопытнѣе, что и сытыя, по временамъ, выходятъ изъ рамки невинныхъ размышленій о дружбѣ и любви и выступаютъ на скользкую арену судейскихъ ошибокъ. Вотъ тогда-то собственно и начинается такъ-называемый турниръ.

— Мы все съ своей стороны сдѣлали!—кричатъ жены, дочери и племянницы исторіографовъ:—мы открыли слѣды, мы указали виновныхъ... Ужъ если и послѣ этого...

Сытыя съ презрѣніемъ пожимаютъ полными и бѣлыми плечами.

— Подите! — не менѣе крикливо возражаетъ женскій штатъ пришельцевъ: — сейчасъ видно, что вы не читали дѣла Лезюрка?

— Какого Лезюрка? Какого такого Лезюрка? — наивно вопрошаютъ полногрудыя, сытыя и бѣлотѣлыя.

Голодныя язвительно хохочутъ и, какъ нѣкогда раскольники, восклицая: „посрамихомъ! посрамихомъ!“ торжествуютъ побѣду.

Увы! онѣ забываютъ, что возгласъ „посрамихомъ!“ не помѣшалъ раскольникамъ и до сихъ поръ называться раскольниками...

И дѣйствительно, какъ ни грустно, а приходится сознаться, что шармы тѣлесные рѣшительно подавляютъ и, вѣроятно, долго еще будутъ подавлять шармы умственные. Оттого ли, что мы, провинціалы, не умѣемъ еще относиться какъ слѣдуетъ къ нетлѣннымъ красотамъ ума и сердца, или оттого, что въ самыхъ сихъ красотахъ скрывается нѣкоторый изъянъ—какъ бы то ни было, но взоры наши не въ примѣръ охотнѣе обращаются въ ту сторону, гдѣ блеститъ тлѣнная красота. Да и самое начальство наше какъ будто преимущественнѣе туда заглядывается... Да и въ самомъ дѣлѣ, женщина, которая не сіяетъ брильянтами, женщина, которая не декольтирована до тѣхъ предѣловъ, за которыми исчезаетъ всякое представленіе о неизвѣстномъ, женщина, которая, вмѣсто тонкаго анализа чувствъ любви и дружбы, идетъ на проломъ съ дѣломъ Лезюрка... скажите на милость, ужели это женщина?

На первый разъ, однакожъ, довольно, тѣмъ болѣе, что сказанное выше объ изъянахъ, скрывающихся въ нашихъ нетлѣнныхъ красотахъ, представляетъ намъ естественный выходъ для заключенія настоящаго письма. Отчего въ самомъ дѣлѣ, несмотря на всѣ усовершенствованія и преуспѣянія, въ провинціи все продолжаетъ царствовать тотъ же тонкій запахъ скуки, противъ котораго мы такъ безнадежно боремся съ незапамятныхъ временъ? Отчего провинція не перестаетъ быть центромъ того безконечнаго переливанья изъ пустого въ порожнее, бездну котораго мы тщетно усиливаемся наполнить? Откуда это самомнѣніе, самоподслушиваніе, самонаушничество, эти вѣчно гноящіяся три язвы, которыя неустанно точатъ провинціала и отравляютъ каждую минуту его незатѣйливаго существованія? Откуда эта распря о выѣденномъ яйцѣ?

Какъ ни запутанны эти вопросы, но, какъ кажется, они могутъ быть разрѣшены съ успѣхомъ, если мы внимательнѣе присмотримся къ тѣмъ упомянутымъ выше нетлѣннымъ красамъ, которыми съ нѣкотораго времени гордимся.

Нельзя отрицать, что вопросы о судейскихъ ошибкахъ, объ уликахъ, объ улучшенныхъ путяхъ сообщенія, о гражданской честности

и проч. суть вопросы капитальные, что интересоваться ими несомнѣнно согласнѣе съ человѣческимъ достоинствомъ, нежели потихоньку погрязать въ такъ-называемомъ миломъ распутствѣ. Но, очевидно, тутъ кроется какой-нибудь пробѣлъ, какая-нибудь вредная подмѣсь, которая даже у лучшихъ намѣреній и проявленій отнимаетъ ихъ жизненный характеръ и силу.

Искусственность и неискренность — вотъ первая вредная подмѣсь, которая губитъ насъ и распространяетъ вокругъ насъ атмосферу скуки. Подобно провинціальнымъ актерамъ, мы постоянно играемъ кожей, а не внутренностями. Въ насъ не волнуется кровь, не болитъ сердце; въ лучшихъ словахъ нашего лексикона не слышится ни внутренней силы, ни рѣшимости поддерживать ихъ. Чувствуется нѣчто рыхлое, легко поддающееся всякимъ вліяніямъ, безъ борьбы уступающее всякимъ напорамъ. Конечно, ужъ и то немалая заслуга, что мы, имѣя свободный выборъ, все-таки, прилѣпились именно къ хорошимъ словамъ, а не къ растлѣннымъ и ехидпымъ, но заслуга эта значительно блѣднѣетъ передъ вопросомъ: что жъ дальше? Самые убѣжденные люди провинціи съ трудомъ выдерживаютъ призывъ къ дѣлу, который такъ и напрашивается на языкъ собесѣднику. Мысль останавливается передъ своими естественными выводами и оттого получаетъ характеръ прискорбной недоношенности. Чувствуется какой-то изъянъ, какая-то нелѣпая недосказанность, которую отнюдь, впрочемъ, нельзя обвинить въ преднамѣренной сдержанности. Нѣтъ, это сдержанность естественная, наивная; это неминуемый плодъ недостатка внутренняго огня, это послѣдствіе закоренѣлой привычки вращаться въ заколдованномъ кругѣ, это замысловатая алгебраическая формула безъ малѣйшихъ приложеній и выводовъ.

Другая вредная подмѣсь нашей жизни—это неисправимая ограниченность кругозоровъ. Какъ ни возставайте противъ такъ-называемыхъ утопій, безъ нихъ истинно плодотворная умственная жизнь, все-таки, невозможна. Разумъ человѣческій не удовлетворяется безвозвратно, но испытуетъ все дальше и дальше. Въ этомъ вся тайна успѣха человѣческихъ обществъ, и ежели правда, что утопія не имѣетъ права заявлять претензію на немедленное практическое осуществленіе, то несомнѣнно и то, что плодотворное ея дѣйствіе на иниціаторскія силы человѣческаго разума, все-таки, остается внѣ всякаго спора. Въ этомъ отношеніи провинція представляетъ совер-

шенно тѣсный и замкнутый кругъ, въ которомъ мысль окончательно теряетъ свою смѣлость и энергію. Теоретическія поползновенія (если таковыя существовали) слишкомъ скоро позабываются и покрываются плесенью; потребность инициативы дѣлается ничтожною. Умственный запасъ, вслѣдствіе скудости и безпрестаннаго самоповторенія, до такой степени быстро изнашивается, что даже вчужѣ становится совѣстно. Какъ ни стара истина, что только въ большихъ центрахъ человѣкъ можетъ смѣло мыслить и свободно дышать, но въ провинціи она даетъ себя чувствовать съ поразительною наглядностью, и потому никогда не утрачиваетъ характера насущной новизны. Мысль со всѣхъ сторонъ стѣсненная, ничѣмъ не питаемая, невольно бросается на мелочи и погрязаетъ въ нихъ. Вмѣстѣ съ нею погрязаетъ и весь человѣкъ...

Мы забываемъ, что покуда будемъ играть только кожей, исторіографы и столпы не перестанутъ быть исторіографами и столпами.

Мы забываемъ, что покуда будемъ, вмѣстѣ съ исторіографами, ратовать противъ такъ-называемыхъ увлеченій (и гдѣ они, эти увлеченія?), покуда будемъ сдерживать и безъ того несмѣлую нашу мысль, мы останемся все тѣми же евнухами въ нравственномъ и умственномъ отношеніяхъ, какими являли себя до сихъ поръ...

Библіотека служащихъ Телеграфа № ст. Вологда гор.

Письмо второе.

Опять о раздорѣ. Дрянное это явленіе до того усилилось, что сдѣлалось почти исключительнымъ содержаніемъ нашей жизни; оно отравляетъ всѣ наши удовольствія; оно поражаетъ даже пресловутое наше гостепріимство. Нѣтъ болѣе блиновъ красныхъ, гречневыхъ, со снѣтками, съ припекой — ихъ замѣнили блины полицейскіе, акцизные, судебные и земскіе? Нѣтъ болѣе той карточной игры, которая во всѣ времена ни о чемъ иномъ не свидѣтельствовала, кромѣ невинности играющихъ — ее замѣнила иная игра, изъ которой участвующіе во что бы ни стало хотятъ сдѣлать орудіе для демонстрацій и преткновеній! Ни блины, ни преферансъ не избѣгли раздорнаго вѣянія, которое грозитъ надолго утвердиться въ нашемъ обществѣ.

Странно звучатъ для слуха выраженія въ родѣ: „блинъ административный“, „блинъ судебный“ и т. д., а между тѣмъ выраженія эти отнюдь не выдуманы, а прямо выхвачены изъ нашей печальной дѣйствительности. И что всего грустнѣе—выраженія эти отнюдь не фигуральныя, а согласныя съ истиной даже по существу. Съѣшьте блинъ административный — и вы убѣдитесь, что онъ жирепъ, вкусенъ, хотя ложится нѣсколько комомъ; съѣшьте блинъ судебный—и увидите, что онъ тощъ и какъ будто припахиваетъ розовымъ масломъ. Очевидно, что здѣсь раздоръ уже перестаетъ быть простое раздоромъ, но оказываетъ свое пагубное вліяніе на самое блинное вещество.

Извѣстно, что никакія жизненныя отправленія не требуютъ такого спокойствія духа, такой твердой увѣренности во взаимномъ доброжелательствѣ соревнующихъ, какъ обѣденныя увеселенія и игра въ карты. Это совсѣмъ не то, что засѣданія академій или иныхъ ученыхъ обществъ, гдѣ примѣрные раздоры въ извѣстномъ случаѣ даже необходимы, потому что изъ нихъ, какъ слышно, рождается истина. Тутъ, напротивъ того, собираются люди, которые уже умудрились, которые никакого интереса въ отыскиваніи истины имѣть не могутъ, по той причинѣ, что она уже давно найдена. Поэтому, въ этихъ случаяхъ не только неумѣстное галдѣніе, но даже простое сомнѣніе относительно благонамѣренности кого-либо изъ партнеровъ можетъ произвести въ остальныхъ лишь желудочную смуту, послѣдствія которой трудно даже предупредить. Представьте себѣ, напримѣръ, что на обѣдъ исторіографовъ по какому-нибудь случаю затесался піонеръ — что хорошаго можетъ изъ этого выйти? Во-первыхъ, піонеръ будетъ пожирать нѣжнѣйшія суффлѐ съ трюфелями точно такъ, какъ бы пожиралъ трихинную углицкую колбасу; во-вторыхъ, ни одинъ исторіографъ, все-таки, ни за что не повѣритъ, что піонеръ ѣстъ взаправду, а непремѣнно будетъ думать, что онъ злоумышляетъ. И весь отданный своимъ предубѣжденіямъ, онъ, какъ и слѣдуетъ ожидать, утратитъ на время всякую способность наслаждаться и смаковать.

Все это такъ, все это правда, и если мы видимъ, что исторіографы ѣдятъ блины въ своемъ, кругу, а піонеры — въ своемъ, то удивляться тутъ нечему. Ихъ обязываетъ къ тому чувство самосохраненія, которое заставляетъ человѣка устранить все, что противно интересамъ его желудка.

Спрашивается, однакожъ, достигается ли въ дѣйствительности та цѣль, которую предположили себѣ при этомъ оба враждующіе лагеря? Обезпечивается ли обособленіемъ сторонъ то безмятежіе обжорства, къ которому онѣ стремятся? Какъ ни прискорбно, но должно сознаться, что результаты въ этомъ случаѣ болѣе нежели сомнительны. Раздоръ, въ теченіе какого-нибудь года, уже такъ крѣпко въѣлся въ наши нравы, что гдѣ бы и въ какихъ бы обстоятельствахъ мы ни находились, онъ никогда не оставляетъ нашу мысль свободною. Даже въ сотрудничествѣ съ исторіографами несомнѣнно замаслѣлыми мы уже не отдадимся наслажденію съ тою беззавѣтною ребяческою рѣзвостью, съ которою отдавались ему лѣтъ двѣнадцать-тринадцать тому назадъ. Да, не предадимся, ибо въ тотъ самый моментъ, когда мы будемъ уже простирать руки, будемъ обонять и предвкушать, передъ нами внезапно, какъ грозный призракъ, встанетъ мысль, что подъ однимъ съ нами небомъ обитаетъ нѣкто, который также ѣстъ блины, но блины далеко не столь жирные, какъ наши, и который эту сравнительную тощесть ставитъ себѣ даже въ заслугу (у меня, дескать, на первомъ планѣ потребности духа и т. д.). Ужели одной этой мысли не достаточно, чтобъ отравить ѣду самую обольстительную? Но ежели мы пойдемъ еще далѣе, то увидимъ, что систематическое отметаніе нашихъ конкуррентовъ по части исторіографіи отъ общенія мало того, что не умаляетъ нашей горечи, но даже значительно усугубляетъ ее. Въ самомъ дѣлѣ, ежели бы эти ненавистные конкурренты были на-лицо, то насъ, по крайней мѣрѣ хоть на это время, не тревожила бы неизвѣстность, не терзали бы паскудныя предположенія о наушничествѣ, судаченьи и сплетняхъ. Взирая на ихъ ненавистные физіономіи, мы были бы, по крайней мѣрѣ, увѣрены, что они тутъ на-лицо, что они не дѣлаютъ болѣе того, что дѣлаютъ, что они жуютъ или хоть притворяются жующими. Теперь же, когда мы ѣдимъ блины врозь, намъ по-неволѣ думается: что-то дѣлается *тамъ*? Какіе-то измышляются *тамъ* подвохи? И покуда мы задаемъ себѣ подобные незамысловатые вопросы, блины стынутъ да стынутъ и, ложась комьями на наши желудки, производятъ диссентерію.

И выходитъ у насъ нѣчто совершенно нелѣпое: съ одной стороны, мы не можемъ сойтись, потому что этому препятствуетъ чувство самосохраненія; съ другой стороны, расходясь и обособляясь, мы

это чувство самосохраненія попираемъ самымъ неразумнымъ для себя образомъ. Въ обоихъ случаяхъ мы, стало быть, дѣйствуемъ явно въ ущербъ себѣ...

Такимъ образомъ, расколъ политическій, проникая въ наши повседневныя отношенія, окрашивая ихъ и, въ конечномъ результатѣ, производя расколъ въ пищѣ, питіи и играхъ, не только не упадаетъ, но разжигается съ каждымъ днемъ больше и больше. Изъ явленій, повидимому, даже не имѣющихъ мірового значенія, какъ, напримѣръ: блины, стуколка, преферансъ и т. д., мы съумѣли выработать нѣчто въ родѣ знаменъ. На одномъ знамени пишется: изящный вкусъ, утонченныя манеры и наслажденіе благами жизни; на другомъ —чиновническій аскетизмъ, подъ которымъ скромно подразумѣвается обиліе духовныхъ силъ. А въ сущности, все это та же стуколка и тотъ же преферансъ—никакъ не болѣе. И вотъ обѣ партіи начинаютъ хвалиться своими знаменами и даже какъ будто пошаливаютъ ими и взаимно другъ друга поддразниваютъ.—„Даже удовольствія у нихъ какія-то глупыя!“ говорятъ одни; „даже удовольствія у нихъ мужицкія!“ говорятъ другіе—и въ такихъ безплодныхъ разговорахъ тратятъ золотое время, которое съ пользой могли бы употребить за общимъ столомъ!

Справедливость требуетъ, однакожъ, сознаться, что піонеры злоупотребляютъ этою игрою въ знамене гораздо болѣе, нежели исторіографы. Начнемъ хоть съ той же ѣды. Исторіографы — люди по бо́льшей части грѣшные, и подъ веселую руку даже не скрываютъ этого. У нихъ залежались еще кое-какіе остаточки отъ тѣхъ избытковъ, которые, въ бывалыя времена, невзначай прилипали къ ладонямъ—мудрено ли, что вмѣстѣ съ остаточками сохранились и изящный вкусъ, и привычка подмасливать? Напротивъ того, піонеры, хотя и снабженные прекрасными окладами, наѣзжаютъ въ губерніи почти au naturel, т.-е. въ однихъ вицмундирахъ, никакихъ остаточковъ прежнихъ лѣтъ не вѣдаютъ и не признаютъ, и смаху напимаютъ такихъ неслыханныхъ кухарокъ, передъ трудами которыхъ даже кухонные тараканы останавливаются въ смущеніи. Въ переводѣ на удобопонятный языкъ, оба эти положенія могутъ быть выражены такъ: исторіографы ѣдятъ вкусно и притомъ изобильно; піонеры же невкусно и въ обрѣзъ—казалось бы, что́ можетъ быть проще этого, и есть ли тутъ поводъ къ какимъ-либо прекословіямъ? Исторіографы

приблизительно такъ и смотрятъ на это положеніе; они не прикасаются къ піонерской трапезѣ потому просто, что она невкусна, и ежели обзываютъ піонеровъ людьми, не имѣющими понятія о savoir vivre, то дѣлаютъ это не съ злобой, а съ сожалѣніемъ. Совсѣмъ иначе относится къ этому дѣлу піонеръ: какъ человѣкъ духа, онъ въ эпикуреизмѣ историографа видитъ не просто предпочтеніе вкуснаго невкусному, но посрамленіе человѣческаго достоинства и непозволительное политическое чревоугодіе. И вотъ ѣда, этотъ закоснѣйшій, простѣйшій, независимѣйшій изъ актовъ человѣческой жизни, вдругъ, благодаря страстямъ, возводится на степень принципа нравственнаго, соціальнаго и политическаго и, облеченная въ этотъ санъ, становится сѣменемъ раздоровъ и поводомъ для всевозможныхъ взаимныхъ обзываній.

То же самое можно сказать и объ игрѣ въ карты. Любимая игра историографовъ — это стуколка; любимая игра піонеровъ — преферансъ, и притомъ съ мизерами и легкимъ подсиживаньемъ. Надо сознаться, что стуколка — игра глупая по преимуществу; играется она въ три карты, и единственное соображеніе, которое при этомъ нужно имѣть, заключается въ томъ, чтобы, обладая козырнымъ королемъ, имѣть такую морду, какъ будто на рукахъ три семерки фоски. Ясно, что хитрость такого рода и для непрозорливаго ума весьма доступна. Благодаря этой простотѣ, историографы предаются стуколкѣ до самозабвенія, и, начиная стучать съ утра, кончаютъ лишь поздней ночью. Что же касается до преферанса, то, конечно, это игра болѣе сложная, но, говоря по совѣсти, ужели же можно утверждать, чтобы человѣкъ, предающійся ей, тѣмъ самымъ доказывалъ преобладаніе духа надъ плотію, какъ это дѣлаютъ піонеры? А тѣмъ болѣе, придавать столь невиннымъ занятіямъ, какъ преферансъ и стуколка, значеніе нравственно-соціально-политическое и устраивать изъ нихъ предметъ для междоусобій и болѣе или менѣе кровопролитныхъ битвъ?

Но, при извѣстномъ настроеніи общества, всякое лыко пишется въ строку. Одни умѣютъ округлять руки — это признакъ благовоспитанности; другіе, видя это, нарочно начинаютъ махать руками, какъ мельничными крыльями — это признакъ независимости; одни хвастаютъ своими связями въ высшихъ сферахъ; другіе, напротивъ, хвастаютъ тѣмъ, что у нихъ никакихъ связей въ высшихъ сферахъ

нѣтъ. Всякая дрянь дѣлается предметомъ распри, которая, такимъ образомъ, грозитъ продлиться безъ границъ.

Піонеры въ этомъ случаѣ, конечно, болѣе виноваты, нежели исторіографы. Они виноваты уже тѣмъ, что ни къ какому дѣлу не приступаютъ просто, а все какъ бы священнодѣйствуютъ. И при этомъ тычутъ въ глаза: посмотри, какой я умный, какой я честный, какой я развитой и какъ твердо знаю уложеніе о наказаніяхъ! Исторіографы видятъ это и выходятъ изъ себя. Они втайнѣ сами сознаютъ превосходство піонеровъ; по секрету, они даже ропщутъ. „Господи! да отчего же мы такіе глупые?“ восклицаютъ они по временамъ; но существенно ихъ огорчаетъ совсѣмъ не то, что они глупы, а то, зачѣмъ имъ такъ явно тычутъ въ глаза ихъ недальновидностью. Скажите имъ это же самое обинякомъ, отнеситесь снисходительно къ ихъ слабости и безпомощности, и тогда, быть можетъ, и для васъ, о, піонеры, отверзутся ихъ объятія и для васъ сдѣлаются доступными ихъ жирные блины.

Но, въ ожиданіи вожделѣнной минуты самообниманія, нельзя умолчать объ одномъ явленіи, хотя и довольно извѣстномъ, но которое въ послѣднее время въ особенности огорчительно вліяетъ на жизнь провинціальнаго общества. Явленіе это — такъ-называемыя „складныя души“, число которыхъ, благодаря раздору, день ото дня возрастаетъ съ быстротою по истинѣ изумительною.

„Складныя души“ — явленіе не новое; дѣятелями этой категоріи издревле изобиловали всѣ профессіи человѣческой дѣятельности, всѣ отрасли человѣческаго знанія. Издревле существовали сплетники политическіе, литературные, государственные и научные; тѣмъ не менѣе явленіе это настолько важно, что тотъ оказалъ бы немаловажную услугу, кто прослѣдилъ бы участіе „складныхъ душъ“ въ исторіи человѣческой цивилизаціи, кто изложилъ бы то ученіе, въ силу котораго человѣческая душа, нимало не стыдясь, дѣлается складною. Не претендуя на выполненіе такой обширной задачи, мы займемся собственно современными и притомъ провинціальными „складными душами“.

Если вы видите человѣка, который мечется какъ угорѣлый между двумя враждебными лагерями и называетъ это метаніе мудростью — будьте увѣрены, что это „складная душа“; если вы видите человѣка, который, называя себя піонеромъ, не прочь иногда

въ сумерки забѣжать покалякать съ исторіографами насчетъ піонерскихъ дѣлъ, и называетъ это дипломатіей —будьте увѣрены, что это „складная душа“; если вы видите человѣка, который утверждаетъ, что въ иныхъ случаяхъ ломанная линія можетъ быть короче прямой, и называетъ это постепенностью въ преуспѣяніи — будьте увѣрены, что это „складная душа“.

Если намъ кажется мелкою распря, существующая между исторіографами и піонерами, если мы не можемъ безъ нѣкоторой ироніи отнестись къ тѣмъ потугамъ, при помощи которыхъ піонеры силятся доказать, что Россія достигла зенита своего благополучія, то это нимало не распространяетъ нашего недовольства на самыя личности піонеровъ, личности во всякомъ смыслѣ честныя. Мы въ этомъ случаѣ только задаемъ себѣ вопросъ: возможно ли видѣть въ піонерскомъ ремеслѣ что-либо дѣйствительно обновляющее (а не просто обязанность состоять лишь при исправленіи должности піонера), когда въ основаніи этого ремесла нѣтъ никакихъ необходимыхъ гарантій, которыя ограждали бы его будущность? И, задавши этотъ вопросъ, невольно пожимаемъ плечами. Но этого мало: при всей исключительности нашихъ симпатій къ піонерамъ, мы и къ ремеслу исторіографа относимся безъ ожесточенія, хотя и не питаемъ къ нему положительно никакихъ симпатій. Ужъ это такъ самимъ Богомъ устроено, чтобъ были на святой Руси піонеры и были исторіографы, и чтобъ они взаимно препирались. На что же тутъ претендовать? И такимъ образомъ объ *великія партіи*, раздирающія въ настоящую минуту наши губерніи, если не въ равной степени привлекаютъ наши симпатіи, то, по крайней мѣрѣ, находятъ себѣ нѣкоторую экспликацію.

Совсѣмъ другое дѣло — „складныя души“. Ихъ дѣятельность есть именно та дрянная дѣятельность, о которой нельзя говорить безъ чувства гадливости. Не негодованія, а именно гадливости.

Во всѣ времена провинціи наши изобиловали „складными душами“; во всѣ времена водились въ ней охочіе люди, готовые по первому знаку травить на чужой счетъ хорошую ѣду. Въ бывалое время въ особенности суетились и оживлялись эти люди передъ наступленіемъ дворянскихъ выборовъ. Смиренные и заспанные незадолго передъ тѣмъ, они внезапно оживали и, словно сурки подъ вліяніемъ лучей весенняго солнца, выползали изъ своихъ норъ. И начиналась у нихъ тутъ суета, бѣготня и то безмѣрное жранье, передъ размѣ-

рами котораго робѣетъ самая смѣлая человѣческая мысль. Здѣсь продавались за рюмку водки старые благодѣтели и покупались новые, и тутъ же сряду, за другую рюмку, продавались новые благодѣтели и вновь покупались старые. „Складныя души“ носились по улицамъ, какъ озарѣнныя; глаза ихъ блестѣли, ноздри раздувались, уста источали слюну, утробы ныли.

Это было зрѣлище не весьма пріятное для глазъ, но оно выкупалось простодушіемъ своего содержанія. Какъ бы гадливо ни относились вы къ этимъ слюноточивымъ героямъ, вы, все-таки, могли быть увѣрены, что за ихъ бѣготнею ничего нѣтъ и не можетъ быть, кромѣ ѣды. Хватая съ изумительною ловкостью бросаемыя подачки, эти люди продавали, сплетничали и лгали такъ неискусно, что никому даже и на умъ не всходило заподозрить ихъ въ умыслѣ. Но съ усовершенствованіемъ нравовъ усовершенствовались и „складныя души“. Это не прежніе халатники, едва не падавшіе въ обморокъ при видѣ куска колбасы; нѣтъ, это люди очень приличные, которыхъ помыслы хотя и вертятся около пироговъ, но около пироговъ, такъ сказать, невещественныхъ, около пироговъ почестей, славолюбія и карьеръ.

Нынѣшняя „складная душа“, по положенію своему, въ большинствѣ случаевъ принадлежитъ къ піонерамъ. Но, обуреваемая жаждою почестей и постигнувъ въ совершенствѣ духъ вѣка сего, она скоро догадывается, что піонерское поле — безплодное поле, и что пироги заправскіе, румяные пироги съ начинкой, пекутся совсѣмъ не тутъ, а индѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни безпутничай, какую безлѣпицу ни твори историографъ, ему все какъ съ гуся вода. Для всѣхъ видимо, что онъ и невѣжественъ, и безполезенъ, и ни на что неспособенъ, что онъ только мутитъ общество нескончаемыми сплетнями и навязчивою праздностью. Кажется, мало въ преисподней пропасть такому человѣку — анъ нѣтъ! стоитъ себѣ какъ столбъ, и даже не покачивается! „Стало быть, сила-то еще тамъ!“ говоритъ, замѣчая это, „складная душа“, и въ то же время обдумываетъ, какъ бы такимъ манеромъ сыграть Іуду-предателя, чтобы никто этого не примѣтилъ. И, не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, начинаетъ подвиливать.

Сначала дѣло идетъ хорошо, потому что піонеры на этотъ счетъ просты. Развѣ у самаго прозорливаго вырвется слово: „чудакъ!“

при видѣ, какъ неуклюжая „складная душа“ тщетно старается вытанцовать какое-то граціозно-историографическое нà, какъ она округляетъ руки, въ знакъ благовоспитанности, какъ усиливается придать своимъ взорамъ умильно-почтительно-преданное выраженіе. „Складная душа“ всячески скрываетъ свою игру какъ можно долѣе и нерѣдко объясняетъ ее даже цѣлями пользы и дальновидности. Нужно, дескать, видѣть врага лицомъ къ лицу, нужно подробно знать его средства, чтобы съ успѣхомъ отражать наносимые имъ удары и разрушать его козни. И дѣйствительно, мелькнувъ между историографами, „складная душа“ черезъ минуту опять поворачивается къ піонерамъ и вновь подтанцовываетъ имъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, какіе они чудаки! — говоритъ она, позѣвывая и потягиваясь: — даже разговоръ у нихъ словно дѣтскій. Обрывки какіе-то!

Піонеры слушаютъ это и восхищаются. Имъ лестно, что даже тотъ человѣкъ, который всѣхъ болѣе изъ нихъ оказываетъ способностей къ почтительно-умильному выраженію лица—и тотъ сознается, что, въ виду этихъ полулюдей, не можетъ быть рѣчи о какомъ-либо общеніи. „Складная душа“ даже пріобрѣтаетъ нѣкоторую популярность между піонерами; ей не только не вмѣняется въ порокъ подвиливанье передъ историографами, но даже усматривается въ этомъ какое-то доказательство „симпатичности“ характера.

Но вотъ мало-по-малу на горизонтѣ показываются тучи, въ лагерѣ историографовъ слышится безмозглый шопотъ, виднѣются загадочныя улыбки, произносятся нелѣпыя односложныя слова. Піонеры начинаютъ чувствовать себя неловко; они стараются проникнуть въ смыслъ односложныхъ словъ, но слова эти такъ глупы, что проникнуть въ нихъ невозможно. Сдается, однакожъ, что въ нихъ скрывается какое-то смутное обвиненіе и едва-ли не обвиненіе въ заговорѣ. И вдругъ—открытіе! Одному изъ піонеровъ-застрѣльщиковъ удалось сослѣдить „складную душу“ и изловить ее на мѣстѣ преступленія. Онъ собственными глазами видѣлъ, какъ „складная душа“ перемигивалась и перешептывалась, и какъ вслѣдъ за этимъ перешептываньемъ въ историографическомъ лагерѣ сдѣлались извѣстными нѣкоторыя піонерскія провинности. Піонеръ-застрѣльщикъ не слышитъ подъ собой земли при мысли, какую услугу Богъ привелъ ему

оказать достолюбезному піонерскому дѣлу; онъ дѣлается краснорѣчивъ, онъ представляетъ факты, доказываетъ и убѣждаетъ.

— Прочь измѣнника!—рѣшаютъ хоромъ піонеры...

„Складной душѣ“ нѣкоторое время не совсѣмъ ловко; сначала ей даже сдается, какъ будто ее побили; но такъ какъ она прежде всего имѣетъ природу общительную, такъ какъ она минуты отдохнуть не можетъ безъ общества людей, хотя бы дрянныхъ, то никакія жизненныя невзгоды не ставятъ ее въ затрудненіе и не заставляютъ долго задумываться. И дѣйствительно, не успѣло еще остыть негодованіе, возбужденное открытіемъ піонера-застрѣльщика, какъ „складная душа“ уже всецѣло предалась исторіографамъ.

Для исторіографовъ подобные перебѣжчики всегда драгоцѣнны. Во-первыхъ, какъ ни остерегаются передъ ними піонеры, но такъ какъ, говоря выраженіями пословицы, отъ своего вора уберечься нельзя, то всякое праздное слово, произнесенное въ піонерскомъ кружкѣ, неминуемо пересказывается исторіографамъ до точности. Во-вторыхъ, „складная душа“ знаетъ слабыя стороны піонерскаго дѣла, и потому можетъ наносить удары болѣе дѣйствительные и злохитрые, нежели тѣ, которые наносятся исторіографами. Въ-третьихъ, люди эти, хотя и съ подлинцою, все-таки имѣютъ внѣшніе признаки людей современныхъ и развитыхъ, и слѣдовательно присутствіе ихъ значительно скрашиваетъ общество исторіографовъ.

А посему, когда „складная душа“ перебѣгаетъ къ исторіографамъ, то она нѣкоторое время катается какъ сыръ въ маслѣ. Обвороженные мужья кормятъ ее, потчуютъ наливками и охотно ввѣряютъ ей всѣ интересы, оставляя за собой только стуколку; бѣлотѣлыя жены сверкаютъ передъ глазами счастливца обнаженными бюстами, какъ будто говоря: „ну, скажи, дурашка, видалъ ли ты что-нибудь подобное у вашихъ некормленныхъ?“

„Складная душа“, упоенная, пламенѣющая и алчущая, не ходитъ, а носится по стогнамъ града, какъ будто у нея выросли сзади невидимыя крылья.

Но увы! „складная душа“, разсчитывая на пироги, обыкновенно упускаетъ изъ виду одно: великую глупость исторіографовъ. Это промахъ тѣмъ болѣе непростительный, что исторіографъ глупъ очевидно, глупъ по призванію, глупъ безъ уменьшающихъ вину обстоятельствъ, глупъ какъ чуланъ. Онъ отъ природы такъ устроенъ, чтобъ

быть глупымъ, и потому чѣмъ нелѣпѣе исторіографъ, тѣмъ онъ исторіографичнѣе. Заручившись перебѣжчикомъ, исторіографъ, какъ сказано выше, сгоряча всячески ублажаетъ его—это первый періодъ или, лучше сказать, медовый мѣсяцъ этого незаконнаго союза. Затѣмъ, замѣчая, что „складная душа“ идетъ ходко, исторіографъ мало-по-малу начинаетъ думать, что тутъ съ ея стороны не принесено никакой жертвы и что измѣна „складной души“ есть не что иное, какъ должная дань превосходнымъ его, исторіографа, душевнымъ качествамъ. Поэтому онъ начинаетъ обходиться съ перебѣжчикомъ съ панибратскою откровенностью, вываливаетъ передъ нимъ пахучій хламъ своей души и, въ заключеніе, требуетъ, чтобы „складная душа“ разыгрывала передъ нимъ, исторіографомъ, комедіи. Это періодъ второй. „Складная душа“, упоенная и счастливая, сначала не только не огорчается подобными поползновеніями, но даже въ угоду благодѣтелямъ выкидываетъ нѣкоторыя колѣнца. Но чѣмъ больше выкидываетъ она колѣнцевъ, тѣмъ ненасытнѣе дѣлается относительно сего рода зрѣлищъ исторіографъ; избалованный угодливостью своего кліента, онъ начинаетъ предъявлять свои требованія безпрестанно, предъявлять ихъ даже тогда, когда „складной душѣ“ вовсе не хочется откидывать колѣнца. Наступаетъ минута, когда несчастный кліентъ начинаетъ смутно понимать, что онъ изъ политическаго перебѣжчика сдѣлался просто увеселителемъ и шутомъ, и вслѣдствіе этого дѣлаетъ попытку надувать губы—это періодъ третій. Видя это, на него начинаютъ дуться въ свою очередь; мало того: въ глазахъ, передъ его носомъ, безъ всякаго зазрѣнія совѣсти, подыскиваютъ, на перемѣну ему, другую „складную душу“ — это періодъ четвертый...

„Складная душа“ содрогается, ибо ее преслѣдуетъ представленіе о потерянномъ раѣ. Видя себя одинокою и не будучи въ состояніи сносить одиночество, она начинаетъ роптать на Провидѣніе. „Природа-мать!—вопитъ какой-нибудь опальный перебѣжчикъ: — зачѣмъ ты надѣлила меня душою складною, а не неуклонною? зачѣмъ ты направила стопы мои по стезѣ шаловливости, а не по стезѣ добродѣтели?“ И, поропталши такимъ манеромъ съ минуточку, онъ тщательнѣе прежняго складываетъ свою удобопереносную душу и предпринимаетъ цѣлую серію такихъ удивительныхъ извивовъ и зигзаговъ, что постороннему зрителю остается только восклицать: „экъ его

ломаетъ!“ Онъ легкими, чуть замѣтными прыжками перебѣгаетъ сцену и осторожно приближается опять къ тому лагерю, который былъ свидѣтелемъ его перваго грѣхопаденія, все озираясь, все обольщая себя надеждою, что никто его не замѣтитъ. Надежда тщетная! прежде, нежели успѣлъ онъ выполнить первое антраша, исторіографы уже заволновались. Они припоминаютъ весь хламъ, который такъ добродушно выбрасывался передъ „складной душою“, и справедливо заключаютъ, что изъ этого хлама можно выработать безподобнѣйшій увеселительный матеріалъ.

— Прочь измѣнника! — восклицаютъ они въ свою очередь, и горе „складной душѣ“, если она въ эту гнѣвную минуту не успѣетъ провалиться сквозь землю; ибо исторіографы, будучи постоянно глупы, нерѣдко бываютъ и пьяны.

Тогда наступаетъ новый фазисъ въ жизни „складной души“, все еще не вѣрящей постигшему ея несчастію, все еще надѣющейся и колеблющейся. Приходитъ она, напримѣръ, въ общественное собраніе, гдѣ за однимъ столомъ ужинаютъ піонеры, за другимъ—исторіографы. Подходитъ она къ столу піонеровъ—и вдругъ все общество, какъ бы по данному знаку, смолкаетъ. „Складная душа“, однакожъ, не робѣетъ и начинаетъ заигрывать; она какъ-нибудь усаживается бочкомъ за общею трапезою (бо́льшею частью около того изъ піонеровъ, который подобрѣе) и изъявляетъ намѣреніе разсказать нѣсколько безцѣнныхъ анекдотовъ изъ жизни знаменитѣйшихъ исторіографовъ. Но никто не внимаетъ, никто не улыбается; собесѣдники хранятъ упорнѣйшее молчаніе и нетерпѣливо между собой переглядываются. Во рту у „складной души“ дѣлается скверно; въ эту минуту она поцѣловала бы ручку у того изъ піонеровъ, который бы хоть крошечку, хоть изъ жалости улыбнулся ей. Тщетно. Нѣсколько времени „складная душа“ продолжаетъ ораторствовать, и новые безцѣнные анекдоты одинъ за другимъ льются изъ ея устъ... И вдругъ голосъ ея прерывается на половинѣ анекдота. „Складная душа“ понимаетъ, „складная душа“ чувствуетъ. Неслышными шагами она ретируется отъ непріязненнаго ей стола и столь же неслышно, даже робко приближается къ другому столу. И опять подсаживанье бочкомъ, опять заигрыванье, опять анекдоты, но на сей разъ уже изъ жизни піонеровъ—и опять гробовое молчаніе, прерываемое отрывистыми возгласами: „водки! уксусу! горчицы!“

Кончается тѣмъ, что „складная душа“ ужинаетъ по срединѣ залы, и ужинаетъ одна-одинешенька.

Дѣти! прочтите внимательно настоящій правдивый разсказъ, и всякій разъ, какъ васъ будетъ соблазнять легкое ремесло „складной души“, представьте себѣ муки, которыя ожидаютъ этихъ несчастныхъ въ семъ вѣкѣ и въ будущемъ! И, размысливъ о семъ, спѣшите, скорѣе спѣшите примкнуть или къ исторіографамъ, симъ піонерамъ прошедшаго, или къ піонерамъ, симъ исторіографамъ будущаго!

Но такъ какъ въ жизни вообще не существуетъ положеній вполнѣ безнадежныхъ, то нѣтъ резона, чтобы это общее правило не примѣнялось и къ опальнымъ „складнымъ душамъ“. Да, и онѣ могутъ ласкать себя надеждами, и онѣ имѣютъ право разсчитывать на лучшее будущее. Въ самомъ дѣлѣ, источникъ „складныхъ душъ“ такъ изобиленъ, что невозможно даже провидѣть, чтобы онъ когда-нибудь изсякнулъ. Предположите теперь, что съ каждою изъ этого легіона душъ произойдетъ тотъ самый процессъ превращеній, который описанъ выше, а именно, что каждая изъ нихъ будетъ сначала наверху славы и величія, а въ концѣ концовъ, все-таки, не минуетъ общей участи „складныхъ душъ“, то-есть опалы и отчужденія. Очевидно, что число отверженцевъ должно будетъ постепенно возрастать и, наконецъ, образуетъ массу достаточно компактную, чтобы обнаружить признаки нѣкоторой самостоятельности. Вотъ тогда-то къ двумъ великимъ корпораціямъ исторіографовъ и піонеровъ прибавится еще третья великая корпорація — „складныхъ душъ“. И будутъ организовавшіяся „складныя души“ жениться и посягать, какъ и прочіе губернскіе люди, будутъ ужинать и танцовать на всей своей волѣ, будутъ принимать визиты и отдавать ихъ, будутъ мириться и враждовать... Однимъ словомъ, народится въ провинціи новая сила...

Письмо третье.

Съ 19-мъ февраля въ понятіи русскаго человѣка всегда соединяется представленіе о чемъ-то весьма доброкачественномъ. Въ особенности же ощутительно доброе вліяніе 19-го февраля въ провинціи. Тутъ 19-е февраля дѣйствовало непосредственно и воочію всѣхъ; тутъ оно и въ самой жизни провело черту, до такой степени яркую,

что то, что стоитъ надъ чертою, не имѣетъ почти ничего общаго съ тѣмъ, что стоитъ подъ чертою. А такъ какъ *надъ* чертою хорошаго стояло мало, то весьма понятно, куда должны тяготѣть общія симпатіи.

Тѣмъ не менѣе, нельзя не сознаться, что и въ провинціальномъ обществѣ существуютъ извѣстные слои, въ которыхъ 19-е февраля отозвалось послѣдствіями свойства довольно неожиданнаго. Въ противность всякимъ соображеніямъ, оно выдвинуло впередъ въ этихъ слояхъ совсѣмъ не тѣхъ, кого слѣдовало выдвинуть, и поставило внѣ дѣятельности совсѣмъ не тѣхъ, кого слѣдовало внѣ дѣятельности поставить. Однимъ словомъ, вышла какая-то безпримѣрная и только у насъ возможная путаница, вслѣдствіе которой вліятельными практическими дѣятелями на почвѣ 19-го февраля явились люди, не могущіе и даже не дающіе себѣ труда воздержаться отъ судорожнаго подергиванія при малѣйшемъ намекѣ на эту почву; люди же, всецѣло преданные дѣлу, вѣрящіе въ его будущность, очень часто не только отстраняются отъ всякаго вліянія на правильный исходъ его, но даже, къ великой потѣхѣ многочисленнаго сонмища фофановъ и праздношатающихся, обзываются коммунистами, нигилистами, революціонерами и демагогами.

И дѣйствительно, вглядитесь нѣсколько въ нашихъ вліятельнѣйшихъ провинціальныхъ исторіографовъ, въ тѣхъ, которые и о-сю пору еще пишутъ вольнымъ духомъ нашу исторію—что составляетъ язву, непрестанно точащую ихъ существованіе? Эту язву составляютъ: упраздненное крѣпостное право, гласные суды, земство, т.-е. именно то, въ чемъ замыкается существенный смыслъ 19-го февраля. Въ чемъ состоитъ самая яркая, характеристичная сторона ихъ дѣятельности? Эта сторона состоитъ въ жалкихъ усиліяхъ во что бы то ни стало подорвать тѣ плодотворныя послѣдствія, которыя заключаютъ въ себѣ намѣренія 19-го февраля...

Какъ ни маловѣроятенъ кажется такой фактъ, но онъ составляетъ явленіе до того общеизвѣстное, что сомнѣваться въ его дѣйствительности нѣтъ ни малѣйшей возможности. Ненавистничество до такой степени подняло голову, что самое слово „ненавистникъ“ сдѣлалось чѣмъ-то въ родѣ рекомендательнаго письма. Ненавистники не вздыхаютъ по угламъ, не скрежещутъ зубами втихомолку, но авторитетно, публично, при свѣтѣ дня и на всѣхъ діалектахъ изрыгаютъ

хулу и, не опасаясь ни отпора, ни возраженій, сулятъ покончить въ самомъ ближайшемъ времени съ тѣмъ, что они называютъ „гнусною заквaскою нигилизма и демагогіи“ и подъ чѣмъ слѣдуетъ разумѣть отнюдь не демагогію и нигилизмъ, до которыхъ ненавистникамъ нѣтъ никакого дѣла, а преобразованія послѣдняго времени.

Торжество ненавистничества есть фактъ недавній, происшедшій на нашей памяти, въ какія-нибудь послѣднія пять-шесть лѣтъ. Много метаморфозъ испытала провинція, много видѣла она видовъ, много вынесла на спинѣ своей всякихъ рукавицъ, а преимущественно ежовыхъ, но ничего подобнаго происходящему на нашихъ глазахъ не испытывала, не видала и не выносила. Цѣлые легіоны ничтожнѣйшихъ шалопаевъ рыскаютъ по градамъ и весямъ любезнаго отечества съ спеціальною цѣлью явно и тайно уничтожать и подрывать дѣйствіе 19-го февраля... скажите на милость, бывало ли когда-нибудь слыхано подобное чудовищное дѣло? Даже обидно становится, когда посмотришь на эту повальную непросвѣтную галиматью, и именно потому обидно, что ни подъ какимъ видомъ ничего нельзя понять. Нельзя понять, почему все это ничтожество, которое, еще такъ недавно, жалось около стѣнъ, смиренномудрячало и притворялось, вдругъ всплыло наверхъ, заняло самую середину сцены и, какъ весенняя мошкара, кружится на солнцѣ, готовое залѣпить и глаза, и носъ, и уши всякому проходящему. Нельзя понять, почему вся эта неспособность, которая, еще такъ недавно, сама сознавала себя ни на что негодною, кромѣ граненія мостовыхъ, зуботычинъ и смертнаго боя, вдругъ загалдѣла о какихъ-то высшихъ соображеніяхъ, о какихъ-то священныхъ интересахъ и правахъ. Что такое произошло? невольно спрашиваешь себя. Что могло вызвать этихъ слѣпорожденныхъ изъ темныхъ ихъ норъ? Ужъ, полно, все ли спокойно въ любезномъ отечествѣ? ужъ нѣтъ ли гдѣ признаковъ, которые бы предвѣщали хоть какое-нибудь, хоть отдаленное замѣшательство?

Можно поручиться, что сами ненавистники затруднятся дать сколько-нибудь удовлетворительные отвѣты на эти вопросы, а если и укажутъ на какіе-нибудь признаки, по мнѣнію ихъ — зловредные, то въ этихъ указаніяхъ всего замѣчательнѣе будетъ не сущность ихъ (всегда ребячески пошлая и лживая), а то злорадство, съ которымъ они дѣлаются. Нельзя себѣ представить того наслажденія, съ которымъ ненавистникъ хватается за всякую поруху, за всякую фаль-

шивую ноту, которою случайно зазвучитъ непріятное ему дѣло. Прослышитъ ли онъ, что народъ бѣдпѣетъ — онъ ликуетъ; вычитаетъ ли, что въ дѣлахъ застой—онъ торжествуетъ всею утробой; дойдетъ ли до него, что города и села опустошаются пожарами — нѣтъ предѣла, нѣтъ границъ его поганымъ восторгамъ. Онъ всякую народную бѣду готовъ пріурочить къ 19-му февраля, потому что въ дурацкой его головѣ нѣтъ ни одной мысли, кромѣ мысли объ обидѣ, нанесенной ему этимъ ужаснымъ для него числомъ. И можно быть увѣреннымъ, что случись когда-нибудь всероссійское землетрясеніе, онъ съ радостью согласится погибнуть подъ развалинами, лишь бы имѣть случай лишній разъ прокричать: „это оно, это 19-е февраля!“

Да; ненавистникъ — существо жалкое, почти помѣшанное отъ злобы. Подобною злобой бываютъ одержимы только люди совершенно глупые, и именно потому, что въ ихъ наглухо-забитыя головы не можетъ проникнуть никакая связная мысль, никакое общее представленіе. Въ этомъ смыслѣ ненавистникъ представляетъ собой психологическое явленіе весьма замѣчательное; онъ, такъ сказать, не различаетъ ни прошедшаго, ни будущаго; онъ не можетъ отыскать начала, не можетъ предвидѣть конца; онъ не постигаетъ связи вещей, и потому существующее представляется ему произвольнымъ и разбросаннымъ, въ видѣ мелкихъ оазисовъ, раздѣленныхъ непроходимыми песками. Врядъ-ли онъ даже имѣетъ ясное представленіе о томъ, что̀ называется отечествомъ. Единственное впечатлѣніе, завѣщанное ему прошедшимъ, это впечатлѣніе дарового куска, который нѣкогда тѣшилъ его утробу; единственное стремленіе его въ будущемъ—это стремленіе къ тому же даровому куску...

И за всѣмъ тѣмъ, надо пожить среди этихъ людей, чтобы убѣдиться, какіе у нихъ здоровые зубы и какъ ловко они умѣютъ вгрызаться въ тѣла ненавистныхъ имъ субъектовъ!

Говорятъ, будто бы Россія изнемогаетъ подъ бременемъ либеральныхъ поползновеній; говорятъ, что эти поползновенія обуреваютъ ее до такой степени, что даже заставляютъ опасаться за ея драгоцѣнное здоровье. Вотъ-дескать та причина, въ силу которой дѣлается необходимымъ появленіе такихъ дѣятелей, которымъ небезъизвѣстна теорія ежовыхъ рукавицъ. Но спросите, гдѣ доказательства этого мнимо-либеральнаго изступленія, потребуйте, чтобы вамъ указали факты, свидѣтельствующіе объ основательности подобнаго

рода опасеній — и вы, вмѣсто фактовъ и доказательствъ, получите цѣлый рядъ трогательно-нелѣпыхъ разсказовъ объ экипажахъ, мчащихся съ горы въ пропасть, о лошадяхъ, вырвавшихся на свободу и умирающихъ съ голоду, и пр. и пр. Мы, провинціалы, охотно прибѣгаемъ къ образамъ (забывая, что это доказываетъ только нашу непривычку мыслить), до того охотно, что даже не даемъ себѣ труда провѣрить, имѣютъ ли эти образы какое-нибудь отношеніе къ данной мысли. Это даетъ намъ возможность уклониться отъ отвѣта; это дозволяетъ намъ безнаказанно клеветать сколько душѣ угодно. Въ самомъ дѣлѣ, что вы можете предпринять послѣ трогательной исторіи объ экипажѣ, мчащемся съ горы въ пропасть? Что, кромѣ того, чтобы вновь потребовать фактовъ и доказательствъ? И вотъ, въ отвѣтъ вамъ, уже готова легенда о вырвавшейся на свободу и умирающей съ голоду лошади!.. Не правда ли, какъ все просто и незатѣйливо въ этомъ заколдованномъ кругѣ, и какъ хорошо должно житься въ немъ глупцамъ-ненавистникамъ!

Дѣло въ томъ, что фактовъ нѣтъ и представлено быть не можетъ, по той простой причинѣ, что ихъ не существуетъ въ натурѣ. Нелѣпые разсказы о какихъ-то „дѣвкахъ-поганкахъ“, требующихъ конституціи, объ отставныхъ солдатахъ и разпощикахъ, посѣвающихъ сѣмена революціи по деревнямъ и селамъ, свидѣтельствуютъ только о крайнемъ умственномъ убожествѣ самихъ разскащиковъ. Намѣренія 19-го февраля пали на такую благодарную почву и укоренились въ ней такъ просто и естественно, что тутъ не можетъ быть мѣста для опасеній. Россія не только не мечется въ либеральной горячкѣ, не только не требуетъ леченія посредствомъ ежовыхъ рукавицъ, но даже относится къ этому леченію не безъ изумленія, хотя и принимаетъ его безъ ропота. Кажется, этого послѣдняго факта одного уже черезъ-чуръ достаточно, чтобъ опровергнуть какую угодно систему доказательствъ въ пользу появленія дантистовъ и ненавистниковъ. И между тѣмъ несомнѣнно, что эти дантисты и ненавистники существуютъ и даже сознаютъ себя призванными къ чему-то высшему. Что за притча сія?

Чтобы понять, какъ трудно и какъ необходимо разрѣшить эту загадку, потрудитесь, читатель, изъ міра интересовъ общественности перенестись мыслью въ тотъ тѣсный міръ, въ которомъ замыкаются ваши частные интересы. Предположите, что вы задумали предпріятіе,

которое не можетъ быть приведено къ концу одними личными вашими усиліями, а требуетъ сотрудничества многихъ другихъ лицъ. Къ кому вы прежде всего обратитесь? не къ тѣмъ ли, которые относятся къ вашему предпріятію сочувственно? не къ тѣмъ ли, которые обладаютъ надлежащею суммой способностей и силъ, необходимыхъ для успѣха вашего дѣла? не къ тѣмъ ли, наконецъ, которыхъ вы, во всякомъ случаѣ, не имѣете повода заподозрить въ лукавствѣ или въ намѣреніи подкопаться подъ васъ? Да, конечно, къ нимъ, къ этимъ способнымъ и сочувствующимъ людямъ, вы и обратитесь; этого требуетъ и здравый смыслъ, и прямая ваша выгода. Законъ, направляющій въ этомъ случаѣ ваши движенія, до такой степени непроизволенъ, что если вы, напримѣръ, затѣваете дѣло хорошее, то избираете для него и сотрудниковъ хорошихъ; а ежели затѣваете дѣло дрянное, или, лучше сказать, не дѣло, а только изворотъ, то и дѣятелей для него избираете изворотливыхъ, а отчасти и гнусныхъ.

Все это до такой степени очевидно, общепонятно и общепринято, что нѣтъ угла въ цѣломъ мірѣ, гдѣ какое-нибудь дѣло дѣлалось бы иначе, какъ при содѣйствіи людей, его понимающихъ, ему сочувствующихъ и къ нему подготовленныхъ. И вдругъ, однакожъ, оказывается, что существуютъ такія сферы человѣческой дѣятельности, гдѣ теорія самоѣдства признается не только полезною, но даже необходимою!

Не правда ли, что мы имѣли полное основаніе назвать такое положеніе загадочнымъ?

Но ежели извѣстное явленіе не подходитъ ни подъ какое логическое объясненіе, то изъ этого слѣдуетъ, что для раскрытія его необходимо прибѣгнуть къ путямъ неестественнымъ. Такъ мы и дѣлаемъ.

Еслибы у ненавистниковъ не было за душой ничего, кромѣ ненавистничества, то дѣло кончилось бы тѣмъ, что они пожрали бы другъ друга и сами себя, и такимъ образомъ вопросъ о достославной ихъ дѣятельности вскорѣ упразднился бы самъ собою. Однакожъ, дѣятельность эта продолжается и заставляетъ предполагать, что тутъ примѣшались кой-какія другія данныя, которыя, въ глазахъ поверхностнаго наблюдателя, смягчаютъ самое ненавистничество и позволяютъ взирать на него безъ негодованія. Данныя эти, какъ увидимъ ниже, чисто внѣшняго свойства и имѣютъ весьма слабое отношеніе

къ сущности 19-го февраля; но такъ какъ у насъ внѣшность и до сихъ поръ еще всегда на первомъ планѣ, то нѣтъ ничего удивительнаго, что тлѣніе, которое за нею стоитъ, ускользаетъ отъ анализа неопытнаго и неискуснаго большинства.

Первое преимущество, которое ненавистникъ охотно выставляетъ впередъ—это приличная и, такъ сказать, дисциплинированная внѣшность. И дѣйствительно, взирая на открытое и розовое лицо какого-нибудь ненавистника, вслушиваясь въ его умѣренно-пошловатую рѣчь, весь смыслъ которой резюмируется словами: „какъ прикажете?“, видя этотъ учтивый носъ и эти ласковые, слегка закатывающіеся глаза, которые, кажется, такъ и говорятъ: „на вѣкъ я твой и даже больше!“, всматриваясь въ его плавную, преданно-спѣшащую походку, въ его мягкій, нѣсколько безцвѣтный жестъ, и не усматривая при томъ въ положеніи его тѣла ничего, кромѣ благодарно-устремляющагося и готовно-дерзающаго, — вамъ даже въ голову не придетъ сказать: „вотъ человѣкъ, у котораго въ сердцѣ завелось уксусное гнѣздо, у котораго въ головѣ засѣла каверза, у котораго внутренности поражены гноящимися струпьями!“ Напротивъ того, вы скажете: „вотъ обворожительный малый, который отлично владѣетъ французскимъ діалектомъ и у котораго, притомъ, изъ всѣхъ поръ сочится потъ готовности и признательности!“ И однажды сказавъ себѣ это, вы непремѣнно почувствуете къ этому человѣку влеченіе, и начнете относиться къ нему съ упорнымъ пристрастіемъ. Неразвитость его вы назовете наивностью, невѣжество—простодушіемъ, незнаніе дѣла—неопытностью; даже въ его лукавствѣ вы будете видѣть не то вредное качество, которое и въ животныхъ низшаго разряда возбуждаетъ отвращеніе, а милую изобрѣтательность не очень обширнаго, но благонамѣренно-направленнаго ума. Вы не замѣтите ни той судороги, которая по временамъ мгновенно пробѣгаетъ по его лицу, ни тѣхъ подергиваній, ни того воздыманія ноздрей, въ которыхъ собственно и заключается ключъ къ его сердцу. Передъ вами только человѣкъ съ мягкими, смѣющимися глазками, съ устремленнымъ впередъ корпусомъ, однимъ словомъ, человѣкъ, котораго можно и намотать на клубокъ, и опять размотать—какъ угодно! Не кладъ ли такой субъектъ? И возможно ли сравнить его съ тѣми угрюмыми личностями, которыя не только не устремляются, но даже какъ будто назадъ опрокидываются? Нѣтъ, ни сравнить, ни промѣнять ни на что подобное невоз-

можно—это ясно какъ день. Это тѣмъ болѣе ясно, что каверзы, которыя выкидываетъ очаровательный ненавистникъ, совершаются не на глазахъ вашихъ, а тамъ, за кулисами, на какомъ-то заднемъ дворѣ...

И вотъ, благодаря граціознымъ манерамъ, прахъ, простой и ничтожнѣйшій прахъ, столбомъ кружится по градамъ и весямъ любезнаго отечества, залѣпляя глаза и носы изумленнымъ обывателямъ!

Другой фактъ, на который сильно упираютъ ненавистники и которымъ они въ особенности отводятъ глаза, заключается въ буквальномъ соблюденіи обрядной части 19-го февраля. Насчетъ обрядовъ ненавистникъ просто левъ, и ему тѣмъ легче геройствовать на этомъ поприщѣ, что самое пониманіе его не идетъ дальше обряда, что все воспитаніе его исключительно основано на обрядѣ и что у него пропасть свободнаго времени, избытокъ котораго позволяетъ ему слѣдить за обрядомъ съ пунктуальностью изумительною. Мундиры, парады, обѣды, молебны—вотъ почва, на которой твердо стоитъ ненавистникъ, и плохо придется тому, кого проницательный взоръ его усмотритъ на этой почвѣ небрежнымъ или неисправнымъ. Нужды нѣтъ, что тутъ же, въ этомъ самомъ мундирѣ, ненавистникъ измышляетъ пакость тому самому дѣлу, въ пользу котораго онъ парадно вырядился,—повторяемъ: эта пакость совершится за кулисами, на заднемъ дворѣ; на сценѣ же будутъ красоваться всѣ внѣшніе признаки преданности дѣлу, на сценѣ будетъ обрядъ—а много ли найдется людей, которые съумѣютъ отличить обрядъ отъ сущности? И такъ: горе тому, кто оплошалъ въ мундирный день! горе тому, кто въ день сей страдалъ головною болью или коликами! горе тому, кто просто позабылъ о происходящемъ торжествѣ, а усмотрѣнъ былъ во время оное гуляющимъ! Тысячи обвиненій, одно другого нелѣпѣе, одно другого зловреднѣе, посыплются на его голову, и ежели не поразятъ окончательно, то навредятъ и нагадятъ настолько, что человѣку опротивѣетъ не только провинція, но и самая дѣятельность, на которую онъ въ ней осужденъ.

Да; вотъ и дрянные, повидимому, людишки, а подите-ка, уберитесь отъ ихъ бѣлыхъ, поганыхъ зубовъ! устойте-ка противъ ихъ козней, несмотря на явную нелѣпость и глупость послѣднихъ!

Читателю петербургскому всѣ эти неудобства и каверзы провинціальной жизни могутъ показаться паршивыми дрязгами — не

больше. Многаго изъ нихъ онъ не пойметъ, о многомъ скажетъ, что все это дѣла, не стоющія плевка. Конечно, съ своей точки зрѣнія, петербургскій читатель будетъ правъ; но представьте себя, такъ сказать, водворенным среди этихъ паршивостей, представьте, что вы вошли въ тучу комаровъ, которые и жужжаніемъ, и жаленіемъ до того одолѣваютъ васъ, что даже парализируютъ самую вашу мысль —какъ отнесетесь вы къ подобному положенію? Прибѣгнете ли вы къ тѣмъ высшимъ соображеніямъ, въ виду которыхъ это положеніе не стоитъ плевка? Назовете ли его именемъ дрязговъ?.. Да, это дѣйствительно не больше, какъ дрязги, но потому-то именно они такъ больно и вліяютъ на человѣка, что ужъ черезъ-чуръ паршивы. Смириться передъ ними—нѣтъ резона; уединиться среди нихъ — тѣмъ дряннѣе и омерзительнѣе встанетъ передъ вами картина этой властной и торжествующей паршивости. Однимъ словомъ, для провинціи это вопросъ совсѣмъ не пустой, а вполнѣ жизненный и совершенно неизбѣжный. Шпіонство, наушничество и вольный доносъ до того одолѣли ее, что некуда дѣваться порядочному человѣку, нельзя совершить самаго простого акта, чтобы не подвергнуться всякаго рода зловреднымъ толкованіямъ.

И сверхъ того, не надо забывать, что эта паршивость не потому только вредна, что она заѣдаетъ того или другого субъекта, но и потому, что она врѣзывается въ самую жизнь и растлѣваетъ наилучшія намѣренія. Не надо забывать, что это паршивость, не лишенная аттрибутовъ силы, а потому дѣйствующая самоувѣренно и почти безъ возраженій. Но это-то именно и не понимается въ Петербургѣ, и потому всякое, даже слабое противодѣйствіе ненавистничеству представляется тамъ какою-то неумѣстною строптивостью.

Вообще, Петербургъ не охотникъ до такъ-называемыхъ пререканій: они кажутся ему вредными; они тревожатъ его олимпическое спокойствіе; они мѣшаютъ ему думать, что въ любезномъ отечествѣ все обстоитъ благополучно. Петербуржцу кажется, что стоитъ какому-нибудь Ивану Иванычу хорошенько поцѣловаться съ Иваномъ Никифорычемъ — и все пойдетъ какъ по маслу. „Помилуйте! вѣдь это все преувеличенія! вы тамъ деретесь, а мы должны изъ-за вашихъ ничтожныхъ дракъ оставлять наши общія соображенія!“ — вотъ что обыкновенно слышитъ страдалецъ-провинціалъ отъ любого петербуржца, которому вздумаетъ повѣдать повѣсть своихъ провин-

ціальныхъ затрудненій. И никакъ не убѣдится глубокомысленный петербурженъ, что есть же причина, которая обусловливаетъ эту организованную драку, и что ежели тутъ на первомъ планѣ пустяки, то это именно тѣ пустяки, которые загораживаютъ живое и кровное дѣло, которое дѣлается отнюдь не въ Петербургѣ, а въ провинціи.

Надо сознаться, что въ послѣдніе три-четыре года въ провинціальной жизни выработалось много не весьма хорошаго, и между прочимъ явилась на свѣтъ цѣлая система обвиненій, противъ которыхъ предполагаются невозможными никакія возраженія. Таковы, напримѣръ, обвиненія въ нигилизмѣ, въ коммунизмѣ, въ демократизмѣ, въ безвѣріи и т. п. Обвиненія, при извѣстныхъ условіяхъ и при общей сбивчивости понятій объ истинномъ смыслѣ ихъ, очень вѣскія. Спросите любого ненавистника, что онъ разумѣетъ подъ этими выраженіями, которыми онъ сыплетъ направо и налѣво, онъ навѣрное разинетъ ротъ или понесетъ совершеннѣйшую чепуху. Но дѣло въ томъ, что ему совсѣмъ и не важно знать, какое значеніе имѣетъ то или другое выраженіе; для него достаточно быть увѣреннымъ, что есть на свѣтѣ такіе сладкіе термины, которые позволяютъ ему стрѣлять въ упоръ, и вотъ онъ постръливаетъ да постръливаетъ себѣ полегоньку, отнюдь не сомнѣваясь, что выстрѣлы его рано или поздно достигнутъ-таки надлежащей цѣли. Положимъ, напримѣръ, вы доказываете ненавистнику, что недозволительно доводить крестьянъ до разоренія подъ благовиднымъ предлогомъ казеннаго интереса, съ дѣйствительною же цѣлью — пускай, дескать, знаютъ поганцы, какова сладка хваленая ихъ свобода! — и вотъ, вмѣсто отвѣта, въ васъ стрѣляютъ обвиненіемъ въ коммунизмѣ! Или, положимъ, вы доказываете необходимость и пользу независимости судовъ, пользу, признанную закономъ, а въ васъ, вмѣсто отвѣта, стрѣляютъ обвиненіемъ въ неуваженіи къ власти! Что предпримете вы противъ такихъ обвиненій? Станете ли возражать, что между коммунизмомъ и правильнымъ ходомъ крестьянской реформы, между неуваженіемъ власти и независимостью судовъ нѣтъ никакой связи? но развѣ тутъ можетъ быть рѣчь о какой бы то ни было связи? Развѣ тутъ что-нибудь требуется, кромѣ гнуснаго голословнаго обвиненія? Да, это положеніе почти безнадежное...

Есть, впрочемъ, одна сила, которая могла бы удерживать ненавистниковъ въ предѣлахъ благопристойности, ежели бы ей было дано

надлежащее развитіе и ежели бы она сама сознавала, какъ много она значитъ и какъ много можетъ. Эта сила—печать.

Не можно измыслить тѣхъ проклятій, которыми осыпается въ провинціи бѣдное печатное русское слово, но въ то же время трудно себѣ представить трепетъ болѣе почтительный, нежели тотъ, съ которымъ ожидаетъ ненавистникъ печатной кары своимъ злоумышленіямъ. Совершивши свинство, ненавистникъ долгое время проводитъ въ весьма нелегкихъ терзаніяхъ. Съ тѣхъ поръ, какъ завелась такъ-называемая спасительная гласность, жизнь значительно опостылѣла ненавистнику. Гг. Катковъ, Аксаковъ, Скворцовъ и проч. кажутся ему не просто смертными, а какими-то недремлющими волшебниками, которые невидимо присутствуютъ при всякомъ паскудномъ дѣяніи и отъ которыхъ безполезно было бы даже что-нибудь таить. Они все видятъ, все знаютъ, все предугадываютъ. И вотъ, въ виду этого всевѣдѣнія, за содѣяннымъ свинствомъ всегда наступаетъ для ненавистника рядъ дней томительнаго ожиданія кары, ожиданія болѣе тяжкаго, нежели самая кара. „Не можетъ быть, чтобъ меня не сказнили!“ резонно твердитъ себѣ ненавистникъ, и содѣянное свинство во всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ встаетъ въ его воображеніи, а дни полученія газетъ становятся днями трепета и невыносимѣйшихъ нравственныхъ истязаній.

Само собой разумѣется, что, въ большинствѣ случаевъ, эти ожиданія только трепетомъ и разрѣшаются; но велико бываетъ смятеніе въ тѣ рѣдкіе и памятные дни, когда и въ самомъ дѣлѣ въ одной изъ газетъ появляется краткое извѣстіе о нашихъ секретныхъ и явныхъ дѣяніяхъ.

Представьте себѣ физіономію ненавистника, который вдругъ вычитываетъ изъ газетъ, напримѣръ, слѣдующее извѣстіе:

Наилучшій способъ употребленія пожарныхъ лошадей. Изъ города Окова пишутъ: „Пожары въ нашемъ городѣ, благодареніе Богу, рѣдки, и вотъ мѣстные распорядители, чтобъ не лишить пожарныхъ лошадей полезнаго моціона, придумали ссужать ихъ подъ кавалькады туземнымъ аристократамъ. Недавно одна изъ такихъ кавалькадъ красовалась по улицамъ города, и обыватели имѣли случай убѣдиться, что лошади эти выѣзжены подъ верхъ весьма удовлетворительно“.

Или:

Особенный видъ благотворительности. Изъ Окова пишутъ: „Недавно цвѣтъ нашего аристократическаго общества давалъ съ благотворительною цѣлью любительскій спектакль. При этомъ способъ привлеченія публики былъ избранъ хотя и не новый, но весьма оригинальный: билеты навязывались обывателямъ подъ угрозой мести; сказываютъ даже, будто нѣкоторые извозчики получили по нѣскольку билетовъ, и были въ большомъ затрудненіи, въ какихъ костюмахъ явиться на драматическій фестиваль. Однимъ словомъ, явился новый, неожиданный налогъ".

Нельзя, конечно, сказать, чтобы замѣтки эти были очень ядовиты или глубоко захватывали наши провинціальныя немощи, тѣмъ не менѣе и онѣ, несмотря на свою невинность, производятъ дѣйствіе довольно существенное. Видя себя застигнутымъ, ненавистникъ нѣкоторое время смотритъ совершеннымъ именинникомъ. Онъ чаще обыкновеннаго появляется въ публику, и хотя старается игнорировать о поднесенномъ сюрпризѣ, но въ то же время озирается и ищетъ. Онъ перебираетъ въ умѣ своемъ личности, которыхъ можно заподозрить въ знаніи орѳографіи и знаковъ препинанія; онъ подслушиваетъ, подсматриваетъ, подсылаетъ; онъ то нападаетъ на слѣдъ, то теряетъ его... Конечно, ежели виновникъ обнаружится, то и онъ, въ свою очередь, не останется безъ сюрпризовъ весьма существенныхъ; тѣмъ не менѣе можно поручиться навѣрное, что кавалькады уже не повторятся, и что аристократкамъ города Окова уже не придется щегольнуть передъ извозчиками богатствомъ блондъ и кружевъ. Что жъ, и это результатъ хоть куда! По крайней мѣрѣ извозчики за насъ, бѣдныхъ литераторовъ-обывателей, Богу помолятъ!

Но ежели таковъ результатъ обличеній мелкихъ и случайныхъ, то можно себѣ вообразить, во сколько кратъ онъ былъ бы дѣйствительнѣе, еслибъ эти обличенія повторялись почаще (этакъ черезъ день по ложкѣ), или—что гораздо важнѣе—еслибъ эти обличенія затрогивали самый строй провинціальнаго быта и выводили наружу тѣ немыслимыя ни въ какомъ цивилизованномъ обществѣ противорѣчія, въ которыхъ мы путаемся на каждомъ шагу.

Письмо четвертое.

Въ прошломъ письмѣ было мимоходомъ упомянуто, что исторіографы наши снабжены бѣлыми и острыми зубами, которыми они ловко врѣзываются въ ненавистныхъ имъ субъектовъ. Считаю нелишнимъ подтвердить этотъ фактъ и даже остановиться на немъ, такъ какъ чрезмѣрное развитіе плотоядныхъ инстинктовъ можетъ, наконецъ, привести къ совершенному обезлюденію нашихъ провинцій и превратить ихъ въ пустынныя пастбища, на которыхъ будутъ пастись лишь ожирѣвшіе фофаны, стрегомые бдительными исторіографами.

Въ провинціи до сихъ поръ пользуется большимъ авторитетомъ то совершенно неосновательное мнѣніе, въ силу котораго могущество и величіе общества зиждутся исключительно на фофанахъ. Чѣмъ гуще въ извѣстной мѣстности фофанское насажденіе,—говоритъ это диковинное ученіе,—тѣмъ та мѣстность счастливѣе, тѣмъ болѣе представляется залоговъ для обезпеченія будущаго благоденствія страны...

Основанія, изъ которыхъ вышло подобное убѣжденіе, понять довольно трудно; тѣмъ не менѣе, можно догадываться, что главную роль тутъ играетъ едва-ли не пресловутое фофанское смиренство. Предполагается, что человѣкъ, который вообще не имѣетъ наклонности къ мышленію, не можетъ мыслить худо; что человѣкъ, который ничего не дѣлаетъ, или же съ утра до вечера хлопаетъ себя по ляжкамъ, не можетъ дѣлать худа; что человѣкъ, который аккуратно каждый день напивается пьянъ, спитъ глубже, нежели человѣкъ, который пьянъ не напивается, а слѣдовательно не только противообщественныхъ, но и никакихъ сновъ видѣть не можетъ. Отсюда умозаключаютъ, что жить съ фофанами не въ примѣръ удобнѣе, и это заставляетъ многихъ смотрѣть на фофановъ какъ на какую-то каменную стѣну, подъ защитой которой можно радѣть и ревновать на всей своей волѣ.

Съ другой стороны, если человѣкъ имѣетъ видъ незаспанный и не сопитъ, то весьма естественно, что къ нему нельзя подойти съ тою бойкостью и развязностью, съ какой подходятъ къ мертвому тѣлу. Нельзя поставить его въ уголъ носомъ, чтобъ онъ этого не слыхалъ, нельзя ушибить, чтобъ онъ этого не почувствовалъ, нельзя замазать

ротъ скверностью, чтобъ онъ этимъ не стѣснился. То-есть, коли хотите, все это сдѣлать можно, но насъ приводитъ въ негодованіе уже одно то, что вотъ человѣка пришибаютъ, а онъ еще, каналья, стѣсняется!

Но этого мало; не все же ушибать и замазывать рты; иногда необходимость заставляетъ побесѣдовать, посовѣтоваться и вообще поразмыслить. Какъ бы мы ни старались избѣгать преткновеній, требующихъ работы мозгового вещества, но жизнь съ замѣчательнымъ упорствомъ становитъ ихъ передъ нами и дѣлаетъ умственный трудъ неизбѣжнымъ даже для самаго легкомысленнаго изъ исторіографовъ. Вотъ тутъ-то, среди этихъ преткновеній, собственно и познается, что разница между фофаномъ и человѣкомъ несопящимъ существуетъ несомнѣнная и, притомъ, весьма ощутительная.

Исторіографъ, съ внутренней стороны, очень мало чѣмъ отличается отъ фофана: онъ такъ же невѣжественъ, такъ же мало развитъ, нравственныя его убѣжденія и правила почерпнуты изъ того же классическаго источника, то-есть изъ романовъ Поль-де-Кока. Ихъ взаимное отличіе чисто внѣшнее и заключается единственно въ томъ, что исторіографъ можетъ распорядиться дѣятельно, а фофанъ имѣетъ право распорядиться лишь исполнительно. Слѣдовательно, если исторіографъ обращаетъ свое слово къ фофану, то онъ заранѣе увѣренъ, что слово это будетъ по инстинкту понято и принято безъ возраженій; мало того, онъ увѣренъ даже, что фофану непремѣнно покажется, что у него, исторіографа, вылетаютъ изъ устъ совсѣмъ не тѣ глупыя и пошлыя слова, которыя вылетаютъ на самомъ дѣлѣ, а огненные языки. Совсѣмъ другимъ характеромъ отличается слово, обращенное къ человѣку незаспанному и несопящему. Къ великой досадѣ исторіографовъ, этотъ послѣдній имѣетъ неудобную привычку усвоивать себѣ то, что̀ ему говорятъ, и потому на вѣру ничего понимать не умѣетъ. Такъ, напримѣръ: если ему говорятъ: „mais ça ne se fait pas ainsi!“, то онъ, стремясь уяснить себѣ, что̀ именно ne se fait pas ainsi, непремѣнно объ этомъ спроситъ, и когда получитъ объясненіе: „mais c'est impossible!“, то, пожалуй, и опять спроситъ.

Надо думать, что это дѣлается само собой, безъ всякаго дурного умысла. Человѣкъ незаспанный не только самъ желаетъ понять, что̀ ему говорятъ, но хочетъ, чтобы и говорящій былъ не совсѣмъ чуждъ

этому пониманію. Исторіографъ, объясняющій свои намѣренія и предначертанія — вѣдь это такое любопытное существо, что самое обыкновенное чувство человѣколюбія предписываетъ употребить всѣ мѣры, дабы развить его, по крайней мѣрѣ, въ той степени, чтобы онъ познался самого себя. Спрашивается: гдѣ тутъ злокозненность? Согласитесь, читатель, что если мы предположимъ даже самое дурное, если мы посмотримъ на это дѣло даже съ предубѣжденіемъ, то и тутъ врядъ-ли отыщемъ что-нибудь иное, кромѣ неопытности. Мы охотно допускаемъ, что піонеръ, какъ и всякій другой человѣкъ, пускаясь въ опасное плаванье между подводными камнями, носящими названіе исторіографовъ, обязанъ заранѣе подготовиться къ этому подвигу; что онъ прежде всего долженъ основательно изучить Поль-де-Кока и прочихъ классиковъ, потомъ выслушать курсъ наукъ въ заведеніи минеральныхъ водъ и затѣмъ уже, пришибивъ себѣ слегка голову, явиться въ міръ кормчимъ добрымъ и благонадежнымъ. Если онъ не исполнилъ этого—онъ виноватъ; но именно потому-то, что тутъ есть вина безспорная и несомнѣнная, самая простая справедливость требуетъ, чтобы вопросъ былъ ограниченъ его естественными предѣлами, а не усложнялся обвиненіями въ неблагонамѣренности. Зачѣмъ прибѣгать къ уголовщинѣ, когда преступленіе подходитъ къ категоріи дѣяній, вызывающихъ лишь дисциплинарное взысканіе? Не понимаетъ человѣкъ—надо его вразумить; а если вразумлять некогда — надо напомнить кратко, что пониманіе вредно, и указать, для лучшей видимости, на фофановъ, которые никогда ничего не понимаютъ, но живутъ.

Оказывается, однакожъ, что подобное ограниченіе вопроса не такъ легко, какъ можно было бы ожидать съ перваго взгляда; оказывается, что наивная піонерская пытливость до такой степени сразу огорошиваетъ исторіографа, что всякіе компромиссы дѣлаются невозможными. Его поражаетъ безконечно, что слова его не только не кажутся вылетающими изъ устъ въ видѣ огненныхъ языковъ, но даже принимаются съ нѣкоторою недовѣрчивостью относительно смысла, въ нихъ содержащагося. Ему кажется это предумышленнымъ притворствомъ. Онъ пробуетъ прибѣгнуть къ разъясненіямъ, но каждое новое толкованіе приводитъ за собой новую путаницу, а вмѣстѣ съ тѣмъ и новый поводъ кипятиться и негодовать. Раздраженное воображеніе начинаетъ рисовать разнообразнѣйшія картины, въ кото-

рыхъ по одну сторону стоятъ фофаны, все понимающіе и все исполняющіе, а по другую — піонеры, ничего непонимающіе и всему противодѣйствующіе. Разгоряченный непрошенною пытливостью, исторіографъ забываетъ даже свое знаменитое „parlez moi de ça!“ и сразу озадачиваетъ своего собесѣдника восклицаніемъ: „а позвольте васъ, милостивый государь, попросить быть осторожнѣе въ вашихъ выраженіяхъ!“ И такимъ образомъ, тайна словъ: „mais ça ne se fait pas ainsi!“ остается неразъясненною и нерѣдко даже уносится исторіографомъ въ могилу.

И вотъ начинается странный походъ за непониманіе „parlez moi de ça!“ Поднимается генеральная пальба; въ воздухѣ пахнетъ доносомъ; на небѣ собираются тучи, изъ которыхъ, подобно молніямъ, изрыгаются извѣщенія. Внизу стоятъ фофаны, кидаютъ вверхъ шапки и кричатъ: „виватъ!“ Близорукъ и легкомысленно самонадѣянъ будетъ тотъ, кто не пойметъ этихъ предзнаменованій и не поспѣшитъ во-время уложить свой багажъ!

Ни клевета, ни ложь, ни даже свой собственный срамъ не остановятъ исторіографа въ борьбѣ съ человѣкомъ, который не умѣетъ понять сразу значенія „mais c'est impossible“. Не имѣя иныхъ желаній и помысловъ, кромѣ стремленія безпрепятственно расправлять локти, исторіографъ тѣмъ съ бо́льшею яростью нападаетъ на ненавистнаго ему субъекта, чѣмъ болѣе встрѣчаетъ въ немъ сознанія права и законности, чѣмъ болѣе усматриваетъ въ немъ сомнѣній относительно необходимости и полезности безграничной игры локтями. Законность—это тотъ многоглавый минотавръ, съ которымъ сей новый Тезей искони ведетъ неустанную борьбу и ведетъ далеко не безуспѣшно...

Конечно, нельзя не сознаться, что въ безпрепятственности отношеній имѣется немалая доля привлекательности, и что этимъ весьма достаточно объясняется ненависть къ тѣмъ людямъ, которые не скоро поворачиваются и не идутъ на встрѣчу ушибаніямъ; но не слѣдуетъ забывать и того, что привлекательность эта чисто личная, и что для дѣла собственно тутъ пользы ни въ какомъ смыслѣ не предвидится. Мы желаемъ расправлять наши локти на всей своей волѣ — нѣтъ ничего пріятнѣе; но подумаемъ, однако, не рискуемъ ли мы при этомъ, что намъ, въ конечномъ результатѣ, придется расправлять

эти локти въ пустотѣ, что намъ некого будетъ современемъ даже задѣвать ими?

Взглянемъ ближе на эту странную теорію, въ силу которой благополучіе общества ставится въ зависимость отъ размноженія фофановъ, и мы убѣдимся, что выгода, представляемая покладистостью и смиренствомъ фофановъ, есть та кажущаяся выгода, которая на дѣлѣ сейчасъ же сводится къ нулю. Прежде всего, передъ нами обнаружится совершенная неспособность фофановъ къ какой бы то ни было производительности, исключая унавоживанія полей; потомъ обнаружится, что, при всей неспособности и непроизводительности, фофаны въ высокой степени прожорливы и не прочь погулять въ златотканныхъ одеждахъ, что̀ обходится странѣ довольно дорого; наконецъ, обнаружится, что, несмотря на смиренство и послушливость, ихъ исполнительныя качества не стоютъ ломанаго гроша, ибо, даже въ этомъ смыслѣ, они могутъ только шарахаться изъ стороны въ сторону, убивать, ушибать, а не исполнять. А потому, если мы захотимъ представить себѣ среду, исключительно составленную изъ фофановъ, съ полнымъ устраненіемъ какихъ бы то ни было живыхъ элементовъ (чего именно и вожделѣютъ столь пламенно нѣкоторые исторіографы), то въ самомъ ближайшемъ будущемъ убѣдимся, что подобная среда не только не изображаетъ пресловутой каменной стѣны, но представляетъ несомнѣннѣйшую пустоту, въ которой одиноко бушуютъ исторіографы.

Позволительно усомниться въ назидательности подобнаго зрѣлища, хотя и нельзя отказать ему въ нѣкоторой грандіозности. Опытъ съ достаточною убѣдительностью доказываетъ, что успѣхъ какой бы то ни было страны находится въ зависимости совсѣмъ не отъ страдательнаго и безсмысленнаго присутствованія въ ея исторіи фофановъ, а отъ дѣятельнаго участія въ ней живыхъ и сознательныхъ силъ. Истина эта стара, какъ міръ, и только одни исторіографы до сихъ поръ остаются ей чуждыми. Какъ ни вредны науки, но совершенно упразднить ихъ нельзя, потому что

Науки юношей питаютъ,
Отраду старцамъ подаютъ...

и, слѣдовательно, позволяютъ и тѣмъ и другимъ проводить время безъ ущерба для благочинія. Какъ ни неумѣстною кажется созна-

тельность, но и безъ нея обойтись невозможно, потому что только то дѣло прочно, которое дѣлается съ сознаніемъ. Летайте, сколько угодно, изъ края въ край, устрашайте, угрожайте, оглушайте, преслѣдуйте систематически всякое поползновеніе на обладаніе мыслью и убѣжденіемъ, —вы не получите въ результатѣ даже того смиренства, котораго такъ страстно добиваетесь, а будете имѣть только мертвенность.

Предположимъ, въ самомъ дѣлѣ, что какой-нибудь остервенившійся исторіографъ второй или третьей руки все совершилъ, что̀ совершить ему надлежало, то-есть: нигилистовъ истребилъ, коммунистовъ разорилъ, демократовъ разгромилъ, науку упразднилъ, а Польде-Кока водворилъ; что онъ, весь потный отъ трудовъ смертнаго боя, почилъ, наконецъ, на лаврахъ и лицо его сіяетъ удовлетворенною глупостью. Онъ сидитъ, окруженный своими Пьерами, Анатолями, Жоржами, Симонами и прочими бонвиванами польдекоковскаго закала; сидитъ и ведетъ благодушную бесѣду о томъ, какъ отвратительно жить въ Россіи, какъ развратенъ русскій народъ и какъ должно быть теперь привольно тамъ, въ Петербургѣ, на минералкахъ, подъ крылышкомъ у И. И. Излера...

— Je suis solide au poste,
Car j'ai un fier tempérament!—

испускаетъ исторіографъ-побѣдитель, подражая несравненной M-lle Lafourcade.

Приносится мадера, являются исторіографскія жены, исторіографскія помпадурши, исторіографскіе прихвостни и прихвостницы и присутствіемъ своимъ усугубляютъ блескъ торжества.

Таковы первые плоды побѣды. Исторіографы счастливы безконечно.

— Je m'en fiche, contrefiche... —

раздается изъ края въ край съ такимъ мастерствомъ исполненія, что даже становые—и тѣ вдали канканируютъ.

Но не забудемъ, что за первыми плодами всегда слѣдуютъ вторые. Пакостные разговоры имѣютъ ту слабую сторону, что не представляютъ никакого разнообразія, и потому немедленно изсякаютъ. Да и атмосфера въ провинціи какъ-то слишкомъ густа для канкана. Вольно и естественно танцуется этотъ танецъ только на минералкахъ; мы же, провинціалы, слишкомъ тяжелы на подъемъ, слишкомъ стѣс-

нены окружающими сиволапыми мужиками, чтобъ имѣть возможность поднимать ноги до надлежащаго уровня. Такимъ образомъ, нежданно-негаданно наступаетъ время для плодовъ иного рода, и плоды эти оказываются уже далеко не столь сочными и пріятными, какъ плоды пумера перваго.

Возникаютъ преткновенія, требующія непремѣнной и безотлагательной работы мозговъ; возбуждаются вопросы, тоже безъ участія мозговъ отнюдь не разрѣшимые; среда сиволапыхъ даетъ себя чувствовать все стѣснительнѣе и стѣснительнѣе. Въ какую сторону ни оберпется исторіографъ — вездѣ видитъ препятствіе, вездѣ чуетъ сердцемъ противодѣйствіе. Давно ли, казалось, онъ разорилъ нигилистовъ и истребилъ коммунистовъ, а противодѣйствіе не только не унимается, но угрожаетъ принять невеселые размѣры. Оказывается на повѣрку, что исторіографъ понимаетъ подъ противодѣйствіемъ все то, что имѣетъ пепавистное свойство заставлять его двигать мозгами.

— Что дѣлать? какъ поступить?—мечется онъ отъ Симона къ Пьеру, отъ Анатоля къ Жоржу.

Увы! Симонъ только сосетъ палецъ въ отвѣтъ. Пьеръ молчитъ, потому, что продолжаетъ страдать собачьею старостью; Анатоль хотя и стоитъ la loi à la main, но и въ этомъ трогательномъ положеніи усматриваетъ только фигу; что касается до Жоржа, то онъ, какъ малый скоропалительный, предлагаетъ перепороть всѣхъ до единаго, не взирая даже па особъ.

— Mais ce n'est pas pratique, mon cher, ce que vous proposez là! — восклицаетъ въ отчаяніи исторіографъ-побѣдитель, и съ угрызеніемъ впервые проснувшейся совѣсти вспоминаетъ о разоренныхъ имъ коммунистахъ, которые въ данномъ случаѣ, все-таки, могли бы подать полезный совѣтъ и, пожалуй, даже оградить его отъ ожидаемыхъ въ будущемъ головомоекъ.

— Господи! да вѣдь это дураки! — въ первый разъ въ жизни дѣлаетъ онъ остроумное и, притомъ, несомнѣнно правдивое опредѣленіе окружающихъ его бонвивановъ.

Въ первый разъ онъ раскаивается; въ первый разъ онъ чувствуетъ, какъ несостоятельна и даже опасна теорія безпрепятственной игры локтями.

Читатель! не радуйся слишкомъ скоро этому вынужденному обра-

щенію исторіографа къ чувствамъ болѣе или менѣе человѣческимъ! помни твердо, что онъ самъ малый со взломомъ, что для него самого всякое явленіе, заставляющее шевелить мозгами, есть явленіе противное, которое во что бы то ни стало слѣдуетъ исторгнуть вонъ съ корнемъ!

А такъ какъ явленій этихъ много, и дѣло вырыванія корней — дѣло не легкое, то исторіографъ, не находя ни въ себѣ, ни въ своихъ сотрапезникахъ никакихъ мало-мальски практическихъ указаній, дѣлается на время угрюмъ и задумчивъ. Онъ ищетъ глазами, не найдется ли гдѣ какого-нибудь завалящаго піонера, котораго онъ позабылъ второпяхъ разорить; но оказывается, что таковыхъ не обрѣтается. Вездѣ тишь да гладь да Божья благодать; вездѣ умственная нищета и изнурительное нравственное убожество; вездѣ погромъ, вездѣ безсиліе... Вдали пасутся откормленные фофаны, стрегомые сосущимъ палецъ Симономъ и подстегиваемые, для порядка, скоропалительнымъ Жоржемъ.

— Чѣмъ-то насъ сегодня будутъ кормить: бардой или жмыхами?—лѣниво урчатъ фофаны.

Сердце исторіографа сжимается.

— Хоть бы молчали, подлецы! — ворчитъ онъ, досадливо закусывая усы.

И вотъ онъ прибѣгаетъ къ средству самому простому и вмѣстѣ съ тѣмъ очень рѣшительному. Не находя возможности овладѣть жизнью съ помощью собственныхъ средствъ, онъ воздвигаетъ укрѣпленія за укрѣпленіями, окопы за окопами, и уводитъ туда за собой своихъ сотрапезниковъ. „Ужъ тамъ-то, думаетъ онъ, не найдетъ меня никто, и я могу свободно показывать носъ всевозможнымъ вопросамъ!“

Не думайте, однакожъ, чтобъ это были укрѣпленія настоящія, выстроенныя изъ гранита, кирпича и т. п. Нѣтъ, это укрѣпленія бросовыя, на́скоро слѣпленныя изъ такихъ же бросовыхъ и давно повсюду признанныхъ негодными матеріаловъ. Тутъ есть и насиліе, и самоуправство, и безотвѣтственность поступковъ, и безцеремонное отношеніе къ человѣческой личности. И весь этотъ хламъ, весь этотъ бракъ кое-какъ слѣпленъ собственными слюнями исторіографовъ.

Оградивши себя и присныхъ своихъ этими нелѣпыми твердынями, исторіографъ мнитъ, что безсрочно окопался отъ всевозможныхъ за-

просовъ, и что въ крайнемъ случаѣ онъ будетъ имѣть возможность сокрушить безпокойныхъ и противляющихся посредствомъ пальбы.

И дѣйствительно, первое время въ этомъ укрѣпленномъ лагерѣ живется отлично. Поощренный кажущеюся безопасностью, исторіографъ не только не остепеняется, но съ каждымъ днемъ все больше и больше предается пагубнымъ страстямъ. Мало-по-малу онъ упрощаетъ свои пріемы до того, что только фыркаетъ, брыкается и ржетъ.

Все это хорошо; все это такъ, какъ и быть надлежитъ, но, говоря откровенно, какъ-то плохо вѣрится въ силу возводимыхъ исторіографами укрѣпленій. Вообще мы, русскіе, никогда не отличались особенною смѣтливостью по части сооруженія твердынь. Оттого ли, что наши инженеры недостаточно сообразительны, или отъ иной какой-либо причины, но какъ-то всегда оказывается: или что укрѣпленія выстраиваются совсѣмъ не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, или же что подъ видомъ укрѣпленій воздвигаются дрянные карточные домики. А потому, когда намъ приходится палить, то мы либо палимъ по своимъ, либо убѣждаемся, что безъ пороху палить невозможно. Было время (ужъ памятно же оно намъ!—да и гдѣ, наконецъ, тѣ времена, которыя были бы намъ не памятны!), когда мы укрѣплялись и окапывались съ особеннымъ рвеніемъ, когда мы думали даже, что вотъ-вотъ окопаемся отъ цѣлаго міра—и что жъ?—въ ту самую минуту, когда мы мечтали, что дѣло окапыванія, наконецъ, завершилось, когда мы уже простирали руки, чтобы плотно-на́-плотно закупорить себя, какъ въ бутылкѣ... въ эту самую минуту оказалось, что инженеры наши по всей линіи сплоховали!

Это было зрѣлище потрясающее и въ то же время вполнѣ поучительное. Сколько рухнуло разомъ надеждъ, сколько вырвалось криковъ изумленія! Мы до сихъ поръ не можемъ забыть изумленіе одного учителя географіи, который до того понадѣялся на прочность твердынь, что даже въ учебникѣ своемъ написалъ: „Россія есть бутылка, со всѣхъ сторонъ осмотрительно и благонадежно закупоренная“ — и вдругъ долженъ былъ сознаться, во-первыхъ, что Россія совсѣмъ не бутылка, и, во-вторыхъ, что она закупорена очень неплотно, хотя денегъ на укупорку пошло съ три пропасти. Припоминается намъ много и другихъ изумленій, отчаяній и воплей, раздавшихся по поводу незакупоренности нашего отечества, и, сознаемся откровенно, съ тѣхъ поръ нами овладѣло сомнѣніе.

Вотъ, думаемъ мы, уничтожены шлагбаумы—и сердце Россіи не дрогнуло; упразднилось крѣпостное право—и помѣщики возвеселились сугубо; сданъ въ архивъ откупъ—и кабаки пріумножились; наложена печать молчанія на суды земскіе, на суды уѣздные — и злодѣи не только не восторжествовали, но вострепетали пуще прежняго! А вѣдь какія были твердыни и какого переполоха надлежало ожидать отъ ихъ нападенія! И ничего! не только ничего, а какъ будто бы этихъ твердынь совсѣмъ и не бывало! Фактъ этотъ до такой степени поразителенъ, что мы полагаемъ, что если будетъ признано нелишнимъ упразднить казенныя палаты и особыя о земскихъ повинностяхъ присутствія, то и тогда не послѣдуетъ ни потопа, ни труса, то и этой невзгодѣ Россія подчинится съ благоразуміемъ и готовностью, достойными похвалы.

Сверхъ того, исторія всѣхъ временъ и народовъ доказываетъ довольно убѣдительно, что обиліе укрѣпленій всегда порождаетъ извѣстную долю подозрительности, и именно въ тѣ самыя минуты, когда подозрительность всего менѣе желательна. Теченіе жизни самое скромное можетъ, наконецъ, замѣтить, что противъ него умышляется что-то недоброе, и замѣтитъ это тѣмъ скорѣе, чѣмъ чаще напоминаютъ о томъ фальшивыми тревогами и искусственными страхами. Въ ту самую минуту, когда мы всего менѣе о томъ думаемъ, вдругъ съ поразительною ясностью выдвигается впередъ вопросъ: „за что жъ ты дерешься?“ и, постепенно овладѣвая помыслами обывателя, становится въ упоръ всѣмъ насущнымъ потребностямъ дня. И вотъ обыватель становится назойливъ и отчасти пахаленъ; хотя онъ еще не протестуетъ противъ оплеухъ, но уже хочетъ уяснить себѣ это явленіе, хочетъ дойти до сознанія, въ какихъ случаяхъ плюха съ обстоятельствами дѣла согласна, и въ какихъ — нѣтъ. Казалось бы, что тутъ-то именно и ждать отъ твердынь всякой благодати, что вотъ тутъ-то онѣ и дадутъ отпоръ непрошенной обывательской любознательности, а выходитъ совсѣмъ напротивъ: выходитъ, что въ этихъ-то случаяхъ и проявляется во всемъ блескѣ сугубая ихъ несостоятельность.

Во-первыхъ, вопросъ: „за что ты дерешься?“ принадлежитъ къ тѣмъ изумительно яснымъ вопросамъ, которые въ самое короткое время пріобрѣтаютъ неимовѣрное количество прозелитовъ. Во-вторыхъ, не слѣдуетъ упускать изъ вида, что въ подобныхъ обстоятель-

ствахъ всегда немаловажную роль играетъ измѣна. Она незамѣтно проползаетъ въ самое сердце твердыни и ядомъ своимъ растлѣваетъ сердце самихъ налителей. Всѣ эти Жоржы, Пьеры, Анатоли и сосущіе палецъ Симоны оказываются далеко не столь благонадежными и твердыми въ вѣрѣ, какъ это предполагается. Какъ ни запирайте ихъ на замокъ, какъ ни ограждайте отъ соблазна, соблазнъ настигнетъ ихъ неизбѣжно. И вотъ возникаетъ свара и галдѣніе въ самомъ святилищѣ бонвивановъ; зарождается и ростетъ мысль о предательствѣ; число дезертировъ съ каждымъ днемъ увеличивается; костюмъ ренегата становится très élégant et très porté... Въ одно прекрасное утро, бонвиваны, подъ предводительствомъ Жоржа, съ распущенными знаменами и подъ звуки пѣсни:

A Provins, trou-la-la-la!

выходятъ изъ укрѣпленнаго лагеря, и вслѣдъ за тѣмъ пресловутыя твердыни мгновенно покрываются паутиною и заростаютъ репейникомъ.

Тѣмъ не менѣе, въ отношеніи къ нашимъ исторіографамъ, доводы самые убѣдительные оказываются безполезными, потому что они влекутся къ укрѣпленіямъ даже не по своей волѣ, а фаталистически.

Поговорите съ любымъ изъ губернскихъ исторіографовъ — что вы услышите отъ него? — вы услышите жалобы на то, что его положеніе недостаточно твердо; вы услышите назойливыя домогательства объ укрѣпленіи этого положенія; вы услышите пахальныя угрозы, что вселенная разрушится, если въ самомъ непродолжительномъ времени не будутъ приняты дѣйствительныя и энергическія по сему предмету мѣры. Въ виду этихъ суровыхъ сѣтованій и предсказаній, вы вглядываетесь и прислушиваетесь кругомъ, и, къ удивленію, не видите ни одного движенія, не слышите ни одного звука, которые хотя въ самомалѣйшей степени давали бы поводъ для столь трагическихъ опасеній. Вы обращаете ваши взоры на исторіографа — и видите, что у него, сверхъ того, виситъ цѣлый колчанъ стрѣлъ за спиною и руки вооружены увѣсистыми булыжниками. Стало быть, есть чѣмъ и отпоръ дать. „Господи! да рожна, что-ли, ему надобно?“ невольно спрашиваете вы себя.

Не удивляйтесь этому тоскливому голошенію; мы, коренные обитатели губернскихъ палестинъ, можемъ разъяснить вамъ это явленіе

очень просто. Все дѣло въ томъ, что насъ, провинціальныхъ исторіографовъ, съ одной стороны удручаетъ весьма замѣчательная умственная неразвитость, а съ другой стороны не менѣе притѣсняетъ изнуренное преждевременнымъ чтеніемъ Поль-де-Кока воображеніе.

По Поль-де-Коку, жизнь человѣческая представляется въ видѣ цвѣтущей долины и теченіе ея обусловливается самыми несложными мотивами. Обыкновенно какой-нибудь Альфредъ, ремесломъ, по-французски, бонвиванъ, а по-русски — шалопай, шатается по бѣлу свѣту, не держа въ головѣ никакой другой мысли, кромѣ мысли о повсемѣстномъ распространеніи ученія о бездѣлицѣ. И вотъ ему сначала встрѣчается Армансъ, потомъ встрѣчается Бланшъ, потомъ Жюстинъ и множество другихъ ревностныхъ послѣдовательницъ этого ученія. Омъ смакуетъ, порхаетъ съ цвѣтка на цвѣтокъ и съ каждой поочередно разыгрываетъ водевиль на тему: dansons, buvons... et chantons! Наконецъ, однако, онъ пропивается до тла и къ довершенію всего занемогаетъ истощеніемъ силъ. Очевидно, ему надлежитъ пропасть; но Поль-де-Кокъ слишкомъ добродушенъ, чтобы допустить столь справедливую, но печальную развязку. И дѣйствительно, въ самую отчаянную минуту, у изголовья Альфреда является хорошенькій мальчикъ, который своимъ старательнымъ уходомъ оказываетъ благотворное вліяніе на возобновленіе истощенныхъ силъ шалопая. Послѣ довольно продолжительнаго любовнаго бездѣйствія, Альфредъ приходитъ въ себя, прикасается дрожащими руками къ хорошенькому мальчику, и тутъ же начинаетъ чувствовать, какъ возвращаются къ нему способности селезня. Оказывается, что хорошенькій мальчикъ совсѣмъ не мальчикъ, а скромная, но грѣшная дѣвица Клемансъ, которая давно любила Альфреда и съ тайною грустью слѣдила за его истощающими здоровье похожденіями.

Вотъ и все. Незамысловато, но за то общедоступно и успокоительно въ томъ отношеніи, что указываетъ въ перспективѣ легкую поправку распутства, въ лицѣ дѣвицы Клемансъ. Легко себѣ представить, какъ дѣйствуетъ такое чтеніе на человѣка, который былъ основательно подготовленъ къ нему домашнимъ подобнаго же рода воспитаніемъ. Во-первыхъ, онъ получаетъ убѣжденіе, что жизнь есть не что иное, какъ торжество бездѣлицы; во-вторыхъ, онъ проникается мыслью, что для Альфредовъ ни въ чемъ не можетъ быть ни препонъ, ни отказа; въ-третьихъ, онъ пріобрѣтаетъ непреодолимое

влеченіе къ легкому труду; въ-четвертыхъ, онъ окончательно растлѣваетъ и тотъ небольшой обрывокъ умственныхъ силъ, который составлялъ все наличное духовное богатство его. Вообразите же себѣ этого человѣка при первомъ столкновеніи съ дѣйствительною, а не шутовскою жизнью! Вообразите себѣ его въ ту минуту, когда въ головѣ его впервые зарождается подозрѣніе, что міръ населенъ не Клемансами и Жюстинами, а чѣмъ-то инымъ? Какъ долженъ онъ отнестись къ указаніямъ, требованіямъ и противорѣчіямъ жизни?

Очевидно, что сначала онъ отнесется къ этимъ невзгодамъ довольно легко. Онъ, подобно бабочкѣ, будетъ перелетать съ одного цвѣтка на другой, подобно наемной блудницѣ, будетъ расточать всякому встрѣчному поцѣлуи. Но вотъ наступаетъ періодъ истощенія; всѣ цвѣты перепробованы, всѣ поцѣлуи расцѣлованы, а невзгоды не унимаются, шероховатости нимало не сглаживаются. „Клемансъ! гдѣ ты?“ восклицаетъ онъ въ изнуреніи; но увы! Клемансъ не является на выручку, потому что она солгана классиками, въ дѣйствительности же ея нѣтъ и не бывало...

Увы! какъ бы хозяйственно ни устроились исторіографы въ своемъ укрѣпленномъ лагерѣ, положеніе ихъ не сдѣлается отъ этого ни менѣе уединеннымъ, ни менѣе безпомощнымъ. Человѣческая природа слишкомъ сложна, чтобы въ продолженіе неопредѣленнаго времени довольствоваться одною и тою же гнилою пищею. Какъ ни сладки трактаты о прелестяхъ бонвиванства, но съ теченіемъ времени они пріѣдаются даже такимъ необширнымъ умамъ, каковы умы исторіографовъ. Тутъ, кромѣ неизмѣнности содержанія бесѣды, есть еще неизмѣнность пріемовъ и замашекъ, которыми сопровождается бесѣда. Заранѣе извѣстно, какой жестъ сдѣлаетъ Nicolas, какъ прищуритъ глаза Пьеръ, какъ облизнется Simon. Это становится, подъ конецъ, до того отвратительнымъ и невыносимымъ, что потребность освѣжить содержаніе жизни становится вопросомъ дня. Предлагаются различные проекты для улучшенія исторіографскаго быта, стуколка замѣняется игрою въ rouge ou noir; но такъ какъ мозги шевелятся лѣниво, то изобрѣтательная способность оказывается ничтожною. Начинается скука, за скукой сплетни, наушничество, шпіонство; исторіографы зѣваютъ, раскалываются и взаимно другъ друга поѣдаютъ.

Таковы конечные результаты торжества исторіографовъ въ провинціи.

Но все это только личная комедія; могутъ спросить, какъ отзывается она на дѣлѣ? На этотъ вопросъ можно отвѣтить такъ: въ настоящее время въ провинціи никто ничего не дѣлаетъ. Піонеры дѣлаютъ мало потому, во-первыхъ, что орудія дѣйствія находятся внѣ ихъ вліянія, а во-вторыхъ потому, что дѣятельность ихъ почему-то постигается параличомъ. Историографы совсѣмъ не дѣлаютъ ничего, потому что ихъ назначеніе капканировать и мѣшать дѣлать другимъ. Какимъ же образомъ идетъ какое бы то ни было дѣло? На это одинъ отвѣтъ: Провидѣніе...

Петербургская журналистика нерѣдко въ довольно рѣзкихъ формахъ осуждала убѣжденія такъ-называемыхъ „постепеновцевъ“ (къ нимъ всего ближе подходятъ тѣ люди, которыхъ мы разумѣемъ подъ именемъ піонеровъ). Не будемъ входить здѣсь въ разсмотрѣніе сущности этихъ убѣжденій; скажемъ одно: люди этихъ убѣжденій — тѣ самые, противъ которыхъ въ настоящее время направлены самыя ядовитыя стрѣлы историографовъ. Лицо историографа немедленно покрывается пурпуромъ при одномъ видѣ постепеновца, и покрывается не безъ основанія, ибо въ постепеновцѣ онъ видитъ человѣка, которому самою судьбою предназначено отнять у него лакомые куски. Насколько основательно это послѣднее предположеніе — мы сказать не можемъ, но знаемъ, что въ немъ заключается весь смыслъ распри. Не та или другая сущность дѣла, не то или другое направленіе его, а именно лакомые куски составляютъ все содержаніе историографскихъ наѣздовъ съ ихъ темною свитой вольныхъ доносовъ и извѣщеній. Не жалкое ли это зрѣлище? не жалкіе ли правы?

Письмо пятое.

Изъ всего, изложеннаго въ предыдущихъ письмахъ, достаточно явствуетъ, что въ провинціи существуетъ не мало препятствій, которыя въ значительной степени затрудняютъ правильное развитіе скромныхъ зачатковъ, положенныхъ въ основу русской жизни въ теченіе послѣдняго десятилѣтія. Препятствія эти, по нашему мнѣнію, заключаются, во-первыхъ, въ трудно-объяснимомъ, но тѣмъ не менѣе

весьма явственно ощущаемомъ недоброжелательствѣ къ этимъ зачаткамъ со стороны тѣхъ самыхъ лицъ, которыя, по всѣмъ видимостямъ, должны быть наиболѣе заинтересованы въ ихъ успѣхѣ; во-вторыхъ, въ исконномъ и неисправимомъ свойствѣ нашихъ бюрократовъ всякое общее дѣло связывать съ своими личными интересами и повсюду усматривать посягательство на ихъ власть; и, въ-третьихъ, въ крайнемъ невѣжествѣ губернскихъ исторіографовъ, которое фаталистически обрекаетъ ихъ на праздность и заставляетъ прибѣгать къ прекаціямъ и суесловію, какъ къ единственной формѣ, дающей ихъ полусознательнымъ движеніямъ какой-то видъ дѣятельности.

Но, само собою разумѣется, всѣ эти препятствія никакъ не могли бы имѣть той рѣшительной силы, какую они въ дѣйствительности имѣютъ, если бы рядомъ съ ними не существовало нѣчто другое, имѣющее корень въ самомъ складѣ губернской жизни и наносящее ея успѣхамъ ущербъ несравненно болѣе значительный, нежели нелѣпое самопожираніе обозлившихся бюрократовъ второй степени.

По неисповѣдимой волѣ судебъ, у насъ какъ-то всегда такъ случается, что никакое порядочное намѣреніе, никакая здоровая мысль не могутъ удержаться долгое время на первоначальной своей высотѣ. Намѣреніе находится еще въ зародышѣ, какъ уже къ нему со всѣхъ сторонъ устремляются разныя неполезныя примѣси и безцеремонно заявляютъ претензію на пользованіе предполагаемыми плодами его. Не успѣли вы порядкомъ оглядѣться въ новомъ порядкѣ, какъ уже замѣчаете, что въ немъ нѣчто помутилось. Вглядитесь пристальнѣе, и вы убѣдитесь, что тутъ суетится и хлопочетъ цѣлый легіонъ разнообразнѣйшихъ чужеядныхъ элементовъ.

Съ этими чужеядными элементами происходитъ довольно странная исторія. Такъ какъ существованіе ихъ лишено всякой самостоятельности и находится въ тѣсной зависимости отъ болѣе или менѣе удовлетворительнаго состоянія тѣхъ предметовъ, которые доставляютъ имъ питаніе, то казалось бы, что самый простой здравый смыслъ требуетъ, чтобы отношенія паразитовъ къ этимъ предметамъ были основаны на строгой разсчетливости, и чтобы въ дѣлѣ сосанія чужихъ соковъ была, по малой мѣрѣ, соблюдаема извѣстная деликатность и экономія. На практикѣ, однакожъ, всегда случается совершенно противное. Паразитъ непредусмотрителенъ и ограниченъ по преданію; ему не жаль расходовать *чужіе* соки, потому что онъ не понимаетъ,

что это вмѣстѣ съ тѣмъ и *его* соки. Онъ наѣдается всегда до-сыта, т.-е. до тѣхъ поръ, пока вмѣстить можетъ, потому что мысль о завтрашнемъ днѣ слишкомъ отвлечена, чтобы умѣститься въ его головѣ. Поэтому, если въ жизнь закрадываются чужеядные элементы, то зрѣлище, которое на первыхъ порахъ являетъ ихъ плотоядность, бываетъ, по истинѣ, изумительно. Запримѣтивъ въ какомъ бы то ни было общемъ дѣлѣ извѣстнаго рода мякоть, они нападаютъ на нее съ безразсудною прожорливостью саранчи, высасываютъ ее до тла, не сознавая и не предусматривая, что своимъ невоздержаніемъ они не только отнимаютъ у общаго дѣла самые нужные соки (это-то, пожалуй, было бы имъ на руку!), но въ то же время нимало не устраиваютъ и своихъ личныхъ маленькихъ дѣлъ.

Чужеядство—это вреднѣйшее наслѣдіе нашего прошлаго. Нельзя сказать, чтобы этотъ элементъ когда бы то ни было заявилъ міру о своей устойчивости, и чтобы вообще прошлое оправдывало необычайную живучесть его; напротивъ того, онъ постоянно показывалъ себя до того разсыпчатымъ, рыхлымъ и неразсудительно-жаднымъ, что даже не съумѣлъ выработать самаго простого понятія, безъ котораго не можетъ существовать ничто сколько-нибудь претендующее на живучесть—понятія о дисциплинѣ. Но есть у него своего рода драгоцѣнное качество, замѣняющее и устойчивость, и дисциплину — это способность примелькаться—и вотъ, благодаря этой простой и чисто страдательной способности, чужеядство сдѣлалось въ нашихъ глазахъ какъ будто даже не чужеядствомъ, а очень обыкновенной профессіей, которая не только не оскорбляетъ нашего нравственнаго чувства, но съ которой, напротивъ того, мы находимъ нелишнимъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, считаться.

Съ одной стороны способность примелькиваться, съ другой — способность ко всему привыкать, со всѣмъ сживаться — и вотъ въ итогѣ оказываются чудеса! Нельзя себѣ представить, какихъ неожиданныхъ результатовъ достигало иногда чужеядство при помощи одной мелькательной способности. Взору представлялась какая-то безпутная масса, въ которой незамѣтно было ни дѣйствительнаго порядка, ни обдуманной дисциплины, но которая была сильна единственно своими инстинктами. Проникнуть въ эту массу, застать ее на мѣстѣ преступленія, уличить въ чемъ бы то ни было—не представлялось рѣшительно никакой возможности, потому что она съ неимо-

вѣрной быстротой засасывала всякую штуку и тутъ же безслѣдно хоронила концы въ воду. Виноватыхъ не находилось, не потому, чтобы ихъ не существовало въ натурѣ и чтобы въ толпѣ чувствовалось оскудѣніе въ предателяхъ, а потому просто, что въ самомъ воздухѣ была разлита какая-то таинственная симпатія къ чужеядству и ко всему, что̀ изъ него проистекать могло. Припомнимъ, какою безплодностью всегда отличались самые грозные походы противъ многообразныхъ злоупотребленій, удручавшихъ русскую жизнь. При первомъ взглядѣ на паразитовъ, казалось: вотъ бросовые, ничтожные люди, которыхъ ничего не значитъ смять какъ угодно! а на повѣрку выходило, что эти люди далеко не бросовые, но сильные своимъ аппетитомъ, съ которымъ тѣмъ болѣе надлежало считаться, что онъ замѣнялъ имъ и убѣжденія, и чувство гражданственности, и даже инстинкты касты.

Въ это недавнее время не рѣдкость было встрѣтить цѣлыя губерніи, въ которыхъ до такой степени буйствовала сила желудочныхъ страстей, что нельзя было повернуться, чтобы не встрѣтиться лицомъ къ лицу съ разверстымъ зѣвомъ и щелкающими челюстями. Это были какія-то укрѣпленныя преисподнія, въ которыхъ безъ вѣсти пропадалъ всякій человѣкъ, не обладающій твердыми желудочными убѣжденіями, въ которыхъ буквально совершались злодѣйства, не встрѣчая не только отпора, но даже робкаго протеста. Посылались туда всевозможные ревизоры и соглядатаи, иногда даже съ заранѣе принятымъ намѣреніемъ во что̀ бы то ни стало истребить, уничтожить, не оставить камня на камнѣ, но результатовъ никогда никакихъ не получалось. Все не чуждое дару слова—отъ рожденія было заражено чужеядствомъ; все, имѣющее силу и власть, поголовно и одинаково плутовало, лгало и подкупало. Всѣ члены этой плотоядной массы задыхались подъ игомъ взаимной солидарности, въ основаніи которой лежало не сознаніе, а простой животный инстинктъ. Ревизоры пріѣзжали—и сразу упирались въ стѣну, въ которую какъ ни стучи—ни до какого отвѣта не достучишься...

Существовали особыя профессіи звѣрства, и въ каждой изъ нихъ допускалась бо̀льшая или мѐньшая степень мастерства, въ каждой были свои виртуозы. Кто можетъ повѣрить, чтобы были виртуозы по части устраиванія внезапныхъ смертей? виртуозы по части подкиды-

ванія мертвыхъ тѣлъ? виртуозы по части выдумыванія небывалыхъ преступленій? а между тѣмъ они существовали достовѣрно; они пользовались въ обществѣ почетомъ и преимущественно передъ другими избирались членами и старшинами клубовъ. Кто повѣритъ, напримѣръ, чтобы въ губернiи могъ занимать видное мѣсто и виртуозничать человѣкъ, значащійся по всѣмъ документамъ умершимъ? а между тѣмъ этотъ фактъ у всѣхъ на памяти, да и не одиночный какой-нибудь фактъ, но повторяющійся въ преданіяхъ очень многихъ мѣстностей съ самыми незначительными варіантами. Кто повѣритъ, чтобы могли существовать такіе общественные кружки, въ которыхъ похвальбы воровствомъ и казнокрадствомъ служили бы единственнымъ содержаніемъ безконечныхъ и никогда не надоѣдающихъ бесѣдъ, а между тѣмъ мы всѣ, люди того времени, были свидѣтелями, съ какою безцеремонностью и съ какимъ безсознательнымъ безстыдствомъ велись эти растлѣнные разговоры.

— Когда я былъ командиромъ...—начиналъ одинъ.

— Когда я былъ исправникомъ...—продолжалъ другой.

— Когда я былъ судьей...—перебивалъ третій.

И всякій, наперерывъ, спѣшилъ перещеголять своего сосѣда какою-нибудь матёрою мерзостью, всякій усиливался неопровержимыми фактами доказать, что не кто другой, а именно онъ и есть тотъ самый злодѣй и негодяй, которому мало мѣста на каторгѣ!

Казалось бы, что, въ виду такого рода громкихъ и яркихъ фактовъ, раскрытіе ихъ не должно было представлять особенныхъ затрудненій, но на практикѣ выходило совершенно наоборотъ. Во-первыхъ, изслѣдованіе всегда встрѣчалось въ этомъ случаѣ съ тою солидарностью, о которой говорено выше, и сквозь которую тѣмъ труднѣе было пробиться, чѣмъ бо́льшею она обладала безсознательностью. Во-вторыхъ, существовало и еще одно обстоятельство, о которомъ нелишне будетъ сказать здѣсь нѣсколько словъ.

Дѣло въ томъ что, на случай излишней любознательности со стороны, у нашихъ губернскихъ виртуозовъ всегда хранились про запасъ извѣстные фортели, которые хотя и не блистали замысловатостью, но, тѣмъ не менѣе, достигали цѣли почти безъ промаха. Мы и теперь еще можемъ встрѣтить чуть ли не въ каждой губернiи не очень-то древнихъ старожиловъ, которые не прочь поразсказать намъ множество самыхъ характеристическихъ анекдотовъ по этой части.

Главными и самыми простыми фортелями противъ излишней любознательности были: наивность, невѣдѣніе и забвеніе.

— А подайте-ка сюда дѣло объ обманномъ сведеніи отставнымъ маіоромъ Негодяевымъ рощи, принадлежащей заштатному богословскому монастырю! — взывалъ ревизоръ къ оторопѣвшему канцелярскому стаду, прибавляя мысленно: — ну, теперь-то вы ужъ не отвертитесь отъ меня, крысы прожорливыя!

Но крысы таинственно переглядывались между собой и наивно недоумѣвали.

— Дѣло... о сведеніи... рощи?.. — произносила съ разстановкою какая-нибудь изъ крысъ побойчѣе.

— Ну, да; дѣло объ обманномъ сведеніи маіоромъ Негодяевымъ рощи, принадлежащей заштатному богословскому монастырю! — внятно повторялъ ревизоръ.

— Дѣло... — опять шепчетъ крыса, какъ будто припоминая. Вся физіономія, весь организмъ этой крысы дышетъ такимъ наивнымъ удивленіемъ, какъ будто она сейчасъ только на свѣтъ божій произошла, ничего не знаетъ и даже никакихъ прирожденныхъ идей о „такомъ обманномъ отставного маіора Негодяева поступкѣ“ не имѣетъ.

— Это точно-съ... такое дѣло было-съ! — выручаетъ другая канцелярская крыса: — только оно бывшимъ копіистомъ Подгопяйчиковымъ неизвѣстно куда утрачено-съ!

Ревизоръ багровѣлъ, но сдерживался.

— А сдѣлано ли распоряженіе о возобновленіи дѣла? — спрашивалъ онъ.

— Какъ-же-съ! — бойко отвѣчала крыса: — надъ самымъ этимъ Подгопяйчиковымъ и слѣдствіе въ то же время наряжено-съ... объ утратѣ, то-есть...

— Ну?

— Только самый этотъ Подгопяйчиковъ вскорѣ послѣ того волею божіей помре...

Ревизоръ багровѣлъ пуще прежняго; слышалось легкое скрипѣніе зубами.

— Ну, а подайте мнѣ дѣло о расхищеніи тѣмъ же маіоромъ Негодяевымъ принадлежащихъ приказу общественнаго призрѣнія суммъ! — вопіялъ онъ.

Опять шопотъ, опять недоумѣніе. Вполголоса раздаются восклицанія: „да когда же?“ — „што врать-то? нѣшто не помнишь?“ — „да вотъ еще Михалъ Михалычъ спрашивалъ!“ — „Михалъ Михалычъ справку брали!“ и проч., и проч.

— Скоро ли?—топалъ въ нетерпѣніи ревизоръ.

— Такое дѣло точно было-съ, только оно въ бывый пожаръ вмѣстѣ съ прочими сгорѣло!—отвѣчала одна изъ крысъ.

И такимъ образомъ подвигалась впередъ вся ревизія. Одно дѣло сгорѣло, другое пропало, третьяго, какъ ни бились, не нашли, четвертое продано въ кабакъ въ качествѣ оберточной бумаги. И еслибъ еще не было сдѣлано никакихъ по сему предмету распоряженій! о, еслибъ не было! но нѣтъ, всѣ распоряженія сдѣланы: о пропажѣ въ ту же минуту назначено слѣдствіе, а о возобновленіи дѣла со всѣми концами Россіи производится переписка.

— Странно! — скрипитъ ревизоръ зубами: — какія же у васъ дѣла есть?

— А вотъ-съ: дѣло о бунтѣ Тришки мордвина противъ предержащихъ властей; дѣло объ оскорбленіи Васькой чувашениномъ словомъ и дѣйствіемъ капитанъ-исправника; дѣло о пограбленіи черемисиномъ Алешкою съ товарищи мѣдной гривны... ведутся неупустительно-съ!

Ревизоръ углублялся, разсматривалъ продерзостныя дѣйствія Алешекъ и Васекъ и убѣждался, что дѣйствія эти преслѣдуются вполнѣ неупустительно, что обложки у дѣлъ чистыя и нерваныя и описи при дѣлахъ исправныя. А зловредный оный маіоръ Негодяевъ, который обманнымъ образомъ въ одну ночь увезъ на подводахъ цѣлую рощу, принадлежащую заштатному богословскому монастырю, и нѣсколько лѣтъ сряду потихоньку воровалъ казенныя деньги, такъ-таки и выскользалъ изъ-подъ ревизорскаго скальпеля!

Но этого мало; устраивались цѣлые пожары на случай ревизорской любознательности, и этотъ фактъ былъ однимъ изъ самыхъ оригинальныхъ, хотя и довольно обыденныхъ проявленій нашего чужеядства. У всѣхъ на памяти и всѣмъ вѣдомо, какъ сожигались цѣлые корпуса присутственныхъ мѣстъ и приносились въ жертву чужеядной мамонѣ необозримые вороха дѣлъ и бумагъ — и никто ни о чемъ не смѣлъ проронить слова! Когда же наѣзжалъ ревизоръ, то все было гладко и чисто, какъ на ладони. Мало и этого: устранялись даже

люди, у которыхъ языкъ говорливъ не въ мѣру. То „угоритъ“ въ тюрьмѣ партійка арестантовъ, въ которой не ко времени завелись такъ-называемые „похвальбишки“, то невзначай помнутъ бока такъ-называемому „безпокойному“, да такъ помнутъ, что онъ долго послѣ того и другу, и недругу заказываетъ: „съ сильнымъ не борись!“ и вотъ—какъ ни вертится ревизоръ, но нигдѣ ничего не усматриваетъ, кромѣ неукоснительнаго веденія дѣлъ объ Алешкахъ-грабителяхъ и Васькахъ-оскорбителяхъ.

Таково-то было это канцелярско-обывательское чужеядство, съ которымъ мы до сихъ поръ ни подъ какимъ видомъ разминуться не можемъ.

— И, батюшка! — не въ рѣдкость слышать и нынѣче отъ обывателей-старожиловъ: — и языка-то, кажется, не достанетъ, если поразсказать, что̀ въ прежніе годы бывало! Этотъ самый Негодяевъ-маіоръ соберетъ, бывало, съ деревни всѣхъ дѣвокъ и бабъ, оголитъ ихъ какъ есть, да и велитъ мужикамъ тѣхъ бабъ и дѣвокъ сѣкчи!

— Что̀ жъ мужики?

— Что̀ мужики! извѣстно, приказъ исполняютъ! Одинъ, было, этакой выискался, сѣчетъ это свою бабу да говоритъ: „неладно ты, маіоръ, эко дѣло затѣялъ!“ — Что̀? взревѣлъ на него маіоръ. — „Ничего, говоритъ, только неладно ты, маіоръ, эко дѣло затѣялъ!“ А самъ знай бабу сѣчетъ, да сѣчетъ! Только какъ отняли у него эту бабу—глядь, анъ она мертвая! засѣкъ, значитъ!

— Что̀ жъ дальше?

— А дальше, значитъ, этого самаго мужика въ Сибирь за грубость сослали!

Всему этому безпутному, безсознательному и ненужному злодѣйству, всѣмъ этимъ подвигамъ тьмы и безсмысленнаго варварства положило безвозвратный конецъ 19-е февраля. Какъ бы ни были обширны наши притязанія къ жизни, мы не можемъ не удивляться великости этого подвига. Разомъ освободить изъ плѣна египетскаго цѣлыя массы людей, разомъ заставить умолкнуть тѣ скорбные стоны, которые раздавались изъ края въ край по всему лицу Россіи—такое дѣло способно вдохнуть энтузіазмъ безпредѣльный! Но за работой освобожденія слѣдуетъ работа организаціи, и тутъ-то приходится намъ бороться съ препятствіями еще болѣе дѣйствительными, нежели

даже тѣ, съ которыми мы боролись во время трудной работы освобожденія.

Въ настоящемъ случаѣ, то-есть относительно реформъ послѣдняго десятилѣтія, чужеядным элементомъ, тормозящимъ правильное ихъ развитіе, является пресловутое наше крѣпостничество, одѣвшееся, въ послѣднее время, въ мантію консерватизма.

Совершенно основательно думаютъ тѣ, которые утверждаютъ, что истина, въ концѣ концовъ, всегда торжествуетъ, и что, въ согласность этой аксіомѣ, несомнѣнно должно восторжествовать и все то, что исходитъ прямымъ и естественнымъ путемъ изъ дѣла освобожденія. Но не надо забывать, что и противная дѣлу сторона, то-есть чужеядство-крѣпостничество, также не остается въ бездѣйствіи. Оно не только не умерло, какъ это многіе утверждаютъ, но мало-по-малу сбрасываетъ съ себя иго распущенности и начинаетъ уже толковать объ организаціи и дисциплинѣ. Имѣя это въ виду, мы не только не должны, но даже не имѣемъ права впадать въ безпечность.

Къ сожалѣнію, мы видимъ на практикѣ очень много такого, что прямо свидѣтельствуетъ о нашей опрометчивости и близорукости въ этомъ смыслѣ. Несмотря на то, что чужеядство доказало свой вредъ путемъ историческимъ, несмотря на то, что мы сами отлично сознаемъ этотъ вредъ и на каждомъ шагу, такъ сказать, осязаемъ его руками, это явленіе, какъ объяснено выше, до того уже примелькалось, что мы считаемъ невозможнымъ обойти его, не вступивъ съ нимъ въ извѣстнаго рода сдѣлки, и притомъ въ сдѣлки весьма рѣшительныя и нерѣдко компрометтирующія самый смыслъ предпринятаго дѣла.

Задумывая какое-нибудь предпріятіе, мы на первыхъ же порахъ только о томъ и печалимся, какъ бы пристроить къ нему чужеядство. Напрасно и совѣсть, и память шепчутъ намъ, что, идя объ руку съ чужеядствомъ, мы дошли, наконецъ, до глухой стѣны; что, благодаря чужеядству, геній народный, не развернувшись, уже увядаетъ; какъ будто, испивъ до дна чашу рабства, онъ, въ то же время, оставилъ въ ней и всѣ свои силы. Мы, конечно, не прочь согласиться съ этими доводами, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ будто такъ мало еще отрезвились, что не въ состояніи даже представить себѣ, какъ можетъ надъ нами такая бѣда стрястись, чтобъ жить намъ по простотѣ и безъ вредныхъ примѣсей. И вотъ мы ломаемъ многостра-

дальныя головы, какимъ бы образомъ такъ ухитриться, чтобы и чужеядство было не безъ дѣла, да и намѣреніямъ нашимъ оно вредило какъ можно менѣе...

Результатъ такихъ сдѣлокъ и колебаній очень простой: задача, разрѣшенія которой мы, на первыхъ порахъ, такъ ревностно добивались, постепенно утрачиваетъ свою опредѣлительность и, дѣлаясь добычей всевозможныхъ посягательствъ, проникается другимъ, иногда даже совершенно неожиданнымъ для насъ смысломъ.

Чтобы сдѣлать нашу послѣднюю мысль болѣе ясною, да позволено будетъ прибѣгнуть къ сравненію. Оставимъ на минуту провинцію, перенесемся воображеніемъ въ большіе, густо населенные центры, и мы безъ труда убѣдимся, что тамъ дѣло преобразованія русской жизни имѣетъ совершенно иной ходъ, нежели въ нашихъ губернскихъ палестинахъ. Мнѣніе о невозможности одинаковаго во всѣхъ случаяхъ примѣненія того или другого принципа, мнѣніе о томъ, что понятіе о правдѣ есть понятіе относительное, что она одна для Ивана и другая для Петра—всѣ эти диковинныя мнѣнія, столь незыблемо стоящія въ провинціи, не только не имѣютъ въ большихъ центрахъ обязательнаго авторитета, но нерѣдко вызываютъ даже противорѣчіе. Скажемъ болѣе: въ этихъ центрахъ дѣло овладѣваетъ исполнителями даже помимо ихъ воли; если же, за всѣмъ тѣмъ, и можно указать на примѣры уклоненія отъ истиннаго смысла задачи, то факты такого рода, во всякомъ случаѣ, не остаются безъ указанія и болѣе или менѣе правдиваго обсужденія. Нерѣдко случается даже такъ, что исполнитель несомнѣнно чувствуетъ надъ собой извѣстное тяготѣніе, которое такъ и нашептываетъ: да откинь же ты, милый человѣкъ, колѣнце, чтобы вѣдали добрые люди, каковы таковы въ русской землѣ реформы называются — но колѣнце какъ-то не выкидывается, а ежели и выкидывается, то вяло, и восторговъ ни откуда не вызываетъ. Теперь вернемся назадъ въ нашу родную провинцію, и первое, что̀ поразитъ нашъ умственный взоръ — это наивная невыработанность понятій о правдѣ и правѣ. Въ этомъ отношеніи у насъ существуетъ такое вавилонское столпотвореніе, что право и правда подраздѣляются чуть не на столько отдѣльныхъ и совершенно другъ на друга непохожихъ видовъ, сколько существуетъ отдѣльныхъ субъектовъ, до которыхъ эти понятія касаться могутъ. Это словно проклятый какой-то маскарадъ, въ которомъ

право для однихъ является началомъ утучняющимъ, для другихъ— изнуряющимъ и уничтожающимъ. И это нимало не бросается въ глаза и не оскорбляетъ ничьего нравственнаго чувства, потому что провинція до того закалилась въ произволѣ, что тотъ день считается чуть-чуть не потеряннымъ, который не былъ свидѣтелемъ одного изъ безчисленныхъ и дикихъ проявленій его.

Отчего происходитъ такая разительная разница въ степени и способахъ примѣненія одного и того же начала — понять очень нетрудно. Явленіе это совершенно удовлетворительно объясняется тѣмъ, что въ большихъ центрахъ чужеядству сравнительно, все-таки, отведено гораздо менѣе мѣста, нежели въ тѣхъ безчисленныхъ мурьяхъ, въ которыхъ оно не только не представляетъ капли въ морѣ, но скорѣе наоборотъ. Вслѣдствіе великаго разнообразія жизненныхъ условій, сосредоточенія на ограниченномъ пространствѣ всевозможныхъ формъ человѣческой дѣятельности и легкости обмѣна мыслей, самый уровень жизни дѣлается выше и въ то же время не допускаетъ тѣхъ разительныхъ пропусковъ, какіе замѣчаются нами въ провинціи. Рядомъ съ правами традиціонными возникаютъ права новыя, предъявляющія искъ о своемъ признаніи не передъ судомъ привычки и закоснѣлаго предразсудка, а передъ судомъ разума и общественной совѣсти. Понятно, что въ кругу этихъ новыхъ соперничествующихъ силъ чужеядству не совсѣмъ-то ловко расправлять свои крылья во всю ширь, хотя бы искусственная обстановка и благопріятствовала такому расправленію. Напротивъ того, провинціальная жизнь сплошь составлена изъ однихъ неровностей и пропусковъ, и вслѣдствіе того представляетъ такое множество пустыхъ мѣстъ, въ которыхъ изстари ничего другого, кромѣ расправленія крыльевъ, не производилось, что, по самому простому разсчету, тутъ надлежитъ заботиться не столько объ умноженіи пустыхъ мѣстъ, сколько о сокращеніи ихъ.

Но такова наша несмѣлость передъ примелькавшимися явленіями жизни, что вмѣсто того, чтобы распутывать узелъ, мы направляемъ всѣ наши усилія къ тому, какъ бы покрѣпче затянуть его. Заявляя о своемъ стремленіи къ правдѣ общечеловѣческой, защищенной отъ наплыва чужеядныхъ примѣсей, мы въ то же время ставимъ ее въ такія условія, среди которыхъ она не можетъ свободно дышать. Признавши прежнія рамки жизни слишкомъ тѣсными для безпрерывно увеличивающагося содержанія ея, мы, тѣмъ не менѣе, до того не-

охотно разстаемся съ ними, что люди неопытные и въ рамкахъ несвѣдущіе легко ошибаются и утверждаютъ, что никакихъ новыхъ рамокъ нѣтъ и не было, а остались прежнія, тѣ самыя, въ которыхъ такъ удобно было расправлять крылья.

И вотъ, благодаря чужеядству, общее дѣло русской жизни, дѣло ея преуспѣянія и развитія становится дѣломъ домашнимъ. Если читатель припомнитъ дѣйствія мировыхъ посредниковъ при самомъ началѣ крестьянской реформы и сравнитъ ихъ съ дѣйствіями послѣдующими, то онъ безъ труда пойметъ, какая громадная легла тутъ разница. Эта разница—фактъ несомнѣнный, засвидѣтельствованный общимъ сознаніемъ; но будемъ ли мы правы, если причину этого факта станемъ искать безусловно въ какой-то мнимой неустойчивости русскаго человѣка, въ его неумѣніи спокойно начать дѣло и столь же спокойно довести его до конца? Очевидно, что предположеніе такого рода не только голословно, но даже и неправдоподобно. Во-первыхъ, кругъ дѣятельности мировыхъ посредниковъ вовсе не былъ такъ обширенъ и сложенъ, чтобы отъ нихъ требовалось какого-то сверхъестественнаго напряженія умственныхъ силъ; во-вторыхъ, дѣло само по себѣ такъ просто, намѣренія законодателя такъ ясны, что совсѣмъ не нужно быть героемъ, чтобы выполнить ихъ во всей точности. Вездѣ и всегда исполнителями являются люди, нимало не претендующіе на геніальность, но никто этимъ не смущается, да и дѣло отъ того ни мало не терпитъ. Отчего же только у насъ, и у насъ однихъ, происходятъ сіи неожиданныя превращенія? Не оттого ли, что мы великіе мастера отыскивать во всякомъ дѣлѣ такую мякоть, которая позволяетъ намъ пріурочивать это дѣло для нашего личнаго, домашняго употребленія?

Не ежели мы мастера отыскивать эту мякоть, то естественно возникаетъ вопросъ: дѣйствительно ли это мастерство столь драгоцѣнно, что необходимо его поощрять и воспитывать?

Та метаморфоза, которая произошла у всѣхъ на глазахъ съ учрежденіемъ мировыхъ посредниковъ, можетъ легко постигнуть и другіе зачатки развитія русской жизни. Въ послѣднее время провинціалъ охотно и чаще другихъ словъ повторяетъ прилагательное *вотчинный*, и повторяетъ его съ такою увѣренностью, которая невольнымъ образомъ заставитъ задуматься. Очень можетъ быть, что это увѣренность ни на чемъ не основанная и преувеличенная и что въ буду-

щемъ она окончится пшикомъ, но несомнѣнно, что въ *настоящемъ* она наноситъ дѣлу преуспѣянія вредъ явный и положительный.

Трудно себѣ представить зрѣлище болѣе поразительное, нежели зрѣлище добра, изнемогающаго въ мукахъ рожденія. Правда, какъ только показала въ провинцію лицо свое, такъ уже, такъ сказать, распалась на ся. Есть правда княжеская и графская, есть правда дворянская, правда чиновническая, правда мѣщанская, правда мужицкая. Титулярный совѣтникъ имѣетъ право на бо́льшую долю въ правдѣ противъ коллежскаго регистратора, дворянинъ—на бо́льшую противъ мѣщанина и мужика. Злосчастный ремесленникъ, обозвавшій дворянина *гнуснымъ именемъ* мѣщанина, оказывается болѣе виновнымъ, нежели дворянинъ, угрожавшій этому ремесленнику палкой... Вотъ новый фазисъ, въ который вступаетъ дѣятельность преслову-таго чужеядства.

Всюду, куда вы ни обернетесь въ провинціи, всюду встрѣтитесь съ этимъ въѣдчивымъ элементомъ, который, повидимому, поставилъ себѣ задачею заполонить вселенную. Сильный противъ безсилія, безсильный противъ силы, онъ обдѣлываетъ свои дѣла, вопреки истинѣ, вопреки свидѣтельству здраваго смысла. Тщетно собственная выгода подсказываетъ ему о необходимости уступокъ и соглашеній—онъ сосетъ, сосетъ и сосетъ, не сознавая, что въ то же время высасываетъ до тла и свои собственные соки...

Удивительно ли, что, чувствуя подъ собой такое твердое основаніе, наши исконные губернскіе исторіографы не только не ускромняются, но дерзаютъ пуще прежняго? Представьте себѣ эти двѣ силы: исторіографство и чужеядство, простирающія другъ другу объятія и заключающія твердый и непарушимый (до первой кости) союзъ, и спросите себя: что̀ можетъ выйти изъ этого союза?

Въ будущемъ — конечно, ничего; но кто вознаградитъ за тѣ ущербы, которые наносятся въ настоящемъ?

Письмо шестое.

Историки увѣряютъ, что Западная Римская Имперія пала отъ изнѣженности нравовъ, а Византійская — отъ коварства царедворцевъ, которые ничего, будто бы, не дѣлали, а только коварствовали. Какъ бы то ни было, но паденію этому, во всякомъ случаѣ, предшествовалъ извѣстный внѣшній фактъ. Явились съ востока гунны, лонгобарды, османлисы и другіе человѣкообразные, и сразу доказали то, чего не могъ доказать цѣлый рядъ Мессалинъ, Агриппинъ и не менѣе замѣчательный рядъ иконописныхъ Никифоровъ и Евдокій. Не будь этого внѣшняго факта, очень можетъ статься, что римляне и до сихъ поръ продолжали бы предаваться изнѣженности нравовъ, а византійцы—коварствовать, то-есть сплетничать, цѣловать въ плечико и подставлять другъ другу ножку.

Мы, провинціалы, историковъ не имѣемъ, но у насъ есть исторіографы (чиномъ повыше), которые занимаются не столько исторіей нашего прошлаго, сколько предусмотрительными набѣгами въ наше будущее.

Если вѣрить этимъ глубокомысленнымъ людямъ, Россія должна погибнуть въ самомъ ближайшемъ времени, и погибнуть втихомолку, безъ всякаго внѣшняго натиска, единственно силою собственныхъ пороковъ. Такъ что если, напримѣръ, вы сегодня видите Россію, а завтра, на этомъ самомъ мѣстѣ, увидите пустое мѣсто, то не имѣете права даже удивляться этой пропажѣ, ибо она есть естественное слѣдствіе нашей заранѣе доказанной и предсказанной исторіографами развращенности.

Само собою разумѣется, что, по внутреннему убѣжденію исторіографовъ, главный нашъ порокъ—это уничтоженіе крѣпостной зависимости; но такъ какъ это порокъ секретный, о которомъ распространяться не всегда удобно, то найденъ другой порокъ, не столь капитальный, но служащій для нашихъ исторіографскихъ философствованій немаловажнымъ подспорьемъ. Порокъ этотъ—пресловутое всероссійское пьянство.

Было время, когда надежды исторіографовъ на паденіе Россійской Имперіи покоились преимущественно на грубости нравовъ. Предполагалось, что, тотчасъ по освобожденіи крестьянъ, русская земля немедленно запустѣетъ, что Ваньки будутъ сидѣть, задравши

на столъ ноги и бесѣдовать объ изящныхъ искусствахъ, что Тришки перестанутъ чистить сапоги и унавоживать поля, что торговля упразднится, потому что не будетъ разнощиковъ и т. д. „Кто будетъ сѣять, жать, варить и печь, кто будетъ шапки передъ нами ломать?“ — спрашивали другъ друга испуганные исторіографы, и къ чести ихъ должно прибавить, что никому не пришло на мысль сказать: „мы будемъ сѣять! мы будемъ жать!“ Однако надежды насчетъ грубости нравовъ не выгорѣли, отчасти, быть можетъ, потому, что тогда еще бодрствовалъ откупъ (все-таки, хоть какое-нибудь утѣшеніе!), отчасти же потому, что всѣ эти Ваньки и Тришки совсѣмъ не такъ воспитаны, чтобы сидѣть задравши на столъ ноги и бесѣдовать объ изящныхъ искусствахъ.

Потребовалось другое основаніе для исторіографскихъ погибельныхъ предсказаній, а такъ какъ жизнь никогда не скупится подачками подобнаго рода и такъ какъ тутъ же кстати послѣдовало и упраздненіе откуповъ, то на смѣну грубости нравовъ естественнымъ образомъ явилось пьянство.

И подлинно, вышло нѣчто весьма подходящее.

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ страну, которой жители поголовно пьяны, въ которой господа съ утра до ночи пьютъ мадеру, а рабочій и прочій „подлый“ народъ сивуху — какое будущее можетъ ожидать такую страну?

Представьте себѣ: въ этой странѣ есть правосудіе, но оно отправляется въ пьяномъ видѣ; есть арміи, но онѣ защищаютъ отечество въ пьяномъ видѣ; есть администрація, но она повелѣваетъ въ пьяномъ видѣ: есть, наконецъ, администрируемые, но они повинуются въ пьяномъ видѣ... Вы, конечно, скажете, что все это не больше, какъ плоская и невѣроятная шутка, что это нелѣпо-волшебное представленіе, въ которомъ неожиданности и сверхъестественности превращеній дозволено замѣнить здравый смыслъ — да, это такъ, это дѣйствительно наглая и смѣха достойная шутка; но таковъ именно фонъ той картины, которую всласть рисуютъ передъ нами исторіографы.

Если вѣрить разсказамъ исторіографовъ, въ губерніяхъ нашихъ происходятъ чудеса. Опиваются цѣлыя деревни; цѣлыя села замерзаютъ въ безсознательномъ положеніи. Удивительно, какъ только Богъ грѣхамъ терпитъ! Стыдъ забытъ, понятіе о выкупныхъ пла-

тежахъ упразднилось; мужикъ бросилъ семью, перетаскалъ изъ дома все до послѣдней бичевки и оретъ въ кабакѣ дурацкія цѣсни. Пресловутая мужицкая полоса лежитъ въ полѣ непаханною, и ежели на ней за всѣмъ тѣмъ ростетъ рожь, то не та тучная рожь, которая однимъ своимъ видомъ свидѣтельствовала о непреоборимой твердости россіянъ въ бѣдствіяхъ, а какая-то тощая, безпутная. Мѣсто семейныхъ добродѣтелей замѣнило кровосмѣшеніе, мѣсто сыновней почтительности — увѣчье и убійство. Снохачи открыто пристаютъ къ сыновнимъ женамъ и даже не свидѣтельствуются при этомъ историческими примѣрами; жены, безъ всякаго стыда, понимаются съ прохожими молодцами и не приводятъ въ свое оправданіе que c'est ainsi que cela se pratique dans le monde. Даже невинное дѣтство — и то не избѣгло общей участи распаденія; и оно слоняется по улицамъ, задеря хвосты и оскорбляя стыдливые взоры проѣзжающихъ исторіографовъ. Вдали виднѣется грозная фигура цѣловальника, сплошь увѣшенная синими и зелеными патентами.

— Où allons-nous? dieux! où allons-nous? — восклицаетъ встревоженный такою картиной исторіографъ.

— А вотъ, выпьемъ мадеры, такъ оно виднѣе будетъ,—цинически отвѣчаетъ другой исторіографъ.

— Позвольте! Мы изстари были сильны нашими семейными добродѣтелями—такъ или нѣтъ?

— Это такъ. Наши бабушки... кромѣ какъ куаффероръ... ни-ни!

— Позвольте! Il ne s'agit pas de cela! рѣчь совсѣмъ не о péchés mignons нашихъ бабушекъ! Я васъ спрашиваю, были ли мы сильны нашими семейными добродѣтелями, или нѣтъ?

— Что толковать! Ужъ насчетъ чего другого...

— Eh bien! je vous le donne en mille... благодаря этой отвратительной сивухѣ, теперь вы не насчитаете ни одной невинности на квадратную милю! Вы понимаете, куда это насъ ведетъ?

Исторіографы выпиваютъ по рюмкѣ и впадаютъ въ уныніе.

— Теперь, другой вопросъ: не были ли мы сильны своимъ трудолюбіемъ, не поражали ли наши поля своимъ плодородіемъ? Eh bien! je vous le certifie: благодаря этой сивухѣ, мои поля шесть лѣтъ сряду лежатъ пустыя, и хоть бы *они* ухомъ повели!

Выпиваютъ по другой рюмкѣ и снова впадаютъ въ уныніе.

— Третій вопросъ: какое будущее ожидаетъ нашу армію? Мо-

гутъ ли у насъ быть надежные солдаты? Спрашиваю я васъ: не были ли мы сильны непобѣдимостью и натискомъ своихъ армій? Souwaroff! mais c'est un nom, qui à lui seul vaut bien une épopée! И вотъ, взгляните, благодаря сивухѣ, *онъ* уже съ пятилѣтняго возраста начинаетъ постепенно терять свою силу; ноги у него дрожатъ, грудь дѣлается впалою, глаза меркнутъ, открытость лица исчезаетъ... Какой можетъ выйти изъ него фрунтовикъ? какая можетъ быть въ немъ непобѣдимость?

Новая рюмка; новое уныніе.

— Еще вопросъ: не были ли мы сильны своею субординаціей, своею безпрекословною готовностью исполнять приказанія старшихъ? Теперь послушайте, что пишутъ со всѣхъ сторонъ исправники: „строптивость и грубость нравовъ, — пишутъ они, — поддерживаемая и развиваемая употребленіемъ горячихъ напитковъ, есть то самое зло, которое въ наискорѣйшемъ времени россійское государство въ бездну погибели увлечь можетъ“... Joli?

Еще рюмка; еще уныніе.

— Pardon, mais il y a encore une question. Мы изстари были сильны своею торговлею. Наши предки еще съ Византіей вели торговлю медомъ, воскомъ, звѣриными шкурами и щетиною... avec Byzance — vous concevez? Спрашиваю я васъ: куда дѣвалось все это баснословное богатство? Гдѣ этотъ медъ, этотъ воскъ, эта щетина... „Стальной щетиною сверкая“... куда все это ушло? Пойдите на нашу базарную площадь — что вы увидите? — лапти и веревки, веревки и лапти! Et notez bien, что наши предки изстари всегда ходили въ сапогахъ — и вдругъ... лапти! Куда же дѣвались эти звѣриныя шкуры, о которыхъ повѣствуютъ историки? Куда, какъ не въ кабаки, гдѣ онѣ ждутъ своей очереди, вмѣстѣ съ пудовками хлѣба, дугами, шлеями, новинами и прочимъ скарбомъ мужицкаго хозяйства!

Рюмка.

— Où allons-nous! Кто будетъ платить подати? qui suffira aux besoins du budjet? Исправники пишутъ: „въ случаѣ распространенія пьянства, въ уплатѣ податей большое чувствуется затрудненіе, и даже самый недоборъ“... Недоборъ! чувствуете ли, понимаете ли, чѣмъ это пахнетъ!

И такъ далѣе, и такъ далѣе. Сколько вопросовъ, столько рюмокъ; сколько рюмокъ, столько вопросовъ. Количество тѣхъ и дру-

гихъ вполнѣ солидарно и идетъ рука объ руку до тѣхъ поръ, пока бесѣдующіе окончательно не перестаютъ понимать другъ друга. Тогда начинается та общая, безобразная ламентація, смыслъ которой заключается въ томъ, что мы противъ всего устояли, все побѣдили, но не можемъ устоять противъ одного... противъ сивухи!

Столичный читатель, конечно, воленъ вѣрить или не вѣрить существованію подобныхъ разговоровъ, но что они записаны со словъ самихъ ихъ авторовъ, въ томъ удостовѣритъ всякій сколько-нибудь добросовѣстный провинціалъ. Всякому приходилось быть свидѣтелемъ и даже участникомъ подобныхъ бесѣдъ, и, увы! нерѣдко даже случалось находить въ нихъ тѣнь человѣческаго смысла, а не исключительное свидѣтельство размягченія мозга!

Да; такова эта мадерорастлѣвающая среда, что человѣку, хотя и незараженному ею вполнѣ, но неискушенному провинціальной опытностью, нелегко бываетъ совершенно отрѣшиться отъ ея воззрѣній на жизнь. Всѣ эти бонвиваны, напоминающіе французскій водевиль, переложенный на русскіе нравы, всѣ эти изнѣженные воспитанники Поль-де-Кока прежде всего бросаются въ глаза своимъ добродушіемъ, за которымъ довольно трудно бываетъ распознавать ту жестокую глупость, которая, по пословицѣ, считается хуже воровства. Конечно, безсмыслица ламентацій настолько очевидна, что поводовъ для дѣйствительныхъ сомнѣній относительно ихъ внутренней стоимости не можетъ даже существовать, но все-таки почему-то кажется, что сквозь массу преувеличеній и нелѣпостей просвѣчиваетъ и малѣйшая частица истины.

Куда, въ самомъ дѣлѣ, дѣлась наша торговля медомъ, воскомъ, звѣриными шкурами и щетиной?

Отчего нашъ мужикъ ходитъ въ лаптяхъ?

Отчего въ деревняхъ царствуетъ такое сплошное, поголовное невѣжество?

Отчего мужикъ почти никогда не ѣстъ мяса и даже скоромнаго масла?

Отчего почти ни одинъ не знаетъ, что̀ такое постель?

Отчего во всѣхъ движеніяхъ мужика замѣчается что-то фаталистическое, неотмѣченное сознаніемъ? Отчего если онъ идетъ впередъ, то его какъ будто гонитъ какая-то невѣдомая сила, которую даже

анализировать невозможно? Отчего онъ родится какъ муха, и какъ муха же мретъ?

На всѣ эти вопросы исторіографы заладили одно: все отъ нея, все отъ проклятой сивухи (читай: все вслѣдствіе упраздненія крѣпостного права). Нѣкоторые изъ нихъ, въ своей наивной ограниченности, доходятъ до того, что въ регламентаціи распивочной продажи водки видятъ единственный способъ выйти изъ періода лаптей и вступить въ періодъ сапоговъ. О! еслибъ это было такъ! еслибъ было можно, съ помощью одного ограниченія числа кабаковъ, вселить въ людей довѣріе къ ихъ судьбѣ, возвысить ихъ нравственный уровень, сообщить имъ ту силу и бодрость, которыя помогаютъ бороться и преодолѣвать желѣзныя невзгоды жизни! еслибъ можно было доказать людямъ, что съ измѣненіемъ системы патентнаго сбора ихъ ждетъ въ перспективѣ тотъ отрадный, свѣтящійся пунктъ, къ которому они искони безплодно стремятся! Какъ легка была бы наука человѣческаго существованія! и какихъ ничтожныхъ усилій стоило бы разомъ покончить со всѣмъ безобразіемъ прошлаго, со всѣми неудачами настоящаго, со всѣми сомнительными видами будущаго!

Оставимъ на время въ сторонѣ нашихъ нелѣпыхъ исторіографовъ съ ихъ нелѣпыми воздыханіями, и обратимся къ тому, что составляетъ дѣйствительную суть дѣла.

Едва-ли, разумѣется, нужно доказывать, что не упраздненіе крѣпостного права обусловило существованіе тѣхъ вопросовъ, которые намѣчены выше. Только очень ограниченные и совсѣмъ глупые люди могутъ утверждать, что нашъ крестьянинъ или что мы, русскіе вообще, представляемъ въ общей человѣческой семьѣ такую особенную разновидность, на которую свобода оказываетъ дѣйствіе совершенно противоположное, нежели на прочихъ членовъ этой семьи. Нѣтъ нужды также утверждать, что предположеніе о пьянствѣ, какъ объ органическомъ порокѣ цѣлаго народа, есть предположеніе глупое, могущее возникнуть только подъ вліяніемъ паровъ мадеры. Подобнаго рода ребяческія клеветы свидѣтельствуютъ только о низкой степени умственнаго развитія ихъ слагателей.

Тѣмъ не менѣе, невозможно ни на минуту усомниться, что русскій мужикъ бѣденъ дѣйствительно, бѣденъ всѣми видами бѣдности, какіе только возможно себѣ представить, и—что всего хуже — бѣденъ сознаніемъ этой бѣдности.

Для того, чтобы понять, до какой степени настоятельны бываютъ нѣкоторыя нужды, необходимо или пройти сквозь нихъ, или, по крайней мѣрѣ, видѣть ихъ лицомъ къ лицу. Бываютъ очень запутанныя нравственныя положенія, но до постиженія ихъ можно дойти и безъ указаній личнаго опыта, съ помощью однихъ логическихъ выводовъ, по той простой причинѣ, что трудно назвать такую нравственную смуту, зерно которой, вліяніемъ времени, не заносилось бы во внутреннее святилище каждаго современнаго человѣка. Совсѣмъ другое дѣло — смута матеріальная. Цивилизованному меньшинству она представляется въ видѣ такого исключительнаго и неразрѣшимаго положенія, которое, во всемъ своемъ объемѣ, можетъ существовать только въ сильно-настроенномъ воображеніи художника.

Мудрено представить себѣ то убожество, въ которомъ живутъ массы и которому онѣ, повидимому, вполнѣ подчинились. Негодованіе, которое проникаетъ человѣка при видѣ явленій легковѣрія, одичалости и насильства, непрерывно сочащихся изъ сердца народныхъ массъ, невольно утихаетъ, когда собственными руками прикасаешься къ той проказѣ, которою онѣ заражены, и собственными легкими вдыхаешь струю той затхлой атмосферы, которою онѣ дышутъ. Самое ничтожное обстоятельство, мимо котораго мы, люди меньшинства, проходимъ не только не задумываясь, но просто безъ всякой мысли, вліяетъ на жизнь бѣднаго труженика до того рѣшительно, что сразу парализируетъ въ немъ всякую энергію. Интересы, повидимому, грошовые, будучи взяты въ своей совокупности, составляютъ такую сумму, подъ бременемъ которой совершенно непримѣтно погибаетъ членъ „несуществующаго“ у насъ пролетаріата. Да, „пролетаріата“ нѣтъ, но загляните въ наши деревни, даже подстоличныя, и вы увидите сплошныя массы людей, для которыхъ, напримѣръ, вопросъ о лишней полукопѣйкѣ на фунтъ соли составляетъ предметъ мучительнѣйшихъ думъ, и для которыхъ даже не существуетъ вовсе вопроса о матеріальныхъ удобствахъ; вы найдете тысячи безпріютныхъ бобылокъ, которыхъ весь годовой бюджетъ заключается въ пятнадцати-двадцати рубляхъ, съ трудомъ вырабатываемыхъ мотаніемъ бумаги. А пролетаріата нѣтъ. Правда, что массы предполагаются грубыми и безчувственными, но тутъ, однако, возникаетъ вопросъ, что̀ чему предшествуетъ: безчувственность ли обязательному отсутствію на столѣ соли, или наоборотъ? Намъ, людямъ, живущимъ особнякомъ

отъ массъ, даже трудно себѣ представить, до какой наглости можетъ доходить это вѣчное притязаніе желудка, изъ-подъ гнета котораго ни на минуту не освобождается жизнь мужика; но, тѣмъ не менѣе, оно не выдумка, а одинъ изъ тѣхъ безспорныхъ и всѣмъ видимыхъ фактовъ, для подтвержденія которыхъ не требуется ссылаться на статистическія изслѣдованія.

Положеніе человѣка, фаталистически осужденнаго не думать ни о чемъ иномъ, какъ о средствахъ не умереть съ голода, не замерзнуть, не утонуть въ болотѣ и, вообще, „не пропасть какъ собакѣ“, есть одно изъ тѣхъ противоестественныхъ положеній, которыя настоятельно приковываютъ къ себѣ вниманіе мыслящаго человѣка. Это тѣ самыя первоначальныя нужды, при неудовлетвореніи которыхъ немыслимо развитіе никакихъ иныхъ нуждъ. А въ развитіи этихъ „иныхъ“ нуждъ вся сила. Если человѣкъ обезпеченъ, по малой мѣрѣ, отъ необходимости исключительно останавливать свое вниманіе на средствахъ примириться съ желудкомъ, онъ непремѣнно пойдетъ далѣе, онъ прикуетъ свою мысль къ другимъ предметамъ и перенесетъ свои требованія въ высшую сферу. Сегодня онъ думаетъ только о хлѣбѣ матеріальномъ; завтра онъ уже будетъ думать о хлѣбѣ духовномъ; но покуда онъ не имѣетъ положительныхъ средствъ обезпечить свободу желудка, онъ, конечно, не предприметъ никакихъ мѣръ, чтобы обезпечить свободу мысли. Слѣдовательно, несправедливо и едва-ли даже возможно ожидать, чтобы бѣдность духовная была побѣждена прежде, нежели будетъ побѣждена бѣдность матеріальная.

Конечно, такое предпріятіе заключаетъ въ себѣ трудности почти непреоборимыя. Человѣкъ массы мало того, что страдаетъ: онъ, сверхъ того, имѣетъ слабое сознаніе этого страданія; онъ смотритъ на него какъ на прирожденный грѣхъ, съ которымъ не остается ничего другого дѣлать, какъ только нести его, насколько хватитъ силъ. Скажите ему, что обязанность не наѣдаться до сыта, обязанность зябнуть, утопать въ болотахъ и не въ мѣру напрягать мышцы — вовсе не есть необходимый удѣлъ, что тутъ нѣтъ даже никакого предопредѣленія—и вы увидите, что первое чувство, которое изобразится на его лицѣ при такомъ разъясненіи, будетъ чувство недоумѣнія. Не ясно ли, что покуда такое недоумѣніе существуетъ, никакія намѣренія относительно измѣненія характера его судьбы не могутъ быть дѣйствительны?

— Куда я теперь дѣнусь! куда я дѣнусь!—голосила на днях при нашихъ глазахъ нѣкоторая баба, бѣгомъ устремляясь по дорогѣ и размахивая руками.

Оказалось, что мужа этой бабы раздавило мельничнымъ колесомъ, и она бѣжала на мельницу посмотрѣть, какъ его раздавило. За нею слѣдомъ бѣжала туда же чуть ли не вся деревня. Покойный былъ хозяинъ зажиточный, имѣлъ изрядный домъ и на міру былъ извѣстенъ какъ человѣкъ ревнивый къ общественному дѣлу. По смерти его осталась вдова съ маленькими дѣтьми, и то относительное „благосостояніе“, въ которомъ находилась эта семья, *въ одну минуту* рушилось. Вдова платить подати не могла, и, слѣдовательно, земля отъ семьи немедленно отбиралась (да она не имѣла и средствъ обрабатывать ее); міръ, съ своей стороны, несмотря „на радѣнье“ покойника, смотрѣлъ на вдовьи слезы тупо.

— Да, добышникъ былъ, царство небесное! — молвилъ дядя Миняй.

— Къ крестьянскому дѣлу радѣльщикъ былъ! — подтвердилъ дядя Митяй.

И пошли-себѣ дяди Митяи по домамъ, а вдова осталась одна съ своими слезами, приготовляясь на завтра же начать изученіе той бѣдственной жизни, которая учитъ на двадцать рублей въ годъ прокормить себя и дѣтей, и въ концѣ которой (вотъ подлинно сладкіе-то плоды!) стоитъ для сына красная шапка, для дочери—названіе деревенской сахарницы, для нея самой—безконечное голодное мыканье по бѣлу-свѣту.

Можетъ ли эта баба о чемъ-нибудь думать? Можетъ ли она что-нибудь ощущать, кромѣ безотчетнаго, паническаго ужаса? Нѣтъ, она не можетъ ни думать, ни ощущать. Она не имѣетъ времени обсудить свое положеніе, размыслить о средствахъ выйти изъ него; она должна безъ оговорокъ принять его, какъ неизбѣжное, и прямо вступить въ ту колею, которую уже до нея проторили подобныя ей бобылки. Она не можетъ даже вдоволь наплакаться надъ тѣломъ своего добышника, да и тѣ немногія слезы, которыя она прольетъ по этому случаю, будутъ слезы не безкорыстныя, но отравленныя мыслью: „на кого-то ты меня покинулъ? какъ-то я завтра хлѣба добуду себѣ съ дѣтьми малыми?“

Спроситъ теперь эту самую бабу, что она предполагаетъ съ собой дѣлать?

— А что дѣлать? — отвѣтитъ она: — стану бумагу мотать, а ребятокъ по міру посылать буду!..—И въ глазахъ ея не блеснетъ ни злобы, ни негодованія, съ языка ея не сорвется ни одной жалобы на этихъ дядей Митяевъ, которые оставляютъ ее безпомощною, а ежели по временамъ и поглаживаютъ старшаго ея сынишку по головѣ, то непремѣнно съ тайной мыслью: „славный будетъ солдатъ!“

Вотъ истинная истина изъ жизни полудикой толпы. За эту истину мы, конечно, не имѣемъ особенныхъ основаній относиться къ толпѣ съ уваженіемъ—это правда; но отчего же, тѣмъ не менѣе, обдумавши предметъ серьезно, мы не торопимся обвинять ее? Почему представленіе о толпѣ, несмотря на явную ея жестокость, дикость и неразвитость, имѣетъ для насъ нѣчто заманчивое и симпатичное? А вотъ почему.

Всѣ эти Митяи—народъ вовсе не злой и даже внутренно не испорченный; они равнодушно поглядываютъ на чужое несчастье совсѣмъ не по окаменѣлости сердечной, а просто потому, что и опытъ, и исторія доказали имъ слишкомъ достаточно, что всѣ они равны передъ несчастіемъ, что каждый изъ нихъ имѣетъ одинаковые шансы на всякаго рода невзгоду. Слѣдовательно, никакой случай въ этомъ родѣ не только не удивляетъ, но даже не останавливаетъ надолго ихъ вниманія. Есть ли поводъ плакаться надъ чужою бѣдой, когда завтра та же бѣда можетъ стрястись надъ ними самими? Да есть ли еще и время плакать? Да и не стряслась ли ужъ эта бѣда? не вѣковѣчная ли она спутница, которой и ждать даже совсѣмъ излишне?

Имѣемъ ли и мы, съ своей стороны, поводъ удивляться тому, что толпа до сихъ поръ съумѣла выработать изъ себя только слѣпое орудіе, при помощи котораго могутъ свободно появлять себя въ мірѣ всевозможныя темныя силы? Конечно, мы имѣли бы этотъ поводъ, но въ такомъ лишь случаѣ, еслибъ могли указать на существованіе какихъ-либо образовательныхъ элементовъ, участіе которыхъ было бы способно подвинуть толпу на пути самосознанія. Но этихъ элементовъ исторія намъ не приготовила, а если они когда-нибудь и существовали (какъ силятся доказать нѣкоторые), то, очевидно, корни ихъ были слишкомъ слабы, чтобы при помощи ихъ можно было устоять даже противъ простой случайности.

Чѣмъ больше представляетъ извѣстное положеніе однообразія, чѣмъ меньше видится въ немъ посредствующихъ историческихъ построеній, которыя бы свидѣтельствовали о постепенномъ измѣненіи и расширеніи формъ жизни, тѣмъ больше рискуемъ мы встрѣтить въ немъ всякаго рода трудностей. Если намъ даны два крайніе полюса, между которыми брошена безграничная, гладкая степь, то очевидно, что утомительность пути по этой степи будетъ совершенно пропорціональна ея наготѣ. Какъ ни мало удовлетворяютъ чувству справедливости нѣкоторыя явленія и результаты исторической борьбы, но они важны тѣмъ, что облегчаютъ работу послѣдующихъ поколѣній и вырабатываютъ извѣстные средніе идеалы, доступъ къ которымъ несравненно менѣе труденъ, нежели изнурительный бѣгъ по необозримому пространству пустыни. Тутъ всякій шагъ впередъ пріобрѣтаетъ силу аксіомы, въ провѣркѣ которой, для грядущихъ поколѣній, не предстоитъ уже никакой нужды. Въ голой степи нѣтъ мѣста для подобныхъ аксіомъ: тутъ все подлежитъ провѣркѣ, утомительной работѣ сызнова. Конечно, мы вовсе не хотимъ этимъ сказать, что масса, находящаяся въ подобномъ положеніи, обязана создавать свою исторію съ начала; но мы будемъ совершенно правы, утверждая, что для этихъ массъ путь къ достиженію самосознанія представляетъ безчисленное множество такихъ затрудненій, которыя, при другихъ историческихъ условіяхъ, были бы даже немыслимы.

Да; русскій мужикъ бѣденъ; но это еще не столько важно, какъ то, что онъ не сознаетъ своей бѣдности. Приди онъ къ этому сознанію—его дѣло было бы уже на половину выиграно, и главныя причины нашего экономическаго неустройства, то-естъ случайность, неожиданность, произволъ и т. д., устранились бы сами собою. Но чтò могло привести его къ этому сознанію? Гдѣ тѣ средніе, доступные его пониманію идеалы, оперевшись на которые, онъ могъ бы помочь себѣ въ трудномъ странствованіи по житейскому морю? Ничто и нигдѣ. Повторяемъ: онъ не болѣе, какъ крайній полюсъ той безграничной голой степи, на которой исторія не бросила ни одного этапа, ни одного освѣщающаго путь маяка...

И такъ, главная и самая существенная причина бѣдности нашей народной массы заключается, по нашему мнѣнію, въ недостаткѣ сознанія этой бѣдности; причина же этого послѣдняго явленія, очевидно, скрывается въ исторіи. Тѣ, которые негодуютъ на нашего

крестьянина за то, что онъ ходитъ не въ сапогахъ, а въ лаптяхъ, за то, что онъ круглый годъ довольствуется пустыми щами да чернымъ хлѣбомъ, никогда даже не размышляли о томъ, что развитіе матеріальнаго довольства неминуемо влечетъ за собою и сознаніе иныхъ потребностей. Навѣрное, ежели бы они обсудили этотъ предметъ пристальнѣе, ежели бы они представили себѣ картину матеріальнаго довольства во всей ея полнотѣ, негодованіе ихъ значительно бы смягчилось. Они поняли бы, что особенной выгоды тутъ для нихъ нѣтъ. Но въ томъ-то и дѣло, что понятія этихъ господъ до того перепутались, что они даже утратили способность понимать, и не могутъ дѣйствовать иначе, какъ подъ вліяніемъ тѣхъ непосредственныхъ впечатлѣній, которыя испытываются ими въ данную минуту. И такимъ образомъ близорукость и несообразительность являются невольнымъ коррективомъ ехидному исторіографскому злопыхательству.

Съ этой точки зрѣнія, сѣтованія нашихъ губернскихъ исторіографовъ на грубость и безсознательность русскаго мужика не лишены даже нѣкоторой забавности. Куда дѣвалась наша торговля? спрашиваете вы, милостивые государи; но какое вамъ дѣло до нашей низменной, мужицкой торговли? кто, кромѣ древней Византіи, могъ пострадать оттого, что она исчезла? Вы сѣтуете на то, что мужикъ не ходитъ въ сапогахъ? но сообразили ли вы, что субъектъ, обутый въ лаптяхъ, поворачивается всегда проворнѣе, нежели таковой же, обутый въ сапогахъ? Вы говорите, что мужикъ невѣжественъ? но подумали ли вы когда-нибудь, что невѣжественность и невѣжливость — понятія совсѣмъ неоднозначащія, что нерѣдко они даже взаимно другъ друга исключаютъ? Опомнитесь, милостивые государи! Дойдите, по крайней мѣрѣ, хоть сами-то до сознанія того, объ чемъ вы сокрушаетесь и на что жалуетесь!

Картина, на которой мы изображаемъ мужика, конечно, вышла бы во сто кратъ занимательнѣе (да и во всѣхъ отношеніяхъ поучительнѣе), ежели бы вмѣсто того, чтобы безплодно обзывать мужика — мужикомъ, мы дали себѣ трудъ добросовѣстно изобразить наши собственные исторіографскіе наѣзды противъ этого самаго мужика. По крайней мѣрѣ, мы убѣдились бы тогда, что слѣдуетъ дѣлать именно совершенно противное тому, что мы дѣлаемъ, чтобы дать русскому крестьянину возможность, безъ напряженія, перейти изъ періода лаптей въ періодъ сапоговъ...

И такъ, оказывается, что, несмотря на вѣковѣчное существованіе, масса успѣла воспитать въ себѣ только раболѣпное тяготѣніе къ силѣ да еще безсознательно-равнодушное отношеніе не только къ общимъ интересамъ, но даже и къ тѣмъ, которые ближайшимъ образомъ затрогиваютъ ея собственную жизнь. Кто болѣе всего долженъ страдать отъ такого положенія? чьимъ интересамъ оно должно наносить ущербъ наиболѣе чувствительный? Очевидно, что, при отсутствіи сознанія въ самыхъ массахъ, наибольшая доля ущерба должна пасть на того, кто наименѣе свободенъ отъ пониманія тѣхъ послѣдствій, которыя влечетъ за собою предоставляемый силѣ безусловный разгулъ. Какъ бы отрѣшенно мы ни жили отъ жизни массъ, уровень этой послѣдней слишкомъ рѣшительно воздѣйствуетъ на уровень нашей собственной жизни, чтобы мы не чувствовали этого на каждомъ шагу. Мы не можемъ считать себя водворенными въ мірѣ законности, пока представленіе о законности не имѣетъ въ понятіяхъ массъ никакого опредѣленнаго смысла. Мы не имѣемъ основанія считать себя обезпеченными отъ неожиданностей, покуда эти неожиданности будутъ имѣть въ массахъ свои добровольныя и всегда готовыя къ услугамъ орудія. Что можемъ мы сдѣлать съ нашимъ бѣднымъ, одиночнымъ сознаніемъ, когда вокругъ насъ кишитъ ликующая безсознательность? На что намъ оно нужно, кромѣ того, чтобы во всей полнотѣ дать почувствовать всю горечь нашего одиночества?

Выше мы сказали, что всѣ эти дяди Митяи, которыми кишатъ наши палестины, вовсе не злой и не настолько испорченный народъ, какъ это кажется съ перваго взгляда. Это первый поводъ, сообщающій нашимъ отношеніямъ къ толпѣ характеръ симпатичности. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя же выступать съ обвиненіемъ противъ того, что не имѣетъ никакихъ признаковъ вмѣняемости; а въ этомъ смыслѣ безсознательность, конечно, принадлежитъ къ такимъ явленіямъ, относительно которыхъ гораздо приличнѣе сожалѣніе, нежели укоръ. Но есть еще и другой поводъ для симпатичности отношеній къ толпѣ —онъ заключается въ тѣхъ внутреннихъ нитяхъ, которыя отъ самаго рожденія связываютъ насъ съ массами и которыя проходятъ потомъ неизмѣнно чрезъ все наше существованіе.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что извѣстныя движенія толпы могутъ поселять въ насъ чувство горечи. Но, негодуя на толпу и сознавая вполнѣ свое право на это негодованіе, мы, все-таки, не можемъ скрыть

отъ себя, что не въ другомъ чемъ-нибудь, а именно въ ней, въ этой безсознательной толпѣ, заключается единственное основаніе нашей собственной силы (или, лучше сказать, возможность его), что безъ нея (безъ толпы), безъ ея участія и вниманія, мы хуже, чѣмъ слабы —до насъ никому нѣтъ и не можетъ быть никакого дѣла. Въ этой зависимости отъ толпы, конечно, мало привлекательнаго (въ самомъ дѣлѣ, не горько ли зависѣть отъ чего-то безсмысленнаго, не имѣющаго никакого самосознанія?); но такъ какъ это фактъ глухой и неизбѣжный, то не подчиниться ему нѣтъ никакой возможности. Есть что-то фаталистическое въ томъ, что мы всѣ завѣтныя, свѣтлыя думы наши посвящаемъ именно той забитой, малосмысленной и подчасъ жестокой толпѣ, что самый великій мыслитель, котораго мысль, повидимому, не можетъ имѣть ничего общаго съ мыслью толпы, именно ей отдаетъ лучшую часть своей дѣятельности. Да, тутъ есть своего рода фатализмъ, но не въ томъ смыслѣ, въ какомъ обыкновенно клеймятъ этимъ словомъ какое-нибудь положеніе, которое не хотятъ или не могутъ объяснить, а фатализмъ, объясняемый тою общечеловѣческою основой, которая именно и составляетъ соединительное звено между неразвитою толпою и наиболѣе развитою отдѣльною человѣческою личностью.

Исторія показываетъ, что тѣ люди, которыхъ мы не безъ основанія называемъ лучшими, всегда съ особенною любовью обращались къ толпѣ, и что только тѣ политическіе и общественные акты получали дѣйствительное значеніе, которые имѣли въ виду толпу. Это вовсе не значитъ, чтобъ эти люди идентифировались толпѣ, чтобъ они принимали ея инстинкты за руководящій законъ, а значитъ только, что мысль о толпѣ, какъ о конечной цѣли всякаго полезнаго человѣческаго дѣйствія, сообщала ихъ дѣятельности то живое содержаніе, котораго она не имѣла бы, еслибъ исключительно вращалась въ сферѣ отвлеченностей. Тутъ, въ этомъ служеніи толпѣ, имѣется даже очень ясный эгоистическій разсчетъ, ибо какъ бы мы ни были развиты и обезпечены, мы, все-таки, до тѣхъ поръ не получимъ возможности быть нравственно-покойными и мирно наслаждаться нашимъ развитіемъ, покуда все, что̀ насъ окружаетъ, не придетъ хотя въ нѣкоторое съ нами равновѣсіе относительно матеріальнаго и духовнаго благосостоянія. Человѣкъ нуждается въ обществѣ себѣ подобныхъ совсѣмъ не по капризу, а потому, что природа его по пре-

имуществу общительная. Слѣдовательно, стоя на недосягаемой высотѣ, онъ тѣмъ сильнѣе почувствуетъ свое одиночество, чѣмъ забитѣе и безотвѣтнѣе будетъ масса, которой чуждается его гордая мысль. И онъ, конечно, загрубѣлъ бы въ своемъ уединеніи, еслибъ, къ счастію, толпа сама, на каждомъ шагу, не напоминала ему о себѣ, не указывала на зависимость его положенія, и такимъ образомъ не выводила его изъ того одиночества, на которое онъ неразсчетливо себя обрекъ.

Такимъ образомъ, какъ бы подчасъ ни казалась горька наша зависимость отъ толпы, мы, все-таки, едва ли отважимся обвинить ее въ томъ, въ чемъ она совершенно неповинна. Вся наша умственная дѣятельность въ этомъ случаѣ должна быть обращена не къ обвиненіямъ, а исключительно къ тому, чтобы отыскать для массъ выходъ изъ той глубокой безсознательности, которая равно вредна для нихъ, какъ и для насъ. Какія существуютъ средства, чтобы отыскать и указать такой выходъ—объ этомъ мы покуда распространяться не будемъ, и даже думаемъ, что средства тѣ откроются сами собою всякому человѣку, взирающему на народъ не съ высоты безсмысленнаго величія. Но не можемъ умолчать здѣсь о томъ основаніи всѣхъ средствъ, которое, по нашему мнѣнію, само по себѣ уже можетъ оказать весьма важное воспитательное дѣйствіе. Мы говоримъ о сближеніи съ народомъ, или, иными словами, о симпатическомъ отношеніи къ тѣмъ разнороднымъ и безчисленнымъ убожествамъ, которыя оцѣпляютъ его жизнь.

Много было у насъ писано и толковано о такъ-называемомъ сближеніи съ народомъ, и въ концѣ концовъ мы пришли только къ необходимости подвергнуть осмѣянію всѣ попытки, которыя дѣлались въ этомъ смыслѣ въ тѣхъ или другихъ пунктахъ нашихъ обширныхъ палестинъ. И въ самомъ дѣлѣ, поводовъ для смѣха было достаточно. Вездѣ на первомъ планѣ была какая-то меньшая братія, которую мы, съ самой серьезной наивностью, старались возвысить до себя посредствомъ сидѣнія на одинаковыхъ съ нами креслахъ и сотрапезованія на одинаковыхъ съ нами тарелкахъ. Какъ мы ни стары, какъ ни велика наша опытность, однако мы ни до чего другого, кромѣ тарелокъ и стульевъ, не додумались. Въ равенствѣ тарелокъ мы уже видѣли какое-то начало, уравнивающее людей, а въ равенствѣ объядѣнія усматривали какую-то эмблему, существованіе которой давало

намъ поводъ надолго успокоиться отъ дальнѣйшихъ попытокъ въ этомъ родѣ.

Нигдѣ, ни въ одной изъ этихъ безчисленныхъ попытокъ, членъ народной массы не являлся — не въ качествѣ меньшей братіи, а просто въ качествѣ человѣка.

Всѣмъ намъ памятны эти полуребяческія торжества, въ которыхъ преимущественно выражалось наше такъ-называемое сближеніе съ народомъ; всѣ мы твердо знаемъ, сколько было тутъ высказано чувствительныхъ и, пожалуй, даже искреннихъ словъ, сколько было пріѣдено прекраснѣйшей провизіи и выпито вина, вина, вина... И всѣ мы никакого другого чувства изъ этихъ торжествъ не вынесли, кромѣ самаго тяжелаго. Отчего?

А оттого, милостивые государи, что мы и тогда очень хорошо понимали, и теперь понимаемъ, что тутъ, въ самомъ благопріятномъ случаѣ, не присутствовало ничего другого, исключая минутнаго нервнаго раздраженія. Это была поэзія, это было мгновенно разыгравшееся вдохновеніе, вліянію котораго такъ охотно поддается русскій человѣкъ, и которое такъ же быстро и такъ же безпричинно потухало, какъ и возбуждалось. Всѣ эти вольные художники, раскаленные любовью къ народу, утихали и успокоивались немедленно, какъ только убирали со стола тарелки. Зрители, присутствовавшіе при рѣчахъ, которыя впору произнести иному влюбленному, не успѣвали опомниться, какъ уже повсюду усматривали одни объѣдки. Омужиченные благородные ораторы удалялись предаваться новымъ вдохновеніямъ; облагороженные мужики уходили восвояси, мечтая о томъ, какого новаго пришибанія слѣдуетъ ожидать отъ разыгравшихся ораторовъ. Это было общее, поголовное упоеніе звуками своего собственнаго голоса; это было торжество того неприличнаго явленія, въ силу котораго Хлестаковъ могъ въ одно и то же время и понимать, что онъ говоритъ небывальщину, и искренно вѣрить этой небывальщинѣ. Ясно, что попытки такого рода не могли даже претендовать на названіе серьезныхъ.

Но, за всѣмъ тѣмъ, даже и онѣ не остались безслѣдными, даже равенство тарелочное не вполнѣ оказалось безплоднымъ. Вездѣ, гдѣ прошла эта ребяческая струя, оказалось, что человѣческая совѣсть уже заручилась какимъ-то воспоминаніемъ, какимъ-то смутнымъ вожделѣніемъ. Какъ ни мало обязываетъ сидѣніе за однимъ столомъ и

ѣда вилками, сдѣланными изъ одинаковаго металла, но и они къ чему-то обязываютъ, хоть къ тому, напримѣръ, что нельзя развязно бить по лицу и обзывать курицынымъ сыномъ того самаго субъекта, который не дальше, какъ вчера, былъ нашимъ сотрапезникомъ и собутыльникомъ. Съ этой точки зрѣнія, всякая новая формальность, становящаяся между мужикомъ и членомъ цивилизованнаго меньшинства, есть уже формальность не безполезная, а могущая служить отправнымъ пунктомъ для многихъ другихъ, тоже небезполезныхъ формальностей.

Тѣмъ несомнѣннѣе должны быть слѣды, которые имѣетъ оставить по себѣ то серьезное сближеніе, гдѣ народъ является не въ качествѣ меньшей братіи, наряженной и приглаженной по праздничному, а въ качествѣ собранія людей, выросшихъ въ мѣру взрослаго человѣка. Сближеніе такого рода не имѣетъ въ себѣ ничего фантастическаго; это не славянофильское любованіе какими-то таинственными и всегда запечатлѣнными клеймомъ безсознательности задачами, которыя суждено, будто бы, въ ущербъ себѣ и вопреки здравому смыслу, выполнить русскому народу; это не ласкательство предразсудкамъ, жестокости и дикости, потому только, что они родились въ народѣ; нѣтъ, это просто изученіе народныхъ нуждъ и представленій, сложившихся болѣе или менѣе своеобразно, но, все-таки, принадлежащихъ несомнѣнно взрослому человѣку.

Чтобы понять, что именно нужно народу, чего ему недостаетъ, необходимо поставить себя на его точку зрѣнія, а для этого не требуется ни нагибаться, ни кокетничать. Если кому-нибудь изъ читающихъ эти строки случалось быть въ положеніи человѣка, пораженнаго большимъ несчастіемъ, понесшаго тяжкую для сердца утрату, то онъ, безъ сомнѣнія, помнитъ, какъ тягостны и даже противны казались тѣ безплодныя утѣшенія, тѣ безсодержательныя соболѣзнованія, которыя сыпались на него по этому случаю со всѣхъ сторонъ, и какъ драгоцѣнны были тѣ немногія попытки, которыя уясняли ему его положеніе и указывали практическій выходъ изъ него. Толпа народная находится именно въ положеніи этого глубоко-огорченнаго человѣка, которому въ равной степени противны и безсознательныя сѣтованія, и пошлыя, всегда лицемѣрныя заигрыванія насчетъ претерпѣваемыхъ имъ утратъ...

Письмо седьмое.

У насъ до сихъ поръ не возникалъ еще вопросъ о томъ, можетъ ли и въ какой мѣрѣ провинція заявлять претензію на самостоятельность. Чувствуется ли, напримѣръ, потребность въ мѣстныхъ органахъ печати? возможно ли въ провинціи самостоятельное общественное мнѣніе? настолько ли дѣйствительны и живы мѣстные интересы, чтобы ради нихъ лучшія силы губернской интеллигенціи имѣли поводъ задерживаться въ провинціи, а не устремляться вонъ изъ нея, чтобы отыскивать для себя поприще болѣе обширное и дѣятельное?

Должно сознаться, что даже и въ настоящее время, когда уже начинаетъ мало-по-малу сказываться связь между центромъ и окружностью, столичное общественное мнѣніе все еще смотритъ на провинцію какъ на какой-то придатокъ, существующій не ради себя самого, а для удовлетворенія инымъ, иногда даже весьма не близкимъ цѣлямъ.

Такъ-называемая мысль провинціи, ея желанія, инстинкты предполагаются до такой степени общеизвѣстными, что никому даже въ голову не приходитъ провѣрить — въ самомъ ли дѣлѣ эта общеизвѣстность такова, какъ предполагается. Нѣтъ ли тутъ какой-нибудь игры словъ? Не слѣдуетъ ли, вмѣсто выраженія: „общеизвѣстность“, употребить болѣе подходящее: „обязательность“?

Что такое отношеніе столичнаго общественнаго мнѣнія къ провинціи существуетъ — это доказывается уже тѣмъ, что даже въ такихъ случаяхъ, когда первое почему-нибудь считаетъ нелишнимъ, чтобы провинція подала свой голосъ въ извѣстномъ вопросѣ, то оно ожидаетъ отъ этого голоса не провѣрки, а только подтвержденія. И факты никогда не обманывали подобныхъ ожиданій; напротивъ того, они постоянно и упорно подтверждали, что столичное мнѣніе имѣетъ полное право называть провинціальную мысль и общеизвѣстною, и обязательною.

Испытайте мысль любого изъ столичныхъ бюрократовъ о провинціи, очистите эту мысль отъ тѣхъ оговорокъ, которыми она почти всегда затемняется, и вы навѣрное прочтете такъ: провинція есть среда, въ которой собираются подати и налоги, необходимые для безостановочнаго дѣйствія центровъ. Испытайте мысль объ этомъ же предметѣ любого члена нашей празднопатающейся интеллигенціи, и вы прочтете такъ: провинція есть то злачное мѣсто, изъ котораго

извлекаются матеріальныя средства, необходимыя для удобнаго существованія въ столицѣ. Спросите, наконецъ, любого изъ исторіографовъ, преждевременно одряхлѣвшихъ отъ волненій, испытанныхъ въ столичныхъ танцклассахъ и въ настоящую минуту дѣлающихъ наѣзды на наши провинціальныя палестины,—спросите ихъ, зачѣмъ они приволокли сюда свою дряблость и истаскапность?—и вы навѣрное услышите отвѣтъ: надо же, наконецъ, отдохнуть! Даже купцы, въ рукахъ которыхъ скапливалось въ былое время большинство мѣстныхъ капиталовъ и которые всегда охотно сживались съ родными гнѣздами, нынѣче, благодаря торговому космополитизму, знаютъ, куда обратить дѣятельность, для которой провинція уже не представляетъ выгоднаго поприща. Правда, остается мужикъ, который, по прежнему, сидитъ крѣпко на мѣстѣ; но что же такое мужикъ, какъ не тягловая единица, которая постоянно производитъ и у которой постоянно же производимое болѣе или менѣе проходитъ между пальцевъ?

Все чувствующее въ себѣ силу неудержимо стремится вонъ изъ провинціи. Сами провинціальные обыватели, повидимому, совершенно искренно убѣждены, что провинція не что иное, какъ придатокъ, и что это самое приличное для нея положеніе. „У насъ просто, у насъ безъ хитрости, у насъ всякой борзой собакѣ мѣсто найдется“, скажутъ вамъ одни, и вы почувствуете, что это слова не бросовыя, что они произносятся даже не съ ожесточеніемъ, а съ добродушнѣйшею искренностью. „У насъ скука! у насъ отъ нея одной не поглупѣть невозможно!“ скажутъ другіе; но и въ этихъ словахъ вы не почувствуете ни озлобленія, ни ропота, а развѣ какую-то робкую, почти неумѣстную иронію. „Ничего у насъ не подѣлаешь, да и дѣлать, признаться, нечего“, присовокупляютъ третьи, и, ежели угодно, даже докажутъ фактически, что дѣлать дѣйствительно нечего. И наконецъ: „у насъ безъ того, чтобы не пить, нельзя“...

Нѣсколько разъ въ теченіе настоящихъ писемъ была выражена мысль, что современная провинція уже не представляетъ собою того дремучаго лѣса, какимъ она была въ прежнее и даже весьма недавнее время. Повидимому, мысль эта противорѣчитъ мнѣнію, высказанному выше; но это противорѣчіе только кажущееся. Нѣтъ спора, внѣшнія формы провинціальнаго быта улучшились, даже внутреннее его содержаніе значительно видоизмѣнилось; но никто не скажетъ, что это улучшеніе и измѣненіе выработалось провинціей самостоятельно,

чтобы оно не было послано на нее извнѣ, въ такую минуту, когда она меньше всего о томъ помышляла.

Жизнь обновилась, но по поводу этого обновленія провинція не выказала ни малѣйшей иниціативы. Мало того: это обновленіе потребовалось въ нее *вводить* точно такимъ же порядкомъ, какъ вводится, напримѣръ, шестипольное хозяйство вмѣсто трехпольнаго. Раздѣлятъ каждое поле на-двое, и начнутъ пахать, боронить и сѣять по новому. Земля непосредственно не возражаетъ противъ нововведеній, но и не содѣйствуетъ имъ; то-есть, коли хотите, и у нея есть способъ откликаться на нововведенія замледѣльца, посредствомъ урожаевъ или неурожаевъ, но это способъ чисто страдательный, свойственный ея неорганической природѣ. То же самое можно сказать и относительно провинціи, съ тою только разницей, что тутъ не можетъ быть рѣчи объ урожаяхъ или неурожаяхъ.

Мы живо помнимъ конецъ пятидесятыхъ и начало шестидесятыхъ годовъ; въ то время столичное общественное мнѣніе кипѣло и волновалось такъ-называемыми вопросами; кипѣла и волновалась ими и провинція. Но и въ этомъ, повидимому, искреннемъ кипѣніи она на каждомъ шагу путалась въ противорѣчіяхъ; съ одной стороны преувеличивала, съ другой—пасовала; но ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ не съумѣла выказать одного: самостоятельной творческой способности. Провинціальный нервъ напрягался и ослабѣвалъ, повинуясь какой-то случайности, такъ что со стороны можно было заподозрить, нѣтъ ли тутъ какого-нибудь начальственнаго предписанія. Но предписанія никакого не было, а было одно: отсутствіе сознательности. Замутилось столичное общественное мнѣніе—замутилась за нимъ и провинція. Не потому замутилась, чтобы дошла до сознанія, что кипѣть довольно, а просто замутилась — да и все тутъ. И даже не постепенно произошла въ ней эта перемѣна, а вдругъ; вчерашніе рьяные либералы проснулись либералами стыдливыми, и не могли ни другимъ, ни себѣ дать отчета, почему это такъ сдѣлалось.

Все это факты, совершившіеся на нашихъ глазахъ. Высказала ли провинція по поводу ихъ свое слово? выразила ли она хоть чѣмъ-нибудь, что ея мнѣніе не есть то заранѣе извѣстное и обязательное мнѣніе, узнавать о которомъ было бы совершенно лишнею формальностью, ведущею только къ проволочкѣ времени?

Нѣтъ; не высказала и не выразила ничего, потому что нѣтъ у

нея главнаго условія, которое необходимо для жизни дѣятельной и полагающей починъ — нѣтъ самосознанія, а слѣдовательно нѣтъ и слова для выраженія его. Конечно, и въ провинціи вы можете встрѣтить — и даже нерѣдко — людей несомнѣнно талантливыхъ и даже энергическихъ; но самая характеристическая черта этихъ талантливостей заключается въ томъ, что онѣ постоянно какъ будто торопятся и постоянно же чего-то ожидаютъ. Знаете ли, что̀ собственно составляетъ предметъ этихъ тревожныхъ ожиданій? Увы! Это не болѣе и не менѣе, какъ пріѣздъ сановника, флигель-адъютанта, или вообще лица, власть имѣющаго. И совсѣмъ не потому, чтобы лицезрѣніе сихъ особъ заключало въ себѣ нѣчто необычайно лестное для дальновиднаго провинціала, а просто потому, что въ каждой „особѣ“ талантливость усматриваетъ орудіе, которое можетъ извлечь ее изъ неизвѣстности, то-есть, опять-таки, вывести изъ провинціи. „Вотъ, думаетъ талантливость, пріѣдетъ W; сейчасъ я его плѣняю и пріятно изумляю; онъ меня, я его, и...“ И уже видитъ себя окруженною нѣкоторымъ бюрократическимъ ореоломъ и вносящею такъ-называемую новую струю въ разнообразный департаментскій соръ, вѣками накопленный въ столицахъ.

Таковы тайныя стремленія такъ-называемыхъ провинціальныхъ талантливостей. И на яву, и во снѣ онѣ видятъ одно: какъ бы развязаться съ провинціей. Имъ не улыбается мысль, что лучше быть первымъ въ деревнѣ, нежели вторымъ въ Римѣ; имъ не приходитъ въ голову даже то совершенно естественное предположеніе, что, сдѣлавшись участникомъ столичнаго движенія, онѣ не только не внесутъ никакой новой струи, но сами утонутъ въ департаментскомъ сорѣ. Нѣтъ, онѣ фаталистически и безъ всякихъ соображеній влекутся вонъ изъ провинціи, всѣ интересы которой кажутся имъ и ограниченными, и пошлыми.

Примѣры подобныхъ неудержимыхъ стремленій истинно поразительны; укажемъ здѣсь на одинъ изъ нихъ. Извѣстно, что нигдѣ такъ не распространенъ классъ такъ-называемыхъ самоучекъ, какъ въ провинціи. Эти люди всѣ свои способности употребляютъ или на то, чтобы изобрѣтать изобрѣтенное, или на то, чтобы разрѣшать неразрѣшимое. Очень можетъ статься, что это личности въ своемъ родѣ весьма способныя, но не подлежитъ спору, что, въ то же время, нѣтъ на свѣтѣ породы людей болѣе безполезной и болѣе бросающейся въ глаза своею

неразвитостью. И что-жъ? попробуйте испытать сокровенную мысль одного изъ этихъ рѣшителей неразрѣшимаго, и вы навѣрное прочтете ее такъ: „а вотъ погоди! ужо, какъ открою квадратуру круга, въ ту жъ минуту махну въ Петербургъ!“ Вотъ, видите ли, даже эти недоразвившіеся организмы находятъ для себя провинцію слишкомъ тѣсною; даже они, почувствовавъ смутные признаки умственнаго вожделѣнія, уже ищутъ для него поприща болѣе свободнаго и просторнаго!

Но ежели провинціальная жизнь представляетъ такъ мало интересовъ, что лучшія силы провинціи не имѣютъ повода задерживаться въ ней; ежели провинція постоянно много даетъ и постоянно же мало получаетъ въ возвратъ, то весьма естественно возникаетъ вопросъ: до какихъ поръ можетъ продолжаться подобный несоразмѣрный обмѣнъ услугъ, и не должна ли эта явная несоразмѣрность привести къ постепенному обѣдненію и даже разоренію той стороны, которая, по обстоятельствамъ, поставлена въ болѣе невыгодное положеніе? Что это вопросъ дѣйствительный, а не призракъ, вызванный взволнованнымъ воображеніемъ, — въ этомъ легко убѣдится всякій, у кого есть глаза для сравненій и здравый смыслъ для выводовъ.

Всякій земледѣлецъ, даже рутинеръ, нынче хорошо понимаетъ, что какъ бы ни были богаты производительныя силы земли, она постепенно бѣднѣетъ и даже совсѣмъ перестаетъ производить, если относительно ея принята система все брать и ничего не возвращать. Всякій не совсѣмъ безумный помѣщикъ добраго стараго времени, желая извлекать выгоду изъ своего дворовaго человѣка, никогда не упускалъ изъ вида, что достигнуть этой выгоды нельзя иначе, какъ предварительно вооруживъ этого дворового средствами для добыванія нужнаго оброка. Съ этою цѣлью, дворовыхъ людей съ малолѣтства обучали мастерствамъ; убогихъ же и калѣкъ, по малой мѣрѣ, снабжали сумою. Но и тутъ нерѣдко оказывалось, что человѣческая кожа не безъ конца растяжима и что человѣческія мышцы не могутъ безгранично напрягаться. Кажется, этихъ двухъ простыхъ примѣровъ весьма достаточно, чтобы доказать, что вообще въ цѣлой природѣ нѣтъ и не можетъ быть такой благодатной сокровищницы, изъ которой можно было бы черпать, и только черпать.

Тѣмъ не менѣе, насъ не вразумляютъ ни свидѣтельства опыта, ни подсказыванія здраваго смысла. Мы ухитряемся возсоздать для

себя миѳологическій образъ древней фортуны, слѣпой и неразумной, но въ то же время никогда неистощающейся. Эта фортуна—провинція; она и слѣпа, и безсильна, и скудна начинаніями, но — о, чудо! кошель ея дѣйствительно какъ будто не опоражнивается, несмотря на то, что усилія, дѣлаемыя въ видахъ этого опорожненія, не подлежатъ никакому сомнѣнію.

Какимъ образомъ происходитъ, что безплодіе производитъ плоды, а безсиліе даетъ силу — это объяснить довольно трудно. Впрочемъ едва ли кто-нибудь и старается выяснить себѣ эту странную аномалію, ибо тутъ, повидимому, важенъ только непосредственный практическій результатъ. Что провинція слѣпа — это даже хорошо, потому что если бы на свѣтѣ все были люди зрячіе, они, пожалуй, и на солнцѣ не замедлили бы усмотрѣть пятна; что провинція нехитра на выдумки—и это не дурно, потому что все наше несчастіе именно въ томъ и состоитъ, что мы желаемъ быть умнѣе умныхъ. Сущность не въ томъ, чтобы провинція представляла собой бодрую производительную силу, а въ томъ, чтобы такъ или иначе изъ нея лѣзло на украшеніе и вящшую утѣху центровъ. И лѣзетъ.

Когда случается завести въ этомъ смыслѣ разговоръ съ нашими провинціальными исторіографами, то они обыкновенно только таращатъ глаза. Въ этихъ простыхъ соображеніяхъ все кажется имъ дикимъ, непривычнымъ, почти карбонарскимъ. Они положительно думаютъ, что производительность и распорядительность—два выраженія однозначащія и легко замѣняющія одно другое, и что ежели первая прекращается или оскудѣваетъ, то не потому, что всякому напряженію имѣются извѣстные предѣлы, а просто по какому-то упорству со стороны производителей, — упорству, противъ котораго имѣется подъ руками вѣрнѣйшее средство, а именно та самая пресловутая распорядительность, которая, по ихъ мнѣнію, можетъ замѣнить все.

Съ помощью этого безсмысленнаго выраженія, да еще съ помощью благоразумной строгости (тоже выраженіе не очень богатое смысломъ), эти несчастные надѣются всего достигнуть: и проблесковъ народнаго генія, и разумнаго распоряженія силами природы, и рѣкъ, текущихъ млекомъ и медомъ. По мнѣнію ихъ, стоитъ человѣка высѣчь, чтобы изъ него полѣзло всякое изобиліе плодовъ земныхъ;

стóитъ продать у человѣка корову или лошадь, чтобы у него сейчасъ же, на мѣсто проданныхъ, явились двѣ коровы и двѣ лошади.

— Je voudrais bien voir!—гремитъ одинъ.

— Явится все-съ: и хлѣбъ-съ, и деньги!—повѣствуетъ другой.

— Какъ примутся, знаете, за нихъ вплотную... запоютъ-съ! откуда чтó возьмется!—угрожаетъ третій.

Напрасно вы будете доказывать, что нѣніе, какъ результатъ распорядительности, ровно ничего не значитъ, что въ этомъ случаѣ выраженіе „откуда чтò возьмется“, хотя и оправдываемое кажущимся успѣхомъ, все-таки, не болѣе какъ миражъ, которому довѣряться опасно, — исторіографы будутъ въ отвѣтъ на ваши доводы только больше и больше сверкать глазами и издавать неясные звуки. Это сверканіе глазъ, это вращаніе зрачками, эти звуки... все это вмѣстѣ взятое составляетъ такое зрѣлище, которое почти невозможно изобразить.

Такимъ образомъ, непредусмотрительность, съ одной стороны, и молчаніе, съ другой, производятъ то кажущееся отсутствіе затрудненій, которое вводитъ въ обманъ. Въ самомъ дѣлѣ, покуда будетъ возможность ссылаться на распорядительность или нераспорядительность, до тѣхъ поръ, конечно, никто не имѣетъ права предъявлять никакихъ претензій ни на дальновидность, ни на сообразительность, ни на глубокомысліе со стороны исторіографовъ. Они не видятъ — это правда; они не размышляютъ—и это опять правда; но они имѣютъ полное основаніе не видѣть и не размышлять — вѣдь и это не парадоксъ, а истинная истина. Если невиннѣйшая изъ дѣвицъ можетъ дать только то, чтò имѣетъ, то тѣмъ болѣе должно быть примѣнимо это правило къ исторіографамъ, которые ужъ совсѣмъ ничего не могутъ дать, потому что ровно ничего не имѣютъ. Исторіографъ—человѣкъ ближайшихъ и непосредственныхъ средствъ; онъ не разсуждаетъ, не заглядываетъ въ даль, не путается въ мысляхъ, а просто махаетъ жердью направо и налѣво. И когда жердь ушибаетъ, онъ не догадывается, что сдѣлалъ одно изъ тѣхъ глупыхъ дѣлъ, изъ которыхъ даже для него лично ничего, кромѣ вреда, не выйдетъ, а просто упивается своимъ торжествомъ, и, самодовольно восклицая: „га! опомнились!“ — ставитъ до времени побѣдоносную жердь въ уголъ.

Тѣмъ не менѣе, постепенное отощаніе провинціи уже начинаетъ

сказывается во всемъ. Чувствуется, что провинція какъ будто перестаетъ жить, что она расплачивается не доходами, а капиталомъ. Повсюдная дороговизна свидѣтельствуетъ, что даже выраженіе „откуда что возьмется“ скоро сдѣлается преданіемъ, сохранившимъ свой авторитетъ развѣ только въ глазахъ становыхъ приставовъ и исправниковъ; всеобщее равнодушіе, апатія, лѣнь доказываютъ, что та же самая участь постигнетъ, ежели уже не постигла, плоды умственные. „Нѣтъ дѣятелей, нѣтъ денегъ, некуда идти!“ жалуются люди, стоящіе у самаго источника провинціальной производительности, какъ матеріальной, такъ и умственной. Оказывается, стало быть, что безмолвіе и отсутствіе иниціативы вовсе не такое драгоцѣнное явленіе, какъ можно было ожидать. Каждый провинціалъ чувствуетъ, что въ его существованіе закралась небывалая доселѣ тяжесть; каждый видитъ себя опутаннымъ какими-то сѣтями, которыхъ онъ ни распутать, ни разорвать не можетъ. Куда бы онъ ни ступилъ, вездѣ его нѣчто гнететъ и гложетъ; и въ то же время все — даже это гнетущее — такъ ему постыло, такъ противно, такъ само по себѣ ничтожно, что ни на что бы онъ не смотрѣлъ, ни къ чему бы не прикоснулся.

И вотъ поднимаются сѣтованія и припоминанія; пускаютъ въ ходъ обращенія къ прошлымъ, вѣчно памятнымъ блистательнымъ днямъ... назадъ! назадъ!

Въ провинціи не въ рѣдкость и теперь встрѣтить апологистовъ добраго стараго времени. Огромное большинство подобныхъ апологистовъ, конечно, представляетъ собой ходячія вѣтряныя мельницы, которыя мелютъ всякій вздоръ, какой случайно попадетъ на языкъ; но есть и такіе, у которыхъ, по временамъ, прорываются нѣкоторые признаки мысли. Какъ и слѣдуетъ ожидать, апологисты эти вертятся исключительно около крѣпостного права, этого единственнаго явленія нашего прошлаго, которое представляло собой нѣчто сложившееся и окрѣпшее. По мнѣнію апологистовъ, крѣпостное право хотя и не въ полной мѣрѣ, но, все-таки, до извѣстной степени прикрывало жизнь отъ паѣздовъ, случайностей и сюрпризовъ.

— Прежде, — говорятъ апологисты крѣпостного права: — каждый, по крайней мѣрѣ, зналъ, гдѣ онъ находится; каждый имѣлъ возможность опредѣлить тѣ границы, въ которыхъ его не могъ настигнуть сюрпризъ. Оттого жизнь держалась тверже и нельзя было

не считаться съ нею; въ провинцію не наѣзжали канканирующіе сорванцы, которые даже и до того не могутъ додуматься, что человѣческая дѣятельность должна управляться мыслью, а не похотью. Бывали, конечно, и прежде люди нестерпимые—и даже, пожалуй, они составляли большинство—но они, все-таки, знали, чего хотѣли, да и другихъ въ заблужденіе не вводили. Теперь же, куда ни взглянешь, кажется, и свободнѣе, и легче дышать стало, а не дышется, да и все тутъ! А отчего? Оттого, милостивые государи, что жизнь оголилась, что со всѣхъ сторонъ ее такъ и запоситъ всякаго рода неожиданностями.

Въ этомъ разсужденіи есть громадная и глубокая неправда, о которой будетъ сказано ниже; но съ точки зрѣнія непосредственныхъ результатовъ въ немъ, все-таки, слышится какое-то подобіе истины. Какъ ни ужасно представить себѣ жизнь, стоящую подъ защитой крѣпостного права, но еще невыносимѣе, еще больнѣе сознавать полное оголеніе жизни. Въ самомъ дѣлѣ, куда ни обратите взоры, вездѣ вы услышите жалобу на то, что жизнь вышла изъ старой колеи, а новой колеи не находитъ; вездѣ увидите людей, изнемогающихъ подъ игомъ неизвѣстности, ищущихъ къ чему-нибудь пріурочиться и не находящихъ убѣжища. Это до такой степени вѣрно, что даже тѣ, которымъ именно слѣдовало бы дышать легче, и тѣ пришли къ недоумѣнію: отчего, въ самомъ дѣлѣ, не дышется легче? Не рѣдкость даже встрѣчать бывшихъ крѣпостныхъ людей, которые со вздохомъ вспоминаютъ о крѣпостномъ правѣ. Ужели же они защищаютъ его? ужели они желали бы возвратиться къ нему? Конечно, нѣтъ; но такъ какъ обращеніе къ воспоминаніямъ прошлаго не выдумка, то по-неволѣ приходитъ на мысль, что эти обращенія, эти вздохи вызываются совсѣмъ не прелестями упраздненнаго, а наготою настоящаго. Не могила крѣпостного права привлекаетъ къ себѣ, а представленіе о томъ цвѣтѣ, который имѣлъ возрасти на этой могилѣ. Очевидно, что упраздненіе есть только односторонняя форма человѣческой дѣятельности; очевидно, что она составляетъ отрицаніе, которое, конечно, можетъ на время увлечь кажущимися перспективами, но которое, при продолжительномъ дѣйствіи, производитъ одно недоумѣніе. Никто, конечно, не станетъ защищать финансиста, который, вмѣсто того, чтобы отыскивать новые источники государственныхъ доходовъ и заботиться о сокращеніи государственныхъ расходовъ, предложилъ бы

удовлетворять нужды бюджета посредствомъ безконечныхъ займовъ; но съ русскою провинціальною жизнью именно происходитъ нѣчто въ этомъ родѣ. Она ничего новаго не вырабатываетъ, ничего стараго не сокращаетъ (да и сократить-то, кажется, нечего), а живетъ какими-то займами, настолько темными, что никто не можетъ даже достовѣрно указать на ихъ источникъ.

Такимъ образомъ, съ одной стороны, освобожденіе жизни отъ путъ, ее связывающихъ, съ другой, вмѣсто ожидаемыхъ благотворныхъ результатовъ, несомнѣнное оскудѣніе жизни — вотъ печальная истина современнаго провинціальнаго быта.

Откуда же происходитъ эта неприкрытость жизни? Гдѣ искать причину новальнаго безсилія, которое заставляетъ человѣка останавливаться на половинѣ дороги, задерживаетъ его въ подробностяхъ и мелочахъ и не допускаетъ до обобщеній и выводовъ?

Вотъ тутъ-то именно мы и встрѣчаемся съ тою вопіющею неправдой, о которой вскользь упомянуто выше и которую апологисты крѣпостного права считаютъ за лучшее скрыть.

Дѣло въ томъ, что хотя крѣпостное право и давало жизни извѣстное прикрытіе, но прикрытіе это было только мнимое. Въ сущности, оно не только ничего не защищало, но, напротивъ того, систематически и на неопредѣленное время подрывало у жизни всякую возможность выработать себѣ какое-нибудь прикрытіе въ будущемъ. Случайность и неожиданность, лежащія въ его основѣ, служили защитой только тому, что̀ само по себѣ было растлѣвающимъ началомъ жизни, тому, отъ чего жизни не было бы ни тепло, ни холодно, еслибъ горькій фатализмъ не связывалъ здѣсь двѣ противоположныя крайности—упорный трудъ и не менѣе упорное бездѣлье, и не ставилъ первый въ зависимость отъ второго. Такого рода защита, пожалуй, и теперь есть—стоитъ только взглянуть на сытыя и довольныя лица губернскихъ исторіографовъ, чтобъ убѣдиться въ этомъ—но результаты, къ которымъ она приходитъ, стали до такой степени ясны, что никому даже въ голову не приходитъ назвать ихъ результатами. И прежде, какъ и нынѣ, произволъ никого не воспитывалъ, ничего положительнаго, добраго и плодотворнаго не достигалъ; и прежде, какъ и нынѣ, онъ былъ только парадным пугаломъ, за которымъ таился прахъ. И вотъ тѣ бросовыя, размалеванныя стѣнки, которыя казались намъ несокрушимыми укрѣпленіями, разлетѣлись

при первомъ дуновеніи вѣтра и сразу обнаружили изумленному міру скрывавшееся за ними умственное и матеріальное убожество...

Есть ли же послѣ этого поводъ утверждать, что крѣпостное право что-то прикрывало, что-то ограждало? Нѣтъ, этого повода нѣтъ, и жизнь того времени была еще менѣе прикрыта, нежели нынѣшняя, только это не замѣчалось тѣми, которые, по своему положенію, одни и могли что-нибудь замѣчать. Искусственныя связи, которыми мы съ такими неслыханными усиліями старались сплотить наши разлѣзающіяся во всѣ стороны немощи, хотя и могли временно ввести въ заблужденіе неопытныхъ, но дѣйствительной связи никогда не представляли. Не говоря уже о томъ, что въ этомъ случаѣ именемъ „связей“ прикрывался простой гнетъ, который убивалъ въ самомъ зародышѣ всякій проблескъ народной самодѣятельности, эти такъ-называемыя связи все общество дѣлили на двѣ половины, которыя равно другъ друга чуждались, а можетъ быть даже и равно другъ друга ненавидѣли. Можно ли же назвать прикрытою такую жизнь, въ которой каждая составная часть идетъ врозь, въ которой нѣтъ ни силы, ни почина, ни поводовъ для энергіи, въ которой все, что̀ ни дѣлается, дѣлается безучастно, апатически, почти съ ненавистью?

Нѣтъ, не въ упраздненіи крѣпостного права, слѣдуетъ искать причину современнаго оголенія нашей провинціальной жизни, а въ чемъ-то другомъ, и это другое едва-ли не въ томъ состоитъ, что мы выраженію „крѣпостное право“ придаемъ слишкомъ тѣсный и спеціальный смыслъ.

Крѣпостное право не въ томъ только заключается, что тутъ съ одной стороны — господа, а съ другой — рабы. Это только внѣшняя и, притомъ, самая простая форма, въ которой выражается крѣпостничество. Гораздо важнѣе, когда это растлѣвающее начало залегаетъ въ нравы, когда оно поражаетъ умы, и вотъ въ этомъ-то смыслѣ все, что̀ носитъ на себѣ печать произвола, все, что̀ не мѣшаетъ проявленіямъ его дикости, можетъ быть столь же безошибочно названо тѣмъ именемъ, въ силу котораго какой-нибудь Ивашка или Сёмка, ложась на ночь спать, не знали, чѣмъ они завтра встанутъ: ключниками ли, хранителями господскаго добра, или свинопасами.

Отвѣтимъ себѣ хоть разъ откровенно: знаемъ ли мы, бѣдные, неприкровенные провинціалы, чѣмъ встанемъ завтра съ постелей нашихъ? Знаемъ ли мы, что̀ мы дѣлаемъ и для чего дѣлаемъ? Увѣрены ли мы,

что наше разумное дѣйствіе дастъ и результатъ разумный, что дѣйствіе неразумное и послѣдствія будетъ имѣть соотвѣтствующія? Отвѣтимъ на эти вопросы, и тогда уже спросимъ себя: ужели мы не погрязли по горло въ томъ самомъ крѣпостномъ правѣ, которое дѣлало такъ нестерпимымъ, по своей безалаберной шаткости, положеніе всевозможныхъ Ивашекъ и Сёмокъ?

Порокъ такъ-называемаго крѣпостного права не въ томъ одномъ состоитъ, что оно допускаетъ явно безнравственныя отношенія между людьми, а въ томъ, что при существованіи его невозможенъ успѣхъ, невозможна жизнь. Въ какихъ бы видахъ, подъ какими бы наименованіями ни проникало въ жизнь это разлагающее начало, оно настигнетъ свою жертву и доканаетъ ее во что̀ бы то ни стало. Какъ хотите хитрите, придумывайте какіе угодно извороты, но когда источникъ изсякнетъ, то воды не будетъ—это несомнѣнно. Напрасно мы будемъ классифицировать наши пороки, напрасно будемъ отдѣлять ихъ перегородками и отыскивать для каждаго свое мѣсто — нѣтъ, это все дѣти одного и того же отца, и имя имъ всѣмъ: крѣпостное право. Не потому оголилась и оголяется жизнь, что крѣпостничество уничтожено, а потому, что оно еще дышетъ, буйствуетъ и живетъ между нами.

Намъ тяжело жить—это правда; намъ тяжелѣе, нежели отцамъ нашимъ—и это опять правда; но не оттого совсѣмъ, чтобы условія современной жизни измѣнились къ худшему, а оттого, что они *мало измѣнились къ лучшему*. Отцамъ нашимъ много помогало въ жизни безсознательное отношеніе къ ней; мы же хотя и не вышли совершенно изъ положенія безсознательности, но, все-таки, нѣсколько порастлились. Это дѣлаетъ наши горести еще болѣе чувствительными, и хотя средствъ, чтобы выйти изъ произвола, мы еще не измыслили, но чувствуемъ, очень чувствуемъ, что не розами около насъ пахнетъ.

Какое заключеніе можно вывести изъ всего сказаннаго выше? Какое будущее ожидаетъ провинцію, ежели матеріальныя и умственныя ея силы будутъ попрежнему устремляться къ центрамъ? и возможно ли придумать такую комбинацію, которая остановила бы это стремленіе и задержала въ провинціи то, что̀ необходимо для успѣховъ ея развитія?

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что ежели положеніе вещей въ провинціи останется въ томъ же видѣ, въ какомъ оно находится нынѣ,

ежели всякая попытка внести въ мѣстную дѣятельность смыслъ будетъ и впредь приниматься нашими исторіографами за попытку подорвать общественныя основы, то провинція, въ концѣ концовъ, заглохнетъ и поростетъ репейникомъ. Повторяемъ: несогласно съ законами здраваго разсудка: брать, брать и брать, и никогда ничего не возвращать. Несогласно съ справедливостью называть взаимнымъ обмѣномъ услугъ такой обмѣнъ, когда одна сторона все получаетъ, а другая все отдаетъ, а ежели и получаетъ, то въ видѣ какого-нибудь канканирующаго исторіографа, то-есть опять-таки получаетъ убытокъ и огорченіе, а не прибыль и утѣху. Но какого же рода услугу могутъ оказать въ этомъ случаѣ центры своимъ окраинамъ, чтобъ оживить ихъ?

На первый разъ, по моему мнѣнію, совершенно достаточно будетъ, если услуга эта выразится въ четырехъ словахъ: не мѣшать жить провинціи...

Позволительно думать, что требованіе это не заключаетъ въ себѣ никакой притязательности. Мысль объ освобожденіи жизни отъ излишнихъ опекательствъ вовсе не новая; она составляетъ самый явственный и непремѣнный результатъ реформаторскихъ попытокъ послѣдняго времени. Что этотъ результатъ выясняется довольно туго, это еще не доказываетъ ни ненужности, ни даже преждевременности его, а доказываетъ только, что изъ жизни нашей не исчезла еще случайность, которая на каждомъ шагу потчуетъ насъ всевозможными сюрпризами. Пускай исторіографы буйствуютъ и преднамѣренно или по глупости извращаютъ смыслъ того, что составляетъ драгоцѣннѣйшее достояніе современной жизни—мы вѣримъ горячо и искренно, что истинный смыслъ реформы 19-го февраля не потеряется никогда.

Въ чемъ же должно заключаться осуществленіе выраженія „не мѣшать жить“? По нашему скромному мнѣнію, это осуществленіе заключается въ слѣдующемъ: какъ можно менѣе заниматься провинціей, не окружать ее цѣпью неловкихъ опекателей, которые только смущаютъ и запутываютъ общественное мнѣніе, и не пугаться (именно только не пугаться) при появленіи въ ней признаковъ самодѣятельности.

Намъ, провинціаламъ, очень часто указываютъ на современное земство, на бѣдность добытыхъ имъ результатовъ и на нѣкоторую азбучность попятій, высказываемыхъ въ земскихъ собраніяхъ. Но

причины этого явленія отчасти указаны уже въ предыдущихъ письмахъ. Это, во-первыхъ, тѣ пререканія, которыя встрѣтили земство въ самую минуту его появленія, а во-вторыхъ, тѣ неполезныя примѣси, которыя имѣютъ обыкновеніе привязываться у насъ къ каждому дѣлу, и которыя не преминули привязаться къ земству. Есть, конечно, и другія, еще болѣе рѣшительныя причины, временно обрекающія земство на безсиліе, но объ этихъ причинахъ находимъ благоразумнымъ до времени умолчать.

Не мѣшать жить! Повидимому, какой скромный и нетребовательный смыслъ заключаетъ въ себѣ это выраженіе! А между тѣмъ какъ оно выпрямляетъ человѣка, какую бодрость вливаетъ въ его сердце, какъ просвѣтляетъ его умъ! Не мѣшать жить!—да вѣдь это значитъ *разрѣшить* жить, искать, двигаться, дышать, шевелить мозгами! Шутка!

Мы очень хорошо понимаемъ, что мысли самыя простыя и естественныя всегда кажутся и самыми страшными; мы понимаемъ также, что простой взглядъ на вещи, при современной путаницѣ понятій, есть взглядъ наименѣе симпатичный. Но мы не можемъ забыть и то, что всякая путаница, даже самая любезная, должна имѣть свой предѣлъ, и что нежеланіемъ посмотрѣть ей въ глаза мы не устраняемъ затрудненіе, а еще болѣе усложняемъ его.

Письмо восьмое.

Говоря въ прошломъ письмѣ о чрезвычайной скудости творческой силы провинціи, я выразилъ мнѣніе, что причина этого явленія заключается въ томъ, что провинція испоконъ вѣка только отдаетъ и ничего въ возвратъ не получаетъ, или получаетъ ненужный хламъ въ лицѣ канканирующихъ исторіографовъ. Отсюда — равнодушіе провинціи даже къ тѣмъ интересамъ, которые ей всего болѣе близки; отсюда—ея неспособность. И если еще нельзя сказать, что провинція совсѣмъ заснула, то можно сказать за вѣрное, что она не вѣритъ своимъ силамъ и ждетъ поправки своихъ обстоятельствъ не отъ себя самой, а откуда-то издалека.

Очень можетъ быть, что многіе читатели увидѣли тутъ не больше, какъ парадоксъ; но въ послѣднее время провинція сама взяла на себя трудъ придти на помощь высказанному выше мнѣнію. Передъ нами лежитъ нѣсколько сочиненій, имѣющихъ предметомъ характеристику провинціи и ея существеннѣйшихъ интересовъ. Сочиненія эти принадлежатъ лицамъ, близко знакомымъ съ ходомъ нашихъ провинціальныхъ дѣлъ, лицамъ, живущимъ въ провинціи и несомнѣнно принимающимъ самое дѣятельное участіе въ ея судьбахъ. Если даже они подтверждаютъ мнѣнія, выраженныя въ настоящихъ письмахъ, то можно сказать прямо, что мнѣнія эти нимало не страдаютъ преувеличеніемъ.

Что же мы видимъ въ сочиненіяхъ этихъ „свѣдущихъ людей“ провинціи, какое поученіе можемъ мы извлечь изъ нихъ? А вотъ что прежде всего: сознаніе безсилія провинціи, сознаніе ея неподготовленности къ принятію удобствъ и преимуществъ самоуправленія.

Всѣмъ извѣстно, что провинція недавно обзавелась земствомъ; извѣстно также, что со стороны общественнаго мнѣнія земство встрѣтило скорѣе апологистовъ, нежели порицателей. Ничего не совершивъ, оно уже было возвеличено; будучи еще въ зародышѣ, оно предполагалось уже способнымъ оправдать нѣкоторыя надежды. Какія надежды? чего именно могло ожидать русское общественное мнѣніе отъ этого новаго учрежденія?

Съ достовѣрностью можно сказать, что въ этомъ случаѣ первую роль играло слово „самоуправленіе“. Произнесенное рядомъ со словомъ „земство“, оно должно было оказать магическое дѣйствіе. Оно обязывалось сдѣлать изъ провинціи нѣчто въ родѣ маленькаго земного рая, обязывалось поднять умственный и матеріальный уровень страны, способствовать сближенію и даже сліянію сословій, уничтожить злоупотребленія мѣстной администраціи, положить предѣлы ея притязаніямъ, — словомъ сказать, обновить провинціальную жизнь, сдѣлавъ ее возможною не для однихъ брюхопоклонниковъ, но и для людей, не чуждающихся интересовъ мысли. Нѣкоторые восторженные умы шли далѣе и возлагали на земство разныя другія обязательства, какъ напримѣръ: по освобожденію человѣческой личности отъ непроизвольныхъ передвиженій, наѣздовъ, паскоковъ, по огражденію домашняго очага и т. д. Эти послѣднія надежды были, конечно, и преувеличены, и преждевременны, но во всякомъ случаѣ казалось не-невѣ-

роятнымъ, что съ водвореніемъ земства хоть одно будетъ достигнуто: возможность жить и безъ помѣхи заниматься своимъ дѣломъ.

Но для того, чтобы отвѣтить на эти ожиданія мало-мальски достойнымъ образомъ, надлежало, чтобы земство съ самаго начало поняло свои задачи въ самомъ широкомъ смыслѣ. Съуженіе задачъ вообще плохая школа для вновь выступающихъ учрежденій. Когда мы говоримъ себѣ: теперь не мѣсто и не время обобщать и расширять вопросы; останемся при тѣхъ подробностяхъ, которыя у насъ подъ руками и которыхъ никто у насъ не оспариваетъ, то на пути этомъ насъ очень скоро настигнутъ всякаго рода разочарованія. Во-первыхъ, мы убѣждаемся, что границы, существующія между общимъ и частнымъ, совсѣмъ не такъ строго опредѣлены, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда, и что какъ бы мы ни усиливались изолировать то или другое частное явленіе, нашъ успѣхъ никогда не будетъ настолько великъ, чтобы исторгнуть изъ него ту интимную сущность, которая вводитъ его въ область общаго. Во-вторыхъ, увлекаясь исключительно подробностями, мы теряемъ изъ виду тѣ общія перспективы, которыя собственно и даютъ подробностямъ смыслъ и цѣну; поэтому мы дѣлаемъ дѣло, можетъ быть, очень трудное и кропотливое, но во всякомъ случаѣ мало полезное, почти мертворожденное. Въ-третьихъ, наконецъ, мы удостовѣряемся горькимъ опытомъ, что, не обезпечивъ широкой и прочной постановки вопросовъ, мы тѣмъ самымъ лишаемъ себя возможности свободно обсуждать и подробности. Въ результатѣ — или безпутное блужданіе безъ цѣли и плана, или безпрерывный выходъ изъ тѣхъ границъ, которыя мы сами себѣ назначили, и безпрерывное же самоводвореніе въ нихъ. Въ первомъ случаѣ мы будемъ заниматься подробностями не въ зависимости отъ той живой связи, которая соединяетъ ихъ, а по мѣрѣ того, какъ онѣ механически будутъ представляться нашему вниманію; во второмъ случаѣ мы будемъ вращаться въ заколдованномъ кругѣ полумѣръ и въ безплодномъ наблюденіи за самими собою.

Понятно, что такого рода перспектива можетъ привлечь къ себѣ дѣятелей только на первыхъ порахъ, то-есть тогда, когда еще не вполнѣ раскрылась ея сущность. Но чѣмъ болѣе разъясняется эта послѣдняя, чѣмъ рельефнѣе выступаютъ впередъ ея блужданія, сомнѣнія и оговорки, тѣмъ быстрѣе стихаетъ первоначальная горячность и уступаетъ мѣсто равнодушію.

И такъ, повторяемъ: чтобы не впасть въ одну изъ упомянутыхъ выше крайностей, чтобы устроить земское дѣло на основаніяхъ дѣйствительно прочныхъ и плодотворныхъ, провинція должна была прежде всего остеречься отъ какихъ бы то ни было съуживаній. Посмотримъ же теперь, какъ она сама взглянула на свое призваніе въ этомъ случаѣ, что говоритъ она объ этомъ призваніи устами своихъ „свѣдущихъ людей“.

Пунктъ первый — сознаніе въ неподготовленности. Исторія съ этою неподготовленностью—довольно забавная исторія: это своего рода несокрушимая крѣпость, въ которую мы, провинціалы, охотно укрываемся всякій разъ, когда приходится держать отвѣтъ передъ общественнымъ мнѣніемъ. О чемъ бы ни начался разговоръ, мы никогда не упустимъ оговориться, что мы невѣжды, что мы ни къ чему не подготовлены, что мы чуть-чуть не глупы. Это горькое хвастовство неумѣлостью могло бы привести въ отчаяніе, еслибъ несостоятельность его слишкомъ ярко не бросалась въ глаза.

Когда, говоря о человѣкѣ, который никогда не испытывалъ на спинѣ своей воспитательнаго вліянія палки, мы утверждаемъ, что онъ не подготовленъ къ воспринятію его—это будетъ вполнѣ справедливо и понятно; но если мы ту же мысль переверпемъ, если мы скажемъ: вотъ человѣкъ, который всю жизнь ощущалъ дѣйствіе палки и котораго прекращеніе этого дѣйствія повергло въ смущеніе —мы скажемъ положительную и очевидную нелѣпость. Существовало у насъ крѣпостное право и крестьяне довольно продолжительное время пользовались имъ; но когда оно было уничтожено, то едва-ли нашелся хоть одинъ человѣкъ, который оказался бы неподготовленнымъ къ этому уничтоженію. Точно то же произошло и относительно судебной реформы; новые суды принялись сразу и никого не нашли неподготовленнымъ.

Неужели и въ самомъ дѣлѣ нужно особенную подготовку, чтобы сразу освоиться съ такою, напримѣръ, вещью, какъ отмѣна тѣлесныхъ наказаній? Ужели это было такое благо, къ которому можно прилѣпиться душою и разлука съ которымъ могла бы кому-нибудь стоить колебаній и борьбы? Нѣтъ, это не такъ. Есть вещи, разставаться съ которыми никогда не рано, точно такъ же какъ есть вещи, для непосредственнаго пользованія которыми не требуется быть ни философомъ, ни политико-экономомъ. Къ числу такихъ простыхъ

вещей принадлежитъ несомнѣнно и то, что̀ мы называемъ самоуправленіемъ. Чѣмъ больше мы будемъ расширять значеніе этого слова, тѣмъ менѣе рискуемъ впасть въ ошибку, потому что оно обнимаетъ собой всѣ свойства и потребности, которыя опредѣляютъ человѣка. Право на обезпеченность человѣческой личности и на свободу человѣческаго труда, право на неприкосновенность домашняго очага — все это точно такія же простыя и удобопонятныя права, какъ и право считать деньги въ своемъ карманѣ, право носить черный или голубой сюртукъ. Чтобы пользоваться этими правами, не требуется ни особенной мудрости, ни чрезмѣрныхъ усилій; нужно только, чтобъ они были подъ руками.

Слѣдовательно, жалобы на неподготовленность къ самоуправленію едва-ли можно принимать буквально. Скорѣе всего ихъ можно объяснить или извѣстною русскою пословицей: „и близокъ локоть, да не укусишь“, или тѣмъ обстоятельствомъ, что мы, провинціалы, охотно ѣдимъ пирожное, когда намъ подадутъ его, а если не подадутъ, то довольствуемся и арестантскими щами съ несвѣжею солониной. Мы до того привыкли постепенно обнажать себя, что, въ концѣ концовъ, обнажились даже отъ стыда и теперь стоимъ въ раздумьи, точно ли мы способны разсудить, что жить безъ розогъ гораздо удобнѣе, нежели жить съ розгами?

Во всякомъ случаѣ, изъ этого невысокаго мнѣнія нашего о самихъ себѣ естественно выходитъ другой любимый нашъ тезисъ. „Ограниченность круга нашей дѣятельности, говоримъ мы, есть залогъ ея прочности“. Истина соблазнительная, но едва ли она не сдѣлается еще болѣе соблазнительною, если мы выведемъ изъ нея всѣ логическія послѣдствія, которыми она такъ богата. Вѣдь тогда, пожалуй, окажется, что если совсѣмъ ничего не будетъ, то-есть никакого круга дѣятельности, то дѣло, пожалуй, сдѣлается еще прочнѣе...

Поощряя себя подобными изреченіями, мы пріобрѣтаемъ цѣлый арсеналъ недорогихъ истинъ, все достоинство которыхъ въ томъ заключается, чтобы оградить насъ отъ возникающихъ притязаній жизни и устроить то тихое и безмятежное житіе, память о которомъ завѣщана еще столь любезнымъ намъ крѣпостнымъ правомъ. Въ былое время существовалъ у насъ конёкъ: патріархальность; теперь мы выдумали другой конёкъ — сближеніе. Несмотря на кажущуюся разницу, и тотъ, и другой ведутъ къ одному результату: къ тому, чтобы

постепенно запутать дѣйствительные вопросы жизни, а на мѣсто ихъ выдвинуть впередъ безсодержательныя общія мѣста. Конечно, тихое и безмятежное житіе не лишено своей прелести, но спрашивается; можно ли остаться при немъ одномъ, не пожертвовавъ при этомъ самыми лучшими потребностями человѣческой природы?

Положа руку на сердце, имѣемъ ли мы поводъ сказать, что поприще, которое время и обстоятельства отвели для нашей дѣятельности, настолько пространно, что увеличеніе его угрожало бы намъ опасностью раскидаться и растеряться? Нѣтъ, по истинѣ такого повода не имѣется, потому что предметы этой дѣятельности, въ настоящемъ составѣ ихъ, безъ малѣйшаго затрудненія можно пересчитать по пальцамъ, да и тутъ, навѣрное, останется нѣсколько пальцевъ лишнихъ. Все это такія некрупныя подробности, которыя, быть можетъ, дѣйствительно доставляютъ нѣкоторыя матеріальныя удобства, но которыя отнюдь не вносятъ ничего новаго въ умственную и нравственную жизнь массъ. Это подробности слишкомъ низменныя, чтобы рѣшительно вліять на развитіе провинціальнаго быта; не тому надобно удивляться, что онѣ, благодаря земству, представляются, сравнительно съ прежнимъ временемъ, въ лучшемъ видѣ; а тому, что для приведенія ихъ въ этотъ видъ потребовалась столь обширная комбинація силъ. Сельскій сходъ, волостной сходъ—вотъ достаточныя и вполнѣ компетентныя единицы для такихъ немудреныхъ дѣлъ, какъ устройство грунтовой дороги, моста или перевоза въ извѣстномъ районѣ, или равномѣрное распредѣленіе квартирной и постойной повинности...

Намъ возразятъ, конечно, что и волости, и сельскія общества (или замѣнявшая ихъ помѣщичья власть) существуютъ издавна, но земское хозяйство никогда не пользовалось ихъ содѣйствіемъ и ни на волосъ не подвинулось впередъ. Прекрасно; но вѣдь есть же какая-нибудь причина тому, что обыватель не видитъ достаточныхъ побужденій, чтобы заняться даже такимъ близкимъ дѣломъ, какъ мѣстная повинность, которая и прямо, и косвенно опутываетъ все его существованіе! Ему худо; онъ топитъ въ грязи свой возъ; лошадь его ломаетъ ноги на неисправномъ и ветхомъ мосту; въ избѣ у него располагается постоемъ солдатъ, который, при самыхъ лучшихъ условіяхъ, все-таки, составляетъ лишній ротъ — воля ваша, а надобны очень существенныя причины, чтобы молча переносить невыгоду

подобнаго существованія. Не въ томъ ли онѣ заключаются, что онъ все уже отдалъ, что былъ въ силахъ отдать? не въ томъ ли, что у него нѣтъ ни времени, ни возможности убраться кругомъ себя, потому что на немъ, *прежде всего*, лежитъ исполненіе требованій, слывущихъ болѣе настоятельными, нежели его бросовое копѣечное хозяйство, хотя и касающихся его лишь косвеннымъ образомъ?

Мы всѣ, добровольно или невольно, живемъ не для себя, и примѣровъ показной жизни намъ не занимать стать. Посмотрите на любого чиновника, когда онъ находится на службѣ или въ гостяхъ: какъ на немъ все чистенько, какъ онъ подтянутъ, приглаженъ, умытъ! Но загляните слѣдомъ затѣмъ на тотъ скотный дворъ, въ которомъ онъ живетъ и который называетъ своимъ домомъ, и вы удивитесь поразительной метаморфозѣ, какая представится вашимъ взорамъ. Ужели же его руководитъ въ этомъ случаѣ какое-то трудно объяснимое пристрастіе къ нечистотѣ? Нѣтъ, скорѣе всего можно объяснить это превращеніе тѣмъ, что несчастный истратилъ послѣднія средства на поддержаніе наружнаго декорума, и затѣмъ, относительно всего остальнаго, его заботитъ только мысль, какъ бы не пропасть и не сгибнуть въ конецъ. Кто будетъ такъ смѣлъ, чтобы упрекнуть этого человѣка въ равнодушіи къ тому, что самымъ непосредственнымъ образомъ къ нему прикасается? Помилуйте! да тутъ и равнодушія совсѣмъ никакого нѣтъ, а просто есть законъ горькой необходимости, котораго не отвратятъ никакія требованія о соблюденіи чистоты и опрятности!

Но не въ этомъ вопросъ. Фактъ совершился, и наблюденіе за нѣкоторыми подробностями земскаго хозяйства перешло въ руки особаго учрежденія, называемаго земствомъ. Спрашивается: неужели же тутъ конецъ пути?

Увы! если провинція такъ упорно ссылается на свою неподготовленность, то это означаетъ отнюдь не дѣйствительную неподготовленность, а то, что она заранѣе истратила весь свой духовный и вещественный капиталъ и истратила его совсѣмъ не для себя. При такой оголтѣлости весьма естественно, что она страшится всякихъ новыхъ жертвъ, въ какомъ бы видѣ онѣ отъ нея ни требовались, и что въ каждомъ новомъ явленіи, втирающемся въ ея жизнь, она видитъ не что иное, какъ новую форму новыхъ жертвъ. Съ старинными неудобствами своей обстановки она примиряется совсѣмъ не потому, чтобы

они были ей милы, а потому, что на пріобрѣтеніе дѣйствительныхъ удобствъ у нея нѣтъ средствъ. Нельзя сказать даже, чтобы она не сознавала, въ чемъ заключается то зло, которое ее гложетъ; она очень хорошо видитъ, какъ уходятъ изъ нея, невѣдомо куда, ея умственные и вещественные капиталы; но для того, чтобы поставить подобные вопросы ясно, не всегда можно обойтись безъ риска. Люди, рѣшающіеся на подобную постановку, очень часто бываютъ дурно приняты, а еще чаще дурно растолкованы. Ихъ называютъ мечтателями —слово, которое въ переводѣ почти равносильно разбойнику; ихъ обвиняютъ въ томъ, что они вносятъ смуту и рознь туда, гдѣ до ихъ появленія все было тишь да гладь да божья благодать. Перспектива всѣхъ этихъ удовольствій покоробитъ любого героя. „А не лучше ли, скажетъ онъ себѣ, бѣжать изъ этой постылой провинціи, а если не бѣжать совсѣмъ, то не укрыться ли подъ защитой неподготовленности?“... неподготовленности къ чему? Право, неловко и горько становится при одной мысли о тѣхъ простыхъ и общедоступныхъ благахъ, о которыхъ мы съ такою постыдною откровенностью говоримъ, что они представляютъ для насъ „зеленый виноградъ“?

Въ послѣднее время эта провинціальная оголтѣлость сказалась болѣе опредѣленнымъ образомъ: газеты наши все чаще и чаще оглашаются извѣстіями о неудачахъ, претерпѣваемыхъ земствомъ. Въ иномъ мѣстѣ земское собраніе совсѣмъ не состоялось, потому что не съѣхалось законнаго числа членовъ; въ другомъ мѣстѣ собраніе хотя и состоялось, но не докончило своихъ занятій, потому что часть членовъ разъѣхалась прежде срока. Мы знаемъ случаи, когда гласныхъ разыскивали по городу, когда за ними посылали нарочныхъ, съ покорнѣйшею просьбой прибыть въ собраніе. Нѣтъ сомнѣнія, что радоваться такому положенію дѣлъ нельзя, но и видѣть тутъ поводъ для обвиненія кого бы то ни было въ постыдномъ равнодушіи тоже нѣтъ возможности. Мы, провинціалы, и безъ напоминаній слишкомъ скромны; но когда, несмотря на это похвальное качество, намъ только и дѣла, что напоминаютъ о скромности, да угрожаютъ тѣмъ, что мы раскидаемся и растеряемся—мы естественно приходимъ къ заключенію, что вѣдь и въ самомъ дѣлѣ горячиться нѣ изъ-за чего. Всякій пойметъ, что подобныя напоминанія, если они не въ мѣру часты, дѣлаются даже противными; но, сверхъ того, мы можемъ встрѣтиться на этомъ поприщѣ съ другою опасностью: съ обвиненіемъ въ карбо-

паризмѣ. Кому охота претерпѣвать такія напраслины, хотя бы, напримѣръ, по вопросу о распредѣленіи пунктовъ для стоичныхъ лошадей? Не ясно ли, что всякій благоразумный человѣкъ, при первомъ намекѣ на возможность подобной случайности, возьметъ

..... въ охапку
Кушакъ и шапку,

такъ какъ положительно нѣтъ ни славы, ни выгоды въ томъ, чтобы прослыть страдальцемъ по вопросу о стоичныхъ лошадяхъ...

Но неужели наша провинціальная голытьба ни къ чему другому не выказала поползновенія, кромѣ ограниченія и безъ того ограниченнаго круга дѣятельности? Нѣтъ, если вѣрить „свѣдущимъ людямъ“, она по временамъ не чуждается и политики, — разумѣется, скромной...

Область этой политики весьма неразнообразна. Предметы ея суть: сближеніе сословій, стремленіе пристроить куда-нибудь дворянство (преимущественно, однакожъ, „во главу“) и отыскиваніе „великолѣпныхъ свойствъ русскаго народа: не помнить зла и соединяться“. Постараемся, однакожъ, разобрать въ подробности сущность этихъ задачъ нашего провинціальнаго политиканства.

Вопросъ о „сближеніи“ или „сліяніи“ необходимо разсматривать въ связи съ вопросомъ о „великолѣпныхъ свойствахъ“ русскаго народа, потому что ежели первый можетъ имѣть какую-нибудь силу, то исключительно только благодаря второму. Литература по вопросу о „сближеніяхъ“ очень обширна; достаточно заглянуть въ любой журналъ, въ любую газету начала шестидесятыхъ годовъ, чтобы непремѣнно встрѣтиться ежели не съ ясно формулированными предположеніями, то съ нѣкоторыми пожеланіями по этому предмету. Нѣтъ сомнѣнія, что въ свое время стремленія эти принесли извѣстную пользу. Одна сторона надѣялась найти въ нихъ исходный пунктъ, изъ котораго современемъ можетъ что-нибудь выработаться и косвеннымъ образомъ пополнить понесенные внезапно ущербы; другой сторонѣ они придали бодрость и внушили сознаніе (очень, впрочемъ, темное) того значенія, которое она неожиданно для себя получала. Но дальнѣйшаго развитія стремленій, все-таки, не послѣдовало, а равно и трактатовъ сколько-нибудь полезныхъ по сему предмету издано не было, по той простой причинѣ, что какъ ни тискайте слово „сбли-

женіе", никакого реальнаго представленія, ничего, кромѣ тавтологіи „жалкихъ словъ", изъ него не выжмете.

Но люди неохотно разстаются съ своими мечтами, хотя бы онѣ представляли одинъ пустой звукъ. За недостаткомъ здоровой и реальной почвы, за отсутствіемъ общественныхъ и политическихъ интересовъ, они гоняются за звуками, пріятно раздражающими слухъ, и думаютъ наполнить ими пустоту своего существованія.

Чтобы поставить вопросъ о сближеніи или сліяніи на почву сколько-нибудь реальную, необходимо, чтобы онъ разрабатывался не трансцендентальнымъ какимъ-нибудь путемъ, а путемъ вещественнымъ, для всѣхъ виднымъ и осязательнымъ. Скажемъ болѣе: необходимо, чтобы о самыхъ этихъ выраженіяхъ не было помину, чтобы они были вычеркнуты и замѣнены другими, болѣе опредѣлительными.

Если Петръ или Павелъ объявляютъ во всеуслышаніе, что они „добрые", что они любятъ и жалѣютъ „сихъ малыхъ", то изъ этого объявленія покамѣстъ ничего еще не выходитъ, кромѣ сотрясенія воздуха. Они, конечно, могутъ подкрѣпить свое объявленіе тѣмъ, что, имѣя возможность быть грубыми съ меньшею братіею, не воспользуются этою возможностью, но и это только сдѣлаетъ честь имъ лично, но особенныхъ плодовъ не принесетъ, по той причинѣ, что гуманное обращеніе съ людьми принадлежитъ къ числу тѣхъ простыхъ вещей, которыя всѣми, даже непривычными къ нему, сразу принимаются, какъ должное. Затѣмъ, если тѣ же Петръ и Павелъ, недовольные тощими результатами, полученными отъ ихъ объявленія, пожелаютъ идти далѣе, то они уже обязаны пріискать для своихъ поползновеній форму болѣе положительную. Вѣрнѣйшій путь, который представляется имъ въ этомъ случаѣ, есть путь болѣе равномѣрнаго распредѣленія правъ и благъ. Но такъ какъ это путь тернистый, который могъ совсѣмъ и не быть въ ихъ разсчетахъ, то существуетъ другой путь, хоть и не столь рѣшительный, но во всякомъ случаѣ приличный. Путь этотъ можно формулировать такъ: рѣшить однажды навсегда, что отношенія между людьми, въ какихъ бы положеніяхъ они ни находились, должны быть основаны на идеѣ *равноправности*.

При такомъ воззрѣніи на дѣло отношенія между людьми становятся совершенно ясными. Конечно, безполезно было бы связывать съ подобнымъ положеніемъ понятіе о нормальности, но, по крайней мѣрѣ,

оно не отуманиваетъ ничьихъ глазъ, исключаетъ всякую идею о лицемѣріи и допускаетъ борьбу и поправки. Несомнѣнно, что борьба съ организованной силой представляетъ очень мало утѣшительнаго, но все же она имѣетъ болѣе шансовъ успѣха, нежели борьба съ пустыми звуками, или даже съ обманомъ, надѣвающимъ на себя лицемѣрную маску благосклонности.

Нѣтъ ничего хуже и несноснѣе того положенія, когда васъ куда-то заманиваютъ, и при этомъ не сказываютъ, куда. Почему не сказываютъ?—потому отчасти, что сами не знаютъ, а отчасти и потому, что слишкомъ хорошо знаютъ. Кому нужно сближеніе? Для чего оно нужно? Разберите эти вопросы внимательно, и вы убѣдитесь, во-первыхъ, что „сближеніе“ въ данномъ случаѣ есть терминъ односторонній, и, во-вторыхъ, что это терминъ или совсѣмъ пустой, или неблаговидный. Во всякомъ случаѣ, это терминъ вредный, ибо при его посредствѣ отрывается масса людей отъ дѣйствительныхъ интересовъ и дѣлается добычей интересовъ мнимыхъ; отнимается у производительнаго труда и приглашается къ празднованію.

Возможность сближенія есть дѣло вполнѣ законное, но надобно, чтобы въ основѣ его лежала обоюдная свобода и обоюдная равноправность. Провинція говоритъ: этой возможности данъ широкій исходъ въ земствѣ и его органахъ; апологисты же сближенія прибавляютъ: „гласные отъ землевладѣльцевъ-помѣщиковъ и гласные отъ крестьянъ сѣли за одинъ столъ, какъ будто вѣкъ за нимъ сидѣли, и занялись общими дѣлами, не поминая прошлаго“ („Голосъ изъ земства“, стр. 9). Прекрасно. Но, во-первыхъ, гласные земскихъ собраній занимаются не теоріями сближеній, а какимъ ни на есть дѣломъ; во-вторыхъ, сословные элементы въ этихъ собраніяхъ распредѣлены (практикою, а не закономъ) далеко не столь равномѣрно, чтобы можно было вывести положительное заключеніе, насколько послѣдовало или не послѣдовало предполагаемое сближеніе; въ-третьихъ, наконецъ, чтобы убѣдиться въ дѣйствительности этого сближенія, нелишне было бы предварительно испытать гласныхъ отъ крестьянъ, хорошо ли они себя чувствуютъ, „сидя за однимъ столомъ съ гласными отъ землевладѣльцевъ-помѣщиковъ“. И вотъ провинція проговаривается. „Всего важнѣе, говоритъ она, что дворяне-землевладѣльцы становятся во главѣ земства“. Вотъ это такъ, это дѣйствительно важно. Но съ

этого-то именно и надлежало начать разговоръ, а не запутывать его сѣтью вводныхъ предложеній, трактующихъ невѣдомо о чемъ.

Предположимъ, однакожъ, что вопросъ о сближеніяхъ какимъ-нибудь чудомъ дѣйствительно приводится къ разрѣшенію — какой результатъ предвидится получить отъ него? Результатъ одинъ: возвращеніе къ патріархальности и ко всѣмъ послѣдствіямъ, изъ нея вытекающимъ. Иного, при всемъ желаніи, придумать нельзя.

Нельзя, потому что нѣтъ довольно содержательнаго общаго дѣла, по поводу котораго могло бы произойти сближеніе. Современное дѣло, которое выставляетъ впередъ провинція, не можетъ быть этимъ поводомъ, покуда въ принципѣ его лежитъ опасеніе раскидаться и растеряться; другихъ же дѣлъ покамѣстъ не предвидится. Вотъ если бы провинція поставила себѣ къ разрѣшенію такой вопросъ: отчего она годъ отъ году бѣднѣетъ; отчего она живетъ не для себя и не своею, а заимствованною жизнью; отчего, наконецъ, исчезаютъ изъ нея ея умственные и вещественные капиталы; тогда, несомнѣнно, она получила бы и возможность, и поводъ для сближеній въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. Тогда, еслибъ поползновенія ея и встрѣтили фіаско, она имѣла бы, по крайней мѣрѣ, дѣйствительное право упрекнуть кого слѣдуетъ въ неподготовленности и закоснѣлости.

Но провинція очень хорошо понимаетъ, что такого содержательнаго и общаго дѣла нѣтъ, и потому всѣ надежды устремляетъ къ „великолѣпнымъ свойствамъ“ русскаго народа. Эти свойства, на которыхъ основанъ весь процессъ сліятельной операціи, называются такъ: способность не помнить зла и соединяться. Постараемся придать этимъ темнымъ общимъ мѣстамъ сколько-нибудь вразумительную и осязательную форму.

Какъ слѣдуетъ понимать „зло“? Есть ли это нѣчто такое, что необходимо и даже полезно помнить и въ какомъ смыслѣ помнить? или же относительно этого предмета во всякомъ смыслѣ должно руководствоваться словами поэта:

То, что было, то пройдетъ;
Что пройдетъ, то будетъ мило...

Какъ бы мы ни старались ограничивать смыслъ употребляемыхъ нами словъ, но есть выраженія, относительно значенія которыхъ сомнѣнія невозможны. Къ числу такихъ выраженій принадлежитъ и

„зло“. Какъ ни укорачивайте его смыслъ, оно всегда будетъ означать совокупность такихъ явленій, которыя приносятъ вредъ обществу, останавливаютъ свободное и естественное развитіе народныхъ силъ, дѣлаютъ изъ людей автоматовъ, подчиняющихся не сознательной идеѣ добра и пользы, а ужасу, внушаемому гнетомъ преслѣдующей ихъ силы, и обрекаетъ полному устраненію творческія способности громаднаго количества людей. Вотъ дѣйствительный смыслъ слова „зло“, и въ этомъ, конечно, смыслѣ несомнѣнно понимаетъ его и провинція, когда хлопочетъ о „забвеніи зла“. Это „зло“ очень недавно называлось у насъ крѣпостнымъ правомъ и дѣйствительно заключало въ себѣ признаки, которые указаны выше.

Это зло, произведенное не Петромъ и не Иваномъ, а зло историческое, зло, разлитое въ цѣломъ порядкѣ вещей, поглощавшее въ себѣ одинаково и Петра, и Ивана. Правильно ли и благоразумно ли настаивать на забвеніи такого зла? Не равносильно ли это требованію забыть уроки прошлаго, забыть исторію?

Источникъ подобныхъ настояній очень понятенъ. Несмотря на наши ревнивыя старанія отдѣлить частное отъ общаго, мы безпрестанно смѣшиваемъ и то, и другое. Поэтому намъ кажется, что когда говорятъ о „злѣ“, то непремѣнно подразумѣваютъ тутъ или Петра, или Ивана, которые были видимымъ олицетвореніемъ этого зла. Но это не такъ. Вмѣсто того, чтобы говорить: забудьте зло, слѣдуетъ выражаться проще: не мстите Ивану, не отплачивайте ему зломъ за зло. Но и тутъ мы понимаемъ подобныя увѣщанія только потому, что такого рода фразы, вслѣдствіе частаго и не совсѣмъ осмысленнаго употребленія, до того пріучили къ себѣ нашъ слухъ, что мы уже не формализируемся нелогичностью, которая въ нихъ заключается. Въ сущности, Иванъ не имѣетъ никакой надобности ни въ прощеніи, ни даже въ молчаливомъ забвеніи зла. На объявленіе ему прощенія онъ съ полнымъ основаніемъ можетъ отвѣтить: „за что же вы стали бы мстить мнѣ? гдѣ ваше право для мести? развѣ я повиновался не тому же закону, какому повиновались и вы? развѣ я обязывался быть героемъ и одного себя поставить внѣ вліянія общаго закона? развѣ геройство не исключительное явленіе? развѣ большинство людей обязано къ чему-нибудь, кромѣ дѣлъ среднихъ?“ И Иванъ, несомнѣнно, будетъ правъ, ибо массы хотя и могутъ, по временамъ, припоминать разнымъ Петрамъ и Иванамъ нѣкоторыя ихъ излише-

ства, по случаи такихъ припоминаній такъ исключительны, что совершенно утопаютъ въ общемъ принципѣ забвенія. Въ дѣйствительности всѣ частные ущербы давно схоронены и забыты, и ежели, напримѣръ, помѣщикъ, включенный съ крестьянами въ составъ одной и той же волости, ни подъ какимъ видомъ не уживется съ ними, то это имѣетъ произойти не вслѣдствіе живой памяти прошедшаго, а вслѣдствіе полнаго несходства въ обстановкѣ и привычкахъ того и другого сословія.

Представленіе о злѣ сопрягается не съ Иванами и Петрами, а съ мыслью объ извѣстномъ положеніи. А относительно этого послѣдняго вопросъ заключается не въ томъ, чтобъ озлобляться и кипѣть, а въ томъ, чтобы на будущее время предотвратить возобновленіе зла, подъ какими бы то ни было формами и наименованіями. Не къ ненависти и преслѣдованію призывается потерпѣвшая сторона, а къ осторожности и осмотрительности. Она на собственномъ опытѣ, собственною грудью убѣдилась, какія тяжкія послѣдствія могутъ содержать въ себѣ нѣкоторыя явленія жизни, и должна воспользоваться этимъ опытомъ, чтобъ оградить себя отъ подобныхъ послѣдствій въ будущемъ. Не одну себя она ограждаетъ, поступая такимъ образомъ, а настоящее и будущее цѣлой страны. Отвѣтственность, лежащая на ней, слишкомъ серьезна, чтобъ можно было рисковать ею за чечевичную похлёбку, или изъ-за желанія добыть тихое и безмятежное житіе, или даже... изъ-за чести сидѣть за какимъ-то „однимъ столомъ“.

Изъ всего сказаннаго выше можно вывести заключеніе о степени великолѣпія тѣхъ свойствъ, на которыя возлагаетъ надежды провинція. Ежели они существуютъ на дѣлѣ, то это обстоятельство не только не можетъ служить предметомъ для восхищеній, но, напротивъ того, должно свидѣтельствовать о самомъ изумительномъ и безпримѣрномъ легкомыслiи. Способность забыть — это не способность развиваться, это безнадежность въ будущемъ. Но этого нѣтъ, этому невозможно повѣрить. Какъ-то легче дышется при мысли объ отсутствіи этого качества, нежели при мысли о его присутствіи. Конечно, твердыхъ доказательствъ ни за, ни противъ представить нельзя, ибо въ той путаницѣ понятій и отношеній, которая развивается передъ нашими глазами, трудно отличить, что̀ составляетъ признакъ способности забывать и что̀ принадлежитъ простому равнодушію; но, какъ ни за-

труднителенъ выборъ между этими двумя альтернативами, будемъ думать, что равнодушію принадлежитъ здѣсь первое мѣсто. Это также не совсѣмъ утѣшительно, но, все-таки, лучше, нежели забвеніе вчерашняго дня.

Третій предметъ нашего провинціальнаго политиканства составляютъ заботы объ устройствѣ дворянства. Можно даже сказать, что и прирученіе массъ, и открытіе въ нихъ великолѣпнаго свойства забвенія вчерашняго дня—все это не болѣе, какъ приличный подходъ къ главной задачѣ, долженствующей увѣнчать зданіе. Это фундаментъ, безъ котораго вся послѣдующая махинація не можетъ имѣть прочности.

Странное дѣло! покуда существовало крѣпостное право, никому не приходило въ голову усомниться въ существованіи русскаго дворянства. Это существованіе заявляло себя цѣлымъ рядомъ такихъ дѣйствій, которыя самаго невѣрующаго человѣка заставляли вѣрить. Дворянство имѣло свои собранія и своихъ представителей; оно разсуждало о своихъ нуждахъ; оно, въ извѣстной степени, имѣло право суда надъ своими членами, оно управляло не только своими дѣлами, но пользовалось значительной долей въ отправленіи дѣлъ общегосударственныхъ, имѣя въ своихъ рукахъ судъ и полицію. Трудно было не повѣрить тому, что̀ всегда стояло какъ живое передъ глазами, то въ видѣ помѣщика, творящаго судъ и расправу, то въ видѣ исправника, творящаго судъ и расправу, то въ видѣ судьи или засѣдателя, творящихъ судъ и расправу. Это было сословіе, какъ бы предназначенное природой для суда и расправы; оно одно имѣло возможность предъявлять нѣкоторую силу среди общаго безсилья, нѣкоторую инціативу среди общаго безмолвія. Но главная и самая характеристическая черта, которая проходитъ сквозь всю исторію этой корпоративной силы, заключается, все-таки, въ томъ, что, однажды устроившись, она до самаго конца оставалась при этомъ устройствѣ, занимаясь повтореніемъ задовъ и ни разу не поставивъ себѣ вопроса, возможно ли для нея дальнѣйшее развитіе, въ какомъ именно смыслѣ и въ какую сторону? Будущее для нея не существовало.

Но будущее имѣетъ за собой то неудобство, что оно непремѣнно является въ срокъ. Въ настоящемъ случаѣ оно пришло въ видѣ упраздненія крѣпостного права — и что̀ же оказалось? Что одного удара было достаточно, чтобы ослабить всѣ связующія нити; что,

вмѣстѣ съ исчезновеніемъ крѣпостного права, исчезло и дворянство!

Это говоритъ не нашъ одинокій голосъ; это говорятъ компетентные люди провинціи. Конечно, не слѣдуетъ понимать это исчезновеніе въ буквальномъ смыслѣ, но жалобы на то, что дворянство осталось какъ будто не при мѣстѣ, пріобрѣтаютъ значительную долю основательности. „Дворянство,—пишетъ г. Кошелевъ, — перестало существовать на дѣлѣ... правда, оно еще собирается, имѣетъ своихъ предводителей, свое депутатское собраніе, но собственно дѣлъ сколько-нибудь важныхъ у него не осталось никакихъ“. Все это истинная правда, но какъ выйти изъ этого положенія? Какъ наполнить досугъ большого количества людей, какъ будто оставшихся за штатомъ? Ближе всего было бы сказать имъ: пользуйтесь тѣми правами, которыя всецѣло при васъ оставлены, пользуйтесь вашею сравнительною политическою взрослостью и промышляйте о себѣ сами; но оказывается, что это легче сказать, нежели исполнить. „Мы не подготовлены! вопіетъ провинція, насъ учили, что мы оплотъ! растолкуйте, по крайней мѣрѣ, что̀ это за должность, и какія соединены съ нею права?“ Вотъ невыгода туманныхъ опредѣленій. Казалось, хорошее слово „оплотъ“, и было даже время, когда всѣ понимали его безъ толкованій, и вдругъ обнаружилось, что его даже объяснить нельзя! Обнаружилось, что, несмотря на скрывавшуюся за нимъ корпоративную связь, такихъ правъ, за которыя можно было бы удержаться, чтобы обставить ими новое положеніе, оно совсѣмъ не представляетъ.

Вслѣдствіе этого возникла потребность прибѣгнуть, для устройства этого положенія, къ искусственнымъ мѣрамъ, и первою желательною мѣрой въ этомъ смыслѣ, конечно, представилась *приписка* къ чему-нибудь.

Провинція не можетъ понимать, не можетъ терпѣть человѣка, къ чему-нибудь не *приписаннаго*. Куда же приписать? Казалось бы, всего естественнѣе для человѣка приписать его къ свободѣ, но тутъ встрѣчаются серьезныя, почти непреодолимыя препятствія. Что̀ такое свобода? — Это, по мнѣнію провинціи, какое-то странное положеніе между небомъ и землею, это безвоздушная пустота. Выпустить человѣка на свободу — значитъ подвергнуть его всевозможнымъ бѣдствіямъ и горькимъ случайностямъ; это все равно, что пустить его слоняться по свѣту безъ паспорта, заставить жить со дня на день на вѣчныхъ

поискахъ за кускомъ хлѣба. „Кто ты таковъ?—спросятъ его на первой заставѣ:—какъ твое имя и къ чему ты приписанъ?“—Я ни къ чему не приписанъ,—отвѣтитъ свободный человѣкъ:—по упущенію, я приписанъ къ свободѣ.—„Такъ, значитъ, ты непомнящій родства? взять его въ часть!“ скажетъ заставная стража, и скажетъ весьма основательно, ибо слыханное ли дѣло—встрѣтить человѣка, приписаннаго къ свободѣ?

Понятно, что такое неопредѣленное, почти тревожное положеніе не можетъ казаться привлекательнымъ нашей провинціальной интеллигенціи. Она привыкла, чтобы ея паспорты были безукоризненно чисты, чтобы, при появленіи ея на заставахъ, не раздавалось никакихъ другихъ восклицаній, кромѣ: „подвысь!“ Да, надобно приписаться, надобно во что бы то ни стало. Куда? къ дворянскому собранію? Но вѣдь у него даже дѣлъ никакихъ нѣтъ! Къ земству? но вѣдь мы и безъ того тамъ находимся? вѣдь никто насъ оттуда не выгоняетъ?

Въ томъ-то и дѣло, что приписка приписѣ рознь, что бываетъ приписка, на достиженіе которой нужно потратить не мало времени, труда и способностей, и бываетъ другая приписка, которая приходитъ сама собою. Сверхъ того, надо приписаться не туда, куда Богъ пошлетъ, а именно „во главу“, иначе намъ не приходится. Но вѣдь вы сами же говорите, что земское дѣло — дѣло общее, всесословное: это же явствуетъ и изъ смысла законодательства?—Да, это такъ, но посудите сами: образованность, матеріальная обезпеченность...—Очевидно, однакожъ, что всѣ эти оговорки очень плохо вяжутся съ сущностью вопроса. Образованность и матеріальная обезпеченность конечно, представляютъ права на вниманіе, но онѣ никогда не считались въ числѣ сословныхъ принадлежностей и привилегій. По временамъ обстоятельства сосредоточиваютъ эти блага въ томъ или другомъ сословіи; но невозможно же допустить, чтобы они служили для прикрытія сословныхъ претензій. Передъ вами человѣкъ, который имѣетъ въ свою пользу преимущество образованности — это несомнѣнно дѣлаетъ ему честь; но было бы въ высшей степени странно, еслибъ онъ связывалъ съ этимъ преимуществомъ какое-нибудь право, исходящее не изъ него самого, а напоминающее идею сословности...

Но возвратимся къ исходной точкѣ настоящаго письма. Не можетъ подлежать сомнѣнію, что провинція сама признается въ своемъ безсиліи. Даже въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда ей дѣйствительно

приходится задуматься надъ мыслью о необходимости обновить свои силы, она приступаетъ къ дѣлу не прямо, а изобрѣтаетъ искуственную обстановку, не только не ведущую къ разрѣшенію возникающихъ вопросовъ, но положительно затемняющую ихъ. Понятно, что при такомъ неумѣніи освободить свою мысль, свои взгляды на положеніе она остается на одномъ мѣстѣ и не можетъ извлечь всѣхъ выгодъ даже изъ тѣхъ реформъ послѣдняго времени, которыя наиболѣе благопріятствуютъ ея развитію.

Крестьяне, между прочимъ, составляютъ одинъ изъ главныхъ кошмаровъ провинціальной интеллигенціи. Какъ были они „меньшею братіей“, такъ и остались ею, несмотря на вновь открытыя „великолѣпныя свойства соединяться и не помнить зла“. Они поголовно пьянствуютъ, они не выполняютъ принимаемыхъ ими на себя обязанностей, они допускаютъ безразсчетные раздѣлы семей; словомъ сказать, совершенно отбились отъ рукъ, пріобрѣли привычку грубить и почти утратили человѣческій образъ, сохранивъ, однако... „великолѣпныя свойства соединяться и не помнить зла“. Не мѣшаетъ прибавить къ этому перечню, что, кромѣ того, они сохранили еще „великолѣпное свойство“ уплачивать подати и отбывать натуральныя повинности, и что всѣ расходы по части сближеній и сліяній должны пасть не на кого иного, а на тѣхъ же пьяныхъ и отбившихся отъ рукъ крестьянъ. Мы охотно рисуемъ картины разврата русскаго крестьянина, а въ результатѣ оказывается, что нигдѣ не выпивается вина такъ мало, какъ въ Россіи, и что, въ большинствѣ случаевъ, отъ крестьянъ же идетъ инициатива относительно учрежденія сельскихъ школъ. Это должно было бы воздержать насъ отъ голословныхъ обвиненій.

Для того, чтобы лучше понять, въ какомъ видѣ представляетъ дѣйствительность общественное положеніе нашего крестьянина, возьмемъ для примѣра хоть вопросъ о правоспособности. Говорятъ, крестьянинъ правоспособенъ, и дѣйствительно, мы думаемъ, что правоспособность крестьянъ составляетъ одно изъ лучшихъ пріобрѣтеній, данныхъ реформою 19-го февраля. Затѣмъ, спрашиваютъ: что же сдѣлали крестьяне изъ этой правоспособности? Какую пользу они извлекли изъ нея для себя и для общества? Этого одного вопроса бываетъ совершенно достаточно, чтобъ возбудить цѣлый потокъ самыхъ непринужденныхъ шутокъ. Но позвольте, милостивые государи!

Во-первыхъ, этотъ вопросъ можно предложить и не однимъ крестьянамъ, въ пользу которыхъ, все-таки, найдутся кое-какія оправданія, а и другимъ, для которыхъ возможность оправдаться гораздо труднѣе; а во-вторыхъ, ужели же не всѣмъ достаточно извѣстно, что слишкомъ часто намѣренія самыя добрыя и совершенно ясныя не ограждены отъ сюрпризовъ самыхъ невѣроятныхъ и неожиданныхъ? Стоитъ только сослаться на такъ-называемые мужицкіе бунты, чтобъ убѣдиться въ томъ, въ какомъ тѣсномъ положеніи иногда находится крестьянская правоспособность.

Извѣстно, что у насъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ каждогодно происходитъ по нѣскольку бунтовъ. Это словно болѣзнь какая-то, или, пожалуй, просто дурная привычка. Во всякомъ случаѣ, это явленіе очень любопытное; но чтобы читатель не пришелъ отъ него въ отчаяніе и могъ убѣдиться, что „чортъ совсѣмъ не такъ страшенъ, какъ его малюютъ", мы постараемся разсказать здѣсь одинъ примѣрный бунтъ, не въ томъ, разумѣется, видѣ, какъ его обыкновенно малюютъ, а въ томъ, какъ онъ зарождается и происходитъ въ дѣйствительности.

Въ силу упоминаемой выше правоспособности, крестьяне, какъ и всѣ вообще члены русской семьи, обладаютъ правомъ петиціи или ходатайства. Они могутъ терпѣть стѣсненія со стороны поставленныхъ для управленія ими лицъ, могутъ терпѣть ущербы вслѣдствіе предпринимаемыхъ относительно ихъ и не оправдываемыхъ закономъ мѣръ; наконецъ, въ качествѣ людей, они могутъ даже ошибаться, то-есть видѣть нарушеніе права тамъ, гдѣ его въ дѣйствительности нѣтъ, въ каковыя ошибки они впадаютъ, впрочемъ, весьма осмотрительно, ибо знаютъ, что отъ нихъ, и только отъ нихъ однихъ, требуется, чтобъ они были мудры какъ зміи и кротки какъ голуби. Состоя подъ ярмомъ общиннаго управленія, они всякую мѣру, всякое распоряженіе, а стало быть и всякое злоупотребленіе закона ощущаютъ живѣе, ибо ощущаютъ его, во-первыхъ, лично каждый за себя и, во-вторыхъ, за всю общину. Отсюда необходимость сходокъ, необходимость общаго совѣта; а такъ какъ цѣлымъ обществомъ ходатайствовать неудобно и неучтиво, то изъ этого проистекаетъ надобность въ избраніи ходаковъ или ходатаевъ. Кажется, до сихъ поръ все идетъ законно, и ежели дѣло пойдетъ дальше своимъ естественнымъ путемъ, то никакого замѣшательства отъ подобныхъ ходатайствъ быть не должно.

Если ходатаи правы—требуется удовлетворить ихъ; если неправы — слѣдуетъ отказать, употребивъ, конечно, нѣсколько лишнихъ минутъ, чтобы отказъ былъ выраженъ въ формѣ для нихъ вразумительной.

Но мы, провинціалы, смотримъ на это дѣло иначе, ибо у насъ на первомъ планѣ „принципы“. Въ нашихъ глазахъ, крестьянинъ совсѣмъ не обыватель, а подчиненный. Ежели онъ правъ, то хотя и можно удовлетворить его, но или только въ половину, чтобъ очень не возмечталъ, или не сейчасъ, а современемъ, и во всякомъ случаѣ такъ, чтобъ нельзя было примѣтить, что при этомъ обвиняется то лицо, на которое приносится жалоба. Обвинить начальника! да вѣдь это значитъ нарушить основной принципъ! Entendons-nous, que diable! Можно современемъ, при случаѣ, наединѣ замѣтить, распечь, можно даже отыскать какой-нибудь посторонній поводъ, чтобъ приличнымъ образомъ отдѣлаться отъ неумѣлаго, но обвинить его тутъ... сейчасъ, въ глазахъ жалобщика—сохрани Боже! это значитъ поощрять бунты. Это значитъ прямо сказать бунтовщикамъ: бунтуйте, голубчики! мы сейчасъ все по вашему сдѣлаемъ. Таковъ образъ дѣйствія, на случай правоты. Если же ходатаи неправы, то исторія упрощается еще больше. Разсуждать съ мужикомъ, доказывать, почему онъ не правъ, объяснять, что обычное право, которымъ онъ зачастую руководствуется, не всегда находится въ согласіи съ правомъ писаннымъ, что онъ въ извѣстныхъ случаяхъ обязанъ отказаться отъ перваго и подчиниться второму—все это далеко не въ нашихъ обычаяхъ. Это, опять-таки, значило бы поощрять бунты и вызывать къ неповиновенію властямъ. Мы любимъ, чтобы насъ понимали сразу, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда мы сами себя не понимаемъ; а если насъ не понимаютъ, то гораздо легче простереть руки, нежели надсаживать грудь объясненіями.

Такимъ образомъ, источникъ нашихъ бунтовъ намѣчивается самъ собою; онъ можетъ быть формулированъ такъ: бунты происходятъ отъ невозможности вывести какое-либо поученіе изъ безмолвнаго или сопровождаемаго односложными звуками простиранія рукъ. Затѣмъ уже начинается дальнѣйшее развитіе зародившаго бунта.

Возвращаются скомфуженные ходаки домой и ничего толкомъ разсказать не могутъ, кромѣ одного: всего довольно было! Однако общинники любознательны. Каждый изъ нихъ, взятый порознь, мо-

жетъ быть, махнулъ бы рукой, но ихъ связываетъ общинное начало, которому дѣло до всего, даже до коробьи крестьянской дѣвки.

Отвѣтъ: всего было довольно! — не можетъ удовлетворить общину. Этотъ отвѣтъ нимало не подвигаетъ впередъ ея дѣла, а это дѣло должно быть во что бы то ни стало подвинуто, потому что община не можетъ ни выжидать, ни извернуться. Во-первыхъ, она слишкомъ велика, чтобы извертываться какими-нибудь замѣняющими средствами; во-вторыхъ, она именно на то и община, чтобъ все въ ней было прочно и заѣдино опредѣлено. И вотъ, община невольнымъ образомъ рѣшается продолжать свое домогательство, потому что ей некуда уйти отъ него, потому что это домогательство завтра вновь встанетъ передъ нею въ той же силѣ, какъ и сегодня. Это служитъ поводомъ для выбора новыхъ ходаковъ; а такъ какъ неразвитый умъ прежде всего поражается количественностью, то для пущей вѣрности число выборныхъ увеличивается. Но съ этими уже и не разговариваютъ, а прямо ведутъ въ кутузку, потому что новая настойчивость общины кажется уже не проступкомъ и недоразумѣніемъ, а явнымъ и сугубымъ посягательствомъ къ возмущенію противъ властей.

Не будемъ описывать дальнѣйшія перипетіи бунтовской драмы; онѣ извѣстны всякому, кто не на одну только минуту заглядывалъ въ провинцію, а жилъ въ ней и присматривался къ ея дѣламъ. Спрашивается: ужели въ этомъ фактѣ (одномъ изъ множества) можно видѣть хоть малый признакъ того, что называется самоуправленіемъ? и неужели не первая обязанность людей, произвольно или по праву называющихъ себя „лучшими“, обратить вниманіе на освобожденіе провинціальной жизни отъ той нестерпимой рутины, которая наложена на нее исторіей, хотя бы это было даже въ ущербъ нѣкоторымъ несомнѣнно полезнымъ подробностямъ, составляющимъ нынѣ предметъ слишкомъ исключительной ихъ заботливости?

Но покамѣстъ довольно. Провинція говоритъ: „ограничимъ кругъ нашей дѣятельности, ибо, въ противномъ случаѣ, мы можемъ раскидаться и растеряться“. И говоря такимъ образомъ, она думаетъ, конечно, быть представительницею консервативнаго элемента, не подозрѣвая, что послѣдній имѣетъ свои границы, переступивъ которыя онъ становится уже не консервативнымъ, а разрушающимъ и истощающимъ...

Письмо девятое.

Какъ дѣлается русская деньга? Та русская деньга, которая, съ одной стороны, служитъ на пополненіе общаго ящика, а съ другой стороны на удовлетвореніе эстетическихъ потребностей досужихъ людей—вотъ вопросъ, котораго отнюдь не слѣдуетъ предлагать нашимъ губернскимъ исторіографамъ. Они, навѣрное, отвѣтятъ, что деньга родится въ голенищѣ мужицкаго сапога, или, по малой мѣрѣ, притаилась у мужика въ спинѣ. Больше ничего эти люди не знаютъ, и, надо сказать правду, это неизреченное невѣжество страннымъ образомъ способствуетъ успѣху тѣхъ операцій, которыя совершаются ими. Обладай они хотя скуднымъ пониманіемъ того, что происходитъ вокругъ нихъ, внеси они въ свои дѣйствія, въ свои отношенія къ людямъ и къ дѣлу хотя малѣйшій признакъ сознательности, въ нихъ, безспорно, не сохранилось бы и сотой доли той развязности и безсовѣстной рѣшимости, которыя обуреваютъ ихъ теперь.

— Куда дѣвалась наша торговля?—вопрошаютъ другъ друга исторіографы, встревоженные тѣмъ, что говядина поднялась съ трехъ до семи копѣекъ на фунтъ: — помните ли, какое множество возовъ покрывало наши площади въ базарные дни, и какіе были возы! чего-чего только на нихъ не было! Куда все это дѣвалось, спрашиваю я васъ... je vous le demande un peu!

И, не ожидая отвѣта, котораго, впрочемъ, ни одинъ изъ этихъ несчастныхъ и дать не можетъ, присовокупляетъ:

— Ммерзавцы!

Къ кому относится послѣднее восклицаніе — этого, разумѣется, не съумѣетъ опредѣлить ни одинъ исторіографъ. Тутъ какая-то путаница, подъ которою скорѣе слѣдуетъ понимать общее, смутно чувствуемое положеніе вещей, нежели факты или лица. Тутъ и мужики примѣшались, и къ нигилистамъ имѣется какая-то темная прикосновенность, и еще о какихъ-то господахъ идетъ рѣчь, которые никогда, впрочемъ, прямо не поименовываются, но извѣстны подъ названіемъ „подлецовъ“ и „измѣнниковъ“.

Легкомысліе исторіографовъ, вообще, изумительно, но оно положительно не знаетъ предѣловъ, когда дѣло касается до причиненныхъ имъ обидъ. Въ этомъ случаѣ исторіографъ рѣшительно не знаетъ, на чемъ сосредоточить бродячую мысль свою; онъ мечется

изъ стороны въ сторону, обвиняетъ, оправдываетъ, потомъ опять обвиняетъ, опять оправдываетъ. Ни къ какому положительному заключенію онъ никогда не приходитъ, такъ что можно подумать, что всю эту исторію онъ для того только и затѣялъ, чтобъ обнаружить встревоженное состояніе своей души.

— Нѣтъ! Это что—мужики!—говоритъ онъ съ налитыми мадерой глазами: — нашъ мужикъ добръ, смѣренъ, простосердеченъ! Онъ отдастъ послѣднюю курицу, если видитъ, что отечество въ опасности! Vous comprenez?.. sa poule! sa dernière poule! Слѣдовательно, не въ мужикахъ зло, а вотъ въ этихъ, въ волосатыхъ, да въ тѣхъ, что бѣгаютъ по ночамъ по Невскому съ стриженными косами! Вотъ гдѣ корень всей смуты!

Черезъ минуту:

— Нѣтъ! Это что—нигилисты! Что онѣ бѣгаютъ по Невскому стриженыя — кому отъ того бѣда! Да по мнѣ хоть подолы на головы завороти — еще видъ пріятнѣе будетъ! А вотъ гдѣ зло: въ этихъ „измѣнникахъ“, которые своимъ коварствомъ, своею лестью... вотъ кого слѣдовало бы пробрать!

И еще черезъ минуту:

— И, все-таки, я утверждаю: весь корень зла въ мужикѣ! Тамъ что ни говорите, а около него вся смута вертится. Покуда онъ былъ въ ежовыхъ рукавицахъ, онъ былъ прекрасенъ. Онъ былъ трудолюбивъ, послушенъ и простосердеченъ. Онъ отдалъ бы послѣднюю курицу... Vous comprenez?.. sa poule? sa dernière poule! чтобъ только выручить отечество въ минуту опасности! Теперь — куда все дѣвалось? спрашиваю я васъ: гдѣ у него, чорта съ два, эта *послѣдняя* курица?

И вдругъ, какъ бы спохватившись:

— А все онѣ! все эти скверныя стрижки! Онѣ *тамъ* ходятъ, заворотивши подолы, и прельщаютъ полицейскихъ, а мы *здѣсь* расхлебываемъ! И вотъ еще тѣ! эти подлецы и измѣнники!

Однимъ словомъ, это тотъ самый „порочный кругъ“, въ которомъ можно проблуждать всю жизнь и никогда не почувствовать ни малѣйшей неловкости. Какъ ни кинь—все ладно; какъ ни скажи—все хорошо.

А между тѣмъ вопросъ о томъ, какъ дѣлается русская деньга, есть именно одинъ изъ тѣхъ, въ разрѣшеніи которыхъ заключается

вся суть нашего провинціальнаго существованія. Независимо отъ того, что процессъ зарожденія и образованія деньги самъ по себѣ очень интересенъ, разъясненіе его представляетъ единственный ключъ, съ помощью котораго мы можемъ проникнуть въ самое святилище нашей провинціальной забитости. Чтобъ облегчить читателю этотъ трудъ, возьмемъ, на первый разъ, хоть одинъ изъ способовъ дѣланія русской деньги, и именно тотъ, который преимущественно ставитъ въ тупикъ нашихъ исторіографовъ и который на оффиціальномъ языкѣ извѣстенъ подъ именемъ торговли и промысловъ.

Начать съ того, что наши исторіографы всѣ виды торговли смѣшиваютъ въ одно смутное и легко расплывающееся понятіе. Они судятъ о торговлѣ по тѣмъ пирогамъ, которые ѣдятъ по воскресеньямъ у градскихъ головъ, у оптовыхъ складчиковъ и, въ послѣднее время, у различныхъ прохожихъ молодцовъ, сдѣлавшихся, къ своему собственному изумленію, предпринимателями желѣзнодорожнаго дѣла. Вкусивъ пирога и слегка посоловѣвъ отъ возліяній, исторіографъ разсуждаетъ такъ: „стало быть, торговля возможна, коль скоро этотъ почтенный негоціантъ угощаетъ меня такими отмѣнными пирогами? Отчего же на площади дѣло имѣетъ совсѣмъ другой видъ? отчего тамъ, вмѣсто прежнихъ десяти-двадцати возовъ, стоитъ нынѣче какой-то одинъ тощій возишко? Не оттого ли, что этотъ почтенный негоціантъ—простой и добрый русскій человѣкъ, который и объ начальствѣ думаетъ, и для себя копѣйку бережетъ, а тѣ, прочіе—люди злые и развращенные, которые послѣднее свое добро тащатъ въ кабакъ?

И поощренный этимъ силлогизмомъ, онъ дѣлается шаловливымъ и пускается въ разспросы.

— Ну, а какъ, Иванъ Иванычъ, — спрашиваетъ онъ своего амфитріона, подмигивая однимъ глазомъ: — если этакъ копнуть кубышечку-то... барышки, чай, изрядные окажутся?

— Что же собственно изволите желать знать, ваше растаковство?—спрашиваетъ, въ свою очередь, негоціантъ, не могущій сразу взять въ толкъ вопроса.

— Ну, напримѣръ, съ ведра... или, тамъ, съ куля?

— По малости, ваше растаковство. Конечно, благодареніе Господу, безъ пользы не торгуемъ. Есть, ваше растаковство, такая пословица: съ голаго по ниткѣ—сытому рубашка!—заключаетъ негоціантъ, самъ усмѣхаясь своей остротѣ.

— Voici le bon!—восклицаетъ исторіографъ и, утѣшенный отвѣтомъ своего амфитріона, еще болѣе погрязаетъ въ увѣренности, что развитіе торговли находится въ прямой зависимости отъ добросердечія и простоты нравовъ, и что люди, которые не торгуютъ и не занимаются промыслами, дѣлаютъ это просто на смѣхъ, потому что они „злые".

Нѣтъ спора, что исторіографъ въ этомъ случаѣ подкупленъ возліяніями. Но дѣло не въ томъ, чѣмъ и какъ онъ подкупленъ, а въ томъ, что съ этой минуты его ни подъ какимъ видомъ не вышибешь изъ позиціи. Онъ не понимаетъ, что деньга, о которой шла рѣчь въ разговорѣ съ негоціантомъ, совсѣмъ не та, по поводу которой у него щемитъ сердце. Эта послѣдняя деньга родится въ другомъ мѣстѣ и служитъ для сооруженія совершенно иного пирога, пирога абстрактнаго, котораго никто въ натурѣ не видалъ, но о которомъ всякій изъ членовъ такъ-называемой россійской интеллигенціи можетъ разсказать самыя мельчайшія подробности, точно такъ, какъ бы онъ вынулъ и водчію стоялъ между нами, вполнѣ сервированный. Мы подходимъ къ этой фикціи, закусываемъ, пляшемъ, говоримъ des amabilités, измышляемъ мѣропріятія... и, увы! все-таки, не знаемъ, какъ этотъ пирогъ сооружается! Мы чувствуемъ только, что въ послѣднее время это сооруженіе пошло какъ-то вяло, и, не понимая, въ чемъ тутъ сила, прибѣгаемъ за объясненіями къ негоціантамъ, для которыхъ рѣшительно все равно, почемъ мы покупаемъ на рынкѣ говядину и много ли терпимъ отъ того, что въ цѣломъ городѣ нѣтъ ремесленника, который былъ бы способенъ пришить пуговицу къ сюртуку.

Этотъ негоціантъ, съ которымъ такъ благодушно бесѣдуютъ наши исторіографы—нуль, или почти нуль въ томъ отвлеченномъ пирогѣ, въ постройкѣ котораго мы преимущественно заинтересованы. „Польза", о которой онъ такъ скромно повѣствуетъ, есть его собственная, личная „польза", и отъ нея въ общій пирогъ упадетъ развѣ микроскопическая крупица, да и та упадетъ только для видимости, а въ сущности немедленно вновь займетъ мѣсто въ карманѣ своего законнаго обладателя, да еще и не одна, а въ сообществѣ многихъ другихъ крупицъ. Для того, чтобы видѣть наглядно, какъ дѣлается русская деньга, надобно оторваться отъ негоціантскаго пирога и отправиться въ глубь, въ какую-нибудь Богомъ забытую Крапивну, или въ утопающій въ навозѣ Керенскъ, или, пожалуй, даже въ цвѣ-

тущій фабриками Егорьевскъ. Только тамъ можно настоящимъ образомъ насладиться зрѣлищемъ, какъ сооружается тотъ пресловутый всероссійскій пирогъ, который нѣкогда доставлялъ намъ столько радостей, а теперь служитъ источникомъ однихъ огорченій. Такъ мы и сдѣлаемъ, то-есть поѣдемъ не въ Крапивну, не въ Керенскъ и даже не въ Егорьевскъ (упаси насъ Богъ вступать въ какія-нибудь пререканія съ почтенными жителями этихъ городовъ!), а просто въ какую-нибудь называемую городомъ дыру, про которую и въ народѣ какъ будто сама собой складывается пословица: такой-то городъ (имя рекъ) чортъ три года искалъ, да такъ ни съ чѣмъ и отсталъ!

Лѣтомъ ѣхать хорошо. Воздухъ теплый, трактъ широкій, вольный; по бокамъ дороги зеленѣютъ ракиты. Правда, что колеса экипажа безпрерывно врѣзываются въ колеи, что при въѣздѣ на каждый мостъ, на каждую трубу, путнику неизмѣнно взбудораживаетъ всѣ внутренности, что, наконецъ, тончайшая пыль, то черная, то бурая, то желтая, забирается и въ глаза, и въ уши, и въ носъ; но оставимъ въ сторонѣ эти мелкія дорожныя неудобства и будетъ благодарить судьбу, позволившую предпринять наше путешествіе лѣтомъ, а не зимою. Справа и слѣва у насъ мелькаютъ города. Вотъ направо: городъ Соломенный, городъ Навозный; вотъ налѣво: городъ Мякинный, городъ Глуповъ. Загляднемъ въ него, благо мы тамъ уже бывали.

Мы много наслышаны о Глуповѣ изъ газетъ. Въ прошломъ году онъ устроилъ такую иллюминацію (не пожаръ, а настоящую иллюминацію изъ смоляныхъ бочекъ, плошекъ и шкаликовъ), отъ которой было небу жарко; въ третьемъ году онъ задалъ фейерверкъ (тоже настоящій); въ четвертомъ году какого-то заѣзжаго исторіографа такъ угостилъ и возвеселилъ, что тотъ послѣ этого десять станцій скакалъ сломя голову и не могъ придти въ себя, покуда не прискакалъ въ городъ Полоумновъ, гдѣ его опять угостили и возвеселили до потери сознанія. Все это припоминается нами въ ту самую минуту, когда мы въѣзжаемъ въ предмѣстье города. Оно не поражаетъ великолѣпіемъ; по обѣимъ сторонамъ дороги стоятъ крошечныя избы, изрѣдка вымазанныя глиной и сплошь крытыя почернѣвшей соломой; улица довольно равномѣрно вымощена перебродившимъ и вытолченнымъ навозомъ; колеса тонутъ въ густой, непросыхающей массѣ; лошади едва передвигаютъ ноги; ямщикъ гикаетъ и хлещетъ кнутомъ, потому что безъ этого средства онѣ навѣрное станутъ. По сторонамъ

также лежатъ кучи навоза, около которыхъ хлопотливо суетятся тощія куры; у воротъ, позѣвывая, стоятъ сердитые, съ насупленными бровями мужики; около домовъ мечутся тощія, блѣдныя женщины. Русская женщина вездѣ одинакова: и въ городѣ, и въ деревнѣ; она вѣчно что-то ищетъ, какую-то потерянную булавку, и никакъ не можетъ умолчать, что находка этой булавки должна повести за собой спасеніе міра. Тамъ и сямъ виднѣется вывѣска питейнаго дома и стоитъ почернѣвшій и покачнувшійся на сторону столъ, на которомъ положено нѣчто такое, чему нѣтъ имени: бублики не бублики, калачи не калачи, что-то сѣрое, бѣлесоватое, почти ископаемое...

— Такъ это-то вашъ городъ?—обращаетесь вы къ ямщику.

— Нѣтъ, это не городъ,—отвѣчаетъ онъ:—это только Поганая слобода! а городъ вонъ онъ — за мостомъ!

И дѣйствительно, меньше чѣмъ черезъ минуту, вы переѣзжаете мостъ надъ рѣчкой, берега которой сплошь унизаны навозными кучами, и въѣзжаете въ городъ. Опять навозъ, опять экипажъ и лошади тонутъ, съ тою только разницею, что прежде вы ѣхали по ровному мѣсту, а теперь приходится карабкаться по косогору. Съ правой стороны косогора, во рву, вьется та самая рѣчка, которую вы только-что переѣхали, и отъ паденія въ которую съ крутизны косогора вы защищены жидкимъ балясникомъ; впереди виднѣется соборная колокольня, выкрашенная усердіемъ обывателей въ голубую краску; неподалеку отъ нея бѣлѣется зданіе присутственныхъ мѣстъ и неизбѣжный острогъ. Тѣ же бревенчатые домики, покрытые соломой, тотъ же навозъ, тѣ же покачнувшіеся столы, и вдругъ рядъ какихъ-то странныхъ построекъ, не то будокъ, не то шалашей. Это центръ города („le Krémlin“, какъ выражаются исторіографы), это средоточіе его торговли. Тутъ вы можете во всякое время найти веревку, нѣсколько аршинъ ситцу, заржавѣвшую отъ времени колбасу, связку окаменѣлыхъ баранокъ, пару лаптей и проч. Тутъ же стоятъ каменныя хоромы купца Бѣлобрюхова, въ нижнемъ этажѣ которыхъ расположена бакалейная лавка, мучной лабазъ и ренсковый погребъ. Это тотъ самый негоціантъ Бѣлобрюховъ (le bon), у котораго мѣстные исторіографы ѣдятъ по праздникамъ пироги и который со всего собираетъ по малости. Едва вы въѣхали въ городъ, какъ уже видите конецъ его. Иногда (если Глуповъ не черноземный, а промышленный) за этимъ концомъ синѣетъ большая рѣка, знаменитая своими песчаными пе-

рекатами; если эта рѣка существуетъ, то по берегу ея устраивается набережная, обстроенная каменными домами, въ которыхъ ютятся тѣ же негоціанты Бѣлобрюховы, съ безконечнымъ числомъ складовъ, амбаровъ, воротъ, желѣзныхъ запоровъ и суетящимся людомъ прикащиковъ, рабочихъ и т. д.

Но вотъ и постоялый дворъ. Гостинницъ въ городѣ нѣтъ, а ежели и есть какія-то странныя заведенія, носящія это имя, то они отличаются именно тѣмъ, что въ нихъ невозможенъ пріютъ ни для чего живущаго. Дворъ довольно обширенъ и покрытъ навѣсомъ; темно, грязно, воняетъ. Среди общей тишины слышатся какіе-то особенные звуки: лошадь фыркнетъ, свинья взвизгнетъ, голубь перепорхнетъ съ мѣста на мѣсто. Вы вступаете на крылечко, котораго половицы колеблются подъ ногами; затѣмъ темныя сѣни, въ углу которыхъ пыхтитъ самоваръ; затѣмъ рядъ сколоченныхъ изъ сосновыхъ досокъ дверей, неокрашенныхъ, необитыхъ; на одну изъ нихъ вамъ указываютъ. Вы въ горницѣ.

Нѣтъ ничего унылѣе, какъ русскій уѣздный городъ лѣтомъ, особливо часовъ съ десяти утра до шести пополудни, когда жаръ не то что палитъ, а словно льетъ съ неба и окачиваетъ человѣка съ головы до ногъ. Вы не увѣрены, что городъ не спитъ, но въ то же время не можете утверждать и того, что онъ спитъ, потому что повсюду слышится не то что движеніе, а какой-то странный шорохъ, какъ будто гдѣ-то кто-то роется... По временамъ, въ окошко, около самаго вашего уха, совершенно неожиданно, раздается окрикъ, съ трудомъ вылетающій изъ пересохшаго горла:

— Клубнички... не надо ли?.. клубнички!

Передъ вами стоитъ баба въ бѣлой рубахѣ, въ такой же, испещренной красными узорами, юбкѣ и съ цвѣтною повязкой на головѣ. Она предлагаетъ черезъ отворенное окно плетеную коробью краснобокой и пахучей лѣсной клубники, а сама между тѣмъ отираетъ рукавомъ потъ, горошинами выступающій на лицѣ. Очевидно, она рада остановиться у вашего окна, потому что тутъ она, по крайней мѣрѣ, въ тѣни. Она ужъ съ часъ шляется по улицамъ, заглядываетъ во всѣ окна, во всѣ двери, и нигдѣ никого не видитъ, кромѣ лѣниво вспархивающихъ при ея приближеніи голубей. И вотъ, наконецъ, передъ нею живо существо, устроившееся около окна и какъ будто прислушивающееся къ преисполненной шороха тишинѣ...

— Что стоитъ?—спрашиваете вы бабу, не столько соблазненные видомъ захватанной клубники, сколько чтобъ положить конецъ ея безплоднымъ странствованіямъ.

— Десять копѣекъ,—отвѣчаетъ она, но такимъ голосомъ, какъ будто сама удивляется своей дерзости.

— Et jadis on ne payait ça que deux kopeks!—восклицаетъ выросшій тутъ же словно изъ-подъ земли исторіографъ: —и замѣтьте, что вѣдь онѣ торгуютъ безъ всякихъ патентовъ... ммеррзавки!

Вы колеблетесь. Первымъ вашимъ движеніемъ было заплатить десять копѣекъ, но теперь, послѣ словъ исторіографа, вамъ кажется, что дать сразу такую груду денегъ—значитъ либеральничать, значитъ баловать народъ и поселять въ немъ духъ революцій. Вамъ приходятъ въ голову тысячи сентенцій прежняго добраго времени о томъ, что состоянія наживаютъ копѣйками, о томъ, что копѣйку нужно беречь пуще глаза, и вы невольно начинаете выказывать непоколебимую твердость души.

— Шесть копѣекъ! — говорите вы, соображая, что десять да два — двѣнадцать, раздѣленные на два, составляютъ шесть.

— Батюшка! дай хоть восемь!—кончитъ тотъ же надтреснутый, словно силой выдавляемый изъ горла голосъ.

На этотъ разъ либерализмъ торжествуетъ; восемь копѣекъ выложены и отданы; баба улепетываетъ домой, верстъ за пять, счастливая и утѣшенная. Нѣтъ сомнѣнія, она даже думаетъ, что порядкомъ-таки надула васъ. Лёгко ли дѣло! Она встала въ три часа утра, часа два нагибалась, собирая клубнику; потомъ, убравшись около дома, часъ шла въ городъ, болѣе часа шлялась по дворамъ, и теперь употребитъ часъ, чтобы возвратиться домой... и восемь копѣекъ! Такой результатъ хоть кому дастъ крылья! И, конечно, она отнюдь не пренебрежетъ этой благостыней, и завтра же опять явится у вашего окна съ такою же ношей клубники, и если васъ уже не будетъ въ городѣ, то глубоко и горько вздохнетъ...

Это первый и самый простой видъ торговли, той торговли, которая именуется свободною и которая разрѣшается всякому, имѣющему возможность отдать пять-шесть часовъ времени за восемь-десять копѣекъ.

Баба ушла. Опять не слышно человѣческаго голоса, опять тотъ же смущающій душу шорохъ. Напротивъ, черезъ улицу, въ деревян-

помъ, некрашенномъ домѣ, бѣлѣются кисейныя створчатыя занавѣски, закрывающія только нижнія два стекла оконъ и засиженныя мухами; сквозь занавѣски и поверхъ ихъ виднѣется какая-то масса, не то одѣвающаяся, не то раздѣвающаяся. Богъ вѣсть откуда, словно полоумная бѣжитъ стремглавъ индейка, завидѣвшая, что вы что-то ѣдите и что-то кидаете въ окно. А солнце такъ и льетъ цѣлыя волны зноя.

— Ужъ я, братъ, не обману! ужъ коли я сказалъ, что животина хорошая, такъ бери съ Богомъ! — раздается голосъ на дворѣ.

Заслышавъ этотъ голосъ, вы покидаете „горницу“ и отправляетесь на крыльцо. Въ уѣздномъ городѣ все настораживаетъ чувства, все возбуждаетъ любопытство. Желаніе хоть что-нибудь высмотрѣть или услышать овладѣваетъ человѣкомъ невольно, когда кругомъ царствуетъ только безмолвіе. На дворѣ, подъ навѣсомъ, стоитъ на колѣняхъ бородатый мѣщанинъ и рѣжетъ овцу. Онъ рѣжетъ ее потихоньку, не торопясь; порѣжетъ, воткнетъ ножъ въ навозъ, вздохнетъ и опять примется рѣзать. Хозяинъ овцы (онъ же и хозяинъ постоялаго двора) стоитъ подлѣ и смотритъ. Овца лежитъ смирно, до такой степени смирно, что въ вашу душу закрадывается ужасъ. Ее не нужно даже связать, чтобъ рѣзать: она упрямится только тогда, когда ее выволакиваютъ изъ хлѣва, въ который ее предварительно загоняютъ вмѣстѣ съ прочими подругами, предлагаемыми на выборъ. Но какъ скоро она уже на мѣстѣ, то безпрекословно ложится на бокъ, безпрекословно протягиваетъ вверхъ голову и ждетъ. Разъ... разъ... разъ... Показывается небольшая струйка крови, затѣмъ какая-то нерѣшительная корча... еще и еще... все кончено!

— Ишь!—говоритъ бывшій хозяинъ овцы, взирая, какъ она подрыгиваетъ ногами.

Другія, выпущенныя изъ хлѣва, овцы не вдругъ идутъ за ворота, а останавливаются и какъ будто удивляются, какія-такія неслыханныя почести посыпались на ихъ недавнюю подругу.

— Смотри, гривенъ семь на животинѣ выгадаешь, — продолжаетъ хозяинъ и, какъ будто самъ дивясь своей умѣренности, прибавляетъ:—какое семь гривенъ! тутъ, братъ, рублемъ пахнетъ—вотъ что!

— Оно, конечно, рубликъ нажить можно,—отвѣчаетъ бородатый мѣщанинъ, распяливая свою жертву на доскахъ, перекинутыхъ

черезъ прясла, и принимаясь тѣмъ же ножикомъ отдѣлять шкуру отъ мяса:—да вѣдь тоже пить-ѣсть, Прохоръ Прохорычъ, нужно; опять же патентъ годовой взяли—его воротить тоже требуется.

Это ужъ торговля по патенту. Вы узнаете, что городъ Глуповъ, несмотря на иллюминаціи и фейерверки, почти не ѣстъ говядины (въ особенности лѣтомъ), что мясниковъ, однако, въ городѣ довольно, и что рѣдкій изъ нихъ выручаетъ барыша больше нежели на полтину въ день. Между тѣмъ на эту торговлю нужно выправить въ казнѣ свидѣтельство мелочного торга, которое въ уѣздномъ городѣ стоитъ отъ 8-ми до 15-ти руб., да билетъ къ нему цѣной отъ 2-хъ до 6-ти руб. и, сверхъ того, заплатить разные сборы въ городъ и земство.

— Зачѣмъ же вы торгуете?—спрашиваете вы у этихъ своеобразныхъ негоціантовъ, изумленные ничтожностью результатовъ: — неужели нѣтъ другихъ способовъ зарабатывать деньги?

— А куда дѣваться, позволь тебя спросить?—отвѣтитъ вамъ одинъ:—намъ и утопиться-то негдѣ; потому наша рѣка и для этого даже не годится!

— Всѣ мы, сударь, около рублишка ходимъ!—отвѣтитъ другой: — день не поѣшь, на другой, по-неволѣ, начнешь поворачиваться! Убоину-то мы, сударь, только въ Свѣтло-Христово Воскресенье да объ Рождествѣ ѣдимъ!

— Вотъ хоть бы нашъ мясной торгъ!—вступаетъ мѣщанинъ, только-что зарѣзавшій овцу:—здѣсь, въ городѣ, говядину почесть-что одинъ исправникъ и ѣстъ! Зарѣзалъ теперича барана, да и бейся съ нимъ два дня, а на третій, гляди, онъ и протухъ!

— Да вѣдь можно же отыскать какое-нибудь другое занятіе, болѣе прибыльное!—настаиваете вы.

— Ты выдь на улицу, да и посмотри на всѣ на четыре стороны! можетъ, и найдешь что-нибудь, а намъ не слыхать!

Бьетъ два часа; съ одной стороны одолѣваетъ скука, съ другой стороны начинаетъ напоминать о себѣ голодъ.

— Гдѣ бы у васъ въ городѣ пообѣдать? — спрашиваете вы у хозяина.

Онъ смотритъ на васъ такими изумленными глазами, какъ будто вы у него спросили, гдѣ бы достать взаймы милліонъ рублей.

— Гдѣ обѣдать?—смущенно повторяетъ онъ вашъ вопросъ.

— Да вѣдь у васъ есть гостинница?

— Гостиница?.. оно точно... только въ ней кушанья не готовятъ... Чай, водка—это имѣется!

— Сами-то вы что же нибудь да ѣдите?

— Сами?.. ѣдимъ! Только вы нашего кушанья ѣсть не станете! —прибавляетъ онъ какимъ-то такимъ убѣжденнымъ тономъ, что у васъ мгновенно пропадаетъ всякая охота узнавать, чѣмъ питается вашъ хозяинъ.

Вы узнаете, между прочимъ, что, года два тому назадъ, въ городѣ существовалъ клубъ, и тогда пріѣзжій могъ раза два въ недѣлю найти себѣ обѣдъ, ежели попадалъ въ счастливые дни; но клубъ существовалъ только три мѣсяца, потому что никто туда не ѣздилъ, а тѣ, которые ѣздили, не платили денегъ.

— Нельзя ли достать хоть хлѣба бѣлаго къ чаю? — спрашиваете вы, соглашаясь мало-по-малу на компромиссъ.

— Хлѣба?—опять повторяетъ хозяинъ:—хлѣбъ здѣсь по субботамъ поляки пекутъ, а теперь... да нѣтъ, вы нашего хлѣба ѣсть не станете!

— Какіе же это поляки пекутъ хлѣбъ?

— Да ссыльные... пекутъ про себя, ну и прочіе пользуются...

Вы совершенно сконфужены. Вы спрашиватте себя: какъ существуетъ этотъ городъ? И какимъ образомъ случилось, что въ городѣ, имѣющемъ, все-таки, тысячу жителей, устраивающемъ, по временамъ, „премиленькія иллюминаціи“, вы не можете дня прожить, чтобъ вдоволь не наголодаться?

Мимо города чуть ли ни каждый день проходятъ гурты, ѣдутъ возы, нагруженные живностью, телятами и проч., а говядину (въ лѣтнее время) можно имѣть только въ базарный день, къ которому бьютъ какую-нибудь злосчастную корову, переставшую давать молоко. Все, что везется или гонится—все это направляется въ Москву или въ Петербургъ, а несчастный городъ глядитъ и даже губъ не облизываетъ: такъ ужъ онъ свыкся съ мыслью, что все, что съѣдобно, удобно или пріятно, существуетъ не для него. Если въ городѣ существуетъ рѣка и вы полюбопытствуете, какъ идетъ рыбный промыселъ, вамъ отвѣтятъ, что рыбы совсѣмъ мало, и всякій объяснитъ вамъ это исчезновеніе по своему.

— Съ тѣхъ поръ, какъ эти пароходы пошли, скажетъ одинъ:—совсѣмъ у насъ въ рѣкѣ рыбы не стало.

— Что врешь-то!—возразитъ другой: — кабы пароходы разогнали рыбу, все-таки, она куда бы нибудь дѣвалась, а то ее и вездѣ, по всей рѣкѣ, стало въ десять да въ двадцать разъ противъ прежняго меньше. А ты вотъ что лучше скажи: весной, молъ, ваше благородіе, въ то самое время, какъ ей икру метать, эту самую рыбу вылавливаютъ, ну и плодится она годъ отъ году меньше.

Во-вторыхъ, вамъ скажутъ, что хотя рыба въ садкахъ и есть, но не для мѣстнаго употребленія, а опять-таки для Москвы и для Петербурга, куда она ужъ и заподряжена.

— Что жъ, наконецъ, тутъ ѣдятъ? — спрашиваете вы уже съ нѣкоторымъ любопытствомъ.

— Да кому у насъ, сударь, ѣсть-то?—отвѣтятъ вамъ:—развѣ что вотъ у исправника столы бываютъ; а что про прочихъ жителей можно сказать одно: ѣдятъ, что Богъ послалъ.

И, подумавъ немного, непремѣнно присовокупятъ:

— Вы нашего кушанья и ѣсть-то, сударь, не станете!

Въ городѣ два училища: уѣздное и приходское, но что въ нихъ дѣлается — про то знаютъ только тѣ немногія дѣти, которыя посѣщаютъ ихъ; никто изъ взрослыхъ этимъ дѣломъ не интересуется. Нѣтъ ни клуба, ни библіотеки; читать нечего и негдѣ. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, когда всякій литераторъ-обыватель не иначе начиналъ свою корреспонденцію, какъ словами: „въ наше время, когда...“, штатный смотритель училищъ завелъ было кое-какую скудную библіотеку, и просвѣщенье въ городѣ на мгновенье просіяло; но въ 1862 году оно опять потухло и просіялъ навозъ. Въ почтовой конторѣ получается нѣсколько экземпляровъ журналовъ и газетъ, но подписчиковъ, живущихъ въ городѣ, почти нѣтъ, а выписываютъ матеріалъ для чтенія только помѣщики, попрятавшіеся въ своихъ усадьбахъ.

Куда дѣваться? что дѣлать?

Седьмой часъ; жаръ начинаетъ понемногу сдавать, хотя все еще печетъ. Вы видѣли какое-то подобіе движенія въ третьемъ часу, когда приказные вереницей потянулись изъ присутственныхъ мѣстъ по домамъ отвѣдывать того кушанья, котораго вы „ѣсть не станете“, и за ними, изъ тѣхъ же присутственныхъ мѣстъ, выбрело съ пятокъ мужиковъ, очевидно искавшихъ себѣ удовлетворенія у мѣстной Ѳемиды. Почти такое же движеніе оказывается и теперь; опять пле-

тутся приказные, но уже въ обратномъ смыслѣ; всѣ направляются изъ домовъ въ присутственныя мѣста, для вечернихъ занятій. Выйдемъ мы и заглянемъ въ средоточіе мѣстныхъ торговыхъ интересовъ, въ такъ-называемые ряды.

Ряды эти состоятъ изъ одного-двухъ десятковъ деревянныхъ построекъ, потемнѣвшихъ отъ времени и сильно накрепившихся на бокъ; тамъ и сямъ расположены дощатые прилавки съ устроенными надъ ними отъ жару и непогоды навѣсами; у прилавковъ сидятъ старыя и молодыя торговки и что-то вяжутъ, переговариваясь между собою. Подъ столами, въ коробьяхъ и лукошкахъ, заключается запасной товаръ; на прилавкахъ тотъ товаръ, который предлагается покупателю. Первую роль играютъ гречневики, гороховый кисель и ржаной хлѣбъ. Сбоку: въ искалѣченномъ чайникѣ—конопляное масло, и въ кружкѣ —какое-то темное сладковатое пойло, которое называется сусломъ. Когда покупатель желаетъ пріобрѣсти гречневикъ, торговка предварительно поваляетъ его въ рукахъ, польетъ масломъ и затѣмъ уже подаетъ потребителю. Очевидно, что это и есть то самое кушанье, о которомъ вамъ говорили, что „вы его, сударь, ѣсть не станете“.

— Ну, что, какъ торгуете?

— Какая наша торговля! всѣхъ-то насъ собрать — десяти копѣекъ дать не за что.

— А вы бы, старушки, поживѣе!

— Чего тутъ! еще зимой ништо! мужики ѣздятъ—иной разъ и на полтину поторгуешь, а лѣтомъ и вовсе худо. Да хорошо еще, какъ за день-то тебя не убьетъ кто-нибудь.

— Ужъ и убьетъ!

— А то какъ же! то чиновникъ палатскій на тебя налетитъ, то изъ думы, а тутъ еще полиція—штрафъ подавай!

— Это значитъ, что вы не снабжаете себя своевременно документами! поймите, старушки, вѣдь это тоже нехорошо!

— Нехорошо-то, нехорошо, что про то говорить. Только и тягости-то ноньче очень ужъ велики стали.

— А какъ?

— Да вотъ какъ: ты вотъ видишь ли этотъ столъ? такъ это, сударь, не столъ называется, а „торговое помѣщеніе“, и потому отдай за него въ думу два рубля. Потомъ чиновникъ палатскій дастъ тебѣ билетъ—этому заплати четыре рубля, потомъ въ земскую сорокъ ко-

пѣкъ... а робятъ-то! робятъ-то! и на что только они, каторжные, на свѣтъ урожаются!

— Ну, вотъ видите ли, какое вамъ снисхожденіе дѣлается! Вы, по настоящему, билетъ-то еще въ декабрѣ прошлаго года должны были выправить, а вамъ чиновникъ выдалъ его уже въ маѣ, при повѣркѣ торговли. Штрафъ вѣдь за это съ васъ слѣдуетъ.

— И то взыскиваютъ. Только у насъ, баринъ, у всѣхъ-то вмѣстѣ четырехъ рублей никогда не бываетъ, такъ намъ пожалуй что и все равно!

— Да вѣдь въ законѣ-то сказано: „если кто откроетъ безъ взятія свидѣтельства или билета промышленное заведеніе... то таковое должно быть немедленно закрыто“. Какъ же не закрываютъ ваши „заведенія“?

— И закрывали! не одинъ разъ ужъ закрывали! „Ступайте, говорятъ, вонъ, плёхи!“ Ну, а мы тоже свое: куда, молъ, ваше благородіе, идти прикажете? пасъ и земля-то не принимаетъ!

— Что жъ „онъ“?

— Что! постоитъ-постоитъ, разведетъ руками, скажетъ: „курвы!“ да и пойдетъ прочь.

Мы подходимъ напротивъ къ лавочкѣ, въ которой ведется такъ-называемый мелочной торгъ. Мѣшокъ съ крупою, другой съ ржаной мукою, третій съ мукой пшеничной второго или третьяго сорта; нѣсколько пучковъ веревокъ, связка гвоздей, обрѣзки желѣза, съ десятокъ фунтовъ сальныхъ свѣчей, осколокъ сахару, банка, на днѣ которой разсыпанъ пыльный чай, кусокъ мыла, нѣсколько паръ висящихъ лаптей—вотъ внутреннее убранство лавочки.

— Какъ поторговываете?

— На десять копѣекъ товару-съ, на рубль хлопотъ-съ!

— Что такъ?

— Продажи нѣтъ-съ. Народъ, значитъ, обнищалъ. Никому ничего не требуется-съ.

— Однако, барыши все же должны быть?

— Ужъ это разумѣется-съ; безъ барышовъ какъ же возможно! На полтину въ день торгуемъ, а иномѣсто и рубль выручишь!

— Какъ же вы дѣлаете? Какъ воспитываете дѣтей?

— Мрутъ тоже-съ. Стараемся, кажется, довольно, а все какъ-то

надежды не видимъ. Годъ-то бьешься-бьешься, а къ концу либо ничего не останется, либо самъ еще Бѣлобрюхову задолжаешь!

— Странный, однако, у васъ городъ! не ѣстъ, не пьетъ; цѣлые дни либо на солнцѣ печется, либо на морозѣ зябнетъ — и все не въ прокъ!

— Такъ ужъ ему, сударь, удалось. Осмѣлюсь доложить, что тягости наложены на насъ ужъ очень безпримѣрныя!

— Напримѣръ?

— Какъ-же-съ! Вотъ теперь за это пристанище въ думу пять рублей заплати; за свидѣтельство въ казначейство десять рублей снеси, за билетъ къ нему четыре рубля, да въ земскую — рубль сорокъ. Денегъ-то сколько вышло! Годъ-то торгуешь, а къ концу и разноси барышъ по мытарствамъ, да, пожалуй, еще на сторонѣ гдѣнибудь перехвати! Вонъ этимъ плёхамъ рай, а не житье! — прибавляетъ мелочникъ, указывая на торговокъ: — а наша жизнь — какъ есть каторга!

— Чѣмъ же, однако, ихъ житье лучше вашего?

— Ихъ-то! да помилуйте! онѣ и патентовъ никакихъ не знаютъ: такъ, по-дворянски блаженствуютъ. Намеднись палатскій чиновникъ пріѣзжалъ: берите, говоритъ, старушки, патенты! А на что намъ, говорятъ, твои патенты! мы и безъ нихъ съ голоду умереть свободны! Сволочи!

— А вамъ безъ патента нельзя?

— Намъ-съ? намъ это никогда невозможно. Потому, у меня „заведеніе“ настоящее, закрытое, съ дверями, какъ слѣдуетъ. Сейчасъ это пришелъ депутатъ съ полицейскимъ, закрылъ двери, запечаталъ... куда я пошелъ? А имъ развѣ можно запретить! сегодня ты ее съ мѣста согналъ, а завтра она опять либо тутъ, либо на другомъ мѣстѣ чулокъ вяжетъ! И какую онѣ, сударь, пакость намъ дѣлаютъ! такъ и рвутъ, такъ и рвутъ къ себѣ покупателя!

— Однако вѣдь онѣ совсѣмъ другимъ товаромъ торгуютъ!

— Да и мы бы ихнимъ товаромъ торговать стали, потому что товаръ нужный, ходкій; только противъ ихъ потрафить никакъ невозможно! Ты двѣ копѣйки, она полторы! сколько мы на нихъ жаловались — все толку нѣтъ! Вотъ тутъ, подлѣ, сосѣдъ краснымъ товаромъ торгуетъ, такъ противъ него этакая же тесемщица проявилась — не даетъ торговать да и шабашъ!

Такимъ образомъ идетъ мелочная розничная торговля. Всякій торговецъ непремѣнно пожалуется на недостатокъ потребителей, на возрастаніе конкурренціи и на тяжесть налоговъ. Всякій готовъ перервать горло своему сосѣду, пажаловаться, паябедничать, и въ результатѣ этой вражды, этой ненависти, при самыхъ удачныхъ обстоятельствахъ, получается полтина.

— И куда только покупатель дѣвался? словно онъ, сударь, сквозь землю провалился! никому ничего не надо! — раздается со всѣхъ сторонъ.

Одинъ купецъ Бѣлобрюховъ не унываетъ. Въ его каменныхъ палатахъ вы можете найти все: тутъ и ренсковый погребъ, тутъ и бакалейная лавка, а на дворѣ анбаровъ, анбаровъ! Но за то онъ объявляетъ капиталъ по второй гильдіи и, имѣя до десяти помѣщеній, платитъ въ казну за одни свидѣтельства и билеты (по 4-му классу) сто-тридцать-пять рублей, за членовъ семейства (до десяти человѣкъ сыновей, братьевъ, дядей и проч., записанныхъ въ одинъ капиталъ) пятьдесятъ рублей, за двоихъ или троихъ прикащиковъ 2-го класса 15 рублей, а въ земскую управу около пятидесяти рублей, — всего, стало быть, около двухъ-сотъ пятидесяти рублей. Исполнивши это, онъ можетъ дѣлать обороты на милліоны и радоваться на міръ божій сколько душѣ угодно. Для него не существуетъ ни повышенія цѣнъ, ни пониженія; это торговецъ основательный („le bon“) и цѣны у него всегда настоящія. Рядомъ съ нимъ, въ его же домѣ, торгуетъ краснымъ товаромъ нѣкто Поганкинъ, который продаетъ въ годъ на тысячу рублей и тоже уплачиваетъ до ста рублей въ годъ, потому что продаетъ ситецъ (товаръ купеческій) и, сверхъ того, записывается въ гильдію, чтобъ избавить семью отъ рекрутства.

— Кабы не рекрутство, — говоритъ онъ: — какой же чортъ толкалъ бы меня въ гильдію лѣзти!

Такимъ образомъ, въ городѣ оказывается до пятидесяти гильдейскихъ капиталовъ, а въ сущности купцовъ только двое: Бѣлобрюховъ и Бѣлобоковъ. Они ѣдятъ и по буднямъ, и по праздникамъ вещи, которыхъ „не продуешь“, пироги и свинину; они спятъ на перинахъ, и съ перепою не чувствуютъ даже клоповъ. Все остальное питается чуть не древесной корою и спитъ въ повалку на войлокѣ, а подчасъ и на той ветхой „лѣпоти“, въ которой слоняется днемъ.

Однако въ рядахъ больше дѣлать нечего; вездѣ бѣдность, зави-

дующая бѣдности же и клапяющаяся въ поясъ богатству. Бѣдность разрозненная, забитая, разбѣгающаяся въ разсыпную при одномъ имени Бѣлобрюхова. За то Бѣлобрюховъ устроилъ бульваръ по берегу рѣки, исправилъ какой-то въѣздъ, основалъ богадѣльню на десять человѣкъ, внесъ десять тысячъ на основаніе общественнаго банка и теперь серьезно помышляетъ о желѣзной дорогѣ. Граждане не нарадуются имъ и съ гордостью говорятъ, что и ихъ городъ будетъ въ скоромъ времени соединенъ желѣзнымъ путемъ съ обѣими столицами.

— Что-жъ, навозъ, что-ли, вы перевозить будете? — спрашиваете вы у черезъ-чуръ расхваставшагося обывателя.

Обыватель очень чувствительно оскорбленъ вашимъ вопросомъ.

— Навозъ не навозъ,—говоритъ онъ:—а всякое произведеніе. Примѣромъ, теперича, конопляю, рожь, овесъ, говядину, сало, ленъ, пеньку, веревку, рыбу, клей, солодъ, щетину, перье, птицу, свиней, медъ, воскъ, деготь, поташъ, мыло, смолу, хмель, спиртъ, шерсть, холстъ...

Онъ поименуетъ вамъ цѣлую уйму разныхъ названій. Слушая эту разнообразную номенклатуру, вы изумитесь; но ежели вникнете въ сущность дѣла, то поймете, что всѣ эти названія способны только испортить нынѣ существующіе способы сообщенія и нимало не напитать способовъ сообщенія усовершенствованныхъ.

— У насъ, сударь, третьяго года такую иллюминацію задали — страсть! стало быть, будетъ что перевозить! — прибавляетъ словоохотливый обыватель.

Но воротимся на постоялый дворъ. У воротъ высыпало все хозяйское семейство и, позѣвывая, наслаждается вечерней сіестой. Съ чего они зѣваютъ? думается вамъ: — неужто съ голоду? Тутъ же пріютилась какая-то темная, юркая фигура въ затасканномъ и мѣстами прорванномъ сюртучишкѣ, въ которой вы узнаете бывшаго дворового господъ Безпорточныхъ, Ардашку.

— Ба! Ардальонъ! здорово!

— Здравія желаемъ, ваше высокоблагородіе! — восклицаетъ Ардальонъ, видимо желая выкинуть какой-нибудь артикулъ, но не успѣваетъ въ этомъ, по недостатку потребной для того физической силы.

Вы знаете Ардальона съ дѣтства. Онъ всегда былъ малый про-

ворный и смышленый; въ домѣ помѣщика онъ былъ очень хорошимъ портнымъ; и по оброку ходилъ, и въ наказаніе за всякія провинности былъ высылаемъ въ деревню, гдѣ одѣвалъ и обшивалъ весь домъ. Никогда его не замѣчали пьянымъ, кромѣ, разумѣется, годовыхъ праздниковъ, которые онъ неизмѣнно и неизбѣжно проводилъ безъ чувствъ.

— Золотыя у этого человѣка руки! — говаривалъ про него господинъ Безпорточный: — и кажется, ежели бы не чарочка да не женскій подолъ, никакому бы Шиллингу и Тёпферу (знаменитые въ то время портные въ Москвѣ) передъ нимъ не выстоять!

Теперь этотъ человѣкъ очутился на волѣ, или, иными словами, онъ пущенъ въ пространство съ увольнительнымъ свидѣтельствомъ въ рукахъ и въ продранномъ сюртучишкѣ. Натурально онъ тотчасъ же устремился въ городъ. Но каково же было его изумленіе, когда онъ узналъ, что въ городѣ никому ничего не нужно; что тутъ никто не ѣстъ, не пьетъ, не обувается, не одѣвается, и что, вдобавокъ, съ него требуютъ рубль серебромъ „на призрѣніе“, да еще два съ полтиной за патентъ!

— Ну что, какъ дѣла? — спрашиваете вы его, но, оглядѣвши съ ногъ до головы его фигуру, начинаете понимать, что вопросъ вашъ, по малой мѣрѣ, излишенъ.

— Что дѣла-съ! наши дѣла какъ сажа бѣла!

— Что такъ?

— Работать не дозволяютъ!

— Не можетъ быть!

— Точно такъ-съ. Намеднись, сижу я это въ квартирѣ, жилетку господину Бѣлобрюхову работаю. Вдругъ входитъ чиновникъ: „ты что дѣлаешь?“ Я даже самъ испугался, точно и невѣсть какое преступленіе дѣлаю. — Жилетку, говорю, для господина Бѣлобрюхова шью. — „А патентъ, говоритъ, есть?“ — Какой патентъ? Тутъ я, сударь, узналъ, что работать безъ патента воспрещается-съ, а цѣна ему два съ полтиной. Тутъ же и актъ объ этомъ составили, что я, значитъ, обманнымъ манеромъ работаю, а черезъ два мѣсяца вышло рѣшеніе: взять мнѣ патентъ и взыскать, кромѣ того, другіе два съ полтиной, а до тѣхъ поръ „заведеніе“ мое запечатать. Вотъ и все мое ремесло.

— Какое же заведеніе закрыть? магазинъ, что-ли, у тебя былъ?

— Какой магазинъ! такъ, уголъ нанималъ у одного мѣщанина! Ужъ и мы съ полицейскимъ тогда дивились, какое такое заведеніе опечатать! Только полицейскій, все-таки, вывернулся: „заведеніе, говоритъ, я твое опечатать не могу, а инструментъ отберу!“ Было у меня тутъ иголъ съ дюжину—взялъ, завернулъ въ бумажку и запечаталъ; былъ кирпичъ (родъ подушки, въ которую портные втыкаютъ иглы)—тоже взялъ и опечаталъ; даже къ столу, на которомъ я сидѣлъ, и къ тому приложилъ печать!

— А ты бы спросилъ: что жъ тебѣ теперь дѣлать?

— И то спрашивалъ. „Нечего, говоритъ, теперь тебѣ другого дѣлать, кромѣ какъ въ кабакъ идти!“

— Чѣмъ же ты живешь?

— Чѣмъ живу-съ? кой-куда въ домà пошить зовутъ, тѣмъ и кормлюсь! а впрочемъ какой у насъ городъ, только-что зовется городомъ! Кто побогаче — нашей работой гнушается, въ Москвѣ да въ Петербургѣ поровитъ аммуницію себѣ сшить, а побѣдпѣе, такъ и самъ иголкой ковырять можетъ.

— Видно, братъ, богатому вездѣ хорошо, а бѣдному вездѣ худо. Такъ-ли?

— Такъ точно-съ. Только этимъ и обнадежены, — отвѣчаетъ онъ, и потомъ, спохватившись, что сказалъ глупость, продолжаетъ: — вотъ, сударь, что я хотѣлъ васъ спросить; какъ теперича жить намъ будетъ?

— А что?

— Да вотъ-съ: третьяго года городъ-то нашъ горѣлъ, прошлаго года ничего, кромѣ лебеды, въ уѣздѣ не уродилось, а нынче, слышно, скотина вàльмя валится.

— Богъ поможетъ, справитесь какъ-нибудь...

— Это точно-съ. Велика милость божья.

— Подати будутъ заплачены? Не такъ ли?

— Это такъ-съ. Господинъ исправникъ на этотъ счетъ довольно строги. Какъ ни хоронись, а подъ рубашкой всегда эта подать найдется!

— Нехорошо, Ардальонъ! Роптать, братецъ мой, это послѣднее дѣло.

— Ужъ на что хуже! Однако прощенія просимъ, ваше высокоблагородіе.

Ардальонъ уходитъ. Уже совсѣмъ смерклось, а васъ одолѣваетъ зѣвота. Все, что можно было высмотрѣть въ городѣ, все высмотрѣно. Два, три часа времени—вотъ все, что нужно, чтобы его внутренняя жизнь выступила наружу. Конечно, вечеромъ замѣтно какъ будто больше оживленья на улицахъ: семейство исправника проѣхало въ долгушѣ; купецъ Бѣлобрюховъ пролетѣлъ на тысячномъ рысакѣ, запряженномъ въ одноколку; вереница чиновниковъ, съ папиросами въ зубахъ, потянулась къ бульвару, но все это словно во снѣ дѣлается. Чувствуешь, что этимъ людямъ жить надоѣло, что они вполнѣ равнодушны къ дѣйствительности и живутъ мечтаніями. Даже не трудно угадать, о чемъ они мечтаютъ. Скоро наступитъ 1-е іюля и послѣдуетъ розыгрышъ лотерейнаго займа перваго выпуска. Люди, обладающіе хоть однимъ билетомъ, надѣются и строятъ планы, что они сдѣлаютъ, если на ихъ долю выпадетъ двѣсти тысячъ; люди, которые не обладаютъ ни однимъ билетомъ, тоже строятъ планы... что они сдѣлали бы, еслибъ на ихъ долю выпало двѣсти тысячъ. Люди компетентные увѣряютъ, что вся Россія только и живетъ нынѣ этими надеждами...

Но вотъ и совсѣмъ смерклось; по мѣстамъ замелькали въ окнахъ огни, но большинство домовъ тонетъ въ мракѣ, ибо сальная свѣча стоитъ денегъ, и хозяева не всегда могутъ дозволять себѣ эту роскошь. Городъ зѣваетъ, стелетъ армяки и полушубки...

Блохи, клопы, тараканы освѣжаютъ сонъ истомленнаго дневнымъ зноемъ рыцаря ломанаго гроша.

Зимой дѣло идетъ поживѣе. Навозъ, покрывающій площадь, показываетъ, что по временамъ здѣсь бываетъ людно. Вмѣсто одного гроша, торговецъ получаетъ два и три, но изъ грошей, все-таки, никакъ выйти не можетъ. Разъ десять въ день онъ перевернетъ этотъ заколдованный грошъ, и, все-таки, онъ очутится въ его карманѣ тѣмъ же грошомъ, частицу котораго необходимо отдѣлить въ общій ящикъ. И какъ онъ бьется изъ-за этого гроша, какъ ругается, какъ льститъ и подличаетъ, какъ коститъ своего сосѣда! Глядя со стороны, можно подумать, что дѣло идетъ объ обезпеченіи его долгаго-долгаго будущаго, а не о томъ, чтобъ какъ-нибудь сбыть съ рукъ распроклятый сегодняшній день!

Это правда, что зимой торгъ живѣе и выгоднѣе, но въ то же время зимой и расходовъ больше. Хотя посадскій человѣкъ, въ недавнее время, и освобожденъ отъ подушной подати, но за то явилось много новыхъ повинностей, которыя нужно очистить именно въ декабрѣ и въ январѣ. Первое—государственная повинность; второе—налогъ съ недвижимыхъ имуществъ, то-есть съ той хижины, въ которой онъ не столько живетъ, сколько, такъ сказать, хоронится отъ жизни; третье — патентъ. А тутъ еще рекрутскій наборъ на дворѣ; если не приходится отвѣчать своею личностью, то во всякомъ случаѣ придется отвѣчать деньгами: на обмундированіе, на продовольствіе, на наградныя рекрутамъ, на вознагражденіе рекрутскихъ сдатчиковъ... Откуда взять? какъ извернуться? Волею-неволею приходится отдѣлить ложку или двѣ отъ тѣхъ пустыхъ щей, которыми мѣщанинъ наливаетъ ежедневно свое пестое брюхо, или отлить четверть шкалика отъ той сивушной порціи, на которую заглядываются его завидущіе глаза.

— Нынѣче мы, сударь, дровами никогда не топимъ!—говорятъ вамъ въ одномъ мѣстѣ: — нынѣче у насъ щепа да солома въ моду пошли. Было наше времечко! Поцарствовали! пороскошествовали!

— Когда съ насъ подушныя брали—намъ не въ примѣръ легче было!—говорятъ въ другомъ мѣстѣ:—первое дѣло, платили мы по общественной раскладкѣ; стало быть, у кого засилія больше, тотъ и душъ больше оплачивалъ; второе дѣло: коли много ужъ очень недоимки накапливалось, такъ или голова, или другой благодѣтель, бывало, выищется: пѣтъ-пѣтъ, да и внесетъ за общество! А нынѣче всякъ за себя отдувайся, патента-то никто тебѣ ужъ не купитъ!

— А тутъ еже дворовыхъ голышей нагнали! — вопіютъ въ третьемъ мѣстѣ:—дохнуть отъ нихъ, канальевъ, нельзя. Гдѣ прежде было два сапожника, тамъ нынѣче ихъ двадцать-два, и всѣ поровятъ на одномъ сапогѣ заплату наставить!

И какую жизнь ведетъ этотъ дикій, озлобленный отъ голода народъ — это невозможно даже представить себѣ. Не говоря уже о тѣхъ черныхъ, покосившихся избушкахъ, въ которыхъ ютится большинство, посмотрите, какое зрѣлище представляетъ зимой самый лучшій постоялый дворъ, въ которомъ отдаются такъ-называемыя „чистыя комнаты“! Чернота, которая поражала васъ еще лѣтомъ, сдѣлалась еще чернѣе, увеличившись всею суммою грязи и слякоти,

приносимой на сапогахъ, шубахъ, полушубкахъ, рукавицахъ и проч. Мокро, скользко, стѣны проникнуты сыростью, въ воздухѣ стоитъ паръ. И при этомъ запахъ—смѣсь всевозможныхъ отвратительныхъ воней, немыслимыхъ ни въ какой тюрьмѣ. Тутъ и промозглая сметана, которая поставлена гдѣ-то подъ лавкой киснуть; тутъ и овчина, и кислая капуста, и махорка, и телячій пометъ... Читатель! если вы когда-нибудь рѣшитесь отчетливо представить себѣ эту картину нашей провинціальной торговли и ремесленности, вамъ, навѣрное, сдѣлается если не страшно, то тошно.

Письмо десятое.

Оставимъ на время вопросъ о томъ, какъ дѣлается русская деньга, и обратимся къ другому, который въ настоящее время поглощаетъ все вниманіе провинціи и, слѣдовательно, имѣетъ за собой преимущество насущнаго интереса.

Вопросъ этотъ формулируется такъ: представляетъ ли строгость самостоятельную творческую силу въ отношеніи къ матеріальному и нравственному развитію народа? или, выражаясь точнѣе: возможно ли, съ помощью однѣхъ такъ-называемыхъ рѣшительныхъ мѣръ, увеличить производительныя силы страны, повысить нравственный и умственный уровень ея жителей, устранить задержки въ фискальныхъ сборахъ, поселить довѣріе и т. д.?

Какъ ни младенчески-наивны эти вопросы, но, къ сожалѣнію, въ жизненности ихъ невозможно усомниться. За ними стоитъ цѣлая исторія, и мы, провинціалы, безвыходно живемъ въ атмосферѣ, ими насыщенной. По временамъ безплодность подобныхъ задачъ дѣлается для насъ болѣе или менѣе ясною; но едва начинаютъ онѣ настоящимъ образомъ умирать, какъ вновь откуда-то является убѣжденіе въ ихъ необходимости, и съ новою энергіей онѣ заявляютъ о своемъ существованіи. Пускай одни утверждаютъ, что главный двигатель производительности есть капиталъ; пускай другіе приписываютъ это труду, третьи—знанію, усовершенствованнымъ способамъ производства, равномѣрному участію въ прибыляхъ и т. д. Мы, жители про-

винціи, стоимъ на одномъ: что производительность возрастаетъ и упадаетъ единственно по мѣрѣ того, какъ возрастаетъ и упадаетъ строгость. Проще не можетъ быть.

Надо сказать, впрочемъ, правду, что характеръ строгости подвергся въ послѣднее время значительному измѣненію. Когда-то въ провинціяхъ нашихъ господствовала строгость простодушная. Были такіе счастливчики, которымъ стоило выйти на улицу, чтобъ сказать себѣ: все мое! и стихіи мои! и все что̀ множится, ростетъ и дышетъ при содѣйствіи этихъ стихій — все мое!" Нѣкоторые до того простирали свою строгость, что даже говорили: „моя наука, мой климатъ" и т. д., и никому не приходило въ голову возражать противъ такихъ похвальныхъ словъ. Эта безпрекословность порождала увѣренность; увѣренность же, съ своей стороны, значительно смягчала проявленія строгости. Теперь противъ прежняго сдѣлалось гораздо обременительнѣе. Тотъ же счастливчикъ выходитъ на улицу, и уже сомнѣвается: точно ли все его? Но такъ какъ прежнее вожделѣніе еще не остыло, то необходимость признать извѣстную долю конкретности за тѣмъ, въ чемъ предполагалась лишь способность мелькать или метаться, невольнымъ образомъ вноситъ во всѣ властныя отношенія какой-то желчно-завистливый, почти-что мстительный характеръ. Прежняя добродушная строгость уже не удовлетворяетъ потребностей времени; мерещится что-то въ родѣ прекраснаго зданія, у котораго и въ основаніи положена строгость, и стѣны сложены изъ строгости, и крышу, то-есть вѣнецъ зданія, составляетъ строгость же.

Построить такое зданіе и засадить туда россіянъ — вотъ идеалъ, надъ которымъ мы въ настоящую минуту задумываемся. Разногласія на этотъ счетъ хотя и существуютъ, но незначительныя. Одни призываютъ строгость потому, что вообще не могутъ совмѣстить свое существованіе съ существованіемъ другихъ; другіе, болѣе добродушные, призываютъ ту же строгость, какъ мѣру временную, при помощи которой должны, по ихъ мнѣнію, исчезнуть фантомы, которые все мрачнѣе и мрачнѣе рисуются на общемъ фонѣ жизни.

— Только на этотъ разъ! дайте только почувствовать, — но почувствовать сознательно и неуклонно, — что спасительное иго еще не упразднилось, и вы увидите, какъ быстро исчезнутъ неурядицы и смуты, которыя загромождаютъ наше существованіе.

Вотъ рѣчи, которыя говорятся людьми совершенно незлобивыми.

Но ежели спросить у этихъ ревнителей общественнаго благополучія, что собственно они разумѣютъ подъ словомъ „неурядицы“, то сквозь тьму всевозможныхъ запутанностей и оговорокъ вы различите, что это названіе прилагается безразлично ко всякому проявленію самостоятельности и правоспособности. Есть цѣлый классъ индивидуумовъ, который, по мнѣнію теоретиковъ строгости, долженъ, для собственнаго своего блага, сидѣть смирно и ждать погоды. Такъ напримѣръ, ежели подрядчикъ притѣсняетъ рабочихъ и послѣдніе начинаютъ чувствовать это, имъ говорятъ: „подождите, любезные! потерпите!“ Если человѣкъ изнемогаетъ подъ бременемъ разнаго рода непредвидѣнностей и начинаетъ доказывать ненормальность такого положенія, ему говорятъ: „нельзя же, мой милый, вдругъ! потерпи!“ О чемъ бы ни высказывалось мнѣніе, на что бы ни приносилась жалоба, всему одно опредѣленіе: безпокойный характеръ! на все одинъ отвѣтъ: „потерпи!“ Сроковъ не назначается, уважительныхъ причинъ не приводится. Одно ясно: это присутствіе какого-то неслыханнаго ученія, въ силу котораго къ легальности нельзя придти иначе, какъ путемъ упраздненія той же легальности.

Слушать подобныя разсужденія тяжело до крайности. Точно тѣни мечутся передъ глазами, точно проходитъ безобразное сновидѣніе. Положеніе слушающаго дѣлается ненормальнымъ до болѣзненности. Но нѣтъ, это не тѣни и не порожденія кошмара — это живые и очень крѣпкіе организмы, въ которыхъ есть все (даже есть своеобразное добросердечіе), кромѣ разумнаго отношенія къ дѣйствительности. Это первобытные люди-самоучки, которые прикрываютъ свою наготу первымъ попавшимся древеснымъ листомъ, не зная и не желая знать, что на свѣтѣ уже придуманы другія одежды, гораздо болѣе приспособленныя къ удобствамъ человѣка. Первобытный человѣкъ неприхотливъ и еще менѣе изобрѣтателенъ. Дѣйствовать на сознаніе, убѣждать, доказывать и вообще „разговаривать“ — все это представляется ему потерей времени. Зачѣмъ трудиться развязывать узелъ, когда его можно сразу разрубить? И, къ сожалѣнію, повторяемъ, это совсѣмъ не тѣни, а дѣйствительные организмы, которые имѣютъ полную возможность доказать свою несомнѣнную конкретность. И если невыносимо тяжело слушать ихъ безазбучныя разглагольствованія о пользѣ строгости, какъ живоноснаго начала всякаго благополучія, то можно себѣ представить, въ какой мѣрѣ увеличивается эта тяжесть, когда

приходится видѣть примѣненіе этихъ разглагольствій на практикѣ, когда приходится жить въ атмосферѣ, ими отравленной. А между тѣмъ можно сказать, что это почти насущный нашъ хлѣбъ, что мы, жители провинціи, издавна никакой иной пищи не знаемъ, кромѣ строгости, которая упитываетъ насъ едва-ли не свыше самой широкой потребности.

Много сочиняется у насъ проектовъ насчетъ возстановленія энергіи, но наибольшею популярностью пользуется тотъ, который предполагаетъ концентрировать эту энергію въ одномъ вмѣстилищѣ. Безобразіе раздѣленія властей нынѣ вполнѣ сознано, но, къ сожалѣнію, не сознано, что въ этомъ раздѣленіи, все-таки, заключалось нѣчто похожее на гарантію. Я чувствую, что слова изумятъ читателя. Возможно ли, скажетъ онъ, утверждать, что безсмыслица можетъ представлять какое-то обезпеченіе? Да, милостивые государи, возможно. Бываютъ положенія, когда не только безсмыслица, но даже прямое злоупотребленіе, въ родѣ, напримѣръ, взяточничества, представляетъ обезпеченіе. Дѣло въ томъ, что человѣческія общества такъ устроены, что для процвѣтанія ихъ необходимо, чтобы единоличный произволъ имѣлъ противовѣсъ, и ежели сравнивать положеніе, въ которомъ есть хоть какой-нибудь шансъ спасти что-либо отъ поползновеній широковѣщательности, съ такимъ, въ которомъ совсѣмъ нѣтъ такихъ шансовъ, то едва-ли придется отдать предпочтеніе первому изъ нихъ, какъ бы ни велико было его внутреннее безобразіе.

Сжигая наши корабли окончательно и давая нашей дѣятельности направленіе исключительное (въ смыслѣ безповоротной строгости), мы, конечно, можемъ достигнуть результатовъ очень нешуточныхъ. Но, во-первыхъ, подобные результаты едва-ли будутъ въ нашихъ разсчетахъ, и, во-вторыхъ, они еще менѣе подойдутъ къ среднему уровню человѣческихъ желаній. Средній человѣкъ, съ которымъ преимущественно приходится имѣть дѣло, всего болѣе цѣнитъ возможность свободно устраиваться и распоряжаться въ той небольшой сферѣ, которую онъ привыкъ называть своею. Поэтому, если и можно убѣдить его, что образъ дѣйствій, наиболѣе враждебный этой возможности, есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и такой, который всего скорѣе сдѣлаетъ ее общимъ достояніемъ, то это убѣжденіе будетъ чисто теоретическое. На практикѣ онъ будетъ всегда искать и отдавать предпочтеніе такимъ комбинаціямъ, которыя дѣлаютъ жизнь болѣе легкою и удобо-

выносимою. Коли хотите, это ошибка очень капитальная, но что же дѣлать, если въ натурѣ человѣка не подставлять голову подъ удары, а защищать ее отъ нихъ?

Поэтому казалось бы болѣе раціональнымъ, покуда не отыщется дѣйствительно компетентная среда для противовѣса широковѣщательности, не уничтожать, по крайней мѣрѣ, тѣхъ противовѣсовъ, которые утвердились уже сами собою. Представьте себѣ балетъ, въ которомъ не было бы ни второстепенныхъ корифеевъ и корифеекъ, ни кордебалета, и въ которомъ на голомъ, обнаженномъ отъ декорацій полу плясали бы только первый танцовщикъ и первая танцовщица? Конечно, такой балетъ показался бы для зрителей утомительнымъ, даже въ томъ случаѣ, еслибъ танцующій сюжетъ показалъ искусство самое неслыханное. Голо, безсвязно, и главное не видно, для чего сюжетъ пляшетъ. Но этого мало: плясаніе столь неистовое утомительно и для самого пляшущаго. Нѣкоторое время онъ пляшетъ съ увлеченіемъ, но подъ конецъ силы его истощаются, онъ начинаетъ утрачивать смыслъ своей пляски, начинаетъ тяжело дышать и видимо тяготится тѣмъ, что онъ одинъ занимаетъ всю ширину сцены. „Эй! кордебалетъ!“ восклицаетъ онъ въ отчаяньи, но, увы! — кордебалетъ ужъ распущенъ, и на мѣсто его выступаютъ плотники, машинисты, устраиватели проваловъ, адовъ и т. п. Положимъ, что это сказаніе о балетѣ—не болѣе, какъ притча, но примѣните ее къ настоящему случаю, т.-е. къ вопросу о концентрированіи широковѣщанія, и вы увидите, что притча эта имѣетъ свой смыслъ.

Но такъ какъ чувство дѣйствительности, повидимому, утрачено, то очень понятно, почему на мѣсто его такъ рѣшительно выступаетъ сознаніе строгости, и почему оно съ каждымъ днемъ пріобрѣтаетъ все бо́льшую и бо́льшую силу. Отсутствіе дѣйствительной силы образуетъ пустоту, которую предполагается наполнить силою мнимою. Появляются люди безсильные, но озлобленные, которые ни о чемъ не хотятъ слышать, ничего не желаютъ знать, кромѣ одного: строгости. Нѣтъ ни прошедшаго, ни будущаго; есть лишь настоящее, которое имѣетъ въ виду послѣднюю курицу, которое разсчитываетъ на чувствительность человѣческаго организма.

Предположимъ однакожъ, что идеалы, къ которымъ мы стремимся, осуществились. Предположимъ, что широковѣщаніе утвердилось безраздѣльно и на прочномъ основаніи, что положеніе „шаромъ

покати“ достигнуто, что смолкли даже и тѣ слабые писки, которые доселѣ нарушали общее безмолвіе. Что жъ дѣлать?—вотъ вопросъ; который изъ нѣдръ самого безмолвія возникаетъ совершенно естественно и неудержимо.

Какъ бы ни восхваляли строгость, все-таки это не больше, какъ форма, которую слѣдуетъ наполнить какимъ-нибудь содержаніемъ, если мы желаемъ, чтобы она имѣла значеніе. Нѣкоторые даже думаютъ, что это совсѣмъ и не форма, а просто уклоненіе человѣческаго разума, до котораго здоровой жизни нѣтъ никакого дѣла. Но допустимъ, что говорящіе такимъ образомъ суть утописты; съузимъ нашу задачу до безконечности и спросимъ себя: давала ли, можетъ ли дать строгость какіе-либо иные результаты, кромѣ безмолвія? и, въ свою очередь, давало ли безмолвіе иные результаты, кромѣ общаго нравственнаго и матеріальнаго оскудѣнія?

Исторія отвѣчаетъ на эти вопросы отрицательно. Когда Чингисъ-Ханъ, Батый, Аттила и проч. проходили черезъ страну, съ огнемъ и мечомъ, она не просіявала свѣтомъ наукъ и рѣки ея не закипали ни млекомъ, ни медомъ — это фактъ неопровержимый. Напротивъ того, тамъ, гдѣ до ихъ прихода были города и селенія, гдѣ копошился человѣкъ и существовали полныя житницы, тамъ очутилось голое, безмолвное мѣсто. Причина такого явленія весьма понятна. Всѣ названные нами люди ничего не приносили съ собой, кромѣ строгости; а такъ какъ строгость есть понятіе отвлеченное, которое никого не питаетъ, то и вышло, что они исполнили только ту половину своей предполагаемой задачи, которую они дѣйствительно способны исполнить, то-есть сожгли, разрушили, разорили, и затѣмъ пошли дальше и дальше, покуда имъ не сказали: довольно! Это „довольно!“ имѣетъ свое значеніе, надъ которымъ не лишне размыслить. Если люди кричатъ извѣстному явленію „довольно!“ то это значитъ, что оно имъ не надобно, что они могутъ гораздо лучше устроить свою жизнь, если его не будетъ. Пренебрегать подобными заявленіями нельзя уже потому, что мѣропріятіе самое строгое все же обрушивается не на комъ другомъ, а на людяхъ, и слѣдовательно ихъ мнѣніе въ этомъ дѣлѣ должно имѣть вѣсъ. Основываясь на этомъ, многіе полагаютъ даже, что выраженія въ родѣ: „строгость спасительна“ или „строгость своевременна“ суть выраженія, внесенныя въ лексиконъ самовольно, безъ согласія тѣхъ, до которыхъ они относятся.

Ибо если бы Чингисъ-Ханъ истреблялъ людей даже съ полезною цѣлью истребленія въ пихъ невѣжества, то и тогда онъ былъ бы неправъ, такъ какъ, съ истребленіемъ людей, какимъ же образомъ онъ могъ бы приступить къ насажденію просвѣщенія?

Представьте себѣ группу людей, изнемогающихъ подъ игомъ предразсудковъ и невѣжества. Эти люди довольствуются указаніями самаго грубаго эмпиризма, и потому ничего не могутъ ни предвидѣть, ни предотвратить; они ребяческимъ образомъ пользуются находящимися въ ихъ распоряженіи богатствами природы и, слѣдовательно, извлекаютъ изъ нихъ такъ мало, что понятіе о дѣйствительныхъ удобствахъ жизни не можетъ даже существовать для нихъ. Такое положеніе очень печально; но оно не безвыходно, потому что для него есть поправка въ распространеніи знанія. И вотъ къ этимъ несчастнымъ людямъ приходитъ человѣкъ просвѣщенный, обладающій массой полезныхъ знаній, и предлагаетъ подѣлиться съ ними имѣющимся у него запасомъ. Первое, что поразитъ его въ этомъ случаѣ, будетъ, конечно, то, что эти люди, несчастнѣе которыхъ, кажется, нѣтъ на свѣтѣ, еще не настолько, однакожъ, несчастны, чтобы стремглавъ броситься въ его объятія и сказать: „благодѣтельствуй! мы все потерпѣть согласны!“ Но какъ ни огорчителенъ можетъ показаться подобный фактъ, все-таки благо будетъ просвѣтителю, если онъ въ этомъ колебаніи увидитъ только признакъ общаго всѣмъ людямъ желанія сначала понять то, что предлагается, а потомъ уже, по мѣрѣ уразумѣнія, и принять предлагаемое. Но ежели онъ человѣкъ строгій, то колебаніе приметъ въ его глазахъ всѣ размѣры преднамѣреннаго противодѣйствія, и въ этомъ качествѣ, навѣрное, возбудитъ негодованіе. Послушный этому чувству, что онъ предпримете? Ежели онъ начнетъ стрѣлять, то, очевидно, что достигнетъ истребленія—и ничего больше. Ежели онъ воздержится отъ стрѣльбы, а только будетъ бить палкою, то и тогда его просвѣтительная миссія значительно задержится. Это до такой степени вѣрно, что нѣтъ въ мірѣ страны, въ которой разоренная мѣстность не называлась бы разоренною, а забитые люди—забитыми, и въ которой смыслъ этихъ названій означалъ бы что-нибудь лестное. Какъ хотите, а номенклатура эта имѣетъ свой смыслъ. Она означаетъ, что съ какою бы цѣлью ни было предпринято разореніе, изъ него ничего не можетъ выйти, кромѣ разоренія же, и что глубоко ошибаются тѣ, которые,

устраняя у обывателя послѣднюю курицу, думаютъ, что вслѣдствіе этого у него явятся двѣ.

Несмотря на столь жалкій результатъ, приведенный выше примѣръ, однакожъ, еще слишкомъ благопріятенъ для строгости, чтобъ можно было остановиться на немъ. Роль просвѣтителя предполагается въ немъ принадлежащею человѣку, дѣйствительно обладающему знаніями. Но гораздо чаще бываетъ, что человѣкъ считаетъ себя имѣющимъ право на широковѣщаніе совсѣмъ не вслѣдствіе высшаго нравственнаго и умственнаго уровня, а только потому, что носитъ на плечахъ другого покроя одежду, нежели та, которую носятъ люди, подлежащіе напору просвѣтительной дѣятельности. Кто можетъ поручиться, что этотъ человѣкъ, изъ всѣхъ ходячихъ понятій о томъ, что̀ для людей полезно и что̀ неполезно, принимаетъ именно то, которое наиболѣе соотвѣтствуетъ настоящимъ потребностямъ минуты? Кто будетъ такъ смѣлъ, чтобъ утверждать, что этотъ человѣкъ не невѣжественъ, не одностороненъ... наконецъ, не глупъ? Развѣ право на широковѣщаніе не лотерея? развѣ всѣ эти Дарьи Петровны, Марьи Ивановны, Татьяны Ѳедоровны, ежеминутно рождающія людей широковѣщательныхъ, обязывались клятвенно, что чада ихъ непремѣнно будутъ сердцевѣдцами? Преставьте же себѣ, что чадо это родилось со всѣми качествами человѣка непроницательнаго, и затѣмъ сообразите, что̀ можетъ надѣлать этотъ непроницательный человѣкъ, какъ только почувствуетъ, что широковѣщанію его никакихъ граней не полагается!

Картина просвѣтительно-опустошительныхъ подвиговъ, которымъ предаются люди, считающіе себя просвѣтителями потому только, что ходятъ въ пиджакахъ, а не въ зипунахъ, и пьютъ шампанское, а не сивуху, извѣстна каждому, кто хоть малое время жилъ въ провинціи. Это своего рода „Послѣдній день Помпеи“. Но каждый разъ, какъ приходится описывать эти подвиги, рука дрожитъ и самая мысль нѣмѣетъ. Поэтому мы и не пытаемся описывать ихъ, а только спрашиваемъ: ужели мало того, что̀ есть и чѣмъ мы и безъ того безспорно пользуемся? ужели есть еще надобность прибавлять, усиливать, концентрировать?

Если отъ кого-нибудь требуютъ, чтобъ онъ исправно обработалъ, напримѣръ, десятину земли, то всякій сколько-нибудь разумный человѣкъ согласится, что для этого надобно, во-первыхъ, чтобъ инди-

видуумъ, къ которому обращается требованіе, былъ знакомъ съ пріемами обработки; во-вторыхъ, чтобъ у него былъ исправный инструментъ; въ-третьихъ, чтобъ онъ былъ до извѣстной степени заинтересованъ въ этомъ дѣлѣ. Представьте же себѣ, что вмѣсто этихъ условій человѣку предлагается только строгость, что ему не даютъ ни свѣдѣній, ни инструментовъ, ни вознагражденія, а только отъ времени до времени сѣкутъ. Насколько подвинется отъ этого обработка показанной десятины?

Конечно, мнѣ могутъ возразить, что примѣръ этотъ слишкомъ фантастиченъ, что дѣйствовать подобнымъ образомъ, то-есть въ сѣченіи видѣть замѣну матеріальныхъ и нравственныхъ посредничествъ, можетъ только человѣкъ совершенно безумный. Нѣтъ, милостивые государи, этого человѣка нельзя назвать вполнѣ безумнымъ; онъ тотъ же неразвитой, выросшій въ извѣстныхъ привычкахъ, какъ и множество другихъ, которыхъ мы вовсе не разумѣемъ безумными. Сказать ли болѣе? едва-ли это не тотъ самый индивидуумъ, о которомъ вы сами, милостивые государи, мечтаете и котораго имѣете въ виду въ тѣ сладкія минуты, когда васъ осѣняетъ мысль объ усиленіи и концентрированіи власти.

Да, это онъ. Вообразите себѣ, что власть концентрирована достаточно; что она простирается на всѣ дѣла рукъ человѣческихъ, что она опутала весь видимый и невидимый міръ,—что̀ можетъ изъ этого выйти? Изъ этого выйдетъ то непремѣнное послѣдствіе, что она всюду будетъ совать свой носъ и всюду предъявлять требованія. Но міръ разнообразенъ, и столь же разнообразенъ характеръ человѣческой дѣятельности. Каждая отрасль этой дѣятельности представляетъ собою спеціальность, и для того, чтобы достигнуть правильнаго отношенія къ какой-нибудь изъ нихъ и быть судьею или наставникомъ, необходимо самому быть спеціалистомъ въ ней. Если этого нѣтъ, если во главѣ дѣла является человѣкъ, у котораго нѣтъ ничего, кромѣ энергіи, то ему остается только говорить: „поди туда, невѣдомо куда, подай то, невѣдомо что̀“. И чѣмъ сильнѣе будетъ энергія, съ которою будутъ исходить подобныя распоряженія, тѣмъ сильнѣе будетъ путаница, потому что ничто такъ не запугиваетъ исполнителей, какъ зрѣлище человѣка, мечущагося во всѣ стороны и говорящаго невнятныя слова. А такъ какъ путаница не успокоиваетъ, а, напротивъ, еще болѣе возбуждаетъ энергію, то въ результатѣ непремѣнно ока-

жется порочный кругъ, изъ котораго нѣтъ никакой возможности выбраться иначе, какъ посредствомъ генеральнаго обращенія людей въ стадо безсловесныхъ.

Этого-то, повидимому, и добиваются наши провинціальные поборники единоначалій, концентрированій, усиленій и т. п. Достать такого спеціалиста, передъ строгостью котораго смолкали бы всѣ спеціалисты, добиться такого порядка вещей, который бы резюмировался въ одномъ словѣ: „молчать!“ —вотъ завѣтная мечта, надъ которою ломаютъ головы представители провинціальной интеллигенціи. Одни хлопочутъ тутъ по невѣдѣнію, потому что такъ издавна заведено, что строгость считается творческимъ началомъ всевозможныхъ благополучій; другіе хлопочутъ, мотая себѣ на усъ и не безъ нѣкоторыхъ дальновидныхъ разсчетовъ на будущія блага, оттого произойти могущія. Но какъ тѣ, такъ и другіе равно упускаютъ изъ вида, что всякая спина принадлежитъ тому, кто ею обладаетъ, и что, слѣдовательно, только обладатель спины можетъ быть дѣйствительно компетентнымъ судьею относительно того, что она выноситъ.

Письмо одиннадцатое.

Еще одно отступленіе.

Въ послѣднее время большою благосклонностью со стороны провинціаловъ пользуется то мнѣніе, что наши административныя и экономическія неудачи оттого происходятъ, что въ дѣлахъ большое участіе принимаютъ спеціалисты. Не думайте, впрочемъ, что бѣда усматривается тутъ въ томъ, что исключительное увлеченіе какою-нибудь спеціальною отраслью знанія или дѣятельности въ значительной степени ослабляетъ въ человѣкѣ способность къ обобщеніямъ, и, слѣдовательно, дѣлаетъ его какъ бы чуждымъ всѣмъ явленіямъ жизни, кромѣ тѣхъ, которыя прямо входятъ въ сферу его спеціальности. Нѣтъ, мы, провинціалы, такъ далеко не ходимъ, и у насъ спеціалистомъ называется вообще всякій человѣкъ, обладающій какимъ бы то ни было знаніемъ, или, лучше сказать, всякій человѣкъ, умѣющій сдѣлать то дѣло, за которое онъ взялся.

По мнѣнію нашему, спеціалисты слишкомъ ужъ тонки: сразу и не поймешь, дѣло ли они дѣлаютъ, или надуваютъ. При этомъ, когда спеціалистъ совершаетъ какія-либо дѣйствія, то думается, что онъ словно колдунъ. Станешь наблюдать за нимъ—ровно ничего не понимаешь; бросишь наблюдать—сдѣлается совѣстно: что же я-то, въ самомъ дѣлѣ, такое? ужели я и впрямь лишній человѣкъ? Все равно, какъ съ математикомъ: задашь ему задачу—и уходи. Начнетъ онъ дѣлать свои выкладки, сидитъ, думаетъ, пишетъ, чертитъ—готово! Молодецъ математикъ! рѣшилъ. Однакожъ, кто его знаетъ, точно ли онъ рѣшилъ? А что ежели онъ даже не математикъ, а просто прохвостъ, притворившійся математикомъ? Развѣ такихъ примѣровъ не бывало? Всѣ эти сомнѣнія возникаютъ вдругъ, помимо нашей воли, и такъ они для насъ обидны, такъ обидны, что даже сказать нельзя...

Разумѣется, эта обида сейчасъ же облекается въ соотвѣтствующія жалобы.

— Представьте себѣ, онъ тамъ какую-то чертовщину плететъ, а я, какъ дуракъ, долженъ смотрѣть на него!—негодуетъ одинъ.

— Да это еще что-съ!—разжигаетъ другой:—намедни, сидѣлъ я это, сидѣлъ — ну, одурь взяла! Подхожу, знаете, къ нему: покажите, ради Христа, говорю, что вы тутъ такое кудесничаете? Что-же-съ! всталъ-это, бестія, улыбается, подаетъ... Ну, посмотрѣлъ, плюнулъ и отошелъ.

Нѣтъ, рѣшаемъ мы, ну ихъ къ Богу, этихъ спеціалистовъ! лучше хлѣбъ съ водой ѣсть, да знать, что это дѣйствительно хлѣбъ и вода, нежели смаковать какія-то хитро приготовленныя яства, которыя, ежели хорошенько ихъ разобрать, окажутся, пожалуй, такою мерзостью, что потомъ всю жизнь тошнить будетъ!

Сверхъ того, намъ кажется нѣсколько подозрительнымъ и то обстоятельство, что съ тѣхъ поръ, какъ завелись на Руси спеціалисты, какіе-то такіе длинные счеты появляться стали, что невольно останавливаешься передъ ними въ священномъ ужасѣ. Такъ, напримѣръ, благодаря спеціалистамъ, скоро на Руси совсѣмъ жилищъ не будетъ. Старыя жилища постепенно придутъ въ ветхость, а новыхъ никто строить не рѣшится. Причина очень простая: сами мы ничего, кромѣ карточныхъ домиковъ, строить не умѣемъ, а ежели вздумаемъ обратиться къ спеціалисту, то гибель наша неизбѣжна. Спеціалистъ докажетъ, что желѣзная крыша не въ примѣръ прочнѣе деревянной,

что паркетные полы красивѣе простыхъ крашеныхъ, что дубовыя рамы благонадежнѣе еловыхъ или сосновыхъ и т. д. Одно только упуститъ онъ изъ вида: что у васъ въ карманѣ всего одинъ грошъ, да и то ломаный, и упуститъ это совершенно основательно, потому что, въ сущности, слѣдить за положеніемъ вашего кармана совсѣмъ не его дѣло. Но и вы, заслушавшись его, тоже упустите это изъ вида, потому что очень ужъ онъ обстоятельно говоритъ.

— Помилуйте!—говоритъ онъ: — вѣдь дубъ — это что? вѣдь онъ противъ какой-нибудь ели впятеро да вшестеро выстоитъ! сосчитайте же теперь, сколько денегъ-то у насъ въ карманѣ останется.

И вотъ, въ этой крайности, вы непремѣнно скажете себѣ: что жъ, въ самомъ дѣлѣ! человѣкъ я не ученый, всю жизнь только водку пилъ да закусывалъ—куда мнѣ въ такія дѣла входить! Поручу-ка я мою постройку молодому человѣку, который сквозь огнь и мѣдныя трубы прошелъ (это-то и есть спеціалистъ); онъ мнѣ все это обдѣлаетъ, а я только буду жить да поживать! Но проходитъ мѣсяцъ, и вамъ подаютъ счетъ—эге! Проходитъ другой мѣсяцъ — еще счетъ! Самыя изысканныя потребности ваши предусмотрѣны; счастливое сочетаніе фестончиковъ съ амурчиками и вырѣзочками изумительно; вездѣ водопроводы, ватерклозеты... четыре ватерклозета для васъ, когда вы даже въ одномъ никогда не ощущали потребности! Вы ничего ужъ не помните; вы позабыли, что на всѣ эти изысканности вами дано заранѣе безусловное согласіе; вы сознаете только, что вы нищій, котораго насильственно ведутъ въ замасленномъ халатѣ, немытаго, нечесанаго, въ какой-то палаццо; вы чувствуете, что съ вами ознобъ... И вотъ, вы рѣшаетесь на геройскій поступокъ: на половинѣ вы бросаете начатое дѣло и кое-какъ вѣнчаете зданіе соломенною крышей; вы съ омерзѣніемъ смотрите на малахитовую колонну, которая какъ-то одиноко (предполагалось прикупить и другую, да денегъ недостало) пріютилась у входа въ ватерклозетъ, и отправляетесь въ клубъ, чтобъ на досугѣ предать проклятію ученыхъ и спеціалистовъ, которые не умѣютъ угадать, что вамъ надобенъ хлѣвъ, а не палаццо.

Но этого еще недостачно. Въ послѣднее время мы изъ достовѣрныхъ источниковъ узнали, что спеціалисты просто-на-просто исподволь революцію производятъ. Всякій изъ нихъ на что-нибудь да посягаетъ. Физіологи посягаютъ на безсмертіе души; химики посягаютъ

на цѣльность матеріи, физики—на молнію и громъ и т. д. До сихъ поръ мы говорили: вотъ человѣкъ, вотъ заяцъ, вотъ ворона, вотъ палимъ—и были вполнѣ убѣждены, что этимъ сказано все, что о семъ предметѣ сказать надлежитъ. Теперь насъ въ глаза увѣряютъ, что, говоря такимъ образомъ, мы ничего не высказываемъ, кромѣ названій, и что жить съ одними названіями ни подъ какимъ видомъ нельзя. Но ежели эти люди уже начали разлагать громъ небесный, то можно себѣ представить, какъ они поступятъ относительно прочаго!

Самый лучшій способъ избавиться отъ спеціалистовъ—это замѣнить ихъ кантонистами. Хотя и это то же своего рода спеціальность. но она тѣмъ хороша, что ее можно во всякое время и во всѣ стороны распространить. Появись въ настоящую минуту проектъ о замѣнѣ спеціалистовъ кантонистами—не подлежитъ никакому сомнѣнію, что онъ имѣлъ бы въ провинціяхъ успѣхъ громадный, именно потому, что онъ доступенъ всякому пониманію. Всякій знаетъ навѣрное, что любого кантониста можно призвать, сказать ему: изслѣдуй природу и человѣка!—и онъ изслѣдуетъ. Мало того, что изслѣдуетъ, но въ то же время ни до какихъ подозрительныхъ результатовъ не дойдетъ. Химикъ-спеціалистъ никогда не остановится во-время, а все хочетъ что-то исчерпать, до чего-то дойти; химикъ-кантонистъ, дойдя до извѣстной границы, не только самъ благоразумно отретируется, но и другимъ скажетъ: „цыцъ“! Зачѣмъ въ академіяхъ сидятъ Беры да Зинины? гораздо лучше на ихъ мѣста посадить кантониста Чимпандзе! Онъ всѣ науки съ быстротою молніи приведетъ къ одному знаменателю, и тѣмъ удовлетворительно докажетъ, что ничто человѣческое ему не чуждо!

Однимъ словомъ, начало всѣхъ нашихъ золъ приписывается не кому другому, а именно спеціалистамъ, то-есть людямъ знающимъ и умѣющимъ что-нибудь дѣлать. Съ экономической точки зрѣнія, всякій спеціалистъ — непремѣнно воръ; съ точки зрѣнія нравственно-политической — непремѣнно революціонеръ. И что всего опаснѣе: ни подъ какимъ видомъ нельзя его уличить.

— Ужъ кружилъ онъ меня, кружилъ—до сихъ поръ опомниться не могу!

Вотъ единственный критеріумъ, съ которымъ провинціалъ относится ко всякому знанію. Онъ чувствуетъ, что жизнь его расклеивается, и относитъ это не къ тому, что онъ ни къ чему приступиться

не можетъ, ничѣмъ самъ себѣ помочь не въ силахъ, а къ тому, что явились люди, которые какъ-то такъ таинственно орудуютъ, что онъ вынужденъ только хлопать глазами да вынимать изъ кармана деньги. Положеніе дѣйствительно унизительное, но какое же имѣется основаніе ставить его на счетъ знанію, а не невѣжеству?

Мы, провинціалы, живо помнимъ то время, когда въ средѣ нашей сложилась знаменитая пословица: „тянъ да лянъ—и корабль". Всякій тогда приходилъ и объявлялъ себя способнымъ повелѣвать стихіями. Пѣхотинцы ходили по̀ морю, яко по̀ суху; кавалеристы строили фортеціи и ретраншементы, а гарнизонные офицеры, въ свободное отъ постройки рекрутскихъ полушубковъ время, выдумывали порохъ. И казалось тогда, что все кипѣло. Курьеры скакали, нарочные летали, предписанія опережали вѣтеръ. По истинѣ, это была какая-то фантасмагорія исполнительности, о которой безъ слезъ вспомнить нельзя. Человѣкъ неученый, рыбакъ, пастухъ — все это принимало на себя обязательство уловлять людей, и уловляло. Это были какія-то апостольскія времена, когда казалось, что изъ всѣхъ существующихъ спеціальностей спеціальность уловленія людей есть самая легчайшая. Но гораздо труднѣе оказывалось уловлять вещи, какъ, напримѣръ, достигнуть того, чтобы флоты не гнили, когда они ремонтируются одною исполнительностью, чтобы ружья стрѣляли, когда у нихъ должность курка исполняетъ исполнительность, чтобы фортеціи не обрушивались, когда въ основаніе ихъ положена только исполнительность.

Но намъ, провинціаламъ, ничего объ этомъ извѣстно не было, ибо мы и въ этомъ случаѣ, какъ и всегда, исправляли должность пятаго колеса въ колесницѣ. Наше самолюбіе было польщено тѣмъ, что мимо насъ мчатся курьеры, скачутъ верховые и все что-то везутъ, что-то экстренное, не терпящее ни разсужденій, ни отлагательства.

— Что̀, любезный, флоты сооружать поспѣшаешь? — спрашивали мы курьера, на̀-скоро перехватывавшаго на станціи.

— Точно такъ, ваше благородіе!—отвѣчалъ курьеръ, проглатывая кусокъ съ такою поспѣшностью, какъ будто это былъ не кусокъ чего-то съѣдобнаго, а раскаленный уголь.

— Поспѣшай, мой другъ, поспѣшай!

И мы были довольны. Пускай нашъ порохъ оказывался такимъ,

что лучше было бы палить безъ пороху, все-таки мы видѣли, что люди не сидятъ праздно, не задумываются, а прямо берутъ что̀ попало подъ руку и складываютъ въ одну кучу.

Теперь эта судорожная дѣятельность уже достаточно выяснилась и зарекомендовала себя; тѣмъ не менѣе, воззрѣнія, которымъ она дала начало, слишкомъ живучи, чтобы скоро уступить не только вліянію времени, но даже подтвержденіямъ опыта. Во-первыхъ, для толпы всегда очень выгодно признавать себя во всѣхъ отношеніяхъ компетентною; во-вторыхъ, она видитъ, что въ глазахъ ея во множествѣ совершаются глупыя дѣла, и мало-по-малу убѣждается, что глупость есть нормальный уровень всѣхъ вообще дѣлъ. Какая надобность привлекать къ ихъ совершенію какихъ-то избранныхъ людей? Ибо что̀ такое, въ самомъ дѣлѣ, эти такъ-называемые избранные люди? — это тѣ самые, которые способны только усложнить и затруднить дѣло, а не разрѣшить его. Разрѣшить дѣло, то-есть устроить натискъ и генеральную пальбу, можетъ въ надлежащемъ видѣ только вотъ этотъ молодецъ, который въ сію минуту идетъ по улицѣ и ковыряетъ въ носу. Позовите его, и вы не успѣете оглянуться, какъ онъ — трахъ! — и повернулъ, и вывернулъ, и перевернулъ!

— И совѣтовъ, батюшка, ни у кого не спроситъ, а просто придетъ, взглядомъ окинетъ—и разрѣшитъ.

Съ точки зрѣнія воспоминаній прошлаго, эти рѣчи не лишены извѣстной доли основательности. Мы еще такъ недавно выдержали крѣпостное право, а сущность его, конечно, въ томъ и состояла, чтобъ упростить формы и отношенія до самыхъ крайнихъ предѣловъ. Когда въ человѣкѣ усматривается лишь матеріалъ, который можно, по усмотрѣнію, и скорчить, и вытянуть, тогда, разумѣется, не можетъ быть повода задумываться надъ тѣмъ, что̀ слѣдуетъ предпринять, дабы успѣшнѣе уловлять людей. Всѣ люди отъ рожденія уже находятся въ западнѣ, и даже не бьются въ ней, а только стараются какъ-нибудь половчѣе примоститься, чтобъ не очень сильно чувствовались вывихи, переломы и оглушенія. Арена дѣйствія настолько съужи-вается, что сѣченіе представляется совершенно достаточнымъ средствомъ для урегулированія общественныхъ потребностей и стремленій. Хочу, чтобъ на этомъ мѣстѣ былъ городъ — и бысть; хочу, чтобъ была вавилонская башня — и будетъ.

Вопросъ въ томъ: возможно ли продолженіе подобныхъ воззрѣній

съ упраздненіемъ крѣпостного права, то-есть съ наступленіемъ такого порядка вещей, при которомъ самый взглядъ на человѣка радикально измѣняется?

Что это дѣло возможное—насъ убѣждаетъ въ томъ дѣйствительность. Мнѣ скажутъ, можетъ быть, что всякія ссылки на крѣпостное право въ настоящую минуту совершенно запоздали, ибо даже самый заскорузлый провинціалъ—и тотъ махнулъ на него рукой; но возраженіе это можетъ быть принято только съ оговоркою. Мы дѣйствительно примирились съ идеей, что крѣпостное право не существуетъ; но спросите любого, въ чемъ заключается это примиреніе, и вы, навѣрное, не добьетесь отвѣта сколько-нибудь яснаго. Что внѣшняя сторона совершившагося акта вполнѣ нами признана—это несомнѣнно; что мы до извѣстной степени сознали, что руки у насъ противъ прежняго стали гораздо короче—этого тоже отрицать нельзя. Но что жъ изъ того, если мы нашими укороченными руками желаемъ махать точно такъ же, какъ бы онѣ были неукорочены?

Въ томъ-то и дѣло, что, кажется, только на внѣшности и прервались наши сознательныя отношенія къ этому дѣлу, и что ни одного изъ послѣдствій, которыми оно такъ богато, мы не провидѣли, а потому и признать добровольно не можемъ. Наши отношенія къ жизни остаются столь же запутанными, какъ и прежде; если одна часть ихъ и похерена (едва ли, впрочемъ, не механически только), то все остальное продолжаетъ держаться и воспитывать представленія самыя противорѣчивыя и другъ друга побивающія. И когда жизнь цѣлою цѣпью неудачъ протестуетъ противъ невѣжества, какъ творческой силы, мы нисколько не затрудняемся этимъ, но думаемъ, что это не больше, какъ начальственное послабленіе, которому очень легко пособить. Стоитъ только припугнуть хорошенько знаніе и обратиться съ усиленной просьбой ко всѣмъ невѣждамъ праздношатающимся — и всѣ нужныя распоряженія по части уловленія вселенной будутъ неупустительно приведены въ исполненіе!

Вотъ почему между нами и по сіе время въ такомъ ходу разсказы о дѣятеляхъ-кантонистахъ, которые въ былое время оказывались и исправными статистиками, и исполнительными экономистами, и даже являлись небезъискусными по части философіи и астрономіи. Если исправники до сихъ поръ были созидателями и руководителями нашей жизни, то почему же и впредь имъ въ сихъ должностяхъ не

состоять? Какія такія новыя прихоти появились, чтобъ измѣнять этотъ порядокъ? Мужики, что-ли, посъ начали задирать? Такъ на этотъ предметъ имѣются у исправниковъ такія полномочія, при посредствѣ которыхъ всякій задирайка очень скоро поймет, что уши выше лба, и по упраздненіи крѣпостного права, рости не могутъ!

Со всѣмъ этимъ не согласиться нельзя, ибо у исправниковъ имѣется уполномочій очень достаточно. Но есть ли надобность въ этихъ полномочіяхъ? Но приводятъ ли они къ какимъ-нибудь существеннымъ результатамъ?—вотъ въ чемъ вопросъ, вотъ что слѣдуетъ разрѣшить прежде, чѣмъ принимать угрожающіе тоны и зря кидаться впередъ съ кулаками, полными полномочій.

Никто не споритъ, что не только въ прошломъ, болѣе или менѣе отдаленномъ, но даже и въ сію минуту міръ полонъ кантонистами-статистиками и кантонистами-астрономами. Споръ идетъ лишь о томъ, въ какой мѣрѣ они полезны, и, кажется, что онъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ кончиться въ пользу кантонистовъ. Даже приподнявши завѣсу давно минувшаго, мы, все-таки, убѣдимся, во-первыхъ, что ни одна составленная кантонистомъ статистика ни въ одномъ военно-учебномъ заведеніи никогда въ руководство принята не была, и, во-вторыхъ, что всѣ академіи, какія когда-либо существовали, всегда отзывались о дѣятельности кантонистовъ на поприщѣ наукъ съ чрезвычайною сдержанностью, почти-что съ холодностью. Каждый гимназистъ можетъ доказать кантонисту, что онъ или совралъ, или не понялъ, и что, по настоящему, ему слѣдовало бы надѣть на голову колпакъ съ длинными ушами. Что возразитъ кантонистъ противъ такой аргументаціи? Смолчитъ ли?—но тогда какой же онъ будетъ патентованный статистикъ и астрономъ? Бросится ли на своего обличителя и начнетъ его истязать?—но тогда какая получится въ результатѣ статистика?

Изъ этой дилеммы выйти невозможно, какъ скоро однажды признано, что статистика есть фактъ, что наука о производствѣ цѣнностей и распредѣленіи ихъ—тоже фактъ, и что астрономы не совсѣмъ напрасно доказываютъ, что земля обращается вокругъ солнца. Не признать же всего этого нельзя, во-первыхъ, потому, что есть очень много людей, для которыхъ это признаніе выгодно, а во-вторыхъ, потому, что если, напримѣръ, этого не признаетъ Иванъ, то признаютъ его сосѣди, а дѣло Ивана, все-таки, не выгоритъ. Ни знаніе, ни право,

ни тѣ отношенія, которыя изъ нихъ вытекаютъ, ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть спрятаны въ карманъ, подобно кукишу. Нѣтъ столь солиднаго кармана, который бы не порвался отъ тяжести подобной поклажи.

Раздѣлять одну и ту же задачу на двѣ половины, изъ которыхъ на одну соглашаться, а о другой игнорировать—значитъ добровольно обманывать самихъ себя. Задача, которая стоитъ передъ нами, до такой степени захватываетъ насъ всѣми своими подробностями, что непризнаніе одной изъ нихъ вредитъ не столько цѣльности самой задачи, сколько общему уровню нашего собственнаго существованія. Если жизнь наша расклеивается, если новое или совсѣмъ не созидается, или созидается туго, безъ всякаго соотвѣтствія даже съ самыми неприхотливыми потребностями, то вина этого заключается именно въ объясненной выше раздвоенности нашего взгляда. А мы, вмѣсто того, чтобъ обратить вниманіе на ту роль, которую играетъ въ этомъ дѣлѣ наша недальновидность, злорадно подмѣчаемъ каждую неудачу, которую испытываетъ новое дѣло въ своихъ усиліяхъ встать на ноги. Всякій фактъ насилія радуетъ насъ безпримѣрно; всякое извѣстіе о потоптаніи, посрамленіи и проч. производитъ восторгъ. Вотъ, напримѣръ, крѣпостное право хоть и уничтожено, а тамъ-то и тамъ-то поступлено такъ, что хоть бы и при крѣпостномъ правѣ такъ въ пору. Или еще: новые суды хоть и введены, однако тамъ-то и тамъ-то, какъ захотѣли, такъ и безъ судовъ расправу нашли. Разсказы такого рода приводятъ насъ въ восхищеніе. И такіе тутъ начинаются у насъ смѣхи и утѣхи, что у чувствительнаго человѣка волосы дыбомъ становятся, а человѣкъ нечувствительный въ изумленіи спрашиваетъ себя: надъ чѣмъ, однакожъ, они смѣются?

Если мы вдумаемся хорошенько въ этотъ вопросъ, то убѣдимся, что это смѣхъ ограниченнаго человѣка надъ собственною ограниченностью. Непривычка къ обобщеніямъ такъ велика въ насъ, что мы понимаемъ всякое нарушеніе правильнаго хода жизни только изолированно, и никакъ не хотимъ сознаться, что это лишь звено цѣлой цѣпи. Система нарушенія имѣетъ свою горькую послѣдовательность, которая захватываетъ не одни непріятные намъ элементы, но подчасъ и насъ самихъ, ибо тутъ общимъ принципомъ является нарушеніе, передъ которымъ всѣ элементы равны. Мы слишкомъ надѣемся на то, что, будто бы, наше званіе фофановъ можетъ, во всякомъ случаѣ, оградить

насъ отъ напастей. Нѣтъ, мы ограждены лишь настолько, насколько ограждено и все прочее, живущее съ нами рядомъ, или, лучше сказать, мѣра этого огражденія совершенно пропорціональна мѣрѣ пониженія общаго уровня системы нарушеній. Вѣдь было же время, когда если не всѣ поголовно были фофанами, то, по крайней мѣрѣ, признавались таковыми, но развѣ это кого-нибудь ограждало?

При извѣстной степени осложненія жизни вопросъ о кантонистахъ-статистикахъ и кантонистахъ-финансистахъ пріобрѣтаетъ значеніе очень существенное. До тѣхъ поръ, пока права и обязанности сохраняютъ свою первоначальную грубую форму, кантонисты имѣютъ хоть нѣкоторое основаніе признавать себя отвѣчающими потребностямъ минуты. Не то чтобы они были полезны дѣйствительно, но пятна, которыя они кладутъ на общій фонъ жизни, благодаря неясности послѣдняго, не настолько видны, чтобъ возбуждать серьезныя опасенія. Но съ той минуты, когда для каждаго человѣка обязательнымъ образомъ выступаетъ необходимость опознаваться въ великомъ разнообразіи жизненныхъ явленій и соразмѣрять съ ихъ сущностью каждое дѣйствіе, имѣющее къ нимъ какое-нибудь отношеніе — съ этой минуты никакое невѣжество, какъ бы оно ни было самолюбиво и предпріимчиво, полезныхъ результатовъ достигнуть не можетъ. Чтобы извлечь, напримѣръ, доходъ изъ извѣстной статьи, надо прежде всего доискаться, что̀ это за статья, какъ велика степень ея производительности и при какихъ условіяхъ эта послѣдняя можетъ быть усилена. Очевидно, что вопросы эти можетъ разрѣшить человѣкъ только знающій и мыслящій и при томъ только тогда, когда онъ рѣшаетъ ихъ не впопыхахъ и не подъ давленіемъ страховъ, нагоняемыхъ слишкомъ рьяными кантонистами. Но ежели къ этой статьѣ же подойти съ крикомъ и гамомъ: подавай!—то она не только не дастъ больше того, что̀ даетъ и давала, но, напротивъ того, постепенно оскудѣетъ, потому что система оглушенія и тутъ, какъ и вездѣ, можетъ проявить только безразсудную жадность, уравновѣшиваемую лишь безсиліемъ.

Очень возможно, что примѣръ этотъ найденъ будетъ недоказательнымъ. Могутъ сказать, что и во времена крѣпостного права не считалось безполезнымъ разумное отношеніе къ источникамъ производительности, и что каждому индивидууму изъ легіона „способныхъ и достойныхъ“ непремѣнно и безусловно поставлялось на видъ, что „только благоразумная экономія и доброе смотрѣніе могутъ при-

вести къ полезнымъ для государства послѣдствіямъ, безъ отягощенія народнаго". Не ясно ли, стало быть, что благоразуміе и умѣлость и тогда уже предпочитались безумію и невѣжеству?

Да, это правда; здравый смыслъ заявляетъ свои требованія не со вчерашняго дня; онъ существовалъ во всѣ времена. Всегда призывалъ онъ къ благоразумію; всегда утверждалъ, что умѣлое обращеніе съ вещами полезнѣе, нежели обращеніе неумѣлое. Но какія были практическія послѣдствія этихъ призывовъ и утвержденій? — на этотъ вопросъ можно съ полною увѣренностью отвѣтить: послѣдствія эти были вполнѣ недостаточныя. Для того, чтобы умѣлое обращеніе съ вещами сдѣлалось явленіемъ не исключительнымъ, не диковиннымъ, какъ это всегда случалось въ оныя времена, надобно, чтобы оно представляло единственное средство, которое обезпечивало бы спокойное существованіе общества, и чтобы средство это не могло быть замѣнено никакимъ другимъ. Сказать, что умѣлость и благоразуміе не безполезны—значитъ сказать одну изъ тѣхъ pia desideria, которыя во множествѣ выпускаются въ обращеніе именно потому, что дѣйствительная ихъ стоимость весьма невелика. Такъ что если при этомъ не полагается ясныхъ и твердыхъ преградъ для безумія, то выигрышъ отъ похвалъ, произносимыхъ благоразумію, будетъ самый пустой. Первая неудача, недостатокъ терпѣнія, отсутствіе средствъ —все это представляетъ такую совокупность условій, которая дѣлаетъ переходъ отъ благоразумія къ безумію до крайности легкимъ. И переходъ этотъ сдѣлается невозможнымъ лишь тогда, когда самая жизнь отвѣтитъ отказомъ на притязанія самолюбиваго невѣжества, когда она наградитъ сторицею не того, кто ничего не имѣетъ ни за собой, ни передъ собой, кромѣ угрозъ, а того, кто дѣйствительно нѣчто умѣетъ и можетъ.

Если подобное положеніе вещей еще не вполнѣ наступило для нашихъ провинцій, то, во всякомъ случаѣ, есть признаки, дозволяющіе угадывать его приближеніе. Признаки эти, къ сожалѣнію, выражаются только въ неудачахъ, которыми такъ обильна современная жизнь, и въ той ея неклейности, которая дѣлаетъ тщетными всякіе разсчеты и сообщаетъ прискорбный характеръ колебанія всѣмъ дѣйствіямъ современнаго человѣка. Что обнаруживаютъ эти колебанія? ужели они свалились къ намъ съ неба, безъ всякой связи съ жизнью? или они и впрямь выражаютъ только начальственное послабленіе?

Нѣтъ, они доказываютъ, что первоначальные источники, которые питаютъ жизнь общества, до такой степени измѣнились въ своей сущности, что требуютъ совершенно иныхъ пріемовъ противъ тѣхъ, которые прежде казались удовлетворительными. Еслибы прежніе пріемы были достаточны для урегулированія новаго положенія вещей, то вѣдь арсеналъ таковыхъ еще не уничтоженъ; однакожъ, несмотря на это, колебанія не кончаются, и жалобы на неудачи и затрудненія всякаго рода идутъ, все болѣе и болѣе возрастая. Отчего жъ это? А оттого, милостивые государи, что въ насъ нѣтъ достаточной рѣшимости, чтобъ послѣдовательно вступить на новый путь, что насъ все еще соблазняетъ арсеналъ „прежнихъ пріемовъ“, который и будетъ продолжать запутывать соображенія наши до тѣхъ поръ, пока мы окончательно не рѣшимся отвернуться отъ него.

Какъ ни больно, но придется же когда-нибудь сознаться, что вопросы жизни рѣшаются не строгостью, а умѣньемъ и знаніемъ, не единоличною прихотью, а обсужденіемъ. Не то больно, что сознаніе такого рода неизбѣжно, а то, что мы до сихъ поръ не можемъ отнестись къ этой неизбѣжности безъ болѣзненнаго, почти враждебнаго чувства. Въ сущности, какія особенныя радости принесла намъ эта хваленая строгость, этотъ пресловутый кантонистскій энциклопедизмъ, не развязывавшій, но разсѣкавшій всевозможные узлы? Если мы вникнемъ въ этотъ вопросъ, то убѣдимся, что даже тѣ изъ насъ, которымъ дѣйствительно этотъ порядокъ вещей давалъ кое-какую поддержку, могли принимать ее съ спокойнымъ духомъ только до тѣхъ поръ, покуда они сами находились въ состояніи безсознательности...

Можно бы привести здѣсь множество примѣровъ безсилія этого прискорбнаго энциклопедизма, можно бы доказать фактически, что онъ до сихъ поръ только безплодно волновалъ общественное мнѣніе, а ни одного вопроса ни въ какую сторону никогда не разрѣшилъ. Но для того, чтобы убѣдиться въ этомъ, не требуется даже доказательствъ; достаточно дать волю самимъ поборникамъ энциклопедизма: каждый изъ нихъ, въ какіе-нибудь четверть часа времени, наскажетъ по этому предмету такую кучу самыхъ вопіющихъ невозможностей, что вамъ останется только на досугѣ разрѣшить вопросъ: какимъ же образомъ эти люди ухитряются жить?

Письмо двѣнадцатое.

Одна изъ самыхъ яркихъ особенностей нашихъ захолустныхъ городковъ заключается въ томъ, что тамъ почти совсѣмъ нельзя встрѣтить посторонняго, пріѣзжаго люда. Все, что ни видится на улицахъ, на площадяхъ, въ присутственныхъ мѣстахъ, въ лавкахъ — все это *тутошное*, живущее здѣсь только потому, что постепенно нагуляло себѣ какъ бы естественныя кандалы. Постороннему здѣсь нечего дѣлать, а потому незачѣмъ пріѣзжать. Это до такой степени вѣрно, что нѣтъ ни одного провинціала, который не созпавалъ бы этой истины и не взглянулъ бы удивленными глазами на пріѣзжаго, не спѣшащаго сломя голову вонъ. Провинціальный городъ никогда ни для кого не служилъ цѣлью, а только стоялъ на пути, на томъ безконечномъ, постыломъ пути, который такъ, кажется, и перелетѣлъ бы, еслибъ были крылья. Заспанный путешественникъ, зѣвая, вылѣзалъ изъ тарантаса, потягивался, напивался на станціи своего собственнаго чая, закусывалъ собственною провизіей, проглатывалъ рюмку собственной водки и мчался дальше куда-то *въ свое мѣсто*. Даже на соборъ не засматривался, потому что всякій соборъ, такъ сказать, отъ рожденія стереотипомъ напечатлѣнъ въ сердцѣ каждаго русскаго проѣзжаго человѣка. Впереди у него есть *свое мѣсто*, съ *своимъ* неудобнымъ для обитанія домомъ, съ *своею* несъѣдобною провизіей, со своими тараканами, клопами и прочею нечистью. Зачѣмъ же ему заглядываться на *чужую* нечисть?

Мѣстный обыватель понималъ эти соображенія и никогда не претендовалъ на проѣзжаго человѣка за то, что онъ ни о чемъ не разспрашиваетъ, ни на что ни глядитъ. Не о чемъ спрашивать, не на что глядѣть; все, что увидишь или узнаешь здѣсь — все это увидишь или узнаешь тамъ, *въ своемъ мѣстѣ*. Даже путешественникъ-спеціалистъ, командированный отъ какого-нибудь вѣдомства, а пожалуй и отъ двухъ (у насъ путешествіе безъ командировки немыслимо), и тотъ лишь для проформы останавливался на нѣсколько часовъ на почтовой станціи, и для проформы же записывалъ въ свой ученый дневникъ: „былъ въ городѣ Навозномъ и имѣлъ совѣщаніе съ хлѣбными торговцами, при чемъ оказалось, что хлѣба за границу и на внутреннія рынки отправляется множество (NB: *цифру проставить дома, по возвращеніи въ Петербургъ*); на станціи видѣлъ собственными гла-

зами, что ямщики ѣдятъ не только хлѣбъ безъ примѣси лебеды, но и ватрушки, имѣвшія очень вкусный видъ (NB: *по этому поводу пустить нѣчто пикантное противъ нашихъ охранителей и прогрессистовъ, утверждающихъ, что благосостояніе народа находится въ упадкѣ*); сверхъ того, видѣлъ (NB: *самъ не видѣлъ, но написать, что видѣлъ*)—въ соборѣ хранится пуговица отъ мундира великаго князя Святослава Игоревича, потерянная во время битвы съ Цимисхіемъ. Пуговица мѣдная, свѣтлая, какъ бы снятая съ новѣйшей ливреи", и т. д.

Записавши это, путешественникъ (съ ученою цѣлью) скакалъ дальше, въ городъ Ненасыть, за такою же надобностью, а по возвращеніи въ Петербургъ выпускалъ книжицу, съ громкимъ названіемъ: „Изслѣдованіе о хлѣбной торговлѣ въ Россіи", за которую получалъ премію или двѣ, смотря потому, отъ одного или двухъ вѣдомствъ былъ командированъ.

Таково было еще въ недавнее время положеніе нашихъ провинціальныхъ городковъ относительно привлеченія пришлаго населенія; въ будущемъ оно едва-ли обѣщаетъ сдѣлаться болѣе разнообразнымъ. Съ развитіемъ желѣзныхъ дорогъ всѣ заспанные люди, которые до настоящаго времени хоть лошадей перемѣняли на станціяхъ, конечно, устремятся въ *свое мѣсто* путемъ болѣе краткимъ и удобнымъ. И сдѣлаются эти городки еще болѣе пустынными, и побѣгутъ изъ нихъ *тутошные* люди, которые до сихъ поръ кое-какъ кормились около проѣзжаго человѣка, сбывая ему на двѣ копѣйки веревокъ да на копѣйку дегтя и по временамъ вытаскивая изъ невылазной пучины его загрязнувшій тарантасъ.

Что-то будетъ! какія-то измѣненія принесутъ за собою эти новые пути, новыя экономическія условія, свободный трудъ, попытки самоуправленія и проч. и проч.! Возьмется ли провинціалъ за живое дѣло, дойдетъ ли до сознанія своего положенія, или, по прежнимъ примѣрамъ, скреститъ руки и будетъ отводить душу въ изобрѣтеніи мѣткихъ, но совершенно праздныхъ эпитетовъ, которыми онъ креститъ собственную вялость и непригодность?

Но судьба не всегда бываетъ благосклонна къ людямъ и по временамъ предупредительно водворяетъ ихъ именно въ томъ мѣстѣ, куда незачѣмъ пріѣзжать. По большей части это случается какъ-то вдругъ. Человѣкъ наслаждается жизнью гдѣ-нибудь въ Разъѣзжей или Каби-

нетской улицѣ, строитъ планы, поднимаетъ завѣсу будущаго, и вдругъ, непосредственно изъ Разъѣзжей улицы, не только мыслью, но и тѣломъ переносится въ уѣздный городъ Непасыть.

Я согласенъ, что это превращеніе не вполнѣ обыденно и что его слѣдуетъ отнести къ числу волшебныхъ; но такъ какъ въ сей юдоли плача покуда еще очень не легко опредѣлить, гдѣ кончается волшебство и гдѣ начинается дѣйствительность, то люди компетентные утверждаютъ, что подобнаго рода превращенія не только возможны, но даже не вызываютъ особенныхъ удивленій.

Какъ бы то ни было, но представить себѣ человѣка, сваливающагося откуда-то издалека и независимо отъ собственной воли водворяющагося въ средѣ обывателей одного изъ такъ-называемыхъ „мирныхъ уголковъ“,—очень не трудно. Гораздо труднѣе прослѣдить самый процессъ водворенія, ибо оно совершается не механически только, но и со всѣми нравственными послѣдствіями: съ укрощеніемъ, стушевкою и акклиматизированіемъ. Сталкиваются два элемента, ничего до сихъ поръ другъ о другѣ не знавшіе: пустынникъ Разъѣзжей улицы приходитъ въ соприкосновеніе съ пустынникомъ города Непасыть. Встрѣчаются, и на первый разъ могутъ съ ясностью представить себѣ только одно: что имъ приходится жить вмѣстѣ. Очевидно, однакожъ, что это первое впечатлѣніе слишкомъ недостаточно, чтобы можно было остановиться на немъ. Очевидно, что современемъ оно осложнится и для той, и для другой стороны, что наступитъ минута, когда и акклиматизируемый человѣкъ, и аборигенъ должны будутъ подойти другъ къ другу и постановить условія взаимнаго сожительства. Какія будутъ эти условія?

Въ разрѣшеніи этого вопроса заключается возможность дальнѣйшаго существованія этихъ подневольныхъ людей, изъ которыхъ одни связаны тѣмъ, что они отъ рожденія *тутошные*, а другіе — тѣмъ, что имъ предстоитъ, не будучи *тутошними*, во что бы ни стало сдѣлаться таковыми.

Что касается до человѣка, подлежащаго акклиматизаціи, то онъ долженъ испытывать не столько чувство враждебности, сколько чувство недоумѣнія. Для враждебнаго чувства еще нѣтъ непосредственнаго объекта, но для недоумѣнія есть поводы очень дѣйствительные. По крайней мѣрѣ, въ первую минуту по выброшеніи на берегъ, иначе не можетъ быть. Акклиматизируемый еще не умѣетъ объяснить себѣ,

что̀ именно находится у него передъ глазами: необитаемый ли островъ, или что-нибудь другое. Что это не необитаемый островъ—въ этомъ его убѣждаетъ, во-первыхъ, мельканіе субъектовъ, посящихъ, подобно ему, человѣческій образъ, во-вторыхъ,—ощущеніе близости исправника. Но что тутъ есть нѣчто, имѣющее и всѣ свойства необитаемаго острова—это доказывается полнѣйшимъ отсутствіемъ удобствъ жизни, то-есть именно того, что̀ всегда и вездѣ, помимо всѣхъ другихъ признаковъ, возвѣщаетъ о присутствіи творческой дѣятельности человѣка. Жилища не даютъ дѣйствительнаго успокоенія; пища не даетъ дѣйствительной питательности; кругомъ слышатся какія-то непривычныя рѣчи; нѣтъ книги, нѣтъ ничего, что̀ обезпечивало бы возможность дальнѣйшаго развитія; вездѣ видится нагота и неприкрытость. Рай Разъѣзжей улицы—потерянный рай!—такъ и мечется въ глаза. Правда, онъ былъ изгнанъ изъ этого рая, что̀ не совсѣмъ-таки свидѣтельствуетъ въ пользу его безопасности и безмятежія; но здѣсь... здѣсь вѣдь онъ еще менѣе прикрытъ въ этомъ смыслѣ. Здѣсь его вверхъ тормашками поставятъ, и никто ничего не узнаетъ, не увидитъ, не услышитъ! Вотъ *онъ* идетъ, *онъ*, то-есть всякій, который имѣетъ возможность налечь всѣмъ корпусомъ на судьбу подневольнаго человѣчества—что̀-то у *него* въ головѣ? какая-то затѣя строится у *него* относительно его, бѣднаго, свалившагося съ неба, странника? Какой у *него* характеръ? какія привычки? Говорятъ, *онъ* человѣкъ не злой, но, можетъ быть, *онъ* своеправенъ; можетъ быть, у *него* есть въ головѣ какой-нибудь гвоздь?.. Тысяча мелочныхъ, но мучительныхъ и никогда прежде не являвшихся вопросовъ возстаютъ неизвѣстно откуда, осаждаютъ голову и — увы! — растлѣваютъ сердце... А вѣдь это только первый приступъ; это только матеріальныя условія предстоящей жизни; это вопросъ о норѣ, пищѣ и возможности поддержать дѣло; что̀ же придется загадывать дальше, когда пойдетъ рѣчь объ условіяхъ жизни умственной?

Таково первое ощущеніе, испытываемое одной стороной,—ощущеніе въ высшей степени горькое и тоскливое. Загадочность отовсюду, изъ всѣхъ норъ бѣжитъ на встрѣчу человѣку, а какъ она разыграется въ будущемъ, — это тайна, надъ раскрытіемъ которой умъ будетъ работать до тѣхъ поръ, пока слѣпой случай не разрѣшитъ томленій подневольнаго человѣка въ ту или другую сторону. Говорятъ, что вездѣ можно найти хорошихъ людей; можетъ быть, это и справедливо,

но вѣдь справедливо и то, что хорошій человѣкъ тогда только дѣйствительно хорошъ, когда онъ хорошъ *по нашему*. Это „по нашему“ отнюдь не означаетъ ни грубаго деспотизма съ одной стороны, ни рабскаго прилаживанья—съ другой; нѣтъ, тутъ скрывается довольно долгій и сложный процессъ, черезъ который незамѣтно проходятъ живыя существа, прежде нежели сдѣлаются другъ другу угодными. Дѣйствительная „хорошесть“ представляетъ совокупность множества опредѣленій, хотя приблизительно общихъ обѣимъ сторонамъ: общность стремленій и идеаловъ, равная степень развитости, одинаковая возможность найти другъ въ другѣ помощь и провѣрку и проч. „Хорошихъ“ людей, то-есть людей добрыхъ, честныхъ и даже разумныхъ, дѣйствительно встрѣчается довольно, но всѣ они хороши по своему. Какое дѣло намъ до хорошаго человѣка, съ которымъ мы не можемъ сказать слова, чтобъ не взглянуть другъ на друга въ недоумѣніи или не почувствовать необходимости въ безконечныхъ предварительныхъ объясненіяхъ? А именно таковъ и есть хорошій человѣкъ провинціи. Онъ исключительно эмпирикъ; онъ не знаетъ болѣе того, что видитъ собственными глазами и осязаетъ собственными руками; а ежели и знаетъ нѣчто болѣе, то-есть объясняетъ себѣ явленія не однимъ путемъ эмпиризма, то, пожалуй, лучше бы не зналъ и не объяснялъ. Мнѣ былъ, напримѣръ, извѣстенъ одинъ очень хорошій человѣкъ, который былъ глубоко убѣжденъ, что у мужчины во лбу крестъ, а у женщины креста нѣтъ; а потому кликуши и порченые встрѣчаются только между женщинами. И это былъ во истину „хорошій“ человѣкъ, то-есть человѣкъ никогда никого не обманувшій, не обидѣвшій и, помимо нѣкоторыхъ дурацкихъ убѣжденій, довольно бодро смотрѣвшій въ глаза жизни. Я согласенъ, что примѣръ этотъ рѣзокъ; но есть безчисленное множество примѣровъ хотя и менѣе рѣзкихъ, но которые, въ сущности, отличаются отъ предыдущаго только тѣмъ, что обманываютъ кажущимся приличіемъ своихъ формъ. Не даромъ же сама провинція сложила пословицу, что тотъ хорошій человѣкъ, который сальныхъ свѣчей не ѣстъ и стекломъ не утирается. Очень возможно также, что всѣ эти хорошіе люди могутъ современемъ развиться, но вѣдь это ужъ совсѣмъ другой вопросъ, воспитательный. Говорятъ еще, что съ хорошимъ человѣкомъ, кромѣ одинаковаго умственнаго уровня, можно сойтись еще на почвѣ человѣчности; но и это, къ сожалѣнію, только отчасти справедливо, ибо отношенія, за-

вязывающіяся исключительно на почвѣ человѣчности, никогда не бываютъ отношеніями полнаго равенства. Чувство человѣчности никогда не бываетъ свободно отъ примѣси благосклонности съ одной стороны, и примѣси благоговѣнія —съ другой. Весьма похвально, ежели человѣкъ признаетъ человѣческое достоинство даже въ томъ изъ своихъ ближнихъ, съ которымъ онъ имѣетъ очень мало точекъ соприкосновенія; не меньше похвально, если онъ старается поднять этого ближняго до своего собственнаго нравственнаго и умственнаго уровня; но глазъ мало-мальски проницательный безъ труда увидитъ, что тутъ уже есть усиліе. Какой же можетъ быть послѣ этого вопросъ о равенствѣ? А вѣдь для человѣка, если онъ не звѣрь и не превозвысившійся въ чинахъ каптонистъ, равенство, въ смыслѣ общественности, есть именно та самая вещь, которая желательна всего болѣе и безъ которой возможно только насильствованіе собственной природы.

Тѣмъ не менѣе, чувство одиночества выносимо съ трудомъ. Постепенно охватывая и одолѣвая человѣка, оно изнуряетъ его до того, что потребность исканія и даже созданія „хорошаго“ человѣка заглушаетъ въ немъ всѣ остальныя потребности и соображенія. Посмотримъ же теперь, какъ относится къ акклиматизируемому человѣку та другая сторона подневольнаго человѣчества, среди которой ему назначено судьбой акклиматизироваться.

Можно почти утвердительно сказать, что отношенія этой стороны вполнѣ сочувственны акклиматизируемому. Она не хочетъ знать о тѣхъ высшихъ соображеніяхъ, которыя бросили странника въ ея захолустье; она съ участіемъ смотритъ на его недоумѣніе, она *жалѣетъ* его. Во-первыхъ, какъ ни скудно ея собственное прошлое, но оно, все-таки, существуетъ, а потому она понимаетъ, что прошлое должно быть и у этого человѣка. И чѣмъ нечаяннѣе произошелъ разрывъ съ этимъ прошлымъ, тѣмъ онъ долженъ быть для него больнѣе. Во-вторыхъ, если не совсѣмъ ловко разставаться даже съ такимъ прошлымъ, въ которомъ ни чего неотыщется, кромѣ воспоминаній о выѣденномъ яйцѣ, то тѣмъ тяжелѣе отказаться отъ такого прошлаго, въ которомъ имѣлся интересъ дѣйствительный. А что этотъ интересъ былъ—это доказывается тѣмъ, что акклиматизируемый не самъ отъ него *оторвался*, а нашлось нужнымъ *оторвать* его отъ него. Въ-третьихъ, „тутошныхъ“ людей поражаетъ то обстоятельство, что акклиматизируемый человѣкъ никакъ не можетъ сразу приладиться на новомъ мѣстѣ, не ходко

идетъ, а все какъ будто озирается, нащупываетъ, пробуетъ. Онъ дѣлаетъ видимыя усилія, чтобъ переломить себя и попасть въ тонъ *новой* дѣйствительности; но напряженность этихъ усилій наводитъ на соображенія очень чуткія и вѣрныя. Стало быть, размышляютъ обыватели, ему *тамъ* лучше было, въ своемъ-то мѣстѣ, если онъ никакъ не можетъ съ своимъ сердцемъ совладать. И сообразивъ это, начинаютъ *жалѣть* вдвое. Но есть еще и четвертая причина *жалѣнія* — это темное, почти инстинктивное сознаніе, что и они, обыватели, суть дѣти той же случайности, какъ и сей акклиматизируемый человѣкъ, и что если эта случайность однажды швырнула къ нимъ аэролитъ, то и для каждаго изъ нихъ можетъ тоже придти очередь быть аэролитомъ...

— Ахъ ты, касатикъ нашъ! тяжко тебѣ, поди, въ чужихъ-то людяхъ! — хоромъ *жалѣютъ* обыватели, вдругъ преисполнившись любви и соболѣзнованія къ акклиматизируемому.

— Да вѣдь живете же вы! буду какъ-нибудь жить и я! — отвѣчаетъ „касатикъ“ искусственно-твердымъ голосомъ.

— Гдѣ ужъ тебѣ! мы что! мы люди тутошные! намъ, пожалуй, и бѣжать-то нѣкуда!

Этотъ послѣдній доводъ, это горькое сознаніе подневольности со стороны людей, по наружности вполнѣ свободныхъ, охватываетъ душу акклиматизируемаго какимъ-то страхомъ. До сей минуты онъ былъ увѣренъ, что нѣтъ на свѣтѣ хуже его положенія, нѣтъ несчастія горше его несчастія. И вотъ оказывается, что существуетъ несчастіе болѣе глубокое, несчастіе, преслѣдующее человѣка отъ колыбели до могилы и даже самимъ имъ признаваемое за нѣчто нормальное, неизбывное. Но рядомъ со страхомъ это открытіе производитъ и иное явленіе, значительно смягчающее его, а именно: оно рождаетъ и въ другой сторонѣ то самое *жалѣніе*, о которомъ уже упоминалось выше. Изъ обывательскихъ сердецъ это чувство переходитъ въ сердце акклиматизируемаго и немедленно даетъ живые ростки. Ни въ комъ и нигдѣ онъ не только не видитъ озлобленія, но даже и тѣни предубѣжденія противъ себя. Самъ исправникъ, мужъ твердый въ бѣдствіяхъ, и тотъ, проходя мимо него, разглаживаетъ морщины на хмуромъ челѣ и съ какой-то почти ангельской улыбкой говоритъ:

— Что, молодецъ? попривыкаешься? то-то! живи да оглядывайся!

Здѣсь я долженъ, однакожъ, сдѣлать небольшую оговорку, чтобы

не дать повода къ болѣе или менѣе злостнымъ толкованіямъ, на которыя такъ тароваты наши благонамѣренные свистуны.

Я констатирую одинъ изъ далеко не мелкихъ фактовъ нашей современной провинціальной жизни, и констатирую его безъ преувеличенія. Я не говорю, что на акклиматизируемаго набрасываются звѣри; я не заставляю его пропадать съ голода и холода или изнывать подъ игомъ черезъ-чуръ ревностнаго наблюденія. Напротивъ того, я ставлю его въ самое благопріятное положеніе—въ положеніе человѣка, къ которому устремлены искреннѣйшія симпатіи. *Новая* дѣйствительность, съ которою сталкивается акклиматизируемый человѣкъ, вовсе не зубата, не кипитъ враждою и злобою — я охотно о томъ свидѣтельствую и заявляю. Но въ то же время я говорю: есть на свѣтѣ нѣчто болѣе злое, нежели самые злые звѣри — это ничѣмъ невосполненное чувство одиночества, это ничѣмъ неутоленная тоска сердца, оторваннаго отъ своего прошлаго и не нашедшаго пищи въ настоящемъ. И нѣтъ того доброжелательства, нѣтъ тѣхъ сочувственныхъ словъ, которыя могли бы помочь этому высшему горю изъ всѣхъ горестей, когда-либо испытываемыхъ человѣкомъ...

Съ другой стороны, я отнюдь не хочу утверждать, что акклиматизируемый человѣкъ непремѣнно представляетъ собою высшій организмъ относительно тѣхъ существъ, съ которыми свела его судьба. Но я былъ бы неправъ, еслибъ умолчалъ, что это человѣкъ иныхъ привычекъ, иныхъ взглядовъ на вещи. И если бы кто-нибудь предложилъ мнѣ вопросъ: совершеннѣе ли эти привычки, чище ли эти взгляды, нежели тѣ, которые выработались въ средѣ провинціальнаго захолустья, — я поступилъ бы недобросовѣстно, если бы далъ другой отвѣтъ, нежели: да, совершеннѣе, чище. Въ этомъ заявленіи нѣтъ даже ничего такого, что̀ ставило бы акклиматизируемаго человѣка на пьедесталъ, ибо относительное совершенство, которымъ онъ пользуется, принадлежитъ не столько ему лично, сколько той иной средѣ, воздухъ которой онъ заноситъ вмѣстѣ съ собою.

Сверхъ того, я ни слова не говорю о тѣхъ „высшихъ соображеніяхъ“, которыя играютъ въ этомъ случаѣ очень немаловажную роль. Я не призванъ быть судьей этихъ соображеній, и потому прохожу мимо нихъ молчаніемъ, констатируя лишь голый фактъ.

Затрудненія, которыя неизбѣжно сопрягаются съ отыскиваніемъ „хорошихъ людей“ въ провинціи, бываютъ двоякаго рода. Первое

заключается въ томъ, что, при настоящихъ условіяхъ, дѣло покоренія человѣческихъ сердецъ возможно только тогда, когда оно ведется въ формахъ самыхъ сдержанныхъ и уклончивыхъ; второе—въ томъ, что человѣкъ, занимающійся покореніемъ сердецъ, волею или неволею обязывается прежде всего открыть какое-нибудь посредствующее звено, которое связывало бы его личные идеалы съ тѣми, которые стоятъ у него на пути. Что акклиматизируемый человѣкъ обязывается вести свои поиски въ формахъ до крайности уклончивыхъ—это ни для кого не тайна. Невозможно отрицать, что каждое его дѣйствіе, каждое слово подвергаются комментаріямъ, въ которыхъ предвзятая мысль и подозрительность играютъ роль очень видную. Исключительный характеръ положенія ставитъ его открытымъ для всѣхъ взоровъ и предположеній. „Можетъ быть, онъ и въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь смутьянъ?“ невольно спрашиваетъ себя обыватель, сбитый съ толку загадочною внѣшностью, облекающею фактъ появленія акклиматизируемаго человѣка; а наблюдающая власть даже и вопросами не задается, а прямо говоритъ: „да, смутьянъ“. Хоть это нимало не вредитъ *жальнію*, разлитому во всѣхъ сердцахъ (обыкновенно этотъ предполагаемый смутьянъ—молодой человѣкъ, а кто же смолоду не былъ молодъ!), но не вредитъ лишь подъ условіемъ строгой выдержки и смотрѣнія въ оба. Этого мало: угрозы, которыми дѣйствительно окружено существованіе акклиматизируемаго человѣка, въ весьма значительной степени усиливаются еще угрозами несуществующими, но возможными. Предположимъ, что акклиматизируемый человѣкъ настолько благоразуменъ, что уже не ждетъ особенныхъ ласкъ отъ судьбы; но легкость, съ которою онъ на каждомъ шагу рискуетъ подвергаться всевозможнымъ ущемленіямъ и уязвленіямъ, невольнымъ образомъ должна наводить его на соображенія далеко не свѣтлаго свойства. Очень можетъ быть, что никто не воспользуется этою легкостью, но она существуетъ какъ возможность, и этого достаточно, чтобы мысль самую смѣлую привести въ смущеніе. А отсюда слѣдствіе ясное: или необходимость уйти въ себя, или же не менѣе горькая необходимость взвѣшивать каждое слово, обезцвѣчивать его и сообщать ему двойной смыслъ. Понятно, какою неясностью и запутанностью должны страдать отношенія, которыя завязываются при подобныхъ условіяхъ.

Второе затрудненіе еще важнѣе. Звено, которое связываетъ

идеалы акклиматизируемаго человѣка съ идеалами аборигена, такъ длинно, что невозможно утилизировать его иначе, какъ укоротивши его, а это — по крайней мѣрѣ для начала — возможно сдѣлать только съ явнымъ ущербомъ для первыхъ. Человѣкъ, отдающій себя дѣлу воспитанія, весьма рѣдко принимаетъ въ разсчетъ ту силу сопротивленія, которую оказываетъ сторона воспитываемая, но суровая дѣйствительность не замедлитъ напомнить ему объ этомъ, и напомнить самымъ разочаровывающимъ образомъ. Тутъ дѣло не только въ терпѣливомъ повтореніи задовъ, но и въ ниспроверженіи лжей и фантасмагорій, накопленныхъ эмпиризмомъ и суевѣріемъ. Тутъ дѣло идетъ не съ tabula rasa, а съ доскою, исписанною сверху до низу каракулями очень опредѣленнаго свойства. Каждая изъ накопленныхъ лжей отстаивается тѣмъ съ большимъ упорствомъ, чѣмъ меньше имѣется разумныхъ основаній для поддержанія ея. И въ большей части случаевъ самое прикосновеніе къ лжи считается дерзостью, почти что святотатствомъ.

— Нѣтъ, ты это оставь,—говоритъ обыкновенно обыватель:— это такъ ужъ отъ Бога положено.

И замѣтьте, такимъ образомъ говоритъ обыватель, который считаетъ себя снисходительнымъ; менѣе же снисходительный даже разговаривать не будетъ, а просто вытаращитъ глаза и пойдетъ строчить втихомолку просьбицу. Спрашивается: насколько же долженъ умалить себя человѣкъ, отыскивающій хорошихъ людей, насколько онъ долженъ поступиться, обезличиться, покорить самого себя, чтобы провести какой-нибудь уровень между собою и этими искомыми людьми?

Сверхъ того, человѣкъ, который предпринимаетъ работу сближенія въ провинціи, долженъ сказать себѣ заранѣе, что это совсѣмъ не та работа, которую онъ велъ въ то время, когда онъ жилъ *въ своемъ мѣстѣ*. Возможность опредѣленнаго формулированія мысли, спокойная постановка возраженій и спокойное же обсужденіе ихъ— вотъ характеристическія черты того взаимовоспитанія, которое *тамъ*, въ этой иной, болѣе благопріятной средѣ, зрѣло и упрочивалось. Въ этомъ минувшемъ процессѣ самовоспитанія, несмотря на его недоконченность, уже существовало множество положеній, совершенно выработанныхъ и безспорныхъ, а это, въ свою очередь, устраняло съ арены споровъ такъ-называемыя азбучныя истины и дозволяло мысли

сосредоточивать всѣ свои усилія на главной задачѣ. Ничего подобнаго не найдетъ акклиматизируемый человѣкъ въ новой дѣятельности, которая предстоитъ ему въ провинціи. Прежде всего на него градомъ посыплются возраженія, и притомъ возраженія торопливыя и требующія столь же торопливыхъ разъясненій. Малѣйшее колебаніе въ этомъ случаѣ надолго подрываетъ репутацію популяризатора и ставитъ его въ ряды легкомысленныхъ людей, о которыхъ, какъ извѣстно, въ провинціи сложилось множество самыхъ смѣшныхъ поговорокъ, въ родѣ: „не сули журавля въ небѣ“, „не хвались, идучи на рать“ и проч., и которыя въ каждомъ колебаніи находятъ себѣ подтвержденіе.

— На посулѣ-то ты какъ на стулѣ,—подсмѣивается обыватель надъ замявшимся популяризаторомъ:—а какъ до дѣла дошло—тутъ и нѣтъ тебя!

Что же касается до безспорныхъ подготовительныхъ положеній, которыя такъ облегчаютъ дальнѣйшую работу мысли, то ихъ нѣтъ вовсе. Тутъ все спорно, все надо начинать сызнова, надъ всѣмъ останавливаться, все разъяснять. А такъ какъ это трудъ дробный и утомительный, то время уходитъ безъ остатка, и, въ концѣ концовъ, популяризаторъ не безъ удивленія замѣчаетъ, что въ дѣлѣ собственнаго развитія онъ не сдѣлалъ ни шагу впередъ, — въ дѣлѣ же развитія ближнихъ достигъ лишь того, что пріобрѣлъ право гражданственности для такихъ безконечно малыхъ крупицъ, которыя онъ предполагалъ уже съ колыбели присущими каждому человѣку.

Ничтожество этого результата дѣйствуетъ тѣмъ поразительнѣе, что всякій акклиматизируемый человѣкъ непремѣнно до мозга костей проникнутъ любовью и сочувствіемъ къ массѣ. Работа, которая велась имъ еще тамъ, *въ своемъ мѣстѣ*, никогда не имѣла въ виду ничего, кромѣ массы и ея кровныхъ интересовъ. Но вотъ является случай сдѣлать массу участницею этой работы, и съ перваго же шага возникаетъ безчисленное множество преткновеній. Масса не только не обладаетъ ни одною изъ элементарныхъ истинъ, составляющихъ необходимый отправный пунктъ для дальнѣйшихъ обобщеній — она не знаетъ даже, отъ кого и какъ получить эти истины, гдѣ ея друзья, гдѣ ея враги. Тѣ тонкія, невидимыя нити, которыя связываютъ съ нею человѣка, живущаго въ обстановкѣ вполнѣ отличной отъ ея обстановки, совершенно ускользаютъ отъ ея пониманія. Кто

этотъ человѣкъ, который упалъ въ среду ея подобно аэролиту? Съ какой стати онъ предпринимаетъ работу сближенія? Не вѣрнѣе ли предположить, что, благодаря особенностямъ воспитанія и всему складу прошлой жизни, у него не должно быть ни малѣйшаго интереса для поисковъ „хорошаго человѣка“ между ними, бѣдными *тупоумными* людьми?

Всѣ эти сомнѣнія невольнымъ образомъ закрадываются въ массу и заставляютъ ее съ недовѣрчивостью относиться къ воспитательнымъ попыткамъ. Масса, конечно, и сама чувствуетъ, что она страдаетъ и терпитъ лишенія, но чтобы этими ея страданіями страдалъ человѣкъ, который всѣми условіями жизни поставленъ внѣ необходимости страдать и терпѣть лишенія — это для нея непонятно ни съ какой стороны. Никогда она не видала подобныхъ примѣровъ; никогда не было у нея ни ревнителей, ни печальниковъ; а ежели таковые и были, то она, конечно, ничего не знала о нихъ. Все ревнительство ограничивалось случайно брошеннымъ словомъ, которое тутъ же и замирало, а вслѣдъ за нимъ и сами ревнители исчезали въ пучинѣ. Масса ни разу не испытала на себѣ ни одного отголоска этого ревнительства и продолжала протестовать противъ своихъ страданій единственнымъ оружіемъ, которое было у нея въ рукахъ: страданіями же или—многомного — частными нарушеніями нѣкоторыхъ обязательныхъ для нея правилъ. И вдругъ она видитъ этихъ ревнителей во очію, видитъ ихъ проникающими въ самое сердце ея... Зачѣмъ? Зачѣмъ эти сравнительно изнѣженные, набалованные люди прикасаются къ ея страданіямъ, къ тѣмъ страданіямъ, которыя не суть ихъ страданія, но составляютъ исключительный удѣлъ лишь массъ?

Вотъ какимъ образомъ разсуждаютъ „хорошіе люди“ провинціи, „хорошіе“ не въ ироническомъ смыслѣ, а въ дѣйствительномъ. Предоставляю читателю самому рѣшить, насколько подобныя разсужденія благопріятны для акклиматизируемаго человѣка.

Но, кромѣ повѣрья о томъ, что хорошіе люди вездѣ живутъ, есть еще другое повѣрье, утверждающее, что и для массъ возможны минуты прозрѣнія. Противъ этого повѣрья возражать нельзя. Минуты прозрѣнія не только возможны, но составляютъ неизбѣжную страницу въ исторіи каждаго народа. Однако для человѣка, взятаго изолированно, дѣло заключается не въ одной возможности подобныхъ минутъ, но и въ его личномъ отношеніи къ нимъ. Когда наступятъ эти минуты?

Для кого разступится мракъ, окутывающій лицо массъ, и дастъ увидѣть это лицо просвѣтленнымъ, носящимъ плоть сознанія и рѣшимости? Слова нѣтъ, что даже отдаленная возможность чего-либо подобнаго можетъ поддержать въ человѣкѣ героизмъ; но вѣдь герои не ростутъ на свѣтѣ какъ грибы въ лѣсу, а сколько же есть людей не героевъ, а просто честныхъ, полезныхъ и наклонныхъ къ добру, для которыхъ эти вопросы суть вопросы утѣшенія или отчаянія?

Во всякомъ случаѣ, разрѣшенія этихъ вопросовъ покамѣстъ еще не предвидится. Въ громадѣ убіенныхъ, которую представляетъ собой масса, и для которой, повидимому, нѣтъ въ настоящемъ никакого просвѣта, существуетъ какое-то неисповѣдимое тяготѣніе къ обсѣдающему ее со всѣхъ сторонъ злу, какой-то непреодолимый страхъ ко всему, чтò не разомъ, не по манію волшебства устраняетъ его. Сбитая съ пути разумныхъ отношеній къ окружающей природѣ, загнанная въ міръ чудесъ, эта громада отъ чуда ждетъ избавленія своего изъ земли египетской, и никакіе пророки въ мірѣ не убѣдятъ ее, что это избавленіе зависитъ отъ нея самой. И что жъ это за пророки! Добро бы это были пророки, являющіеся на вершинѣ горы, среди блеска молніи, а то пророки, ютящіеся въ самой низменности города Ненасытя—пророки, набравшіе въ ротъ воды, озирающіеся по сторонамъ и объясняющіе склады! „Да дайте же пинка этому пророку!“ резонно замѣчаетъ капитанъ-исправникъ. „Накаливай его!“—словно эхо перекатывается изъ края въ край, въ массѣ убіенныхъ.

Существуютъ, однакожъ, вопросы, къ которымъ масса не можетъ относиться иначе, какъ съ возбужденнымъ интересомъ. Это вопросы ближайшихъ нуждъ, изъ совокупности которыхъ слагается жизнь коренного обывателя и воздѣлывателя земли. На сценѣ — изнуряющая мысль о грошѣ; на сценѣ—вѣчная забота, вѣчная сутолока, имѣющая въ предметѣ завтрашній день. Мы знаемъ, что земля наша изобильна, а между тѣмъ всѣ статистики свидѣтельствуютъ, что въ цивилизованномъ мірѣ нѣтъ страны, которая потребляла бы такъ мало мяса. Мы знаемъ, что земля наша велика, а между тѣмъ нигдѣ коренной житель не живетъ такъ тѣсно, такъ спѣрто. Это не жилища, а логовища. Ночью въ избѣ русскаго мужика невозможно полчаса выдержать—до того она преисполнена всякаго рода міазмовъ; а онъ настолько обдержался, что вѣкуетъ тутъ цѣлую жизнь. Нигдѣ работа такъ не тяжела, не безотдышна, какъ у насъ. Рабочій человѣкъ

каждый шагъ беретъ съ бою, каждую минуту борется съ препятствіями, потому что всѣ стихіи въ заговорѣ противъ него. Въ этомъ страшномъ шалашѣ, называемомъ избою, онъ не защищенъ ни отъ чего. Онъ ѣстъ пищу, лишенную питательности, и притомъ ѣстъ безъ соли; онъ спитъ на голыхъ доскахъ, покрываясь собственною одеждою. Ученые свистуны, рыскающіе по Россіи съ цѣлью различныхъ экономическихъ изслѣдованій, увѣряющіе, что русскаго человѣка тошнитъ отъ ѣды, и указывающіе на громадныя цифры заграничнаго отпуска, утверждаютъ самую безсовѣстную неправду. Ихъ поражаетъ не изобиліе, а перспектива суточныхъ, подъемныхъ и прогонныхъ денегъ.

Такого рода вопросы были бы, конечно, понятны и въ Патагоніи, но не надо забывать, что покуда они представляются уму обнаженными отъ примѣненій и выводовъ, то самая удобопонимаемость ихъ можетъ принести мало пользы. А въ томъ-то и заключается дѣйствительное несчастіе массъ, что онѣ не имѣютъ досуга для развитія, что онѣ живутъ только настоящею минутой, и что для огражденія настоящей минуты имъ выгоднѣе признать зло застывшимъ, или, въ крайнемъ случаѣ, что-нибудь временно выторговать у него, нежели начать его прямое обличеніе.

— Врагъ силенъ, врагъ горами качаетъ! — говоритъ обыватель, изнуренный не борьбою со зломъ, а подчиненіемъ ему: — какъ бы только въ конецъ не убилъ!

И только. Затѣмъ, съ какой стороны ни подойдите къ провинціальному патагонцу, вы встрѣтите его до такой степени вооруженнымъ афоризмами, что во всемъ его организмѣ не найдется ни одной точки, которая была бы чему-нибудь доступна, кромѣ безотчетнаго страха.

Такимъ образомъ, исканіе „хорошаго человѣка“, переходя отъ сомнѣнія къ сомнѣнію, почти всегда разрѣшается полнѣйшимъ фіаско. Но ежели фіаско вообще нигдѣ не проходитъ даромъ, то тѣмъ менѣе прощаетъ ему провинція.

Для обѣихъ сторонъ наступаетъ минута разочарованія. Акклиматизируемый человѣкъ замѣчаетъ, что каждая новая минута общенія приводитъ за собой только новый поводъ для недоумѣній. Азбука, которую онъ вынужденъ безпадежно повторять, до такой степени раздражаетъ его нервы, что въ глазахъ его даже затемняется смыслъ окружающей дѣйствительности. Рождается вопросъ: къ чему начата

вся эта комедія? ростетъ жгучее желаніе покончить все разомъ, сію минуту; вырываются движенія, которымъ лучше было бы остаться подъ спудомъ. Хотѣлось бы сдѣлать такъ, чтобы вся эта исторія забылась и порвалась сама собою; хотѣлось бы пріютиться гдѣ-нибудь особнякомъ, запереться, уйти... Но простой разрывъ уже оказывается невозможнымъ, потому что и аборигенъ, въ свою очередь, подмѣтилъ борьбу, овладѣвшую акклиматизируемымъ, и слѣдитъ за нею съ интересомъ тѣмъ живѣйшимъ, чѣмъ слабѣе развита въ немъ потребность слѣдить за своимъ собственнымъ внутреннимъ міромъ.

Какъ ни непосредственно чувство *жалѣнія*, оно никогда не остается надолго чувствомъ вполнѣ безкорыстнымъ. „Жалѣющій“ любитъ, чтобъ „жалѣемый“ цѣнилъ это чувство, чтобъ онъ отвѣчалъ ему любезностью и, во всякомъ случаѣ, готовъ былъ разводить съ нимъ тары да бары. Непрошенный глазъ врывается въ жизнь акклиматизируемаго и наполняетъ ее безтолковѣйшею путаницей самородныхъ міросозерцаній. Затѣмъ являются попытки приручить, осѣдлать и оболванить. Образуется убѣжденіе, что „хоть баринъ-то и прытокъ, однако, поживетъ съ нами—авось и упрыгается“. Самолюбія становятся чуткими до болѣзненности, а мысль о совершенной неприкрытости акклиматизируемаго не только не укрощаетъ охоты къ нетруднымъ подвигамъ, но разжигаетъ ее больше и больше.

— Вся-то цѣна тебѣ грошъ—плюнуть да растереть!—а ты еще ломаешься!

Я не стану изображать здѣсь ни дальнѣйшаго хода этого страннаго процесса превращенія жалѣнія въ ненависть, ни картины оскорбленій и преслѣдованій, которыя являются неразлучными его спутниками. Трудно винить кого-нибудь въ такомъ фактѣ, который основывается исключительно на недоразумѣніи. Обѣ стороны дѣйствовали добросовѣстно. Благодушно подали другъ другу руки, еще благодушнѣе старались насиловать свои естественныя влеченія и привычки, и только тогда догадались, что имъ вовсе не слѣдовало сходиться, когда уже были перепробованы всѣ мотивы общенія и ни одинъ не оказался достаточно жизненнымъ, чтобы сдѣлаться дѣйствительно скрѣпляющимъ звеномъ. Понятно, что чѣмъ больше приносится жертвъ, тѣмъ живѣе чувствуется горечь неудачи; но нельзя не прибавить, что главнѣйшія уязвленія этой горечи, все-таки, обрушиваются лишь на одну сторону: на акклиматизируемаго.

Такимъ образомъ, въ покалываньяхъ и уязвленіяхъ (ихъ можно бы назвать безсовѣстными, еслибъ они не были вполнѣ безсознательны) уходятъ дни за днями, покуда всесцѣляющее время не умиритъ вражды и не изгладитъ самаго воспоминанія о выѣденномъ яйцѣ, которое послужило ей основаніемъ. Что̀ принесетъ съ собой это умиреніе акклиматизируемому человѣку?

Предположите, съ одной стороны, что человѣкъ настолько покорилъ себя, что сдѣлался тише воды, ниже травы. Посмотрите, какъ онъ ёжится, какъ онъ каждоминутно то расцвѣтаетъ, то увядаетъ, какъ безпокойно онъ прислушивается и засматриваетъ въ глаза, какъ торопливы и, такъ сказать, укороченны всѣ его движенія! Но когда этотъ человѣкъ остается одинъ-на-одинъ съ самимъ собою, когда въ немъ вдругъ пробуждается сознаніе проведеннаго дня, сколько долженъ онъ послать проклятій себѣ и судьбѣ! Какое мучительное чувство тоски, униженія, безвыходности должно овладѣть имъ! Вотъ онъ быстрыми шагами ходитъ по своему тѣсному логовищу; онъ думаетъ, и не знаетъ самъ, о чемъ думаетъ; онъ безпрестанно хватается за голову, какъ бы желая собрать свои мысли воедино. Но одна только мысль держитъ его крѣпко; это мысль: все кончено! Благотворное дѣло! какое возможно благотворное дѣло, когда въ головѣ свила гнѣздо только одна реальная мысль: все кончено! „Возьмите! вырвите! прекратите!“ вопіетъ онъ въ тоскѣ, и безслѣдно замираетъ этотъ вопль среди внимающихъ ему четырехъ стѣнъ.

Съ другой стороны, предположите, что человѣкъ, еще не приступая къ процессу общенія, уже рѣшилъ, что одиночество есть единственная форма существованія, возможная въ его положеніи. Онъ правъ: одиночество избавляетъ его отъ назойливости и даетъ возможность сохранить неприкосновеннымъ хотя тотъ запасъ, который пріобрѣтенъ имъ въ прошедшемъ. Тѣмъ не менѣе, все это нимало не утоляетъ горечи, которою переполнено его существованіе. Не говоря уже о томъ, что потребность общественности сама по себѣ есть живѣйшая потребность человѣка, не слѣдуетъ забывать, что тотъ умственный запасъ, который заготовленъ въ прошедшемъ, необходимо долженъ глохнуть и засыпать по мѣрѣ того, какъ прекращается процессъ освѣженія и возобновленія его. При отсутствіи живой провѣрки мысли, человѣкъ ставится въ странное положеніе своего собственнаго оппонента и своего собственнаго защитника. Этотъ недо-

статокъ могъ бы быть отчасти устраненъ, еслибъ была *книга*, но въ нашихъ провинціальныхъ мурьяхъ очень много навозу и всего меньше книгъ. Остается, стало быть, одинъ выходъ: переваривать и припоминать прошлое.

Но когда прошлое уже повторено и перебрано во всѣхъ подробностяхъ, когда мало-по-малу ослабѣваютъ и стираются даже мотивы, вызывающіе эти воспоминанія, тогда на арену выступаетъ все та же всесильная мысль: все кончено! Все кончено; жизнь прекратилась; будущее исчезло.

Я не говорю: жертвы безполезны; я говорю только, что дозволительно изумленіе. Люди и даже дѣла ихъ исчезаютъ на нашихъ глазахъ по истинѣ безпримѣрно. Точно въ яму, наполненную жидкой грязью, нырнутъ, и сейчасъ же надъ ними все затянетъ и заплыветъ. Вчера еще былъ человѣкъ, а сегодня уже его нѣтъ. Не только изъ жизни, но даже изъ хрестоматій и курсовъ словесности исчезаютъ люди. И за каждымъ исчезновеніемъ—молчокъ. Грады и веси продолжаютъ процвѣтать: нѣкоторые изъ нихъ постепенно познаютъ пользу употребленія картофеля, другіе—постепенно же привыкаютъ къ мысли о необходимости оспопрививанія и проч. Но нигдѣ, навѣрное, не скажется потребность освобожденія мысли, того освобожденія, безъ котораго немыслимо никакое умственное и матеріальное совершенствованіе.

Въ этомъ отношеніи, вездѣ, куда ни обратитесь—молчокъ.

1868 г.

III.

ИТОГИ

[1876 г.]

Глава I.

Въ мундирной практикѣ всѣхъ странъ и народовъ существуетъ очень мудрое правило: когда издается новая форма, то полагается срокъ, въ теченіе котораго всякому вольно донашивать старый мундиръ. Дѣлается это очевидно въ томъ соображеніи, что новая форма почти всегда застаетъ человѣчество врасплохъ. Что такое мундиръ? имѣетъ ли онъ корни въ прошедшемъ? есть ли у него задатки, по которымъ можно было бы сдѣлать предположенія насчетъ его будущаго? —Ясно, что отвѣтъ на эти вопросы можетъ быть только отрицательный, а изъ этого уже само собой слѣдуетъ, что новаго мундира, хотя бы онъ былъ весь шитый, ни предвидѣть, ни приготовиться къ воспринятію его въ будущемъ невозможно. А потому попечительные начальники и разсуждаютъ: пускай, молъ, добрые люди донашиваютъ старые мундиры, покуда умы еще недостаточно окрѣпли для воспринятія новыхъ. А для того, чтобы возмужаніе умовъ совершалось неукоснительно, назначаютъ, по усмотрѣнію своему, неотяготительные сроки, по истеченіи которыхъ новая форма уже окончательно дѣлается обязательною.

Такова цѣль упомянутаго выше правила, но не таково, къ сожалѣнію, примѣненіе его на практикѣ. Тутъ оно встрѣчается съ такими затрудненіями, которыя совершенно извращаютъ его смыслъ и даже оттѣсняютъ на задній планъ самый вопросъ о мундирахъ.

Покуда длится процессъ водворенія новыхъ мундировъ, въ обществѣ происходитъ временное замѣшательство, вообще свойственное эпохамъ мундирнаго возрожденія. Солидные люди (консерваторы) жадно хватаются за опубликованные сроки и отстаиваютъ свои права;

люди легкомысленные (прогрессисты), напротивъ того, спѣшатъ какъ можно скорѣе щегольнуть новыми погонами. Прогрессисты уже рѣютъ по улицамъ, облитые лучами вновь вышитыхъ воротниковъ, тогда какъ консерваторы уныло, но упорно влачатъ свое существованіе, устремляя всѣ помыслы къ сокращеннымъ или удлиненнымъ фалдамъ, съ которыми росло, воспитывалось и укрѣплялось ихъ внутреннее мундирное чувство. Прогрессисты. „въ надеждѣ славы и добра“, бѣгутъ впередъ, убѣжденные, что новымъ мундирамъ конца не будетъ, а консерваторы (они же и ретрограды) покачиваютъ головами, иронизируютъ и по временамъ даже почтительно огрызаются. „Укоротимъ фалды! упростимъ лацкана!—и впереди насъ ждетъ блаженство!“ — восклицаютъ прогрессисты. „Тише! не вдругъ укорачивайте! помните, что еще можетъ наступить часъ удлиненія — и благо будетъ тому, кто не до конца себя окургузитъ!“ предостерегаютъ консерваторы.

Завязывается обмѣнъ мыслей, въ которомъ главную роль играетъ вопросъ: дозрѣли мы, или не дозрѣли? Прогрессистамъ вопросъ этотъ, конечно, кажется несерьезнымъ, но по той настойчивости, съ которою онъ поддерживается консерваторами, опытный наблюдатель уже угадываетъ, что онъ поставленъ не даромъ. Мало того: знатоку человѣческаго сердца можетъ показаться, что даже въ самую минуту постановки вопроса можно уже провидѣть и формулировать предстоящее его разрѣшеніе.

Такіе знатоки человѣческаго сердца составляютъ явленіе очень прискорбное. Когда окрестъ царствуетъ или безграничный энтузіазмъ, или худо скрываемое озлобленіе, какъ-то странно встрѣтиться съ человѣкомъ, который на вопросъ: „какой изъ двухъ мундировъ лучше?“ —отвѣчаетъ: „оба лучше“, и на этомъ прекращаетъ разговоръ. Во-первыхъ, этотъ отвѣтъ ни съ чѣмъ несообразенъ; во-вторыхъ, онъ заключаетъ въ себѣ косвенное отрицаніе мундирнаго принципа вообще. Можно порицать, но не отрицать. Изложите ваши соображенія, подвергните критикѣ кантикъ за кантикомъ, пуговицу за пуговицей, и, ежели хотите, не оставьте даже канта на кантѣ, пуговицы на пуговицѣ — все это выслушается со вниманіемъ, даже съ трепетомъ. Но отвѣчать: „оба лучше“ —это значитъ смѣяться надъ тѣмъ, что наиболѣе дорого и священно; это значитъ ни во что считать самый фактъ возрожденія.

Нѣтъ ничего обиднѣе для человѣка, какъ внезапныя откровенія,

съ помощью которыхъ онъ приходитъ къ уразумѣнію ничтожества интересовъ, дотолѣ занимавшихъ въ его жизни громадную роль. Онъ суетится, выходитъ изъ себя, проситъ разрѣшить дѣло по существу — и вдругъ ему на встрѣчу отвѣтъ: нѣтъ тутъ никакого дѣла, а слѣдовательно нѣтъ и существа его. Иногда онъ самъ собой доходитъ до подобныхъ откровеній; иногда они приходятъ къ нему извнѣ. Въ первомъ случаѣ онъ ожесточается противъ самого себя (шутка сказать! цѣлую жизнь носилъ мундиръ въ своемъ сердцѣ, и вдругъ узналъ, что это только мундиръ — и ничего больше); во второмъ — еще болѣе ожесточается противъ внѣшней причины своего невольнаго отрезвленія. Онъ чувствуетъ себя уязвленнымъ и поруганнымъ; онъ не можетъ опомниться отъ негодованія; онъ усматриваетъ злостность и преднамѣренность; онъ считаетъ, наконецъ, себя вправѣ потребовать отчета...

— Какая же ваша доктрина? не увертывайтесь! говорите! мы взвѣсимъ, обсудимъ, и ежели найдемъ въ ней полезныя стороны, то примемъ ихъ во вниманіе! — вопіетъ онъ, постепенно переходя отъ изумленія къ угрозѣ.

И ежели содержаніе отвѣта все-таки останется то же, т.-е. что насчетъ мундировъ всякія доктрины представляются излишними, то этого достаточно, чтобъ вырвать вопль негодованія изъ всѣхъ сердецъ.

И вотъ, вопросъ о мундирахъ вступаетъ въ новую фазу, или, лучше сказать, онъ даже какъ бы отстраняется, чтобы дать мѣсто вопросу болѣе существенному — вопросу объ отрицаніи и отрицателяхъ.

Этотъ послѣдній, по утвердившемуся въ обществѣ мнѣнію, служитъ единственнымъ препятствіемъ, вслѣдствіе котораго всѣ прочіе вопросы медленно подвигаются впередъ, а нѣкоторые даже чахнутъ въ самую минуту своего возникновенія. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ такое отрицаніе? — Это непризнаніе самаго существа тѣхъ вопросовъ, которые занимаютъ того или другого индивидуума. Но этого мало: отрицаніе есть въ то же время и непризнаніе полезныхъ свойствъ, предполагаемыхъ въ дѣятельности тружениковъ, которые корпѣли надъ разрѣшеніемъ упомянутыхъ вопросовъ и лелѣяли ихъ.

Все въ мірѣ создается потихоньку и помаленьку — на этомъ

сходятся и прогрессисты, и ретрограды, съ тою только разницей, что одни, въ сферѣ предпріимчивости, идутъ на вершокъ дальше, другіе —на вершокъ короче. Въ обоихъ случаяхъ область человѣческой дѣятельности встрѣчается съ безчисленнымъ множествомъ перегородокъ, и чѣмъ меньше захватываетъ вширь, тѣмъ прочнѣе и надежнѣе кажутся тѣ закладки, которыя полагаются въ основаніе самому дѣлу. Одинъ выдумываетъ пуговицу, другой — кантикъ, третій — воротникъ; смотришь—анъ когда-нибудь и цѣлый мундиръ выйдетъ. Поступать такимъ образомъ повелѣваетъ благоразуміе, совѣтуетъ самый законъ преуспѣянія. И всѣ дѣйствующіе на поприщѣ преуспѣянія такъ именно и поступаютъ, то-есть: спорятъ, обмѣниваются мыслями, подвергаютъ критикѣ ту или другую подробность, а въ случаѣ крайности даже озлобляются и предаютъ другъ друга осмѣянію. Въ результатѣ оказывается прогрессъ, т.-е. пуговица, погонъ.

Отрицатели относятся къ подобному образу дѣйствій сомнительно, то-есть не отвергаютъ его прямо, а проходятъ молчаніемъ. Вотъ это-то молчаніе и оскорбляетъ, ибо оно затрогиваетъ не столько самое изобрѣтеніе, сколько изобрѣтателя. Самое рѣзкое противорѣчіе прощается охотнѣе, нежели молчаніе, потому что противорѣчіе все-таки ставитъ оппонента на одну доску съ вопрошателемъ. Напротивъ того, молчаніе устраняетъ самый предметъ спора, ставитъ возбуждающаго вопросъ въ положеніе человѣка, который сгоряча подаетъ руку, и вмѣсто пожатія встрѣчаетъ пустое мѣсто. Inde iга. „Какія же ваши доктрины по сему предмету?“ будетъ настаивать разгорченный возбудитель вопросовъ, и ежели отвѣтъ послѣдуетъ уклончивый, то не ограничится простымъ приставаніемъ, а сочтетъ себя вправѣ подвергнуть отрицателя тщательнѣйшему изслѣдованію.

Тѣмъ не менѣе, къ изслѣдованію приступается не безъ оговорокъ, въ числѣ которыхъ первое мѣсто, разумѣется, отводится общему благу. Прежде всего выступаютъ впередъ затрудненія, встрѣчаемыя при разрѣшеніи вопросовъ жизни, вслѣдствіе досады, негодованія и другихъ преградъ, возбуждаемыхъ отрицательнымъ отношеніемъ къ этимъ вопросамъ. „Опомнитесь! что вы дѣлаете! Вѣдь вы, сами того не понимая, поддерживаете распространителей обскурантизма, враговъ прогресса!“ взываютъ прогрессисты. „Вотъ онъ настоящій-то прогрессъ! вотъ онъ къ чему приводитъ—къ равнодушію!“ хохочутъ въ свою очередь консерваторы и ретрограды, умышленно смѣшивая заблуд-

шихъ овецъ, случайно отторгнувшихся отъ ихъ стада, съ людьми, скромно идущими въ сторонѣ и скромно дѣлающими свое скромное дѣло. Затѣмъ очень видную роль играетъ и то соображеніе, что вся эта масса отрицателей, которая держитъ себя безучастною свидѣтельницей мундирнаго возрожденія, есть масса совершенно потерянная для дѣла, ибо въ то время, какъ сѣятели и дѣятели хлопочутъ и выбиваются изъ силъ, одни „отрицатели“ безмолвно проходятъ мимо и не хотятъ ударить пальцемъ о палецъ. „Что было бы, еслибъ каждый изъ этихъ людей выдумалъ по пуговицѣ, хотя по одной пуговицѣ! какая масса добра! какой свѣтъ! какое довольство!“ вопіютъ прогрессисты. „Что было бы, еслибъ каждый изъ этихъ людей употребилъ свои способности на защиту хотя одной старой пуговицы,— только одной!“ въ свою очередь взываютъ ретрограды. И въ результатѣ этихъ обоюдныхъ воплей—вопросъ: „какая же ваша доктрина?“

Этотъ мучительный вопросъ повторяется постоянно, и постоянно же остается безъ отвѣта. Безотвѣтность, въ свою очередь, заставляетъ предполагать одно изъ двухъ: или что у отрицателей совсѣмъ нѣтъ никакихъ доктринъ, или что они имѣютъ какія-то доктрины, но не хотятъ о нихъ повѣствовать.

Первое предположеніе, повидимому, самое выгодное для обѣихъ сторонъ. Для допрашивающей стороны оно выгодно потому, что ежели „отрицатель“ не имѣетъ своихъ собственныхъ выдумокъ, то, стало быть, и опасаться его нѣтъ надобности. Это не отрицатель, а, напротивъ того, оплотъ. Для допрашиваемой стороны оно выгодно потому, что ежели предположеніе о неимѣніи ею доктринъ утвердится на прочномъ основаніи, то, стало быть, упразднится поводъ для придирокъ, подозрѣній и приставаній. Человѣкъ, который свободенъ отъ всякихъ притязаній къ жизни, есть человѣкъ самый доброкачественный. Такими людьми полны улицы, и къ нимъ никто не пристаетъ, никто ихъ ни въ чемъ не подозрѣваетъ, ибо всякій знаетъ, что ежели появятся новые погоны, то они первые усвоятъ ихъ со всею тщательностью. Если сердца ихъ не будутъ при этомъ играть, если они недостаточно войдутъ во вкусъ, то это будетъ лишь признакъ ихъ неразвитости, а кто же когда-нибудь претендовалъ и сердился на неразвитость? Стало быть, выгода обоюдная: допрашивающіе освобождены отъ обязанности метать стрѣлы; допрашиваемые—отъ обязанности испытывать дѣйствіе этихъ стрѣлъ на своихъ организмахъ...

Но, къ сожалѣнію, люди, принимающіе живое участіе въ мундирныхъ возрожденіяхъ, слишкомъ рѣдко становятся на эту здоровую и спокойную точку зрѣнія. Въ большей части случаевъ, они ощущаютъ какую-то необъяснимую потребность истязать и мучить себя, и, руководствуясь этою потребностью, даютъ обширный просторъ подозрѣніямъ, хотя бы основательность послѣднихъ ничѣмъ не оправдывалась. И вотъ, невѣсть откуда, является предположеніе, что отрицатели доподлинно обладаютъ нѣкоторою доктриною, но только, должно быть, доктрина эта очень опасная, и потому они тщательно скрываютъ ее. Предположеніе это ведетъ за собою обязанность раскрыть и объяснить сущность скрываемой доктрины.

Но здѣсь сила желанія находится совершенно въ обратной пропорціи съ силою и твердостью отправнаго пункта. Съ одной стороны мотивы, опредѣляющіе желаніе, представляютъ общее мѣсто, которое трудно формулировать; съ другой — не болѣе ясности представляетъ и самый объектъ желанія. Вещественныхъ признаковъ, съ помощью которыхъ должно было бы опредѣлить искомую доктрину — нѣтъ; руководящей нити, которая дала бы возможность отыскать эти признаки — тоже нѣтъ. Принципы нравственности, общественной безопасности, политической необходимости — все это даетъ поводъ для безчисленнѣйшихъ толкованій, изъ которыхъ ни одно не согласуется съ другимъ, а слѣдовательно и не даетъ никакого дѣйствительнаго основанія для предпринятія наступательныхъ дѣйствій. Остается, стало быть, на-удачу произвести выемку души — авось-либо что-нибудь тамъ и найдется.

Однакожъ, для того, чтобъ произвести съ успѣхомъ подобную выемку, надобно все-таки знать, во-первыхъ, что̀ такое душа, а во-вторыхъ, что̀ въ ней искать надлежитъ. Но и тутъ все мракъ и полное отсутствіе регламентовъ. Гдѣ мѣстопребываніе души? — ни прогрессисты, ни консерваторы указать не могутъ, хотя знаютъ, что это мѣстопребываніе гдѣ-то есть. А потому единственнымъ средствомъ, чтобъ отдѣлаться отъ этого вопроса, представляется произвольное оставленіе его безъ разсмотрѣнія. Вмѣсто того, чтобъ обыскивать душу, схватываютъ слова, сказанныя на-лету, подмѣчаютъ позы, тѣлодвиженія, выслѣживаютъ образъ занятій, и изъ этихъ обрывковъ созидаютъ нѣчто цѣлое, долженствующее изображать собою искомую доктрину. Но такъ какъ уразумѣніе какой бы то ни было

доктрины дается только тому, кто хоть съ какой-нибудь стороны прикосновенъ къ ней, то, несмотря на всевозможныя сглаживанія и сшивки, выводы, получаемые путемъ собиранія обрывковъ, принимаютъ характеръ фантастичности, противорѣчивости и даже неожиданности. Всякому, выслушивающему это спутанное изложеніе, дѣлается сразу понятнымъ, что ежели бы собиратель обрывковъ понималъ то, о чемъ онъ повѣствуетъ, то онъ о многомъ умолчалъ бы въ виду своихъ собственныхъ интересовъ, а о многомъ сказалъ бы совсѣмъ инымъ образомъ. И такимъ образомъ съ полною ясностью выступаетъ только одно — это чувство ненависти, которое всецѣло охватываетъ помыслы собирателя и которое заявляетъ о себѣ преувеличенными и совершенно произвольными заключеніями.

Ахъ! это чувство очень мучительное, ибо въ основаніи его лежитъ страхъ, и — что̀ всего ужаснѣе — страхъ, имѣющій въ предметѣ опасность, которой величина и характеръ опредѣляются только величиною и характеромъ индивидуальныхъ, смутно сознаваемыхъ подозрѣній. Ежели когда-нибудь человѣкъ является способнымъ быть творцомъ собственнаго индивидуальнаго внутренняго міра, не имѣющаго ничего общаго съ міромъ дѣйствительнымъ, то это именно въ минуту ненависти, порождаемой ожиданіемъ несознанныхъ опасностей. Все, до чего не дозрѣлъ и не додумался умъ, представляется исполненнымъ угрозы; а такъ какъ область этого недодуманнаго почти безгранична и нѣтъ въ виду даже эмпирическихъ указаній, которыя помогли бы отыскать какія-нибудь свѣтящіяся точки въ этомъ темномъ пространствѣ, то всякій новый шагъ приводитъ за собой только новое безпокойство, безъ надежды на умиротвореніе вскую мятущагося духа. Метать громы нужно, а въ кого и во имя чего слѣдуетъ ихъ метать — неизвѣстно. Что̀ жъ остается? — остается метать ихъ, во-первыхъ, во имя темныхъ предчувствій, о чемъ-то подсказывающихъ, но ничего ясно не говорящихъ, и, во-вторыхъ, метать ихъ наугадъ въ разстилающееся впереди пространство, не зная, правые или виноватые сдѣлаются ихъ жертвою...

Предположите, напримѣръ, что корень доктрины, навлекшей на себя подозрѣніе, кроется въ естествознаніи. Покуда эта отрасль человѣческихъ знаній стояла особнякомъ, покуда вліяніе ея на общій строй жизни не выражалось фактически, это была какая-то заповѣдная область волшебствъ и секретовъ, въ которую никто близко не

всматривался, полагая, что дѣйствительный міръ съ его горестями, превратностями и нуждами — самъ по себѣ, а міръ чудесъ, составляющій предметъ естественныхъ наукъ, — самъ по себѣ. И вдругъ завѣса, раздѣлявшая оба эти міра, падаетъ, и — что всего неожиданнѣе — одновременно съ этимъ паденіемъ происходитъ и перетасовка названій, которыя дотолѣ присвоивала мірамъ рутина. Дѣйствительный міръ оказывается міромъ чудесъ, міръ чудесъ — дѣйствительнымъ, существующимъ и обращающимся въ силу естественныхъ и совершенно вразумительныхъ законовъ. Такое открытіе (особливо если оно сопряжено съ обобщеніями и критикою воззрѣній, служившихъ дотолѣ отправными пунктами для человѣческой дѣятельности) можетъ для многихъ показаться черезъ-чуръ смѣлымъ и даже экстравагантнымъ. Оно противорѣчитъ всѣмъ историческимъ наслоеніямъ; оно указываетъ для умственной дѣятельности человѣка совсѣмъ другіе центры; оно предлагаетъ жизнь сначала. Со всѣмъ этимъ примириться нелегко, но какъ же убѣдить людей, что два міра, стоявшіе доселѣ другъ отъ друга отдѣльно, такъ и должны оставаться до конца вѣковъ особнякомъ? Гдѣ взять доказательствъ для поддержанія этой темы?—Увы! мы всѣ, прогрессисты, консерваторы и ретрограды — всѣ мы съ головы до ногъ эмпирики, знающіе только преданіе, а никакъ не доказательства! Мы умѣемъ только ненавидѣть, а во имя чего ненавидимъ — даже самимъ себѣ отчета въ томъ отдать не можемъ!

Правильно или неправильно подвергаются нападкамъ такъ-называемые „отрицатели“ — здѣсь разрѣшать не мѣсто. Но во всякомъ случаѣ въ этой странной борьбѣ замѣчателенъ тотъ фактъ, что одни борются, не зная, во имя чего, другіе — терпятъ борьбу, не зная, за что. Въ результатѣ: пріостановка жизненнаго движенія, смѣшеніе формы съ дѣломъ и полное господство процесса устраненія надъ процессомъ творчества.

Какъ ни мало существенно само по себѣ мундирное творчество, но и оно можетъ принести пользу. Еслибъ люди были искренно ему преданы, то они, по крайней мѣрѣ, проникались бы благоволеніемъ и къ другимъ ремесламъ и занятіямъ, признавали бы болѣе или менѣе близкую солидарность ихъ и, исходя изъ этого убѣжденія, изгнали бы изъ сердецъ своихъ сѣмена вражды и ненависти. Изобрѣтатель новыхъ воротниковъ подалъ бы руку химику, потому что послѣдній

можетъ объяснить наилучшій способъ золоченія; изобрѣтатель новыхъ ботфортовъ простеръ бы братскія объятія мозольному оператору, потому что послѣдній можетъ дать благой совѣтъ, какая форма сапога можетъ предохранить отъ мозолей. И вотъ на землѣ осуществился бы рай, въ которомъ никто никому не мѣшалъ бы дѣлать дѣло, а каждый каждому оказывалъ бы помощь и содѣйствіе.

Распря невѣдомо за что затемняетъ смыслъ первоначальныхъ задачъ и даже устраняетъ ихъ изъ арены жизни. Сверхъ того, она истощаетъ силы общества въ занятіи въ высшей степени непроизводительномъ. Предположите въ этомъ обществѣ, столь охотно предающемся безумной отвагѣ, минуту отрезвленія, и спросите его: что ты сдѣлало? чѣмъ ты ознаменовало свое вступленіе на новый путь? „Я дралось!“ отвѣтитъ оно, и Богъ знаетъ, сколько горечи прозвучитъ для него въ этомъ правдивомъ и имъ самимъ данномъ отвѣтѣ.

Но горечь была бы еще спасительною, ибо въ ней есть признакъ возврата, а въ возвратѣ всегда заключается возможность выхода болѣе или менѣе благопріятнаго. Въ большей части случаевъ, безсознательно дерущееся общество и затѣмъ продолжаетъ драться съ тою же безсознательностью, какъ и прежде, не отрезвляясь и не отвѣчая ни на какіе вопросы до тѣхъ поръ, пока весь воздухъ не преисполнится пылью и прахомъ.

Здѣсь до позволено мнѣ будетъ небольшое отступленіе по поводу такъ-называемыхъ прогрессистовъ.

Это народъ очень загадочный, совмѣщающій съ чувствительностью души и слезливостью въ голосѣ непреодолимую страсть къ „куску“.

Они постоянно скорбятъ и постоянно выставляютъ себя послѣднимъ убѣжищемъ, не выражая ясно, чего именно, но давая почувствовать, что чего-то очень хорошаго.

Обыкновенно они рекомендуютъ себя слѣдующимъ образомъ:

— Не обвиняйте насъ! Мы не все можемъ, что желаемъ! если бы вы знали, что намъ стоитъ отстоять самую малую часть добра, къ которому мы стремимся, вы оцѣнили бы наши усилія, вы отдали бы полную справедливость нашему самоотверженію!

Или: — Поберегите насъ! Мы—послѣднее ваше убѣжище! Не будь насъ—и то малое, что вы видите еще уцѣлѣвшимъ, погибло бы безъ

возврата! Мы не можемъ дѣйствовать опредѣленнѣе, потому что въ такомъ случаѣ должны были бы совсѣмъ отказаться отъ дѣятельной роли! Посудите сами, полезно ли это будетъ даже въ вашихъ интересахъ!

Голосъ взволнованъ, жестъ простъ и задушевенъ, вся глубина чувства такъ и просится наружу, а если къ этому присовокупить бѣлѣйшее и тончайшее бѣлье, безукоризненно-сшитую одежду, прекрасныя руки и проч., то дѣйствіе получится по истинѣ неотразимое.

Странники моря житейскаго такъ и льнутъ къ прогрессистамъ, особливо въ минуты постигающихъ ихъ несчастій. И дѣйствительно, никто не съумѣетъ такъ утѣшить, сказать сочувственное слово, показать вдали перспективы.

— Когда наступитъ удобный моментъ... будьте увѣрены... а между тѣмъ призовите на помощь ваше мужество... все къ лучшему... несчастіе отрезвляетъ... сознайтесь, что и отрезвленія не всегда лишни... за всѣмъ тѣмъ, когда моментъ настанетъ, и т. д.

Странникъ моря житейскаго возвращается домой утѣшенный, окрыленный. Онъ даже и разсуждать начинаетъ какъ-то дерзко. Что такое это „несчастіе“, которое за минуту передъ тѣмъ приводило его въ смущеніе? Это миоъ, это сонъ, это прахъ, для исчезновенія котораго достаточно было одного дуновенія прекраснаго прогрессиста! Это греза давно минувшихъ временъ, которая едва-едва брезжится вдалекѣ! Духъ его не только не упалъ, но окрѣпъ еще больше, нежели до „несчастія“! Онъ начинаетъ строить планы; онъ вѣритъ въ будущее, надѣется выиграть двѣсти тысячъ, даже не обладая ни однимъ билетомъ выигрышнаго займа...

Но проходитъ моментъ за моментомъ, а будущее все ускользаетъ да ускользаетъ изъ рукъ. „Несчастіе“ не брезжится гдѣ-то вдалекѣ, а глядитъ прямо въ глаза и съ каждой минутой все суровѣе и суровѣе. Чѣмъ легче окрылялись надежды, тѣмъ легче онѣ гаснутъ. Скверное сочетаніе легковѣрія и безпомощности представляется во всей наготѣ.

— О, прогрессисты!—восклицаетъ въ отчаяніи бѣдный странникъ моря житейскаго.

Увы! онъ неправъ только тѣмъ, что съ этого восклицанія ему слѣдовало бы начать, а не кончать имъ.

Прогрессистъ — такой же идеологъ, какъ и консерваторъ или

ретроградъ, и душа его такъ же мало откликается на дѣло, какъ и душа самаго заскорузлаго ханжи-обскуранта. Какой же резонъ для него идти какимъ-то другимъ путемъ?

Никто не видалъ, чтобы прогрессистъ когда-нибудь чѣмъ-нибудь поступился, чтобы онъ усовершенствовалъ свою чувствительность до того, чтобы выпустить „кусокъ“, который онъ разъ защемилъ зубами. Будучи отъ природы покрытъ скользкимъ веществомъ, онъ пользуется этимъ преимуществомъ, чтобы увертываться и скользить, но пользуется лишь до тѣхъ поръ, пока не зайдетъ рѣчь о „кускѣ“. Напоминаніе о „кускѣ“ производитъ въ немъ панику, а паника — цѣлый рядъ рѣшеній и дѣйствій, которымъ позавидовалъ бы наипостояннѣйшій изъ ретроградовъ.

Вся жизнь прогрессиста есть непрерывное и опасное сидѣніе между двумя стульями, и если онъ не испытываетъ невыгодныхъ послѣдствій этой опасности, то потому только, что, въ случаѣ надобности, онъ посидитъ какъ-нибудь и на вѣсу. И должно отдать ему справедливость,—онъ такъ искусно сидитъ на вѣсу, что многимъ кажется, что такъ именно и слѣдуетъ всегда сидѣть. И вотъ во всѣхъ сердцахъ зажигается удивленіе и созидаются алтари; изъ всѣхъ устъ несутся гимны и пѣснопѣнія. А онъ между тѣмъ жуетъ да жуетъ свой „кусокъ“, и даже не давится имъ...

Памятуя стихъ Пушкина:

Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже
Насъ возвышающій обманъ,

—онъ окрыляетъ однихъ и кувыркается передъ другими. То-есть: съ одной стороны, пріобрѣтаетъ пламень благодарныхъ сердецъ, съ другой—ласку и куски. Ласку онъ цѣнитъ плохо, но „кусокъ“... о! „куска“ онъ не выпуститъ ни подъ какимъ видомъ!

Кто захочетъ сдѣлать буквальное примѣненіе написанной выше картины мундирнаго возрожденія къ современному положенію нашего общества, тотъ, конечно, впадетъ въ немалое заблужденіе. Содержаніе нашего общественнаго возрожденія слишкомъ глубоко по своимъ намѣреніямъ, чтобъ сравненія въ этомъ родѣ могли быть допущены безъ явной несправедливости. Но дѣло не въ самой картинѣ, а въ

томъ пути, которому послѣдовала жизнь въ процессѣ своего обновленія, и въ тѣхъ отрицательныхъ результатахъ, къ которымъ она привела, благодаря избранному пути. Здѣсь встрѣчается уже многое, что прямо напоминаетъ пути и результаты, изображенные выше.

Источники замутились, задачи утратили первоначальный смыслъ; въ результатѣ—пріостановка жизни, равнодушіе, почти оцѣпенѣніе. Всякій, кто отдастъ себѣ серьезный отчетъ въ томъ, что происходитъ кругомъ него, долженъ будетъ сознаться, что трудно представить жизнь, болѣе сдавленную гнетомъ собственной вялости и бѣдности стремленій и идеаловъ.

Недавно мы были свидѣтелями періода довольно оживленнаго, который многими назывался періодомъ броженія. Были у насъ и прогрессисты, и консерваторы, и ретрограды. Первые пламенѣли, вторые балансировали, третьи огрызались. Производился обмѣнъ мыслей, ставился вопросъ: дозрѣли мы или не дозрѣли — и мгновенія незамѣтно летѣли за мгновеніями. Очень возможно, что весь этотъ переполохъ не заключалъ въ себѣ существеннаго содержанія, что онъ представлялъ собой легкомысленное щебетанье снигирей, насвистанныхъ съ чужого голоса, но во всякомъ случаѣ лица не поражали сонливостью, не видно было той подавляющей скуки, которая такъ, кажется, и гласитъ: сіи люди погибли для радостей. Теперь даже этого внѣшняго оживленія незамѣтно. Нѣтъ ни прогрессистовъ, ни консерваторовъ, ни ретроградовъ, потому что россіяне утратили самый вкусъ къ мундирамъ и никто не можетъ сказать ничего положительнаго насчетъ того, какого ему шитья хочется.

А между тѣмъ наступило время сѣянія; зерна по землѣ разсыпано множество, а индѣ даже молодые всходы пробиваются. Современный человѣкъ видитъ и это сѣянье, и эти всходы, но временамъ останавливается передъ ними и даже произноситъ сочувственное или неодобрительное слово. Но стоитъ прислушаться къ этому слову, чтобы убѣдиться, что въ немъ нѣтъ ни одной живой и ясной ноты. Тутъ звучитъ и неумѣлость, и легкомысленная голословность, и завѣщанная преданіемъ заученность—все, кромѣ страстности и сознанія личной прикосновенности къ дѣлу сѣянія. „Не мое дѣло, мнѣ какъ бы вотъ день прожить“, говоритъ всякъ и каждый. Одно за другимъ проходятъ явленія, которымъ, по всѣмъ видимостямъ, слѣдовало бы захватить самыя жизненныя основы общества... ничуть не бывало!

никто ничего не захватываетъ, ничто ничего не вызываетъ наружу! По поводу явленія самаго рѣшительнаго, литература испуститъ обычное формально-лирическое бормотаніе, уличная же публика вяло перекинется двумя-тремя безсодержательными вопросами и вяло же разбредется по домамъ, чтобы тамъ предаться вялымъ размышленіямъ...

Какъ скоро все это стихло, потухло, стушевалось! Что ни говорите, а эта быстрота утомленія—признакъ очень сомнительный. Не въ томъ опасность, что скоро потухло и стихло броженіе, которому мы были свидѣтелями—Богъ съ нимъ, съ этимъ броженіемъ!—а въ томъ, что быстрота утомленія дѣлается какъ бы регуляторомъ жизни. Стало быть, впереди видится нѣчто очень малое, ежели общество не трепещетъ, не напрягаетъ силъ, не самоотвергается, не впадаетъ въ ошибки, а только глядитъ въ одну случайно попавшуюся на глаза точку, и думаетъ: „ахъ, кабы совсѣмъ этихъ сѣяній не было!“

Говорятъ, что все это признаки очень здоровые; что страсти умиротворились, броженіе улеглось, колебанія выяснились. Солидные люди усматриваютъ задатки такъ-называемаго трезваго отношенія къ жизни и пророчатъ нѣчто прочное, осмотрительное, неторопливое. Но качества этой трезвости болѣе чѣмъ сомнительны. Это безвкусная, безсодержательная трезвость, которая граничитъ съ полнымъ упадкомъ силъ. Какъ ни наивно было наше недавнее озлобленіе противъ запросовъ жизни, какъ ни мелочны были формы, въ которыхъ оно выражалось—приходится пожалѣть и объ немъ. И тамъ было нѣчто, свидѣтельствовавшее, что пульсъ не переставалъ еще биться, и тамъ была возможность поступковъ, а слѣдовательно и возможность поправокъ, возвратовъ, раскаяній. И вдругъ — пустое мѣсто. Одно чувство господствуетъ и одолѣваетъ: чувство пустоты, чувство ненужности. У всѣхъ на языкѣ одна фраза: надо дѣло дѣлать, и у всѣхъ же въ головѣ одна мысль: „ахъ, кабы меня Богъ помиловалъ!“ Все окоченѣло и сосредоточилось на одной мысли: какъ бы подцѣпить грошъ и прожить насущный день. Не чувство жизни горитъ въ человѣкѣ, а коптитъ и чадитъ въ немъ чувство самаго грошоваго самосохраненія. И жить незачѣмъ, и умереть страшно. Не потому страшно, чтобъ пугали сновидѣнія:

Умереть—уснуть...

—а потому, что умы до того сдавлены робостью, что никакое прямое

рѣшеніе для нихъ недоступно. Человѣкъ не живетъ и не умираетъ, а перебрасываетъ самого себя изо дня въ день, безъ всякаго участія личнаго творчества.

Горечь отдѣльныхъ фактовъ не возбуждаетъ въ насъ ни симпатіи, ни отголоска; наплывъ случайности не вызываетъ нашего гнѣва; разрозненность явленій, отсутствіе связнаго представленія объ общемъ строѣ жизни, перерывы, провалы, колебанія—ничто не можетъ пробить броню равнодушія, въ которую мы облеклись. „Не наше дѣло!“ слышится со всѣхъ сторонъ: „довольно волненій! пусть страсти улягутся! пусть жизнь сама отвѣтитъ на собственные запросы свои!“

Глядя со стороны, можно подумать, что мы только-что вытерпѣли жестокую битву и теперь зализываемъ свои раны.

И дѣйствительно, битва, которую мы вытерпѣли, была очень жестокая. Это была знаменитая въ лѣтописяхъ битва противъ нигилистовъ, свистуновъ, космополитовъ и проч. Мы увлеклись ею до того, что забыли даже о задачахъ, которыя насъ занимали, и изъ безсодержательнаго эпизода сдѣлали главную тему всей нашей жизни. И что же вышло? устранили ли мы что-нибудь? — нѣтъ, не устранили, потому что и устранять, въ сущности, было нечего. Пріобрѣли ли?— нѣтъ, и не пріобрѣли ничего, а напротивъ того все утратили. Утратили вкусъ къ жизни, къ ея интересамъ... и даже къ ея разнообразнымъ мундирамъ.

И теперь, когда поле сраженія чисто, когда нигилисты и свистуны поражены, посрамлены и разсѣяны, мы тщетно стараемся припомнить тѣ задачи, которыя занимали и волновали насъ въ оное время.

— О чемъ, бишь, мы производили обмѣнъ мыслей до этой баталіи? — можетъ спросить любой изъ насъ, и навѣрное не получитъ никакого другого отвѣта, кромѣ:

— Убей Богъ!—ничего не помню!

Глава II.

Представьте себѣ, что въ самомъ разгарѣ сѣяній, которыми такъ обильна современная жизнь, въ ту минуту, когда вы, въ чаду прогресса, всего меньше разсчитываете на возможность возврата тѣхъ порядковъ, которые, по всѣмъ соображеніямъ, должны окончательно

кануть въ вѣчность, вдругъ откуда-то повѣетъ чѣмъ-то старымъ, знакомымъ, отчасти даже любезнымъ... Не безъ любознательности вглядываетесь вы впередъ, стараясь угадать, откуда потянуло знакомыми запахами, и, къ удивленію вашему, убѣждаетесь, что „старое“ совсѣмъ не упразднилось, но стоитъ совершенно бодро, что оно смотритъ прямо въ глаза и даже какъ будто иронизируетъ. „Старайтесь, милые, сѣйте!“ говоритъ оно: „а я тѣмъ временемъ поревную особо“. Что̀ можетъ означать подобный фактъ?

Нѣтъ сомнѣнія, что описанное выше чувство недоумѣнія испыталъ всякій, кто прочелъ обнародованные на дняхъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ результаты недавней ревизіи Пермской губерніи. Но въ то же время не можетъ быть сомнѣнія и въ томъ, что результаты эти многимъ уяснили многое, что̀ дотолѣ проходило совершенно для нихъ незамѣченнымъ.

Чтобъ это послѣднее уясненіе было достигнуто, стоитъ лишь обратиться къ недавнему прошлому и спросить себя: какое значеніе въ то время имѣла ревизія, подобная той, которая постигла Пермскую губернію?

Значеніе это у всѣхъ на памяти — это было просто-на̀-просто обличеніе невозможности жить. Когда въ какой-нибудь губерніи жить дѣлалось невозможно, назначалась ревизія, дабы всѣмъ вѣдомо было, что жить подлинно невозможно, что законъ упраздненъ, что мѣсто его занялъ даже не произволъ, а просто-на̀-просто грабежъ, и что начальство, убѣдившись въ этомъ, принимаетъ мѣры, т.-е. назначаетъ ревизію. Наряжался ревизоръ, который пріѣзжалъ на мѣсто съ полномочіемъ вязать и рѣшить, который выслушивалъ жалобы, разсматривалъ дѣла, собиралъ свѣдѣнія о нуждахъ края и о томъ, въ какой степени онѣ оставлялись безъ удовлетворенія, и въ концѣ концовъ резюмировалъ свой трудъ такъ: да, дѣйствительно жить было невозможно.

Тѣмъ не менѣе, ревизіи возбуждались не часто и, разъ возбужденныя, производили въ обществѣ говоръ. Не то казалось удивительнымъ, что понадобилось произвести ревизію, а то, что ревизія состоялась. Были люди (по тогдашнему, „ябедники“), которые десятки лѣтъ вызывали ревизію и умирали, не дождавшись ея. Были другіе, которые цѣною неимовѣрныхъ и хитросплетенныхъ ябедничествъ вызывали, наконецъ, ревизію и считали себя счастливыми даже въ томъ случаѣ, если ревизія ничего другого имъ лично не приносила, кромѣ

высылки въ другую губерпію подъ характеристическимъ наименованіемъ „ябедниковъ“, которое и оставалось за ними на всю жизнь. Это были тогдашніе старатели и ревнители. Въ нихъ, въ искаженной и изуродованной формѣ, воплощалась общественная совѣсть. Они подвергались всевозможнымъ поруганіямъ и преслѣдованіямъ, и все-таки продолжали свое обличительное дѣло. Какую роль въ этомъ дѣлѣ игралъ четвертакъ, и какую — правда, разобрать довольно трудно; но, судя по тому, что вся дѣятельность „ябедниковъ“ была направлена исключительно противъ сильныхъ міра и не окрылялась особенными надеждами на успѣхъ, можно заключить, что въ пей все-таки главную роль играла скорѣе правда, нежели четвертакъ. Надо быть глубоко уязвленнымъ въ душѣ, надо перенести страшную массу обидъ и злоключеній, чтобы безпадежно стучать въ запертую дверь и по временамъ достигать даже того, что она отворялась. И ябедники стучались и выполняли свое призваніе вполнѣ добросовѣстно, хотя имъ, конечно, небезъизвѣстно было, что жить въ мирѣ съ властями все-таки выгоднѣе, нежели вопіять противъ нихъ къ небу...

Почему ревизіи назначались лишь въ самыхъ исключительныхъ и рѣдкихъ случаяхъ? На это было очень много причинъ. Во-первыхъ, всякая ревизія сопрягается съ обличеніями, не всегда удобными, и преждевременно возбуждаетъ вопросъ о невозможности жить въ такой средѣ, гдѣ эта невозможность, того гляди, еще не вполнѣ созрѣла. Требуется своего рода проницательность и тактъ, которые предотвращали бы пагубныя смѣшенія между подлинною невозможностью и невозможностью такъ себѣ... можетъ быть, просто съ жиру. Не надо забывать, что возможность жить далеко не во всѣхъ случаяхъ измѣряется дѣйствительною стоимостью тѣхъ жизненныхъ благъ, которыми пользуется человѣкъ; напротивъ того, очень часто мѣриломъ ея служитъ лишь относительная упругость и сносливость субъекта, обреченнаго на жизнь. Одинъ говоритъ: „меня хоть на куски рѣжь—я и тогда живъ буду!“ Другой идетъ дальше и считаетъ жизнь невыносимою даже въ томъ случаѣ, когда его незаслуженно называютъ курицынымъ сыномъ. Третій идетъ еще дальше и говоритъ: „заслужилъ или не заслужилъ я названіе курицына сына, все-таки не смѣй меня такъ называть, потому что въ противномъ случаѣ жизнь сдѣлается для меня невозможною“. Ясно, что здѣсь первый человѣкъ понимаетъ „возможность жить“ шире, нежели второй; второй—шире,

нежели третій. Стало быть, весь вопросъ заключается въ томъ, удобно ли съуживать подобныя понятія прежде, нежели сама практика укажетъ на необходимость подобнаго съуженія? А ревизія именно производитъ это съуженіе, ибо, подвергая своему анализу вопросъ о неудобствахъ, сопряженныхъ съ невозможностью жить, она тѣмъ самымъ возбуждаетъ и другой, болѣе деликатный вопросъ: объ удобствахъ, сопряженныхъ съ возможностью жить. Мудрость вѣковъ всегда отвѣчала на всѣ эти вопросы отрицательно, то-есть что не слѣдуетъ поднимать изслѣдованій о томъ, какъ живется, до тѣхъ поръ, покуда кое-какъ живется. И дѣйствительно, сообразно съ этимъ извѣчнымъ правиломъ, всѣ ревизіи, то-есть изслѣдованія, предпринимались не прежде того, какъ возможность жить прекращалась въ самомъ широкомъ смыслѣ, то-есть тогда, когда люди останавливались даже передъ изреченіемъ: „рѣжь меня на куски!“ и когда притомъ въ прекращеніи жизни совершенно ни для кого не оставалось никакого сомнѣнія. Еслибы не было этого благоразумнаго правила, въ притязаніи къ жизни непремѣнно вторглось бы смѣшеніе, а быть можетъ даже и прихотливость. Переходы изъ перваго разряда во второй, изъ второго въ третій были бы не рѣдкостью, и притомъ переходы произвольные, возмутительные. Иной смогъ бы еще множество лѣтъ оставаться твердымъ въ бѣдствіяхъ, а тутъ, видя со стороны начальства потачку, возьметъ да и сприхотничаетъ. „А семъ-ка“, скажетъ онъ себѣ, „и я доложу, что мнѣ жить невозможно“. И не только доложитъ, но даже представитъ несомнѣнныя тому доказательства. И такимъ образомъ вдругъ откроется, что множество людей жило (а можетъ быть и еще несчетное число лѣтъ жить бы могло), и вотъ теперь, благодаря ревизіи, начинаетъ вдругъ ощущать, что божій міръ не милъ. И доказываетъ это такими фактами, передъ которыми совѣсть молчитъ.

Другая причина, обусловливавшая рѣдкость ревизій, заключалась въ томъ, что ревизія, возбуждая вопросъ о правѣ на жизнь, косвеннымъ образомъ служила причиною прекращенія даже той доли жизни, которая извѣстна подъ именемъ отправленія текущихъ дѣлъ, и которая, несмотря на злоупотребленія, все-таки кое-какъ плелась. Читатель, который былъ свидѣтелемъ переполоховъ, производимыхъ ревизіей, пойметъ, что̀ мы хотимъ сказать. Передъ глазами его воскреснетъ вся лихорадочная обстановка, которая, при первой же

вѣсти о ревизіи, вдругъ водворяется въ цѣломъ краѣ и характеризуется однимъ словомъ: трепетъ. Трепетъ этотъ отнюдь не составляетъ частнаго явленія, къ которому можно было бы примѣнить классическое выраженіе французовъ: que les méchants tremblent, que les bons se rassurent! Нѣтъ; тутъ, по недоразумѣнію, трепещутъ всѣ: и злые, и добрые. Злые трепещутъ потому, что имъ рядомъ несомнѣнныхъ фактовъ доказано будетъ, что дѣйствія ихъ имѣли результатомъ невозможность жить. Добрые трепещутъ потому, что сомнѣваются, будутъ ли признаны вполнѣ достаточными тѣ доказательства невозможности жить, которыя они намѣреваются предъявить. Но, сверхъ того, есть и еще множество разнообразнѣйшихъ причинъ, производящихъ трепетъ. Одни трепещутъ по преданію, другіе — оттого, что въ первый разъ встрѣчаются лицомъ къ лицу съ чрезмѣрно блестящимъ мундиромъ, третьи—оттого, что ихъ подавляетъ осанка, голосъ и т. д. Но когда человѣка объемлетъ трепетъ (хотя бы и неосновательный), то онъ, очевидно, не только не можетъ быть благополученъ, но даже просто-на-просто оказывается внѣ всякой возможности заниматься обычнымъ, будничнымъ своимъ дѣломъ. Вмѣсто того, чтобъ торговать, печь пироги, воздѣлывать землю — онъ трепещетъ; вмѣсто того, чтобъ писать рѣшеніе о томъ, сколько кому отпустить надлежитъ, онъ трепещетъ. Всѣ трепещутъ: и жалобщики, и тѣ, на которыхъ приносятся жалобы.

Лица, на которыхъ жалуются, суть тѣ самыя, на обязанности которыхъ лежитъ отправленіе дѣлъ. Какъ только пройдетъ слухъ о ревизіи, такъ тотчасъ же они оставляютъ всякія попеченія о дѣлопроизводствѣ, начинаютъ служить молебны, вынимать заздравныя просвиры и бесѣдовать съ собственною совѣстью. Наступаетъ эпоха угрызеній; изъ тьмы прошлаго выдѣляются призраки. Неподлежательно высѣченныя части тѣла, неподлежательно взятые гривенники такъ и мечутся въ глаза со всею обстановкою, при которой первыя были высѣчены, а вторые взяты. И все это надобно объяснить такъ, чтобъ ревизующій понялъ, что тутъ нѣтъ ничего, кромѣ невинности, и что не только не было невозможности жить, но былъ рай. А объяснить это очень трудно, потому что ревизоръ, испуганный массою воплей и жалобъ, дѣлается придирчивъ и не довольствуется полураемъ, но требуетъ доказательствъ, что рай былъ точь-въ-точь такой, какой существовалъ древле на берегу Евфрата и Тигра. Это

требованіе до такой степени чрезмѣрно, и ревизуемый чиновникъ чувствуетъ себя до того подавленнымъ имъ, что не можетъ содержать въ головѣ своей никакой другой мысли, кромѣ мысли о необходимости сдѣлать себя бѣлѣе снѣга, и затѣмъ ко всѣмъ напоминаніямъ текущей жизни (которыя все-таки не прекращаются и удовлетвореніе которыхъ лежитъ на томъ же ревизуемомъ чиновникѣ, независимо отъ ревизіи) относится не только равнодушно, но съ явнымъ нетерпѣніемъ и досадой. „Подождите!“ „не до васъ!“ — вотъ единственные отвѣты, возможные при подобномъ всеобщемъ переполохѣ. И ежели дотолѣ правосудіе отправлялось неправо и медленно, то теперь не отправляется никакого правосудія: ни праваго, ни неправаго, ни скораго, ни нескораго. Бѣгутъ, являются, объясняются, собираютъ справки, запираются, докладываютъ и облыжно, и взаправду, словомъ — дѣлаютъ все, кромѣ дѣла, кромѣ даже той крохотной части дѣла, которая дѣлалась до тѣхъ поръ...

Какими ущербами отражается подобный переполохъ на сословіи жалобщиковъ — это извѣстно единому Богу. Но горечь ихъ разочарованія должна быть сильнѣе уже по тому одному, что самый взглядъ ихъ на свойства и результаты ревизій въ высшей степени своеобразенъ. Наука администраціи говоритъ: всякое административное дѣйствіе сперва пускаетъ корни, потомъ идетъ въ штамбъ, потомъ производитъ цвѣты и наконецъ плоды; но они, то-есть жалобщики, совсѣмъ не понимаютъ этой истины. Имъ, по невѣжеству, кажется, что у всякаго ревизора полны карманы плодовъ, и что слѣдовательно всѣ ихъ жалобы, какъ прошедшія, такъ и настоящія, должны быть удовлетворены немедленно, въ ту самую минуту, какъ появится на горизонтѣ ревизоръ...

Наконецъ третья причина, вслѣдствіе которой ревизія предпринималась лишь въ крайнихъ случаяхъ, заключалась въ тѣхъ инстинктахъ роскоши и всякихъ излишествъ, которые какъ-то фаталистически пробуждались въ ревизуемой мѣстности при первой вѣсти о приближеніи ревизора. Подъ видомъ чествованія ревизора, предпринимался цѣлый рядъ волшебнѣйшихъ объѣденій, блѣдные примѣры которыхъ можно встрѣтить только во время дворянскихъ выборовъ. Балы слѣдовали за балами, обѣды за обѣдами. Женщины сверкали обнаженными плечами и увлекали роскошью походки; мужчины явственно проводили идею о супружеской снисходительности.

Нынѣче, конечно, все это поизмѣнилось, потому что и мошна стала потощѣе, да и самыя провинности не настолько крупны, чтобъ требовать искупленія въ формѣ непрерывнаго обжорства; но существовало время—и оно недалеко — когда упомянутыя выше волшебства были истиною. Существуетъ преданіе, что въ одной губерніи была даже выписана изъ сосѣдней губерніи дама, славившаяся своей любезностью и красотою, съ спеціальною цѣлью увеселять ревизора и смягчать его нравы...

Но какъ ни вѣски описанныя выше неудобства, ревизіи все-таки назначались, потому что не было иного средства устранить распространеніе невозможности жить. А распространеніе это отъ времени до времени высказывалось съ такою рельефностью, что изумляло даже людей, и не легко поддающихся чувству удивленія...

Что же означала эта невозможность жить? что это было за явленіе? что поддерживало и питало его?

Существуетъ мнѣніе, что невозможность жить есть признакъ такого общественнаго строя, въ которомъ обязательная сила закона находится въ зависимости не отъ бо́льшей или меньшей ясности заключающихся въ немъ предписаній, а отъ примѣненій и толкованій, которыя являются обыкновенно независимо отъ закона, со стороны, и которыя ни предвидѣть, ни своевременно удовлетворить нельзя. Справедливость этого мнѣнія едва-ли кто-нибудь будетъ отрицать. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что если не все благополучіе человѣка, то, по крайней мѣрѣ, весьма значительная часть его зависитъ отъ прочности и вразумительности его отношеній къ требованіямъ закона. Внутреннее содержаніе закона само по себѣ можетъ оказывать не всегда выгодное вліяніе на судьбу человѣка—это такъ; но ежели оно однажды объявлено обязательнымъ, то остается одно изъ двухъ: или устраивать жизнь такимъ образомъ, чтобы не впадать въ противорѣчіе съ закономъ, или протестовать противъ приносимыхъ имъ стѣсненій на свой собственный рискъ. Во всякомъ случаѣ, здѣсь всего важнѣе, чтобы человѣкъ могъ вполнѣ ясно и опредѣлительно отдать себѣ отчетъ, чему надлежитъ подчиняться или противъ чего протестовать. Если это условіе не соблюдено, онъ лишается даже возможности подчиняться.

Предположите себѣ, напримѣръ, существованіе такого несуществующаго закона, который обязывалъ бы обозчиковъ сворачивать съ

дорожной колеи въ сугробъ въ виду грядущаго на встрѣчу исправника. Какъ ни стѣснителенъ этотъ законъ, но въ виду его совершенной ясности и обязательности обозчику предстояло бы: или оставаться дома, дабы не подвергать себя встрѣчѣ съ исправникомъ, или заранѣе подчиниться сворачиванію въ сугробъ, или же, наконецъ, не оставаться дома и не сворачивать, рискуя подвергнуть себя всѣмъ карамъ, за несворачиваніе въ сугробъ установленнымъ. Что можетъ быть яснѣе и вразумительнѣе такого положенія? Но оно разомъ утрачиваетъ свою вразумительность, какъ скоро требованіе о сворачиваніи предъявляется не закономъ, а какимъ-то частнымъ толкованіемъ, о которомъ нельзя даже опредѣлительно сказать, откуда и при какихъ условіяхъ оно выходитъ. Толкованія этого рода имѣютъ то неудобство, что они столь же разнообразны, сколь разнообразны наклонности и вкусы самихъ толкователей. Въ одномъ мѣстѣ провинившихся обозчиковъ раскладываютъ на снѣгу, и тутъ же сѣкутъ; въ другомъ, за то же преступленіе, тутъ же бьютъ по зубамъ; въ третьемъ — загоняютъ въ ближайшую сельскую расправу, и тамъ арестуютъ на день, на два и т. д. Очевидно, что здѣсь не только признаки преступленія являются неудобопредвидимыми, но и самая кара, вызываемая неисполненіемъ внезапно возникшаго толкованія, принимаетъ формы прихотливыя или, лучше сказать, сочиненныя въ ту самую минуту, въ которую сочинено и самое толкованіе. Возможно ли при такихъ условіяхъ жить, то-есть предусматривать завтрашній день, обезпечивать свою спину, дѣлать сбереженія, предпринимать операціи и проч.? — отвѣтъ на этотъ вопросъ пусть подскажетъ собственное благоразуміе читателя.

Когда человѣкъ приступаетъ къ воздѣлыванію земли или предпринимаетъ торговый оборотъ и т. д., онъ заранѣе разсчитываетъ послѣдствія, какъ выгодныя, такъ и невыгодныя, которыя можетъ привести за собой его предпріятіе. И сообразно съ этими разсчетами приготовляется къ встрѣчѣ этихъ послѣдствій. Но когда онъ выходитъ изъ дома въ гости, и не въ состояніи заранѣе опредѣлить себѣ, какого рода сплетеніе обстоятельствъ можетъ привести его, вмѣсто гостей, въ кутузку, то ясно, что онъ долженъ себя чувствовать вполнѣ свободнымъ отъ какихъ бы то ни было разсчетовъ и предвидѣній. И не только онъ, но и сосѣди, и присные его тоже освобождены отъ разсчетовъ. N вышелъ изъ дома и не возвращается, — никто не про-

буетъ даже отыскивать причину этого отсутствія, но всѣ говорятъ просто: „должно быть, съ исправникомъ на дорогѣ встрѣтился“.

Какая польза разсчитывать, когда область, открытая для разсчетовъ, до того безгранична и темна, что нельзя найти въ ней ни одного яснаго отправнаго пункта, и когда при этомъ на всякомъ мѣстѣ идетъ непрерывное сочиненіе толкованій, которыхъ ни подъ какимъ видомъ предусмотрѣть невозможно? Такого рода положеніе вещей свидѣтельствовало не о случайной только безконтрольности, но о цѣлой системѣ, въ которой безконтрольность являлась господствующимъ началомъ. И вотъ, для того, чтобъ была хоть тѣнь контроля, предпринимались внезапныя ревизіи, начальственные погромы и т. д.

Что погромы совершали свое дѣло удовлетворительно — этого отрицать нельзя. Долго послѣ того чиновники ходили смирные, ласковые, шолковые, какъ будто ихъ коснулась благодать. Но существо бюрократіи нимало отъ этого не измѣнялось, потому что возможность внезапныхъ толкованій и сочиненій оставалась за нею всецѣло. И ежели, нѣкоторое время по совершеніи погрома, толкованія производились въ смыслѣ благожелательномъ, то не было ручательства, чтобъ въ срокъ болѣе или менѣе непродолжительный эта благожелательность не оттѣнилась красками очень сомнительнаго свойства.

Погромъ обличалъ язвы, накоплявшіяся десятками лѣтъ; но за симъ слѣдовали новые десятки лѣтъ, въ продолженіе которыхъ опять предстояло обширное поприще для всякаго рода накопленій...

Таково было значеніе ревизій въ недавнемъ прошломъ, и такова была непрочность достигаемыхъ ими результатовъ.

Въ нынѣшнемъ году минетъ десять лѣтъ со времени первой и при томъ важнѣйшей реформы въ ряду тѣхъ, которыя ознаменовали настоящее царствованіе. Существенное значеніе этихъ реформъ заключалось именно въ устраненіи возможности тѣхъ произвольныхъ примѣненій и толкованій, которыя ничего другого не производили, кромѣ невозможности жить. Послѣ крестьянской реформы, легшей въ основаніе всѣхъ дальнѣйшихъ успѣховъ нашей жизни, мы увидѣли реформу судебную и земскую. Первая обезпечивала личность и достояніе гражданъ, вторая полагала начало самоуправленію, то-есть контролю болѣе прочному, нежели тотъ, который достигался съ помощью ревизій и начальственныхъ погромовъ. Надобно было обладать скептицизмомъ самымъ отчаяннымъ, чтобы предполагать, что при столь

плодотворныхъ задаткахъ можетъ повториться такое изумительное явленіе, какъ невозможность жить, и притомъ повториться съ тѣми же самыми признаками, которые характеризовали его въ былыя времена.

А между тѣмъ явленіе это повторилось, и притомъ не гдѣ-нибудь въ завоеванномъ краѣ, гдѣ ревность не по разуму можетъ найти толкователей, опирающихся на исключительныя условія мѣстности, а въ Пермской губерніи, гдѣ не слышно ни о столкновеніяхъ различныхъ національностей, ни о возбужденіи пагубныхъ страстей, ни о вторженіи вредныхъ и неблагонадежныхъ элементовъ (особенный видъ преступности, рекомендуемый г. академикомъ Безобразовымъ, но, по неясности признаковъ, до сихъ поръ въ уголовный кодексъ не внесенный). Въ эту благодатную страну ѣздятъ наши департаментскіе экономисты для обнаруженія богатствъ, скрывающихся въ нѣдрахъ земли, и возвращаются оттуда, полные волшебныхъ сновъ о рѣкахъ, текущихъ млекомъ и медомъ, о горахъ, изобилующихъ златомъ и самоцвѣтными камнями, о вѣковыхъ лѣсахъ, въ которыхъ кишатъ всевозможные звѣри и птицы и т. д.

И въ этой-то волшебной странѣ вдругъ оказалась невозможность жить!

Это невѣроятно, но это такъ. Мало того, что упомянутая невозможность жить существовала здѣсь въ самомъ широкомъ смыслѣ, но —что всего замѣчательнѣе—условія общественнаго строя не указали иного способа устранить эту невозможность, кромѣ того, который существовалъ уже во времена до-реформенныя. А между тѣмъ всѣ реформы въ ходу: реформы, ограждающія личность и достояніе гражданъ, реформы, привлекающія общественное мнѣніе къ участію въ общественномъ контролѣ, реформы, освобождающія милліоны людей изъ плѣна, въ которомъ они находились въ теченіе столѣтій...

Что сей сонъ значитъ?

Но матеріалы, добытые ревизіей Пермской губерніи и обнародованные на дняхъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, до того поучительны, что читателю никакъ не лишне будетъ познакомиться съ ними. Это знакомство, независимо отъ удовлетворенія его любознательности, дастъ возможность сдѣлать нѣкоторыя сопоставленія, которыя ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть сочтены безполезными.

Вотъ эти матеріалы въ краткомъ перечнѣ.

1) Законы, опредѣляющіе предѣлы дѣйствія каждаго отдѣльнаго агента административно-полицейской власти, были упразднены, а на мѣсто ихъ введены такъ-называемыя толкованія, въ основаніе которыхъ легли смутныя предчувствія и стремленіе предвосхитить начальственную мысль. Такимъ образомъ, то, что въ высшихъ правительственныхъ сферахъ существовало лишь въ качествѣ проекта, въ Пермской губерніи было уже приведено въ исполненіе.

2) Цѣль, къ которой стремились эти толкованія, заключалась въ томъ, чтобы какъ можно болѣе усилить единоличную власть представителей центральнаго управленія и какъ можно болѣе сократить и ослабить власть коллегій, представляющихъ препоны административному бѣгу.

3) Въ согласность съ этою цѣлью, дѣла изъ губернскихъ присутственныхъ мѣстъ (непосредственно подчиненныхъ губернатору) произвольно переводились въ канцелярію губернатора, а изъ уѣздныхъ коллегій—въ канцеляріи исправниковъ.

4) Приняты были мѣры, дабы вѣдомо было всѣмъ и каждому, что единоличная власть дѣйствительно усилена, а закопъ и всякія другія препоны дѣйствительно упразднены. Въ этихъ видахъ указано или допущено было: а) не слѣдовать въ точности законамъ объ арестѣ обвиняемыхъ, но, въ видахъ спокойствія края, арестовать и при недостаточныхъ уликахъ; б) не представлять сельскихъ должностныхъ лицъ къ наградамъ иначе, какъ по соглашенію съ исправниками; в) окружить исправниковъ конвоемъ изъ казаковъ; г) возбуждать, по усмотрѣнію полиціи (или, что то же, исправника), даже такія дѣла, которыя могутъ начинаться лишь въ порядкѣ частнаго обвиненія или по заявленію духовнаго начальства.

Такова была теоретическая сторона этого несложнаго административнаго построенія. Практическое вліяніе его на мѣстные полицейскіе нравы обнаружилось слѣдующими характерными, но не весьма плодотворными результатами:

1) Почувствовавши усиленіе власти и стремясь дать ей еще бо́льшую прочность и значеніе, полицейскіе агенты до того увлеклись дѣйствительнѣйшимъ, по ихъ мнѣнію, средствомъ упроченія, то-есть сѣченіемъ, что начали сѣчь и въ одиночку, и массами, и съ оттѣнкомъ іроніи, и серьезно. Верхотурскій исправникъ высѣкъ одного почтосодержателя, и потомъ на запросъ губернскаго правленія отвѣ-

чалъ, что сѣченіе произведено по собственному желанію паціента. Одинъ исправникъ высѣкъ разомъ сорокъ человѣкъ обозчиковъ за то, что они не свернули передъ нимъ съ дороги. Одинъ исправникъ жестоко избилъ нагайками двухъ ямщиковъ за то, что на лошадяхъ ихъ была худая сбруя. Одинъ помощникъ исправника высѣкъ мѣщанина (изъятаго, по закону, отъ тѣлеснаго наказанія) за то, что послѣдній не хотѣлъ отпустить къ нему свою шестнадцатилѣтнюю дочь...

2) Въ тѣхъ же видахъ, полицейскіе агенты производили только такія исковыя дѣла, которыя нравились ихъ усмотрѣнію; тѣ же дѣла, которыя ихъ усмотрѣнію не нравились, оставляли безъ производства. Такъ, по взысканію государственнымъ банкомъ 24.000 р. съ одного богатаго купца, полиція шесть лѣтъ не находила времени приступить къ описи имущества должника. Подобнымъ же или приблизительно подобнымъ же образомъ поступила она и въ другихъ двухъ случаяхъ, приведенныхъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ". За то по иску другого купца, она нѣсколько разъ захватывала металлы и механическія орудія Сысертскихъ заводовъ, хотя было извѣстно, что этими металлами и орудіями обезпечивался казенный долгъ. Многіе, быть можетъ, подумаютъ, что во всѣхъ этихъ дѣлахъ примѣшивались и посторонніе, не чуждые корысти, интересы; но такъ какъ на такое предположеніе нѣтъ никакихъ уликъ, то лучше всего объяснить эти дѣйствія безкорыстнымъ желаніемъ придать вящшій блескъ власти. Вотъ, молъ, каковъ я: хочу—произвожу, не хочу—не произвожу!

3) Въ тѣхъ же видахъ, полицейскіе агенты, при возникновеніи жалобъ на неправильность разсчетовъ, производимыхъ горными заводами, разбирательствъ не производили, а просто-на-просто обзывали жалобщиковъ бунтовщиками и, утвердивъ ихъ въ этомъ званіи, поступали какъ съ таковыми, т.-е. сѣкли.

4) Въ тѣхъ же видахъ, аресты производились на скорую руку, такъ, чтобы несомнѣнно было, что не по существу дѣла арестуется человѣкъ, а съ цѣлью приданія власти блеска. Такъ были по одному дѣлу арестованы двое убійцъ, а по разсмотрѣніи дѣла въ судѣ оказалось, что даже самаго факта убійства не существуетъ. Одинъ крестьянинъ, освобожденный судебнымъ слѣдователемъ, былъ снова посаженъ въ тюрьму полиціей. Другой крестьянинъ былъ найденъ въ острогѣ заключеннымъ неизвѣстно за что, когда и по какому дѣлу.

5) Въ тѣхъ же видахъ, полицейскіе агенты поощряли ссылку домашнимъ порядкомъ. За послѣдніе три года выслано изъ Пермской губерніи 1,100 человѣкъ, по приговорамъ обществъ, „продиктованнымъ уѣздными и губернскими властями“, да, кромѣ того, административнымъ порядкомъ сослано около 100 человѣкъ. При этомъ бывали распоряженія о ссылкѣ изъ-за Урала... въ Москву!

6) Въ тѣхъ же видахъ, полицейскіе агенты вмѣшивались въ дѣла сельскихъ обществъ, а именно: а) сдавали отъ себя подрядчикамъ отбываніе дорожной и подводной повинности взамѣнъ отправленія ея натурой; б) разсматривали мірскіе приговоры о сдачѣ питейныхъ заведеній и указывали лицъ, которымъ кабаки должны быть сданы.

7) Въ тѣхъ же видахъ, полицейскіе агенты или вовсе не отвѣчали на запросы властей, или отвѣчали усиленіемъ мѣръ упрочненія. Такъ, напримѣръ, къ верхотурскому исправнику былъ посланъ запросъ по жалобѣ купчихи Шадриной, поданной министру внутреннихъ дѣлъ; но исправникъ ничего на запросъ не отвѣтилъ, и дѣло было сочтено конченнымъ. Другой примѣръ еще поразительнѣе: при проѣздѣ великаго князя Владиміра Александровича, уполномоченный отъ крестьянъ Каслинской волости вмѣстѣ со старшиной, подали его высочеству прошеніе съ жалобой на неисполненіе заводчиками условій и на притѣсненіе отъ мѣстныхъ властей. За это просители просидѣли въ тюрьмѣ два года, такъ какъ слѣдствіе, возбужденное по поводу этого прошенія, производилось не по предметамъ жалобы, а надъ подателями прошенія.

Таково было вліяніе теоріи усиленія единоличной власти на полицейскіе нравы. Что касается до вліянія той же теоріи собственно на населеніе губерніи, то оно выразилось въ слѣдующихъ результатахъ:

1) Число уголовныхъ преступленій въ 1869 году оказалось въ четыре раза больше, чѣмъ въ 1867 году.

2) Изъ числа 65.785 человѣкъ, привлеченныхъ за послѣдніе три года къ слѣдствію, 30.184 человѣка вовсе освобождены судомъ, 24.376 человѣкъ оставлены въ подозрѣніи, и только одна шестая часть обвинена судомъ. Стало быть, пять шестыхъ воротились домой и несомнѣнно обогатили родныя селенія плодами острожной цивилизаціи.

3) Казенныя недоимки увеличились (доказательство, что сѣченіе не увеличиваетъ народной производительности, а, напротивъ того, истощаетъ ее), а въ одномъ изъ уѣздовъ даже образовалось общество неплательщиковъ податей...

Вотъ что происходило въ одной изъ великорусскихъ губерній въ виду реформъ послѣдняго времени, вотъ къ какимъ неожиданнымъ итогамъ можетъ иногда придти жизнь.

Но итоги эти, въ виду той внѣшней, хитросплетенной дѣятельности, которая кишитъ на каждомъ шагу и бьетъ въ глаза всякому, непосвященному въ ея тайны, не могутъ не возбуждать множество вопросовъ самаго болѣзненнаго свойства. Вотъ нѣкоторые изъ этихъ вопросовъ, которые прежде всего представляются уму:

Пермская губернія представляетъ ли исключеніе относительно незащищенности жизни, или ту же самую незащищенность можно встрѣтить (если поискать прилежно) и въ другихъ однородныхъ съ нею мѣстностяхъ, какъ напримѣръ въ губерніяхъ: Пензенской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской и т. д.

Гдѣ кроется источникъ этой незащищенности: въ самой ли жизни, упорствующей въ систематическомъ оголеніи существеннѣйшихъ основъ своихъ, или въ чемъ-нибудь иномъ?

Отчего реформы, несомнѣнно плодотворныя, такъ туго входятъ въ жизнь, что кажутся какъ бы стоящими совершенно особнякомъ отъ дѣйствительныхъ примѣненій?

Отчего въ жизни нѣтъ широкаго основанія, которое одно можетъ сообщить характеръ правды и дѣйствительности всѣмъ отдѣльнымъ попыткамъ, дѣлаемымъ во имя ея освобожденія?

Отчего эти попытки имѣютъ характеръ разбросанности?

Откуда, наконецъ, эта апатія, которая поражаетъ всякаго при самомъ поверхностномъ взглядѣ на русское общество и о которой было достаточно говорено въ предыдущей нашей статьѣ.

Гдѣ же итоги?

Все это такіе вопросы, на которые несомнѣнно отвѣтитъ будущее.

Глава III.

Ежели существуетъ способъ провѣрить степень развитія общества, или, по крайней мѣрѣ, его способность къ развитію, то, ко-

нечно, этотъ способъ заключается въ уясненіи тѣхъ идеаловъ, которыми общество руководится въ данный историческій моментъ. Чему симпатизируетъ общество? чего оно желаетъ? къ чему стремится его мысль? — вотъ вопросы, которыхъ разрѣшеніе съ перваго же раза становится обязательнымъ для историка и изслѣдователя общественной жизни, такъ какъ только на немъ, на этомъ разрѣшеніи, могутъ быть основаны всѣ дальнѣйшіе приговоры и оцѣнки. И благо тѣмъ обществамъ, которыя хоть какой-нибудь отвѣтъ даютъ на эти вопросы; недобро тѣмъ, которыя никакого отвѣта на нихъ дать не могутъ.

Прежде всего, именно нуженъ отвѣтъ. Предположите общество, слѣдующее въ своемъ развитіи самому ложному пути, общество, признающее своимъ идеаломъ обезпеченіе правъ меньшинства цѣною безправности массъ—вы, конечно, будете вправѣ сказать, что этотъ идеалъ неудовлетворителенъ и даже опасенъ, но въ то же время вы все-таки должны будете сознаться, что передъ вами стоитъ не безразличная масса, а юридическое лицо, которое способно защищать свои убѣжденія и понимать силу и послѣдствія своихъ поступковъ. Тутъ есть возможность для порицанія, для опроверженій и споровъ, а слѣдовательно и для оцѣнки. Но предположите такое общество, которое не свидѣтельствуетъ ни о правильномъ, ни о ложномъ развитіи, которое просто-на-просто представляетъ массу бродячихъ элементовъ, не знающую никакихъ идеаловъ и въ то же время настолько компактную, что, въ смыслѣ орудія, она можетъ оказывать дѣйствіе очень рѣшительное,—и вы навѣрное скажете, что это общество или совсѣмъ безнадежное, или такое, которое не вышло еще изъ до-исторической эпохи своего существованія.

Чтобъ убѣдиться въ правильности этого приговора, стоитъ только оглядѣться кругомъ себя и попристальнѣе вникнуть въ ежедневную практику личныхъ отношеній. Какіе люди представляются на практикѣ самыми безполезными?—это люди, которые не имѣютъ яснаго отправного пункта для оцѣнки требованій жизни и опредѣленія своихъ отношеній къ ней. Съ какими людьми сношенія принимаютъ не только безсодержательный, но даже просто невыносимый характеръ?—опять-таки съ тѣми же, живущими безсознательною жизнью людьми. Наконецъ, какихъ людей всего болѣе есть основаніе опасаться?—и тутъ, прежде всего, бросаются въ глаза тѣ вялые и без-

цвѣтные субъекты, движенія которыхъ ничѣмъ не обусловливаются, кромѣ вспышекъ темперамента. Человѣку, который бродитъ, не видя передъ собой цѣли и не зная куда онъ прибредетъ, невозможно довѣрить никакого общественнаго интереса. Съ человѣкомъ, который не въ силахъ ничего сказать, нельзя имѣть не только дѣйствительнаго обмѣна мыслей, но даже и такого, къ которому было въ обычаѣ приглашать поголовно всѣхъ гулящихъ русскихъ людей въ памятную для насъ эпоху всероссійскаго либерализма. На человѣка, который представляетъ собою пустое мѣсто, не только нельзя возлагать упованій, но даже остеречься отъ него трудно, потому что никто не можетъ опредѣлить, что̀ заползетъ въ эту пустоту, и что̀ изъ нея выйдетъ, привѣтственный ли звукъ, или змѣиное шипѣніе, или просто дурацкое мычаніе. Тутъ все загадка, и притомъ такая, на разрѣшеніе которой сколько бы ни потратилось ума, все-таки никакой разгадки не получится. Самыя антипатичныя другъ другу убѣжденія могутъ имѣть общую почву — почву разума, заблуждающагося или идущаго вѣрно; но при встрѣчѣ убѣжденія съ отсутствіемъ такового возможность общей почвы исчезаетъ совершенно, и человѣку убѣжденному, очутившемуся среди людей, нетронутыхъ сознаніемъ, остается только умолкнуть, предаться физіологическимъ отправленіямъ и выжидать, что̀ будетъ дальше...

Такимъ образомъ, вопросъ объ общественныхъ симпатіяхъ и идеалахъ выдвигается самъ собою и становится единственнымъ исходнымъ пунктомъ для правильнаго формулированія всѣхъ послѣдующихъ сужденій и оцѣнокъ.

Къ сожалѣнію, не далѣе какъ по поводу французско-прусской войны, мы видѣли очень рѣзкій и замѣчательный примѣръ практическаго безсилія общественныкъ симпатій. Что общественное мнѣніе наше довольно живо интересовалось этимъ громаднымъ историческимъ фактомъ—это можетъ засвидѣтельствовать каждый, переживший семь мѣсяцевъ, въ продолженіе которыхъ длилась война. Можно, пожалуй засвидѣтельствовать даже, что общій тонъ симпатій былъ правильный, и что безчисленные иксы и зеты, встрѣчаясь другъ съ другомъ на улицѣ, разсуждали о текущихъ событіяхъ очень умно и „отрадно“. Но какую же силу можетъ имѣть подобное свидѣтельство? оставляетъ ли оно по себѣ слѣды настолько прочные, чтобы исторія могла сослаться на него и вывести изъ него вполнѣ достовѣрныя заключенія?

Отвѣтъ на эти вопросы, кажется, не подлежитъ сомнѣнію: нѣтъ, никакой силы подобное свидѣтельство не имѣетъ, ибо въ основаніи его лежитъ не практическій фактъ, а только личныя наблюденія и оцѣнки. Для очевидцевъ-современниковъ еще можетъ быть несомнѣннымъ, что русское общество въ данную минуту жило подъ вліяніемъ извѣстныхъ интересовъ, что оно горячо принимало ихъ къ сердцу и волновалось ими; но вѣдь историкъ убѣждается въ жизненности того или другого явленія лишь тогда, когда въ основаніи его найдетъ практическій фактъ. Для современниковъ еще есть возможность привести въ нѣкоторый порядокъ массу встрѣчныхъ мнѣній и толковъ, имѣющихъ ходъ на улицѣ, и даже опредѣлить довольно вѣрно, въ какую сторону клонились общественныя симпатіи; но для исторіи и тутъ не можетъ быть яснаго просвѣта, потому что она имѣетъ дѣло лишь съ голословнымъ преданіемъ, котораго не въ состояніи очистить отъ случайныхъ примѣсей. Положимъ, что, кромѣ предапія, имѣется еще свидѣтельство органовъ русской мысли и слова, но, говоря по совѣсти, это послѣднее свидѣтельство скорѣе говоритъ въ пользу безсилія, нежели силы нашихъ общественныхъ симпатій. Вѣдь дѣло не въ томъ, какъ мыслили объ извѣстномъ предметѣ X. или Z., или что говорилось объ этомъ въ такомъ-то литературномъ органѣ, а въ томъ, какъ вліяли эти мнѣнія на общій установъ жизни. Какъ вліяли? — никакъ. Кого они поддержали и ободрили?—никого. Что же можетъ сказать исторія въ виду подобной безрезультатности общественныхъ симпатій?—Очевидно, она можетъ сказать одно: есть поводъ думать, что въ данную минуту въ такомъ-то вопросѣ симпатіи русскаго общества склонялись въ пользу такой-то стороны; но были ли эти симпатіи сознательны, или же онѣ представляли лишь плодъ легкомыслія —этого опредѣлить невозможно, потому что никакихъ практическихъ послѣдствій господствовавшаго въ то время сочувственнаго движенія —по документамъ не оказалось.

Между тѣмъ едва-ли кто будетъ отрицать, что для насъ вопросъ о торжествѣ той или другой стороны въ упомянутой выше распрѣ есть вопросъ существенной важности. И притомъ не только съ точки зрѣнія общечеловѣческихъ интересовъ, которые тутъ замѣшаны и которыхъ пониманіе, быть можетъ, не для всѣхъ доступно (а для общества, мимоходомъ сказать, они-то всего и важнѣе), но и съ точки зрѣнія политическо-государственной, которая мало кому недоступна. И

общество наше чувствовало это и понимало, что между будущими политическими судьбами Россіи и тѣмъ или другимъ разрѣшеніемъ франко-германскаго вопроса имѣется связь очень существенная. Очевидцы-современники могутъ засвидѣтельствовать, что въ теченіе семи мѣсяцевъ нашъ воздухъ былъ буквально пасыщенъ проектами всевозможныхъ союзовъ, поступательныхъ и оборонительныхъ войнъ, трактатовъ и т. д. Но для исторіи это движеніе, несмотря на свою несомнѣнность, все-таки должно остаться загадкой, по той простой причинѣ, что совершенно невозможно объяснить себѣ, почему движеніе, повидимому сильное, такъ и осталось движеніемъ и, несмотря на жизненность своей подкладки, не оказало никакого практическаго давленія. И волею-неволею она должна будетъ заключить, что русское общество переживало времена до-историческія, къ которымъ никакія оцѣнки непримѣнимы.

Впрочемъ о французско-германской распрѣ можно еще сказать (хотя и совершенно несправедливо), что это вопросъ для насъ посторонній; но сколько же есть такъ-называемыхъ внутреннихъ вопросовъ, которыхъ близости никто не можетъ отвергнуть и въ которыхъ тяготѣніе общественнаго мнѣнія чувствуется столь же слабо, какъ и въ вопросѣ французско-германскомъ. Возьмемъ для примѣра хоть вопросъ о классическомъ и реальномъ образованіи. Повидимому, здѣсь вторженіе общественнаго мнѣнія выразилось нѣсколько назойливѣе, нежели въ другихъ случаяхъ (превосходство реальнаго образованія доказывалось даже самоубійствами); но чего же, въ концѣ концовъ, добилось общество, кромѣ горькаго сознанія своей назойливости и совершенной ея безплодности?

Предположимъ, однакожъ, что всѣ эти симпатіи и антипатіи представляютъ въ жизни общества нѣчто эпизодическое, что оно, независимо отъ нихъ, можетъ разрабатывать извѣстныя историческія задачи, имѣющія значеніе абсолютное, а не преходящее. Какъ ни мало вразумительно это разграниченіе абсолютнаго и условнаго въ примѣненіи къ общественному организму, но допустимъ даже безсмыслицу, согласимся на минуту, что общество можетъ достигать извѣстныхъ цѣлей въ будущемъ; даже и въ томъ случаѣ, когда оно на каждомъ шагу противорѣчитъ этимъ цѣлямъ въ настоящемъ и дѣлаетъ все возможное, чтобъ подорвать ихъ — все-таки прежде всего приходится разрѣшить вопросъ, въ чемъ же заключаются эти

цѣли будущаго? чего желаетъ общество? Къ чему стремится его интимная мысль?

Но здѣсь мы больше чѣмъ гдѣ-либо вступаемъ въ область догадокъ и недоумѣній. На встрѣчу намъ возстаетъ цѣлая масса такъ-называемыхъ задачъ будущаго; но эта масса, къ сожалѣнію, сплошь состоитъ изъ однихъ общихъ мѣстъ, и даже не изъ общихъ мѣстъ, а просто изъ отрывочныхъ звуковъ. Одни видятъ разгадку будущихъ русскихъ судебъ въ словѣ „цѣльность“, другіе—въ словѣ „смиреніе“, третьи—въ словѣ „любовь“; четвертые, наконецъ, даже не даютъ себѣ труда порыться въ лексиконѣ, а просто-на-просто сулятъ слово новое, неслыханное. Какія возможны практическія примѣненія для всѣхъ этихъ загадочныхъ опредѣленій? И ежели даже отложить въ сторону вопросъ о примѣненіяхъ насущныхъ, если представить себѣ, что общество обязано терпѣливо выносить временныя невзгоды и неудобства въ виду грядущихъ идеаловъ, то какой же идеалъ можетъ осуществить собой, напримѣръ, „смиреніе“? способно ли политически существовать общество или государство, поставившее себѣ цѣлью подобный идеалъ?

„Смиреніе“ приводится здѣсь потому, что оно все-таки представляетъ идеалъ болѣе практическій, нежели, напримѣръ, „цѣльность“, „любовь“, „новое слово“ и т. п. „Смиреніе“ не безъ примѣровъ въ прошломъ, а при извѣстной суммѣ усилій къ нему можно, пожалуй, придти и въ будущемъ. Самое совершенное, практическое примѣненіе этого идеала было уже осуществлено исторіей въ крѣпостномъ правѣ; но ежели вглядѣться въ это явленіе попристальнѣе, то окажется, что даже въ его основѣ лежало не столько смиреніе, сколько принужденіе. Смиреніе было лишь исходнымъ пунктомъ, изъ котораго впослѣдствіи распустилось пышнымъ цвѣткомъ крѣпостное право; но поддерживалось и питалось оно исключительно принужденіемъ. Еслибъ это было иначе, не предстояло бы надобности возбуждать вопросъ объ упраздненіи крѣпостного права, ибо смиреніе есть вещь, которая никогда никому не возбранялась да и возбранять ее выгоды нѣтъ. Но дѣло въ томъ, что смиреніе ни во что другое не можетъ развиться, какъ только въ крѣпостное право; а слѣдовательно ежели вновь возвести его на степень общественнаго идеала, то придется опять быть свидѣтелемъ порожденія крѣпостного права, а затѣмъ и опять хлопотать объ его упраздненіи. Сколько переполо-

ховъ, хлопотъ, экзекуцій! Во имя чего?—не во имя того, чтобы впослѣдствіи имѣть право сказать: этихъ людей сѣкли, дабы они умѣли пользоваться дарами свободы и насладились плодами матеріальнаго и нравственнаго обезпеченія, а для того, чтобы сказать: этихъ людей сѣкли, дабы они были смиренными. Что жъ дальше? Какія практическія послѣдствія этого идеала, кромѣ всеобщаго обезличенія и обнищанія? Стоитъ ли хлопотать изъ-за этого?

Но не въ томъ еще дѣло, что идеалы, на которые указываетъ общественное мнѣніе и литература, негодны, а въ томъ, что ежели, напримѣръ, говорятъ, что задача русскаго общества заключается въ осуществленіи „цѣльности“ жизни, то вопросъ: въ чемъ же состоитъ задача русскаго общества?—все-таки остается открытымъ. Подобнаго признака исторія не только не можетъ принять въ соображеніе при опредѣленіи стремленій и желаній общества въ данную минуту, но не имѣетъ права даже останавливаться на немъ. Въ глазахъ ея это не признакъ, а празднословіе — и ничего больше. Поэтому все, что она можетъ сдѣлать въ виду подобныхъ отвѣтовъ — это сказать: въ такую-то эпоху русское общество, быть можетъ, и обладало какими-либо политическими и соціальными идеалами, но, за невозможностью формулировать ихъ, ограничивалось лишь нѣкоторыми загадочными выраженіями, думая, конечно, замѣнить ими тѣ конкретныя представленія, которыя одни могутъ служить цѣлью для общественныхъ стремленій. Или, выражаясь точнѣе, общество обманывало само себя, окружая призраками свое настоящее и запутывая ими свое будущее.

И такъ, несмотря на изобиліе отвѣтовъ, настоящаго, дѣльнаго отвѣта все-таки нѣтъ. Слѣдуетъ ли изъ этого заключать, что русское общество живетъ вовсе безъ желаній, безъ идеаловъ?—Само собой разумѣется, что нѣтъ, ибо допустить подобное предположеніе значило бы допустить исключеніе русскаго общества изъ общечеловѣческой семьи, а это было бы слишкомъ ужъ опрометчиво. Мы помнимъ даже одинъ моментъ (и очень недавній), когда можно было уловить очертанія нашихъ общественныхъ желаній и стремленій, но, къ сожалѣнію, моментъ этотъ былъ такъ коротокъ, что не успѣли мы оглянуться, какъ очертанія стерлись, а на мѣсто ихъ снова выступили: смиреніе, любовь, цѣльность да загадочное „новое слово“. То-есть, опять наступили времена до-историческія.

Тѣмъ не менѣе не слѣдуетъ забывать, что такой моментъ, когда

общественныя желанія изъ области безформенности готовы были вступить на почву практическую, существовалъ несомнѣнно. И на первыхъ порахъ эти желанія выразились очень конкретно и ясно: въ упраздненіи крѣпостного права и въ учрежденіи правильнаго суда. Общія мѣста и забористаго свойства слова были на время покинуты. Не было рѣчи ни о смиреніи, ни о цѣльности, ни о любви, потому что для пустословія нѣтъ мѣста тамъ, гдѣ предстоитъ прямое практическое дѣло.

Какое же, однако, можно вывести отсюда заключеніе отпосительно идеаловъ русской жизни?

Покуда заключеніе можетъ быть только слѣдующее: что русскіе общественные идеалы не противорѣчатъ идеаламъ общечеловѣческимъ, и что они, точно также какъ и послѣдніе, лежатъ на реальной почвѣ. Но въ чемъ именно заключается полнота этихъ идеаловъ и выяснится ли она когда-нибудь настолько, насколько, напримѣръ, выяснились идеалы французскаго общества—это и подпесь остается загадкою.

Есть мнѣніе, довольно распространенное, которое указываетъ на послѣдніе успѣхи нашей жизни какъ на фактъ, свидѣтельствующій о достиженіи нами общественнаго идеала. Но, признавая всю несомнѣнность упомянутыхъ успѣховъ, всю благотворность ихъ вліянія на жизнь, едва-ли можно остановиться на мысли о такой ихъ непреложности, которая позволила бы счесть прогрессъ завершоннымъ. Сомнѣнія, которыя при этомъ возникаютъ, совсѣмъ не плодъ капризной и прихотливой мысли, но прямо вытекаютъе изъ практики. Жизнь хороша и привольна — слова нѣтъ; но все же нельзя не сознаться, что и въ этой привольной жизни кое-чего недостаетъ. Недостаетъ, напримѣръ, возможности знать, чего мы желаемъ, къ чему стремимся, чему симпатизируемъ. Допустимъ даже, что это требованіе прихотливое, но не забудемъ и того, что множество требованій, которыя считались прихотливыми относительно обществъ до-историческихъ, дѣлались совершенно законными и естественными, какъ скоро тѣ же самыя общества вступали въ историческій періодъ своего существованія.

Самый существенный интересъ для общества заключается въ познаніи самого себя, своихъ силъ, симпатій и цѣлей, а пожалуй даже и въ уясненіи искомаго новаго слова. Это первый признакъ и притомъ единственное прочное доказательство его дѣйствительнаго вступ-

ленія на стезю исторической жизни. Обладаемъ ли этимъ самопознаніемъ? и ежели обладаемъ, то почему же оно высказывается до того неслышно, что высказъ этотъ не оставляетъ по себѣ никакихъ слѣдовъ?—Покуда этотъ вопросъ тяготѣетъ надъ нами, мы едва-ли будемъ правы, свидѣтельствуя во всеуслышаніе о нашемъ обновленіи.

Къ сожалѣнію, общество наше выдержало въ прошедшемъ такую тяжелую школу, что даже первые, частные признаки обновленія уже пресытили и утомили его. Блеснувшія на горизонтѣ лучезарныя точки ослѣпили; шорохъ, произведенный зачатками движенія—оглушилъ. Простыя просѣки оно приняло за окончательную цѣль задачи своего существованія и, прорубивъ ихъ, успокоилось. Признаки этого успокоенія или, лучше сказать, утомленія мы увидимъ вездѣ, если будемъ смотрѣть непредубѣжденными глазами. Да это и неудивительно, потому что приступъ къ дѣлу никогда не можетъ быть равносиленъ его разрѣшенію, а дѣятельность, вращающаяся исключительно около этого приступа и не идущая далѣе, никогда не удовлетворитъ настоятельнѣйшей и законнѣйшей потребности человѣка: потребности развитія. Слѣдовательно, прежде всего необходимо, чтобы общество наше, несмотря на сдѣланныя уже имъ попытки въ смыслѣ обновленія, все-таки серьезно спросило себя: чего оно хочетъ, чему симпатизируетъ и къ чему стремится...

И вотъ, когда оно предложитъ себѣ этотъ вопросъ не для шутки когда оно серьезно сочтетъ себя обязаннымъ отвѣтить на него, тогда можно будетъ оцѣнить, каковъ будетъ этотъ отвѣтъ и есть ли возможность видѣть въ немъ признакъ дѣйствительнаго обновленія...

Глава IV.

Стало быть, ежели нѣтъ возможности формулировать, чего мы желаемъ, что любимъ, къ чему стремимся, и ежели, притомъ (какъ это доказала ревизія Пермской губерніи), несмотря на благодѣянія реформъ, человѣкъ, выходя изъ дому съ твердымъ намѣреніемъ буквально исполнять всѣ требованія закона, все-таки не можетъ заранѣе опредѣлить, въ какомъ видѣ воротится онъ домой: высѣченнымъ или помилованнымъ, то понятное дѣло, что горячиться и поднимать вопли энтузіазма не изъ чего.

Мы и не горячимся, но поступаемъ такъ, какъ бы и вѣкъ намъ предстояло не знать, будемъ ли мы высѣчены, или помилованы.

Столь резонное отношеніе къ суетѣ сего міра до крайности упрощаетъ наше положеніе. Оно вычеркиваетъ изъ нашего лексикона множество совсѣмъ ненужныхъ словъ („отвѣтственность“, „обязанность“ и т. п.); оно упраздняетъ всякія сомнѣнія насчетъ будущаго, слѣдовательно отгоняетъ отъ насъ и заботу, эту мучительницу человѣка, не перестающую преслѣдовать его съ той самой минуты, какъ только онъ начинаетъ сознавать свое положеніе. Мы никакихъ положеній не сознаемъ, а потому ни о чемъ не заботимся, ничего не боимся, ни къ чему не обязываемся и ни за что не отвѣчаемъ. Мы просто-на-просто „благополучно почиваемъ“.

Призовите на помощь самую крайнюю утопію, и вы не найдете ничего, что̀ могло бы сравниться съ утопіей, ежедневно развертывающейся передъ вашими глазами. Жизнь, текущая по маслу, жизнь, сложившаяся такъ прочно, что стихіи, ее составляющія, дѣйствуютъ съ математическою точностью, не перебивая и не перевѣшивая другъ друга, жизнь, которой русло навсегда обезпечено отъ измѣненій, жизнь безъ заботъ, съ однимъ пѣніемъ и танцами — развѣ это не утопія изъ утопій! Насъ стращаютъ именами Кабе́ и Фурье, намъ представляютъ какое-то пугало въ видѣ фаланстера, а мы споконъ вѣку живемъ въ фаланстерѣ, и даже не чувствуемъ этого? Не чувствуемъ, потому что къ фаланстеру Фурье надо пройти черезъ множество разнообразныхъ общественныхъ комбинацій, составляющихъ принадлежность періода цивилизаціи, а нашъ фаланстеръ самъ подкрался къ намъ, помимо всякихъ комбинацій, и слѣдовательно достался, такъ сказать, даромъ, безъ всякой цивилизаціи...

То нравственное равновѣсіе, которое, по предположенію Фурье, достигается при посредствѣ гармонической игры страстей, давнымъ-давно нами достигнуто и воплощено путемъ гораздо кратчайшимъ: путемъ крѣпостного права. Не надо забывать, что хотя крѣпостное право не только не поощряло игру страстей, но даже безусловно преслѣдовало всякія азартныя игры, но это ограниченіе отнюдь не исключало возможности гармоніи. Страсти не играли, но взамѣнъ того регулировались, и такъ какъ регуляризація эта, для бо̀льшей вѣрности, была сосредоточена въ одномъ лицѣ (помѣщикѣ), то весьма естественно, что для прочихъ членовъ крѣпостного фаланстера остава-

лось одно: равновѣсіе души. Идя другимъ путемъ, вступая въ храмъ гармоніи съ задняго крыльца, мы тѣмъ не менѣе имѣли полное право кичиться, что главная цѣль цами достигнута. Это была дѣйствительная гармонія тишины, порядка и безпечности. Объ угрозахъ будущаго не могло быть и рѣчи, потому что когда люди уже стоятъ на точкѣ нравственнаго равновѣсія, тогда имъ море по колѣна, а слѣдовательно необезпеченность вполнѣ равняется обезпеченности. Если человѣкъ совершенно увѣренъ въ необезпеченности своего завтрашняго дня, то это все равно какъ бы онъ былъ совершенно увѣренъ въ его обезпеченности. Увѣренность—вотъ главное; съ исчезновеніемъ ея начинается смута. Несчастіе человѣка, стоящаго между двумя фаланстерами, крѣпостнымъ и гармоническимъ, въ томъ собственно и заключаются, что въ немъ уже поколебалась увѣренность, что онъ уже можетъ нѣчто подозрѣвать и о чемъ-то безпокоиться. Онъ еще не достигъ дѣйствительнаго нравственнаго равновѣсія, но въ то же время уже вышелъ изъ состоянія тѣла, перебрасываемаго изо дня въ день по прихоти вѣтровъ. Ясно, что онъ долженъ быть несчастливымъ, и что несчастіе его начинается именно съ той минуты, когда ему приходится жить за свой собственный счетъ.

Поколебалась ли эта увѣренность въ современномъ русскомъ обществѣ? На этотъ вопросъ одни отвѣчаютъ утвердительно, другіе — отрицательно. Но разногласіе по вопросу столь существенному уже само по себѣ дурной признакъ. Стало быть, дѣло это не для всѣхъ одинаково ясно, стало быть есть въ немъ нѣчто сомнительное, коль скоро возможна не только постановка вопросовъ по его поводу, но и разнообразное ихъ разрѣшеніе. Допустимъ даже за вѣрное, что нѣкоторая свобода прозрѣвать въ будущемъ и народилась, но если признаки этого нарожденія не настолько ясны, чтобъ устранить всякій поводъ игнорировать ихъ, то очевидно, что рѣшительный шагъ въ этомъ смыслѣ—еще впереди.

Утвердительный отвѣтъ въ пользу выхода изъ періода обезпеченной необезпеченности почти всегда исходитъ изъ лагеря нашихъ патентованныхъ прогрессистовъ. Это люди преимущественно склонные идти впередъ „въ надеждѣ славы и добра“. Ретрограды и консерваторы въ этихъ случаяхъ обыкновенно помалчиваютъ или коварно улыбаются.

Прогрессисты—люди восторженные и чувствительные. Уста ихъ

легко наполняются болтовнею, сердца—вздохами, глаза — слезами. По самомалѣйшему поводу, они готовы воскликнуть: „нынѣ отпущаеши“... но съ тѣмъ однакожъ, чтобъ ихъ не отпустили. И такъ какъ ихъ дѣйствительно не отпускаютъ (это въ своемъ родѣ люди полезные, ибо ими гнилые заборы подпирать можно), то восторженность ихъ сердецъ идетъ все crescendo и crescendo, и подъ конецъ даже не всегда остается въ предѣлахъ опрятности. Начинаются безконечные разговоры о какомъ-то знамени, которое слѣдуетъ держать твердо и бодро, и не менѣе безконечныя инсинуаціи насчетъ неблагонадежныхъ элементовъ, наплывъ которыхъ якобы не слѣдуетъ допускать...

Представьте себѣ дворовaго человѣка, воспитаннаго въ суровой школѣ холопства, которому вдругъ подарили сюртукъ съ барскаго плеча—и вы получаете ключъ къ разгадкѣ той хронической пламенности, которою обуреваются наши патентованные прогрессисты. До „сюртука“ дворовый человѣкъ жилъ своею обычною, спокойною жизнью: онъ чистилъ ножи, подавалъ тарелки, топилъ печи—и во всемъ этомъ видѣлъ не что иное, какъ заурядное исполненіе той обязанности, которую, volens-nolens, онъ выполнить долженъ. И вдругъ въ его жизнь врывается „сюртукъ“ и въ одно мгновеніе ока производитъ волшебное превращеніе не только въ наружномъ видѣ, но и во всемъ внутреннемъ существѣ дворовaго человѣка. Онъ не ожидалъ... онъ не былъ приготовленъ... онъ даже сомнѣвается, точно ли онъ достоинъ... А кровь такъ и приливаетъ къ головѣ, а сердце такъ и саднитъ отъ наплыва какого-то невѣдомаго чувства. И вотъ, весь просвѣтленный и недоумѣвающій, онъ начинаетъ слагать гимнъ. Первыя строфы гимна робки, а потому не вполнѣ противорѣчатъ здравому смыслу; но чѣмъ дальше идетъ работа славословія, тѣмъ больше и больше опьяняется творецъ его, опьяняется не виномъ, а собственнымъ своимъ просвѣтлѣніемъ. Онъ говоритъ, что душа безсмертна, и что тарелку надлежитъ подавать съ благоговѣніемъ. Онъ не говоритъ, а кричитъ. Онъ называетъ себя червемъ ползущимъ; онъ свидѣтельствуетъ о своемъ недостоинствѣ и произноситъ клятвы, которыя могутъ опалить не совсѣмъ осторожнаго прохожаго. Отъ окончательнаго кощунства спасаетъ его только чищеніе ножей, которое, къ счастію, не прекращаетъ своего дѣйствія. Оно одно приводитъ его въ себя и предохраняетъ его сердце отъ разрыва.

Примѣните сейчасъ написанную картину къ современнымъ русскимъ прогрессистамъ—и вы поймете, что эти послѣдніе тоже получили „сюртукъ“; а такъ какъ онъ былъ ими незаслуженъ, то тотчасъ же захмелѣли. Ничтожество ихъ основныхъ притязаній къ жизни было таково, что свалившійся съ неба подарокъ разомъ исчерпалъ все содержаніе ихъ существованія. Въ строгомъ смыслѣ нельзя даже сказать, чтобъ они когда-нибудь имѣли какія бы то ни было притязанія. Они наравнѣ съ прочими подавали тарелки, и только по недоразумѣнію считали себя прикомандированными къ какимъ-то вопросамъ, преимущественно же къ вопросу о крѣпостномъ правѣ. Но въ этомъ случаѣ слово претило имъ гораздо больше, нежели самая вещь, нежели та совокупность разнообразнѣйшихъ отношеній, которая за этимъ словомъ скрывалась. Они ухитрились замежевать понятіе о крѣпостномъ правѣ въ самыя тѣсныя границы и сообщить ему чисто спеціальное значеніе, не имѣющее никакой органической связи съ общимъ строемъ жизни. Понятно, что при такой упрощенности запросовъ отвѣчать на нихъ, и даже съ нѣкоторой наддачею, не стоило большого труда. И дѣйствительно, отвѣтъ послѣдовалъ скоро, но на первыхъ же порахъ наполнилъ сердца прогрессистовъ не торжествомъ, а какою-то странною смутою. Имъ и радостно было, что предметъ ихъ многолѣтняго будированія наконецъ осуществился, и въ то же время жалко было самого процесса будированья, для котораго не было уже пищи. А между тѣмъ это будированье давало имъ хорошее положеніе въ обществѣ, окружало ихъ обаяніемъ и въ особенности располагало къ нимъ женскія сердца. Никогда оно не заключало въ себѣ ничего рѣзкаго, никогда не выходило изъ предѣловъ тихаго курлыканья благовоспитанныхъ каплуновъ—и вдругъ всякій поводъ для курлыканья исчезъ...

Вотъ тогда-то явились на выручку энтузіазмъ и сокрушеніе о своемъ недостоинствѣ. Старики воспламенились, вскипѣли и, не говоря дурного слова, стали обзывать себя червями ползущими, а прохожихъ упрекать въ неблагодарности. Они поняли, что питающійся восклицательными знаками энтузіазмъ столь же дешевъ, какъ и питавшееся восклицательными же знаками фрондерство,—и безъ оглядки пустились по новому пути. И благо имъ, потому что операція эта возстановила упавшій кредитъ ихъ и крѣпче прежняго утвердила ихъ положеніе въ обществѣ. Теперь они на всѣхъ перекресткахъ кри-

чатъ: „мы и мечтать не смѣли!“ — и когда посторонніе люди просятъ ихъ успокоиться и придти въ себя, они на всѣ увѣщанія даютъ одинъ и тотъ же отвѣтъ: „мы и мечтать не смѣли!“

Источникъ энтузіазма былъ искусственный, развитіе его — неожиданно; но восторженность имѣетъ то свойство, что питаетъ сама себя, и потому нерѣдко достигаетъ предѣловъ разпузданности. При такихъ условіяхъ, въ воображеніи прогрессистовъ происходитъ нѣчто подобное тому, что происходитъ въ природѣ въ лунную ночь, когда тѣни отъ предметовъ разростаются до невѣроятныхъ размѣровъ, каналы кажутся акведуками, будки — дворцами, груды камней — монументами. „Мы и мечтать не смѣли!“ — этого одного достаточно, чтобы поставить вопросъ о человѣческой автономіи внѣ споровъ. Да, современный человѣкъ уже вступилъ въ періодъ совершеннолѣтія и самостоятельной дѣятельности; онъ получилъ то, „о чемъ мы даже мечтать не смѣли“, а потому на него же должна пасть и отвѣтственность за будущія его судьбы...

Такъ повѣствуютъ прогрессисты, и любопытно видѣть и слышать, какъ они бьютъ себя въ грудь, доказываютъ, перечисляютъ. Съ какимъ наивнымъ нахальствомъ даютъ они понять, что если бы не они, то общество осталось бы ни при чемъ; съ какимъ простодушнымъ лукавствомъ намекаютъ, что и въ будущемъ кой-чего отъ нихъ ожидать можно. Только не вдругъ — это главное; потому что если будемъ слишкомъ натягивать струны, то онѣ могутъ лопнуть.

Эти оговорки необходимы. „Не вдругъ!“ — это цѣлая философская система; это гора будущаго, которая можетъ разродиться мышью, но въ которой могутъ скрываться и алмазныя копи. Ждите сколько угодно — „не вдругъ“ всегда и на всѣ вопросы будетъ отвѣтомъ своевременнымъ и вполнѣ цѣлесообразнымъ. Кто знаетъ, можетъ быть, оно, это неизвѣстное, должно черезъ минуту разрѣшиться, а тутъ какой-нибудь петербургецъ, презрѣвшій теорію „не вдругъ“, испортитъ все дѣло! Стало быть, лучше всего ждать и вѣрить, вѣрить и ждать...

Но надо же знать, чего ждать. Если періодъ обезпеченной необезпеченности подлинно упразднился, то надо указать на несомнѣнные признаки этого упраздненія. Все это необходимо не въ видахъ удовлетворенія пустой прихоти людей, а въ видахъ утвержденія въ нихъ вѣрованій и надеждъ. И что же? Тутъ-то именно и высказы-

вается ахиллесова пята нашихъ прогрессистовъ, или, лучше сказать, тутъ-то каждый изъ нихъ всецѣло, всѣмъ существомъ своимъ, оказывается сплошною ахиллесовою пятою. „Мы и мечтать не смѣли!“ говорятъ они, но развѣ это отвѣтъ? Вы не смѣли мечтать,—ну и продолжайте не смѣть, но отчего же не мечтать другимъ?

Приверженность къ восклицательнымъ знакамъ и стремленіе замѣнить ими опредѣленность и трезвость рѣчи составляютъ типическую черту нашихъ прогрессистовъ-энтузіастовъ. Несмотря на клятвенныя увѣренія, что все совершающееся и могущее совершиться какъ нельзя болѣе ясно,—людямъ, не развращеннымъ напускною восторженностью, не безъ основанія кажется, что это ясность мнимая, могущая существовать только въ такихъ головахъ, въ которыхъ никогда не о чемъ дѣйствительно яснаго представленія не было. И еще сдается, что всѣ эти quasi-восторженные субъекты суть не что иное, какъ порожніе сосуды, которые въ свое время наполнялись будированіемъ, теперь наполняются энтузіазмомъ, а завтра будутъ наполняться... чѣмъ Богъ послалъ.

Какъ бы то ни было, но разнузданность энтузіазма отнимаетъ у нашей прогрессистской пропаганды всякую убѣдительность. Увѣренность, что русское общество безвозвратно вышло изъ состоянія необезпеченности, въ которомъ оно находилось во время существованія крѣпостного равновѣсія души, встрѣчаетъ совсѣмъ не такъ много прозелитовъ, какъ это было бы желательно. Жалѣть ли объ этомъ?—конечно, жалѣть.

Жалѣть объ этомъ слѣдуетъ тѣмъ болѣе, что рядомъ съ мнѣніемъ патентованныхъ прогрессистовъ существуютъ мнѣнія совершенно имъ противоположныя. Они утверждаютъ, что крѣпостной фаланстеризмъ продолжаетъ проникать собой всѣ явленія общественной жизни; что онъ только лишился прежняго плотнаго центра, но въ разлитомъ видѣ едва-ли не представляетъ еще больше угрозъ. Жалѣть ли о томъ, что подобныя мнѣнія существуютъ?—опять-таки само собой разумѣется, что жалѣть слѣдуетъ...

Но не надо забывать при этомъ, что существенная причина разногласія все-таки заключается въ томъ туманѣ, который окружаетъ вопросъ, самъ по себѣ очень простой и ясный. Вопросъ этотъ формулируется такъ: можетъ ли современный человѣкъ, независимо отъ угрозы, представляемой перспективою естественной смерти, провидѣть сегодня, что случится съ нимъ завтра? Разрѣшите этотъ вопросъ не

голословными утвержденіями или отрицаніями, а на основаніи фактовъ, которыхъ конкретность не подлежитъ сомнѣнію, — и будьте увѣрены, что всѣ разногласія упадутъ сами собою.

На дняхъ мнѣ случилось провести вечеръ въ очень интересномъ обществѣ. Тутъ было цѣлыхъ четыре столоначальника: одинъ изъ нихъ служитъ въ департаментѣ недоумѣній и оговорокъ; другой — въ департаментѣ дивидендовъ и раздачъ; третій — въ департаментѣ отказовъ и удовлетвореній; четвертый — въ департаментѣ изысканія источниковъ и наполненія безднъ. Народъ все бодрый и прогрессистъ. Присутствовалъ еще дѣлопроизводитель изъ департамента любознательныхъ производствъ; но тотъ болѣе молчалъ и, подъ видомъ раскладыванія гранъ-пасьянса, съ большимъ тактомъ прислушивался.

Каждый изъ столоначальниковъ удостовѣрялъ, что дѣятельность въ его департаментѣ кипитъ. Одинъ разсказывалъ, что коммиссія „по части приведенія въ надлежащій видъ оговорокъ“ должна на дняхъ выдать шестьдесятъ первый томъ своихъ трудовъ. Другой сообщалъ, что коммиссія „о наилучшемъ и наиоспѣшнѣйшемъ пополненіи безднъ“, окончивъ сто-первый томъ своихъ трудовъ, заключила: приступить къ новому разсмотрѣнію собранныхъ матеріаловъ и для сего образовать новую коммиссію, старую же упразднить, сохранивъ членамъ ея присвоенные имъ оклады содержанія. Третій повѣствовалъ, что хотя ихъ департаментъ нѣсколько отсталъ отъ прочихъ, но, со вступленіемъ новаго директора, коммиссія „о преподаніи большей вразумительности и быстроты отказамъ“, въ теченіе какого-нибудь мѣсяца, уже успѣла выработать обширный трудъ, подъ названіемъ: „Взглядъ на причины“, который и будетъ на сихъ дняхъ отпечатанъ въ трехъ томахъ, съ пятнадцатью къ онымъ приложеніями. Четвертый, наконецъ, обрадовалъ извѣстіемъ, что для оживленія работъ въ коммиссіи „для разработки прочной системы раздачъ“ приглашенъ, въ качествѣ эксперта отъ наукъ, одинъ извѣстный своею находчивостью экономистъ.

Все было, слѣдовательно, въ порядкѣ; молодые люди пламенѣли и порывались; я съ своей стороны смотрѣлъ на нихъ и радовался.

Вообще, съ нѣкотораго времени я какъ-то чаще начинаю радоваться. Состоя членомъ нѣсколькихъ благотворительныхъ обществъ,

я убѣдился, что человѣкъ—самъ творецъ собственныхъ несчастій. А такъ какъ дѣла мои идутъ прекрасно, то мало-по-малу въ мою душу проникла та ясность, то равновѣсіе, до которыхъ возвысился (въ комедіи Островскаго: „Доходное мѣсто“) старикъ Юсовъ въ ту минуту, когда онъ произноситъ знаменитый монологъ, начинающійся словами: „я могу плясать!“ Что мнѣ за дѣло до того, что есть люди, которые не могутъ плясать? *Я* могу плясать — и этимъ вопросъ о плясаніяхъ для меня совершенно исчерпывается. Нога за мной не тянетъ, а потому я вижу цвѣтокъ — на цвѣтокъ радуюсь, птицу вижу—на птицу радуюсь. Вездѣ премудрость вижу. И не одобряю людей, которые не видятъ премудрости, а слѣдовательно и не пляшутъ. Стало быть, нога какая-нибудь у нихъ сзади тянетъ, размышляю я, и уже издали, завидя такого субъекта, кричу ему:

— Не одобряю, государь мой, не одобряю!

И такъ, я сидѣлъ и радовался, ибо, очевидно, ни за однимъ изъ этихъ бодрыхъ молодыхъ людей никакой ноши не было. Когда всѣ новости были высказаны, мы не безъ труда сообразили, что если всѣ коммиссіи приведутъ свои труды къ благополучному окончанію, то изъ этого можетъ произойти 666 томовъ полезнѣйшихъ матеріаловъ, которыми, конечно, не преминутъ воспользоваться другія коммиссіи. Эти другія коммиссіи подвергнутъ собранные матеріалы освѣженію и дополненію, и въ свою очередь издадутъ 666 томовъ трудовъ, которыми въ свое время не преминутъ воспользоваться третьи коммиссіи. Третьи же коммиссіи...

Но здѣсь представленіе о безконечной преемственности коммиссій и непрерывности освѣженій и дополненій навело насъ на идею о вѣчности. Идея же о вѣчности зажгла души восторгомъ. Мы вскочили съ мѣстъ и безъ всякаго законнаго основанія начали цѣловаться.

— А долгонько-таки придется вамъ капитель-то тянуть!— вдругъ вступился дѣлопроизводитель департамента любознательныхъ производствъ.

Мы не вдругъ поняли. Сначала даже, весело потирая руки, механически повторяли: „долгонько! долгонько!“ Но потомъ, однакожъ, сообразили, что въ замѣчаніи мрачнаго дѣлопроизводителя скорѣе скрывается иронія, нежели поощреніе нашимъ восторгамъ.

— А по вашему какъ?—бросились мы къ нему.

— А по моему вотъ какъ!

Онъ махнулъ ладонью руки сверху внизъ, какъ будто разсѣкалъ гордіевъ узелъ.

Тогда самъ собою возникъ вопросъ: можно ли вдругъ перевернуть міръ вверхъ дномъ? Тема была безконечная, какъ сама безконечность, слѣдовательно обмѣнъ мыслей полился рѣкою.

Столоначальники утверждали, что вдругъ нельзя, и доказывали это примѣромъ коммиссій, которыя перевертываютъ міръ исподволь и лишь по зрѣломъ и внимательномъ обсужденіи. Дѣлопроизводитель, напротивъ того, утверждалъ, что можно, о коммиссіяхъ же отозвался непочтительно, въ родѣ того, что онѣ, дескать, ничего не дѣлаютъ, а только въ проходномъ ряду пылью торгуютъ.

— Согласитесь, однако, что ежели предварительно мы не приведемъ въ ясность всѣхъ оговорокъ, то движеніе впередъ будетъ, по малой мѣрѣ, затруднено, а быть можетъ и совсѣмъ невозможно!— ораторствовалъ столоначальникъ департамента недоумѣній и оговорокъ.

— А я съ своей стороны спрашиваю: если не будутъ преподаны совершенно ясныя и твердыя правила насчетъ наполненія бездны, то какимъ же образомъ вы приведете оныя въ равновѣсіе съ источниками?—вопрошалъ въ свою очередь столоначальникъ департамента изысканія источниковъ и наполненія безднъ.

— Никакимъ, да и не надо! — какъ-то грубо отрубилъ дѣлопроизводитель.

— Но балансъ, милостивый государь! во всякомъ дѣлѣ требуется балансъ! Съ одной стороны...

— Ну, да: съ одной стороны принимая во вниманіе, а съ другой стороны имѣя въ виду... Знаемъ мы, какъ эти слюни-то распускаютъ. Вамъ это-то и любо!

Дѣлопроизводитель уперся и утверждалъ, что въ средствахъ перевернуть міръ вверхъ дномъ никогда недостатка не имѣлось и не имѣется: была бы только охота. Взялъ, пришелъ и перевернулъ— безъ всякихъ коммиссій.

— Безъ малѣйшихъ-съ! — прогремѣлъ онъ, ворочая зрачками.

Я сидѣлъ и радовался. Съ одной стороны мнѣ нравился этотъ смѣлый узлорѣшитель, который, согласно съ бывшими примѣрами, намѣревался единолично, безъ участія коммиссій, обновить міръ; съ

другой стороны нравились также и эти степенные молодые люди, бодро вступившіе на стезю обновленія, но, въ виду могущихъ быть увлеченій, обставившіе его цѣлою сѣтью коммиссій. А что всего больше нравилось — такъ это мысль, что пройдетъ какихъ-нибудь полчаса, и эти два элемента, повидимому столь противоположные, сольются и будутъ, какъ ни въ чемъ не бывало, вмѣстѣ закусывать и пить водку!

„Побольше подобныхъ обмѣновъ мыслей,—думалъ я, — и дѣло нашего возрожденія будетъ упрочено навсегда!“ Но въ то же время я чувствовалъ, что и мнѣ необходимо сказать свое слово, и именно слово примирительное, такое, съ помощью котораго человѣку было бы ловко пройти по серединкѣ. Поэтому, когда дѣло дошло до такихъ выраженій, какъ „выѣденное яйцо“, „шваль“, „отребье“ и т. п., я счелъ долгомъ вступиться.

— Позвольте, господа!—сказалъ я:—по моему мнѣнію, разногласіе между вами совсѣмъ несущественно. Скажите, что собственно вы утверждаете?—обратился я къ столоначальникамъ.

— Мы утверждаемъ, что нельзя вдругъ перевернуть міръ вверхъ дномъ!—очень рѣшительно отвѣчали они.

— Гм... вдругъ!!... стало быть, самый принципъ перевертыванья вы допускаете?... хорошо-съ. Вы-съ?—обратился я къ дѣлопроизводителю.

— А я говорю, что можно и должно!—отвѣчалъ онъ съ азартомъ.

— Гм... стало быть, во всякомъ случаѣ, и вы, и вы—въ принципѣ допускаете, что перевернуть міръ вверхъ дномъ надлежитъ?

— Конечно... но...—заикались столоначальники.

— Стало быть, васъ раздѣляетъ слово „вдругъ“?

— Ну, да... конечно... но...

— Что тутъ еще толковать!—огрызнулся дѣлопроизводитель.

— Позвольте-съ. Но для того, чтобы міръ когда-нибудь былъ перевернутъ,—обратился я спеціально къ столоначальникамъ:—нужно же понемногу его перевертывать?...

Столоначальники разинули рты, но дѣлопроизводитель не далъ имъ говорить.

— Не понемногу, а разомъ! сейчасъ! сію минуту! — выходилъ онъ изъ себя.

— Позвольте-съ. Предположимъ, что предпріятіе ваше увѣнчалось успѣхомъ,—обратился я на сей разъ уже къ дѣлопроизводителю: —что вы взяли, пришли и перевернули міръ вверхъ дномъ!... Дальше-съ?

Я нарочно остановился, чтобы видѣть, какой эффектъ производитъ мой діалектическій пріемъ.

— Не мямлите, ради Христа!—раздражительно прервалъ меня мой оппонентъ.

— Какъ думаете вы: не получится ли у васъ въ результатѣ, что, вслѣдствіе слишкомъ быстраго повертыванья, міръ вновь очутится на старомъ мѣстѣ?

Я торжествовалъ. Каламбуръ мой удался какъ нельзя больше; столоначальники неистово хлопали въ ладоши, дѣлопроизводитель смутился. Тѣмъ не менѣе, для очищенія совѣсти, онъ все-таки упорствовалъ и совершенно уже голословно повторялъ:

— Нѣтъ! мы никогда съ вами не сойдемся!

— И такъ,—продолжалъ я:—соглашеніе между вами, господа, не только возможно, но и легко. Признаемъ въ принципѣ пользу перевертыванья и, затѣмъ, вооружимся лишь противъ тѣхъ злоупотребленій, которыя могутъ заключаться въ перевертываньи съ слишкомъ зрѣлымъ опаго обсужденіемъ, т.-е. противъ медленности, обнаруживаемой въ этомъ дѣлѣ нашими коммиссіями. Для этого, мнѣ кажется, совершенно достаточно поставить за правило, чтобы коммиссіи эти ограничивали количество своихъ трудовъ десятью томами... не больше-съ! и затѣмъ уже приступали къ перевертыванью безъ всякаго сомнѣнія!

— Гм... тогда и волки будутъ сыты, и овцы цѣлы!—задумчиво сказалъ столоначальникъ департамента дивидендовъ и раздачъ.

— Это моя мысль!

Столоначальники согласились со мною безъ труда и тутъ же приступили къ начертанію проекта особой коммиссіи „для преподанія правилъ коммиссіямъ, на разные случаи учреждаемымъ“; но дѣлопроизводитель, къ удивленію моему, все-таки упорствовалъ и продолжалъ голословно повторять:

— Нѣтъ! мы никогда съ вами не сойдемся!

Кто эти „мы“? отъ чьего имени говоритъ этотъ пользующійся довѣріемъ своего начальства чиновникъ?

Признаюсь, вопросъ этотъ не мало меня интересовалъ... И что же оказалось?

Оказалось, что мрачный дѣлопроизводитель служитъ въ департаментѣ любознательныхъ производствъ лишь по недоразумѣнію. Что, будучи разсматриваемъ отдѣльно отъ вицъ-мундира, онъ—радикалъ. И, наконецъ, что въ свободное отъ исполненія возлагаемыхъ на него порученій время онъ пишетъ обширное сочиненіе, подъ названіемъ: „Похвала Робеспьеру“...

Признаюсь!

Поклонниковъ доктора Панглоса, утверждающихъ, что все идетъ къ лучшему въ лучшемъ изъ міровъ, развелось нынѣ очень много. Не только у столоначальниковъ, но даже у будочниковъ въ умахъ одинъ вопросъ: „рожна, что-ли, вамъ нужно?“ И откуда они узнали, что кому-то чего-то нужно!

Тѣмъ не менѣе, мы оставимъ будочниковъ въ сторонѣ, ибо провозглашеніе истинъ, въ родѣ сейчасъ приведенной истины о „рожнѣ“, принадлежитъ къ числу ихъ обязанностей. Но какимъ образомъ наша литература ухитрилась сдѣлать изъ себя сокровищницу той же панглосовской мудрости, которая занимаетъ и умы городовыхъ,—это уже вопросъ гораздо болѣе трудный для разрѣшенія.

Здоровая традиція всякой литературы, претендующей на воспитательное значеніе, заключается въ подготовленіи почвы будущаго. Изслѣдуя нравственную природу человѣка, литература не можетъ не касаться и тѣхъ общественныхъ комбинацій, среди которыхъ человѣкъ проявляетъ свою творческую силу. Хотя, съ исторической точки зрѣнія, эти комбинаціи представляютъ не что иное, какъ созданіе самого человѣка, но то же историческое тяготѣніе сдѣлало ихъ настолько плотными и самостоятельными, что и онѣ, въ свою очередь, могутъ или вредить, или споспѣшествовать человѣческому развитію. Еслибъ источникъ творчества изсякъ, то человѣку оставалось бы сложить руки и съ покорностью ожидать ударовъ судьбы; но измѣняемость общественныхъ формъ, для всѣхъ видимая и несомнѣнная, доказываетъ совершенно противное и предрекаетъ человѣческому творчеству обширное будущее. Ежели современный человѣкъ золъ, кровожаденъ, завистливъ и алченъ, если высшіе интересы человѣческой природы онъ подчиняетъ интересамъ второстепеннымъ,

то это еще не устраняетъ возможности такой общественной комбинаціи, при которой эти свойства встрѣтятъ иное примѣненіе, а слѣдовательно примутъ и иную складку. Это искомое, но такое искомое, которое нимало не противорѣчитъ элементамъ, составляющимъ человѣческую природу, ибо для всякаго наблюдателя общественныхъ явленій и теперь уже ясно, что одно и то же свойство на разныхъ ступеняхъ общественной іерархіи проявляетъ себя совершенно различнымъ образомъ, смотря по тому, въ какой обстановкѣ оно находится. Содѣйствовать обрѣтенію этого искомаго и, не успокоиваясь на тѣхъ формахъ, которыя уже выработала исторія, провидѣть иныя, которыя хотя еще не составляютъ наличнаго достоянія человѣка, но, тѣмъ не менѣе, не противорѣчатъ его природѣ, и слѣдовательно рано или поздно могутъ сдѣлаться его достояніемъ, — въ этомъ заключается высшая задача литературы, сознающей свою дѣятельность плодотворною.

Литература провидитъ законы будущаго, воспроизводитъ образъ будущаго человѣка. Утопизмъ не пугаетъ ее, потому что онъ можетъ запугать и поставить въ тупикъ только улицу. Типы, созданные литературой, всегда идутъ далѣе тѣхъ, которые имѣютъ ходъ на рынкѣ, и потому-то именно они и кладутъ извѣстную печать даже на такое общество, которое, повидимому, всецѣло находится подъ гнетомъ эмпирическихъ тревогъ и опасеній. Подъ вліяніемъ этихъ новыхъ типовъ, современный человѣкъ, незамѣтно для самого себя, получаетъ новыя привычки, ассимилируетъ себѣ новые взгляды, пріобрѣтаетъ новую складку, однимъ словомъ — постепенно вырабатываетъ изъ себя новаго человѣка. Что было бы въ томъ случаѣ, если бы литература, забывъ о своихъ воспитательныхъ задачахъ, пошла по другому пути. . хоть, напримѣръ, по пути безплодныхъ обращеній къ прошлому?

Къ сожалѣнію, наша современная литература пошла именно по этому послѣднему пути, и потому ея воззрѣнія можно безъ малѣйшаго преувеличенія уподобить воззрѣніямъ будочниковъ, негодующихъ на исканіе какого-то рожна.

Въ общемъ ходѣ человѣческаго развитія подробности занимаютъ лишь второстепенное мѣсто; онѣ играютъ роль эпизодовъ, не имѣющихъ существеннаго вліянія на канву и процессъ движенія. Въ современной русской литературѣ, напротивъ того, подробности зани-

мают'ъ первый планъ, а дѣйствительный смыслъ движенія до такой степени заслоняется ими, что жизнь представляется сложившеюся подъ гнетомъ какого-то неслыханнаго умопомраченія. Ненавистью и желчью пропитано каждое слово современной русской литературы, и это горькое чувство могло бы имѣть очень опасныя для общества послѣдствія, еслибъ не было слишкомъ ясно, что въ основѣ его лежатъ тѣ безплодныя обращенія къ прошедшему, которыя обусловливаются корыстнымъ или наивнымъ непониманіемъ самыхъ простыхъ, общепризнанныхъ и естественныхъ законовъ человѣческаго развитія.

И на улицѣ, и въ литературѣ раздается одинъ вопль: довольно! Чего же довольно? наѣздовъ ли, устраненій ли, душевныхъ ли выемокъ, проявленій ли безсознательности, произвола и дикости?—Нѣтъ, не этого. Довольно жертвъ, довольно усилій, направленныхъ къ тому, чтобы стать на стезю сознательности.

Только глубоко вкоренившееся, такъ сказать, историческое презрѣніе къ самимъ себѣ, только вполнѣ безповоротное убѣжденіе, что мы не только въ настоящую минуту состоимъ въ должности кадетовъ цивилизаціи, но и навсегда осуждены на эту роль, могло произвести подобный результатъ. Для всѣхъ (т.-е., говоря трактирнымъ слогомъ, для тѣхъ, которые почище)—цивилизація съ ея благами, открытіями и движеніемъ; для насъ (т.-е. для тѣхъ, которые еще рыломъ не вышли)—обрѣзки, помои и старое, заношенное бѣлье. И это проповѣдуется не на толкучемъ рынкѣ, не въ кабакахъ—тамъ бы куда ужъ ни шло!—а въ литературѣ...

Подобные приливы озлобленности и систематическаго омраченія небезпримѣрны и въ другихъ странахъ; но тамъ они объясняются рѣшительностью политическихъ и соціальныхъ кризисовъ, когда общественныя силы, подъ вліяніемъ исключительной паники, всецѣло охватываются интересами и опасеніями данной минуты, и такимъ образомъ на время теряютъ изъ вида руководящую нить будущаго. У насъ это, такъ сказать, естественная дань преисполненныхъ благороднымъ энтузіазмомъ сердецъ. Предполагается, что мы, по самой природѣ своей, не имѣемъ права ни къ чему приступить, не исполнивъ предварительно танца благоговѣнія и вѣчной признательности. И вотъ ежели мы, разсматривая какое-нибудь явленіе (послѣдствія котораго, не забудемъ, отразятся на насъ же самихъ), пробуемъ встать на одинъ съ нимъ уровень, то насъ прямо обвиняютъ въ черствости, неблагодарности и

заносчивости. „Курицыны дѣти!“ восклицаютъ хоромъ прогрессисты-литераторы и прогрессисты-публицисты: „посмотрите! тоже топорщатся! шеи вытягиваютъ, на цыпочки становятся!“

На мой взглядъ, будочники въ этомъ случаѣ гораздо симпатичнѣе. Произнося свое сакраментальное: „рожна, что-ли, нужно?“ — они, во-первыхъ, дѣйствуютъ чисто механически, т.-е. просто производятъ порядокъ, и, во-вторыхъ, едва-ли даже знаютъ, что̀ именно слѣдуетъ разумѣть подъ словомъ: „рожонъ“. Несмотря на грубость интонаціи, въ ихъ голосѣ можно иногда подмѣтить благодушіе, почти состраданіе къ человѣку, который ищетъ рожна и... находитъ его. Напротивъ, чувство, одушевляющее прогрессиста-публициста, совсѣмъ другого свойства: тутъ нѣтъ и рѣчи о чемъ-нибудь примирительномъ. Для него презрителенъ самый видъ „топорщащагося“ человѣка, да и самое слово „топорщиться“ именно съ тою цѣлью заимствовано изъ лексикона теплыхъ русскихъ словъ, дабы въ нарочито омерзительномъ видѣ изобразить претензію человѣка на человѣческій образъ. Онъ прибѣгаетъ ко всевозможнымъ уподобленіямъ: городовыхъ именуетъ орлами; людей, ищущихъ сбросить съ себя иго безсознательности — кротами, червями и трутнями. Его изгибаетъ, свертываетъ и коробитъ, какъ берёсту, брошенную на огонь, и коробитъ не оттого, что онъ видитъ приниженность, забитость и вольное ползаніе, а оттого, что въ глазахъ его происходитъ попытка сдѣлать человѣческій жестъ.

Откуда эта ненависть?!

Литераторъ-прогрессистъ самъ едва-ли съумѣетъ объяснить себѣ причину этого явленія. Онъ дѣйствуетъ подъ вліяніемъ темперамента, который подсказываетъ ему, что русскій человѣкъ не имѣетъ права относиться къ явленіямъ жизни съ спокойствіемъ и достоинствомъ, но долженъ во всякомъ случаѣ и во что бы то ни стало благодарить. Ежели онъ не благодаритъ, то это значитъ, что онъ злокозствуетъ, а ежели злокозствуетъ, то значитъ, что самъ собой возникаетъ вопросъ о необходимости истребленія козней и интригъ. Собираются вольныя дружины, объявляется походъ и, за стукомъ мечей, забывается даже то тощее дѣло, по поводу котораго возникъ переполохъ. И все изъ-за того, что въ сердцахъ нѣтъ должной благодарности, или, говоря высокимъ слогомъ, не замѣчается надлежащей теплоты чувствъ!

Предоставляется читателю самому судить, насколько возможно

развитіе и разрѣшеніе общественныхъ вопросовъ, при такомъ воспалительномъ отношеніи къ нимъ даже со стороны литературы, на которую многіе и до сихъ поръ смотрятъ какъ на выразительницу общественной совѣсти...

И вотъ итоги! итоги, въ дѣйствительности которыхъ едва-ли можетъ усомниться кто-либо изъ современниковъ. И опять-таки повторяю: не въ кабакахъ, не на толкучихъ рынкахъ отразились эти итоги, а въ самомъ центрѣ всѣхъ жизненныхъ итоговъ—въ литературѣ.

Даже будочники проливаютъ слезы сожалѣнія при видѣ людей, ищущихъ рожна и обрѣтающихъ его, а въ литературѣ это зрѣлище вызываетъ только зловѣщій крикъ: ату!

Естественное ли это дѣло? естественно ли, чтобъ литература являлась не воспитательницею и руководительницею общества въ его исканіяхъ идеаловъ будущаго, а обуздательницею и укротительницею?

Однако, какъ ни проповѣдуйте, что перевернуть міръ вверхъ дномъ невозможно, а исподволь перевертывать все-таки приходится. Потому что, въ противномъ случаѣ, всегда найдутся люди, которые будутъ натыкаться на рожны, а зрѣлище этого натыканія едва-ли можетъ для кого-нибудь составить пріятность.

Человѣкъ такъ ужъ устроенъ, что всякое новое пріобрѣтеніе, сдѣланное въ области знанія, ищетъ примѣнить къ себѣ, къ своему личному положенію. Это стремленіе прежде всего отражается на пріобрѣтеніяхъ будничныхъ, непосредственныхъ. Такъ, напримѣръ, ежели человѣкъ узнаетъ, что чистота и просторъ жилищъ, а равно достаточная и хорошая пища способствуютъ долголѣтію, то непремѣнно будетъ домогаться, чтобъ это жизненное условіе было у него подъ рукою. Затѣмъ, ежели онъ узнаетъ, что тому же долголѣтію способствуетъ обладаніе и другими благами, болѣе отвлеченнаго свойства, то будетъ добиваться и ихъ. Вслѣдствіе этого, многіе думаютъ, что всѣ усилія должны быть направлены къ тому, чтобы человѣкъ или вовсе не „зналъ“, или узналъ сколь возможно позднѣе. Но это лишь пустая надежда, о которой даже и говорить не стоитъ. Гораздо болѣе вѣсу имѣетъ оговорка, утверждающая, что человѣкъ, во всякомъ случаѣ, обязывается дѣлать свои попытки на собственный счетъ и страхъ. Но и

объ этой оговоркѣ покамѣстъ не можетъ быть рѣчи, ибо дѣло идетъ не о практическихъ попыткахъ, а лишь о постановкѣ вопросовъ на почву обобщеній. Или, говоря языкомъ болѣе любезнымъ для нашихъ прогрессистовъ-публицистовъ,—объ обмѣнѣ мыслей.

Да, рѣчь идетъ объ обобщеніяхъ—и ни о чемъ больше, ибо сепаратныя попытки довести свое личное положеніе до извѣстнаго уровня существовали съ незапамятныхъ временъ и никогда не возбуждали ничьей подозрительности. Онѣ имѣли мѣсто даже при крѣпостномъ правѣ, которое, не поощряя игры страстей, не препятствовало, однакожъ, осуществленію ея въ частныхъ случаяхъ. У всѣхъ на памяти, что бывшіе помѣщики не только не воспрещали принадлежащимъ имъ крестьянамъ пріобрѣтать нѣкоторыя жизненныя удобства, но и находили въ этомъ поводъ для удовлетворенія своего тщеславія.

— Вотъ какъ, канальи, живетъ! безъ щей съ говядиной и за обѣдъ не садится!—хвастались они передъ сосѣдями какимъ-нибудь Еремѣемъ, который, откладывая грошъ по грошу, купилъ себѣ право увеселять сердце помѣщика зрѣлищемъ „моего Еремѣя“, хлебающаго наварныя щи.

Очевидно, стало быть, что подобная попытка признавалась и естественною, и непредосудительною. Отчего же тотъ же самый вопросъ усложняется, какъ только переносится на почву обобщеній? Отвѣтъ на это обыкновенно дается такой: „помилуйте! да развѣ возможно всѣмъ?“ И отвѣтъ этотъ кажется резоннымъ, не потому, чтобы онъ въ самомъ дѣлѣ былъ резоненъ, а потому, что слова „вдругъ“ и „всѣ“ оказываютъ на насъ точно такое же ошеломляющее дѣйствіе, какое въ комедіи Островскаго („Тяжелые дни“) оказываютъ мудреныя слова въ родѣ „жупелъ“ и т. д.

„Нельзя вдругъ перевернуть міръ вверхъ дномъ“.

„Нельзя дать все и всѣмъ!“—вотъ несложный кодексъ житейской мудрости, на которомъ сходятся и ретрограды, и консерваторы, и прогрессисты, и никому изъ нихъ не приходитъ въ голову, что это кодексъ до того уже легкій, что опираться на него могутъ только такіе люди, у которыхъ ничего нѣтъ въ запасѣ, кромѣ истертыхъ и оглоданныхъ общихъ мѣстъ.

О томъ ли идетъ рѣчь, чтобы что-нибудь перевернуть, или у одного нѣчто отнять, а другого наградить? Нѣтъ, рѣчь идетъ объ отысканіи такихъ законовъ общежитія, которые могли бы умиротво-

рить человѣчество — и больше ни о чемъ. Вопросы о перевертываніяхъ и отнятіяхъ всецѣло принадлежатъ къ той практикѣ, которая уже и нынѣ предусматривается уголовными кодексами и, слѣдовательно, признается косвенно самими прогрессистами. Вопросы эти возбуждаются эмпирически на большихъ дорогахъ, а также въ формѣ простыхъ кражъ или кражъ со взломомъ, — что же можетъ быть общаго между ними и работою теоретической мысли?

Объектъ теоретической мысли не хаосъ и случайность, а порядокъ и законъ. Даже вырабатывая такъ-называемую утопію, она имѣетъ въ виду именно эту, а не другую какую-нибудь цѣль. Притомъ, общество достаточно обезпечено отъ чрезмѣрнаго наплыва утопій тѣмъ однимъ, что послѣднія не только никогда не господствуютъ безраздѣльно, но, напротивъ того, всегда состоятъ подъ самымъ строгимъ контролемъ всевозможныхъ уличныхъ опасеній и тревогъ. Ужели этого обезпеченія мало? Ужели, въ виду фантастическихъ страховъ, внушаемыхъ ожиданіемъ наплыва утопій, можно счесть болѣе безопаснымъ и цѣлесообразнымъ, чтобы вопросы жизни разрѣшались хотя сепаратными, но тѣмъ не менѣе совершенно неправильными эмпирическими попытками на большихъ дорогахъ, въ родѣ тѣхъ, о которыхъ сейчасъ говорено и которыя требуютъ для своего осуществленія темной ночи, отмычекъ и взломовъ?

Нѣтъ, это невѣрно. Противъ подобнаго эмпиризма возстаетъ даже мой другъ Ѳеденька Козелковъ, а я имѣю полное основаніе ссылаться на его авторитетъ, потому что этотъ человѣкъ уже почти администраторъ.

Я люблю Ѳеденьку не за то, что онъ считаетъ себя прогрессистомъ (онъ какъ-то ужъ слишкомъ упорно настаиваетъ на своей принадлежности къ этому сословію), а за то, что онъ простодушенъ, и это простодушіе нерѣдко внушаетъ ему мысли и дѣйствія достаточно доброкачественнаго свойства. Въ основаніи его административной системы лежитъ словцо, повидимому, очень маленькое: „можно!“ — но вникните пристальнѣе въ это слово, и вы убѣдитесь, что во всемъ русскомъ лексиконѣ нѣтъ его любезнѣе. „Можно!“ — вѣдь это, такъ сказать, въ маломъ видѣ отпущеніе грѣховъ; это бальзамъ, пролитый на рану недоумѣнія и недомыслія; это исцѣленіе недугующихъ и страж-

дущихъ; это не соломенка какая-нибудь, а цѣлый корабль, поспѣшающій для спасенія погибающихъ! Вся жизнь человѣческая обращается между „можно“ и „нельзя“, и перегородка, которая, вслѣдствіе этого, дѣлитъ человѣческую жизнь на двѣ половины, служитъ источникомъ мучительнѣйшихъ нетерпѣній, промаховъ и домогательствъ. И вдругъ эта перегородка, по манію Ѳеденьки, исчезаетъ, и вмѣсто нея является ровное и злачное пространство, по которому можно гулять безъ сомнѣнія... Шутка!

Конечно, Ѳеденька не принадлежитъ къ числу орловъ, но ежели разсудить хладнокровно, то орловъ и безъ того такъ много, что врядъ ли присовокупленіе одного лишняго хищника можетъ послужить украшеніемъ. Сверхъ того, у Ѳеденьки имѣется и еще одинъ довольно крупный недостатокъ—это робость и даже, можно сказать, путаница въ понятіяхъ; но и это обстоятельство проходитъ незамѣтно, потому что слово: „можно!“, которымъ путаница разрѣшается, покрываетъ ее до такой степени, что вмѣсто путаницы является даже цѣлая система.

И вотъ, на дняхъ, бесѣдуя съ Ѳеденькой о его административныхъ надеждахъ (онъ безпрерывно говорилъ о какомъ-то „краѣ“ и, повидимому, имѣлъ даже серьезныя основанія разсчитывать на осуществленіе своихъ мечтаній), я невольнымъ образомъ вынужденъ былъ коснуться и его административныхъ взглядовъ на жизнь.

— А какъ ты полагаешь, мой другъ, насчетъ хоть бы того, что вотъ иногда... не всегда, конечно, а иногда... люди чувствуютъ потребность размышлять, сообщать другъ другу свои наблюденія и открытія... вѣдь можно? — спросилъ я, конечно, не безъ робости, ибо очень хорошо понималъ, что вопросъ мой касается одной изъ самыхъ чувствительныхъ административныхъ язвъ.

Онъ немного задумался, ибо не далѣе какъ того же дня утромъ выслушалъ, откуда слѣдуетъ, очень обстоятельное по сему предмету поученіе. Я зналъ объ этомъ и, слѣдовательно, имѣлъ очень основательный поводъ безпокоиться. Но, къ удовольствію моему, простодушіе моего друга и на сей разъ взяло верхъ.

— Знаешь, что я тебѣ скажу?—наконецъ, произнесъ онъ (при этомъ я очень хорошо замѣтилъ, что изъ груди его вылетѣлъ вздохъ): —пускай размышляютъ, пусть даже разговариваютъ! Я положительно не вижу къ тому никакихъ препятствій!

— Подумай, однакожъ, мой другъ, вѣдь изъ этого можетъ произойти ущербъ... то-есть, посягательство... ну, и прочее...—продолжалъ я испытывать Ѳеденьку.

— Нѣтъ, ужъ что!.. Христосъ съ ними!

— Гм... такъ, значитъ, по твоему можно?

— Можно!

Тѣмъ не менѣе, рана, произведенная утреннимъ поученіемъ, была еще слишкомъ остра, чтобъ не вызвать кое-какихъ оговорокъ. Ѳеденька въ видимомъ волненіи ходилъ по комнатѣ, и я съ прискорбіемъ замѣчалъ, что каждый новый шагъ выдвигаетъ на сцену какое-нибудь новое привидѣніе.

— Признаюсь откровенно, — произнесъ онъ, останавливаясь передо мной:—я желалъ бы одного: пусть размышляютъ, пусть обмѣниваются мыслями, но... но такъ, чтобы никто этого не замѣтилъ!

Сгоряча я не понялъ всей оглушительности этой оговорки, и даже радостно протянулъ ему обѣ руки, воскликнувъ:

— Ну, да! ну, само собой разумѣется... конечно!

Но черезъ минуту, однакожъ, я спохватился и сталъ допрашивать Ѳеденьку, какимъ же образомъ онъ предполагаетъ устроить, чтобъ люди откровенно сообщали другъ другу свои мысли и чтобы, въ то же время, никто этого не замѣтилъ?

— Вѣдь это все равно, что еслибъ твой будущій городской голова позвалъ тебя на пирогъ и требовалъ, чтобъ ты такимъ образомъ ѣлъ, чтобъ никто этого не замѣтилъ. Ты точно такъ же зовешь ихъ на пирогъ и...

— Нѣтъ! ты меня не понялъ! — какъ-то брюзгливо прервалъ меня Ѳеденька:—я совсѣмъ не о томъ говорю! Я хочу только сказать, что было бы желательно, чтобы не всякому (онъ особенно наперъ на это слово)... tu comprends: не всякому... это было замѣтно!

Я понялъ. Мнѣ сдѣлалась ясною вся эта сложная и многохитрая система со всѣми ея развѣтвленіями, умолчаніями и оговорками. Я съ удивленіемъ смотрѣлъ на моего друга и готовъ былъ признать въ немъ искуснѣйшаго дипломата новѣйшаго времени (по части внутренней политики).

— Вѣдь они иногда очень дѣльныя мысли имѣютъ,—продолжалъ между тѣмъ Ѳеденька:—такія мысли, которыхъ пугаться рѣшительно нечего. На дняхъ, напримѣръ, я разговорился съ какимъ-то

„волосатымъ“ насчетъ этого... самоуправленіемъ, кажется, оно называется?.. Ничего! Я думалъ, что онъ въ драку полѣзетъ, а онъ, напротивъ... такія мысли, что я со временемъ ихъ непремѣнно въ какую-нибудь бумагу помѣщу! Parole d'honneur!

— Ѳеденька! другъ мой!

— Вѣдь по правдѣ-то сказать, мы всѣ немножко соціалисты... Вѣдь это, такъ сказать, наша національная подоплёка. Le socialisme, la commune — c'est tout un! Разумѣется, съ разныхъ точекъ зрѣнія...

— Ѳеденька! голубчикъ ты мой!

— Только вотъ ежели ихъ дразнить, этихъ „волосатыхъ“... ну, тогда они дѣйствительно въ извѣстной степени свирѣпѣютъ! Но и то лишь въ „извѣстной степени“, ибо окончательно свирѣпѣть и въ особенности проявлять эту свирѣпость имъ еще не разрѣшается... да! н-н-не р-раз-рѣ-ша-ет-ся!

Мнѣ показалось, что, говоря эти послѣднія слова, Ѳеденька даже на меня взглянулъ какъ-то угрожающе: до такой степени натура его была подвижна. Но черезъ минуту простодушіе вновь одержало побѣду; онъ началъ подробно развивать свою административную теорію, и въ горячности чувствъ чуть-чуть не дошелъ до равновѣсія души.

— Я докажу на практикѣ,—ораторствовалъ онъ:—да-съ, на практикѣ докажу, какая неизмѣримая разница между администраторомъ, который овладѣваетъ самъ положеніемъ, и администраторомъ, которымъ (онъ подчеркнулъ: *рымъ*) овладѣваетъ положеніе!

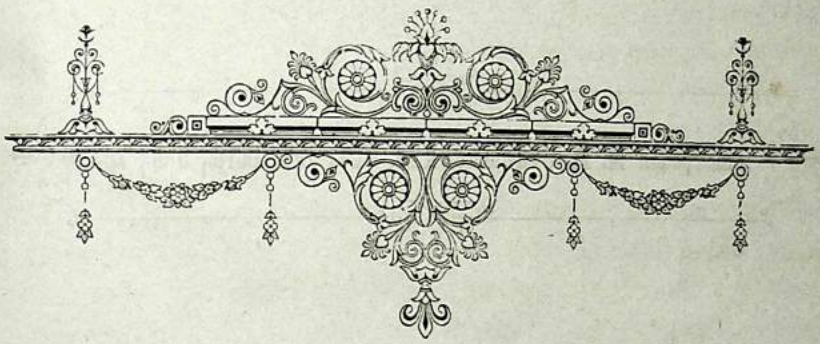
Но я уже не слушалъ. Я спѣшилъ воспользоваться восторженнымъ настроеніемъ его души, чтобъ заручиться чѣмъ-нибудь солиднымъ.

— И такъ, стало быть, „можно“?

— Можно!—махнулъ онъ рукой, какъ бы давая понять, что онъ все уже разрѣшилъ и болѣе безпокоить его мелочами не слѣдуетъ.

Ну, это, по крайней мѣрѣ, „итогъ“! невольно подумалось мнѣ.

БИБЛИО... ст. Вологда гор...



Типографія М. М. Стасюлевича, Спб., Вас. Остр., 5 л., 28.

10/II α
23/X 24
19д-1
3000р.

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. предыд. выдач

5 тип. НКПС. Зак. 4323

Центр Белова (рф)